М·Н
ЗАГОСКИН
2

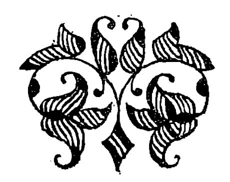
М·Н
ЗАГОСКИН
СОЧИНЕНИЯ

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

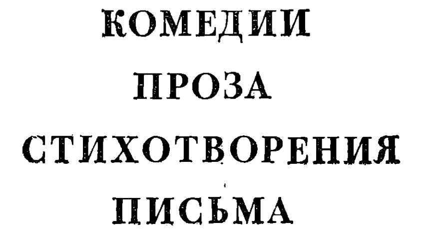


МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

М·Н ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ВТОРОЙ



КОМЕДИИ

ПРОЗА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р1
З-14

Составление, подготовка текста,
комментарии

С. Панова и А. Пескова

Иллюстрации художника
Ю. Игнатьева

Оформление художника
Д. Шимилиса

З $\frac{4702010100-397}{028 (01)-88}$ 8-87

ISBN 5-280-00870-2 (Т. 2)
ISBN 5-280-00871-0

КОМЕДИИ

КОМЕДИЯ ПРОТИВ КОМЕДИИ, ИЛИ УРОК ВОЛОКИТАМ

КОМЕДИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «КОМЕДИИ ПРОТИВ КОМЕДИИ»

Я всегда был уверен, что, выключая дурного журнала, ничто не может быть скучнее предисловия, и конечно не написал бы его, если б не находил за нужное изъяснить в коротких словах причины, побудившие меня сочинить сию комедию.

При первом представлении комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» видел я, с каким восторгом была она принята публикою; но, несмотря на то, мог бы я предсказать автору, что он будет иметь неприятелей. Многие *полулитераторы,* не понимая или не желая понять истинного смысла некоторых мест сей пьесы, воспользовались удобным случаем выступить на литературное поприще и блеснуть не чужим, но (к несчастию) собственным своим умом; к ним присоединились, может быть, и те, коим не нравилась роль *Угарова.* Тупые эпиграммы, иронические сатиры, ругательные куплеты посыпались на автора; в них старались уверить публику, что «Липецкие воды» — дурная комедия. Упрямая публика не хотела им верить; старались выдавать гнусную клевету за истину; и сама истина показалась бы клеветою в их сочинениях. Не держась никакой партии, я слушал спокойно странные суждения противников сей комедии, находил их довольно забавными, редко спорил, потому что невозможно спорить с теми, которые вместо доказательств прочитают какую-нибудь жалкую эпиграмму или пропоют ругательные куплетцы; но находя много комического в сем литературном ополче-

нии против «Липецких вод» и здравого смысла, решился написать комедию, в коей мог бы поместить мое мнение о новой пьесе и несколько забавных сцен, которых я был очевидным свидетелем.

Правда глаза колет. Я должен был ожидать, что враги «Липецких вод» сделаются и моими; твердо решившись молчать и не отвечать ни на какие критики, я не сказал бы ни слова о *мнении* какого-то *постороннего,* напечатанном в 46-м номере «Сына Отечества», если б не было в нем ничего, кроме ругательств; но сочинитель сей жалкой статьи называет меня *представителем* и, как кажется, хочет дать почувствовать, что я есть не что иное, как орудие, употребленное другим; что через меня делает кто-то другой какое-то торжественное отречение: одним словом, г. *посторонний* хочет сделать и меня посторонним во всем, что касается до моей комедии.

Для избежания всех пустых толков я не скрывал своего имени и теперь снова повторяю, что *вся* комедия, *не исключая* первого явления во втором действии, написана *одним* мною; но что успех ее приписываю я менее себе, чем прекрасной игре актеров; что, сочиняя мою комедию, я имел в виду одну истину, не помышляя ни о каких *трактатах* и *капитуляциях,* и что прошу всех господ *посторонних* и *не посторонних,* печатая подобные клеветы, не забывать подписывать своего имени. Впрочем, сочинитель сей статьи поступил еще довольно милостиво, называя меня представителем другого автора, он не отрицает, по крайней мере, моего существования; а есть такие догадливые люди, которые уверяют, что не только я, но даже и моя фамилия вымышлена. Советую сим недоверчивым господам заглянуть в дворянскую родословную книгу, и если они умеют читать по-русски, то найдут в ней неоспоримое доказательство, что на этот раз были они чересчур уже догадливы.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Графиня Болеславова, богатая вдова.
Софья
Княгиня Зарецкая, молодая вдова } ее племянницы.
Князь Тюльпанов.
Граф Фольгин, племянник его.
Изборский.
Эрастов, сочинитель.
Даша, служанка.

Действие происходит в загородном доме, близ Петербурга.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Театр представляет комнату; сквозь окно виден сад.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Княгиня (оканчивает перед зеркалом свой туалет), Софья (сидит подле нее) и Даша.

Княгиня. Как я бледна, какой у меня усталый вид! *(Софье.)* Не правда ли, ma chère *?

Даша. Вы нынче очень рано изволили встать, сударыня.

Княгиня. И сверх того большую часть ночи не могла заснуть.

Софья. Отчего же? Разве вас что-нибудь беспокоило?

Княгиня. Вчерашняя пьеса.

Софья. Она не выходит у вас из головы.

Княгиня. Да! Несносная комедия!

Софья. Несносная! Вы, кажется, прежде ее хвалили.

Княгиня. Так зло, и что еще досаднее, с таким умом нападает на бедных женщин. Нас бранят, и мы же должны находить это прекрасным.

Софья. Мне кажется, княгиня, что автор хотел осмеять одних кокеток...

* моя дорогая *(фр.)*. Все подстрочные примечания, кроме переводов, принадлежат М. Н. Загоскину и специально не оговариваются.

Княгиня. То есть тех, которые желают нравиться не одному, а многим. Признайся же, милая, что в этом смысле мы все немного кокетки.

Софья. Все! В этом я не согласна.

Княгиня. Да, все, не исключая и тебя, с тою только разницею, что одни употребляют для этого способы совершенно невинные, а другие позабывают все приличности и жертвуют всем, — добрым именем, мнением света и даже спокойствием, для того чтоб вскружить голову мужчине, к которому они ничего не чувствуют.

Софья. Поэтому вы находите, что характер кокетки...

Княгиня. Изображен с таким совершенством, что всякая женщина должна хоть немного в нем себя узнать.

Софья. Как хотите, княгиня, а я первая не нахожу в нем никакого сходства с собой.

Даша *(княгине)*. Позвольте вас спросить, сударыня, что это за чудная комедия, об ней только и говорят, все ее ругают. Вы называете ее несносною, а тетушка ваша графиня лишь только об ней вспомнит, то и начнется истерика; князь Тюльпанов, который приехал сегодня чем свет на нашу дачу, только и делает, что бранит комедию, сочинителя и даже тех, которым она нравится.

Княгиня. О! что касается до князя и тетушки, то они имеют полное право на нее гневаться. Столетний волокита и неутомимая бостонистка как будто на заказ с них списаны.

Софья. Я не понимаю, отчего видите вы везде сходство, которого я никак не могу приметить.

Княгиня. Скажи лучше, что не хочешь. Знаешь ли, ma chère, что мне всего досаднее, для чего я не автор.

Софья. Вот странное желание!

Княгиня. Как приметно, что сочиняют мужчины, что партер наполнен мужчинами; везде нападают на бедных женщин и всегда с восхищением аплодируют каждому острому словцу, сказанному насчет нашего пола.

Софья. Ну, что же, если бы вы были сочинителем?

Княгиня. Что! О, я отомстила бы мужчинам, я доказала бы им, что они гораздо более нас заслуживают быть выведены на сцену, что в десяти женщинах едва ли есть одна кокетка, когда в таком же числе мужчин, верно, нет ни одного, который бы пропустил случай обмануть неопытную женщину или хвалить ее в глаза, а заочно над ней смеяться.

Софья. Неужели мужчины так злы?

Княгиня. Ты их еще не знаешь, милая! *(Задумывается.)* Да! да! прекрасно, чего же лучше, попросим Эрастова, он сочинитель и, верно, не откажется быть нашим защитником или, лучше сказать, мстителем всего пола нашего.

Даша. О, верно не откажется, сударыня! Я еще не видала такого охотника писать; когда вы слушать его не хотите, то он поймает меня, да уж читает, читает, так что раза два успеешь выспаться.

Софья. Вы думаете, что комедию так легко написать.

Княгиня. Конечно трудно; да как же иначе отомстить мужчинам. Название уж готово,— пускай напишет он, вместо урока кокеткам, урок ветреникам; в оригиналах он, кажется, не будет иметь недостатка.

Софья. Вы не шутя намерены просить его?

Княгиня. Напротив, очень серьезно. Я хочу, чтоб он вывел на сцену молодого ветреника, который боготворит каждую женщину и не любит никого, клянется в постоянстве поутру одной, а ввечеру другой, любит одного себя, хвалит одного себя, считает умным одного себя и смеется над всеми, выключая тех, которые ему подражают или которым он сам подражать старается.

Софья. Вы пугаете меня, княгиня. Неужели есть между мужчинами...

Княгиня. Такие любезные, милые ветреники? О, чрезвычайно много. Вот, например, один молодой человек,— ты знаешь его, очень знаешь,— как две капли воды похож на мое изображение, и Эрастов, если будет писать нашу комедию, не найдет, верно, лучшего оригинала для роли своего ветреника.

Софья. Кто же? Я, право, не знаю!

Княгиня. Бедненькая! и ты не можешь отгадать. Племянник князя Тюльпанова.

Софья. Граф Фольгин?

Княгиня. Точно.

Софья. Вы шутите. Он ветрен, это правда; но не способен быть обманщиком.

Княгиня. Ты это думаешь?

Софья. Он искренно меня любит.

Княгиня. Искренно любит — граф Фольгин! ха, ха, ха! Ах! ma chere, очень видно, что ты еще не жила в свете.

Софья. Почему ж кажется вам это невероятным?

Я не имею никакой причины сомневаться в его искренности.

Княгиня. О, конечно! Странно только, что граф, несмотря на свою искреннюю любовь к тебе, старается меня уверить в том же; делает куры тетушке и волочится даже...

Даша. За мною. Да почему ж и не так, сударыня, ведь и я также женщина.

Софья. Это лишь ветреность. Я уверена, что граф любит одну меня.

Княгиня. Или, может быть, богатое приданое, которое тетушка дает за тобою.

Софья. Княгиня! Это уже обидно.

Княгиня. Не сердись, милая,— он точно так же любит тебя, как меня, как твою тетушку, как всех женщин. Ему надобно богатое приданое, чтоб заплатить свои долги. Ах! ma cousine *, как бы я была рада, если б вместо его женился на тебе Изборский.

Софья. У вас нынче все такие странности...

Княгиня. Ты была бы с ним гораздо счастливее, чем с этим графом Фольгиным. Вот уже другой год, как Изборский тебя любит.

Софья. Другой год! С чего вы взяли — он никогда не говорил мне ничего похожего на это.

Княгиня. Это-то и доказывает, что он истинно тебя любит. Непритворно влюбленные всегда застенчивы. Но сколько есть других способов показывать свою любовь. Изборский ищет беспрестанно случая быть вместе с тобою; один ласковый взгляд — и он счастлив; это написано на лице его. Поверь мне, в этих случаях женщины никогда не ошибаются. Я уверена, что Изборский любит тебя так же пламенно, так же страстно, как Малек-Адель любил свою Матильду.

Софья. Если б это была и правда, то согласитесь...

Княгиня. Что граф более достоин любви, чем Изборский. О! в этом я никогда не соглашусь с тобою.

Софья. Он так холоден, так скучен...

Княгиня. Это одна застенчивость.

Софья. Я согласна, что он очень добр, скромен — имеет, может быть, познания, и когда бывает здесь один, то я нахожу его даже любезным,— все это правда, но когда он и граф вместе, то согласитесь, княгиня, что он делается тогда совсем незаметным.

---

* кузина *(фр.)*.

Княгиня. Не удивительно,— один кричит о своих достоинствах, а другой скрывает их.

Софья. Что граф умен, очень умен, в этом, думаю, и вы должны признаться.

Княгиня. Несмотря на то что он сам в этом клянется беспрестанно, я осмеливаюсь ему не верить. Он, как говорится, натерт чужим умом: выучил наизусть кучу каламбуров, насмешек, острых слов, комплиментов, и более ничего.

Софья. Извините, княгиня! он очень любит литературу и знает почти всех известных писателей.

Княгиня. По именам — может быть; для этого нужна только одна память. Послушай, ну, если я докажу тебе точно на самом деле, что Изборский гораздо его умнее и любезнее и что граф любит не тебя, а твое богатство.

Софья. Если вы мне докажете... Но это невозможно!

Княгиня. Первое совсем не трудно, Изборский и граф сегодня здесь будут — надобно только завести разговор, в котором ему нельзя было бы блеснуть чужим умом. Вот, например, о вчерашней комедии — я уверена, что ты, несмотря на свое предубеждение, будешь со мною согласна.

Даша. Сюда идут графиня и князь Тюльпанов. Они, кажется, с большим жаром о чем-то рассуждают.

Княгиня. Верно, о твоей свадьбе. Я только знаю, что князь приехал к вам так рано для того, чтоб переговорить об этом с графинею.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, графиня и князь.

Графиня *(вполголоса князю)*. Да, князь, это будет кончено завтра или даже сегодня, но теперь ни слова. *(Увидя Софью и княгиню.)* А, ты здесь, Сонюшка! Ну что же вы здесь делаете, время прекрасное — вам бы надобно прохаживаться, гулять, резвиться... Я, право, думала, что вы давно уже весь сад обегали. Ба! Сонюшка, ты еще не совсем одета; пойди, кончи твой туалет.

Князь *(целуя руку Софьи)*. Вы, верно, сударыня, остались дома для того, чтоб не заставить краснеть бедные розы, которые, увидя вас, должны от стыда завянуть.

Княгиня. Браво, князь! вы бесценный человек для комплиментов,— какая игривость воображения: розы, которые краснеют от стыда,— как это замысловато! Откуда берете вы такие пиитические выражения?

Князь. Глядя на вас, сударыня, можно ли говорить иначе, как языком сердца. *(Взглянув на зеркало.)* Грации, как видно, только что окончили свой туалет.

Княгиня. Нет, грации занимались совсем другим. Мы сочиняли комедию.

Графиня. Комедию! Что вы это? Да знаете ли, что для меня разбойники лучше, чем сочинители комедий,— они хоть полиции боятся, а на эти проклятые комедии и суда не найдешь. Уж эти авторы такую взяли волю, что с ними и житья нет. Сиди все дома, да не смей никуда носу показать, а не то того и гляди, что упрячут тебя в какую-нибудь комедию. И кто выдумал писать эти комедии — и зачем играют эти комедии — и что толку в этих комедиях! Уф! как вспомню, то у меня дух так и захватит. *(Садится.)*

Князь. Не угодно ли вам воды, сударыня?

Графиня. Нет, теперь ничего, а вчерась уж подлинно, если б не гофманские капли, то не знаю, что б со мною сделалось. Скажите сами, батюшка, вывести на сцену почтенную даму, которая любит играть в бостон, бранить молодых людей, когда они дурачатся, и заставить весь партер над ней смеяться,— ну на что это похоже?

Князь. Это верх невежества!

Княгиня. Да зачем берете вы это на свой счет, тетушка? Мало ли есть охотниц играть в бостон и браниться.

Графиня. И! матушка, да я рада бы не брать это на свой счет, да поневоле возьмешь, когда станут на тебя пальцами указывать.

Княгиня. Будто вы не знаете, как зол свет; автор, может быть, и душой не виноват. Поверьте, графиня, что тот, кто скажет вам, что автор имел намерение представить вас в своей комедии, желает зло одному ему и, может быть, пойдет от вас уверять в том же самом десять других дам, которых и имена даже незнакомы сочинителю.

Князь. Вы изволите защищать автора вчерашней комедии, сударыня; но позвольте вам заметить, что он, как по всему видно, никогда не читывал не только Ови-

диева искусства любить, но даже и ни одного хорошего любовного романа.

Княгиня. Быть может.

Князь. Он научился бы из них, как мы должны боготворить и уважать богинь сердец наших; узнал бы, что главнейшая обязанность мужчин состоит в беспрестанном служении прелестному полу, что человек некоторых лет может влюбляться, не будучи смешным, может любить, обожать, томиться, умирать от восторгов, целуя прекрасную ручку. *(Хочет поцеловать руку княгини.)* Может...

Княгиня. Без доказательств, князь. Вы не дали мне окончить, тетушка. Наша комедия будет совершенно вопреки вчерашней. Мы хотим доказать, что над мужчинами можно так же смеяться, как они смеются над женщинами.

Графиня. Вопреки! О! это другое дело; и если только можно хорошенько разбранить несносную пьесу, то пишите против нее все: комедии, трагедии, оперы и даже драмы.

Князь. И даже драмы! Прекрасно, сударыня, прекрасно! У меня есть приятель, удивительный человек для драм; ему написать драму в пяти действиях то же, что вам сыграть пулю в бостон. Если угодно, я попрошу его, и вы найдете в его драме все: жестоких отцов, несчастных любовников, слезы, вздохи, страхи, ужасы и даже, если надобно, разбойника.

Княгиня. И, князь! на что нам всю эту сволочь — ведь надобно только разругать вчерашнюю комедию.

Князь. За этим дело не станет; он разбранит ее без милосердия; выведет даже на сцену самого автора и заставит его плакать и вздыхать от первого явления до последнего.

Княгиня. Зачем же мешать невинных с виноватыми — что сделали нам бедные зрители?

Графиня. Что сделали? А разве они не аплодировали? Разве не вызывали автора? Поделом им. Да, князь, надобно путем их проучить, заказывайте смело драму.

Княгиня. И, графиня! пускай себе князь плачет и зевает сколько ему угодно, а мы будем смеяться и для того попросим Эрастова написать нам комедию.

Графиня. И в самом деле: ведь он сочинитель.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Эрастов.

Княгиня. Как вы кстати приехали, мы сейчас только о вас говорили.

Эрастов. Я только что из города. Недалеко отсюда обогнал я Изборского и графа Фольгина: они сейчас здесь будут.

Княгиня. Мы имеем до вас просьбу.

Эрастов. Приказывайте, сударыня.

Княгиня. Будьте защитником бедных женщин.

Графиня. Вступитесь за дам, которые любят играть в бостон и делать наставления молодым людям.

Князь. Уверьте публику, что не одни только те, которых должно еще водить на помочах, могут любить и нравиться прекрасному полу.

Эрастов *(княгине)*. Изъяснитесь, сударыня, я, право, не понимаю.

Княгиня. Вы видели вчерашнюю пьесу?

Эрастов. Видел, сударыня.

Княгиня. Мы также были в театре. Нам всем досадно, что господа сочинители нападают всегда на женщин, несмотря на то что можно было бы найти много кой-чего смешного и в мужчинах — и для того намерены просить вас написать комедию, где вместо кокетки был бы выведен какой-нибудь ветреник, который, желая обманывать всех женщин, был бы сам обманут.

Эрастов. Написать комедию — вы шутите, княгиня: как осмелиться взять на себя такую обязанность, когда у нас завелись свои Мольеры — свои неподражаемые комедии.

Княгиня. Про каких Мольеров вы говорите?

Эрастов. По крайней мере, так угодно многим величать автора вчерашней пьесы.

Княгиня. Тем лучше: вы докажете, что можно не только сравниться с этой неподражаемой комедией, но даже превзойти ее.

Эрастов. Конечно, сударыня, можно надеяться без дальнего самолюбия написать комедию, которая не будет иметь по крайней мере слишком разительных недостатков вчерашней пьесы; но для этого надобно, чтоб большая часть нашей публики имела более вкуса, более истинного понятия о всем изящном — и для того позвольте мне не выполнить вашего желания.

Графиня. Что это, батюшка! Не хотите ли вы отказаться?

Эрастов. Я, право, графиня, не могу никак обещать.

Графиня. Если вы сейчас не согласитесь, то приятель князя напишет для нас драму.

Княгиня. И мы заставим вас прочесть ее с начала до конца.

Эрастов. До конца! Сжальтесь, княгиня! Я на все согласен.

Княгиня. У меня есть на примете прекрасный оригинал для вашего вертопраха.

Эрастов. Об этом я не забочусь. Я живу в хорошем обществе, сударыня; но интрига, план, завязка?..

Княгиня. Постойте... Да, да! Я думаю, мне удастся дать вам сюжет. Вам надобно будет только слушать и примечать.

Графиня. Послушайте, князь, время прекрасное, пойдемте теперь в сад — там в беседке можем мы покуда до гостей сыграть несколько королей в пикет. Дашенька!

Даша. Что вам угодно, графиня?

Графиня. Если кто к нам приедет, то скажи, что мы в саду. Пойдемте, князь. *(Подает руку князю.)* А ты что, племянница?

Княгиня. Я сейчас за вами буду.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Княгиня, Эрастов и Даша.

Княгиня. Дашенька, принеси мою шляпу.

Даша уходит.

Эрастов. Позвольте мне предложить вам мою руку.

Княгиня. Могу ли я отказать вам — вы вооружаете ее для защищения пола нашего. Я осталась с вами одна для того, чтоб изъяснить в двух словах, в чем состоять должен сюжет вашей комедии.

Эрастов. Сделайте милость, сударыня.

Княгиня. Догадываетесь ли, кто должен быть оригиналом вашего модного ветреника.

Эрастов. О! сударыня, их так много, и они так сходны между собою...

Княгиня. Например, граф Фольгин.

Эрастов. Жених Софьи?

Княгиня. Вот этого-то именно я и желаю, чтоб вы поместили его в своей комедии. Послушайте, я хочу открыть глаза Софье и доказать ей, что граф ничтожный, пустой ветреник и женится не на ней, а на ее богатстве. Теперь, я думаю, вы меня понимаете. Вам должно будет только слушать и примечать, чтоб сочинить план вашей комедии. Может быть, сегодня же доберетесь вы и до развязки.

Даша *(принося шляпку)*. Извольте, сударыня.

Княгиня. Пойдемте, дорогою расскажу я подробнее, что вам надобно будет делать.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Даша *(одна)*. Мне из ума нейдет вчерашняя комедия; все об ней говорят: одни бранят, другие хвалят. Как бы я желала ее посмотреть. Барышня сказывала, что в ней есть также горничная девушка, которая очень похожа на меня, и будто многие говорили, что она слишком умна для служанки! Какие смешные эти господа: думают, что теперь такие же глупые горничные, как лет сто назад. Нынче умной горничной стоит только лучше приодеться да пооткрыть побольше плечи, так она, право, иную и графиню перещеголяет.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Даша, граф и Изборский.

Граф. Ах, mon cher *, как я измучен, как устал! По чести, мне должно было бы никуда не выезжать из дому. Несносная мостовая!

Изборский. Мы, кажется, довольно спокойно ехали.

Граф. Правда, коляска моя не тряска, а со всем тем... А! Дашенька, ты здесь, душенька!

Даша. Здравствуйте, сударь.

Граф. Ты здесь одна, малютка?

Даша. Барышня еще одевается, а графиня с вашим дядюшкою и княгинею пошла в сад.

---

* мой дорогой *(фр.)*.

Граф. Скажи пожалуйста, Дашенька, отчего ты каждый день делаешься милее?

Даша. И приказала вас просить туда же.

Граф. Изборский, видал ли ты где-нибудь такую миленькую субреточку?

Даша. Вы, сударь, как кажется, не очень спешите увидеться с барышнею.

Граф. Мы успеем еще насмотреться друг на друга. *(Берет ее за руку.)* Послушай, миленькая!

Даша. Я, сударь, слушаю не руками. Ступайте в сад, графиня вас дожидается.

Граф. Э, Дашенька! оставь свою сиятельную барыню — кому придет в голову думать об ней, говоря с такой хорошенькой, прелестной служаночкою.

Даша. И, граф! вы уж мне наскучили,— все одно да одно. Оставайтесь же здесь, а я пойду сказать барыне, что вы приехали. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Граф и Изборский.

Граф *(подойдя к зеркалу)*. Ах, боже мой! какое у меня измятое лицо. Я не похож на самого себя.

Изборский. Удивительно ли! Ты вчерась до четырех часов пробыл у барона.

Граф. Да неужели я должен был сделать то же, что ты,— уехать в одиннадцать часов! Фи, mon cher! это уже слишком по-мещански.

Изборский. Как хочешь, граф, я не могу никак приучить себя танцевать или сидеть всю ночь за ломберным столиком, а потом спать до самого обеда.

Граф. О! тебе нужно еще ко многому приучить себя. Кто хочет жить в свете, тот должен всячески приноравливаться к образу жизни, к тону, принятому во всех обществах. Вот, например, ты никак не можешь отвыкнуть от своей смешной застенчивости. Вчерась ты почти не мешался ни разу в общий разговор.

Изборский. Виноват ли я, что не могу, подобно тебе, рассуждать с систематическою точностию, в каких случаях и каким образом такой-то мизер можно выиграть или с такою-то игрою поставить ремиз, отчего в крепсе гораздо выгоднее кричать банко, чем делать самому предложение.

Граф. Положим, что, не будучи игроком, ты не можешь судить об игре, но вчерась у барона были сочинители, ученые,— они говорили о литературе.

Изборский. Я слушал их.

Граф. А сам не говорил ничего.

Изборский. Они рассуждали о сочинениях, которые известны мне по одному только названию.

Граф. Какая нужда! Ты также мог бы делать свои суждения: сказать, например, что слог такого-то автора тяжел, неприятен; завести спор, и если б не мог доказать своему противнику, то заставил бы по крайней мере думать других, что ты не меньше его имеешь познаний, потому что споришь и не хочешь с ним согласиться.

Изборский. Поэтому, граф, ты полагаешь, что наглость и страсть спорить о том, что для нас неизвестно или чего не понимаем, гораздо приличнее для молодого человека, чем вежливость, скромность...

Граф. Скромность, скромность! Фи, mon cher! когда ты уймешься говорить об этой скромности? Нынче одни только матушки, да и то для одной проформы, твердят о скромности своим дочкам, которые чересчур бывают уж развязны.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и Даша (подходит потихоньку и слушает).

Даша. Об чем они говорят?

Граф. Послушай, Изборский, я хочу непременно воспитать тебя и сделать человеком. Итак, верь мне, что из всех слабостей самая непростительная есть скромность. Ты можешь сам сомневаться в своих достоинствах, но не должен никогда показывать этого; уверенность в самом себе должна быть видна во всех твоих поступках; но более всего старайся говорить с похвалою как можно чаще о себе самом и как можно реже о других.

Даша *(в сторону)*. Какие христианские поучения!

Изборский. Ты позабыл, граф, что одним глупцам прилично хвалить самим себя — умный человек предоставляет это всегда другим.

Даша *(в сторону)*. Какова эта пилюля?

Граф. Вот еще одно из тех дедовских изъетых молью правил. Нынче всякий, кто имеет хотя немного

ума, старается его показывать, и тот только, кто его совершенно не имеет, молчит, или, говоря твоим языком, играет роль скромного человека.

Даша. Он не худо отделывается!

Изборский. Но разве человек с небольшим умом может уверить других, что он гораздо умнее, чем есть в самом деле?

Граф. О! очень часто. Я знаю здесь многих, которые, имея от природы ум весьма посредственный, до того кричали и заставляли кричать своих приятелей о необыкновенном их разуме, что, наконец, все им поверили и теперь закидали бы каменьями всякого, кто осмелился бы в этом хотя немного посумниться; но я отбился от своего предмета; я хотел тебе открыть в двух словах великую тайну общежития.

Даша. Послушаем, что это за тайна.

Граф. В большом свете застенчивость считается главнейшим пороком. Надобно обо всем говорить с благородною смелостию, делать резкие суждения, находить в чем-нибудь или все превосходным, или все дурным. Сказавши глупость, не только не краснеть, но поддерживать ее и даже снова повторять, если то надобно; быть всегда любезным с женщинами, рассуждать с ними с видом глубокомысленным о безделицах, всегда льстить их самолюбию, стараться всем кружить головы и никогда не влюбляться самому.

Даша. Безбожник!

Изборский. Ты даешь наставления, а между тем не выполняешь их. Никогда не влюбляться! А Софья?

Граф. Ну что же? Разве это что-нибудь доказывает? Я хочу на ней жениться.

Изборский. Следственно, ты ее любишь?

Граф. Да, она довольно милая девушка, не слишком остра! не имеет совсем живости, любезности своей двоюродной сестры, но зато добра, как ягненочек.

Даша. Негодный!

Изборский. И ты можешь говорить так равнодушно, так холодно об этой прелестной, несравненной Софье!

Граф. И, mon cher! я давно уже отвык от этих пламенных восторгов, особливо теперь, когда я намерен жениться, были бы они очень кстати. Супруг, аркадский пастушок, который тает от восхищения, смотря на томную свою подругу! О! я уморил бы со смеху всех моих знакомых.

Даша. Туда бы им и дорога!

Граф. Впрочем, Софья имеет много достоинств: она тиха, снисходительна и, кажется, будет предоброю женою.

Даша. Нет, я не могу уж более слушать. Граф!

Граф. А! ты здесь, Дашенька! Уж не подслушивала ли ты нас?

Даша. Нет, сударь, я сейчас только взошла. Барышня пошла в сад, не угодно ли и вам туда же пожаловать?

Граф. Пойдем, mon cher! Прощай, плутовочка! *(Треплет ее по щеке и отходит с Изборским.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Даша *(одна, смотря им вслед)*. Хорош гусь! И этот-то бездушный женится на моей барышне. Какая разница между ним и Изборским! Как бы я была рада, если б княгине удалось то, о чем она давеча говорила с барышней. Хоть бы одного из этих модников вывести путем на свежую воду, может быть, тогда б стали им меньше верить или они поумнее б нас обманывали.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Театр представляет садовую беседку.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф, князь и графиня (играют в бостон); Эрастов, Изборский, княгиня и Софья (сидят полукружием).

Графиня. Вам делать сюры, князь.

Княгиня. Кстати, Изборский, я еще вас и не спрашивала, были ли вы вчерась в театре?

Изборский. Был, сударыня.

Княгиня. Что вы думаете о новой комедии?

Изборский. «Урок кокеткам, или Липецкие воды»?

Граф *(играя в карты)*. Спросите лучше, княгиня, стоит ли она того, чтоб об ней что-нибудь думать.

Изборский. Как, граф! ты говоришь...

Граф. Да, я говорю, что она прежалкая пьеса.

Графиня. Да и вы, батюшка, прежалкий игрок! Что вы делаете! Ну так и есть, у вас дама сам-третей, а вы бьете бубны. Дать выиграть такую игру! Вы были бы без двух, князь.

Граф. Извините, я заговорился.

Графиня. Прекрасное оправдание. Да разве можно говорить, когда играют в бостон. Зачем мешаться в их разговоры. Проклятая комедия! Восемь выиграны, мой ремиз взят, а вся беда опять от нее.

Граф. Мы так давно уж играем, что у меня голова начинает кружиться. *(Софье.)* Могу ли вас просить сыграть за меня несколько игр.

Софья. С великим удовольствием!

Княгиня *(тихо Софье)*. Не забудь, что мы говорили поутру. Советую тебе замечать наш разговор.

Софья садится на место князя и начинает играть, а граф садится на ее место.

Княгиня. Растолкуйте мне, граф, что вы хотели сказать своей жалкой пьесой?

Граф. Мне кажется, это очень понятно, сударыня.

Княгиня. Итак, по вашему мнению, вчерашняя комедия...

Граф. Плоска, суха, несносна, скучна до бесконечности.

Изборский. Ты шутишь, граф.

Граф. Надобно иметь ангельское терпение, чтоб вынести ее до конца.

Изборский. Какие же имеешь ты причины находить ее дурною?

Граф. Тысячу. Во-первых, она от самого начала до последнего явления никуда не годится.

Изборский. Но чем докажешь ты это?

Граф. Чем, чем! Забавный вопрос. Как будто я обязан доказывать! Довольно — я говорю, что она никуда не годится — чего же тебе больше?

Изборский. Это еще не убедительное доказательство.

Граф. Я спал в продолжение всей пьесы.

Изборский. Может быть, перед этим ты играл целую ночь в крепс.

Граф. Я спал не один — все спали.

Изборский. Все! это что-то новое!

Граф. И если хочешь, покажу тебе эпиграмму, в которой то же самое напечатано.

Княгиня. Слышите ли, Изборский, надобно, чтоб вы были слишком упрямы, если не согласитесь теперь, что и вы спали вместе с другими.

Изборский. Я не буду сам отвечать. Графиня! позвольте вас спросить, уснули ли вы вчера в театре?

Графиня. И! батюшка, как можно было уснуть. Все как будто взбеленились: такое было хлопанье, что до сих пор в ушах звенит.

Граф. Это партер, вечная опора господ авторов. Как будто рукоплескание партера что-нибудь значит!

Князь. Это бы ничего, мой милый; но вообрази, до какой степени вкус публики испорчен — я сам видел, что аплодировали не только в креслах, но даже и в ложах!

Изборский. Видишь ли, граф, твоя эпиграмма солгала.

Граф. По крайней мере я не аплодировал ни разу и проснулся только в пятом акте от фейерверка, которым, как кажется, сочинитель хотел поразогреть свою пьесу.

Княгиня. Поразогреть свою пьесу — как вы злы, граф! Поразогреть! Как это остро! Мне досадно, что автор вас не слышит; я уверена, что это *поразогреть* было бы ему совсем не по сердцу.

Граф. Я намерен против него кой-что написать. Стихов я не сочиняю, но какую-нибудь сатиру в прозе. О! сударыня, если б вы знали, что у меня есть в голове...

Князь *(играя)*. Гранд-мизер парту.

Изборский. Пиши что хочешь: и прозой и стихами, а со всем тем комедия прекрасна; она делает честь нашей словесности. Я нахожу даже, что в ней есть места, достойные Мольера.

Граф. Достойные Мольера — ха, ха, ха! Мольера, который восхищает и французов!

Изборский. Чему ж ты смеешься?

Граф. Я? так — ничему. Достойные Мольера! Это бесценно!

Изборский. Что же кажется тебе тут странным?

Граф. Ничего, совершенно ничего. Достойные Мольера! Это забавно, очень забавно!

Изборский. Можно ли не восхищаться сценою между Пронским и графиней Лелевой?

Граф. Это правда, слушая ее, я зевал от восхищения.

Княгиня. Еще! Нет, граф, мне жаль уж бедного сочинителя! Зевать от восхищения — можно ли быть таким насмешником. Надобно сказать правду, попадись только вам на язычок...

Граф. Вы шутите, княгиня,— будто я так зол! Поверьте, что я...

Графиня *(играя)*. Бет, сударь, бет,— прошу записать.

Граф. Что я гораздо милостивее многих говорю об этой пьесе — послушали бы вы моих знакомых.

Изборский. Я не понимаю, отчего вздумалось тебе и твоим приятелям укладывать нас спать, когда вся публика отдает должную справедливость этой пьесе.

Граф. Послушай, возьмем в посредники г-на Эрастова; он сочинитель, следственно, лучше может доказать, что вчерашняя комедия никуда не годится.

Эрастов. Извините, граф, я не совсем буду согласен с вами. Вы судите слишком строго. В ней проскакивали кой-где места довольно сносные, стихи вообще нельзя назвать совершенно дурными.

Граф. О, не говорите мне ничего о стихах. Сколько ни старался я заметить, но по сих пор не знаю, чем она писана: стихами или прозой.

Изборский. Тем лучше— следственно, стихи так плавно и легко написаны, что трудность размера и ударений в них совсем неприметны.

Граф. Фи, mon cher! как тебе не стыдно! Какие это стихи, если их можно читать так же легко, как прозу? Надобно, чтоб в стихах была всегда какая-то величественная шероховатость, которая придает им вид важный, а особливо в мрачных описаниях. Вот, например, один из моих знакомых читал недавно при дамах свое сочинение: лишь только он начал, то у всех, кто мог его понимать, волосы стали дыбом; в половине чтения сделалось многим дурно, а под конец одна дама упала в обморок и лежит теперь при смерти в горячке. Вот истинно пиитические стихи.

Княгиня. Ну пусть бы обморок, а то горячка! Нет, граф, эти стихи уж слишком хороши.

Изборский. Я до сих пор думал, что ясность есть первое достоинство стихов.

Граф. Ясность! ясность! Вот на чем помешались все эти господа; да знаете ли, что сказал один знаме-

нитый писатель: автор не тем велик, что изъясняет, но тем, что должно в нем отгадывать.

Изборский. Поэтому в «Тилемахиде» каждый стих заключает в себе нечто великое?

Княгиня. Я вижу, что вы хотите замять разговор о комедии, но это вам не удастся. Г-н Эрастов, вы начали что-то говорить о ее недостатках.

Эрастов. Я бы никогда не кончил, сударыня, и для того замечу только главнейшие: во-первых, вся комедия имеет вид сатиры...

Изборский. Вы позабыли, сударь, Аристотель говорил, что сатира сделалась тогда поучительнее, когда ее стали представлять на театре в виде комедии.

Граф. Аристотель говорит! Прекрасное доказательство! Аристотель мог быть учителем своих римлян, но мы...

Изборский. Он был грек.

Граф. Грек или римлянин для меня все равно — я знаю только, что все римские и греческие мудрецы не уверят меня, что вчерашняя пьеса может назваться хорошею.

Княгиня. Браво, граф, не уступайте. Неужели в самом деле, не спросясь у г-на Аристотеля, нельзя бранить никакой комедии?

Графиня. Об чем ты думаешь, Сонюшка,— засдаешься в другой раз сряду.

Софья. Я слушала, как граф говорил об Аристотеле.

Князь. О, сударыня! мой племянник великий человек для этого, он знает по пальцам всю древнюю историю.

Княгиня. Это, думаю, кузина успела уж и заметить. Ну, г-н Эрастов, добивайте поскорей несчастную комедию.

Эрастов. Я нахожу, что вообще все разговоры между кокеткой и графом Ольгиным ни на что не похожи. Так ли должно молодому воспитанному человеку обходиться с благородною женщиною? Чем начинается их разговор при первом свидании? Он говорит ей вещи, которые едва ли можно позволить себе с простою горничною девушкою; одним словом, характер кокетки совсем не выдержан, и дерзкий тон графа так унижает ее в глазах зрителей, что она становится для них совсем не интересною.

Граф. Браво, г-н Эрастов, прекрасно, нельзя лучше. Ну, что же ты ничего не отвечаешь?

Изборский. Это не трудно сделать; я нахожу...

Граф. Отвечай же, отвечай!

Изборский. Мне кажется...

Граф. Говори, говори, посмотрим, что ты скажешь?

Изборский. Мне кажется, что граф Ольгин поступает естественно. Не забудьте, что автор хотел в нем представить самого дерзкого, избалованного женщинами модника; он знает Лелеву, знает, что она должна была поневоле уехать из Петербурга, следственно, не считает себя принужденным наблюдать с ней ту вежливость, которую мы обязаны женщинам, заслуживающим уважение общества; он думает даже сим способом открыть глаза своему двоюродному брату. И где же была бы мораль пьесы, если б автор в сей унизительной для графини сцене не хотел показать, каким неприятностям подвергается всякая женщина, пренебрегая суждения света, как излишнее кокетство дает мужчинам право быть дерзкими и терять к ним всякое уважение.

Княгиня. Ай, ай, граф! наши дела идут худо.

Граф. Пустые доказательства, mon cher! Набор громких слов, и больше ничего.

Княгиня *(Эрастову)*. Скорей секурс *, а не то мы пропали.

Эрастов. Вы скажете также, что характер кокетки не унижен, когда она дает рандеву тому же самому вертопраху, который за несколько минут до того наговорил ей столько дерзостей.

Изборский. Это-то самое и заставляет ее назначить свидание; она надеется завести его самого, вскружить ему голову, заставить быть скромным и не только не мешать ее планам, но даже помогать ей. Если б он не испугал ее с самого начала своим насмешливым тоном, то она не имела бы никакой причины назначать ему свидания, тем более что всякая нескромность со стороны ветреника превратила бы в ничто все ее намерение.

Княгиня. Мне кажется, граф, что Изборский лучше сделает, если замолчит.

Граф. О, гораздо лучше! По чести, мне жаль тебя, mon cher, ты всех заставишь смеяться над собою. Защищать такую комедию!

---

* Помощь, подкрепление (от *фр.* secours).

Эрастов. Г-н Изборский защищался довольно хорошо, но посмотрим, чем оправдает он личности, которыми наполнена пьеса.

Изборский. Личности! вот всегдашний и самый несправедливый упрек, который делают комическим авторам. Комедия должна быть зеркалом, в котором каждый может видеть свое изображение, но не должен узнавать себя. Автор, сочиняя комедию, осмеивает пороки, и как не удивительно, что, давая своим персонажам характеры, сообразные с планом пьесы и нравами его современников, может самым невинным образом сделать себе кучу неприятелей.

Эрастов. В этом я согласен; но баллады, про которые он так часто говорит...

Граф. Да, да, баллады! Я было и позабыл об этом. Ну, г-н защитник, что скажешь ты теперь? Разве это не личности?

Изборский. Где ж тут личность? Разве баллада лицо? Автору «Липецких вод» не нравится сей род сочинений — это нимало не удивительно. Одни красоты поэзии могли до сих пор извинить в нем странный выбор предметов, и если сей род найдет подражателей, которые, не имея превосходных дарований своего образца, начнут также писать об одних мертвецах и привидениях, то признайтесь сами, что тогда словесность наша немного выиграет.

Граф. Ты мастер делать фразы; но это не поможет тебе нимало. Все мои знакомые одного со мною мнения; комедию засыпают эпиграммами. Апропо*! мне сегодня еще про одну сказывали: постойте, я вспомню. Ничего не может быть прекраснее — совершенно французский оборот. В первом стихе есть что-то о природе, а во втором о сухих водах.

Княгиня. О сухих водах! Это в самом деле прекрасно! Жаль только, что я не понимаю.

Граф. Это аллюзия насчет названия пьесы. Сухие воды! Чувствуете ли, княгиня, как это остро! Какая едкая двусмысленность. Сухие воды! как зло! По чести, в этих двух словах гораздо более ума, чем во всей этой жалкой комедии.

Княгиня. Я согласна с вами: эти сухие воды удивительно замысловаты. Признайтесь, граф, вы первые подали мысль написать эту эпиграмму.

---

* Кстати, между прочим (от *фр.* à propos).

Граф. О нет, сударыня.

Княгиня. Вы скромничаете.

Граф. Уверяю вас.

Княгиня. В этой эпиграмме виден ваш ум, ваша острота.

Граф. Вы очень милостивы, но клянусь, что тут я совсем не виноват пред бедным сочинителем.

Княгиня. Ну, Изборский, попробуйте теперь защищать еще вашу комедию. Видите ли, что достается автору. Князь говорил еще про какую-то сатиру в прозе — смотрите, чтоб и вас туда не поместили.

Изборский. Это меня совсем не пугает. Знаете ли что, княгиня! я им прочту прекрасную басню: «Слон и Моська», одного знаменитого нашего писателя.

Граф. Нашего писателя... Прочти, прочти.

Изборский.

«По улицам Слона водили,
Как видно напоказ:
Известно, что Слоны в диковинку у нас;
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться,—
Ей Шавка говорит,— тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх! эх! — ей Моська отвечает.—
Вот то-то мне и силы придает,
Что я совсем без драки
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»

Княгиня. Вы этим не удивите: они найдут тотчас свое оправдание в конце басни.

Граф. Вся эта басня украдена из Лафонтена точно так же, как и комедия из Мольера.

Изборский. Вы правы, граф, оба наши автора стараются украсть талант французских писателей.

Графиня *(бросая карты)*. Что это! Семерка самдруг и две маленькие, а мизер выигран, на что это

похоже! Не стыдно ли вам, князь! дожили вы до седых волос, а не умеете путем разыграть открытого мизера.

Князь. До седых волос! Сударыня! будьте поразборчивее в ваших выражениях.

Графиня. Да, сударь, да! Когда человек дожил до семидесяти лет...

Князь. Вы скажете, пожалуй, что я был совершенным человеком, когда вы выходили замуж.

Графиня. Какая дерзость! Куда как хорошо делают, что дурачат в комедиях столетних волокит, которые накануне своей смерти думают еще любезничать и казаться молодыми.

Князь *(вскакивая со стула)*. Накануне смерти! Да, сударыня, поступают очень умно, выводя на сцену старых барынь, которые всех думают учить, а не знают сами общежития.

Графиня *(вскакивая)*. Князь!

Князь. Графиня!

Графиня. Если б я более уважала словами вашими...

Князь. Если б я менее почитал пол ваш...

Софья *(графу)*. Помирите их!

Граф *(тихо графине)*. Как вам не стыдно на него сердиться, графиня! Разве вы не видите, что он из ума выжил и хочет вопреки целому свету казаться молодым.

Графиня. Это правда.

Граф *(тихо князю)*. Не смешно ли, что вы не хотите ей уступить — разве не примечаете, что это одна только привычка со всеми браниться.

Князь. Я то же думаю.

Граф. Неужели такая безделица может вас поссорить?

Графиня. Нет, я уж не сержусь; однако ж выиграть такой мизер, и на последнюю игру!

Князь. Я постараюсь, графиня, играть вперед осторожнее.

Княгиня. Время прекрасное! Как вы думаете, тетушка, не походить ли нам до обеда по саду?

Графиня. И в самом деле, а то уж мы очень засиделись. Пойдемте, князь, видите, я уж не сердита, прошу, однако ж, вперед не делать таких ошибок.

Князь. Будьте спокойны, графиня, я не дам выиграть ни одного мизера. *(Подает ей руку.)*

Княгиня *(подавая руку графу)*. Граф! вы не откажетесь быть моим кавалером. Изборский, дайте руку кузине. *(Эрастову.)* Подождите меня здесь.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Эрастов *(один, садится на стул и вынимает книжки)*. Не надобно терять свободного времени. Я теперь один, начнем план нашей комедии. Комедии! Гм! если б мне удалось разбрызгать моей пьесой эти несносные «Липецкие воды»! Почему ж и не так! Правда, в них много ума, очень много, так — что же? Тем лучше! Умные дети не долго живут. Начнем.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Эрастов и Даша.

Даша *(не видя Эрастова)*. Здесь никого нет, видно, бостон уж кончился. Мне показалось издали, что барышня прогуливается с Изборским. Уж нейдет ли на лад наше дело, как бы я была рада! Барышня была бы счастлива, а сиятельный ветреник прогулял бы прекрасную невесту и, что еще досаднее, богатое приданое. Как бы девушка ни была прекрасна, сколько б ни имела достоинств, да если только нет к ним прилагательного, то того и гляди, что красавица вечно просидит в девках!

Эрастов *(продолжая писать)*. Прекрасно, прекрасно! нельзя лучше!

Даша. Ах! вы здесь, г-н Эрастов! как вы меня испугали.

Эрастов. Мысль нова! оригинальна! оборот совершенно необыкновенный. Посмотрим, г-н русский Мольер, посмотрим, на чьей стороне будет публика.

Даша. Что вы тут делаете, сударь? Вы забились в такой уголок, что вас совсем и не видно.

Эрастов. А, это ты, Дашенька! не мешай мне, я пишу комедию.

Даша. А будет ли в ней какая-нибудь служанка?

Эрастов. Непременно!

Даша. Ах, сударь, что вы это делаете? да знаете ли, что ничего нет труднее, как написать роль для служанки.

Эрастов. Почему ты это думаешь, миленькая?

Даша. А разве вы не слышали, как рассказывала княгиня, что говорили про служанку вчерашней комедии: одни кричат, что она чересчур умна, другие уверяют, что она слишком глупа, третьи, что некстати мешается в разговоры, — и если вы всем захотите угождать, то придется вашей служанке не говорить ни слова.

Эрастов. О! я уверен, что моя горничная всем понравится. Я выведу, Дашенька, тебя в моей комедии.

Даша. Меня! как это весело! и я также буду в комедии! Ну, сударь, вам помешают, я вижу, сюда идут княгиня и граф.

Эрастов. Ах, Дашенька, пожалуйста, уйди! Они, верно, будут говорить между собою; если ты помешаешь, то я пропущу, может быть, лучшую сцену для моей комедии.

Даша. И в самом деле. Смотрите же, спрячьтесь подалее, чтоб вас не увидели. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Эрастов *(один)*. О! это будет несравненная сцена! Один станет клясться, другая не верить — оба будут друг друга обманывать.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф, княгиня и Эрастов (скрытый).

Граф. Итак, княгиня, вы решились никогда мне не верить?

Княгиня. Перестаньте, граф! Неужели вы думаете, что я так же легковерна, так же неопытна, как Софья. О, я знаю вас, господа мужчины! Любовь, постоянство, верность всегда на языке у вас, а в сердце — никогда.

Граф. Вы шутите, княгиня! Вам ли жаловаться на непостоянство мужчин! С вашей красотой, с вашей любезностью можно ли встречать изменников. Оставьте этот упрек для обыкновенных женщин; но вы — вы, которая, соединя в себе все прелести пола вашего...

Княгиня. Не хочу иметь прочих женщин легковерность: не то ли думали вы сказать мне?.. Послушай-

те, граф, первейшее доказательство любви есть откровенность — будьте со мною чистосердечны.

Граф. Сударыня! читайте в моем сердце.

Княгиня. Признайтесь откровенно, которую уже женщину уверяете вы в вашей вечной, постоянной любви?

Эрастов. Придется попросить грифельной доски.

Граф. Клянусь, с тех пор, как я стал жить в свете...

Княгиня. Нет, со вчерашнего дня.

Эрастов. Прекрасно! Ай да княгиня! *(Пишет.)*

Граф. Вы смеетесь надо мною, сударыня!

Княгиня. Нимало. Я нахожу мой вопрос очень натуральным. Вы хотите жениться на кузине — следственно, говорите ей то же, что и мне. Я слышала несколько раз сама, что вы, позабывшись, чуть-чуть не открывались в любви моей тетушке; одним словом, мне кажется, нужно только быть женщиной, чтоб иметь право на сердце и постоянную, бесконечную любовь вашу.

Граф. Как, сударыня! вы даете такую цену этим пустым, ничтожным вежливостям. Я полагал, княгиня, что вы лучше умеете отличать истинную любовь от обыкновенных комплиментов. Пускай старые вдовушки, которые рады ко всему прицепиться, находят в них более, чем одну условную вежливость; но вам ошибаться таким непростительным образом! О! этого, княгиня, не смел бы даже я и подумать.

Княгиня. Но, сударь, я была уже свободна, когда вы узнали Софью, а со всем тем вы женитесь на ней.

Граф. Я поздно уже узнал вас, княгиня. Сначала молодость Софьи, ее излишняя доброта, которая казалась мне милою стыдливостью, невинностью, свойственною ее летам, пленили меня; я стал искать в ней и имел несчастие ей понравиться. Теперь, когда первый восторг мой прошел, я вижу все различие между вами и Софьей; но согласитесь, княгиня, это было бы слишком уже жестоко, слишком ужасно — завести невинную, неопытную девушку и после ее оставить.

Княгиня. Итак, вы женитесь на ней из одного сожаления?

Эрастов. Пятьдесят тысяч доходу хоть кого разжалобят.

Граф. Почти! ах, княгиня! для чего понравился я Софье, для чего вместо любви не получила она ко мне отвращения, как бы я был счастлив!

Княгиня. Ваша откровенность заставляет и меня

быть доверчивее. Признаюсь, я была бы очень довольна, если бы вы не понравились моей кузине.

Граф. Что вы говорите, княгиня! какое благополучие! могу ли верить?..

Княгиня. Да, граф! притворство мне не свойственно, и хотя бы мне не должно было... Но повторяю еще, что почла бы благополучной ту минуту, в которую Софья отказалась бы от руки вашей. Граф! я знаю вам истинную цену, она не создана для вас.

Граф *(в сторону)*. Прекрасно! она меня обожает, любит!

Эрастов. Пускай попробует другой обманывать, говоря правду.

Граф. Княгиня! как изъяснить вам мою благодарность; вы любите меня!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, графиня, князь, Изборский и Софья.

Граф *(не примечая других, продолжает говорить, целуя руку)*. Какое благополучие может сравниться с моим. О, повторите еще раз!..

Графиня. Что это значит! прекрасный жених! сватается за мою Сонюшку, а между тем... А тебе, сударыня, не стыдно!..

Эрастов. Браво! вот и развязка!

Графиня *(князю)*. Ну, сударь, каков ваш племянник!

Князь. Я, право, не понимаю, сударыня...

Графиня. Чего тут понимать, батюшка! Разве вы не слышали, что он говорил, разве не видали, с каким жаром целовал ее руку!

Граф. Выслушайте меня, сударыня...

Графиня. Не хотите ли вы и меня уверить...

Граф. Одно слово, графиня, и я оправдан. Я просил княгиню вступиться за меня, уговорить вас не откладывать более мою свадьбу, и в ту самую минуту, как вы взошли, я благодарил ее и просил еще раз повторить обещание быть моей покровительницей.

Графиня. Как! неужели я ошиблась. Вы в самом деле говорили об этом?

Княгиня. Да, тетушка, мы говорили о кузине.

Эрастов. Вывернулся, как вывернулся! Придется еще один акт прибавить.

Князь. Видите ли, графиня, наружность всегда обманчива. Все любовные романы наполнены подобными случаями: например, в «Маркизе Глаголе»...

Граф. И, дядюшка! оставьте ваших маркизов, попросите лучше графиню и прелестную ее племянницу довершить мое благополучие.

Графиня. Хорошо, хорошо! Оставьте же нас теперь одних с князем, нам надобно будет с ним кой о чем поговорить.

Княгиня *(тихо Софье)*. Жаль, милая, что ты не слыхала, об чем мы говорили с графом. Я перескажу тебе об этом после.

Князь. Однако же, племянник, это нехорошо оставаться наедине с княгиней, злые люди могут бог знает что выдумать.

Граф. Вы правы, дядюшка, вот если б вы были на моем месте, то злые люди не могли бы тогда верно ничего подумать дурного.

Княгиня подает руку графу.

Графиня. Что это, матушка! Можно хоть раз пустить графа погулять со своей невестой.

Княгиня. И, тетушка! им будет для этого довольно еще времени. *(Скоро уходит с графом, Софья с Изборским за ними.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Графиня, князь и Эрастов (скрывшись, пишет все время).

Князь. Какой дерзкий насмешник!

Графиня. Какая бесстыдная кокетка!

Князь. Ну точь-в-точь как этот вертопрах в «Липецких водах».

Графиня. Две капли воды, как эта ветреница во вчерашней комедии.

Князь. Поделом смеются над этими повесами.

Графиня. Не мешает, чтоб почаще сочиняли комедии на этих бесстыдных.

Князь. Слышали ли, сударыня, как племянник изволил подшутить надо мною?

Графиня. Видели ли, какие чудеса изволит строить моя племянница? Понимаю все твои затеи, сударыня. Знаете ли, князь, я готова удариться об заклад, что она хочет отбить у Сонюшки графа.

Князь. Вы шутите, сударыня.

Графиня. Нет, я ее уж знаю. Разве вы не приметили, что она почти насильно заставила графа идти с собою, но все эти хитрости ей не удадутся. Князь, я намерена нынче же сделать сговор.

Князь. Очень хорошо, сударыня.

Графиня. Пойдемте в мою горницу, здесь становится холодно, там мы обо всем переговорим хорошенько.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Эрастов *(один, выходит на средину сцены, держа в руках записную книжку)*. План для первых двух актов готов; кажется, они будут довольно интересны. Теперь надобно приняться за третий. О, третий акт меня удивительно мучит. Уж мне этот граф! Надобно было вывернуться. Комедия была бы кончена, а теперь придумывай опять новую развязку, прибавляй целое действие. Ну, так и быть. Пойду в какую-нибудь густую аллею, буду бродить взад и вперед, надумаю, начну писать, окончу, отдам свою пьесу на театр — и прощай «Липецкие воды», только об них и говорили. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната княгини Зарецкой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Княгиня, Софья и Даша.

Софья. Ах, княгиня! я до сих пор не могу поверить...

Княгиня. Что граф Фольгин не шутя открывался мне в любви? Это еще ничего, но вот что забавно: он думает, что вскружил мне голову.

Софья. Не удивительно, если вы захотите его уверить в этом.

Княгиня. И не думала. Я говорила только, что очень была бы рада, если б ты не вышла за него замуж.

Даша. И его сиятельство расчел тотчас, что вы желаете это для того только, чтоб он на вас женился. Надобно сказать правду, у этих господ совсем нет самолюбия.

Княгиня. Мне кажется, милая, когда мы ходили по саду, ты совсем не скучала со своим кавалером.

Софья. Я должна сказать правду: Изборский никогда еще не бывал так любезен.

Княгиня. Это оттого, что прежде ты всегда с предубеждением об нем судила.

Даша. Воля ваша, сударыня, а я не взяла бы за одного Изборского целую сотню таких графов, как ваш жених. Послушали бы вы, как он изволил нынче поутру об вас поговаривать: «Она добра, добра, как ягненочек, о, она будет предоброю женою» — да каким же едким голосом, вот так бы с досады ему в глаза и вцепилась.

Софья. Я начинаю сама примечать, что выбор тетушки не может составить мое благополучие, но что присоветуете мне делать? Вы знаете, когда графиня на что-нибудь решится...

Княгиня. Об этом не беспокойся, я берусь довести до того графа, что он сам откажется от твоей руки.

Софья *(с некоторою досадою)*. Откажется! не слишком ли много надеетесь вы на себя, княгиня?

Княгиня. Напротив, это так легко, так нетрудно...

Софья *(с живостию)*. Признайтесь, кузина, что вы бываете иногда очень самолюбивы.

Княгиня. Браво! ты сердишься, ma chere! Но утешься, милая, на это есть причины, которые не должны никак оскорблять твоего самолюбия. Я еще раз повторяю тебе: он не любит и не может любить никого, кроме самого себя.

Софья. Вы не так поняли меня. Я никак не могу поверить, чтоб граф был способен к такой низости.

Княгиня. Должна будешь поверить, когда узнаешь его покороче. Я намерена, однако ж, сделать с тобою небольшой уговор. Если граф от тебя откажется...

Софья. То я должна выдти за Изборского,— не правда ли?

Княгиня. Точно!

Софья. Я теперь согласна с вами: он гораздо любезнее графа, и я не могу вспомнить без стыда прежнее свое предубеждение.

Княгиня. Дашенька обещалась мне помогать. Я думаю, ты твердо знаешь свою роль?

Даша. Будьте покойны, сударыня, могу ли забыть ее, когда дело идет о том, чтоб одурачить какого-нибудь модника. Ах, сударыня, если б вы знали, как я их всех ненавижу. Ну, право, я не знаю, как есть еще такие жалкие женщины, которые могут любить этих выпускных кукол.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Эрастов.

Эрастов. Я вас искал везде, княгиня! Я пропал без вашей помощи. План моей комедии не подвигается ни крошечки вперед. Я сколько ни мучился, не мог никак придумать, с чего начать этот несносный третий акт.

Княгиня. Начните его тем, что молодая неопытная девушка, которая была прежде ослеплена наружным блеском мнимых достоинств нашего ветреника, узнает свое заблуждение. Между тем он продолжает обманывать ее тетку, и... Но чего же лучше? Графиня и граф идут сюда! Мы уйдем, а вы сядьте в этом углу за столиком. Я уверена, что они продиктуют вам целую сцену. Пойдем, милая, я расскажу тебе, каким образом намерена провести нашего жениха.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Эрастов (за столом), графиня и граф.

Графиня. Где ж Сонюшка? Я думала, что найду ее здесь. Верно, они ушли опять гулять по саду.

Граф. Графиня, позвольте еще раз повторить вам мою просьбу: сделайте меня совершенно благополучным.

Графиня. Так вы очень любите Сонюшку?

Граф. Ах, сударыня! наш язык не имеет выражений, которые смогли бы дать вам хотя некоторое понятие о моих чувствах. Ее прелестный вид, ангельская доброта, пленительная невинность обворожают меня, и, простите моей смелости, графиня, то чудесное сходство, которое нахожу я между вами...

Графиня. В самом деле вы находите, что племянница походит на меня?

Граф. Невероятным образом! Натурально, некоторое различие в летах уменьшает это сходство,— она еще так молода, черты лица ее не имеют еще той полноты, того совершенства, тех форм, которые дают им лета, одним словом, она обещает еще только быть тем, что вы есть теперь, сударыня.

Графиня. Льстец! правда, смолоду я была не дурнее ее, но теперь...

Граф. Перестаньте, графиня, вы заставляете меня краснеть. Позвольте вам напомнить: излишняя скромность становится пороком. Итак, сударыня, вы намерены сделать мою свадьбу.

Графиня. Очень скоро! Вы можете еще подождать — несколько дней не составят большой разницы.

Граф. Но для чего откладывать мое благополучие, когда несколькими днями прежде могу получить лестное право называть вас моею тетушкою. Вы знаете, как зол свет, сударыня; мое уважение, душевная к вам привязанность, частые посещения — все заставляет злых людей делать свои заключения. Назовите меня скорей племянником, и все эти клеветники должны будут замолчать.

Графиня *(в сторону)*. Он так убедительно просит! *(Ему.)* Подождите здесь, любезный граф, я подумаю и, может быть... Но я не говорю теперь ничего. *(Уходя, в сторону.)* Пойду, сыщу Сонюшку, приведу сюда и тут же сделаю сговор! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Граф и Эрастов.

Граф *(не замечая Эрастова)*. Ха, ха, ха! Что может быть легче, как вскружить голову старухе, которая воображает, что еще молода! Бедняжки! им даже и то приятно, когда услышат, что можно еще сомневаться в их добродетели. Итак, я женюсь на Софье! женюсь! Как трудно выговорить это слово! Софья так проста, так скучна!.. Но что нужды до этого? Я буду каждый день ездить с утра до вечера по моим знакомым, она станет сидеть дома, и мы только изредка будем видеться между собою. Княгиня сказала мне, что придет сюда о чем-то говорить со мной, Как она мила! Как любезна!

И если мне надобно непременно уже жениться, то для чего б не на ней? Нет, княгиня мила, очень мила! Но две тысячи душ...

Эрастов. Еще милей.

Граф. Ба! Г-н Эрастов, что вы тут делаете?

Эрастов. Пишу комедию.

Граф. Только!.. *(В сторону.)* Княгиня сюда будет, как бы его отправить. *(Ему.)* Знаете ли, г-н Эрастов, что древние всегда сочиняли на чистом воздухе.

Эрастов. Когда они списывали с природы. Живописцу не должно терять из виду своих оригиналов.

Граф. Так подите ж скорее в сад, дядюшка с графиней там гуляют.

Эрастов. Они хороши только для второклассных персонажей, а меня теперь занимает главное лицо и проклятая развязка, никто лучше вас мне не поможет ее сделать.

Граф. Я бы сам желал, чтоб вы меня развязали с вашей комедией, которой ни плана, ни завязки я не знаю.

Эрастов. Я вам все расскажу. Изволите видеть...

Граф. Я, сударь, ничего не вижу. *(В сторону.)* Он так же несносен, как автор вчерашней пьесы.

Эрастов. Послушайте! сюжет довольно забавен.

Граф. Верю, сударь, верю.

Эрастов. Не правда ли, что промотавшийся ветреник, который хочет жениться на приданом и попадется в дураки, будет очень смешон. Ха, ха, ха!

Граф. Смешон... Может быть.

Эрастов. Однако ж вы не смеетесь.

Граф. Вам угодно, чтобы я хохотал, извольте, сударь: ха, ха, ха!.. Довольны ли вы теперь?

Эрастов. Изрядно, а еще больше меня одолжите, ежели скажете, что мне в конце пьесы сделать с моим ветреником?

Граф. Ох, сударь, пошлите его к черту!

Эрастов. К черту? браво, брависсимо! Прекрасная мысль: их будет пара, я вам очень благодарен. Побегу к Изборскому, он человек умный и поможет мне придумать, как бы поскорей его туда отправить. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф, потом Даша.

Граф. Что врал мне этот несносный поэт о ветренике, о приданом... Мне кажется, он сказал, что хотят его дурачить... Неужели он осмелился на мой счет... Меня дурачить... Ха, ха, ха! Какая плоская мысль; чем, смею спросить; разве Софья не без памяти в меня влюблена; разве тетка не отдает ей всего имения... А, Дашенька!

Даша. Княгиня прислала меня сказать вам, что она сейчас сюда будет.

Граф. Но не так еще скоро, чтоб я не успел между тем поцеловать тебя.

Даша. Перестаньте, сударь.

Граф. Как я рад, что у будущей моей жены будет такая миленькая служаночка.

Даша. А разве вы слышали, сударь, что графиня отдает меня за ней в приданое?

Граф. Да как же! Ведь Софья наследница всего имения.

Даша. Как сударь! Всего имения?

Граф. Да как же, миленькая?

Даша. Право! поэтому графиня передумала.

Граф. Что такое?

Даша. Так, ничего — я слышала...

Граф. Что ж ты слышала, душенька?

Даша. Я, сударь... я не знаю, как вам сказать...

Граф. Ну, да говори же, чего ты боишься?

Даша. Я, сударь, боюсь, если вы на меня после скажете. Может быть, графиня имеет причину таить это.

Граф *(в сторону)*. Что это значит? *(Вслух.)* Говори смело, Дашенька! Уверяю тебя, что об этом никто не узнает.

Даша. Ведь наследница всего графинина имения княгиня.

Граф. Ты шутишь, Дашенька!

Даша. Точно, сударь; барышня воспитывалась у графини, вот почему все и думают, что она ее наследница; а, напротив, графиня хочет непременно, чтоб все имение осталось в ее роде, и для того укрепила его княгине, дочери родного ее брата, а не вашей невесте, которая ей племянница по покойнице ее сестрице,

Граф *(в сторону)*. Что я слышу! Так поэт и прав, чуть-чуть не попался я в дураки.

Даша *(в сторону)*. Задумался. *(Вслух.)* Я уверена, что это вас нимало не огорчает, граф,— вы женитесь на моей барышне не для имения.

Граф. Конечно, миленькая! *(В сторону.)* Как-то будет мне теперь выпутываться.

Даша. Вот и княгиня!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и княгиня.

Граф. С каким нетерпением я дожидался вас, сударыня.

Княгиня. Меня задержала графиня, она ищет по всему саду князя и Софью. Мне кажется, граф, что тетушка намерена сделать нынче ваш сговор.

Граф. Право!

Княгиня. Я думаю, это должно быть для вас очень приятно.

Граф. Конечно! Но позвольте вам сказать откровенно, княгиня, я не хотел бы слишком спешить своею свадьбою.

Княгиня. Как, сударь! Давно ли вы показывали такое нетерпение?

Граф. Это правда, сударыня. Мне так уже наскучило быть женихом, что хотел все кончить, но теперь, обдумавши хорошенько, вижу, что эта поспешность совершенно не у места.

Княгиня. Давно ли стали вы обдумывать то, что делаете?

Граф. Мне надобно прежде аранжировать* свои дела, привести в порядок мое имение. Послушайте, княгиня, неужели вы думаете, что я женюсь на Софье, не знав, что она не богата; я знаю, точно знаю, что она будет иметь одно только весьма умеренное приданое.

Княгиня. Как, граф! С чего вы взяли это? Я уверена, что тетушка отдает ей все свое имение. Вы ошибаетесь.

Граф. Ожидал ли я, сударыня, что Дашенька будет со мною откровеннее, чем вы.

---

* привести в порядок (от *фр.* arranger).

Княгиня. Что это значит? *(С сердитым видом.)* Дашенька?

Даша. Я, сударыня... я... Граф, не стыдно ли вам? Я, право... только говорила... только сказала...

Княгиня. Кончишь ли ты...

Даша. Виновата, сударыня!.. Я не думала... чтоб мужчины были так же болтливы, как...

Княгиня. Женщины; благодарствуй.

Граф. Божусь, княгиня, она только подтвердила мне то, что я уже давно знал.

Даша. Изволите слышать, сударыня, граф сам давно уж знал.

Княгиня. Но ты как смела!

Даша. Проклятый язык!.. Ах! я проболталась, ради бога, не говорите ничего графине... Да попросите, сударь, за меня...

Граф *(в сторону)*. Теперь нет сомнения! *(Громко.)* Я вас прошу, не погубите эту малютку.

Княгиня. А я вас прошу верить не ей, а мне...

Граф. О! я готов верить всему, что вы прикажете.

Княгиня. Нет! нет! я вижу по вашей хитрой улыбке, что вы сомневаетесь.

Граф. Но чем могу я доказать вам...

Даша. Чем-нибудь, сударь, да только поскорее; у меня так сердце и бьется,— чтоб не пришла графиня.

Граф *(в сторону)*. Прекрасная мысль, одним камнем два удара! *(Громко.)* Извольте, княгиня, я вам это докажу: вы знаете мои правила...

Княгиня. Знаю, сударь.

Граф. Итак, как благородный человек, я не мог бы отказаться от Софьи, когда б она была точно бедна, не правда ли?

Княгиня. Правда.

Граф. А я, княгиня, если это вам угодно, от нее отказываюсь. Вы видите теперь, кому я верю.

Княгиня. Вижу!

Даша *(в сторону)*. И я также!

Граф. Но будет ли это вам приятно, княгиня?

Княгиня. Мы, кажется, давеча об этом уже говорили.

Граф. Однако ж мне все-таки совестно, эта бедняжка в меня так влюблена...

Даша. Как, сударь?.. Проклятый язык! опять было проговорилась.

Граф. Что такое?

Даша *(глядя на княгиню)*. Ничего, сударь?..

Граф. Прошу вас, княгиня! скажите! скажите!

Княгиня. Самая удивительная странность, я не могу без смеха вздумать — моя кузина влюблена в Изборского.

Граф. В Изборского! вы шутите! в Изборского! Прекрасный вкус!

Княгиня. И он почти два года украдкой по ней вздыхает, не забавно ли это?

Граф. Ха, ха, ха!

Княгиня. Предпочитать вам Изборского...

Граф. Ха, ха, ха! таить два года!

Княгиня. И не говорить ни слова!

Граф. Уморительно, ха, ха, ха! Послушайте, княгиня, кончимте этот жалкий роман,— женимте их!

Княгиня. Женимте!

Даша. Жените!

Граф. Как это будет забавно, ха, ха, ха!

Княгиня. Забавно! ха, ха, ха!

Даша. Очень забавно! ха, ха, ха!

Княгиня. Даша, позови Изборского.

Даша *(в сторону)*. Попался голубчик. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, кроме Даши.

Граф. Вы спешите воскресить нового Вертера, как вы жалостливы, княгиня.

Княгиня. Не должно терять времени, когда делают доброе дело.

Граф. А когда их можно сделать два вдруг, то надобно еще больше спешить, не правда ли, княгиня?

Княгиня. Конечно!

Граф. Итак, вы согласитесь?..

Княгиня. На что, сударь?

Граф. Сделать счастье человека, который ничем не походит на Изборского.

Княгиня. Да уверены ли вы, что я могу сделать счастье такого человека?

Граф. Вы одни или никто — вы знаете меня, княгиня.

Княгиня. Да вы еще не очень меня знаете.

Граф. Я, сударыня!..

Княгиня. Вы, граф, вы!.. Думаете ли, что женщины всегда бывают теми же в своей семье, какими кажутся в обществах. Ах, сколько есть жен, которые, восхищая целый свет, мучат без милости своих мужей.

Граф. Но вы умны, чувствительны, любезны...

Княгиня. Но я жива, вспыльчива, ветрена и, признаюсь, люблю нравиться.

Граф. Какая восхитительная разнообразность, муж должен будет вас обожать, боготворить!..

Княгиня. Я была уж замужем, граф, и боюсь всех бесконечных привязанностей. Ревность!..

Граф. Ревность! за кого вы меня принимаете, княгиня? Разве я кажусь вам каким-нибудь Изборским, который того и гляди, что залюбит и заревнует до смерти свою жену. Нет, я буду уметь почитать вас и себя и не дать себе ридикюль * — быть несносным ревнивцем.

Княгиня. Но можно ли любить и не ревновать? Я, сударь, сама очень ревнива.

Граф. А я, сударыня, найду средство излечить вас от этой болезни: никогда вас не оставлю, буду всегда у ног ваших...

Княгиня. Ах, вы меня пугаете.

Граф. Чем, сударыня?

Княгиня. Всегда у ног моих! это сделается для меня так обыкновенным, так однообразным, что наше бесконечное супружество мне наскучит.

Граф. Мы будем тогда видеться реже, княгиня.

Княгиня. Реже, сударь! Вот каковы мужчины! Еще вы не женились, а хотите уже видеться реже!..

Граф. Но, княгиня, я думал...

Княгиня. Вы думали! что, сударь?

Граф. Мне казалось, что вам это угодно... *(В сторону.)* Какая женщина!

Княгиня. Я вижу, граф, что мой нрав, моя искренность вам не нравятся.

Граф. Мне не нравятся, княгиня! Можно ли иметь нрав лучше вашего. Я прошу вас быть только всегда так же искренней.

Княгиня. Поверьте, я никогда не переменюсь, и если муж мне наскучит, то скажу ему дружески: ах, mon cher, ты мне очень надоел! Граф, как вы думаете, что он будет отвечать?

Граф *(в сторону)*. Это уж ни на что не похоже!

---

* стать посмешищем (от *фр.* se donner un ridicule).

(Громко.) Но, княгиня, есть мужья, которым вы, верно, этого не скажете.

Княгиня. Нет, право, скажу!

Граф. В таком случае в ожидании лучшей погоды муж возьмет себе особую половину...

Княгиня. И, живя в одном доме с своей женою, станет с нею переписываться; не правда ли, что это будет прелестно?

Граф. Восхитительно! *(В сторону.)* Она полусумасшедшая, но наследница.

Княгиня *(в сторону)*. Его никак не отобьешь от тетушкина именья.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Изборский и Даша.

Княгиня. Изборский, подите сюда. Благодарите великодушного приятеля вашего, он уступает вам Софью.

Изборский. Как, сударыня! Что вы говорите? Граф...

Граф. Да, мой друг! княгиня сказала мне, что ты любишь мою невесту и что она также чувствует к тебе склонность...

Изборский. Княгиня! должен ли я этому верить?

Княгиня. Вы услышите это от нее самой.

Изборский. Какое благополучие! Граф! такой благородный, великодушный поступок...

Граф. О, не благодари меня, mon cher, это очень натурально: ты обожаешь Софью, она любит тебя, какой бы благородный человек поступил иначе на моем месте.

Изборский. Но, может быть, графиня не согласится сделать меня благополучным.

Княгиня. Она уважает вас, и если граф отказывается добровольно от руки Софьи, то она, верно, не захочет противиться ее желанию.

Изборский. Но, граф, такое великодушие удивительно.

Граф. Ты обижаешь меня, Изборский. Ты должен был всего ожидать от своего друга, и если б он знал прежде все то, что знает теперь, то никогда не был бы твоим соперником.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, графиня, князь и Софья.

Графиня. Князь, пожалуйте сюда. *(Берет за руку Софью и подводит к графу.)* Любезный граф, примите, наконец, награду за ваше постоянство.

Софья. Тетушка!

Граф. Графиня! чувства мои все те же, но обстоятельства переменились. Священный долг дружбы заставляет меня отказаться от руки Софьи.

Графиня. Что это значит?

Князь. Племянник! что ты делаешь?

Граф. Да, дядюшка! я узнал, что Изборский любит Софью, что она также к нему неравнодушна, и для того, как друг его, как благородный человек, отказываюсь от всех прав своих.

Графиня. Отказываетесь! прошу покорно, он отказывается, сам отказывается от моей Сонюшки! И вы, сударь, могли, и вы, сударь, осмелились! Нет, нет, я этому не верю! не могу верить! Такая дерзость, такая наглость нигде не видана.

Князь. Племянник! это в самом деле ни на что не похоже. Такого глупого великодушия не найдешь и в романах.

Изборский. Сударыня! будьте так же великодушны, как граф.

Граф. Поверьте, графиня, что я сам душевно сожалею.

Графиня. Ах, боже мой! он еще жалеет. Да не думаете ли вы, сударь, что мы все умрем с горя оттого, что вам не угодно жениться на моей племяннице; вы сейчас увидите, как много я об этом думаю. Сонюшка! хочешь ли ты выйти за Изборского?

Софья. Я уверена, тетушка, что буду с ним счастливее, чем с графом.

Графиня *(подводя ее к Изборскому)*. Изборский, возьмите ее, она ваша.

Изборский *(целуя руку Софьи)*. Сударыня! как я счастлив!

Графиня. Ваша свадьба будет через неделю, а сегодня же укреплю я Софье все свое имение.

Граф. Все имение! княгиня! что это значит?

Княгиня. Ничего.

Эрастов (*вбегая*). Я поспел к развязке!

Граф. Я обманут ужасным образом!

Княгиня. Что нужды, граф, что я не богата. Взаимная любовь наша, сходство характеров — вот одно, что может сделать нас счастливыми.

Граф. Конечно, сударыня, ваш характер, ваша любовь, моя привязанность. (*В сторону.*) Я, право, не знаю, что сказать.

Княгиня. Успокойтесь, граф, я не заставлю вас насильно на мне жениться. Это была только шутка — небольшое испытание.

Графиня. Что это все значит?

Князь. Какое-нибудь новое дурачество моего племянника.

Княгиня. Ничего, тетушка! графу показалось, что вы не отдаете Софье вашего имения, и он из великодушия уступает свою невесту Изборскому.

Графиня. Теперь я не удивляюсь.

Граф. Прекрасно, княгиня, прекрасно! Я теперь вижу, отчего кокетка вчерашней комедии вам не понравилась.

Княгиня. И, граф! если б все женщины употребляли кокетство только для того, чтоб давать уроки подобным вам, то их, верно, не стали бы за это выводить на сцену.

Граф. Это правда, сударыня, вы заставили меня играть довольно забавную роль. (*Графине.*) Графиня, желая поберечь вашу репутацию, оставляю навсегда дом ваш.

Графиня. Какая наглость! И вы еще можете, сударь...

Граф (*Изборскому*). Изборский, будь добрым мужем и попроси княгиню, чтоб она усовершенствовала твою супругу. Прощайте, княгиня, я спешу обскакать своих знакомых и стану всем рассказывать о сегодняшнем приключении.

Княгиня. Не думаю.

Граф. Слуга покорный! поедемте, дядюшка!

Князь. Я, право, не могу понять...

Граф. Поедемте! Вы поймете это в карете.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Те же, кроме князя и графа.

Княгиня *(Эрастову)*. Ну, сударь, что ваша пиеса?

Эрастов. План уже готов.

Княгиня. А развязка?

Эрастов. Самая натуральная! Осмеянный повеса уходит, степенный молодой человек женится на своей любезной. Зрители, если хотят, аплодируют, и актеры раскланиваются,

Г-Н БОГАТОНОВ,
ИЛИ
ПРОВИНЦИАЛ В СТОЛИЦЕ

КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Г-н Богатонов, недавно приехавший в столицу.
Г-жа Богатонова, жена его.
Лиза, племянница г-на Богатонова.
Князь Блесткин, жених Лизы.
Баронесса Вольмар, вдова.
Граф Владимилов, влюбленный в Лизу.
Мирославский, приятель г-на Богатонова и графа.
Клим Кондратьич, дворецкий г-на Богатонова.
Анюта, горничная Лизы.
Филутони, иностранец.
Модная торговка.
Человек г-на Богатонова.
Полицейский чиновник.

Действие происходит в С.-Петербурге, в доме г-на Богатонова.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общая комната в доме Богатонова; несколько кресел, диван и вольтеровские кресла.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лиза, а потом Анюта.

Лиза *(держа в руках книгу)*. Какая скука! книга падает из рук! Аннушка!..

Анюта *(входит)*. Что прикажете, сударыня?

Лиза. Аннушка! А! ты здесь.

Анюта. Что вам угодно?

Лиза. Мне? ничего.

Анюта. Вы изволили меня спрашивать.

Лиза. Я? Неужели?

Анюта. Да, сударыня, вы что-то хотели мне сказать.

Лиза. Быть может.

Анюта. Что же вам угодно?

Лиза. Ничего. Мне очень скучно.

Анюта. Не прикажете ли принести вам книжку?

Лиза. Нет, я не хочу читать.

Анюта. Вы ныне не играли на фортепьянах.

Лиза. Они так расстроены!

Анюта. Вы что-то сегодня очень рассеянны, сударыня. Уж не оттого ли, что целые два дня не видали князя Блесткина?

Лиза. Сделай милость, не говори мне ничего об этом несносном человеке.

Анюта. Однако ж, сударыня, князь — ваш жених.

Лиза. Но еще не муж.

Анюта. Дядюшка ваш его любит.

Лиза. Какая мне до этого нужда.

Анюта. Тетушка ваша от него без памяти.

Лиза. Тем хуже для нее.

Анюта. Дядюшка ваш хочет, чтоб вы вышли за него замуж.

Лиза. Может быть; но я не хочу.

Анюта. Он о том только и думает.

Лиза. Да я об этом совсем не думаю.

Анюта. Дядюшка ваш...

Лиза *(прерывая с досадою)*. Дядюшка ваш, дядюшка ваш! Перестань, ты мне наскучила. Я сказала уже ему, что не намерена выходить ни за кого замуж.

Анюта. Ни за кого! Полно, правда ли, сударыня? Ну, если бы, например, вместо князя был женихом вашим граф Владимилов?

Лиза. Владимилов! Ах, Аннушка! где он? Здоров ли? Помнит ли обо мне?

Анюта *(передразнивая)*. Ах, Аннушка! где он? Помнит ли обо мне? Ну, сударыня, вы не хотите ни за кого выходить замуж.

Лиза. Ни за кого, кроме Владимилова! А так как он не может быть моим мужем...

Анюта. А почему же нет, сударыня?

Лиза. Тетушка и дядюшка не согласятся никак на то.

Анюта. Г-н Мирославский писал к вашему дядюшке, что будет сюда; он большой приятель графу; и если согласится помогать нам, то...

Лиза. Из этого ничего не выйдет.

Анюта. Почему знать! Блесткин князь, да и граф Владимилов не простой дворянин; а ведь дядюшка того только и добивается, чтоб называть вас при людях — ваше сиятельство.

Лиза. Полно, Аннушка, посмотри лучше, к нам кто-то приехал. Если это Блесткин, то я уйду в свою комнату.

Анюта *(смотрит в окно)*. Это кто-то в дорожном экипаже. Кажется, как будто... Так точно! это г-н Мирославский!

Лиза. Неужели?

Анюта. Точно! Да вот он сам.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Мирославский.

Мирославский *(целуя руку у Лизы)*. Здравствуйте, сударыня! Как поживаешь, Аннушка?

Лиза. Мы никак не ожидали так скоро вас видеть.

Мирославский. Я и сам не надеялся: дороги такие дурные; и если б я ехал один, то, верно, дня два не был бы еще в Петербурге.

Лиза. Кто же ехал вместе с вами?

Мирославский. Приятель мой, граф...

Анюта. Владимилов?..

Мирославский. Точно так.

Лиза. Ах, боже мой! неужели?

Мирославский. Что же вы так испугались, сударыня?

Лиза. Я-с? я, право, не знаю! Я...

Мирославский. Вы, кажется, принимаете в нем особенное участие?

Лиза. Вы знаете, сударь, граф ездил к покойной моей матушке.

Анюта. Полноте, сударыня, к чему тут скромничать; я думаю, г-н Мирославский и без вас кой-что уж знает.

Мирославский. Приятель мой откровеннее вас: я знаю,— вы любите друг друга. Граф рассказывал мне все, только так, как рассказывают влюбленные; а я желал бы лучше знать все обстоятельства, чтоб найти вернее способ составить благополучие моего друга.

Лиза. Ах!

Мирославский. Что значит этот вздох?

Анюта. Это значит, что вы немного поопоздали приехать.

Мирославский. Как! неужели?

Анюта. Не пугайтесь, барышня еще не замужем; ее хотят только выдать замуж.

Мирославский. Кто же этот счастливый смертный?

Анюта. Постойте. Вы хотели знать все обстоятельства; я расскажу вам все по порядку. Когда матушка барышни моей была еще жива и жила здесь, в Петербурге, познакомился с нею граф Владимилов; он стал часто ездить, влюбился в барышню, барышня в него, и дело пошло было своим порядком; как вдруг графу досталось наследство в Рязанской губернии. Он уехал, и

мы целые пять месяцев не получали о нем никакого известия.

Мирославский. Он был отчаянно болен.

Лиза. Я это уж знаю.

Анюта. Между тем скончалась барыня, и мы отправились жить в деревню к брату ее, г-ну Богатонову. Вы знаете: не успели мы там пообжиться, как дядюшке рассудилось бросить свои фабрики и отправиться на житье в Петербург. Мы приехали сюда опять; дядюшка и тетушка открыли пышный дом; начали сыпать деньгами; завели дружбу с знатными...

Мирославский. И верно, без дальнего труда: они как-то охотно знакомятся с богатыми провинциалами и отменно бывают ласковы...

Анюта. Когда им нужно занимать деньги. Чаще всех ездил к нам князь Блесткин...

Мирославский. Князь Блесткин! и он-то, верно, соперник графа!

Анюта. Вы отгадали.

Мирославский. Князь Блесткин; мне что-то знакома эта фамилия... А, теперь я вспомнил: у него были богатые деревни в нашей губернии.

Лиза. Он продал их для того, чтоб прожить два года в Париже.

Мирославский. Точно так, это он. И вас хотят выдать за этого вертопраха? О, не надобно терять времени! Я постараюсь показать дядюшке и тетушке в настоящем виде их Блесткина, а между тем нынешним же утром привезу сюда графа.

Лиза. Нынешним утром! Как вы любезны, г-н Мирославский.

Мирославский. Я только что догадлив, сударыня. *(К Анюте.)* Смотри, милая, ты также должна помогать мне. На первый случай не худо бы было поссорить Блесткина с тетушкой: ты женщина, так это твое дело.

Анюта *(Лизе)*. Благодарите, сударыня.

Лиза. Вот и дядюшка!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Богатонов.

Г-н Богатонов *(оборотясь к кулисам)*. Слышишь ли? Узнай о здоровье графа, да мимоходом заверни к барону. Племянница!.. *(Увидя Мирославского.)* Ба,

ба, ба, дружище, уж здесь! По добру ли по здорову? *(Обнимает его.)*

Мирославский. Слава богу! Я только часа с два, как приехал. Ну, любезный соседушка, скажи-ка мне, как поживаешь?

Г-н Богатонов. Да так, благодаря бога, мы живем не хуже людей. Да что это, брат, на тебе? *(Осматривает его кругом.)*

Мирославский. Как что? платье.

Г-н Богатонов. Уж подлинно, что платьице! Что за кафтан! Какой покрой! Ха, ха, ха! Какой это портной вздумал нарядить тебя таким уродом?

Мирославский. Тот же самый, который шил на тебя в прошлом году.

Г-н Богатонов. И ты ехал в нем по городу и на тебя пальцами не указывали?

Мирославский. Полно, братец, кому какая нужда до моего кафтана; поговорим-ка лучше о деле. Ты, уезжая, препоручил мне фабрику свою...

Г-н Богатонов. Воля твоя, братец, а на тебя смотреть умора! Ко мне весь город ездит; неравно увидят тебя в этом наряде...

Мирославский. Фабрика твоя...

Г-н Богатонов. Я рекомендую тебе моего портного; мастер, собака! Правда, за работу берет он не дешево, и сукно-то иногда ставит дурное; но зато уж оденет тебя, как куколку.

Мирославский. Хорошо, хорошо! Фабрика твоя...

Г-н Богатонов. И, братец, полно об этом толковать; мы наговоримся еще о деле! Да я было и забыл. Племянница! жена зовет тебя к себе. Мадам Трише прислала к ней с три пропасти всякой всячины; поди-ка, авось ли и тебе что приглянется.

Лиза и Анюта уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Богатонов и Мирославский.

Г-н Богатонов. Ну, мой милый, как я рад, что ты сюда приехал; у меня здесь такое большое знакомство, и все со знатными.

Мирославский. Поздравляю.

Г-н Богатонов. Да, да, все с знатными: графы, да князья, баронессы, да превосходительные...

Мирославский. Прошу покорно! Да этак ты с нашим братом простым дворянином и знаться не захочешь.

Г-н Богатонов. Полно, братец! Мы старые знакомые, соседи, — так что тут за счеты.

Мирославский *(с усмешкою)*. В самом деле! Однако ж, не показалось бы странно твоим графам и князьям, что простой дворянин смеет мешаться в их компанию.

Г-н Богатонов. Ничего, ничего! Мы это дело сладим: я рекомендую тебя как моего приятеля.

Мирославский. Нельзя ли уволить. На что я им? Праздников давать я не могу, кланяться не люблю, придакивать не охотник...

Г-н Богатонов. Экий ты, братец! да зачем тебе кланяться? Вы, деревенские, думаете, что к знатным-то и приступу нет; вздор. Я с ними со всеми запанибрата; вот, например: «Здравствуйте, батюшка граф, ваше сиятельство!» — «Здравствуйте, любезный господин Богатонов!» А кто же это говорит? Его сиятельство граф Недочетов.

Мирославский. А скажи-ка правду: не случалось ли его графскому сиятельству занимать у тебя денег?

Г-н Богатонов. Ну что, братец, безделицу: всего-то перебрал он у меня тысяч десять. Да эти деньги не пропадшие: он человек богатый, и только я заикнись, то он, пожалуй, и мне даст взаймы.

Мирославский. Право! зачем же он занимал у тебя?

Г-н Богатонов. Да так, все как-то случалось: то книжку оставит дома; то проиграет больше, чем взял с собою; а мне прислать-то после как-нибудь забудет.

Мирославский. И конечно: до того ли знатному человеку, чтоб помнить о такой мелочи.

Г-н Богатонов. Вот как порассказать тебе еще про приятеля моего барона Радугина: что за человек! Да этаких людей и при дворе на редкость.

Мирославский. Не забывает ли и он дома своей книжки?

Г-н Богатонов. Нет, мой милый, этому я сам рублей пятьсот должен.

Мирославский. Это каким образом?

Г-н Богатонов. Мы с ним бьемся по два рублика в пикет; и поверишь ли, какое ему счастье? Платить не успеваю.

Мирославский. Как не поверить!

Г-н Богатонов. Вообрази, мой милый, какой барон добрый человек: я играю плохо; а он не только не скучает, но из снисхождения играет иногда со мною часа по четыре сряду.

Мирославский. И только по два рубля? Подлинно этот барон очень тебя любит.

Г-н Богатонов. А за что бы, кажется? А любит, точно любит; но все-таки не так, как мой милый князь Блесткин. Вот, брат, уж приятель: жить без меня не может.

Мирославский. Про этого-то я кой-что уж знаю.

Г-н Богатонов. Верно, тебе Лизонька сказала. Мы прочим ее за князя; да она что-то ни из короба, ни в короб: «Я, дескать, не расположена идти замуж, хочу в девках остаться». Да полно, у них уж у всех такой обычай: толку не добьешься.

Мирославский. Да знаешь ли ты хорошенько этого князя?

Г-н Богатонов. Как себя. Такой честной души поискать; а учен-то, воспитан!..

Мирославский. То есть: мастер танцевать, шаркать ногами, говорить по-французски...

Г-н Богатонов. Что и говорить! Поверишь ли: я отдал бы половину своего имения, чтоб знать все то, что он знает. Ну, да погоди, время еще не ушло, была бы только охота...

Мирославский. Уж не хочешь ли приняться за указку?

Г-н Богатонов. А почему бы и не так; век живи, век учись. Я уже подговорил себе французского учителя.

Мирославский. Ты хочешь учиться по-французски?

Г-н Богатонов. Да, мой милый. Меня всякий раз в краску бросит, как подумаю, что я и здравствуй не знаю сказать по-французски; стыд, да и только!

Мирославский *(в сторону)*. Он повредился!

Г-н Богатонов. Вообрази, мой друг, каково мне, когда бываю в Летнем саду или на бульваре: рта от-

крыть не смею. Здесь такой уж город: заговори только по-русски, так тебя разом за подлого и примут.

Мирославский. Чем больше я тебя слушаю, тем более удивляюсь: ты совсем переменился!

Г-н Богатонов *(с радостью)*. Право! а я еще и году здесь не живу; погоди-ка, еще годика два, так меня никто и узнавать не будет.

Мирославский. Да я и теперь тебя не узнаю.

Г-н Богатонов. Не правда ли, что я не похож уж на вашего брата, деревенского? Что во мне есть что-то такое... что-то такое, как бы тебе сказать... что-то барское, знатное!

Мирославский. В самом деле! Однако ж знаешь ли что?

Г-н Богатонов. Что такое?

Мирославский. Прежде, как ты был простым дворянином, судил ты как человек умный, а теперь...

Г-н Богатонов. А теперь сужу как человек знатный? Это, брат, кажется, будет немного получше...

Мирославский. Не сметь говорить по-русски!..

Г-н Богатонов. Да что вы в вашей глуши знаете; по-русски, по-русски! А сказать правду, что толку-то в русском языке: всякий мужик говорит по-русски; по-настоящему, нам бы и знать-то его не надобно.

Мирославский. Я удивляюсь твоим успехам: ты начинаешь уж говорить как человек, который получил самое модное воспитание.

Г-н Богатонов. Насилу заметил! Вот видишь ли, что значит жить в большом свете; а давно ли я приехал сюда дурак дураком.

Мирославский. А теперь стал каким умницей!

Г-н Богатонов. И всем этим обязан я милому моему князю. Да что и говорить: родной брат не стал бы так стараться сделать меня путным человеком, как этот любезный Блесткин.

Мирославский. Итак, у вас решено: он будет мужем Лизы.

Г-н Богатонов. Непременно.

Мирославский. А если бы, например, сыскался жених повыгоднее?

Г-н Богатонов. Повыгоднее! Да будь он хоть какой заморский принц, так не видать ему племянницы. Если б ты все знал, чем я обязан князю...

Мирославский. Уж не сам ли учит он тебя по-французски?

Г-н Богатонов. Нет, не то. Ну, да что об этом говорить; это статья особая.

Мирославский. Полно, брат; что за секреты с старинным приятелем.

Г-н Богатонов. Так-с, ничего! люди мы деревенские, простые, где влюбиться в нас какой-нибудь петербургской красавице.

Мирославский. Что это значит?

Г-н Богатонов. Ничего, безделица! Мы успели уже вскружить голову одной баронессе!

Мирославский. Одной баронессе?

Г-н Богатонов. Да, да! баронессе Вольмар, молодой вдовушке, близкой родственнице князя.

Мирославский *(в сторону)*. Хороша же, видно, эта баронесса!

Г-н Богатонов. Что, милый, ты удивляешься?

Мирославский. Как не удивляться: кружить головы в твои лета.

Г-н Богатонов. В мои лета! да что мои за лета? Прямой ты деревенщина! Кто здесь говорит о летах; здесь все молоды. Попытайся-ка спросить у какой-нибудь вдовушки, который ей год, так она тебя так отбоярит, что ты и места не найдешь.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Клим Кондратьич.

Мирославский. А! Клим Кондратьич! и ты здесь?

Клим кланяется.

Г-н Богатонов. Как же, я взял его с собою. На фабрике был он у меня конторщиком, а здесь отправляет должность — того бишь... как он?..

Мирославский. Дворецкого?

Г-н Богатонов. И, нет, братец; а вот эти... Провал бы их взял — метри... метро...

Мирославский. Метрдотель? *

Г-н Богатонов. Да, да, метрадотеля, метрадотеля! Ну, что скажешь, Кондратьич?

Клим. Мусье Филутони дожидается в передней.

Мирославский. Филутони! Что это за человек?

* Хозяин, заведующий рестораном, кухней (от *фр.* maître d'hôtel).

Г-н Богатонов. Не человек, а сокровище! Вот у него-то, подлинно, чего хочешь, того просишь; все сыщет, все сделает, скажи только слово.

Мирославский. Да не жалей денег.

Г-н Богатонов. Нет, брат, не такой человек; все верит в кредит; я ему тысяч около трех должен. Жена его держит трактир, а он промышляет всякой всячиной.

Клим. Он пришел с каким-то счетом.

Г-н Богатонов. Знаю, знаю! Я давал вчерась баронессе за городом праздник; он приготовлял стол. Позови его.

Клим *(отворив дверь)*. Мусье! ступай сюда.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Филутони.

Г-н Богатонов. Здоров, брат мусье! Как поживаешь?

Филутони. Потиконька, милостиви косударь, потиконька.

Мирославский. Я не хочу тебе мешать; да мне надобно еще кое-куда завернуть. Прощай, мой друг!

Г-н Богатонов. Разве ты у меня не обедаешь?

Мирославский. Я приеду и привезу к тебе одного человека, который очень хочет с тобою познакомиться.

Г-н Богатонов. Верно, кто-нибудь из ваших деревенских?

Мирославский. Да! человек очень добрый.

Г-н Богатонов. Не имеет ли он во мне какой надобности?

Мирославский. Может быть. Прощай, любезный, до свиданья. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Богатонов, Клим и Филутони.

Г-н Богатонов. Имеет во мне надобность... Что бы такое? А, понимаю, какой-нибудь бедняк, которого должно определить к месту. Хорошо, хорошо! мы это увидим. *(К Филутони.)* Что новенького?

Филутони. Нишефо! Што, Monsieur* Покатон, тафольно пила вшерашни опед?

Г-н Богатонов. Очень доволен! Ты хватски нас отпотчевал.

Филутони. Кохда снатна паринь исфоль у нас кушаить, ми нишефо не шалей! Мой приниос непольши сшот.

Г-н Богатонов. Давай сюда. *(Берет.)* Да это никак писано по-французски?

Филутони. Monsieur совсем не снай француска езык?

Г-н Богатонов. Нет, не могу сказать, чтоб совсем не знал; да я как-то, знаешь ты, без очков-то плохо читаю французскую грамоту. Да что тут написано?

Филутони. Тшена кушаньи.

Г-н Богатонов. Цена кушаньям. Читай-ка сам, а я послушаю.

Филутони *(читает)*. Перьви антре: суп а ла тортю... **

Г-н Богатонов. То есть суп; знаю, знаю!

Филутони. Дватсять пять рубль. Пети паше бивстекс, котелет отруфль... ***

Г-н Богатонов. Да, да, котлеты! Читай, читай, я все понимаю.

Филутони. Фосемьдесять пять. Соте де желинот, пулард, фрикасе а ла мод... ****

Г-н Богатонов. Сиречь, модное фрикасе; не так ли?

Филутони. Тошно так!

Г-н Богатонов. Мы таки, брат, кой-что разумеем!

Филутони. Во фарси... *****

Г-н Богатонов. Полно читать-то; скажи-ка лучше разом, что весь стол стоит?

Филутони. Весь? Сейшас. Фи исволил кушать шесть персон — по пятьдесят рубль с персон, триста рубли.

Г-н Богатонов. Триста.

---

* господин *(фр.)*.

** первая перемена: черепаший суп *(искаж. фр.)*.

*** мелкорубленый бифштекс, котлеты из трюфелей *(искаж. фр.)*.

**** соте из куропатки, пулярка, фрикасе по моде *(искаж. фр.)*.

***** фаршированная телятина *(искаж. фр.)*.

Ф и л у т о н и. Вина исфолил кушать на сто фосемьдесят три; ликер на пять с половиной рубль, тоталь: * четыреста фосемьдесят фосемь рубль атна бульдин.

Г-н Богатонов. Четыреста восемьдесят восемь рублей с полтиною. *(В сторону.)* Разбойник, как он дерет! А торговаться как будто совестно,— он не русский.

Ф и л у т о н и *(подавая счет)*. Угодна — поверяит.

Г-н Богатонов. Чего поверять! вы народ дельный, итоги подвести умеете. *(В сторону.)* Четыреста восемьдесят восемь рублей с полтиною! *(Громко.)* Послушай-ка, мусье?..

Ф и л у т о н и. Шево исфолишь?

Г-н Богатонов. Что, знатные-то господа, чай, иногда также торгуются.

Ф и л у т о н и. Э, фи! Monsieur! Одна месшань проста народ торгуй; а польши парин — сохрани бок!

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Ну, вот, что будешь делать! Плачь себе, а денежки плати. Четыреста восемьдесят восемь рублей. Черт бы побрал этих знатных господ, и кто завел такую моду! Четыреста восемьдесят рублей!

Ф и л у т о н и. Monsieur, буди платить или прикажи на сшот поставить?

Г-н Богатонов. Нечего делать; вишь, ты говоришь, что знатные не торгуются,— запиши в счет общего долга.

Ф и л у т о н и. Ошень корошо! Monsieur приказал мне вшерась принесть франсуски табак.

Г-н Богатонов. Да, да, я было и позабыл. Покажи-ка!

Ф и л у т о н и *(вынимает из узелка, который, входя, оставил на стуле у дверей, картуз табаку)*. Фот исфолит, сами сфеший.

Г-н Богатонов *(нюхает)*. Самый свежий. А что фунт?

Ф и л у т о н и. Тесять рубль!

Г-н Богатонов. Десять рублей, только-то! *(Нюхает.)* Да что это за табак? дрянь! Князь платит за свой по двадцати рублей, а этот десять!.. Нет, брат, возьми его назад. *(Отдает.)*

Ф и л у т о н и. Посфольте, monsieur, у меня есть утифительный табак, только ошшень торога.

---

* итого *(искаж. фр.)*

Г-н Богатонов. Очень дорог! За кого ты меня принимаешь? Очень дорог! Для меня, брат, все дешево. Давай сюда.

Филутони. Сей минут! *(Идет к углу и делает вид, будто вынимает другой картуз, а между тем берет тот же самый; Клим подходит и рассматривает узелок.)* Вот, monsieur!

Г-н Богатонов. Ну, этот и на взгляд-то не тому чета.

Филутони. В селом короде нет таки табак.

Г-н Богатонов. А вот увидим. *(Нюхает.)*

Клим *(подойдя близко к Филутони)*. Мусье, да с тобой только и был один картуз.

Филутони *(тихо Климу)*. Пошалуй, мальши.

Г-н Богатонов. А что картуз?

Филутони. Сорок рубль.

Г-н Богатонов. Сорок рублей! Вот это табак! Что за дух! *(Нюхает.)* Какой вкус! То ли дело; дорого, да мило! А то вздумал было отпотчевать меня десятирублевым табачишком.

Филутони. Таки табак и на Париж мал; ефо делаить тле отне каралевски фамиль.

Г-н Богатонов. Для одной королевской фамилии! Шутишь? Хе, хе, хе! а мы и не короли, да понюхиваем. *(Нюхает.)* Ай да мусье! спасибо, брат. Вот уж удружил!

Филутони. У меня толька есть шесть фунт. Его сиятельство граф Недошотов коши взять.

Г-н Богатонов. Нет, брат, нет, не продавай никому; я его весь беру за себя.

Филутони. Краф буди сердись.

Г-н Богатонов. Э, братец, посердится да перестанет. Пожалуйста, любезный, уступи мне.

Филутони. Ну, што делать, исфольте — я все шесть фунт принесу после опед.

Г-н Богатонов. Спасибо, мусье, спасибо! Смотри ж, не забудь — после обеда.

Филутони. О, нет! не песпокойтесь!

Г-н Богатонов. Прощай же, мой милый; я пойду одеваться. *(В сторону.)* Все шесть фунтов мои! Ха, ха, ха! в каких же дураках граф! Он лопнет с досады; а я-то буду его потчевать да похваливать! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Филутони и Клим.

Клим *(после короткого молчания)*. Ну, мусье, что скажешь?

Филутони. Что скажу? что с русски господ нам шить очень хорошо.

Клим. Да русским-то господам с вами жить накладно. Не совестно ли тебе так явно обманывать барина?

Филутони. А што такой софестно?

Клим. Ты, видно, брат, ни на каком языке этого не понимаешь? Не стыдно ли тебе взять сорок рублей за картуз табаку?

Филутони. Отшефо стыдно? Твой парин не люби тиошева купить, а я не люби тиошева продаить.

Клим. Резонт* достаточный. Однако же, мусье, сделаем-ка прежде уговорец: обирай как хочешь барина, только, чур, барыши пополам.

Филутони. Как парыш пополам! А са што?

Клим. За то, что я молчу.

Филутони. Ну, мой будет давать тебе на вотка.

Клим. На водку! Нет, мусье, водкой-то не отделаешься. Ты хитер, да я и сам десять лет был в уездном суде подьячим. Давай-ка начистоту: что мне за то, что я молчал, как ты обманывал барина?

Филутони *(дает деньги)*. Фот восми.

Клим. Десять рублей! только-то? Как хочешь, а мне, право, совестно; пойду, скажу барину всю правду.

Филутони. Постой, фот есшо.

Клим. Еще десять!

Филутони. Теперь тафольно?

Клим. За один картуз довольно; а ты сегодня принесешь еще шесть. Нет, мусье, мне, право, жаль барина. *(Хочет идти.)*

Филутони. Постой! Што ти коши?

Клим. Ну, так и быть, я человек сговорчивый: по десяти рублей с картуза, да и концы в воду.

Филутони. Ай, ай, ай! по тесяти рубль.

* Основание, довод (от *фр.* raison).

Клим. Что, видно, нашла коса на камень. Полно, брат, торговаться, плати; а не то мне сейчас сделается совестно.

Филутони. Нешево телать. *(Отсчитывает деньги.)* Фосьми.

Клим. Давай сюда. *(В сторону.)* Никак мало я с него сорвал. *(Громко.)* Однако же, мусье, мне что-то как будто все еще чего-то стыдно.

Филутони *(в сторону)*. Ай, ай, ай! *(Вслух.)* Прощай, мой патюшк. *(Хочет идти.)*

Клим. Постой-ка на минутку: меня опять начинает совесть мучить.

Филутони. Мне нушна, ошень нушна! Adieu! * *(Уходит.)*

Клим. Ин быть уж так,— ступай; в другой раз буду умней.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Клим *(один, считает деньги)*. Десять, двадцать, шестьдесят, восемьдесят. *(Кладет их в карман.)* Так-то лучше! Нет, мусье, не проведешь. Вот как разбогатею да выйду в люди, так и меня ваша братья будет обманывать; а теперь погоди, дружок! Я еще не барин, а хочу только сделаться барином. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Богатонова, князь Блесткин, Лиза и модная торговка.

Г-жа Богатонова *(к торговке)*. Сюда, матушка мадам; прошу покорно. Покудова прибирают мою комнату, мы кой-что еще посмотрим.

Князь *(к Богатоновой)*. A propos! ** Знаете ли, сударыня, что вас ситируют в городе, как даму, которая одевается с удивительною ловкостию!

Г-жа Богатонова. Право! Да я уже с ребячества была такова; люблю, батюшка князь, чтоб на мне все

---

* До свидания, прощай! *(фр.)*

** Кстати! *(фр.)*

так и пело. Послушай-ка, мадам: что у тебя там в этой коробке-то?

Торговка. В этом картоне, сударыня?

Г-жа Богатонова. Да, да, в квартоне, что ль!

Торговка. Цветы, сударыня.

Г-жа Богатонова. Покажи-ка, милая?

Князь (*тихо Лизе*). Г-жа Богатонова имеет чудесный дар коверкать все французские слова.

Лиза. Что делать, сударь, она не жила два года в Париже.

Г-жа Богатонова. Ахти, батюшки! Да у тебя, мадам, цветов-то здесь воза с два.

Торговка. Мы, сударыня, третьего дня их очень много получили из Парижа.

Г-жа Богатонова. Из Парижа! Да скажи мне, матушка мадам, где ты научилась так хорошо говорить по-нашему?

Торговка. Я, сударыня, русская.

Г-жа Богатонова. Русская! Так мадам Трише держит у себя и русских?

Торговка. Меня одну, сударыня.

Г-жа Богатонова. Прошу покорно! Русская — простая русская! А я называла ее мадамою! Экая я дура. Покажи мне, голубушка, этот букет. (*Рассматривает цветы.*)

Князь (*Лизе*). Вы увидите — тетушка ваша вздумает одеться Флорою.

Г-жа Богатонова (*отдавая цветы*). Нет, душенька, это что-то очень пестро. Князь, помогите мне что-нибудь выбрать.

Князь. К чему выбирать, сударыня! Все, что вы ни наденете, должно быть прекрасным.

Г-жа Богатонова. Однако ж, батюшка, все-таки ум хорошо, а два лучше. Как ты думаешь, Лизонька, не купить ли мне эту розовую гирлянду?

Лиза. Не слишком ли будет это для вас молодо, тетушка?

Г-жа Богатонова. Прошу послушать, князь! Вот каково мое житье: ты хочешь посоветоваться, а она вздор замелет. Слишком молодо! А почему бы так, сударыня?

Лиза. В ваши лета, тетушка...

Г-жа Богатонова. В мои лета! смотри, пожалуй! Оттого, что я уже не такой ребенок, как она, так мне нельзя и розанов носить!

Лиза. Но, тетушка...

Г-жа Богатонова. Но, племянница, прошу меня не учить.

Лиза. Как вам угодно.

Г-жа Богатонова. Мне угодно носить розаны, сударыня.

Лиза. Воля ваша.

Г-жа Богатонова. Конечно, моя; и я назло тебе все платье обошью розанами. Что, душенька, стоит эта гирлянда?

Торговка. Семьдесят пять рублей, сударыня.

Г-жа Богатонова. Семьдесят пять! Что ты, мать моя! статное ли дело? Семьдесят пять!

Торговка. Извольте посмотреть, как цветы сделаны.

Г-жа Богатонова. Полно, матушка; да тут и на пять рублей не пошло товару. Ну, душенька, возьми пятьдесят.

Князь. Подай мне, миленькая. Позвольте мне предложить вам ее, сударыня.

Г-жа Богатонова. Что вы, князь! Нет, нет, я не хочу.

Князь. Сделайте милость.

Г-жа Богатонова. Помилуйте, батюшка! Такой подарок!..

Князь. Вы обидите меня, если откажете.

Г-жа Богатонова. Нечего делать! Только, воля ваша, князь, вы совсем разоряетесь.

Князь. И, сударыня, что значит такая безделица!

Торговка. Не угодно ли вам, сударь, купить золотую табакерку?

Князь. Покажи. Она хороша; фасон прекрасный: я беру ее себе.

Торговка. Четыреста двадцать пять рублей.

Князь. Четыреста двадцать пять и семьдесят пять — пятьсот. Сейчас, миленькая. *(Вынимает книжку.)* Неужели? Ха, ха, ха! я узнаю себя! *(К Богатоновой.)* Как вы думаете, сударыня, что у меня в книжке?

Г-жа Богатонова. Почему мне знать, батюшка?

Князь. Попробуйте отгадайте.

Г-жа Богатонова. Какие-нибудь важные бумаги, деньги.

Князь *(показывая пустую книжку)*. Ничего!

Г-жа Богатонова. В самом деле?

Князь. Позволительно ли иметь такие дистрак-

ции! * Взять книжку и не положить в нее денег. Послушай, душенька, приходи ко мне завтра поутру.

Торговка. Но, сударь...

Князь. Ты можешь узнать от здешних людей, где я живу.

Торговка. Но, сударь...

Князь. Теперь дожидаться тебе нечего; завтра, миленькая.

Торговка. Но, сударь, я не имею чести вас знать.

Князь. Не беспокойся; ты можешь смело ко мне прийти.

Торговка. Я, сударь, без хозяйки не смею ничего продавать в кредит.

Князь. Как приметно, душенька, что ты русская! *(К Богатоновой.)* Сделайте милость, сударыня, дайте мне пятьсот рублей.

Г-жа Богатонова. Очень хорошо. Я заплачу тебе, голубушка.

Князь. Это составит с пятьюстами, которые я вам должен, ровно тысячу; я возвращу вам их с благодарностью — при первом случае.

Г-жа Богатонова. И, князь! мы люди свои — сочтемся.

Князь. О нет! я люблю быть аккуратным. Что делать, это моя слабость, сударыня.

Лиза *(в сторону)*. Я знала вперед, чем кончится эта комедия.

Князь. Кстати о дистракциях! Я вам, кажется, еще не сказывал? Баронесса Вольмар будет у вас сегодня обедать.

Г-жа Богатонова. Ах, боже мой! а я еще в своем утреннем дезабилье **. Ну, если она теперь приедет! Пойду поскорее одеваться. *(К торговке.)* Ступай ко мне, душенька; я тебе заплачу. *(К Лизе.)* А ты куда? Останься здесь с князем.

Лиза. Тетушка!..

Г-жа Богатонова. Пустое, сударыня; к чему такое жеманство! Князь твой жених; прошу остаться и занимать его. *(Уходит с торговкою.)*

---

* рассеянность (от *фр.* distraction).

** легкая домашняя одежда (от *фр.* déshabillé).

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Князь, Лиза и Анюта.

Князь. Какое счастие, сударыня!..

Лиза. Что тетушка приказала мне остаться с вами?

Князь. Могу ли ласкать себя надеждою,— вы без досады выполняете ее приказание?

Лиза. Не спрашивайте меня, князь, я бываю иногда слишком откровенна.

Князь. Ах! будьте откровенны, сударыня: это самая пленительная черта вашего милого характера. Что может быть восхитительнее откровенности! Какое блаженство читать в сердце страстно любимой женщины; какое наслаждение...

Лиза. Князь! избавьте меня от сентиментальных фраз; я их терпеть не могу.

Князь. Вы нынче очень немилостивы. Неужели любовь моя...

Лиза. Опять любовь. Вы хотите остаться одни, князь?

Князь. О нет! я молчу, сударыня. Признайтесь, однако же, надобно иметь мое несчастие: женщины, к которым я ничего не чувствую, преследуют меня; я люблю вас, и вы...

Лиза (*прерывая*). Вы были вчерась в театре?

Князь. Был, сударыня! — Я люблю вас, и...

Лиза. Что давали, князь?

Князь. Какую-то оперу.— И вы одне презираете любовь мою.

Лиза. Заслуживает ли она какое-нибудь внимание?

Князь. Любовь моя?

Лиза. Нет, сударь, вчерашняя пьеса.

Князь. И, сударыня! как будто русская пьеса может быть хороша. Скажите мне, могу ли я иметь надежду...

Лиза. Что же вы находите дурным во вчерашней опере?

Князь. Все, сударыня, все! Впрочем, я не слыхал из нее ни одного слова. Я был в ложе графини Пронской; мы разговаривали...

Лиза. Графини Пронской! Я так давно ее не видала; здорова ли она?

Князь. Слава богу! она спрашивала меня о вас; хотела знать, скоро ли я буду счастливейшим из смертных. Ах! сударыня, если б я мог надеяться...

Лиза. Как досадно, что она мешала вам слушать: вы ничего не можете сказать мне о вчерашней опере.

Князь *(в сторону)*. Проклятая опера! — Неужели вы всегда будете нечувствительны к любви моей и к какой любви! Я не нахожу слов описать вам всю пламенность, всю горячность чувств моих. Ах, сударыня! страсть, которую описывают в романах, ничто перед моею. Признайтесь, такая любовь достойна взаимности.

Лиза. Признаюсь, князь, я не ожидала, чтоб вы так свободно изъяснялись на русском языке.

Князь. Вы шутите, сударыня! О, не шутите! вы не знаете, до чего может довести безнадежная любовь.

Лиза. Из какой это драмы, князь?

Князь *(с досадою)*. О, это уже слишком: соединять жестокость с насмешкою.

Лиза. Вы сердитесь, князь. Ах! я очень боюсь сердитых. Прощайте!

Князь. Постойте, сударыня! выслушайте меня.

Лиза. Если вы не все еще кончили, то можете остальное договорить Аннушке: это все равно. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Князь и Анюта.

Князь. Остановитесь! Она ушла! *(К Анюте.)* Послушай, малюточка, что сделалось с твоей барышней? Она нынче так странно обошлась со мною.

Анюта. Кто виноват, сударь; вы сами желали, чтоб она была откровенна.

Князь. Но я не могу понять, отчего я не нравлюсь твоей барышне. Разве я стар, дурен собою, нимало не любезен...

Анюта. О, сударь, не сватайтесь за нее, и вы будете еще любезнее.

Князь. Я начинаю догадываться... Так точно, у меня должен быть соперник; не правда ли, миленькая?

Анюта. Я ничего, сударь, не знаю.

Князь *(снимает кольцо)*. Надень-ка, душенька, это кольцо. Ну, теперь ты знаешь?

Анюта. Вы заставляете меня краснеть. Такой дорогой подарок! Ведь оно осыпано брильянтами?

Князь. Разумеется.

Анюта. Извольте; я скажу вам все, что знаю. Барышня моя... Только, сделайте милость, не проговоритесь кому-нибудь.

Князь. Будь спокойна, малютка.

Анюта. Барышня моя... Но я все боюсь, что вы как-нибудь это выведете.

Князь. Даю тебе честное слово; говори, говори!

Анюта. То-то же, не введите меня в беду. *(Оглядываясь кругом.)* Вот изволите видеть: мне неизвестно, любит ли кого барышня; но знаю наверно, что вас она терпеть не может! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Князь *(один)*. Прекрасно! да меня, кажется, дурачат. Ну, если Аннушка сказала правду, если Лиза не согласится выйти за меня замуж? Пустое! терпенье и постоянство, дядюшка и тетушка,— посмотрим, устоит ли она против этого. Надобно только привести скорее все к концу. Богатонова женщина простая — я все из нее сделаю; муж ее животное, дурак, которого баронесса водит за нос как ей угодно. Точно так...

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Князь и Богатонов (в светло-зеленом фраке).

Г-н Богатонов. Точно так, точно так! О чем это, ваше сиятельство, с таким жаром рассуждать изволите?

Князь. Ах, это вы!

Г-н Богатонов. Нет, не я. Посмотри-ка, князь, мою обнову. Как кажется тебе этот утренний фрак?

Князь. Он сшит прекрасно.

Г-н Богатонов. А цвет?

Князь. Самый модный.

Г-н Богатонов. Ну, мой милый, жена сказала мне, что оставила тебя с глазу на глазок с племянницей; об чем вы потолковали?

Князь. Я говорил ей о любви моей.

Г-н Богатонов. Право! Что, каково идут твои дела?

Князь. Я начинаю терять всю надежду.

Г-н Богатонов. Полно, любезный, как тебе не стыдно! Какого ей еще жениха: ты князь, молод, умен...

Князь. Однако же со всем тем я, кажется, ей не нравлюсь.

Г-н Богатонов. Пустое, понравишься! Послушай-ка, мой милый: скажи мне лучше, что говорила баронесса о вчерашнем празднике?

Князь. Она от него без памяти.

Г-н Богатонов. Право! А скажи-ка правду, не было ли у вас речи обо мне?

Князь. Об вас? Если б вы знали, что она сегодня поутру об вас говорила!

Г-н Богатонов. Что? что такое?

Князь. О, счастливейший из смертных!

Г-н Богатонов. Сделай милость, не мучь меня, говори скорей!

Князь. Вы знаете, что кузине очень хочется, чтоб я женился на вашей племяннице.

Г-н Богатонов. Знаю, знаю!

Князь. Вы знаете также, что когда женщина заберет себе что-нибудь в голову, то готова на все решиться...

Г-н Богатонов. Лишь бы только на своем поставить. Как не знать: я женат, мой милый.

Князь. Нынче поутру говорили мы о вчерашнем празднике; между прочим, баронесса сказала мне, что вы человек прелюбезный.

Г-н Богатонов. Прелюбезный!..

Князь. Что вы становитесь для нее каждый день опаснее; что она начинает вас бояться.

Г-н Богатонов. Ах, батюшки, бояться! Да отчего же?

Князь. Оттого, что вы слишком ей нравитесь и можете лишить ее спокойствия, к которому она привыкла.

Г-н Богатонов. Ага! понимаю! Это дело другое! Ну, что же она еще говорила?

Князь. Что если вы исполните ее желание, выдав за меня племянницу вашу, то она потеряет совершенно голову и, не будучи в состоянии противиться двум чувствам — любви и благодарности, решится...

Г-н Богатонов. Ну...

Князь. Платить за любовь любовью.

Г-н Богатонов. И она все это говорила?

Князь. Слово от слова.

Г-н Богатонов. И ее превосходительство баронесса Вольмар все это говорила! Вот тебе рука моя, князь: не будь я Иван Сидорыч Богатонов, ежели Лиза не будет твоей! Когда же я ее увижу?

Князь. Она будет к вам сегодня обедать.

Г-н Богатонов. Как бы я желал от нее самой все это слышать.

Князь. Найдите случай говорить с нею наедине.

Г-н Богатонов. Это не фигура. Да вот что беда, мой милый, меня всегда робость берет; сколько раз бывало, хочу сказать ей: матушка баронесса, помилуй! влюблен я в тебя по уши! Да не тут-то было — язык не поворотится.

Князь. Постарайтесь сегодня быть смелее.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и человек.

Человек. Барыня просит князя в свою горницу.

Г-н Богатонов. Что там еще? Не дадут слова сказать. *(К князю, который хочет идти.)* Полно, князь, не ходи; уж верно, за каким-нибудь вздором: хорошо ли голова убрана, так ли бантик приколот.

Князь. Но, сударь, может быть, ей нужно...

Г-н Богатонов. Какие нужды. Останься-ка, да поговорим лучше о нашем деле.

Князь *(в сторону)*. Как бы от него отделаться. *(Вслух.)* Вам надобно кончить ваш туалет; баронесса сейчас будет.

Г-н Богатонов. Да разве я не одет?

Князь. Разве вы хотите принять баронессу в сером фраке? На что это будет похоже?

Г-н Богатонов. Правда, правда. Экий я дурак, и из ума вон!

Князь. Одевайтесь же скорее. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-н Богатонов *(один)*. Чуть-чуть впросак не попался; хорош бы я был без князя!.. Да, я было и позабыл. Кондратьич, Кондратьич!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Г-н Богатонов и Клим Кондратьич.

Клим. Чего изволите, сударь?

Г-н Богатонов. Все ли приготовлено к столу?

Клим. Все, сударь.

Г-н Богатонов. Куплен ли десерт?

Клим. Пожалуйте денег.

Г-н Богатонов. Как! да разве у тебя нет расходных?

Клим. Все до рубля вышли.

Г-н Богатонов. Как же быть; ведь у меня нет ни копейки. Послушай, Кондратьич, не можешь ли где достать?

Клим. Я, право, не знаю.

Г-н Богатонов. Ты человек экономный, как не быть у тебя своих денег; на будущей почте должно мне получить из деревни, и я тот же час с тобой разделаюсь.

Клим. И, государь милостивый! какие, мой отец, у меня деньги.

Г-н Богатонов. Эй, Кондратьич, нельзя ли как-нибудь?

Клим. Поверьте, сударь, рад бы за вас душу заложить; но что будешь делать? Правда, у меня имеются некоторые благоприятели: да сохрани боже! я и подумать не осмеливаюсь.

Г-н Богатонов. А что такое?

Клим. Люди они честные и готовы всегда доброму человеку служить деньгами, да процентики-то берут не больно христианские.

Г-н Богатонов. А помногу ли?

Клим. По пятнадцати рублей со ста.

Г-н Богатонов. Что ты, Кондратьич, да это клад: по пятнадцати рублей со ста...

Клим. В месяц.

Г-н Богатонов. В месяц? Ну, подлинно, благоприятели твои люди честные. По пятнадцати в месяц! Ах они искариоты! А, делать нечего, придется занять у этого жидовского семени.

Клим. Нет, батюшка, воля ваша, меня совесть замучает. Рассудите милостиво: денег проживаете вы бездну, да как еще будете занимать под такие проценты, то — и боже упаси! — долго ли этак и совсем разориться.

Г-н Богатонов. Как быть, друг мой! Хоть ты себе голосом вой, а придется тысячи две призанять.

Клим. Но подумайте, сударь, триста рублей за один месяц.

Г-н Богатонов. Как ни думай, а занимать должно.

Клим. Ах, боже мой, боже мой! до чего, отец наш, ты дожил: платить такие проценты! У меня сердце так и разрывается. *(Утирает глаза.)*

Г-н Богатонов. Полно, Кондратьич! Я знаю, что ты меня любишь; да о чем тут плакать: триста рублей безделица. Ступай же теперь поскорее за деньгами.

Клим. Нечего делать! Да я и позабыл сказать: ведь злодеи-то ничего не дадут без заклада.

Г-н Богатонов *(вынув ключ)*. На, возьми: вынь сам из моего комода брильянтовую табакерку: она стоит более четырех тысяч.

Клим. Слушаю, сударь.

Г-н Богатонов. Ступай же, да пожалуйста скорее. *(Уходя.)* Куда как этот старик меня любит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Клим *(один)*. Я недалеко пойду; благоприятели-то лежат у меня в коробке! Ай да Клим Кондратьич! Не робей, любезный; ты скоро заживешь домиком. Да так и должно: господин мотает, а дворецкий карманы набивает. Пускай себе пройдет еще годков пять, шесть, так чисто, не я уж у барина, а он у меня будет управителем. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Мирославский и граф Владимилов (одетые просто, входят).

Граф. Я до сих пор не могу поверить: как! Князь Блесткин мой соперник!

Мирославский. Чему вы удивляетесь, граф?

Граф. Князь Блесткин! Этот полуфранцузский петиметр? * Этот глупый модник?

* светский щеголь (от *фр.* petit-maître).

Мирославский. Да, этот глупый модник вскружил головы Богатоновым; они хотят непременно выдать за него свою племянницу.

Граф. И против ее желания! Нет, я не могу постигнуть, чем мог их обольстить этот ничтожный вертопрах?

Мирославский. Своею любезностию, умом, познаниями!

Граф. Вы шутите?

Мирославский. По крайней мере, так говорит г-н Богатонов.

Граф. Своим умом, познаниями! Надобно отдать справедливость г-ну Богатонову: он первый сделал это важное открытие.

Мирославский. Нет, я от многих слышал то же самое.

Граф. Вы смеетесь надо мною.

Мирославский. Не из Америки ли вы приехали, граф? Будто вы не знаете, как легко в свете прослыть умницей. Разве человек с тупым понятием не может иметь острой памяти? Кто мешает ему выучить наизусть несколько стихов из Буало, два-три монолога из Расина, полдюжины моральных заключений из Лабрюйера; после этого он смело может мешаться в ученые разговоры, блистать своим умом, говорить с презрением об отечественной словесности, которую не знает, восхищаться иностранными авторами, которых не понимает, и кричать громче тех, которые вдесятеро его умнее и ученее.

Граф. Это весьма легкий способ; но, думаю, он не всегда удается.

Мирославский. И вы можете иметь такое непозволительное сомнение? Нет, граф, вы слишком зажились в деревне. Что этот способ легок, не спорю; но вы должны также согласиться, что он и самый вернейший. Будьте только смелы, или, лучше сказать, бесстыдны; поступайте всегда вопреки здравому смыслу; хвалите все иностранное, ругайте все русское; вместо доказательств прибегайте к насмешкам; но, пуще всего, кричите как можно громче — и, уверяю вас, вы составите себе вскоре самую блестящую репутацию. Второклассные дураки будут удивляться вам, как чуду; умные... Ну, какое до них дело! Их так мало,— и что значит их тихий голос перед громким пустословием наших полуученых мудрецов.

Граф. Как! вы на них нападаете? Но скажите мне, находите ли вы какую-нибудь возможность переуверить Богатоновых?

Мирославский. Это, кажется, не трудно было бы сделать; но, к несчастью, у князя есть сильная покровительница. Он познакомил с Богатоновым свою родственницу, какую-то баронессу Вольмар; старик вздумал в нее влюбиться, и она делает из него что хочет.

Граф. Баронессу Вольмар! Не вдову ли?

Мирославский. Точно так.

Граф. Надобно признаться, ваш приятель окружен прекрасными людьми! Я знал эту женщину еще замужем. Целые два года мучила она бедного барона своими капризами, прихотями, ветреностью; наконец, несчастный муж потерял все терпение...

Мирославский. И развелся с нею?

Граф. Нет, умер: и лучше этого, верно, ничего не мог бы придумать.

Мирославский. Вот, кажется, и хозяин. Я предуведомляю вас: вы увидите презабавного чудака.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и г-н Богатонов.

Г-н Богатонов. Здорово, мой милый! Виноват, я заставил тебя дожидаться; у меня был такой интересный разговор с баронессою.

Мирославский *(подводя графа)*. Вот, мой друг, рекомендую тебе моего приятеля, про которого я говорил нынче поутру.

Граф низко кланяется.

Г-н Богатонов. Да, да, я помню.

Граф. Я давно желал, сударь, иметь эту честь.

Г-н Богатонов. Хорошо, хорошо, голубчик! *(Показывая на стул, который стоит у дверей.)* Садись, душенька.

Мирославский *(тихо Богатонову)*. Что ты, мой милый! Да знаешь ли...

Г-н Богатонов. Знаю, знаю: какой-нибудь дворянчик?

Мирославский. Смотри, чур, после не пенять.

Г-н Богатонов. И, мой милый, что за фигура.

Садись-ка, приятель. *(Мирославский садится на канапе, Богатонов на вольтеровские кресла. К графу, который стоит.)* Полно, брат, чиниться, садись; я человек не спесивый, садись знай.

Граф садится.

Мирославский. Да ты, мой милый, и подлинно начинаешь походить на большого барина.

Г-н Богатонов *(к графу)*. Что ты, голубчик, — приехал сюда на время или хочешь здесь к месту?

Граф. Нет, сударь, я человек отставной и привык жить в деревне.

Г-н Богатонов. В деревне? право! Так у тебя есть и деревнишка? В какой губернии?

Граф. В Орловской.

Г-н Богатонов. А сколько в ней душонок, мой милый?

Граф. С небольшим сто.

Г-н Богатонов. Сто душ! Так ты не совсем бедный человек. Прошу покорно, подвинься-ка к нам поближе, любезный.

Граф подвигается.

А много ли она дает доходу?

Граф. Очень мало; гораздо менее, чем пензенская моя деревня.

Г-н Богатонов. Как! так у вас в Пензе есть деревня?

Граф. Двести душ.

Г-н Богатонов. Итого триста. *(Мирославскому.)* Да он человек порядочный! Гей, малый!

Человек входит.

Кресла сюда, к нам ближе. Милости просим, батюшка; я очень рад с вами познакомиться. *(Сажает его возле себя.)* Итак, у вас только и есть эти две деревни?

Граф. Извините: у меня есть еще полторы тысячи душ в Рязанской губернии.

Г-н Богатонов *(вскакивает)*. Полторы тысячи!

Граф. Да две тысячи в Саратовской.

Г-н Богатонов. И две тысячи! Ах, боже мой, боже мой! какой я дурак! Милостивый государь! сделайте милость, будьте милостивы! Не прикажете ли на эти кресла; здесь вам будет спокойнее.

Граф. К чему это?

Г-н Богатонов. Покорнейше прошу.

Граф. Если вы непременно хотите. *(Садится на вольтеровские кресла.)*

Г-н Богатонов. Позвольте узнать, милостивый государь, с кем я имею честь говорить?

Граф. Я, сударь, граф Владимилов.

Г-н Богатонов. И граф! Час от часу не легче. Ах я скотина! Ваше сиятельство, извините! Я не знаю... я, право... я совершенно обезумел! *(К Мирославскому.)* Пусти-ка, братец, ваше сиятельство! не угодно ли вам сюда на канапе?

Граф. Вы напрасно беспокоитесь.

Г-н Богатонов. О, ваше сиятельство, я знаю различать людей.

Мирославский. Однако ж на этот раз ты ошибся.

Г-н Богатонов. Я не знаю сам, что со мною сделалось. Батюшка граф, ваше сиятельство! мне так совестно, так стыдно, ну хоть бы сквозь землю провалиться!

Граф. Помилуйте, сударь, что за важность, вы ошиблись; это со всяким может случиться.

Г-н Богатонов. Как можно ошибиться! как не узнать с первого взгляда знатного человека. Ах я животное! — А тебе не стыдно не шепнуть мне на ухо.

Мирославский. Ведь я говорил, чтоб после не пенять.

Г-н Богатонов. И, братец! да кому придет в голову, что его сиятельство граф Владимилов будет так низко кланяться.

Мирославский. В самом деле, граф, боитесь ли вы бога; вам надобно было, как знатному человеку, чуть-чуть кивнуть головою.

Г-н Богатонов. Человек!

Приходит.

Зови скорей всех сюда! Ваше сиятельство! позвольте мне представить вам мою старуху и племянницу.

Граф. Я сочту себе за большую честь.

Г-н Богатонов. Помилуйте, честь вся для них! Да прошу покорно садиться!

Граф. Да для чего же вы не изволите сами сесть, г-н Богатонов?

Г-н Богатонов. И, ваше сиятельство, я постою;

ведь у меня от этого ноги не отвалятся. Сделайте милость.

Граф. Я не сяду прежде вас.

Г-н Богатонов. Если вы приказываете. *(В сторону.)* Как он вежлив! Ну, кто бы подумал, что у него четыре тысячи душ!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, г-жа Богатонова, баронесса, князь и Лиза.

Г-н Богатонов *(подводя жену)*. Батюшка граф! честь имею рекомендовать вам жену мою. *(К жене.)* Его сиятельство граф Владимилов.

Г-жа Богатонова. Милости просим; мы очень рады.

Г-н Богатонов *(подводя Лизу)*. Племянница наша!

Граф *(целует у нее руку)*. Как давно, сударыня, я не имел счастия вас видеть.

Г-н Богатонов. Как, ваше сиятельство! да вы разве знакомы с Лизонькой?

Граф. Я имел удовольствие пользоваться приязнью ее покойной матушки.

Г-жа Богатонова. Ты позабыл, батюшка; Лизонька нам об этом сказывала.

Г-н Богатонов. Точно, точно! Экая память; а кажется, не проходило дня, чтоб племянница о графе не говорила.

Граф *(к Лизе)*. Должен ли я верить этому, сударыня?

Лиза. Могла ли я забыть человека, которого покойная моя матушка называла другом.

Г-н Богатонов. Ваше сиятельство! позвольте мне познакомить с вами приятеля моего князя Блесткина.

Князь. Если не ошибаюсь, я имел некогда удовольствие встречаться с вами у общих знакомых.

Граф. Точно так, сударь.

Г-н Богатонов. А вот баронесса Вольмар, приятельница моей жены.

Баронесса *(тихо Богатонову)*. Вы могли бы избавить меня от этой рекомендации.

Граф. Извините, сударыня, я никак не мог узнать вас — вы так переменились.

Б а р о н е с с а. Боже мой! Граф, вы говорите, как будто я целые сто лет не имела чести вас видеть.

Г-жа Б о г а т о н о в а. Человек! стулья!

Приносят.

Г-н Б о г а т о н о в *(к Лизе, подле которой сел граф)*. Пусти-ка, племянница, меня к графу.

Г р а ф. Не беспокойтесь, мне очень хорошо.

Г-н Б о г а т о н о в. Нет, нет! я сам хочу занимать такого дорогого гостя.

М и р о с л а в с к и й *(тихо Богатонову)*. Живешь ты всегда с знатными, а не знаешь, что они церемоний терпеть не могут.

Г-н Б о г а т о н о в. Ну, ну, хорошо. *(Садится подле Лизы.)*

Б а р о н е с с а *(тихо князю)*. Вы знаете этого Владимилова?

К н я з ь *(тихо)*. Знаю. Педант,— настоящая нравоучительная книга!

Г-жа Б о г а т о н о в а. Что, батюшка граф, вы надолго изволили к нам в Петербург пожаловать?

Г р а ф. Не знаю сам, сударыня. Здоровье мое после прошлогоднешней болезни не совсем еще поправилось; я намерен посоветоваться с докторами.

Г-жа Б о г а т о н о в а. О, вас здесь тотчас вылечат, да еще и без лекарства.

Г-н Б о г а т о н о в. Да, да, без лекарства. *(Мирославскому.)* Что, брат, чай, у вас в глуши про эти чудеса еще и не знают?

М и р о с л а в с к и й. Ты, верно, хочешь говорить о магнетизме; нет, и у нас о нем много сказок сочиняют.

Г-н Б о г а т о н о в. Как, сказок! Ты не веришь, что посредством магнетизма можно прочесть письмо, не вынимая его из кармана?

М и р о с л а в с к и й. Прошу покорно!

Г-н Б о г а т о н о в. Что душа может говорить в человеке и рассказывать, какими лекарствами лечить больного?

М и р о с л а в с к и й. Какой вздор!

Г-жа Б о г а т о н о в а. Нет, батюшка, не вздор, а точная правда! Вот, например, дочь приятельницы моей Глупоновой была всегда такая слабая, такая бледная, и никакие лекарства ей не помогали; стали ее магнетизировать, душа в ней заговорила и сказала, что надобно ее замуж выдать. Ну, как вы думаете? Лишь только она

вышла за князя Лестова, то как рукой сняло: откудова взялось здоровье.

Мирославский. Да, это настоящие чудеса!

Князь. В природе нет никаких чудес, и все это можно доказать естественным образом.

Г-н Богатонов. Конечно можно; и если ты не веришь, то я тебе докажу.

Мирославский. Посмотрим; докажи, докажи!

Г-н Богатонов. Да только поймешь ли ты?

Мирославский. Почему знать, говори.

Г-н Богатонов. Ну, так и быть: слушай же! Вот видишь ли: магнетическая жидкость, то есть жидкость магнетическая, есть некоторого рода жидкость; влияние, которое она, некоторым образом, так сказать... одним словом... Растолкуй ему, князь!

Князь. Вы хотели сказать, что посредством действия ее на нервную систему, дирекция нервов, в отношении своем к нервам, по всеобщей системе влияния, имеет некоторое влияние, которое, симпатизируя с общим влиянием, производит сие действие. *(Богатонову.)* Вы понимаете меня?

Г-н Богатонов. Как не понять: это ясно!

Князь. Я только пояснил то, что вы сказали.

Мирославский. Подлинно пояснили! Жаль только, что я ничего не понял.

Г-н Богатонов. Бедненький! Вот то-то и дело, чему научишься в деревне? Надобно жить между просвещенными людьми, чтоб понимать такие глубокие материи.

Князь. Должно признаться, род человеческий идет гигантскими стопами к совершенству: беспрестанно делают новые открытия; люди становятся умнее, просвещеннее везде, выключая любезного отечества нашего.

Граф. Выключая отечества нашего! Мне кажется, князь, что нигде просвещение не имело таких скорых и блестящих успехов, как в нашем отечестве.

Князь. Да, мы сделали блестящие успехи, только в чем, если смею спросить?

Баронесса. Берегитесь, mon cousin! * вы делаете такой решительный вызов; ну, если граф вам сейчас докажет?

Князь. Боже мой! я уверен в этом; но, несмотря

---

* мой кузен, двоюродный брат *(фр.)*.

на то, желал бы очень знать что-нибудь об этих блестящих успехах.

Граф. По всему видно, вы не желаете этого.

Князь. Да что у нас хорошего? Мы хвалимся своим Петербургом. Люди, которые не бывали никогда далее заставы, называют его первым городом в свете; а что значит этот первый город в свете перед каким-нибудь парижским предместием!

Г-н Богатонов. Простая деревня или много что уездный городишка.

Князь. Имеем ли мы хоть что-нибудь, чем гордится Франция? Где у нас Лувр, Пале-Рояль, Тюльери, Пантеон?

Г-н Богатонов. Да, да! где у нас этакие города?

Граф. Это все равно, если б я спросил француза: где у вас адмиралтейство, биржа, набережные, решетка Летнего сада...

Князь. Решетка Летнего сада! Но что значит она перед тюльерийскою, которая есть чудо искусства; которая отделана с таким вкусом, с таким совершенством; которая, можно сказать, сделана вся ан филаграм? *

Г-жа Богатонова. Ан филаграм!

Баронесса. Возможно ли?

Граф. Я сам, сударь, был в Париже...

Князь. И, сударь, кто нынче не был в Париже. Тем хуже для тех, которые были в нем и осмеливаются делать такие параллели.

Г-н Богатонов *(тихо Мирославскому)*. Он совсем загонял графа.

Граф. Вы правы, князь! Как можно хвалить что-нибудь русское, как можно хвалить народ, который, под предводительством своего государя, освободил от ига всю Европу, которого каждый шаг был ознаменован победами; это было бы так натурально, и чем бы можно было тогда отличиться от обыкновенного человека?

Баронесса *(с насмешкою)*. Очень жаль, сударь, что вы не сочиняете речей; вы имеете удивительные диспозиции быть хорошим оратором.

Граф. Не знаю, сударыня, похож ли я на оратора; но знаю только, что я не льстец, не люблю думать одно, а говорить другое, и для того скажу вам, что, по-моему,

---

* тонко сработанный, исполненный филигранью (от *фр.* en filigrane.)

человек, который не любит свое отечество — жалок, а тот, кто осмеливается поносить его, заслуживает общее презрение.

Князь *(с досадою)*. Граф! я надеюсь...

Граф. Что я говорю не на ваш счет? Без сомнения! Вы, конечно, думаете то же, что я; не правда ли, князь?

Князь *(поет)*. Ла, ла, ла!

Граф. О! я уверен, вы совсем не из числа тех жалких модников, у которых, кроме их фамилии, нет ничего русского.

Князь *(к баронессе)*. A propos! я давно уже не слышал вас петь, сударыня! Смею ли просить?

Баронесса. Я право, не могу. *(К Лизе.)* Не угодно ли вам?

Г-жа Богатонова. Да, да, пропой-ка нам что-нибудь, Лизонька; графу, верно, будет приятно тебя послушать.

Все встают; Богатонов подходит и говорит тихо с баронессою.

Граф. Два года назад я очень часто имел это удовольствие.

Г-жа Богатонова. Послушайте-ка теперь, граф, вы не узнаете!

Г-н Богатонов *(тихо баронессе)*. Я буду вас дожидаться. *(Громко)*. Ваше сиятельство! прошу покорно! Лизонька! покажи, куда идти графу.

Все уходят; Богатонов останавливает князя.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Богатонов и князь.

Г-н Богатонов. Послушай-ка, мой милый, я сказал тихонько баронессе, что мне нужно с ней кой о чем поговорить.

Князь. Очень хорошо.

Г-н Богатонов. Ведь надобно же мне сказать ей когда-нибудь, что я влюблен в нее без памяти.

Князь. Так вы решились сегодня сделать вашу декларацию?

Г-н Богатонов. Да, мой милый! Да вот что беда: я не знаю, с чего начать.

Князь. Как будто это так трудно!

Г-н Богатонов. Как ты думаешь: сперва примусь я вздыхать.

Князь. Однако ж как можно менее: женщины до вздохов не охотницы.

Г-н Богатонов. Потом закину несколько обиняков; а там вдруг хлопнусь перед ней на колени.

Князь. На колени! Фи! кто нынче становится на колени! Вы испортите все дело.

Г-н Богатонов. Неужели?

Князь. Баронесса тотчас догадается, что любовник ее принадлежит к прошедшему столетию.

Г-н Богатонов. Хорошо, хорошо! А там скажу я ей, а там я ей скажу... что... я... что она... Вот тут-то, мой милый, и запятая!

Князь. Потом вы признаетесь ей в любви своей.

Г-н Богатонов. Да, да, потом признаюсь ей в любви моей, то есть скажу, что я люблю ее.

Князь. Какое мещанское выражение! «Я люблю вас!» — как это обыкновенно! Нынче, сударь, одни провинциалы и простой народ любят; а мы обожаем, боготворим!

Г-н Богатонов. Право! Вот видишь ли, мой милый, все это для меня ничего, пустячки; вся сила в том, как начать, а там уж не бойсь, лицом в грязь не ударим.

Князь. Как начать? Ну, вот, например, представьте себе, что я баронесса; вы подходите к ней и начинаете говорить: «Как я рад, сударыня...»

Г-н Богатонов. «Как я рад, сударыня...»

Князь. «Что могу, наконец, говорить с вами откровенно о моих чувствах».

Г-н Богатонов. «Говорить с вами откровенно о моих чувствах».

Князь. Теперь положим, что баронесса скажет: «Как, сударь, о ваших чувствах! Я не понимаю вас, что вы хотите сказать».

Г-н Богатонов. Что? Как что?

Князь. Отвечайте же.

Г-н Богатонов. Погоди, погоди, дай справиться. Что бишь она спросит?

Князь. «Что хотите вы сказать?»

Г-н Богатонов. «Я хочу сказать, сударыня, что... что...» Да вздор, братец, она этого не спросит. Зачем ей спрашивать? Ведь она знает, что я в нее влюблен.

Князь. Но, сударь, в таких случаях женщины должны хоть для одной проформы казаться недогадливыми,

Г-н Богатонов. Вот еще какое глупое обыкновение! Ну, я скажу ей: «Сударыня! я хочу объявить вам, что ваша красота пронзила мое сердце; что чувства мои, то есть мои чувства, от прелестей ваших, которые прельщают взор, сиречь зрение, прельстили мои чувства и свели с ума вашего покорнейшего слугу». А! каково?

Князь. Изрядно!

Г-н Богатонов. Слушай, слушай, то ли еще будет! «Прекрасная и жестокая баронесса! я обожаю тебя!»

Князь. Хорошо, хорошо! жестокая и прекрасная баронесса!

Г-н Богатонов. Помилуй! я умираю, горю, таю!

Князь. Прекрасно!

Г-н Богатонов. То-то же, мой милый! я тебе говорил: лиха беда мне начать, а там уж только слушай!

Князь. Теперь я не сомневаюсь: вы успеете совершенно вскружить голову моей кузине.

Г-н Богатонов. Ой ли? как бы только не забыть начало. Как быть? Да, да: «Как я рад, сударыня...»

Князь. Да вот и она!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и баронесса.

Князь *(идя к ней навстречу)*. Что, сударыня, невеста моя поет?

Баронесса. Она сейчас только начала петь арию из «Жоконда».

Князь. Из «Жоконда»! Извините, я вас оставляю.

Г-н Богатонов *(тихо князю)*. Я что-то, мой милый, начинаю робеть!

Князь *(тихо)*. Стыдитесь! *(Громко.)* Я оставляю вас в приятном обществе, сударь. *(Идя вон, тихо баронессе.)* Не забудьте о моей женитьбе.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Баронесса и г-н Богатонов.

Баронесса *(после минутного молчания)*. Вы хотели что-то говорить со мною.

Г-н Богатонов. Да-с, я хотел... *(В сторону.)* Гм! гм! смелее! *(Громко.)* Как я рад, сударыня...

Баронесса. Вы рады?

Г-н Богатонов. Да, сударыня, я рад, очень рад!..

Баронесса. Чему же вы радуетесь, сударь?

Г-н Богатонов. Что... что сегодня у нас прекрасная погода. *(В сторону.)* О, трус!

Баронесса. Вы это только и хотели мне сказать?

Г-н Богатонов. Ах, сударыня!..

Баронесса. Вы вздыхаете?

Г-н Богатонов. Да, сударыня, я вздыхаю. Ах!..

Баронесса. Можно ли спросить вас о причине сих вздохов?

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Она спрашивает! Не робей, Иван Сидорыч. *(Громко.)* Я вздыхаю оттого, что должен вздыхать.

Баронесса. Должны! Поэтому вы имеете какую-нибудь скрытную горесть; сердце ваше неспокойно?

Г-н Богатонов. Бедненькое, оно все изныло!

Баронесса. Отчего же? скажите, г-н Богатонов, кто причиною вашей горести?

Г-н Богатонов. Одна безжалостная особа...

Баронесса. Безжалостная особа?

Г-н Богатонов. Тиранка моего сердца.

Баронесса. Как, сударь! да вы влюблены!

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Ух, насилу догадалась!

Баронесса. И, мне кажется, не на шутку.

Г-н Богатонов. Какие шутки! Я горю, пылаю, таю!

Баронесса. И даже таете! Как это жалко!

Г-н Богатонов. Вы жалеете! Ах, матушка баронесса! если бы я смел; если бы вы знали...

Баронесса. Что, сударь?

Г-н Богатонов. Ни-ничего, ничего, сударыня. *(В сторону.)* С духом не могу собраться!

Баронесса. Итак, вы любите эту жестокую?

Г-н Богатонов. Люблю! О нет, сударыня, боже сохрани!

Баронесса. Что это значит? *(В сторону.)* Он повредился!

Г-н Богатонов. За кого вы меня принимаете! Чтоб я стал любить,— я обожаю, боготворю!

Баронесса. Так вы обожаете, а не любите. Кто же эта счастливая смертная?..

Г-н Богатонов. Мучительница моя? Ах, сударыня! она самая прекрасная и самая жестокая персона

в целом свете. Я страдаю, томлюсь — и она не хочет этого и заметить.

Баронесса. Может быть, вы не искали случая доказать ей любовь свою; женщины помешаны на доказательствах: это лучший способ тронуть их сердце. Да и как верить словам вашим: вы все, мужчины, обманщики.

Г-н Богатонов. Помилуйте, матушка баронесса!

Баронесса. Нет, нет, опыт меня уверил в этом. Вот, например, вы, описывая таким пленительным образом любовь вашу, вкрадываясь, так сказать, в сердце, смеетесь, может быть, внутренно над тою, которая вам верит.

Г-н Богатонов. Ах, боже мой! да какие вам надобно доказательства? Хотите ли, чтоб я выпрыгнул из окошка, сломил себе шею; хотите ли...

Баронесса. Сломить себе шею есть, конечно, хорошее доказательство любви, и я не ожидала менее от человека, который не любит, а обожает; но такое доказательство неразлучно с некоторыми неприятностями, и для того, если б я была на месте этой неизвестной мучительницы...

Г-н Богатонов. Если б вы были на ее месте?..

Баронесса. То в доказательство любви вашей не заставила бы вас прыгать из окошка, а попросила бы составить скорее благополучие моего cousin, князя Блесткина.

Г-н Богатонов. За этим дело не станет; и если вы только хотите...

Баронесса. Но я не имею никакого права требовать этого.

Г-н Богатонов. Требуйте, сударыня, требуйте!

Баронесса. Именем дружбы... Надеюсь, сударь, этим правом я могу пользоваться?

Г-н Богатонов. Без сомнения! Итак, я могу называть вас своим другом?

Баронесса. О, конечно!.. А скоро ли будет свадьба вашей племянницы?

Г-н Богатонов. Лишь только ее уломаем, так и в церковь.

Баронесса. И вы будете ее уговаривать?

Г-н Богатонов. Сегодня же.

Баронесса. Честное слово?

Г-н Богатонов. Вот вам рука моя.

Баронесса *(подает ему руку)*. Смотрите же; а не то я вам ни в чем не буду верить.

Г-н Богатонов (*целуя ее руку*). Какая прекрасная ручка!

Баронесса. Перестаньте, сударь!

Г-н Богатонов. Ах, матушка сударыня! да как не целовать такие ручки!

Баронесса. Вы забыли: я могу узнать вашу незнакомку и пересказать ей...

Г-н Богатонов. Да вы ее знаете.

Баронесса. Неужели?

Г-н Богатонов. И очень хорошо.

Баронесса. Вы шутите! Кто же она?

Г-н Богатонов. Она, сударыня, она... (*В сторону.*) Ну, так и быть, была не была! (*Громко.*) Эта прекрасная незнакомка, эта тиранка...

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Анюта (скоро вбегает).

Анюта. Барыня приказала вас звать кушать.

Г-н Богатонов. Тьфу, мерзкая, провал бы тебя взял, как с неба свалилась.

Анюта. Она изволила уж сесть за стол.

Г-н Богатонов. Эка беда! так и надобно тебе было вбежать сюда, выпяля глаза, как бешеной. (*В сторону.*) Нелегкая принесла ее, проклятую; было лишь только развернулся.

Баронесса. Пойдемте, сударь; вы забыли, что нас дожидаются.

Г-н Богатонов. Пойдемте, нечего делать. (*Проходя мимо Анюты.*) Добро, негодная! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анюта (*одна*). За что он изволил так разгневаться? Он что-то говорил с жаром баронессе... Уж нет ли тут чего-нибудь? Ведь недаром же он около нее увивается; дает ей праздники, обеды... Так точно! Ах я дура, до сих пор не могла догадаться, что он за ней волочится! Так вот почему барин хочет выдать замуж свою племянницу; теперь я понимаю: баронесса хлопочет за своего двоюродного брата. Но постойте, сударыня, кто кого перехитрит. Во что б ни стало, я расстрою ваши планы или откажусь навсегда от звания горничной. (*Уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Мирославский и граф.

Мирославский. Куда вы бежите, граф?

Граф. Ах, дайте мне перевести дух! Никогда еще не слышал и не видел я столько глупостей в одно время.

Мирославский. Но что подумают хозяева?

Граф. Не беспокойтесь. Я сказал г-ну Богатонову, что вспомнил одно важное дело, о котором должен переговорить с вами наедине. Нет, надобно иметь ангельское терпение, чтоб выносить спокойно целые два часа несносное жеманство баронессы, плоские остроты князя и беспрестанные восхищения хозяина при каждой новой глупости своего милого Блесткина.

Мирославский. Мне жаль очень бедного Богатонова; эти друзья успели совершенно вскружить ему голову.

Граф. Этот князь...

Мирославский. Нимало для вас не опасен.

Граф. Однако ж Богатонов положил непременно выдать за него свою племянницу.

Мирославский. И князь, будучи уверен, что она богатая наследница, положил также непременно на ней жениться; но когда узнает...

Граф. Что такое?

Мирославский. Что в наследство после дядюшки останутся ей одни долги.

Граф. Как! неужели Богатонов успел уже расточить свое имение?

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Филутони.

Мирославский. Да, граф! Богатонов почти совершенно разорился.

Филутони *(в сторону)*. Што я слышь!

Мирославский. Если он должен, то ему придется уехать потихоньку из Петербурга, чтоб успеть сберечь хотя что-нибудь из своего состояния.

Филутони *(то же)*. Ай, ай, ай!

Мирославский. Я почти уверен, что ему должно будет, наконец, объявить себя банкротом и не платить никаких долгов.

Филутони (то же). Што, што! не плати долх? Боже сохрани. *(Громко.)* Милостиви государь!

Мирославский. А, Филутони! Что тебе, мой друг, надобно?

Филутони. Исфинить, мой коши спросить фас: ви исфолил кафарить, што каспадин Покатон совсем разорил?

Мирославский. Что! Богатонов совсем разорился?

Филутони. Та, сударь.

Мирославский. Да какое тебе до этого дело?

Филутони. Я принимай польшой участие в monsieur Покатон.

Мирославский *(в сторону)*. Какая счастливая мысль! *(Вслух.)* Ну, если так, то я скажу тебе: он в самом деле разорился.

Филутони. И коши ездить в терефнь?

Мирославский. Не так еще скоро.

Филутони. О, ошень скор; он не коши платить толг.

Мирославский. Какой вздор! Будь спокоен, мой друг. Если он тебе должен, то прежде не выедет из Петербурга, пока не заплатит.

Филутони. Карашо, карашо! *(В сторону.)* Он тумай обмануть; нет, мой батюшк!

Мирославский. Советую тебе недели три его не беспокоить.

Филутони. Ошень карошо! *(В сторону.)* Не так клуп, мой фосмет свой прекосион! * *(Громко.)* Прощайте, коспода.

Мирославский. Куда же ты?

Филутони. Я имей непольшой нужд. *(Кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Граф и Мирославский.

Мирославский. Ну, теперь дела наши пойдут своим чередом. Я уверен, этот француз обежит сегодня домов десять, и завтра же заимодавцы нагрянут кучею к Богатонову, а приятели не будут узнавать его в лицо; может быть, это заставит его образумиться.

---

* «Взять свой прекосион» — принять меры предосторожности (от *фр.* prendre ses précautions).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и г-н Богатонов.

Г-н Богатонов. А, батюшка граф, вы здесь! Ну, все ли изволили переговорить с Мирославским?

Мирославский. Да, мы переговорили все, что надобно.

Г-н Богатонов. Уж верно, о каком-нибудь важном деле?

Граф. Г-н Мирославский говорил об одном приятеле своем, которого желал бы избавить от совершенного разорения.

Г-н Богатонов. Верно, он, бедняжка, попался под суд, и Мирославский просил ваше сиятельство замолвить за него словечко?

Мирославский. Нет, мой друг...

Г-н Богатонов. Да отчего не хотел ты мне сказать о нем? Ведь и мы также, благодаря бога, не без приятелей.

Мирославский. Это совсем другого рода дело. Вот видишь ли, мой друг: один из моих знакомых, человек простой, но очень добрый, задумал жить не по своему состоянию: зачал проматывать именье, завел большое знакомство; да так как он плохо знает свет...

Г-н Богатонов. Верно, брат, приятель твой какой-нибудь деревенщина?

Мирославский. Да, он недавно приехал из деревни.

Г-н Богатонов. Ну, так и есть; я уж смекнул делом! И верно, полез в знать?

Мирославский. Ты отгадал.

Г-н Богатонов. Точно так! А на знатного-то человека совсем не походит?

Мирославский. Ни крошечки. У него нашлись приятели, которые стали обыгрывать его в карты, занимать деньги...

Г-н Богатонов. Ничто ему; не в свои сани не садись!

Мирославский. И он твердо уверен, что все эти приятели любят его самого, а не его деньги.

Г-н Богатонов. Экий простак!

Мирославский. Его обирают, обыгрывают, смеются над ним в глаза; а он же говорит, что очень им обязан.

Г-н Богатонов. Прошу покорно, ха, ха, ха! И родятся же такие олухи! Да скажи пожалуйста, где живет этот бедняжка?

Мирославский. Здесь, в Петербурге.

Г-н Богатонов. Здесь? Тьфу, пропасть! я почти весь город знаю, а кажется, будто этакого чудака нигде не видал.

Граф *(тихо Мирославскому)*. Мне, право, его жаль!

Г-н Богатонов. Та, та, та, знаю, знаю! Так точно, это, верно, Промотаев. Да разве ты с ним знаком?

Мирославский. Нет, мой друг, ты ошибаешься!

Г-н Богатонов. Полно, полно, не обманешь; ты описал его точь-в-точь. Это, ваше сиятельство, прежалкий человек! Забрал себе в голову, что может быть в дружбе с знатными; ну, а где ему... человек простой, двух перечесть не умеет; весь свет над ним смеется.

Мирославский. И он один только думает, что нимало не смешон.

Г-н Богатонов. Куда ты! Да еще барится, думает, что он преважная особа; умора, да и только!

Мирославский. Ха, ха, ха! это в самом деле забавно. *(К графу.)* Граф! мне кажется, и вы смеетесь?

Г-н Богатонов. Да как не смеяться! Посмотрели бы вы на Промотаева: чуть кто не граф, да не князь, так и взглянуть не хочет; а сам-то, ха, ха, ха! что за рожа! Ну, мужик мужиком. Если б вы знали, как его, бедняжку, обманывают! Вот, например: какой-то плут взялся ему выписать из Парижа то самое вино, которое употребляют там при дворе, да и содрал с него рублей по тридцати за бутылку, ну, как вы думаете, ведь никто его не переуверит; хоть ты его зарежь, а стоит в том, что вино прямо с королевского стола. Ха, ха, ха! А вино-то куплено здесь в каком-то погребе.

Граф. Это и смешно и жалко. *(Вынимает табакерку.)*

Г-н Богатонов. А, кстати! *(Вынимает свою табакерку.)* Не прикажете ли, ваше сиятельство?

Граф. Французский?

Г-н Богатонов. Французский; да чудо, не табак! *(Граф нюхает.)* Ну что, батюшка граф, каков?

Граф. Табак порядочный!

Г-н Богатонов. Порядочный! Ха, ха, ха! Да сказать ли вам по секрету: ведь это тот самый табак, который делают в Париже для одной царской фамилии.

Мирославский *(в сторону)*. Это стоит королевского вина!

Граф. Я думаю, вы очень дорого за него платите?

Г-н Богатонов. Таки не дешево. Да у меня уж, батюшка ваше сиятельство, такой обычай: давай все лучшее, а за деньгами не стоим. Вот, например, моя библиотека: всю, батюшка, до книжки выписал из Парижа.

Мирославский. Это что-то новое! Давно ли ты сделался охотником до книг?

Г-н Богатонов. Здесь, брат, поневоле сделаешься! Я месяца с два как завел библиотеку; дорого она мне, проклятая, стоит; и читать-то, правда, я по-французски не умею, да что будешь делать; куда ни загляни, у всякого библиотека. Ведь надобно же что-нибудь в кабинете-то поставить.

Граф. А каких больше у вас книг?

Г-н Богатонов. Каких! да всяка, батюшка ваше сиятельство: есть и большие и маленькие.

Мирославский. Я думаю, племянница твоя любит читать?

Г-н Богатонов. Племянница умирает на книгах. Она вздумала было ставить их по-своему: ученые к ученым, такие к таким...

Граф. То есть племянница ваша хотела их расположить по материям.

Г-н Богатонов. Ан и вышло дурно. А я так взял да подобрал их, крупные к крупным, а мелкие к мелким, так теперь любо-дорого смотреть.

Мирославский. Вот что значит любить порядок!

Г-н Богатонов. Да не прикажете ли, ваше сиятельство, посмотрите сами, прошу покорно.

Граф. Очень хорошо! *(Тихо Мирославскому.)* Пойдемте смотреть эту несчастную библиотеку.

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Князь и баронесса (выходят из противуположной стороны).

Князь. Куда это Богатонов повел своих гостей? Верно, в библиотеку. Он не отстает ни на минуту от этого графа.

Баронесса. Вы беспрестанно говорите о графе. Неужели вы в самом деле заметили...

Князь. Какой забавный вопрос! Мне кажется, нетрудно было приметить, что граф садился всегда подле Лизы, глядел беспрестанно на Лизу, относился поминутно к Лизе и был вежлив только с Лизою.

Баронесса. Это оттого, что она давно уже его знает.

Князь. За столом он говорил с ней вполголоса; она потупила глаза, краснела, бросала на него исподтишка такие стыдливые, робкие взгляды... Не правда ли, и это также оттого, что она с ним давно уже знакома?

Баронесса. Что с вами сделалось, mon cousin? Я не смею верить,— уж не ревнуете ли вы?

Князь. Погодите, дайте мне жениться, и тогда, надеюсь, вы не сделаете мне этого упрека; но теперь, признаюсь вам, я очень был рад, что Богатонова занялась гран-пасиансом, и я могу свободно говорить с вами о моих подозрениях.

Баронесса. Неужели граф Владимилов, этот жалкий чудак, кажется вам опасным соперником?

Князь. Не он, а его четыре тысячи душ! Заметили ли вы, как господин Богатонов за ним ухаживает?

Баронесса. О, что касается до Богатонова, вы можете быть спокойны; бедняжка потерял совершенно голову.

Князь. Кстати! вы ничего мне еще не сказывали о вашем tête-à-tête; * делает ли какие-нибудь успехи мой воспитанник?

Баронесса. Неимоверные! Он становится час от часу забавнее.

Князь. Вы говорили о моей женитьбе?

Баронесса. Г-н Богатонов дал мне честное слово нынче же поговорить с своей племянницей и настоятельно требовать ее согласия.

Князь. Как я вам обязан!

Баронесса. Не благодарите меня. Сначала я решилась играть эту комедию для того только, что надеялась помочь вам сделать выгодную партию; но теперь... О, вы не можете представить, как забавляют меня дурачества этого Богатонова!

---

* свидании наедине, с глазу на глаз *(фр.)*.

Князь. Итак, я могу надеяться...

Баронесса. На покровительство дяди; за это я вам ручаюсь.

Князь. Какая восхитительная будущность! Я живу открыто, беспрестанные балы, вечера. Жена моя будет принимать гостей; к ней станут приезжать; но настоящею хозяйкою будете вы, кузина: вы станете всем распоряжаться; сделаетесь душою нашего общества!

Баронесса. Которое составится из наших общих знакомых.

Князь. Без сомнения! У нас не будут известны эти скучные монотонные игры, эти бесконечные бостоны, несносные висты; крепс, макао...

Баронесса. И небольшой фараончик. Вы знаете князь, как я его люблю.

Князь. Мы заведем домашний театр. Друг ваш, прелестная Оленька, станет играть скромных Агнес.

Баронесса. А вы — страстных любовников.

Князь. И жена моя, сидя между зрителей, будет нам аплодировать. О, это восхитительно!

Баронесса. Мечтатель!

Князь. Не правда ли, я прекрасно расположил будущий образ моей жизни?

Баронесса. Нельзя лучше; теперь остается только подумать о безделице: ну, если Лиза, несмотря на все увещания своего дяди, не согласится выйти за вас замуж?

Князь. Если... Это проклятое если расстраивает все мои планы; и сказать вам правду, я имею много причин опасаться этого. Если подозрения мои справедливы, если граф...

Баронесса. От него очень легко избавиться. Я уверю Богатонова, что он должен отказать ему от дому.

Князь. И вы думаете, он вас послушается?

Баронесса. Без сомнения.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и г-жа Богатонова.

Г-жа Богатонова. Вы здесь; а я было вас заискалась. Куда же девались мой муж и граф?

Князь. Они в библиотеке,

Г-жа Богатонова. Ну, матушка баронесса, ведь гран-пасианс-то не вышел.

Баронесса. Не вышел! как досадно; а я было загадала...

Г-жа Богатонова. Что такое?

Баронесса. Скоро ли будет свадьба вашей племянницы.

Г-жа Богатонова. Скоро, скоро! Я еще нынче говорила об этом с Лизонькой.

Князь. Право! поэтому она начинает быть ко мне милостивее.

Г-жа Богатонова. Я думаю, что так. Прежде она только и твердила, что хочет вечно остаться в девках; а теперь говорит уже, что жить с милым человеком гораздо приятнее, чем умереть в одиночестве.

Князь. Но кто же этот милый человек?

Г-жа Богатонова. Да кому же быть, как не вам, батюшка; ведь за нее, кроме вас, никто не сватается.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, г-н Богатонов, Мирославский и граф.

Г-н Богатонов. Помилуйте, ваше сиятельство, куда же вы изволите спешить?

Граф. Мне непременно надобно заехать в одно место.

Мирославский. Мы через два часа опять сюда будем. *(Кланяются.)*

Граф *(к Богатонову, который идет провожать).* Прошу вас, не беспокойтесь.

Г-н Богатонов. И, граф, что такое.

Граф. К чему эти церемонии; останьтесь. *(Уходит с Мирославским, г-н Богатонов провожает их за дверь.)*

Князь. Я не понимаю! Г-н Богатонов так ухаживает за графом, как будто он какая-нибудь важная особа.

Баронессса. И он же показывает, что все эти вежливости ему в тягость.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Князь, баронесса, г-жа Богатонова и г-н Богатонов.

Г-н Богатонов *(к князю)*. Ну, мой милый, пустил же я графу-то пыли в глаза. А! каков у нас был нынче десерт?

Князь. Прекрасный!

Г-н Богатонов. А вина?

Князь. Превосходные!

Г-н Богатонов. То-то же! *(К баронессе.)* Поглядели бы вы, матушка, как он разинул рот, как я привел его в библиотеку.

Баронесса. И он не сказал, сударь, что книги ваши никуда не годятся, что кабинет убран без всякого вкуса?

Г-н Богатонов. Вот тебе на! да отчего бы он сказал это?

Баронесса. Оттого, что в целом свете нет ничего по его мыслям; оттого, что он привык находить все дурным и бранить всех, выключая самого себя.

Князь *(к Богатоновой)*. Да, он человек преопасный! Знаете ли, отчего он живет в деревне? Здесь никто не хотел с ним знаться.

Г-жа Богатонова. Неужели?

Баронесса *(к г-ну Богатонову)*. Заметили ли, с какой презрительной усмешкой смотрел он на ваш серебряный сервиз; как морщился, когда пил вино?

Г-н Богатонов. Шутите!

Князь *(г-же Богатоновой)*. Вы, верно, не приметили, сударыня, что он беспрестанно осматривал вас с ног до головы, шептал на ухо Мирославскому и смеялся вам почти в глаза.

Г-жа Богатонова. Ах он деревенщина!

Баронесса *(г-ну Богатонову)*. Неужто вы не слышали, как он рассуждал за столом, что для него жалки, то есть смешны, все те, которые оставляют деревни для того, чтоб прожить в столице все свое имение? Ведь он говорил это на ваш счет.

Г-н Богатонов. Вот тебе на! да какое ему до меня дело?

Князь *(г-же Богатоновой)*. Помните ли, как он, не зная к чему, стал доказывать, что ничего не может быть смешнее пожилой женщины, которая наряжается, как

шестнадцатилетняя девушка, и при этих словах взглянул с насмешливою улыбкою на розовую гирлянду, которая у вас на голове.

Г-жа Богатонова. Ах, батюшки! Да смотрел бы он на себя! Вот еще выискался какой учитель.

Баронесса. Знаете ли, что он сочиняет стихи, пишет на всех сатиры; посмотрите, если он и на вас каких стихов не выпустит.

Г-н Богатонов. Боже сохрани!

Баронесса. Ну, если он вздумает напечатать в своей сатире, что у вас прескверное вино и сервиз не серебряный, а аплике? *

Г-н Богатонов. Аплике! Ах, разбойник! он этак совсем меня осрамит!

Князь. Не принимайте его; это лучшее средство избавиться от всех неприятностей.

Г-жа Богатонова (*мужу*). В самом деле, батюшка! Что за важность; ведь мы жили же без него. Только слава-то, что граф, а, право, он хуже простого дворянина.

Г-н Богатонов. Однако ж, жена, что ни говори, человек он знатный.

Баронесса. Мне кажется даже,—этот граф имеет виды на вашу племянницу.

Г-н Богатонов. На мою племянницу! О, это пустое, и чтоб он этого и в голове не держал, я позову ее сейчас сюда и заставлю дать слово князю.

Баронесса (*тихо*). Я вижу, вы хотите сдержать ваше обещание.

Г-н Богатонов (*тихо*). Если б я мог также надеяться?

Г-жа Богатонова. О чем вы потихоньку разговариваете?

Г-н Богатонов (*испугавшись*). Так, ничего, ничего; о погоде!

Князь (*к Богатоновой*). Ах, сударыня! я забыл вам сказать: Ветронова развелась с своим мужем, и знаете ли отчего?.. (*Говорит ей тихо.*)

Г-н Богатонов. Если б я мог еще поговорить с вами наедине; нынче поутру мне не удалось открыть вам мою тайну.

Баронесса. Не знаю, сударь, должна ли я согласиться; такая доверенность... Но так и быть, вы имеете

---

* Здесь: с накладным серебром (от *фр.* appliqué).

право на мое снисхождение. Постарайтесь часа через два быть одни в этой горнице.

Г-н Богатонов. Очень хорошо!

Г-жа Богатонова *(громко)*. Прекрасно! муж назначает при жене любовное свидание.

Г-н Богатонов *(испугавшись)*. Что, что такое?

Г-жа Богатонова. И она, дура, не могла до сих пор этого заметить?

Г-н Богатонов. Как заметить?

Г-жа Богатонова. Да, батюшка! Ветронова насилу догадалась, что муж ее негодяй, и только вчерась с ним развелась.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Ух, отдохнул!

Г-жа Богатонова. Да что мы собрались все сюда; пойдемте лучше в мою горницу: там гораздо свежее.

Князь. О, несравненно! окошки вашей комнаты дают в сад...

Баронесса. Сидя подле них, мы можем взять немного свежего воздуху.

Г-жа Богатонова. Пойдемте же! А ты, мой друг, останься, да поговори с Лизонькой: ведь надобно это когда-нибудь кончить.

Уходят все, кроме г-на Богатонова.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Г-н Богатонов и вскоре Анюта.

Г-н Богатонов. Эй, кто-нибудь?

Анюта *(входит)*. Что вам угодно?

Г-н Богатонов. Позови сюда племянницу.

Анюта уходит.

Мне надобно принять на себя вид посердитее. Постой, я сяду на эти кресла; это будет важнее. *(Садится на вольтеровские кресла.)* Она станет вот здесь, против меня; я взгляну на нее вот так и скажу: «Племянница! знаешь ли, что я тобою очень недоволен?» Хорошо, хорошо! посмотрим, как она осмелится не уважить моих приказаний.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Г-н Богатонов, Лиза и Анюта.

Лиза. Вы меня звали, дядюшка?

Г-н Богатонов (*отрывисто*). Да. Подойди сюда; сюда! ближе! так.

Лиза. К чему все эти приготовления!

Г-н Богатонов. Прошу молчать! (*Кашляет.*) Посмотри-ка на меня прямо.

Анюта (*в сторону*). Что это за комедия?

Г-н Богатонов. Знаешь ли, племянница, что я очень тобою недоволен?

Лиза. Нет, дядюшка!

Г-н Богатонов. Как нет! да разве ты слепа?

Лиза. Нет, дядюшка!

Г-н Богатонов. Разве ты не видишь, что я сердит?

Лиза. Нет, дядюшка!

Г-н Богатонов (*передразнивая*). Нет, дядюшка! Да, племянница, я сердит, понимаешь ли, очень сердит!

Анюта. Как не понять, сударь, вы говорите по-русски.

Г-н Богатонов. Молчать, негодная! ты мне и так уж насолила. (*К Лизе.*) Отвечайте, сударыня, на то, что я буду вас спрашивать.

Лиза. Извольте, дядюшка.

Г-н Богатонов. Для чего вы не хотите выйти за князя Блесткина?

Лиза. Потому что он мне не нравится.

Г-н Богатонов. А почему он вам не нравится, сударыня?

Лиза. Я не нахожу в нем ничего хорошего.

Г-н Богатонов. А отчего вы не находите в нем ничего хорошего?

Анюта. Кому, сударь, охота искать пустого места.

Г-н Богатонов. Опять заговорила! Отвечай же! Ну, что же ты не отвечаешь?

Лиза. Потому...

Г-н Богатонов. Потому что, потому?..

Лиза. Потому...

Г-н Богатонов. Что, нечего, видно, сказать; ну, говори, что в нем дурного?

Лиза. Все.

Г-н Богатонов. Все?

Лиза. Он мот.

Г-н Богатонов. Вздор!

Анюта. Вы правы, сударь! Князь не мот, — ему нечего уже проматывать.

Г-н Богатонов. Замолчишь ли ты?

Лиза. Игрок.

Г-н Богатонов. Так что ж, разве это беда?

Лиза. Ветреник.

Г-н Богатонов. Пустое, сударыня, пустое! Ты не знаешь, что сказать.

Лиза. Одним словом, он мне не нравится, и я ни за что не выйду за него замуж.

Г-н Богатонов (*передразнивая*). Он мне не нравится, и оттого я не хочу за него выйти замуж. Экое дурацкое суждение; а того не подумает, что будет княгиня.

Лиза. Разве это название сделает меня счастливее?

Г-н Богатонов. Да как же, глупенькая! Ведь ты сделаешься большой барыней; все знатные станут к тебе ездить, будут говорить: вчерась я был на бале; завтра еду на званый обед — к ее сиятельству княгине Блесткиной. А! к ее сиятельству! что, скажешь, это не весело?

Лиза. Нимало.

Анюта. Вы говорите, сударь, как будто ваш князь только и на свете...

Г-н Богатонов. Перестанешь ли ты врать, негодница! Послушай, племянница, я говорю тебе в последний раз: идешь ли ты за князя?

Лиза. Нет, дядюшка!

Г-н Богатонов (*вскакивает*). Так я ж тебе сказываю: ты будешь за ним, или я лишу тебя наследства!

Лиза. Как вам угодно.

Г-н Богатонов. Не буду называть племянницей!

Лиза. Воля ваша.

Г-н Богатонов. И укреплю все имение князю.

Лиза. Это от вас зависит.

Г-н Богатонов (*в сторону*). Экая упрямая! (*Громко.*) Послушай, Лизонька, друг мой! утешь меня, не упрямься! А! что? ты послушаешься, не правда ли, миленькая, ты выйдешь за князя?

Лиза. Никогда.

Г-н Богатонов. Никогда! негодная! никогда, бесстыдница! Да вздор, сударыня; я поставлю на своем: ты себе хоть тресни, а княгиней будешь!

Анюта. В самом деле, сударыня, для чего вам не согласиться? Во-первых, никто не скажет, что вы польстились на имение: у него копейки нет за душою; во-вторых...

Г-н Богатонов. Во-вторых, я сломлю тебе шею, если ты еще слово скажешь.

Анюта. Я, сударь, за вас же вступаюсь. Во-вторых, если б вы знали, сударыня, кто просит об этом вашего дядюшку.

Г-н Богатонов. Кто просит?

Анюта. Правда, если б барыня знала это так же хорошо, как я, то, верно, не стала бы спешить выдавать вас замуж.

Г-н Богатонов. Что это значит?

Анюта. Так-с, ничего.

Г-н Богатонов. Что ты знаешь?

Анюта. Мы знаем, что знаем.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Уж не проведала ли она как-нибудь! Быть не может. *(Громко.)* Послушай, голубушка, я не люблю обиняков; говори прямо, что ты знаешь?

Анюта. Вы приказываете, сударь? Я знаю, что баронесса...

Г-н Богатонов *(Анюте тихо)*. Тс! — Племянница, пойди в свою комнату.

Лиза. Вы на меня сердитесь, дядюшка?

Анюта. Что же делать, ведь и на него также сердятся.

Г-н Богатонов. Она при ней все выскажет! *(К Лизе.)* Нет, мой друг, я не сержусь.

Лиза. Вы не будете более от меня требовать...

Г-н Богатонов. Хорошо, хорошо! Ступай же, душенька.

Лиза уходит, г-н Богатонов останавливает Анюту.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Г-н Богатонов и Анюта.

Г-н Богатонов. Постой, постой, голубушка! Ты должна прежде сказать мне, что ты знаешь.

Анюта. Смотрите же, сударь, чур не краснеть. Вы влюблены в баронессу.

Г-н Богатонов. Тс, тише, тише! что ты горланишь. Это вздор, неправда!

Анюта. Неправда? Отчего же вы испугались?

Г-н Богатонов. Отчего?.. Ты врешь; кто испугался?

Анюта. Полноте секретничать, сударь, я все знаю.

Г-н Богатонов. Все! Как все? *(В сторону.)* Вот тебе на!

Анюта. Баронесса не дает вам отдыху; она хочет непременно женить князя на барышне.

Г-н Богатонов. Какой вздор! *(В сторону.)* Надобно из нее выведать, все ли она знает. *(Громко.)* Послушай: с чего ты взяла, что я влюблен в баронессу?

Анюта. Я уж сказала вам, что все знаю, и знаю даже, что вы говорили с ней сегодня поутру.

Г-н Богатонов. Ну, что я говорил?

Анюта. О любви вашей — не правда ли?

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Ахти! она знает!

Анюта. Уверяли, что обожаете ее; не так ли?

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Она все знает!

Анюта. Да полно, не назначили ли вы с ней свидания?

Г-н Богатонов. Ан вот и вздор: поутру об этом и слова не было.

Анюта. Так вы говорили с ней об этом после обеда.

Г-н Богатонов. А где назначила она мне свидание?

Анюта. Где! И вы думаете, что я не знаю?

Г-н Богатонов. Небось скажешь — в этой комнате?

Анюта. Да, сударь, в этой комнате.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Ну, она все пронюхала!

Анюта. Не долго ли вам будет здесь дожидаться; ведь баронесса-то, я думаю, прежде трех или двух часов к вам не выйдет.

Г-н Богатонов. Двух часов! Так ты и то знаешь, что она через два часа сюда будет?

Анюта *(в сторону)*. Через два часа, прекрасно! *(Громко.)* Как же, сударь, я уж сказала, что все знаю.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Делать нечего, надобно ее приласкать! *(Громко.)* Послушай, миленькая, я вижу, от тебя ничего не скроешь; надеюсь, однако ж, Аннушка...

Анюта. Не беспокойтесь, сударь, я болтать не охотница.

Г-н Богатонов. То-то же, смотри, никому ни слова.

Анюта. Будьте уверены.

Г-н Богатонов. Я сам тебе отплачу: ты будешь вольная, получишь хорошее приданое...

Анюта. Много милости, сударь.

Г-н Богатонов. Прощай же; я пойду теперь к жене. *(Треплет ее по щеке.)* Помни же, Анюточка,— отпускная и приданое. *(Уходя, в сторону.)* Ну, теперь дело в шляпе, и она с моей стороны.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Анюта *(одна)*. Добро, старый волокита, я сыграю с тобой шуточку. Через два часа! Хорошо, я приведу барыню; она услышит все, и мы увидим тогда, на чьей улице будет праздник!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Богатонов *(один)*. Насилу вырвался! Жена, как будто на смех, не хотела отстать от меня ни на минуту. Теперь засела она с князем в пикет и, верно, проиграет часа три сряду. Баронесса должна сейчас сюда прийти. Ну, Иван Сидорыч, не осрами себя; скажи ей прямо, без запинки, что ты ее любишь! Тс! кто-то идет! Это она!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-н Богатонов и баронесса.

Баронесса. Кажется, сударь, я не заставила вас дожидаться?

Г-н Богатонов. Нет, сударыня, я только что пришел.

Баронесса. Мне надобно о многом вас спрашивать. Говорили ли вы с своей племянницей?

Г-н Богатонов *(печально)*. Говорил, сударыня.

Баронесса. И, как кажется, без всякого успеха?

Г-н Богатонов. Что будешь с ней делать; поверите ли, матушка, я такой упрямой девки еще и не видывал.

Баронесса. Итак, нет никакой надежды?

Г-н Богатонов. Нет, я еще не отчаиваюсь; как буду ее увещевать каждый день, так, может быть, наконец, князь ей и понравится.

Баронесса. Жалкое средство!

Г-н Богатонов. Как вы думаете, что сказала она, когда я представил ей, что будет знатной госпожой, княгиней? «Ведь, дескать, от этого я не буду счастливее». Прошу говорить дело с такой бестолковой.

Баронесса. Но вам бы должно говорить совсем другое. Вы твердили бы ей беспрестанно, что князь ее любит; что для нее презирает всех женщин; что одна она наполняет его душу; что ею одной он дышит...

Г-н Богатонов. Виноват, матушка, вот этого-то я и не догадался. Погодите, завтра же объявлю племяннице, что князь ею дышит. Посмотрим, что она на это скажет!

Баронесса оглядывается.

Что вы, сударыня?

Баронесса. Мне показалось, что кто-то сюда идет.

Г-н Богатонов. Не беспокойтесь, нас никто не подслушает.

Баронесса. Признаюсь, я не желала бы, чтоб кто-нибудь, кроме меня, знал вашу тайну.

Г-н Богатонов. Избави боже!

Баронесса. Мне приятно мыслить, что я одна заслужила вашу доверенность.

Г-н Богатонов. Ах, сударыня! если б я... если б мы... *(В сторону.)* Тьфу, пропасть, опять не знаю, как начать!

Баронесса. Что значит это смущение? Позвольте вам напомнить, сударь, вы говорите с другом вашим.

Г-н Богатонов. Не знаю отчего, но всякий раз, как говорю с вами, на меня такой столбняк находит.

Баронесса. Может быть оттого, что воображение ваше наполнено прекрасною незнакомкой; вы думаете, что говорите с нею.

Г-н Богатонов. Точно, точно! я как будто вижу ее перед собою.

Баронесса. Вы обещали открыть мне...

Г-н Богатонов. Ее имя, да, сударыня, я обещался; но позвольте мне прежде поговорить с вами об одном искреннем моем приятеле.

Баронесса. Что такое?

Г-н Богатонов. Он, сударыня, бедняжка! Пожалейте о нем — он по уши в вас влюблен.

Баронесса. Вы шутите?

Г-н Богатонов. Если б вы знали, как он мучится.

Баронесса. Мне очень жаль.

Г-н Богатонов. И никак не может собраться с духом сделать это признание.

Баронесса. Он очень хорошо делает.

Г-н Богатонов. Как, сударыня!

Баронесса. Он стал бы понапрасну беспокоиться: я решилась никого не любить.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Вот тебе на!

Баронесса. Мужчины не то, что были прежде; нынче верность, постоянство — одни пустые слова. Нет, сударь, я повторяю еще раз: мы не должны любить. Я согласна, если б молодые люди, подобно вам, соединяли в себе все достоинства наших предков с любезностию нынешнего времени.

Г-н Богатонов. Подобно мне!

Баронесса. Если б они умели так, как вы, не любить, а обожать, быть скромными, не сметь без трепета произнести священное слово «люблю!», вздыхать...

Г-н Богатонов. Ах!

Баронесса. Так, как вы вздыхаете теперь; то, может быть, я первая сказала бы мужчинам: вы достойны любви нашей, вы сами умеете любить.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Дурак, чего еще тебе! *(Громко.)* Сударыня! приятель мой точно так же обожает, вздыхает, как я!

Баронесса. Неужели?

Г-н Богатонов. Он как две капли походит на меня.

Баронесса. Право! Кто же он?..

Г-н Богатонов. Кто он? матушка баронесса, помилуй! *(Бросается на оба колена.)* Вот он, весь тут!

Баронесса. Что это значит? А ваша незнакомка?

Г-н Богатонов. Это вы!..

Баронесса. Да встаньте же, сударь, встаньте.

Г-н Богатонов. Нет, ни за что не встану!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, г-жа Богатонова и Анюта.

Анюта. Ну, сударыня, вы не хотели верить.

Баронесса *(не видя Богатоновой)*. Ах, боже мой! да встанете ли вы, сударь?

Г-н Богатонов *(не видя жены)*. Издохну, а не тронусь с места. Говори, жестокая! жить или умереть!

Г-жа Богатонова *(подойдя сзади)*. Прекрасно!.. Ах ты, старый беззаконник!

Г-н Богатонов *(онемев от удивления)*. Что, что такое?

Г-жа Богатонова. Да встанешь ли ты, негодный?

Г-н Богатонов *(встает и в сторону)*. Ну, попался я!

Г-жа Богатонова. Ах ты, сквернавец! Ну твоей ли дурацкой харе влюбляться!..

Г-н Богатонов. Да послушай, жена,— ты не знаешь...

Г-жа Богатонова. Чего мне еще знать, сударь?

Баронесса. Это, сударыня, была одна только шутка.

Г-жа Богатонова. Прекрасная шуточка! Да и вы, матушка, прекрасная дама, развратить под старость человека! С тобой-то, голубчик, я переведаюсь.

Г-н Богатонов. Да, тьфу, пропасть, что ты расшумелась! Послушай!..

Г-жа Богатонова *(с бешенством)*. Я расшумелась? И он же говорит, что я расшумелась! Ах ты, негодный, ах ты, мерзкий старичишка! Нет, нет! я докажу тебе, ты увидишь, ты узнаешь.— Эй, кто здесь! Аннушка, зови всех сюда.

Аннушка уходит.

Г-н Богатонов. Помилуй, матушка, что ты...

Г-жа Богатонова. Да, да, всех сюда! Я хочу, чтоб все видели, чтоб весь свет знал: племянница, князь!..

Г-н Богатонов. Какой срам,— жена!..

Г-жа Богатонова. Да, да, я осрамлю тебя перед всеми! Созову всех: знакомых, людей, девок! Лизонька, князь! *(Бежит вон.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Богатонов и баронесса.

Баронесса. Что вы наделали!

Г-н Богатонов. Беда, да и только! да откуда она выползла?

Баронесса. Ее, кажется, привела сюда Аннушка.

Г-н Богатонов. Аннушка! неужели? Ну, доехала же она меня!.. Ах, злодейка! Провести меня, как пошлого дурака!..

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, г-жа Богатонова, князь, Лиза и Аннушка.

Г-жа Богатонова. Ступайте все сюда! Князь! полюбуйтесь вашим приятелем.

Князь. Да растолкуйте мне!..

Г-жа Богатонова. Так, ничего, я застала, что он изъяснялся в любви к этой почтенной госпоже, стоял перед нею на коленях...

Князь. На коленях! *(Тихо Богатонову.)*. Ведь я говорил вам, на колени не становиться.

Г-н Богатонов *(тихо князю)*. Лукавый попутал!

Г-жа Богатонова. Он, чай, не признается; да нет, голубчик, я видела сама, видела своими глазами.

Князь *(тихо Богатонову)*. Постойте, я поправлю все дело. *(Громко.)* Итак, вы застали г-на Богатонова на коленях перед баронессою?

Г-жа Богатонова. Да, сударь, на коленях.

Князь. Слышали, как он изъяснялся в любви?

Г-жа Богатонова. Да, сударь, слышала, слышала своими ушами.

Князь. И сердитесь? Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова. Ах, батюшка! не прикажете ли мне радоваться?

Князь. Прекрасно! это несравненная сцена! Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова. Мне кажется, батюшка, тут нет ничего смешного.

Князь. Напротив, надобно умереть со смеху. Ха, ха, ха!

Г-жа Богатонова *(сердито)*. Князь!

Князь. Какая забавная ошибка!

Г-жа Богатонова. Ошибка? Не думаете ли вы меня уверить...

Князь *(к Богатонову)*. Нечего делать, сударь, нам придется открыть нашу тайну.

Г-жа Богатонова *(к мужу)*. Какую тайну? Что это значит! Отвечайте, сударь!

Г-н Богатонов. Это значит... это значит... Князь, скажи ей.

Князь. Вы не сердиться, а благодарить должны г-на Богатонова.

Г-жа Богатонова. Благодарить!

Анюта *(в сторону)*. Неужели этот князь их выручит?

Князь. Именины ваши будут в нынешнем месяце; г-ну Богатонову вздумалось сделать вам сюрприз.

Г-жа Богатонова. Сюрприз! Уж не этот ли?

Князь. Он упросил меня и баронессу присоединиться к нему и выучить втроем небольшую комедию. Я не умею играть нежных ролей и для того взял роль мужа, а господин Богатонов — роль любовника.

Баронесса. А я той, в которую он влюблен.

Князь. Нынешний день хотели мы сделать репетицию; всем оставить вас было нельзя, и для того г-н Богатонов ушел в эту комнату с баронессою.

Г-жа Богатонова. Как, сударь! то, что он говорил...

Князь. Было не что иное, как роль любовника, которую он хотел играть в комедии.

Г-н Богатонов. Да, мой друг, мы с баронессой протверживали наши роли.

Г-жа Богатонова. Неужели я ошиблась?

Анюта *(тихо Богатоновой)*. Помилуйте, сударыня, ну похоже ли это на истину?

Г-жа Богатонова. Молчи, это не твое дело. *(К Богатонову.)* Ты протверживал свою роль, ну, так и надобно было тебе назначать для этого потихоньку свидание с баронессою?

Князь. Да как же бы иначе от вас скрыть, что мы готовим вам сюрприз.

Г-н Богатонов. Конечно, ты все дело испортила; за то тебе и сюрприза не будет.

Баронесса. Я первая отказываюсь от своей роли. После такого обидного подозрения со стороны госпожи Богатоновой...

Г-н Богатонов. Вот видишь ли, ты разобидела баронессу.

Г-жа Богатонова. Но могло ли мне прийти это в голову? Я и теперь еще не знаю, что думать.

Князь. Но вы знаете, сударыня, как я люблю вас и почитаю; следственно, не могу обманывать: поверьте. это было так, как я рассказывал.

Г-жа Богатонова. Нечего делать; если все меня уверяют, то, видно, я в самом деле виновата. Извините меня, матушка баронесса; что делать, мы все люди, все человеки, долго ли ошибиться.

Баронесса. Я извиняю вас от доброго сердца.

Г-жа Богатонова (*мужу*). Ты не сердишься?

Г-н Богатонов. Ну, добро, так уж и быть,— я тебя прощаю.

Анюта (*в сторону*). Ну, как не треснуть с досады! И она же просит прощения.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, Мирославский и граф.

Г-н Богатонов (*в сторону*). Опять этот граф!

Мирославский (*к Богатонову*). Вот, мой друг, мы опять здесь.

Г-н Богатонов. Где изволили побывать, ваше сиятельство?

Граф. У некоторых из знакомых моих.

Мирославский. Местах в пяти. Мы очень устали, но хотели непременно сдержать свое слово, провести вместе вечер и отужинать с вами.

Г-жа Богатонова (*к Мирославскому*). Вам мы очень рады, батюшка, но нам совестно графа,— он будет голоден.

Граф. Я, сударыня?

Г-жа Богатонова. Да, сударь. Вы, я думаю, привыкли к деликатным столам, а у нас стол простой; да и где нам; мы простые дворяне, а не знатные графы.

Г-н Богатонов (*толкая жену*). Жена!

Граф. Вы шутите, сударыня.

Г-жа Богатонова. Сервизишка у нас бедный, вина скверные!

Г-н Богатонов. Жена!

Г-жа Богатонова (*к баронессе*). Как вы думае-

те, матушка баронесса, не снять ли мне с головы гирлянду, ведь иным это не нравится.

Баронесса. И, сударыня, всем угодить не можно.

Г-жа Богатонова. А не угождай, то того и гляди, что попадешься в какой-нибудь пасквиль.

Г-н Богатонов. Жена! да уймешься ли ты?

Граф *(тихо Мирославскому)*. Мне кажется, против меня есть заговор.

Мирославский. Это очень приметно.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Клим.

Клим *(Богатонову)*. Мусью Филутони, сударь, пришел.

Г-н Богатонов. А! верно, с французским табаком.

Клим. Нет, сударь, с каким-то полицейским чиновником.

Г-н Богатонов. С полицейским чиновником? Что это значит!

Мирославский *(тихо к графу)*. Дело идет к развязке; Филутони помогает нам лучше, чем я надеялся.

Г-жа Богатонова. Зови их сюда.

Клим *(отворив дверь)*. Извольте войти.

Г-н Богатонов. Что бы это такое? Я никак не могу понять!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Филутони и полицейский чиновник.

Полицейский чиновник. Позвольте узнать, кто здесь г-н Богатонов?

Г-н Богатонов. Я! что вам надобно?

Полицейский чиновник. Должны ли вы этому человеку? *(Показывает на Филутони)*.

Г-н Богатонов. Филутони? должен; но к чему это?

Полицейский чиновник. Много ли?

Г-н Богатонов. Три тысячи.

Филутони *(полицейскому чиновнику)*. Исфолить слышать, три тысяч.

Полицейский чиновник. Когда вы сами признаетесь, что должны ему три тысячи, то, вследствие поданного от него, Филутони, прошения, я объявляю вам именем правительства, что, прежде уплаты сего долга, вам не позволено будет оставить здешнего города. Извините, сударь, я должен был выполнить свою обязанность. *(Кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, кроме полицейского чиновника.

Г-н Богатонов. Да кто думал отсюда ехать? Что ты, Филутони, рехнулся, что ль?

Филутони. О нет, мой патюшк! Я снай, што фи расорил, што фи коши ехать, што фи не коши платить толк...

Г-н Богатонов. Черт меня возьми, если я тут хоть слово понимаю! Я разорился, я хочу ехать: что это за ералаш?

Мирославский. Ну, мой друг! если весь город об этом уж знает, то и мне таить нечего: ты точно разорился.

Г-жа Богатонова. Боже мой!

Г-н Богатонов. Я разорился?

Князь *(тихо баронессе)*. Какой неприятный сюрприз.

Г-н Богатонов. Да помилуй, братец, куда же делся мой винный завод?

Мирославский. Он сгорел.

Г-н Богатонов. Сгорел?

Г-жа Богатонова. Ах, боже мой, какое несчастие!

Г-н Богатонов. А суконная моя фабрика?

Мирославский. Управитель по твоему приказу отослал сюда все деньги; ему не на что было после закупить материалов; работа остановилась, поставку продолжать не могли, и фабрика твоя взята под казенный присмотр.

Г-жа Богатонова. Под казенный присмотр! Ах! я умираю! *(Падает в кресло.)*

Г-н Богатонов. Ну, теперь-то я совсем разорился!

Мирославский. Кто виноват, мой друг? Если б

ты не приехал жить в столицу, то ничего бы не случилось. Непомерные расходы должны были расстроить твое состояние.

Г-н Богатонов. Так, так! поделом мне! Зачем дал я волю негодной жене моей сорить по-пустому деньги; зачем...

Г-жа Богатонова (*вскакивает*). Как? Что? Я сорила деньги, я мотала? Ах ты бесстыдный!

Г-н Богатонов. Да, да! сколько вышло денег на твои чепчики, дурацкие шляпки, глупые цветы?

Г-жа Богатонова. А сколько проиграл ты в карты, роздал взаймы своим знакомым?

Г-н Богатонов. Продавай теперь свои ветошки; что за них дадут?

Г-жа Богатонова. Попробуй собрать долги с твоих приятелей; много ли получишь?

Г-н Богатонов. Приятели меня в нужде не оставят; а тебе, чай, поможет твоя мадам Трише?

Г-жа Богатонова. Ах, боже мой! да разве у меня нет друзей? Матушка баронесса...

Баронесса. О, сударыня...

Г-н Богатонов. Князь!

Князь. Боже мой! поверьте, сударь...

Г-жа Богатонова. Если б я могла только разделаться с моей модной торговкой.

Г-н Богатонов. Мне нужно только здесь расплатиться с долгами, а там мог бы я ехать в деревню.

Баронесса (*г-же Богатоновой*). В дружбе моей сомневаться вы не можете; но клянусь вам, я сама в критическом положении; я очень бедна деньгами, а мне надобно купить новую шаль.

Князь. Господин Богатонов! вы знаете, я все готов сделать для друга; но, божусь вам, я теперь без копейки: проклятый крепс разорил меня.

Г-жа Богатонова. Князь! если б вы могли отдать мне...

Князь. Поверьте, сударыня, я принимаю истинное участие в вашем злополучии.

Г-жа Богатонова. Хотя половину...

Князь. Вы приводите меня в отчаяние.

Г-жа Богатонова. Хотя некоторую часть вашего долга.

Князь. Сударыня! пощадите мою чувствительность.

Г-жа Богатонова. Вы видите, совершенная необходимость вынуждает меня.

Князь. Перестаньте, сударыня, к чему усугублять мою горесть; разве не довольно: вы несчастливы, и я не могу помочь вам.

Г-н Богатонов. Какое несчастие! какое несчастие! Мне надобно ехать в деревню, надобно расплатиться с долгами, надобно выдать замуж племянницу.

Князь. От этого беспокойства я могу вас избавить.

Г-н Богатонов. Как! Что хочешь ты сказать?

Князь. Что не намерен жениться. Племянница ваша очень любезна, очень мила; но я имею несчастие ей не нравиться, притом же она...

Мирославский. Сделалась теперь бедною невестою.

Лиза. И очень рада, если это избавит ее от князя Блесткина.

Князь. О, сударыня, это очень легко сделать; я не заставлю просить себя! Время прекрасное; не хотите ли вы в Летний сад?

Баронесса. Очень хорошо!

Г-н Богатонов. Как, князь! Так вот твоя дружба?

Г-жа Богатонова. Прекрасно! вы отказываетесь от Лизы, оставляете нас в таком несчастном положении?..

Князь. Извините, сударыня; эта сцена так меня растрогала, мне должно непременно быть на свежем воздухе. *(К баронессе.)* Угодно вам?

Г-н Богатонов *(тихо баронессе)*. Как, сударыня! и вы?..

Баронесса. Да, сударь, и я.

Уходит с князем.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Г-н Богатонов, г-жа Богатонова, Мирославский, граф, Лиза, Анюта, Клим и Филутони.

Г-н Богатонов *(в сторону)*. Вот тебе и баронесса! Ах, скотина! и я думал, что она меня любит!

Филутони *(подойдя к Богатонову)*. Когда, monsieur, буди платить?

Г-н Богатонов. Не стыдно ли тебе, братец, пристал с ножом к горлу! Дай мне съездить в деревню — я, верно, поправлю свои дела и тогда отдам тебе с процентами.

Филутони. Исфинить! я не можишь штать, мой нушна теньга.

Г-жа Богатонова. И, мусье, не стыдно ли тебе — человек ты знакомый.

Филутони (*пожимая плечами*). Што телать, мадам!

Г-жа Богатонова. Мадам! Ах, боже мой! вот до чего мы дожили... Мадам! И эта заморская харя смеет меня называть мадамою! Нет, мерзкий мусье, мы разорились, но все-таки я не мадам, а природная русская дворянка.

Г-н Богатонов. Послушай, мусье, пошел вон, или я велю тебе бока отломать.

Филутони. Потише, мой батюшк, потише! Фи есше не таки польши парин, штоп вместо теньга тавать палк.

Г-н Богатонов. Клим! вытолкай его!

Клим. И, государь! не те уж времена, чтоб кого выталкивать; того и гляди, что нам самим придется жить на улице. Чего ради, во избежание сего, прошу покорно меня нижайшего уволить и в доказательство непорочной и усердной службы моей снабдить аттестатом.

Г-н Богатонов. Что ты, Кондратьич, не рехнулся ли! Ты хочешь меня оставить?

Клим. Да, сударь, вторично прошу увольнения.

Г-н Богатонов. Так-то ты помнишь мои благодеяния! Ну, если так, то убирайся к черту; мне тебя не надобно.

Клим. Бог видит, государь, что делаю сие с сердцем сокрушенным...

Г-н Богатонов. Пошел же вон, тварь неблагодарная!

Клим. Даруй господи, чтоб ты, отец наш...

Г-н Богатонов. Уйдешь ли ты с глаз моих, негодный?

Клим. Иду, государь, иду! (*Кланяется и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Г-н Богатонов, г-жа Богатонова, граф, Мирославский, Лиза, Анюта и Филутони.

Г-н Богатонов. Все меня оставляют!

Г-жа Богатонова. Думала ли я, чтоб князь поступил таким подлым образом!

Г-н Богатонов. Воображал ли я, чтоб баронесса... Да что и говорить, весь свет наполнен обманщиками; у меня только и надежда на барона Радугина и графа Недочетова.

Мирославский. Смотри, мой друг, чтоб и они тебя не обманули; ведь ты уже в пикет играть не будешь.

Г-н Богатонов. Нет, братец, они люди верные.

Входит человек и отдает письмо.

Человек. От барона Радугина.

Г-н Богатонов *(Мирославскому)*. Ну, вот видишь ли, мой друг, он узнал о моем несчастии и торопится предложить свои услуги.

Мирославский. А вот увидим.

Г-н Богатонов *(распечатывает письмо и читает)*. Точно, точно, я его знаю! «С крайним прискорбием известился я о вашем несчастии...» С крайним прискорбием! милый барон! «Вы никогда не сомневались в дружбе моей...» Боже сохрани! «...следственно, поверите, что я принимаю живейшее участие в вашем положении...» Живейшее участие! о, добрый человек! «Зная благородный образ ваших мыслей, я уверен, что вы считаете карточный долг священным...» Что это такое? *(Продолжает читать, запинаясь.)* «...и доставите мне с сим посланным проигранные вами на прошлой неделе пятьсот рублей». Прекрасно!

Мирославский *(берет у него письмо)*. Тут есть еще приписка. *(Читает.)* «Граф Недочетов...»

Г-н Богатонов. Граф Недочетов? Ну, ну! скорей прирезывай меня, что граф Недочетов?

Мирославский *(читает)*. «Граф Недочетов просил уведомить вас, что по причине отъезда своего в чужие края он не может заплатить безделицу, которую вам должен».

Г-н Богатонов *(опустя руку)*. Ну, Иван Сидорыч, хорош ты!

Г-жа Богатонова. Безделицу, десять тысяч!

Г-н Богатонов. Не может заплатить! не может! Ах он злодей! И я называл их друзьями, думал, что они меня любят. О, злодеи, о, разбойники! На что я гожусь? Что мне теперь делать? Куда деваться? И какой черт дернул меня приехать в Петербург? И как пришло мне в голову знакомиться с этими знатными? Все меня покинули, всеми я оставлен.

Мирославский. Нет, у тебя есть еще друзья.

Г-н Богатонов. Друзья! Где они?

Мирославский. А обо мне ты позабыл.

Г-н Богатонов. Да, да, ты друг мой! Но что ты можешь сделать? Ты сам человек небогатый.

Граф. Позвольте, г-н Богатонов, предложить вам мои услуги; если угодно, я возьму на себя выплатить все долги ваши.

Г-н Богатонов. Как, батюшка, ваше сиятельство, вы хотите... вам угодно... Боже мой, должен ли я верить?

Г-жа Богатонова. Ах, граф! вы хотите нас воскресить.

Мирославский *(к Филутони)*. Эй ты, честный человек!

Филутони. Шефо исфолить?

Мирославский. Приходи завтра, тебе заплатят; а теперь пошел вон.

Филутони. Ошень корош! Serviteur monsieur! * *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же, кроме Филутони.

Г-н Богатонов *(к графу)*. Чем могу изъяснить вам мою благодарность?

Мирославский. Я тебя надоумлю, мой друг: выдай за графа свою племянницу.

Г-н Богатонов *(с удивлением)*. Как!

Граф. Да, сударь, согласитесь на общее наше благополучие; мы давно уже любим друг друга.

Г-жа Богатонова. Что я слышу!

Г-н Богатонов. Неужели? Племянница!..

---

* Ваш слуга! *(фр.)*

Лиза. Да, дядюшка, граф сказал правду.

Г-н Богатонов. О, если так... Но не шутите ли вы, граф?

Граф. Как можете вы это думать?

Г-н Богатонов. Лизонька! *(Подводит ее к графу.)* Она ваша невеста.

Г-жа Богатонова *(целует Лизу)*. От всего сердца поздравляю тебя, мой друг!

Анюта *(к г-ну Богатонову)*. Ну, сударь, не говорила ли я вам, что у барышни будет жених почище вашего Блесткина?

Г-н Богатонов *(к графу)*. Я не хочу вас обманывать: теперь я не могу ничего дать за своей племянницей.

Граф. О, сударь, на что это; я и так совершенно благополучен!

Мирославский. Послушай, мой друг, я тебя обрадую, только с уговором: завтра же поедем все отсюда.

Г-н Богатонов. Вот тебе моя рука: лишь только расплачусь, то тут же и в деревню.

Мирославский. Ты не совсем разорился: завод твой не сгорел.

Г-н Богатонов. Не сгорел?

Г-жа Богатонова. Не сгорел? Какое счастие!

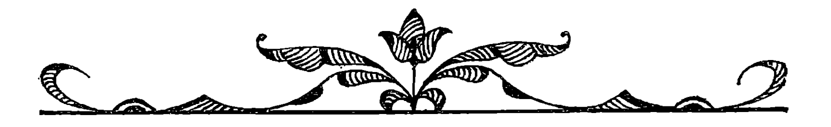
Г-н Богатонов. Бога же ты не боишься, зачем ты всех нас так переполошил?

Мирославский. Я хотел тебе показать на самом деле, что значит дружба городских твоих приятелей. Ты захотел из простого дворянина превратиться в знатного человека; что вышло из этого? Ты расстроил свое имение; плуты тебя обманывали, честные люди жалели о тебе, но также не могли не смеяться над твоим легковерием; одним словом...

Г-н Богатонов. Хорошо, хорошо, мой милый! ты договоришь это в другое время; а между тем племянница-то моя все-таки будет сиятельная!

БЛАГОРОДНЫЙ ТЕАТР

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ В СТИХАХ



C'est à qui sera jeune, amant, prince ou princesse.
Et la troupe est souvent un beau sujet de pièce.

Delille *.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Г-н Любский, дядя Оленьки.
Г-жа Любская, жена его.
Оленька, племянница их.
Вельский, влюбленный в Оленьку.
Честонов, брат Любского от другого отца.
Волгин, дядя Вельского.
Посошков, жених Оленьки.
Кутермина, знакомая Любских.
Лилеев, Бирюлькин — актеры Благородной труппы.
Изведов, отставной придворный актер.
Наташа, горничная Оленьки.
1-я племянница, 2-я племянница, 1-й племянник, 2-й племянник — Кутерминой.
1-й и 2-й слуги Любского.
4 девочки, 2 мальчика, Учитель, Гувернантка, Нянюшка — без слов.

Действие происходит в губернском городе, в доме Любского.

* Это — для тех, кто молод, влюблен, для князя и княгини. А толпа — прекрасная тема для пьесы. *Делиль (фр.)*.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Любская, Оленька, Наташа, Любский, Посошков, Вельский, Изведов.

Все сидят, включая Изведова и Наташу.

Любский

Итак, мои друзья, спектаклю должно быть
Сегодня ввечеру. Прошу не позабыть,
Что ровно в семь часов начнется представленье;
Потом дадим мы бал, и, верно, угощенье
Весь город удивит. Не правда ли, жена?

Любская

Конечно, удивит. Ну, те ли времена,
Что праздники давать?

Любский

Опять браниться стала!

Любская

Да, да! рублей пятьсот как будто б не бывало.
К чему, сударь, зачем? Большая ведь нужда...

Любский

И, полно, матушка! Ну, что же, господа?
Пора бы, кажется, за пробу приниматься,

Изведов

Конечно бы, пора, но должно всем собраться.

Посошков

Слуги и дяди нет.

Любский

Да что за чудеса!
Их вечно нет как нет.

Вельский

А скоро два часа.

Посошков

Мне кажется, в таких делах единодушно
Все действовать должны, а это уж и скучно,
Все я да я: толкуй, показывай, учи,
Пиесу сочиняй, со всеми хлопочи.
За что?

Любский

Ох эти мне Бирюлькин и Лилеев!
Всегда последние.

Посошков

От этих нам злодеев
Житья уж вовсе нет, играют хуже всех...

Любский

Сердись на них, брани,— а им лишь только смех.

Посошков

Последней не хотят порядком сделать пробы.

Любский

Изволь их ждать! Да что за важные особы?
Уж им опаздывать! Бирюлькин, например,
Ведь барин небольшой — в отставке землемер,
Актер весьма плохой и человек прескучный.
По милости моей имеет хлеб насущный,
И если б только я хотел его прижать...

Любская

Вот то-то, батюшка, всех хочешь одолжать,
Готов хоть все отдать за пару комплиментов.

Он год по векселю не платит и процентов,
А ты, сударь, молчишь.

Любский

Ну да, теперь молчу,
Зато уж после я порядком проучу,
И если вечером по нашему желанью
Пиеса не пойдет, так вексель ко взысканью.

Вельский

Он болен, может быть.

Любский

И это не резон,
Уж мне наскучило терпеть.

Посошков

Да вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Бирюлькин.

Любский

Помилуй, батюшка! на что это похоже?

Бирюлькин

Простите, виноват!

Посошков

Всегда одно и то же!

Бирюлькин

Делишки завелись: сейчас в Палате был,
Насилу вырвался.

Любский

А это позабыл,
Что ты еще путем своей не знаешь роли?

Бирюлькин

Не смея выступить никак из вашей воли,
Я всячески твержу, учусь, измучен весь, —

И если б не дела...

Любский

Дела-то, сударь, здесь.

Посошков

Не знаете ль, куда Лилеев наш девался?

Бирюлькин

Гуляет, кажется, сейчас лишь мне попался.

Любский

Гуляет! Боже мой!

Посошков

Ну есть ли совесть в нем!
Уж скоро третий час, когда же мы начнем?
(Любскому.)
Хоть этот раз его порядком побраните.

Любский

Все это, братец, ты.

Посошков

За что ж меня вините?

Любский

За то, что без тебя мне в ум бы не пришло
Театры заводить.

Посошков

Когда на то пошло,
Позвольте ж вам сказать, и вы не слишком правы:
Театр мы завели для собственной забавы,
Так вам бы пригласить порядочных людей,
На что Лилеев вам?

Любский

Уж подлинно злодей!
И как смел думать он, что может нас дурачить?
Откуда спесь взялась? И что он в свете значит?
Беспутный мот, давно известный за глупца,
Седой столетний франт, пленяющий сердца,
Всемирный шут, нахал, болтун и лжец бесстыдный,

Посошков

А сверх того талант нимало не завидный:
Бормочет прозою, коверкает стихи,
Ну, словом, истинно актер он за грехи.

Любский

Какой актер! Пустой актеришка, превздорный!

Вельский

Тс! тише, он идет.

Любский

Так что ж?..

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Лилеев.

Лилеев
(кланяясь)

Слуга покорный!

Посошков

Насилу дождались.

Любский

Здорово, милый мой!
А я было хотел послать к тебе домой.
Скажи, пожалуйста, боишься ли ты бога!..

Лилеев

А что?

Любский

Уж третий час.

Лилеев

Я опоздал немного,
Ну что же? Не беда.

Посошков

Конечно, не беда,
И это может быть со всяким — иногда,
Но каждый раз...

Любский

Мы все сносили терпеливо,
Теперь позволь сказать: ведь это неучтиво,
Заставить ждать...

Лилеев

Так что ж? Вина невелика.
К тому ж вы знаете, я ролю старика
Взялся играть у вас единственно из дружбы.

Посошков

Но вы...

Лилеев

Ах, боже мой! да это хуже службы!
Неужто должен я для ваших всех затей
Забыть родных своих, знакомых и друзей,
С утра до вечера ничем не заниматься,
От всех веселостей охотой отказаться —
И даже не гулять? — Нет, нет! благодарю!
Да этак я себя в неделю уморю.

Посошков

Зачем брались...

Лилеев

Зачем?.. Вы точно, сударь, правы:
Не должно бы никак, для собственной мне славы,
Везде любовников играя молодых,
Показывать себя в таких ролях пустых.
Возьмите, вот она!

Любский

И как тебе не стыдно!

Лилеев

Да что ж? помилуйте! Мне это уж обидно:
Я жертвую собой, хочу вам угодить,
Меня ж бранят.

Любский

Ну вот! нельзя и пошутить.

Лилеев
(Посошкову)

Я, кажется, от вас нимало не завишу,

Любский

И, полно, брат!

Изведов

Прочесть позволите ль афишу?

Любский

А что, затейлива?

Изведов

Старался сколько мог.

Посошков

Напрасно не сказал, а то бы я помог.

Любский

Уж верно, хороша! Он был актер природный
И малый умница — досужий и проворный.

Изведов
(кланяясь)

Помилуйте

Лилеев

Да, да! и ловок и остер.

Посошков

К тому ж, при нем скажу, отличнейший суфлер.

Изведов
(читает афишу)

«Сегодня, в пятницу, в доме Степана Ивановича Любского Обществом любителей театра представлена будет в первый раз «Осмеянный опекун», комедия в трех действиях, сочинение г-на Посошкова...»

Посошков

Нельзя ли это вон?

Любский

Зачем, сударь? Напрасно!
Комедия твоя написана прекрасно.

Посошков

Но я бы не хотел...

Любский

И, полно, братец, вздор!
Пусть знают все, что ты и автор и актер.

Изведов
(читает)

«Действующие лица: г-н Сундуков, опекун Лизы — Авдей Михайлович Посошков; Лиза, богатая сирота — Ольга Дмитриевна Любская...»

Любский

Смотри, племянница, всю ролю знать до слова!

Оленька

Она уж у меня недели две готова.

Изведов
(читает)

«Эраст, влюбленный в Лизу,— Андрей Степанович Вельский».

Посошков
(Вельскому)

Вот истинный талант! От вас я без души.
В любовных сценах вы отлично хороши:
Натура чистая!

Изведов
(читает)

«Сурский, дядя Лизы — Сергей Иванович Лилеев; Антропка, Эрастов слуга — Максим Петрович Бирюлькин; Машенька, служанка Лизы — госпожа... госпожа...»
Признаться откровенно,
Об вас не сказано.

Посошков

А должно непременно.

Изведов

Конечно, так, но я ужасно затруднен:
Не знаю, как назвать.

Любский

Ты, право, мне смешон,
Неужто позабыл? Она питомка наша,
Дочь крестная моя, по имени Наташа.
Ну вот тебе и все!

Изведов

Я это знаю сам.

Любский

Так что ж еще?

Изведов

Нельзя ж актрис по именам
В афише называть,— ведь это неучтиво:
Фамилия нужна.

Любский

Она, брат, неспесива.
Как хочешь назови. Отец ее Панфил
Был управителем, а чванства не любил,
Служил мне попросту и верен был до гроба,
За то и дочь его люблю.

Посошков

Когда же проба?
Мы вечно не начнем.

Изведов

Позвольте дочитать.
(Читает.)

«Начало в 7 часов. Все гости равно любезны хозяину,— следовательно, и места все равные; плата за оные — дружба и снисхождение зрителей: это отменно дорого, но хозяин дешевле уступить не может».

Любский

Прекрасно, милый мой!

Изведов

Так можно и в печать?

Любский

Пошли скорей. Смотри, чтоб к вечеру поспела.

Посошков

Теперь все кончено, пора бы нам за дело.

Любский

А что, позавтракать у вас охоты нет?

Любская

И, батюшка! к чему? Испортите обед.

Любский

Все лучше закусить.

Бирюлькин

И я такой же веры.

Любский

Пойдемте ж, господа, — по рюмочке мадеры,
А там и на театр.

Уходят все. Изведов останавливает Наташу.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Изведов и Наташа.

Изведов

Постой, моя душа!

Наташа

Ну что?

Изведов

Сегодня ты как ангел хороша.

Наташа

Благодарю.

(Хочет идти.)

Изведов

Куда ж?

Наташа

С тобой болтать пустого
Мне некогда, прощай!

Изведов

Позволь сказать два слова.

Наташа

Какой привязчивый! Чего же хочешь ты?
Ну, говори скорей.

Изведов

О, чудо красоты!
Собор всех прелестей! и горничных царица!
Скажи, доколь судьбы жестокая десница,
Или ясней сказать: свирепая рука...

Наташа

Ты что-то говоришь некстати свысока.

Изведов

Служив пять месяцев с успехом Мельпомене,
Я точно так всегда говаривал на сцене.

Наташа

Да здесь ведь не театр, и ты уж не актер.

Изведов

Зато артист в душе — и страшный аматер.
Но дело не о том: когда же наша свадьба?
Ты знаешь, у меня прекрасная усадьба
И домик щегольской; есть деньги по рукам,
Откроем здесь театр; лишь надобно терпенье,
А труппу заведем, без всякого сомненья;
Ты будешь представлять цариц, а я — царей.
Ну, что же, ангел мой, решайся поскорей.
Тут думать нечего.

Наташа

Прошу не торопиться.
Во-первых, барин мой...

Изведов

Он, верно, согласится.

Наташа

Все так, но признаюсь, мне свадьба в ум нейдет;
Как вспомню барышню, так сердце и замрет.

Вот, милый, каково остаться сиротою!
Что к Вельскому она привязана душою,
Ты это знаешь сам, а что еще верней —
Несносный Посошков всего противней ей,
И несмотря на то, ему уж слово дали.

Изведов

Неужто Вельскому сегодня отказали?

Наташа

О, нет еще: теперь он надобен для нас.

Изведов

Так завтра поутру...

Наташа

Решительный отказ.

Изведов

А все, чай, дядюшка! Да как ему не стыдно
Губить племянницу! Подумать-то обидно:
Ну этот Посошков годится ль ей в мужья?

Наташа

На месте Вельского на все б решилась я.

Изведов

Не знаю, как тебе, а мне он очень жалок:
Влюблен, надежды нет, и к этому вдобавок
Сегодня должен с ней любовника играть —
Не больно ли, скажи?

Наташа

Уж нечего сказать.
Поверишь ли? На них измучилась я глядя.

Изведов

А что, мой друг, ведь ей Честонов также дядя.
Неужели и он не хочет ей помочь?

Наташа

О нет! он барышню любил всегда, как дочь,
И этой свадьбою не может быть доволен,
Но он теперь в Москве, два месяца, как болен
И — об заклад побьюсь — не знает ничего.

Изведов

Нельзя ли как-нибудь уведомить его?
Что, если б ты к нему об этом написала?

Наташа

Недолго написать, да пользы будет мало.

Изведов

А я так думаю, что он поможет нам.

Наташа

Ох, трудно, милый мой! Старик наш так упрям,
Что Вельскому помочь нет средства никакого.

Изведов

Постигнуть не могу! И как для Посошкова
Решиться отказать такому молодцу!

Наташа

Молчи! Мне кажется, подъехали к крыльцу...
Ну, так и есть.

(Хочет идти.)

Изведов

Постой! Чего ж ты испугалась?

Наташа

Пусти! И так с тобой я слишком заболталась.
Прощай!

(Убегает.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Изведов
(один, глядя вслед за Наташей)

Вот золото! Решительно скажу:
Женясь на ней, театр я смело завожу,
С такой актрисою мне нечего бояться.
Ей только надобно на сцену показаться,
А то сведет с ума всю нашу молодежь.
И подлинно, такой субретки не найдешь,
Хоть из конца в конец объезди всю Европу;
А здесь, в губернии,— сыграет и Меропу!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Изведов и Честонов.

Изведов

Возможно ль! Николай Степаныч — это вы!

Честонов

Изведов! Здравствуй, брат!

Изведов

Давно ли из Москвы?

Честонов

Вчера приехал в ночь.

Изведов

Вы нас совсем забыли.

Честонов

Я болен был; к тому ж мне голову вскружили,
Измучили совсем проклятые дела.
Ну, что племянница? здорова, весела?

Изведов

О нет, сударь! Она теперь...

Честонов

Степенней стала?
Тем лучше для нее.

Изведов

Вы помните, бывало,
Смеется целый день, а нынче иногда...

Честонов

Не резвится? Так что ж? На все свои года.
И резвость прежняя была бы не у места:
Ей скоро двадцать лет, к тому ж она невеста...

Изведов

Так вы уж знаете?..

Честонов

Сегодня поутру
Узнал я все. Как жаль покойную сестру!

Какая б радость ей! Но жалобы напрасны:
Ее не воскресишь!

Изведов
(с удивлением)

Так вы, сударь, согласны?

Честонов

На что?.. На свадьбу их? А почему ж не так?

Изведов
(в сторону)

Возможно ли! И вы!.. Попался я впросак!

Честонов

И что тут странного! Что Оленька счастлива,
Сомненья в этом нет. Хоть очень прихотлива
На выбор женихов покойница была,
А лучше б мужа ей, конечно, не нашла:
Он добр, умен; хотя фамилии незнатной,
Но старый дворянин, наружности приятной...

Изведов

Помилуйте!

Честонов

К тому ж отменно скромен, тих...

Изведов

Кто? он, сударь?

Честонов

Ну да! племянницын жених.

Изведов

Так вы найдете в нем большую перемену,
Позвольте вам сказать...

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Бирюлькин.

Бирюлькин
(Изведову)

Вас ждут давно на сцену.

Изведов

Начните без меня.

Бирюлькин

Без вас нельзя никак.
(Тихо.)
Кто этот господин? Честонов, точно так!
Позвольте, батюшка, с приездом вас поздравить.

Честонов

А, старый друг!

Бирюлькин

Во сне не мог себе представить
Такой я радости,— и вижу наяву.

Честонов

Как поживаешь, брат?

Бирюлькин

Да так, кой-как живу.
(Изведову.)
Ступайте же!

Изведов

Мы вас должны оставить оба:
На пробу нас зовут.

Честонов

Да что у вас за проба?

Изведов

Сегодня здесь театр.

Честонов

Театр?

Изведов

А после бал.

Честонов

Театр? Вот этого никак не ожидал!
Кой черт! Да кто ж у вас? Хозяин сам актером?

Изведов

О нет, сударь!

Честонов

Так вы?

Изведов

Я только что суфлером,
А вот один артист.

Честонов

Бирюлькин! Что ты, брат!
В своем ли ты уме!

Бирюлькин

Отец! и сам не рад,
Да делать нечего.
(Изведову.)
Уж вам прочтут рацею!
Ступайте поскорей!

Изведов

А вы, сударь?

Бирюлькин

Успею.
Я в первом действии совсем не выхожу.

Изведов
(Честонову.)

Позвольте мне! Об вас я братцу доложу.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Бирюлькин и Честонов.

Честонов
(улыбаясь)

Так вы, сударь, актер? Неужто в самом деле?

Бирюлькин

Эх, батюшка! Чуть-чуть душа осталась в теле!
Совсем замучили! Пускай бы два стиха!
Нет, сотню выучи!.. А память-то плоха:
Твердить примусь — беда! начнет душить зевота,

К тому же у меня и кашель и перхота —
Ну что я за актер!

Честонов

Нельзя же без труда
Актером быть. Когда старик в твои года
Захочет в резвостях тягаться с молодыми,
Так должен все сносить.

Бирюлькин

Конечно, так — кто с ними
Проказит заодно, а я, почтенный мой,
И знать их не хочу: мне надобен покой.

Честонов

Но разве ты не мог отделаться от роли?
Зачем брался?

Бирюлькин

Зачем? Возьмешься поневоле,
Когда на старости пугнут тебя судом.

Честонов

Судом?

Бирюлькин

Я думаю, известны вы о том,
Что братцу вашему еще в запрошлом лете,
Имея, на беду, покупочку в предмете,
Рублей до тысячи я как-то задолжал.
Хоть тысяча рублей неважный капитал,
Но так как у меня весь хлеб побило градом,
А что осталося, пришлось продать с накладом,
К тому же мужички не выслали оброк,
Так деньги я внести по векселю не мог.
Ваш братец, знаете, зовет меня соседом
И жалует. Ну вот — однажды за обедом
Изволит говорить: «Послушай-ка, сосед,
Заводим мы театр, в тебе хоть толку нет,
Однако ж так и быть, ступай и ты в актеры».
Вот я было и прочь! Куда те! Хоть до ссоры!
Как крикнет, батюшка: «Со мною не шути!
Прошу играть, не то — по векселю плати!»
— «Да что я за актер? Ведь мне шестой десяток».
— «Не хочешь, так плати!» — «Дождитеся хоть
святок!

Я все с процентами сполна вам заплачу».
— «Нет! В суд!» — «Помилуйте!» — «И слышать
не хочу!
А впрочем, не играй — ведь я, брат, не неволю».
Что делать? Замолчал. В карман пихнули ролю,
Очнуться не дали...

Честонов

И жалко и смешно.

Бирюлькин

Дурачить так меня, ей-ей, отец, грешно!
Во мне же вовсе нет способностей природных.

Честонов
(улыбаясь)

А, верно, ты попал на роли благородных
Отцов,— а может быть, и знатный господин?..

Бирюлькин

И должно б так: ведь я природный дворянин.
Так нет, сударь. Меня упрятали в холопы.
Ну, легче б, кажется, идти мне в рудокопы,
А делать нечего: хоть плачь, а будь актер.
Век с честию служил, уж двадцать лет майор —
И мне лакеем быть!..

Честонов

По чести, это больно.

Бирюлькин

Вестимо, батюшка! да дело-то не вольно.
Одно из двух: плати — не то играй слугу,
Попробуй отказать, так он согнет в дугу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, Любский, Любская и Оленька.

Любский
(обнимается)

Насилу бог принес! Какими, брат, судьбами?

Честонов

Хотелось поскорей увидеться мне с вами.

Оленька

Любезный дядюшка!

Честонов
(Обнимая ее)

Здорово, милый друг.

Любский

Ты здесь? Послушай, брат! Теперь ей недосуг —
Позволь...

Оленька

Ах, дядюшка!.. А я было хотела...

Любский

Ступай, сударыня!

Честонов

Зачем?

Любский

Да так, есть дело.
(Бирюлькину.)
А ты что здесь?

Бирюлькин

Охти! попался я в беду!

Любский

Ну, что стоишь, пошел!

Бирюлькин

Иду, сударь, иду!

Бирюлькин и Оленька уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, без Бирюлькина и Оленьки.

Любская

Как это, батюшка, пустился ты в дорогу?
Проезду вовсе нет.

Честонов

Однако ж, слава богу,
Доехал как-нибудь.

Любский

Ты, верно, брат, устал?
Но делать нечего: у нас сегодня бал.
Как хочешь, а прошу со мною веселиться.

Честонов

Нельзя ль помиловать?

Любский

Вот это не годится.
В столице побывал, так с ним не говори.
Наш город не Москва, однако ж посмотри,
Как мы пируем здесь — не хуже вашей знати!

Любская

Ох, эти мне пиры! Совсем бы нам некстати!
Доходов нет...

Любский

Ну, так! одно все в голове!
Да полно, матушка!
(Честонову.)
Услышат и в Москве,
Как мы живем. Ни в чем не будет упущенья:
И танцы и театр — а что за угощенье!
Какого подадут отличного вина!..

Любская

И верно, выпьют все!

Любский

Уймешься ль ты, жена?
(Честонову.)
Послушай, милый мой, сказать ли по секрету?
Есть свадебка у нас.

Честонов

Да я уж новость эту
Узнал и без тебя и всей душою рад.
Жених мне по сердцу.

Любский

Не правда ли, что клад?

Любская

Живет расчетисто, богат и здешний житель.

Любский

Преумный человек! Актер и сочинитель.

Честонов

Я этого не знал.

Любский

Да это ничего:
Здесь в обществах и жить не могут без него,
На все готов: завесть игру, затеять фанты...

Честонов

Так Вельский от меня скрывал свои таланты?

Любская

Что, что?

Честонов

По чести! Я совсем не знал об них.

Любский

Как Вельский! Что за вздор!

Честонов

Кто ж Оленькин жених?

Любский

Да разве жениха не может быть другого?
С чего ты взял?

Любская

Она идет за Посошкова.

Честонов

Возможно ли!

Любская

Жених, надеюсь, не худой!

Честонов

Старик!..

Любская

Какой старик! Он малый молодой.

Честонов

Ему за пятьдесят...

Любский

Но все единогласно
Со мною повторят, что можно даже страстно
В него быть влюблену,— племянница сама...
Со временем его полюбит без ума.

Честонов

Когда со временем, так, видно, это значит...

Любская

Что, может быть, теперь немного и поплачет,
Да слюбится вперед.

Честонов

Эй! на душу греха
Не должно брать.

Любский

На что ей лучше жениха?
Известен всем, умен.

Любская

И к этому придачи
Шестьсот наличных душ, луга, лесные дачи...

Честонов

И десять тысяч душ без собственной души
Не значат ничего.

Любская

Эй, братец, не греши!
Не значит ничего богатое именье!

Честонов

Богатство при слезах — плохое утешенье,
Оно должно быть здесь! Поверь, кто сердцем
чист...

Любская

Ты судишь, батюшка, как сущий атеист:
Ведь деньги божий дар.

Честонов

А чаще — наказанье.
Но дело не о том. При первом я свиданье
Намерен Волгина порядком побранить:
Он дядя Вельскому, и, кажется, шутить
Насчет племянника ему бы неприлично...

Любский

Как! Волгин здесь?

Честонов

Да, здесь! и говорит публично
О свадьбе Вельского.

Любский

С чего ж он это взял?
Хоть Вельский сватался...

Честонов

Но ты ведь отказал?

Любский

Не то чтоб отказал... однако не дал слова.

Честонов

Но если Оленька идет за Посошкова,
Так должно отказать.

Любский

Я это знаю сам.

Честонов

Зачем же ты молчишь?

Любский

Ответ я завтра дам,
Все кончу поутру.

Честонов

А что ж тебе мешает
Сказать теперь?

Любский
(вполголоса)

Нельзя! Сегодня он играет.

Честонов

Сегодня? у тебя?

Любский

Вот то-то и беда!
Пришлось молчать. Зато уж после никогда
Я Вельскому к себе и ездить не позволю.
Лишь нынче б как-нибудь сыграл свою он ролю,
А завтра кончено! Решительный отказ!

Честонов

Я, право, от тебя не ждал таких проказ:
Во всех делах твоих и тени нет рассудка.

Любский

И, полно! шутишь, брат.

Честонов

Какая это шутка!
Ну, пусть племянница идет за старика,
За что ж из Вельского вам делать дурака?

Любский

Но мой театр...

Честонов

Скажи! походит ли на дело?
По милости твоей теперь он может смело
С утра до вечера с ней роли проходить,
Шептать ей на ухо, о страсти говорить,—
И это все сносить ты должен терпеливо.

Любский

Конечно, так, мой друг! Ты судишь справедливо,
Да как же мой театр?..

Честонов

Эй, братец, не шути!
Ну, если Оленька задумает уйти?..
Хотя племянница во всем тебе послушна,
Но если к Вельскому она неравнодушна...

Любская

Недолго до греха!

Любский

Ты точно, милый, прав!
И если б не театр...

Честонов

Какой несносный нрав!
Кой черт! Да что тебя к театру привязало?

Любский

Меня?.. По мне, его хоть век бы не бывало,
Но делать нечего — и плачу, да люблю:
Ведь я, мой друг, один весь город веселю,
Так хочешь или нет, а рассылай билеты.

Любская

Да, батюшка! Что день, то новые банкеты...

Любский

Молчи, жена!

Любская

Ну, вот! всегда один ответ.
Помилуй, мой отец! Расходам счету нет.
Уж этот нас театр доедет непременно.

Любский

Пустое! Вздор! Хотя, признаться откровенно,
Он несколько и мне становится тяжел.
Что грех таить! С тех пор как я его завел,
Покою нет; когда ж дойдет до представленья,
Вот тут-то, брат, вертись; костюмы, освещенье...
Ну, словом, голова у всех пойдет кругом.

Любская

Весь дом в последний раз поставили вверх дном;
А сколько извели холстины на кулисы!..

Любский

Спасибо, что теперь домашние актрисы,
А то — хоть из дому беги! С ума сойдешь.
Бывало, никого на пробу не сберешь:

То некогда прийти, то роля не готова,
То на вечер звана, другая нездорова...
Поверишь ли? Тоска! Подчас хоть в петлю рад.
Сегодня, например, хоть все идет на лад,
А несмотря на то дрожу, боюсь...

Честонов

Чего же?

Любский

Ну, если мой театр — чего избави боже! —
Навыворот пойдет? Что делать мне тогда?

Честонов

А что! и подлинно, большая ведь беда!

Любский

Шути себе, шути! а я меж тем уверен,
Что если бы и ты...

Честонов

Я спорить не намерен,
А просто мнение мое тебе скажу:
Что ты завел театр, нимало не тужу,
Я сам любил играть, но только не для славы.
Бывало — в два часа, для собственной забавы,
Готов я вытвердить хоть дюжину страниц,
Но если эта страсть выходит из границ,
То верь, мой друг, придет с веселостью проститься
И скуки ждать одной. Тот худо веселится,
Кто, смыслу здравому идя наперелом,
Забаву делает каким-то ремеслом.
Вот сам ты, например, скажи мне, ради бога...

Любский

Да ты не знаешь, брат, судить-то будут строго.
Здесь много знатоков, недолго до беды:
Распишут так...

Честонов

И вот тщеславия плоды!
Чтоб только твой театр хорошим называли,
Готов ты уморить племянницу с печали,
Замучить сам себя, именье разорить...

Любская

Ну, слышишь, батюшка?

Честонов

Да что тут говорить!
Бывало, в старину мы резвимся для смеха,
А нынче заведи театр — пошла потеха!
Волненье страшное, тревога, кутерьма!
Хозяева в чаду, актеры без ума;
Тот пламенной игрой и чувством удивляет:
Забытого детьми Эдипа представляет,
А сам детей своих давно уже забыл.
На сцене, для другой, один супруг лишь мил,
Им дышит, им живет — тогда как в самом деле
Действительный супруг лежит больной в постеле.
Интригам нет конца, насмешки, сплетни, лесть...
А ссоры вздорные нельзя и перечесть:
Один желает быть отцом, другой — тираном,
Тот ролю выплакал, тот взял ее обманом,
Та теткой хочет быть, тот просится в слуги,
Тому любовника давай — ну, вон беги!
И, словом, труппа вся, признаться должно в этом,
Прекрасным может быть комическим сюжетом.

Любский

Все это пустяки, мой друг, одни слова!
Хоть в этом мне поверь, я труппе всей глава;
Так дело ведь мое, чтоб жили мы согласно.

Честонов

Не верю, милый мой.

Любский

Зачем судить пристрастно?
Ты прежде посмотри, а после уж брани.

Честонов

И вы не ссоритесь?

Любский

О! боже сохрани!
И знать не знаем мы, что есть на свете ссоры.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и Наташа.

Любский
(Наташе)

Зачем?

Наташа

Беда, сударь! Поссорились актеры.

Любский

Охти! за что?

Наташа

А вот, спросите сами их.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же, Посошков, Лилеев, Бирюлькин, Изведов, Вельский и Оленька.

Лилеев

Я вам, сударь, сказал, что грубостей таких
Сносить я не хочу.

Посошков

Играть изволит франта!
Тогда как надобно...

Лилеев

Так нет во мне таланта?

Посошков

Я это говорил, еще вам говорю
И буду говорить.

Любский
(Честонову)

Сейчас их помирю.
Стыдитесь, господа! На что это похоже!
За что вы ссоритесь?

Лилеев

Мне честь всего дороже,
И я не дам себя обидеть никому!

Любский

Да что, скажите мне!

Лилеев

Прилично ли тому,
Кто сам плохой актер...

Любский

И, как тебе не стыдно!

Посошков

Торжественно скажу, он хочет, очевидно,
Испортить все.

Любский

Да что? добьюсь ли толку я?
О чем вы спорите?

Посошков

Так будьте ж вы судья!
Он ролю старика взялся без принужденья,
Охотой, сам играть...

Лилеев

Ну, да! из снисхожденья.

Посошков

И что ж играет он? Терпенья, право, нет!
Наместо старика — мальчишку в двадцать лет.

Лилеев

За что ж винить меня? Вините в том натуру,
Которая дала такую мне фигуру.

Посошков

Так знайте ж, господин столетний Селадон...

Лилеев

Столетний!..

Любский

Ну, беда!

Лилеев

Что значит этот тон?

Любский

Послушайте!

Лилеев

Кому вы это говорите?

Посошков

О, верно, уж не вам! Вот зеркало, взгляните!

Лилеев

Насмешки, дерзости... но я вам отплачу,
Извольте ролю взять, играть я не хочу.

Любский

Как! Что! Помилуй, брат! Сегодня представленье,
А ты...

Лилеев

Чтоб я сносил такие оскорбленья!..

Любский

Позволь...

Лилеев

Я вам сказал, что честь мне дорога.

Любский

Да выслушай!..

Лилеев

Нет, нет! Покорный ваш слуга!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, без Лилеева.

Любский
(бежит за Лилеевым)

В уме ли ты! Постой!

Посошков

О, глупое созданье!
Поверьте мне, в нем нет и капли дарованья.

Любский
(возвращаясь, с отчаянием)

Ушел! Совсем ушел!

Посошков

Тем лучше, очень рад!

Любский

Зарезал без ножа!

Посошков

Я бьюся об заклад,
Что он и смолоду прескверным был актером,
Ему под шестьдесят — а хочет быть Линдором.

Любский

Что делать мне теперь? Весь город приглашен,
А наш театр...

Посошков

Никак попасть не может в тон.
Где должно говорить с душой — одни лишь крики.

Любский

Эх, братец!..

Посошков

Никогда не ждет своей реплики.

Любский

Несносный человек!

Посошков

Что скажет, то соврет.

Любский

Да, слышишь ли, злодей! Театр наш не пойдет!

Посошков

И что вы! Для него? Да это уж безбожно!
Неужто заменить Лилеева не можно?

Любский

Посмотрим! Говори! Кого ты назовешь?

Посошков

Хоть это не легко...

Изведов

Не вдруг теперь найдешь.

Любский

Ну, что молчишь? Скорей зарежь одним уж разом!

Любская

Послать бы, батюшка, скорей ко всем с отказом.

Любский

С отказом! Боже мой! Вот дожил до чего!

Вельский

Позвольте... точно так! Я знаю одного
Охотника играть, старинный мой приятель
И дальний родственник... Уездный заседатель...

Посошков

Да кто такой?

Вельский

Андрей Степаныч Прямиков.
Он был всегда в числе хороших знатоков
И мастер сам играть.

Любский

Ах, сделай одолженье!

Посошков

Возьмется ль выучить?

Вельский

Без всякого сомненья.

Любский

И! роля ничего! Решился б только взять...

Посошков

Она ж невелика, всего страничек пять.

Любский

Ступай же поскорей!

Вельский

Я не прощаюсь с вами.

Честонов
(Вельскому)

И я с тобой.

Любский

А ты куда? Обедай с нами.

Честонов

Нельзя; мне надобно кой-что распорядить.

(Тихо Вельскому.)

С тобою должен я о многом говорить.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же, без Вельского и Честонова.

Любский

Ох этот мне театр! Прекрасная забава!
Ложись да умирай!

Изведов

Зато какая слава!

Посошков

Кто этот Прямиков? Я здесь живу давно,
А что-то не слыхал.

Любский

Эх, братец, все равно!
Ну, что тут спрашивать? Актера нет другого.
Пойдемте, господа! Чай, кушанье готово.

Посошков

Придется попоздней сегодня нам начать.

Любский
(уходя, Посошкову)

Добро, мой друг! За все ты будешь отвечать.

Все уходят в боковые двери.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Изведов
(один)

Мы ныче, кажется, обедали по моде.
(Смотрит на часы.)
Ну, так и есть! Легко ль! Четвертый час в исходе,
А Вельского все нет как нет! Эй, быть беде!
Такого удальца не сыщет он нигде,
Кто б ролю выучил сурьезно, не для шутки,
Не только в несколько часов, но даже в сутки.
Уж я ли в старину не делал чудеса?
Бывало, выучить придется в два часа
Осьмушек до шести, а все, играть как станут,
Такую дичь начнешь пороть, что уши вянут.
Нет! видно по всему, театру не бывать.
А право, жаль! Старик наш будет горевать.
Что, если б мне?.. А что ж? Чем хуже я другого?
Лилеев дворянин — об этом я ни слова,
Зато какой актер, последней уж руки,
А я, сомненья нет, сыграю мастерски,
И мой талант...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Тот же, Посошков, Оленька и Наташа.

Посошков
(Оленьке)

Да, да! вам с Вельским должно вместе
Всю сцену повторить. Ну, что? какие вести?

Изведов

Покуда никаких.

Посошков

Так Вельский не бывал?

Изведов

И слуху нет о нем.

Посошков

Куда же он пропал?
Не стыдно ли ему! Он дал честное слово
Как можно поскорей привесть к нам Прямикова...

Изведов

Да вряд ли приведет.

Посошков

И, что ты, братец! вздор!

Изведов
(глядя в окно)

Постойте! Вот и он въезжает к нам на двор.

Посошков

Один?

Изведов

Один, сударь.

Посошков

Неужто в самом деле?
(Бежит к нему навстречу.)
Ну, что? Ах, боже мой! войдите хоть в шинели,
Да только поскорей.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Вельский.

Посошков

Скажите, отчего
Не с вами Прямиков?

Вельский

Нет в городе его.

Посошков

Нет в городе!.. Так мы остались без актера?

Изведов
(кланяясь)

Когда позволите, так я...

Вельский
(прерывая)

Он очень скоро
Воротится домой, наверно, в пять часов.

Изведов
(с досадою)

Да в роли у него не десять только слов:
Когда ж успеть ему...

Вельский

Я вам ручаюсь смело,
Что он...

Изведов

Сыграет как-нибудь.

Посошков

Да что за дело?
Лишь только бы сыграл, но точно ль будет он?

Вельский

Сомненья в этом нет.

Изведов

Попасть как должно в тон,
Реплики выучить — все это не безделки.

Посошков

И, вздор!

Изведов
(в сторону)

Ох, эти мне актеры-скороспелки!
Везде от них беда.

Посошков
(Вельскому)

Так ровно через час
Он будет здесь?

Вельский
(тихо Оленьке)

Теперь, сударыня, от вас
Зависит все.

Посошков
(Вельскому)

И вы уверены, что может
Он к вечеру поспеть?

Вельский

Старанье все приложит.
Ручаюсь за него.

Наташа
(стараясь отвлечь Посошкова)

Позвольте вас спросить:
Здесь в роли у меня должны ошибки быть,—
Вот тут?

Посошков

Посмотрим. Где?

Наташа
(показывая рукою)

Внизу.

Вельский
(тихо Оленьке)

Мне очень нужно
Сказать вам слова два.

Посошков
(читает ролю)

«С ним жить я стану дружно».

Наташа

А, дружно? точно так.

Вельский
(тихо Оленьке)

Мне с вами говорить
Теперь нельзя, но я...

Посошков
(Вельскому)

А что б нам повторить...

Наташа
(показывая свою ролю)

Позвольте! Вот еще тут что-то непонятно.

Посошков
(читает ролю)

«Как этих стариков обманывать приятно!
Ну им ли женщин быть умнее и хитрей».
Помилуй, матушка! Что ж этого ясней?
(Вельскому.)
Андрей Степанович! За чем же дело стало?
Пройдемте сценки две.

Наташа

Не лучше ли сначала
Заняться вам со мной?

Посошков

На что же нам одним?
Мы сцены две иль три все вместе повторим.
(Вельскому.)
Не правда ли?

Вельский

От всей души.

Посошков
(Оленьке)

А вы?

Оленька

Извольте.

Посошков

С чего бы нам начать?

Вельский

Мне кажется...

Посошков

Постойте!
(Смотрит в тетрадь.)
Явленье пятое... да! Точно с этих пор
Мы можем повторить. А где же наш суфлер?

Изведов

Я здесь, сударь.

Посошков

Вот стул, прошу садиться.
Возьми комедию... Да, чур, не торопиться.
(Вельскому.)
Вы в этом действии отменно хороши.
(Оленьке.)
А в вас бы я желал поболее души.
Натура и душа! — без этих двух условий
Искусство — ничего.

Изведов
(в сторону)

Нельзя без предисловий.
Прикажете начать?

Посошков

Да, душенька, начни.

Изведов

Явленье пятое. Сначала вы одни,
Потом Эраст.

Посошков

Живей как можно эту сцену!

Изведов

(Наташе)

Извольте. Вам.

Наташа
(Оленьке)

«Я в вас большую перемену
Сегодня нахожу.
Быть может, вас я этим рассержу,
Но, право, мне смешно: вы плакали в постеле,
Теперь вздыхаете... неужто в самом деле
Боитесь вы?..»

Оленька

«Всего!

Ах, Машенька! Я так люблю его!
И вот уж пятый день...»

Наташа

«К окну он не подходит.
Так это-то с ума вас сводит?
Да он уж не живет напротив нас».

Оленька

«Возможно ли? Эраст...»

Наташа

«Из нашего соседства
Давно уж выехал и, верно, ищет средства
Увидеть ближе вас.
Ваш опекун хитер, а он еще хитрее
И, может быть...»

Оленька

«А мне так кажется вернее,
Что он уехал из Москвы».

Наташа

«Да вот он налицо».

Оленька

«Возможно ль! Это вы?»

Посошков

Не то, совсем не то! Простое удивленье
Не значит ничего. Где ж радость, восхищенье?
Нет, нет, сударыня! Вы слишком холодны...
Не правда ль, что в него вы страстно влюблены?

Наташа

Конечно, так.

Посошков

Что с ним и видеться хотели?
Что он любовник ваш... Ну, вот и покраснели!
Ох, эта скромность мне! Пора вам быть смелей.

Наташа

Я то же говорю.

Посошков

Скажите веселей:
«Возможно ль! Это вы!» Ну, что же! Говорите!

Оленька

«Возможно ль! Это вы...»

Посошков

Куда же вы глядите?
Смотрите на него: он главный персонаж.

Вельский

«Да, Лиза, это я — любовник верный ваш!
Я с вами, вижу вас... и все теперь, разлуку,
Печаль, тоску... все, все забыл!»

Посошков
(Вельскому)

Целуйте руку!

Оленька

«Вы здесь, Эраст! И вы пять дней могли
Не видеться со мной!»

Наташа

«Да будьте ж с ним
построже:
Легко ль, пять дней! На дело не похоже!
Мы чуть было от вас в постелю не слегли,
С утра до вечера все плакали, грустили...»

Вельский

«Я ездил из Москвы».

Наташа

«Вы ездили? куда?»

Вельский
(Оленьке)

«Но вы везде со мною вместе были!
Вы здесь и навсегда!»

Оленька
(Наташе)

«Ах, как он мил!»

Вельский

«Я с вами расставался
Затем, чтоб вечно вашим быть;
Я ездил к дядюшке, во всем ему признался,
Клялся ему вас век любить.
Кто чувствует, как я, тому красноречивым
Нетрудно быть: я все сомненья превозмог,
Он мне позволил быть счастливым.
Теперь я здесь, у ваших ног!
От вашего зависит приговора
Все счастье, жизнь моя...»

Посошков

Ах, если бы актера
Еще такого нам!

Вельский

«Скажите только: «да!»
И я навеки, навсегда
Любовник ваш, супруг...»

Посошков

Прекрасно, превосходно!
Вот истинный талант!

Оленька

«Притворство мне не сродно.
Я вас люблю...»

Посошков

Нежней, сударыня, нежней!

Оленька

«Я вас люблю, Эраст!..»

Посошков
(Вельскому)

Подвиньтесь ближе к ней.

Оленька

«Но я, к несчастию, свободы не имею
Располагать собой».

Наташа

«Я вас не разумею».

Оленька

«Мой опекун...»

Наташа

«Да что он за указ?
И есть ли что-нибудь с ним общего у вас?
Он стар — вы молоды; он дурен — вы прекрасны».

Вельский

«Что значит власть опекуна,
Когда вы будете согласны
Супругой быть моей?»

Оленька

«Так я должна...»

Наташа

«Должны, как следует, сначала колебаться,
Твердить о том о сем,
Поплакать, и потом —
Сегодня убежать, а завтра обвенчаться».

Оленька

«Что ждет меня? насмешки, клеветы...
Ах! Участь сироты
Достойна сожаленья!»

Вельский

«Решиться быть моей, и мы сегодня в ночь
Уедем к дядюшке, он примет вас, как дочь...»

Оленька

«Но как решиться мне? Какое положенье!
Предметом сделаться злословья, клеветы...
Нет, нет, Эраст!» 4

Вельский

«О, если все напрасно,
И просьбы, и любовь...»

Наташа

«Чего ж хотите вы?
Не вдруг же ей сказать: — Извольте! Я согласна!»

Вельский

«Как долго я обманывал себя!
Вас пламенно любя,
Я смел мечтать, что те же чувства
Понятны и для вас,
Что с сердцем искренним, без всякого искусства,
Сказав: люблю! мне в первый раз,
Навек вы сделались моею...»

Оленька

«Вы сердитесь?..»

Вельский

«О нет! Я холоден как лед,
Упреки делать вам я права не имею,—
Его любовь дает.
А вы...»

Наташа

«Помилуйте! Ну то ли
Вам должно говорить?»

Оленька

«Но я не век останусь в неволе:
Быть может, через год...»

Вельский

«Без вас год целый жить!
Без вас! Ах, боже мой! Кто может быть порукой
Что я, измученный тоской и скукой,
Еще год целый проживу?»

Наташа

«И больше проживете».

Вельский

«Нет! лучше навсегда оставлю я Москву,
Тогда вы, верно, предпочтете
Моей любви ваш собственный покой.
Тогда соперник мой...»

Оленька

«Соперник ваш?.. Какой?»

Вельский

«Ваш милый опекун...»

Наташа

«Ну, есть кого бояться!»

Вельский

«Быть может, наконец ему повиноваться
Решитесь вы, и целый свет
Вас будет прославлять. Он сам... Нет, Лиза, нет!
Ему ль понять блаженство
Супругом вашим быть!..»

Посошков

Какое совершенство!
Ну, Вельский, признаюсь, от вас я без ума!

Вельский

Недурно я сыграл?

Посошков

Как Гаррик, как Тальма,
Почти как я!

Вельский

О нет! уж это слишком много.

Посошков

Поверьте мне, я вас сужу отменно строго,
Да иначе судить вас было бы грешно:
Ведь вы талант! Вам все натурою дано:
Наружность славная, орган отлично гибок,
Конечно, есть кой-что — нельзя же без ошибок,
Подчас играете вы слишком горячо,
Руками машете, да левое плечо
Немножечко шалит.

Изведов

Нет, это уж нападки.
Позвольте вам сказать, все эти недостатки
Так мелочны, что их смешно и замечать.

Посошков

Да Вельскому нельзя и мелочи прощать —
Он истинный артист.

Изведов

Все так, но рассудите...

Посошков

Нам спорить некогда. Извольте! Повторите
Последние слова.

Вельский

Последние?.. Да, да!
«Супругом вашим быть».

Наташа

«Ну, барышня, беда!
Нам нет спасенья никакого».

Изведов
(суфлируя)

За сценой голос Сундукова.

Посошков
(начиная играть свою ролю)

«Эй, люди! Дурачье! Да слышите ль? Кто там?»

Оленька

«Ах, боже мой! куда деваться нам?»

Посошков

«Я вас, разбойники!»

Наташа

«Пропали мы!»

Вельский

«Пустое!
Не бойтесь ничего!»

Изведов
(суфлируя)

«Явление шестое.

Лишь только я с двора...»

Посошков

Эх, братец! не спеши!
«Лишь только я с двора, так в доме ни души...
Кой черт! да здесь проезжая дорога».

Оленька

«Ах, ради бога,
Уйдите поскорей!»

Посошков

«Ворота на запор! Ключи от всех дверей
Принесть ко мне. Уж я тебя, скотина!
Шататься все, а нет, чтоб двор подместь...

Пошел, болван!.. Эге! да здесь и гости есть!
Возможно ли — мужчина!
Вы кто, сударь? Зачем и почему?
Кого вам надобно?»

Вельский

«Извините!
Я только что взошел».

Посошков

«Взошли... к кому?..
Что вижу, к вам?.. Вот я вас! погодите!
Взошли!.. Зачем, сударь? Да разве здесь корчма?
Взошли, когда хозяина нет дома...»

Вельский

«Вы все узнаете из этого письма».

Посошков

«Рука, мне кажется, знакома».

Вельский

«От дяди моего».

Посошков

«Да это все равно.
Письмо — письмом, а вам бы не мешало
Без спроса не входить».

Вельский

«Вы дружны с ним давно.
Степан Кондратьевич Окнов».

Посошков

«Окнов? Так, стало,
Он жив еще?»

(Читает.)

«Любезный друг! Податель сего племянник мой
Сурский...»
Вы Сурский? очень рад!
Покойный ваш отец со мной знаком был лично, —
А все скажу, что вовсе неприлично
Вломиться силой в дом».

Вельский

«Что ж делать — виноват!»

Посошков
(читает)

«Он любит одну весьма достойную девицу, но, к несчастию, у него есть соперник. Я стараюсь уладить это дело, а между тем, боясь, чтоб он не наделал дурачества, отправил его в Москву, не оставляйте его вашими советами. Надеясь на дружбу вашу, я уверен, и проч. и проч.».

«Так вы намерены жениться?
Вот это хорошо! Я с вами подружиться
Душою рад... Да только вот беда!
Вы ездить будете напрасно —
Меня нет дома никогда.
Итак, вы любите? И очень страстно?..»

Вельский
(глядя на Оленьку)

«И сердце и душа —
Все ей принадлежит».

Посошков

«Уж верно, хороша?
И спрашивать не надо».

Вельский

«Все в мире женщины ее не стоят взгляда».

Посошков

«Похвально! Хорошо! Прошу ко мне вперед!
А что, соперник ваш и молод и прекрасен?»

Вельский

«О нет! он вовсе не опасен:
Седой старик, скупец, животное, урод...»

Посошков
(своим голосом)

Эх, батюшка, не то! Вам должно обозначить
Насмешку тут: ведь вы должны меня дурачить.

Наташа

Да он, мне кажется, и так дурачит вас.

Посошков

Побольше тонкостей! Играя в первый раз,
Их все нельзя схватить, а вы, сударь, не внове:

Вам стыдно их не знать. «Урод!» — При этом слове
Взгляните на меня.

Вельский
(повторяя)

«Седой старик! скупец!..»

Посошков

Вот, так!

Вельский

«Урод!»

Посошков

Браввиссимо!

Вельский

«Глупец!»

Посошков

Отлично! Хорошо!

Вельский

«А сверх того...»

Посошков
(начинает опять играть)

«Увольте!..

(Наташе и Оленьке.)
Я брани не люблю. Ступайте вон!»

Наташа

«Позвольте
Сказать вам слова два».

Отводит Посошкова к стороне, а между тем Вельский и Оленька говорят тихо.

Посошков

«Ну, что же, говори!»

Наташа

«Хотите ли держать пари,
Что этот господин приехал к вам недаром?»

Посошков

«Неужели?»

Наташа

«Тут что-нибудь да есть.
Заметили ль, с каким он жаром
Описывал любовь свою, а между тем
Смотрел на барышню?»

Посошков

«Смотрел? Зачем?»

Наташа

«Я этих сорванцов ужасно ненавижу.
От них того и жди...»

Посошков
(своим голосом)

Да, стань сюда! я вижу.
Закрой побольше их! Ах, нет! Еще вперед!

Вельский отдает записку Оленьке.

Все вижу, матушка: записку отдает,
Вот шепчет на ухо!

Вельский
(тихо Оленьке)

Прочтите поскорее!

Посошков
(Вельскому)

Не так!
(Берет у Оленьки записку.)
Позвольте мне! проворней и хитрее;
Смотрите на меня! совсем не тот прием.
(Отдает записку Оленьке.)
Мы вот как, батюшка, записки отдаем.
(Наташе, продолжая играть свою ролю.)
«Итак, мне должно опасаться?»

Наташа

«Большой опасности тут нет».

Посошков

«Все может статься.
Эх, Машенька, недолго до греха...»

Изведов

Позвольте! у меня последнего стиха
В пиесе нет.

Посошков
(берет тетрадь и смотрит)

Ну, так! Вперед я сам засяду
И буду списывать. Тут две ошибки сряду.
Кто списывал ее?

Наташа

Фома, буфетчик наш.

Посошков
(Изведову)

Ох эти мне писцы! Подай мне карандаш!

Вельский

Угодно мой?
(Подает ему.)

Посошков делает поправки, а между тем Оленька вполголоса читает письмо.

Оленька
(читает)

«Я боялся, что не найду свободной минуты переговорить с вами, и для того заготовил это письмо. Почтенный благодетель мой, ваш дядюшка Честонов, и слышать не хочет, чтоб вы были за Посошковым. Он дал слово помогать нам, и если вы согласитесь...»
(Прячет письмо.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Любский, Любская и Бирюлькин.

Любский

Ну, вот они! А мы искали
Вас целый час в саду.

Наташа

Мы роли повторяли.

Посошков
(перевертывая листы в тетради)

Постой, еще! да тут премножество грехов!

Любский

Ага! И Вельский здесь? Ну, что твой Прямиков?

Вельский

Уехал за город, однако же к обеду
Хотел он быть домой.

Любский

Так что же ты?

Вельский

Я еду
Опять к нему.

Любский

Боюсь, откажется злодей!

Вельский

О, верно, нет!

Любский

Да ты узнал бы от людей,
Куда уехал он.

Вельский

Теперь его застану,
Уж скоро пятый час.

Любский

А если нет?

Вельский

Так стану
Искать его везде и где-нибудь найду.
(Тихо Оленьке.)
Вы все прочли?..

Любский

Ступай скорей!

Вельский

Сейчас, иду.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, без Вельского.

Любский

Да этот Прямиков, как клад, нам не дается.

Любская

Эй, батюшка, поверь, нам вечером придется
С отказом посылать ко всем...

Любский

Молчи, жена!
И без тебя тоска!
(Посошкову.)
А все твоя вина.
Не знать наверное — да это хуже пытки!
Один бы уж конец.

Любская

Напрасные убытки,
Расходы, хлопоты, и больше ничего.

Любский
(Посошкову, который смотрит в окно)

Ну, что?

Посошков

Отправился.

Любский

Нельзя ли без него
Кой-что пройти? Ведь он не нужен вам?

Посошков

Нимало,
Мы можем повторить весь первый акт сначала.

Любский

Так что же? Повтори.

Посошков
(берет тетрадь у Изведова)

Извольте по местам.

Явленье первое.

(Оленьке.)

Куда же вы?.. Не там,
Вы здесь должны сидеть.

(Наташе.)

А вы сюда поближе.

(Оленьке.)

Держите голову немножечко пониже!
Да кто же в горести так весело глядит?
Задумайтесь! Вот так! Еще печальней вид,
Чтоб тотчас же была заметна горесть ваша.
Явленье первое...

Любский

Постой, постой! Наташа,
Подвинься-ка вперед — еще левей! вот так.

Слуга
(входит и говорит громко)

Матрена Саввишна Кутермина.

Любский

Дурак!
Скажи, что дома нет.

Слуга

Докладывал.

Любский

Так что же?

Слуга

Изволит все идти.

Любский

Ну, вот! На что похоже!
Ступай, животное! Скажи, что я...

Любская

Молчи!
Она идет!

Любский

Что мы...

Любская

Да полно, не кричи!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, Кутермина, 1-я племянница и 2-я племянница.

Кутермина
(Любской)

Здорово, матушка! А, здравствуй, Федор Львович!
Каков ты, мой отец?
(Бирюлькину.)
Ты здесь, Максим Петрович?
Не стыдно ли? Совсем изволил нас забыть.
(Любской, представляя племянниц.)
Племянницы мои! Прошу их полюбить.
Они сбирались к вам вчера, да поздно встали:
На дежене дансан * всю ночь протанцевали.
Прыгуньи страшные.

Любская

Давно ли здесь?

Кутермина

Дней пять.

Любская

Поверите ль, гляжу и не могу понять,
Как можно вырость так.

Кутермина

А что, ведь не узнаешь.
Вот Софья, старшая. Ну, что ж не приседаешь?
Вся в матушку свою, привычками, лицом,
Ну, словом, сходства нет с покойником отцом, —
Предобрая! А вот меньшая, Катерина,
Не правда ль, что в отца? Красавец был мужчина,
А дочка вся в него.

1-я племянница

И полноте, ma tante! **

Кутермина

Когда бы знали вы, какой у них талант!
Да вот на этих днях заедем к вам пораньше,

---

* завтрак с танцами (от *фр.* déjeuner dansant).
** тетушка! *(фр.)*

И вы услышите! Большие музыкантши:
Везде от их пенья все были без ума,
Об этом из Москвы писала мне кума,
Глафира Саввишна, а кумушка не лгунья.
Ты знаешь, чай, ее?

Любский
(в сторону)

Проклятая болтунья!
(Громко.)
Я звал вас на вечер и очень буду рад...

Кутермина

А кстати! Что у вас сегодня? Маскерад?..

Любский

Театр, сударыня.

Кутермина

Да, точно — виновата!
Не знаю от кого, а помнится, от свата,
Андрея Карпыча, я слышала... иль нет!
От Ленской, кажется, что вы не то балет,
Не то трагедию, а что-то дать хотите.
Да дело не о том: племянницы, просите,
Чтоб мне позволили и вас с собой привесть.

Любский
(в сторону)

Ну, так! Я это знал!..
(Громко.)
Мы, верно бы, за честь
Почли себе... и нам, конечно... очень лестно,
Что вы... Но, я боюсь, не будет ли им тесно...

Кутермина
(Любской)

Я вас, мои друзья, считаю за родных,
Однако ж все-таки хотела прежде их
Представить вам сама.

Любская

Напрасно вы трудились.

Кутермина

Помилуй, матушка! На что б они годились,
Когда б учтивости не стали наблюдать?
А нынче, нечего, лишь стоит волю дать,
Тотчас нагрянут все — и даже есть нахалы,
Которые везде втираются на балы,
Хоть не были б никем туда приглашены.
Вот я так нет! Люблю держаться старины
И долг мой не считать за вежливость пустую.
Всегда, как следует, сперва рекомендую,
А там и привезу — и трудно ль в первый раз
С визитом побывать? Сегодня я приказ
Моим племянникам дала, и очень строго,
Чтоб им... Ты знаешь их?

Любский

У вас родных так много...

Кутермина

Отец их, Пустельгин, двоюродный мой брат.
Я знала наперед, что ты им будешь рад,
Однако же сюда приехать им велела.

Любский

Помилуйте! На что?

Кутермина

Я просто бы не смела
Их на вечер привесть.

Любский
(в сторону)

Да что же я молчу?
(Громко.)
Позвольте вам сказать...

Кутермина

И слушать не хочу!

Любский

Вы беспокоили племянников напрасно.

Кутермина

Эх, батюшка, поверь, их баловать опасно:
Как раз зазнаются, повадку только дай!
Нет! Дружба дружбою, а долг свой наблюдай!

Любский

Не спорю, матушка, все это справедливо...

Кутермина

О, я на этот счет отменно щекотлива.
Невежу не пущу к себе на полдвора.
Да что ж они? Давно б приехать им пора,
Мне кажется: я к ним сегодня до рассвета
Отправила слугу...
(Смотрит в окно.)
А вот и их карета!
Приехали!
(Идет к дверям.)

Любский
(Посошкову)

В ней нет и на волос стыда.

Посошков

Какой в ней стыд!

Кутермина

Сюда, голубчики! сюда!

Любский

Ну, можно ль быть кому бесстыдней и наглее!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, 1-й племянник и 2-й племянник.

Кутермина

Вот, батюшка, они! С рук на руки сдаю.
Племянник мой Андрей, от вас не потаю,
Отцовский фаворит.

Любский

О, в этом я уверен!

Кутермина

Да то беда, служить он в коннице намерен,
И вот, как видите, усы уж отпустил.
Ох, эта молодежь! Отец его просил,
Мы все: «Андрюшенька, убьют!» Так нет! Все
даром —
Решительно сказал, что хочет быть гусаром,
И служба статская ему как острый нож.
Вот Ванечка совсем на брата не похож,
Ученый человек и даже был студентом.
Племянник не сочтет, конечно, комплиментом,
Когда при всех ему скажу в глаза, что он
Чуть-чуть не философ, учен, переучен,
Науки нет такой, где б он не отличился,
Все знает, мой отец, и — физике учился.

Посошков

Да этой болтовне не будет и конца.

Кутермина

Со свечкой поискать такого мудреца.

Посошков
(тихо Любскому)

Отделайтесь скорей!

Любский

Я крайне сожалею,
Что не могу никак... и даже их не смею
Сегодня пригласить. Я очень бы желал
Иметь их у себя, но наш театр так мал,
Ко мне же назвалось гостей, конечно, вдвое,
Чем мог я ожидать...

Кутермина

И, батюшка, пустое!
Два гостя лишние не значат ничего.

Любский

Клянусь вам, не могу...

Кутермина

Я ж места одного

Для Ванечки прошу.
(Показывая на другого племянника.)
Об том, мой почтенный,
Прошу не хлопотать: ведь он полувоенный —
Протрется как-нибудь.

Посошков
(Любскому)

Охота ж время длить!
Решитесь поскорей.

Любский

Извольте, так и быть!

Кутермина

Спасибо, мой отец!..
(Племянникам.)
Ну, что ж? Благодарите!

Любский

Быть может, господа, в дверях вы постоите —
Вперед вам говорю.

Кутермина

Взойти бы только в дверь,
А там уж их беда.

Любский

Позвольте нам теперь
Заняться пробою, нам, право, недосужно.

Кутермина

Сейчас, почтенный мой, сейчас! мне только нужно
Минутки две.
(Племянникам.)
При мне карету запрягли,
Так что ж они?

1-й племянник

В одну усесться не могли.

Любский

Ах, боже мой! Еще? Нет, это уж злодейство!

Кутермина

Да, да! Еще кой-кто из нашего семейства:
Сейчас представлю вам, сейчас!

Любский

Напрасный труд!

Я вам уж объяснял.

Кутермина

Их тотчас привезут.

Что ж делать, мой отец! Уж я дала им слово!
К тому же все свои, ни одного чужого:
Мусье Ле Гро, жена его, мадам Адель,
Отличный человек; немецкая мамзель
Шарлотта Карловна, немножечко болтлива,
Зато уж как добра, тиха, неприхотлива!
Как ходит за детьми! На шаг не отстает.
Старательна, умна и дешево берет.
А там еще кой-кто, но этою безделкой
Не стоит затруднять тебя — народ все мелкой.
Послушай, душенька, голубчик, золотой!
Потешь моих внучат! Всего-то их... постой!
Танюша, Верочка, Акуленька и Глаша,
Да, кажется, еще...

Любский

Еще? Нет, воля ваша...

Кутермина
(бежит к дверям)

Приехали. Сюда, мусье, ведите их!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, учитель, гувернантка, нянюшка, четыре девочки и два мальчика.

Любский

Что вижу! Боже мой! Весь род Кутерминых!

Кутермина

Позволь им, батюшка! Ты этим мне докажешь,
Что истинный мой друг! Неужели откажешь?

Любский

Да что ж, помилуйте! ведь дом мой не трактир.

Кутермина

И! что ты, мой отец!

Любский

Вы этак целый мир
Готовы привести.

Кутермина

Но ты мне сам позволил...

Любский

Где видано?..

Кутермина

За что разгневаться изволил?

Любский

За что? Да вы ко мне пристали, как с ножом.

Кутермина

Ах, батюшки! И век не загляну в твой дом,
А с горя не умру. Ступайте вон!.. Ну что же!

Учитель, гувернантка и дети уходят.

Не знала, батюшка, что вам театр дороже
Таких друзей, как я! Возможно ль! Отказать
В такой безделице! А правду-то сказать:
Чего смотреть?

Посошков

Чего? Нет, это уж бесстыдство
Из меры вон!

Кутермина

Да, да! и что за любопытство?
Большая невидаль — театр! Ах, боже мой!
(Племянницам.)
Вы с братьями сейчас в карету и домой!

Племянницы и племянники уходят.

Посошков

Позвольте доложить! Вы сердитесь напрасно...

Кутермина

За вежливость мою наказана прекрасно!
(В сторону.)
Добро, ты грубиян!

Любский

Мне, право, очень жаль...

Кутермина

Конечно, и для нас ужасная печаль!
Я знаю, ваш театр — осьмое в свете чудо.

Посошков
(тихо Любскому)

Мы целый день ее не выживем отсюда,
Уйдемте поскорей.

Кутермина
(в сторону)

О, если б я могла
Порядком отплатить!

Любский
(Кутерминой)

У нас свои дела,
Итак, позвольте нам...

Кутермина

Кто держит вас? идите.

Посошков

На пробу нам пора.

Любский

Прошу вас, не взыщите,
Что мы оставим вас одних. Пойдем, жена!

Любская

Позволь хоть мне...

Любский

И, вздор! Пускай сидит одна!

Все уходят; Кутермина останавливает Бирюлькина.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Кутермина и Бирюлькин.

Кутермина

Два слова, душенька! Но только с уговором:
Всю правду мне скажи! Ты также здесь актером?

Бирюлькин

Кто, я-с? Что грех таить! Уж, видно, так судьбе
Угодно, матушка...

Кутермина

Не стыдно ли тебе,
Проживши столько лет, на старости срамиться!

Бирюлькин

Так, так, сударыня!

Кутермина

Ну, можно ль согласиться?..

Бирюлькин

Все знаю, матушка! Меня как на убой
Ведут...

Кутермина

Они в глаза смеются над тобой.

Бирюлькин

А что! И подлинно!

Кутермина

Да, это очевидно.
Эх, батюшка, Максим Петрович! Как не стыдно
Хотеть в твои лета нарядным шутом быть!

Бирюлькин

Так, так!

Кутермина

Эй, будешь ты в бубенчиках ходить!
Ну, ежели они тебя оденут франтом?

Бирюлькин

Навеки осрамят.

Кутермина

Добро б ты был с талантом,
А то — подумай сам! Ну, что ты за актер?

Бирюлькин

Ох, точно так! Беда! Бесчестье и позор!

Кутермина

Да что ты охаешь? К чему все эти вздохи?
Не сам ли ты пошел охотой в скоморохи?

Бирюлькин

Охотой, матушка? Да кто бы мне велел!
Помилуйте, за что?

Кутермина

Так ты, сударь, хотел
Всем разом угодить?

Бирюлькин

Какое угожденье!
Я Любского боюсь: опишет все именье.

Кутермина

Опишет? Почему?

Бирюлькин

Ведь я его должник.

Кутермина

Должник?

Бирюлькин

По векселю, хоть долг мой невелик,
Но я уплатою отменно озабочен.

Кутермина

И срок уже прошел?

Бирюлькин

Давным-давно просрочен —
Как раз потянет в суд.

Кутермина

Смотри, какой злодей!
А сколько должен ты?

Бирюлькин

До тысячи рублей.
Поверите ль, какой терплю я недостаток:
Копейки в доме нет. Вот если бы до святок
Хотел он подождать иль только до зимы...

Кутермина

Послушай! Так и быть! Я дам тебе взаймы,
Но только с тем, чтоб ты от роли отказался.

Бирюлькин

Ах, боже мой! Да как?

Кутермина

Чего ж ты испугался?

Бирюлькин

А Любский, матушка? Беда! Ведь он презлой!

Кутермина

Так хочешь ты, чтоб все смеялись над тобой,
Не только взрослые, но даже и ребята?
Подумай, у тебя давно уж есть внучата,
Хоть их-то не срами!

Бирюлькин

Все так... я знаю сам...

Кутермина

Послушай, душенька! Ведь я отсрочку дам
Еще на целый год.

Бирюлькин

О, если так — извольте!

Кутермина

Нельзя ль еще кого?.. Да много ль вас?

Бирюлькин

Постойте!
Во-первых, я, потом какой-то Прямиков,
Которого все ждут, там Вельский, Посошков...

Кутермина

И этот Вельский здесь? Мальчишка преупрямый,
Племянник Волгина?

Бирюлькин

Да, матушка, тот самый.

Кутермина

Что, если б мне?.. А что ж? Попытка не беда.
Отправлюсь к Волгину. А ты ступай туда,
Молчи и в пять часов иль около шестого
Явись ко мне домой. Да слышишь ли — ни слова!
Чтобы никто не знал...

Бирюлькин

Когда угодно вам,
Так я, сударыня, и виду не подам.

Кутермина

Ну то-то же, ступай!

Бирюлькин уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Кутермина
(одна)

Теперь-то постараюсь!
Добро, мой друг! Уж я с тобою расквитаюсь,
Все мерзости твои на деле докажу:
Поеду к Волгину, о всем ему скажу,
Раскрашу, распишу, где надобно — прибавлю,
Взбешу его — и ваш театр вверх дном поставлю.
(Уходит.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вельский и Изведов.
Входят на сцену из средних дверей.

Изведов

Итак, спектакель наш придется отложить?

Вельский

Что ж делать? Прямиков...

Изведов

Неужто упросить
Его нельзя никак?

Вельский

К несчастию — нет средства,
На днях он получил какое-то наследство
И едет за сто верст.

Изведов

Когда?

Вельский

Сегодня в ночь.

Изведов

Так горю вашему придется мне помочь,
Отдайте ролю мне, я дело все поправлю.

Вельский

Ты хочешь сам играть?

Изведов

За счастие поставлю,
Не спорю, эта честь отменно велика.
Зато ручаюсь вам, что в роли старика
Увидите во мне отличного актера.

Вельский

Все так, но как же нам остаться без суфлера?

Изведов

Да разве приказать не можно никому?
Заставьте, например, буфетчика Фому.
Он малый грамотный: не только что свободно,
Читает мастерски — а впрочем, как угодно.
Принять и не принять вольны вы мой совет,
А только, верьте мне, другого средства нет.

Вельский

Ступай же поскорей, узнай от Посошкова...

Изведов

Сейчас, сударь, иду! Одно лишь только слово:
Скажите мне, что вам Честонов говорил?
За вас он или нет?

Вельский

Он жизнь мне возвратил.

Изведов

Так он не против вас?

Вельский

Нимало.

Изведов

Что за диво!
К чему ж он говорил: «Племянница счастлива:
Жених мне по сердцу; он скромен, тих, с умом...»

Вельский

Да знаешь ли, кого считал он женихом?

Изведов

Кого? Неужто вас?

Вельский

Насилу догадался!

Изведов

Вот что! Ах я дурак! Чего же я боялся?
Хоть дядя против вас, но это пустяки.
Ура, сударь! Когда Честонов вам с руки,
Бояться нечего, теперь нам все возможно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Честонов.

Честонов
(Вельскому)

Скорей, мой друг, скорей! Тебе сейчас же должно
Отправиться домой. Ужасная беда!

Вельский

А что?..

Честонов

Твой дядюшка сбирается сюда.

Вельский

Сюда?..

Честонов

Не знаю, кто изволил потрудиться
И все ему сказать; он хочет объясниться,
От Любских получить решительный ответ,
Кричит, что совести ни на волос в них нет,
Что он никак не даст племянника дурачить,
Что свадьбы день должны сегодня же назначить,
Что быть игрушкой их никто не сотворен,
Бранит весь свет, шумит и, словом, так взбешен,
Что с братом он тебя поссорит непременно.

Вельский

Ах, боже мой! он все испортит совершенно,
Рассердит Любского...

Честонов

И наш расстроит план.

Вельский

А скоро будет он?

Честонов

При мне надел кафтан,
И я его почти оставил за порогом.

Вельский

Что ж делать мне?

Честонов

Скачи домой и под предлогом
Каким-нибудь его старайся удержать.

Вельский

Но вот беда: пешком придется мне бежать.
Я дрожки отпустил.

Честонов

Ступай в моей карете,
А я к своим пойду.

Изведов

Ваш братец в кабинете!
(Показывая, куда идти.)
Вот здесь!

Уходит вместе с Честоновым.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Вельский и потом Посошков в французском шитом кафтане.

Вельский

Ну, если он?.. И вздумать не могу!
(Хочет идти, но в дверях встречается с Посошковым.)

Посошков
(оборотясь назад)

Я завтра с деньгами пришлю к нему слугу.
Что, что?.. И, вздор! Уж мы условились о плате
С хозяином твоим, ступай! А, Вельский! Кстати!
Я уважал всегда ваш тонкий вкус и ум —
Извольте-ка взглянуть! Каков, сударь, костюм?

Вельский

Хорош...

Посошков

Не правда ли? Уж мы не ошибемся.
Ну, что ваш дядюшка? Когда его дождемся?

Вельский
(с удивлением)

Так вы уж знаете, что будет он сюда?

Посошков

Да это знают все.

Вельский

Ах, боже мой!
(Хочет идти.)

Посошков
(удерживая)

Куда?
Позвольте вас спросить: он родственник вам
дальний?

Вельский

Кто? Дядя мой?

Посошков

Ну да! Ваш дядя театральный,
Вот этот — как его? Не помню...

Вельский

Прямиков?

Посошков

Да, точно так! — А что, он роли стариков
Всегда играл?

Вельский
(с нетерпением)

Всегда.
(Хочет идти.)

Посошков
(удерживая)

Да что за нетерпенье?
Куда спешите вы? Итак — уж нет сомненья —
Спектакель наш пойдет?

Вельский

Пойдет! Я слышу стук!

Посошков

И вы уверены...

Вельский

Мне, право, недосуг!
(Смотрит в окно.)
Так точно! Дядюшка!

Посошков

А можете ль ручаться,
Что скоро будет он?

Вельский

Сейчас! — Куда деваться?

Посошков

Смотрите же!

Вельский
(в сторону)

Пошлю Честонова скорей!
(Уходит в боковую дверь.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Посошков
(один)

Куда же вы? — Чуть-чуть не изломал дверей.
Да что с ним сделалось? О чем он так хлопочет?
Когда уж и меня он выслушать не хочет,
Так, видно, чем-нибудь, а занят не шутя.
(Смотрит в зеркало.)
Какой костюм! Я рад и весел, как дитя!
Куда, подумаешь, как мода прихотлива!
Что лучше этого? И прочно и красиво,
Так нет! Дай выдумать — и что ж? Дурацкий фрак...
Ну можно ли сравнить?..

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Посошков и Волгин.

Волгин
(говорит человеку, который за ним входит)

Как нет? Ты врешь, дурак!
Я видел их в окно.

Человек уходит.

Посошков

(продолжает смотреться в зеркало, не замечая Волгина)
Хоть в этом я наряде
Постарее кажусь, зато при первом взгляде
Заметен уж актер, во всех движеньях жар,
Экспрессия, душа!..

Волгин
(глядя с удивлением на Посошкова)

Что это за фигляр?

Посошков

Прочесть бы мне теперь тирады две из роли,
Во фраке все не то: нельзя и третьей доли
Таланта показать, всего важней костюм.
(Декламируя.)
Постой! да, да! «Тебе наскучил этот шум,
Так знай, сударыня, скажу тебе заране,
Что я...» Опять забыл!
(Вынимает ролю.)

Волгин

В узорчатом кафтане...
Бормочет про себя... Так точно! Это шут.

Посошков
(читая по роле)

«Все хитрости твои к чему тебя ведут?
Что прибыли тебе в увертке бесполезной?
Скажи, бесстыдная...»

Волгин
(ударив по плечу Посошкова)

Послушай-ка, любезный!

Посошков

Чего хотите вы? — Кто б это был таков?

Волгин

Скажи, пожалуйста...

Посошков

Неужто Прямиков?
Кого вам надобно?

Волгин

Хозяина мне нужно.

Посошков

Хозяина? На что?

Волгин

Мне, право, недосужно.
Ступай и доложи ему...

Посошков

Какой чудак!
Конечно, Вельский вас сюда...

Волгин

Да, точно так,
Я здесь для Вельского.

Посошков

Теперь я понимаю.

Волгин

Ты хочешь знать, кто я таков?

Посошков

Все знаю.
Мы ждали вас...

Волгин

Меня?

Посошков

Ну да! конечно, вас.
Хоть с вами видимся мы в первый раз,

Но я наслышался о вашем дарованье,
Давно хотел вас знать: теперь мое желанье
Исполнилось, и я...

Волгин
(в сторону)

Как Тришка мой, точь-в-точь!

Посошков

Надеждой льщу себя...
(Подает Волгину руку.)

Волгин
(подавая ему также руку)

Пожалуй! Я не прочь.
До вашей братьи я охотник пресмертельный:
Да ты ж, мне кажется, и вовсе неподдельный,
С природы так. Давно ль ты к Любскому попал?

Посошков
(в сторону)

Уж не ошибся ль я? Что ж это за нахал?
Спрошу!..

Волгин
(в сторону)

Ну можно ли, на эту рожу глядя,
Не треснуть со смеху?..

Посошков

Ведь вы должны быть дядя?

Волгин

Конечно, я! И что я этим дорожу,
Сегодня же при всех на деле покажу.

Посошков

Так точно — это он!

Волгин

Мне доказать нетрудно...

Посошков

Хоть изъясняетесь вы несколько и чудно,
Но вашим истинно любуюсь я лицом:
Вы рождены, чтоб быть комическим отцом.

Волгин

Каким?

Посошков

Комическим, и точно, есть надежда,
Что в вашем амплуа...

Волгин

Что, что?

Посошков
(в сторону)

Да он невежда!

Волгин

О чем ты говоришь?

Посошков

Я говорю о том,
Что вы...

Волгин

И я хорош, связался с дураком.
Послушай, брат! С тобой я только время трачу,
А мне бы надобно...

Посошков

Пущуся наудачу! —
Позвольте прежде мне кой-что вам пояснить.
Характер ваш: его нетрудно вам схватить,
Он прост, зато на вас племянник не походит
И дядю, то есть вас, порядком за нос водит.

Волгин

Ну так! я это знал.

Посошков

Племянник ваш влюблен,
Так вас обманывать невольно принужден.

Волгин

Вот что! Прекрасную ж играть я должен ролю!

Посошков

Да, роля хороша!..

Волгин

И я себя позволю...

Посошков

Послушайте! Когда я вместе вас свожу,
Вы скажете ему...

Волгин

Я знаю, что скажу:
(С жаром.)
Бессовестный! Тебя как сына я родного
С ребячества любил! Пусть дядю б ты другого
Не ставил в грош, а то кого ж? — Меня, злодей!
Обманывать, срамить и всех честных людей
Заставить надо мной почти в глаза смеяться!

Посошков

Ого! какой талант!

Волгин

Прошу со мной не знаться!
Когда намеренье тобою принято
Дурачить старика...

Посошков

Прекрасно — а не то!
Горячий этот тон вам вовсе неприличен.

Волгин

Таков характер мой...

Посошков

Он тем-то и отличен,
Что вы других во всем гораздо холодней.

Волгин

С чего ты это взял?

Посошков

Кому же знать верней?
Вы смирный человек, ни бедны, ни богаты,
Недальнего ума и даже глуповаты...

Волгин

Кто? я?

Посошков

Ну да! Вот весь характер ваш.

Волгин

Ты врешь!

Посошков

Я вру? Как смели вы?..

Волгин

Да что ты пристаешь?
Пошел, дурак!

Посошков

Дурак! На что это похоже?
Позвольте вам сказать — за это бьют по роже.

Волгин

Эй, слушай, брат, отстань!

Посошков

Зажмите, сударь, рот!
Да знаете ль, кто вы? Вы сущий готтентот!
Вы варвар, вы мужик, вы в лицах век прошедший...

Волгин

Эге! Да он не шут, а просто сумасшедший.

Посошков

Возможно ли? И как вам в голову взошло!..
Как смели вы сказать!..

Волгин

Чтоб худо не пришло,
Убраться поскорей!

Посошков

Нет, кончено! Вам роли
В пиэсе не даю.

Волгин

Ну можно ли по воле
Пускать таких людей!
(Хочет идти.)

Посошков

И кто вам право дал!
Я вас не выпущу. Куда?

Волгин

Вот, черт, пристал!

Посошков

Не думаете ль вы, что важную находку
Мы в вас нашли?

Волгин

Ну, ну! Я дам тебе на водку,
Лишь только отвяжись! На гривенник, возьми!

Посошков

Как, гривенник! Кому?

Волгин

Да полно, не шуми!
Я дам еще.

Посошков

Как? Что? Так дерзко насмехаться!
Да знаете ль, что я...

Волгин

Ахти! Он хочет драться!

Посошков

Куда, сударь! Я вас заставлю отвечать!

Волгин

Ах, батюшки! Да он презлой! Пришлось кричать!
(Бежит к дверям и кричит.)
Послушайте!

Посошков
(становится в дверях)

Я вас не подпущу к порогу.

Волгин
(кричит)

Эй, кто-нибудь! Сюда!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Честонов.

Волгин

Честонов! Слава богу!

Посошков

Ага! Вы струсили теперь!

Честонов

Что здесь за шум?

Волгин

Поди сюда, скорей!

Честонов

Ба-ба! Любезный кум!
Давно ли здесь?

Волгин
(прячется за него)

Постой! Дай отдохнуть немного.

Честонов

Что сделалось с тобой?

Волгин

Боитесь ли вы бога?
К чему держать таких опасных дураков?

Посошков
(отводя Честонова)

Позвольте вас спросить — ведь это Прямиков?

Честонов
(в сторону)

Вот кстати!

(Громко.)

Точно так.

Посошков

Предерзкое творенье!
Какой трактирный тон, какое обращенье!
Таких людей, как он, животными зовут.

Волгин
(тихо Честонову)

Скажи, пожалуйста! Безумный он иль шут?

Честонов
(так же)

Да как тебе сказать? Я думаю, все вместе.

Посошков
(Честонову)

Я вовсе не бретер, но ежели до чести
Коснется кто моей, то боже сохрани!
Я этим не шучу.

Волгин
(Честонову)

Эх, братец! — Прогони
Его!

Посошков
(Честонову)

Чтоб я спустил такому грубияну!
Во-первых, с ним играть решительно не стану,
Хоть, правда, без него придется худо нам,
Но так и быть.

Честонов

Да он совсем не нужен вам.

Посошков

Вот то-то и беда! Актера нет другого.

Честонов

Напротив, ваш театр идет без Прямикова.

Посошков

Нет, шутите?

Волгин
(Честонову)

Ну что ж! Спровадь скорей его.

Честонов

И чтоб уладить все, ждут вас лишь одного.

Посошков

Иду, бегу, сейчас!
(Волгину.)
Мне должно бы отчета
От вас потребовать...

Честонов
(отводя Посошкова)

И что вам за охота!
Он человек простой, к тому же мне родня...

Посошков

Ну, если бы не вы — узнал бы он меня!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Волгин и Честонов.

Волгин

Тьфу, черт его возьми! Насилу провалился!
Когда б послушал ты, как он со мной бранился!
Сначала все шутил, да вдруг перед концом
И ну ругать меня комическим отцом,
Невежей, мужиком — вот так и лез на драку.
Охота же держать такого забияку!
Нет! Тришка мой хоть зол, а все-таки смирней:
С ним можно пошутить, а этого не смей
Назвать и дураком...

Честонов

А ты назвал?

Волгин

Так что же!
По-моему, дурак и шут — одно и то же.

Честонов

Да что он говорил с тобой?

Волгин

Какой-то вздор.
О роле мне твердил, как будто б я актер,
Да это ничего — из этих слов лишь видно,

Что вовсе он дурак, а вот что, брат, обидно,
Что я теперь и сам попался в дураки.

Честонов

Попался! Как?

Волгин

А что? Чай, скажешь, пустяки?
Вот этот глупый шут и тот, сударь, находит,
Что дядю своего племянник за нос водит,
А дядя-то ведь я!

Честонов

Охота ж о пустом
Так долго толковать. Да дело не о том:
Зачем приехал ты?

Волгин

Зачем? Чтоб изъясниться,
Ты это знаешь сам.

Честонов

Эх, братец! Торопиться
Не должно бы.

Волгин

Я ждал и так четыре дня, —
И буду ждать еще?

Честонов

Да выслушай меня!
Не лучше ль подождать, и, выбрав час свободный...

Волгин

Чтоб я, премьер-майор и дворянин природный,
Позволил над собой шутить?

Честонов

С чего ты взял?..

Волгин

С чего? так слушай же! Племянник мне писал,
Что он посватался, что все идет порядком:
Девица умная, хорошая, с достатком,
Что ей он нравится, и сам в нее влюблен,

Обласкан дядею, родными ободрен
И прочее. Вот я ну шить скорей наряды;
Домашние дела: покос, жнитво, подряды —
Бросаю все, скачу, приехал наконец.
«Здорово, брат! Ну что? Когда же под венец?
Я мешкать не люблю и на твоем бы месте
Все мигом повернул. Вези меня к невесте».
— «Ах, дядюшка, нельзя! Ведь Оленька больна».
— «А Любский?» — «Нездоров».— «Так Любского жена?..»
— «Могла бы вас принять, но также нездорова».
— «Помилуй, что за мор? Неужто дали слово
Все разом захворать?» — «Весь дом в постелю слег».
Ну, так и быть! Я ж сам с дороги занемог;
Так нехотя пришлось мне дома оставаться.
Сегодня, лишь успел со мной ты распрощаться,
Вдруг шасть ко мне на двор — и кто ж? Кутермина!

Честонов

Матрена Саввишна?

Волгин

Ты знаешь, что она
Болтунья страшная.

Честонов

За ней одно лишь дело:
Злословить всех.

Волгин

А тут как будто онемела.
Я то, я се — молчит. Конечно, есть печаль,
Подумал я. Спросил. «Да, батюшка, мне жаль».
— «Кого, сударыня?» — «О, если непременно
Ты хочешь знать — тебя! Признайся откровенно:
Зачем ты прискакал?» — «Племянника женить».
— «Охота же себя на старости срамить!»
— «Как так?» — «Да так! Тебя с племянником дурачат».
— «Но он ко мне писал».— «Что эти письма значат!
Пустое, вздор! Его, бедняжку, завели.
Не веришь мне? Так что ж! Попробуй и вели
Узнать ему: когда его судьба решится?
А лучше и того, ступай-ка изъясниться

И Любских сам спроси».— «Спросить-то я готов,
Да только у кого? Ведь Любский нездоров,
Жена его больна, племянница в постели».
— «Как! Любский нездоров? Неужто в самом деле?»
— «Добро б один; а то, как на смех, вся семья».
— «Давно ли, мой отец?» — «Об этом слышал я
Дня три тому назад».— «Дня три! Ах, мой создатель!
Вчерась их угощал гражданский председатель,
А нынче был у них губернский прокурор.
Ну, видишь ли теперь, что это все подбор
И Любские тобой как пешкою играют».
Как пешкою! Меня за пешку почитают! —
И после этого прикажешь мне молчать?
Молчать! Нет, черт возьми! Да я готов кричать
Не только здесь, везде — в Москве на лобном месте,
Что в Любских нет стыда, ни совести, ни чести,
Что братец твой...

Честонов

Злодей! Что вся его семья,
Весь Любских род: все братья, сваты, кумовья,
Сестрицы, тетушки в двенадцатом колене,
Все внуки, правнуки и даже предков тени
Тобой решительно, навеки прокляты.
Довольно, кажется? Теперь спокоен ты?

Волгин

Да! Смейся, брат! Куда смешно! Умора!

Честонов

Мы долго продолжать не можем разговора.
Итак, прошу мне дать решительный ответ,
Но только в двух словах: ты хочешь или нет,
Чтоб Вельский был женат?

Волгин

Хочу ль, чтоб он женился!
Да разве двести верст я даром прокатился?
Нет, вздор! Хоть плачь, а мне невесту подавай!

Честонов

Так дело кончено. Теперь, мой друг ступай
Скорей домой!

Волгин

Домой?

Честонов

Ты можешь быть спокоен:
Мне Вельский по сердцу, он Оленьки достоин
И будет мужем ей — за это я берусь.

Волгин

Нет, милый, извини! Пока не изъяснюсь,
Я с места не сойду.

Честонов

Но это изъясненье
Поссорит вас.

Волгин

Так что ж?

Честонов

Да сделай одолженье,
Послушайся меня! Ступай скорей домой!

Волгин

И слышать не хочу.

Честонов

Так знай, любезный мой,
Ты этой скоростью племянника погубишь.

Волгин

Мне все равно.

Честонов

Равно? Так ты его не любишь?

Волгин

Вот то-то и беда! К несчастию, люблю.
Ну, так и быть, изволь! Сегодня потерплю,
Но завтра ни за что, я больше не намерен
Минуты ждать одной.

Честонов

Сегодня ж, я уверен,
Все будет кончено.

Волгин

Ну, то-то же, смотри!
Помолвка через день, а свадьба через три.—
Даешь ли слово мне?

Честонов

Да, да, мой друг! согласен.
Ступай.

Волгин
(идет и возвращается назад)

Чтоб был ответ решителен и ясен.
Иль да, иль нет...

Честонов

Я все порядком поведу,
Лишь только уезжай скорей.

Волгин
(уходя)

Иду, иду!
(Возвращаясь.)
Смотри! Чтоб Вельскому сегодня ж слово дали,
Не то — в кибитку с ним, и поминай как звали!

Честонов

Уйдешь ли ты?

Волгин

Ведь я на это молодец,
И если уж решусь...

Честонов

Да будет ли конец?

Волгин

Иду! Но слушай, брат, ты дал мне обещанье,
И я!..

Честонов показывает большое нетерпенье.

Ну-ну! Прощай покамест, до свиданья!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Честонов один, и потом Вельский.

Честонов

Уйдет ли он? Ахти! Никак, идет назад!
Ну, если как-нибудь с ним встретится мой брат?
Беда! Нет! Кажется, уехал. Слава богу!

Вельский
(выглядывая из боковых дверей)

Что дядюшка?

Честонов

Ушел.

Вельский выходит.

Наделал он тревогу!
С ним был соперник твой.

Вельский

Я это ожидал.

Честонов

И если бы меня позвать ты опоздал,
То плохо бы ему пришлось от Посошкова,
Он дядю твоего почел за Прямикова,
А тот его назвать изволил дураком —
Чуть-чуть не подрались. Но дело не о том:
Мне Оленька во всем призналась откровенно,
Я наш открыл ей план, и должно непременно
Сегодня кончить все. Какой сюрприз для всех!
И смело можно бы ручаться за успех,
Да то беда — она ужасно боязлива.
Послушай, милый мой! Любовь красноречива, —
Поверь, один твой взгляд подействует сильней,
Чем все мои слова, а чтоб успеть верней,
Решительно скажи, что средства нет другого.

Вельский

Она сюда прийти сейчас дала мне слово,
И чтоб склонить ее, я все употреблю.
Ах! если б знали вы, как я ее люблю!

Честонов

Тем лучше, милый друг! На свете все непрочно,
Но добрая жена... Идут! Она? Так точно!
Смотри не опоздай! У заднего крыльца
Карета в шесть часов, а в восемь от венца.
Прощай, мой друг!
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Вельский и Оленька.

Вельский
(идя навстречу к Оленьке)

С каким я ждал вас нетерпеньем!
Все кончено! Одно осталось нам спасенье.
И если уж ничто не может тронуть вас,
Так знайте же, что мы теперь в последний раз
Не только говорим, но видимся друг с другом,
Что нынче ж вы должны назвать меня супругом
Иль, может быть, со мной расстаться навсегда.

Оленька

Расстаться? Боже мой! Нет, Вельский! Никогда!

Вельский

А если завтра же откажут мне от дому?..

Оленька

Хотя рука моя обещана другому,
Хоть сердцем я могу лишь вам принадлежать,
Но долг забыть к родным, решиться убежать...

Вельский

Так будьте ж им во всем, сударыня, послушны,
Когда к судьбе моей вы вовсе равнодушны...

Оленька

Ах, нет!.. Я вам клянусь!..

Вельский

Что значат все слова!
Что клятвы все! Когда священные права

И дружбы и любви и все — забыто вами!
Любви, в которой мне сто раз клялись вы сами,
Мечтая с радостью о том счастливом дне,
Когда я буду ваш навек! Ах! Верьте мне,
Что счастие мое, а может быть, и ваше
В руках теперь у вас. Я все сказал Наташе —
Сегодня в шесть часов нас будет ждать к себе
Ваш дядюшка... Когда и он в моей судьбе
Участие берет,

(бросаясь на колена)

Так вы ли захотите..

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, Любский и Посошков.

Любский

Что вижу! Боже мой!..

Посошков

Эх! Тише, не шумите!

Вельский

(не видя Любского и Посошкова)

Минуты дороги — решайтеся скорей!

Любский

Возможно ли! Одна!..

Посошков

Так что ж?

Любский

И Вельский с ней...

Посошков

Да как же иначе? Они проходят роли.

Вельский

И вы колеблетесь! Когда от вашей воли
Зависит все...

Любский

Как сметь!..

Посошков

Еще! Какой болтун!

Вельский

Решитесь быть моей!..

Посошков
(Любскому)

Тут входит опекун.
(Подходит к Вельскому и Оленьке.)
«Ага, сударыня! Попались!»

Оленька

Ах, боже мой!

Вельский
(в сторону)

Ай, ай!

Посошков

«Чего ж вы испугались?
Ведь я не муж, а только что жених.
Где видано!.. Застать вдвоем — одних!
Да как вы смели?
К чему, сударыня, зачем он с вами был?
Что, матушка! Я вижу, онемели!..
А вас, сударь... А вас...» Кой черт! Опять забыл.
(Вынимает ролю и читает по ней.)
«А вас, сударь, велю...»
(Вельскому.)
Подвиньтеся немножко!
«Велю сейчас я выкинуть в окошко!
И этот сорванец, и этот глупый франт
Подумать смел, что я...»
(Любскому.)
Вот, батюшка, талант!
Вот гений истинный! Смотрите, удивляйтесь!
Каков испуг?

Любский
(с досадою)

Хорош!

Посошков

Да что же! Восхищайтесь!
Взгляните на него! Как истукан стоит!
(Оленьке.)
И вы! Браввссимо! Какой смущенный вид!
Вот это мимика! Смотрите, побледнела!
Давно ль двух слов сказать порядком не умела?
А все ведь я!..
(Вельскому.)
Одно заметить должен вам, —
Напрасно вы к ее бросаетесь ногам.
Оно не худо бы, да слишком театрально.
Но испугались вы...

Любский
(поглядывая на Вельского)

Да! Очень натурально.
(Тихо Оленьке.)
Сто раз я говорил, не быть наедине!
Негодная!..
(Громко.)
Ступай в гостиную, к жене.

Оленька уходит.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, без Оленьки. Изведов, входит из средних дверей.

Любский
(Изведову)

Ну что? Ты был в саду?

Изведов

Обегал все дорожки:
Его там нет.

Любский

Вели запречь скорее дрожки
И съезди сам к нему.

Изведов уходит и тотчас возвращается.

Бирюлькин наш пропал.

Посошков

Да что с ним сделалось? На пробе он все спал,
Забыл все выходы, раз двадцать ошибался...

Любский

Вот я его пугну! Совсем избаловался.
(Вельскому.)
А что же твой Андрей Степаныч Прямиков?

Вельский

Ушел домой.

Любский

Эх, жаль!

Посошков

Я повторить готов:
В нем есть талант, но с ним играть — слуга покорный!
Он страшный грубиян и человек превздорный.
К тому ж и без него у нас охотник есть.
(Изведову.)
Ты, кажется, взялся?

Изведов
(кланяясь)

Я чувствую всю честь
Актером в труппе быть, где важные особы...

Посошков

Я думаю, что ты сыграешь и без пробы?

Изведов

Извольте, я готов.

Любский

Смотри не осрамись.

Изведов

Кто? Я, сударь?

Любский

Да, ты! Не больно, брат, храбрись!
Я что-то за тебя ужасно как робею.

Изведов

Но ролю выучить я к вечеру поспею.

Посошков

И! Как не выучить! Она невелика.

Входит слуга.

Слуга
(подавая Любскому письмо)

Письмо, сударь!

Любский

Подай! — Знакомая рука...
Бирюлькин! Что за вздор!.. Как! Что!.. Ах, мой создатель!
Возможно ли? Злодей! Разбойник и предатель!

Вельский

Что с вами сделалось?

Любский

Что сделалось? Нет сил!
(Подает письмо Посошкову.)
Прочти!

Посошков
(читает)

«Милостивый государь и благодетель! Убедясь просьбами всех моих знакомых и чувствуя сам, что в мои лета неприлично быть актером, я решился не играть сегодня и возвращаю при сем мою ролю. Должные мною тысячу рублей по векселю, с глубочайшей моей благодарностию, завтрешнего числа не премину к вам доставить.— По гроб обязанный вами и всепокорнейший слуга Максим Бирюлькин».

Любский

Что скажешь, брат?

Посошков

Да кто его подбил?

Любский

Весь город — все!

Посошков

И, нет! Какой-нибудь проказник
Некстати пошутил...

Любский

Чтоб наш испортить праздник!
И после этого театры затевай!
Придумывай, трудись, здоровье убивай,
Тешь этих неучей! Давай пиры и балы!
О, варвары! Мордва!.. Чуваши!.. Камчадалы!..
Вам хочется самим? Извольте, господа!
Театр мой не пойдет.

Вельский
(в сторону)

Вот новая беда!

Любский

Неблагодарные!

Вельский

За что ж на всех сердиться?

Любский

Посмотрим, без меня как станут веселиться!

Посошков

Поверьте мне — всему виной Кутермина.

Любский

Матрена Саввишна?

Посошков

Она сотворена
На эти мерзости.

Любский

Ну, так! Она хотела
Сгубить меня за то, что я... Да что за дело!..
Она иль нет — теперь и сам я не хочу:
Велю сломать театр, в деревню ускачу...

Посошков

Постойте! Точно так! Театр мы не отложим.

Любский
(с радостию)

Неужели?..

Посошков

Да, да! Мы все поправить можем,
Но меры сильные теперь нам должно брать;
Изведов может роль Бирюлькина сыграть —
И очень будет мил в Антропкином наряде,
А вы попробуйте, сыграйте ролю дяди.

Любский

Кто? Я? В уме ли ты? С чего ты взял?
Да я и смолоду актером не бывал.

Вельский

Всему начало есть.

Посошков

Попробуйте, начните!

Любский

Нет, братец! Ни за что!

Посошков

Так вы себя вините,
Что наш театр нейдет: я средство вам даю.

Любский

Я знаю наизусть комедию твою
И мог бы, кажется,— мне роль учить не надо...
Да нет! Нельзя никак!

Посошков

Уж как же будет рада
Матрена Саввишна! Начнет по всем домам
Скакать, рассказывать, шутить — заедет к вам...

Любский

Ко мне? Нет, душенька! И носу не покажет.

Посошков

Куда бы ни взошла — поклон и тотчас скажет:
«Что, матушка, каков вчерась спектакель был?

Уж верно, Любский вас отлично угостил,
Сбирался целый год, так диво ли?..»

Любский

Злодейка!

Посошков

«Ведь у него ребром последняя копейка».
— «Театра не было».— «Так что же он кричал?
Зачем так чванился? По выбору всех звал?
К чему? Да он и тем быть должен благодарен,
Что ездили к нему! Ну, что за важный барин?
С его ль именьишком мотать?..»

Любский

Ах! Черт возьми!..

Посошков

«Пусть это водится меж знатными людьми,
А он-то что?..»

Любский

Как что!

Посошков

«На дело не похоже!
А уж хвастун какой! Хвастун — избави боже!
«Сегодня принимать гостей я не велю —
Я так устал! Один весь город веселю,
Театры завожу, актеров набираю...»
Ан, вот ваш и театр!»

Любский

Так врет она! Играю!

Посошков

Решились наконец! Теперь мы спасены.

Любский

Я знаю, мне житья не будет от жены,
Да так и быть! Пойдем!

Посошков

Я думаю, на сцену?
Там лучше роль пройти.

Любский

А что же я надену?

Посошков

Кафтан, большой парик...

Любский

Да в нем на дурака
Я буду походить! Нельзя ль без парика?

Посошков

Никак нельзя: таков характер вашей роли.

Любский

Хорош же буду я! Куда красив! В камзоле,
В косматом парике... в узорчатых чулках...

Вельский

Зато подумайте! кто будет в дураках!

Посошков

Что этой может быть приятнее награды:
Матрена Саввишна задохнется с досады!

Изведов

Да ништо ей! А мы поставим на своем.

Любский

Так пусть задохнется! Негодная!.. Пойдем!

Все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Театр представляет комнату позади домашнего театра, на правой и левой стороне двери; прямо небольшая лесенка, приставленная к дверям, которыми входят на сцену; несколько кресел, два стола и большое зеркало.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Любский сидит, Посошков расписывает ему лицо, парикмахер держит парик; слуга.

Любский
(одному слуге)

По окнам шкалики, а плошки на крыльцо.
Ступай!

Слуга уходит.

Эх, полно, брат! Испачкал все лицо.
Да будет ли конец?

Посошков

Еще одну морщину;
Ведь вы играете не средних лет мужчину,
Вам должно походить лицом на старика.
Взгляните на меня! Да, левая щека
Бледней, а вот сейчас мы разом подрумяним.
Сидите же смирней! Вот так! Теперь мы станем
Прилаживать парик! Подай!
(Берет парик и надевает на Любского.)

Любский

Ну что, надел?

Посошков

Постойте! надобно, чтоб ловко он сидел.

Любский

Ай! Волосы дерешь! Терпения не стало!

Посошков

Мне кажется, парик напудрен очень мало.
(Парикмахеру.)
Вот с этой стороны!

Любский

Да полно! Не тирань!
Пусти меня!

Посошков

Сейчас!

Парикмахер пудрит Любского.

Любский
(вспрыгивает с кресел)

Довольно! Перестань!

Посошков
(парикмахеру)

Пошли Изведова.

Любский
(смотрясь в зеркало)

Ну, так! Урод уродом!
И кто мог следовать таким дурацким модам!
Какой нечистый дух придумал парики!
Да ништо мне! Пошел охотой в дураки...

Посошков

А мне так кажется, что в этом вы наряде...

Любский

Да, батюшка, красив! И спереди и сзади
Святочный пугало.

Посошков

Охота вам терзать
Самих себя...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Изведов, из средних дверей.

Изведов
(Посошкову)

Что вам угодно приказать?

Посошков

Готово ль у тебя?

Изведов

На сцене все готово.

Любский

А что, который час?

Изведов

Три четверти седьмого.

Любский

Что ж Оленька нейдет?

Посошков

Я к ней сейчас послал.
А Вельский где? И он опаздывать уж стал.
Я прежде не знавал за ним привычки этой.

Изведов

Он из дому хотел совсем уже одетый
Приехать в шесть часов.

Посошков

Нельзя ж ему забыть,
Что ровно в семь часов на сцене должно быть.

Входит слуга.

Любский

Ну, что ты?

Слуга

Доложить, что начали съезжаться.

Любский

Ух, сердце замерло! Хоть вовсе отказаться.

Посошков

Помилуйте!

Любский

Да я наверно осрамлюсь,
Я знаю наперед; лишь только появлюсь,
Все лопнут со смеху.

Посошков

Ах, как вы малодушны!
Не стыдно ли?

Любский

Боюсь!

Посошков

Да будьте же послушны
Рассудку вашему. Чего бояться вам?
(Слуге.)
Ступай! Проси сюда скорее наших дам.

Любский

Эй, братец, быть беде! Недаром лихорадка
Меня трясет.

Посошков

Да вы сыграете...

Любский

Прегадко!
Я ж в этом парике на чучело похож...
Ах, батюшки мои! То бросит в жар, то в дрожь!

Посошков

Неужели на вас не действуют примеры?
Ну вот, боюсь ли я?

Любский

Не выпить ли мадеры?

Посошков

Помилуйте! Зачем? Чтоб ролю позабыть?

Любский

Хоть рюмочку одну.

Посошков

Нет, нет!

Любский

Да как же быть?
Смотри, я весь дрожу.

Посошков

Вам это не поможет.
И что, скажите мне, так сильно вас тревожит?
Вы знаете, у нас партер неприхотлив,
Сыграйте как-нибудь!

Любский

Ты видишь, я чуть жив.

Посошков

Добро, останьтесь здесь, а я пойду на сцену.

Любский

Нет, вечно не прощу Бирюлькину измену!
По милости его теперь я в западне.

Посошков

Когда сберутся все, махните только мне,
И я начать велю тотчас же увертюру.

Любский
(смотрясь в зеркало)

И эту глупую, несчастную фигуру
Я должен выставить сегодня напоказ!
Добро б я был талант!

Посошков

Таланта много в вас.
Хотя заметна в нем какая-то незрелость,
Но это ничего: вы знаете, что смелость
Берет и города. Смелей, сударь, смелей!
(Уходит на сцену.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, без Посошкова.

Любский

Да, да! Толкуй! А все по милости твоей.
Нет, душенька! Вперед театра не затеешь!
(Изведову.)
Признайся, брат! И ты немножечко робеешь?

Изведов

Кто! Я-с?

Любский

Чай, скажешь, нет?

Изведов

Так это в первый раз.
Помилуйте! Ну, что за публика у вас?
Кого робеть? Друзья, приятели, старушки,
Полдюжины детей. Да это что? Игрушки!
И роля-то моя всего странички две.
Нет, сударь! В старину, как я играл в Москве,
Так есть чего робеть: не мало и не много
Три тысячи персон. А судят-то как строго!
Уж милости от них не жди и не проси:

Как шикать примутся, так боже упаси!
Беда! Не так, как здесь: там публика не наша,
Соврать не смей!

Любский

А вот идет сюда Наташа.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Наташа, входит с левой стороны и бежит на сцену.

Наташа
(не видя Любского)

Где Федор Львович? Где?

Любский

Куда бежишь? Куда?
Я здесь.

Наташа

Ах, боже мой!

Любский

Что сделалось?

Наташа

Беда!

Любский

Ахти! Спектакель наш нейдет?

Наташа

Ах, сударь! Хуже!
Ведь Ольга Дмитревна...

Любский

Племянница? Да ну же!
Злодейка, говори!

Наташа

Она...

Любский

Я жду всего!..
С ней дурно сделалось?..

Наташа

Ох, это б ничего,
А то как вздумаю... Какое приключенье!
Какой удар!

Любский

Ну вот, прошу иметь терпенье!
Негодная! Да что?

Наташа

Она...

Любский

Занемогла?

Наташа

Нет, хуже...

Любский

Что за вздор?

Наташа

Она, сударь... Ушла!

Любский

Ушла?.. Куда?.. Зачем?.. Не может это статься!

Изведов
(тихо Наташе)

Так барышня твоя...

Наташа
(так же)

Уехала венчаться.

Любский

Ушла?.. Нет, нет! Ты врешь!

Наташа

Я все вам расскажу.
Вот с час тому назад в уборной я сижу.
И барышня со мной, совсем уже одета;
Вдруг к заднему крыльцу подъехала карета...

Любский

Ну-ну!

Наташа

Дверь скрыпнула — и кто-то на крыльцо
Тихонечко взошел; глядь барышне в лицо —
Она — как смерть!

Любский

Ну, ну!

Наташа

Заплакала, вскочила,
Накинула платок и в дверь...

Любский

А ты пустила?..

Наташа

Эх, сударь! Слушайте!

Любский

Ну, ну!

Наташа

Я вслед за ней.
Выходим на крыльцо; гляжу — в сенях лакей,
Он под руку ее, тут барышня взглянула
Так жалко на меня, платочком мне махнула,
В карету прыг! И след простыл...

Любский

А ты? Ну, ну!

Наташа

Не вспомнилась.

Любский

И ты не кликнула жену,
Людей, весь дом?..

Наташа

Без чувств я целый час лежала,
А после, кажется — да, точно так — кричала.

Любский

Злодей-то кто?

Наташа

Да как увидеть в темноте?
Помилуйте!

Любский

Ты врешь! Нет, душенька! Не те
Уловки у тебя! Ты знала шашни эти!

Наташа

Кто? Я-с?

Любский

Да, ты! Сейчас скажи, кто был в карете?

Наташа

Сказать наверное не смею я никак,
А Вельский, кажется...

Любский

Ах, старый я дурак!
Так точно! Это он.

Наташа

Я, впрочем, не ручаюсь.

Любский

Молчи, негодная! Чего ж я дожидаюсь?
Пошлю! Пойду! Куда? Я вовсе без ума...
(Наташе.)
Пошли жену!

Наташа

Да вот она идет сама.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Любская.

Любская

Ах я несчастная! Ну, сгибла да пропала!
Вот грех какой!

Любский

Ага! Теперь ты плакать стала!
Безумная!

Любская

Кричи, сударик мой, кричи!

Любский

Чего смотрела ты?

Любская

А ты, сударь?

Любский

Молчи!

Любская

Чтоб стала я молчать! Нет, батюшка, довольно!
Век целый поступать ты хочешь своевольно,
А я должна...

Любский

Жена!

Любская

Так нет, не замолчу!
Терпеть не буду я, не стану, не хочу!
Все выскажу...

Любский

Жена!

Любская

Ну вот твои затеи,
Вот глупый твой театр! Актеры все — злодеи,
Губители твои, и даже Посошков.
Кого ты набрал в дом? Фигляров, дураков,
Срамил себя, мотал, расстроил все именье.
Что праздники твои? Беспутство, разоренье!
А твой театр...

Любский

Жена!

Любская

Разбойничий вертеп!
Скажи мне, батюшка, иль вовсе ты ослеп?
Бывало, при тебе шушуканье, бесстыдство,

Одно лишь на уме: амуры, волокитство, —
И с кем? С племянницей! Что ж вышло наконец?
Она из-за кулис бежала под венец.
Не я ль сто раз одно и то же говорила...

Любский

Ты только об одном, сударыня, вопила,
Что деньги трачу я...

Любская

А кто твердил о том,
Что должно запереть от Вельского наш дом
И выдать поскорей племянницу-злодейку!
Да я бы отдала последнюю копейку,
Лишь только б этот срам поправить чем-нибудь,
Лишь только б этот грех... Нет сил!.. Стеснило
грудь!..

(Падает на кресла.)

Наташа

Пойдемте к вам...

Любская

Нет, нет! Пускай умру при муже!
Ах, душно!.. Смерть моя!..

Любский

Час от часу все хуже!

Наташа
(ищет в карманах)

Куда девался спирт?

Изведов
(подавая бутылку со стола)

Вот здесь ло-де-лаван.

Наташа

Подай сюда!
(Льет Любской на голову и трет виски.)

Любский
(кричит)

Воды! Скорей воды стакан!

Любская
(*хватает себя за голову и вскакивает*)

Ах, боже мой! Ты век останешься скотиной!
Ну что ты, дура, льешь? Бутылка два с полтиной.
Подай!
(*Берет бутылку и прячет в ридикюль.*)

Любский
(*глядит в окно*)

Смотрите-ка! Полнехонек весь двор!
Карет до двадцати!

1-й слуга

Приехал прокурор!
(*Уходит.*)

Любский

Зачем я звал его! Ведь он московский житель,
Насмешник, зубоскал!

2-й слуга

Губернский предводитель.
(*Уходит.*)

Любский

И, верно, не один, с невесткой и женой!
Съезжайтесь, господа! Потешьтесь надо мной!

1-й слуга
(*вбегает запыхавшись*)

Его сиятельство!..

Любский

Гражданский губернатор?

1-й слуга

И с ним приезжий князь.
(*Уходит.*)

Любский

Возможно ли! Сенатор!
Зачем?

Наташа

Его Авдей Михайлыч пригласил.

Любский

Негодный Посошков! И кто его просил!
Подай его!

Изведов
(подходит к средним дверям и кричит)

Авдей Михайлович! Два слова!

Наташа
(Любскому)

Он сделать вам сюрприз хотел.

Посошков
(показываясь в дверях)

Что? Все готово?
Сейчас.

(Уходит.)

Любский

Постой! Постой! Куда бежишь? Зачем?

За кулисами начинают играть увертюру.

Что слышу! Музыка!.. Прирезали совсем!..
Все кончено!.. Погиб!.. Куда себя я дену?
Где спрятаться?..

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Посошков, сходит поспешно вниз.

Посошков

Ну, что нейдете вы на сцену?

Любский

Идти?.. Куда идти?.. На что?.. Зачем?.. К чему?..
Ну! Что молчишь?

Посошков

Играть пора.

Любский

Играть?.. Кому?
Играй, голубчик мой!.. Играй! И точно кстати!
Не хочешь ли один попрыгать на канате?

Посошков

Что с вами сделалось?

Любский

Со мною?.. Ничего!..
Я здесь... а Вельский где?

Посошков

Неужто нет его?

Любский

А где племянница?..

Посошков

Как где?

Любский

Я жду ответа.
Ну, что же? Говори!

Посошков

Она была одета...—
Я это видел сам.

Наташа

И даже прежде всех.

Посошков

Что с нею сделаться могло?

Любская

Такой-то грех,
Что вымолвить нельзя!

Любский

Ступай к своей невесте!
Ступай! Ищи ее!.. Она и Вельский вместе.

Посошков

Как вместе? Где? Так что ж! Зовите их сюда.

Любский

Так знай! Племянница ушла.

Посошков

Ушла?.. Куда?
Возможно ль! Как ушла?

Наташа

Да так, как все уходят.

Любский

Что, видишь ли теперь? Вот роли как проходят!

Посошков

Уйти... когда гостей полнехонек весь двор!

Любская

Когда назначены помолвка и сговóр!

Посошков

Как будто б убежать и завтра не успела!
Ах, боже мой!

Любский

Тебе, голубчик мой, за дело!

Посошков

Да я чем виноват?

Любский

Кто в петлю-то втащил
Себя, меня, всех нас — зарезал, погубил?
Злодей! Не ты ль завел все эти представленья?
По милости твоей в каком мы положенье!
Что делать нам?

Посошков

Театр вам должно отказать.

Любский

Но как и для чего?

Посошков

Вы можете сказать,
Что Оленька больна.

Любский

И все единогласно
Начнут кричать...

Любская

К чему убытчиться напрасно!
Отказывай скорей!

Любский

Эх, матушка! Молчи!

Любская
(Изведову)

Ступай, вели гасить все лампы и свечи!

Любский

Зачем, сударыня! Все думаешь о вздоре!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Честонов.

Любский
(идя к нему навстречу)

Ты здесь? Поди сюда! Ты слышал наше горе?

Честонов

Какое горе?

Любский

Как! Не знаешь ничего?
Ведь Оленька...

Честонов

Ушла.

Любский

Ты слышал? От кого?

Честонов

Я видел их.

Любский

Ага, голубчики! Попались!
Ну, где ж они?.. Пойдем!

Честонов

Они при мне венчались.

Любский

Возможно ли! Они венчались при тебе?..
И ты?..

Честонов

Послушай, брат! Противиться судьбе
Не должно и нельзя.

Любский

Эге, сударь! Так, стало,
Вы были заодно?

Честонов

Сердиться пользы мало:
Они обвенчаны. Что думать, брат, решись!

Любский

Простить племянницу?

Честонов

Да полно, не сердись!
Что сделано, того поправить невозможно.

Любский

Чтоб я простил ее! Она, сударь, безбожно,
Злодейским образом зарезала меня.
Представь себе, пойдет какая болтовня:
Прибавки, выдумки, расспросы, пересуды!
И завтра же ко мне приятели-иуды
Нагрянут все! А что мне будет от старух!
Начнут терзать меня — не шепотом, а вслух,
Читать мораль, бранить, ругать, давать советы:
Засудят, заказнят... а здешние газеты...
Матрена Саввишна!.. Нет! Вечно не прощу!

Честонов

Но выслушай!..

Любский

Нет, нет!

Честонов

Пожалуй, замолчу.
А жаль! Они теперь сыграли б превосходно.

Любский

Что, что?

Честонов

Так, братец, вздор!.. Вам это не угодно...
Так что ж и говорить.

Любский

Ты холоден как лед,
Тогда как я — твой брат...

Честонов

Спектакель ваш пойдет,
И даже не с тобой, мой друг! С другим актером.

Любский

Неужели пойдет?

Честонов

Но только с уговором:
Прости племянницу.

Любский

Нет, братец! Ни за что!

Честонов

О, если так!.. Прощай!
(Хочет идти.)

Любский

Постой!.. Да я не то
Хотел сказать... Злодей! Как он меня терзает!
Добро! Уж так и быть... пускай она играет.

Честонов

Так ты прощаешь их? Ну, милый! Очень рад!

Любский

Да, да!.. Я... завтра их прощу.

Честонов

Нет, шутишь, брат!
Теперь иль никогда.

Любский

Так вздор! Я не намерен...

Честонов

О, если так...

(Хочет идти.)

Любский

Постой! Да точно ль ты уверен,
Что наш театр...

Честонов

Пойдет.

Любский

Кто ж выкупит меня?

Честонов

Найдем кого-нибудь.

Любский

Кого? Моя родня,
Приятели, весь свет составлен из злодеев.

Честонов

А прежний друг — Сергей Иванович Лилеев?

Любский

Возможно ли?

Честонов

Я с ним об этом говорил.
Вы с ним поссорились, но я вас помирил.

Любский

Да точно ли?..

Честонов

Уж я за это отвечаю.

Любский

Ну! Делать нечего!.. Изволь, мой друг!.. прощаю!
Давай же их скорей.

Любская

А я так не прощу.

Любский

Вот выскочка! Когда уж я простить хочу,
Так кстати ли тебе!..

Честонов

Сестра! Побойся бога!
Ведь ты их уморишь!

Любская

Туда им и дорога!

Любский

Жена!

Любская

Ну слыхано ль! Невесте уходить!..

Честонов

А чтоб вам стоило их свадьбу снарядить?
Скромненько обвенчать нельзя — не те уж годы.
Какие бы тогда пошли у вас расходы?
На мелочи, на вздор последний рубль отдашь:
Подумай-ка, сочти! Нарядный экипаж,
Четверка вороных, богатые ливреи,
Кафтаны кучерам и прочие затеи,
Которым нет конца...

Любская

Так, батюшка! Ты прав!
Беда!

Честонов

Вот то-то же! Ты знаешь братнин нрав:
Что вышло б у него на разные предметы?
Чего бы стоили сюрпризы и конфекты,
Один вечерний стол, десерт, питье, еда,
Шампанское вино...

Любская

Ох, подлинно беда!

Честонов

Вот то-то же! А там визиты, посещенья,
Обеды, вечера, театры, угощенья...
Да боже сохрани! Он сряду б целый год
Пиры давал.

Любская

Так, так!

Честонов

Теперь же без хлопот:
Они обвенчаны без всякого парада.
Эх, матушка, прости! Приданого не надо!

Любская

Пришлось простить.

Честонов

Так дело и с концом!

Посошков

А я-то, сударь, что?

Честонов

Вы были женихом...

Посошков

И точно был любим.

Честонов

Не Оленькой, а братом.

Посошков

Да что же я теперь?

Любский

Остался, брат, за штатом.

Посошков

Так я же не один останусь в дураках.

Любский

Что, что еще?

Посошков

Теперь вы все в моих руках:
Театр ваш не пойдет.

Любский

Ну, так! Недоставало,
Чтоб он еще!.. Злодей! Бессовестный! Так стало...
Да нет! Ты шутишь, брат!..

Посошков

Поверьте, не шучу.
Играть не буду я.

Любский

Не хочешь?

Посошков

Не хочу.

Честонов
(Посошкову)

Авдей Михайлович! Мы все молчим покуда,
А как рассердимся, так не было б вам худо:
Сыграют и без вас.

Посошков
(в сторону)

Не хочет ли уж он...

Честонов

Нам стоит выкинуть всю ролю вашу вон.

Любский

Но как?..

Изведов

Помилуйте! Да это сплошь бывает.

Любский

Неужели?

Изведов

Один лишь автор пострадает,
А мы свое возьмем.

Посошков

Но автор-то ведь я!

Любский

Твоя комедия и так галиматья:
Так все равно!
(Изведову.)
Марай!

Посошков

Но я вам не позволю...

Любский

Да! Стану я смотреть!
(Изведову.)
Вымарывай всю ролю!

Посошков

Помилуйте!

Любский

Ступай!

Честонов
(подавая карандаш)

А вот и карандаш.

Посошков

Как можно выкинуть главнейший персонаж?

Любский

А вот увидишь как!

Посошков

Совсем не будет связи!..
За что ж срамить меня при публике, при князе?..

Любский

Все это, душенька, зависит от тебя —
Играй!

Честонов
(Посошкову)

Послушайте! Вас искренно любя,
Я должен вам сказать, что это представленье...

Посошков

Убьет комедию!..

Честонов

Без всякого сомненья.
Вы знаете: кому охота разбирать,
Кто прав, кто виноват...

Любский

(Посошкову)
Ну, что?

Посошков

Пришлось играть.

Любский

Вот так-то лучше, брат!

Посошков

Но будьте справедливы:
Легко ли мне сносить! Они теперь счастливы,
А я...

Любский

А ты кричал: «Им надо роль пройти!
Не троньте их!..»

Честонов
(в боковые двери)

Теперь вы можете взойти.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Вельский, Оленька и Лилеев, в костюме.

Оленька

Ах, дядюшка!

Честонов
(Оленьке)

Смелей! Все кончилось прощеньем.

Вельский
(Любскому)

Одна любовь моя мне служит извиненьем...

Любский

Добро! Уж так и быть.

Любская

И я прощаю вас.
(Подводя к Любскому Лилеева.)
А вот вам и актер!

Любский
(Лилееву)

Наделал ты проказ!
Не стыдно ли тебе?

Лилеев

Забудемте об этом!

Честонов

Ему не надобно сидеть за туалетом:
Как видишь, он готов.

Честонов
(Изведову)

Совсем не стариком
Одет.

Любский

Так я могу расстаться с париком!
Долой его!
(Сбрасывает парик.)
Теперь играйте как хотите!

Посошков
(Оленьке)

Ну, Ольга Дмитревна!..

Оленька
(приседая)

Что ж делать! Извините!

Любский
(жене)

А ты, сударыня, ступай теперь к гостям.

Любская уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, без Любской.

Любский

Ну что же, господа!

Изведов
(подводя Наташу)

Позвольте уж и нам...

Любский

На всех пошло! И вы жениться захотели?

Изведов

Когда позволите, на будущей неделе...

Любский

Хоть завтра поутру, лишь только не теперь.
Гей, малый! Кто-нибудь!

Входит слуга.

Смотри, чтоб в эту дверь
Никто не проходил.
(Показывает направо.)

Посошков
(Вельскому и Оленьке)

Подите, подрумяньтесь:
Вам так играть нельзя.

Изведов
(отворяя дверь налево)

Пожалуйте!

Лилеев
(Изведову)

Останьтесь!
Я это сделаю.

Посошков
(с насмешкою)

И, верно, лучше всех,
Кто опытен, как вы...

Лилеев

Что значит этот смех?

Любский

Эх, полноте!

(Лилееву.)

Ступай!

Вельский, Лилеев и Оленька уходят налево.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, без Лилеева, Оленьки и Вельского; а вскоре Волгин.

Изведов

Он сердится.

Любский

Вот то-то!
К чему шутить! И что за смертная охота
Дразнить Лилеева!

Волгин
(за кулисами с правой стороны)

Прошу же не толкать!

Слуга
(за кулисами)

Нельзя, сударь!

Волгин
(врываясь насильно)

Пусти!

Слуга

Не велено пускать!

Посошков

Возможно ль! Прямиков!

Любский

Как? Этот заседатель,
Что к нам в актеры-то хотел?

Волгин
(*Честонову*)

Ага, приятель!
Ты спрятался!.. Да вздор! Тебя везде найдут.
Скажи-ка мне...
(*Увидя Посошкова.*)
Ахти! Опять проклятый шут!
И, кажется, хмелен...

Посошков

Да что ж он в самом деле!
Вот я его!
(*Кричит Волгину.*)
Зачем вы здесь? И как вы смели?
тупайте, сударь, вон!

Волгин

Ну, так! Совсем готов!

(*Увидя Изведова и Любского в костюмах.*)

Ах, батюшки! Да здесь коллекция шутов!
Один, два... три!..

Посошков
(*подходя ближе к Волгину*)

Вы что! Упрямы или глупы?
Вам, сударь, сказано, что вы для нашей труппы
Ненадобны,— и вам актером не бывать!
Ступайте вон сейчас!

Волгин

Прошу не приставать!
Послушай, брат! Ведь я сердит! Ей, будет схватка!
(*Честонову.*)
Уйми его! Кой черт! Пристал, как лихорадка!

Честонов

Не трогайте его!

Волгин

Пожалуйста, отстань!
Поди-ка, брат, сюда! Вот так, поближе стань!

Честонов

Что значит твой приезд?

Волгин

А это, сударь, значит,
Что Волгина никто никак не одурачит.
Ты что мне обещал?.. Твердил и то и се...
Нет, шутишь, душенька! Теперь я знаю все.
Подай племянника! Подай!

Честонов

А что ты знаешь?

Волгин

Что ты со мной и с ним прескверно поступаешь,
Что все вы заодно,— твой брат, его жена
И даже Оленька. Сейчас Кутермина,
Матрена Саввишна, мне все пересказала.
Вот дело в чем: у вас актера недостало —
Так вы племянника ласкали для того,
Чтоб он играл. Теперь вы держите его
Для ваших нужд, игры, комиссий и рассылок,
А после этого забреете затылок?

Честонов

Но выслушай меня!..

Волгин

Нет! Я ведь не дурак...
Подай племянника!

Честонов

Да он женат!

Волгин

Кто!.. Как!..
На ком?..

Честонов

На Оленьке.

Волгин

Когда ж они успели?

Честонов

Сейчас лишь от венца.

Волгин

Неужто в самом деле?

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и Вельский, а вскоре Лилеев и Оленька выходят из левых дверей.

Вельский

Ах, дядюшка! вы здесь!

Волгин

Поди сюда, пострел!
Так ты меня позвать на свадьбу не хотел?
Он женится, а я себе и в ус не дую.

Честонов

Где Оленька?

Лилеев и Оленька входят.

Вельский

А вот она.
(Подводит ее к Волгину.)
Рекомендую!

Честонов

Его жена, мой друг.

Волгин

Я очень, очень рад!
Прошу любить меня!..
(Вельскому.)
Да точно ль ты женат?
Смотри!

Честонов

О! в этом нет сомненья никакого.

Посошков

Что это значит все?
(Любскому.)
Вы поняли?

Любский

Ни слова!

Честонов
(Волгину, подводя его к Любскому)

А вот мой брат.

Волгин
(Любскому)

С тобой мы с лишком сорок лет
Не виделись...

Любский

Так вы?..

Волгин

Гусарский тот корнет,
Проказник, балагур, твой старый сослуживец,
Ну — Волгин!

Любский

Как?

Волгин
(обнимая его)

Да, да! Ты был всегда счастливец
И в картах и в любви, теперь, чай, не таков?

Честонов
(подводя Посошкова)

Приятель наш, Авдей Михайлыч Посошков.

Волгин

Неужели?

Честонов

Вы с ним немного посчитались...

Волгин

Так вы, сударь, не шут?

Посошков

Мы оба ошибались,
И я вас принимал совсем не за того.

Волгин

Мне, право, совестно...

Посошков

И, сударь,— ничего!

Любский

А что — который час?

Изведов

Без малого уж восемь.

Любский

Пора бы начинать.

Посошков

Сейчас!
(К другим актерам.)
Покорно просим!

Честонов
(Волгину)

Пойдем-ка, милый мой! Посмотрим молодых.

Волгин

Вот так-то бы всегда, без вычуров пустых,
Женились, да и все! А то, глядишь, бедняжки
Прождали б целый год. Отсрочки да оттяжки!
А все ведь я, мой друг, их свадьбой повернул!

Честонов

Конечно, ты!.. Пойдем!

Уходят.

Любский

Насилу отдохнул.
Ступайте же!
(Уходит на сцену.)

Посошков
(Лилееву)

Я вас прошу: не молодитесь!
Играйте старика!

Лилеев

Тьфу, пропасть! Отвяжитесь!
Я знаю лучше вас, как должно мне играть.
(Уходит.)

Посошков

Ну, вот увидите! Он точно будет врать!

Все уходят на сцену, кроме Наташи и Изведова.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Изведов и Наташа.

Изведов

Я счастья своего никак не постигаю:
Афишку сочинял, женюсь — и сам играю!

Наташа

Все это хорошо; однако же пойдем!

Изведов

Теперь сомненья нет, театр мы заведем
И, верно, с честию поддержим наше званье!

Наташа

Ну, что ж! пойдем!

Изведов

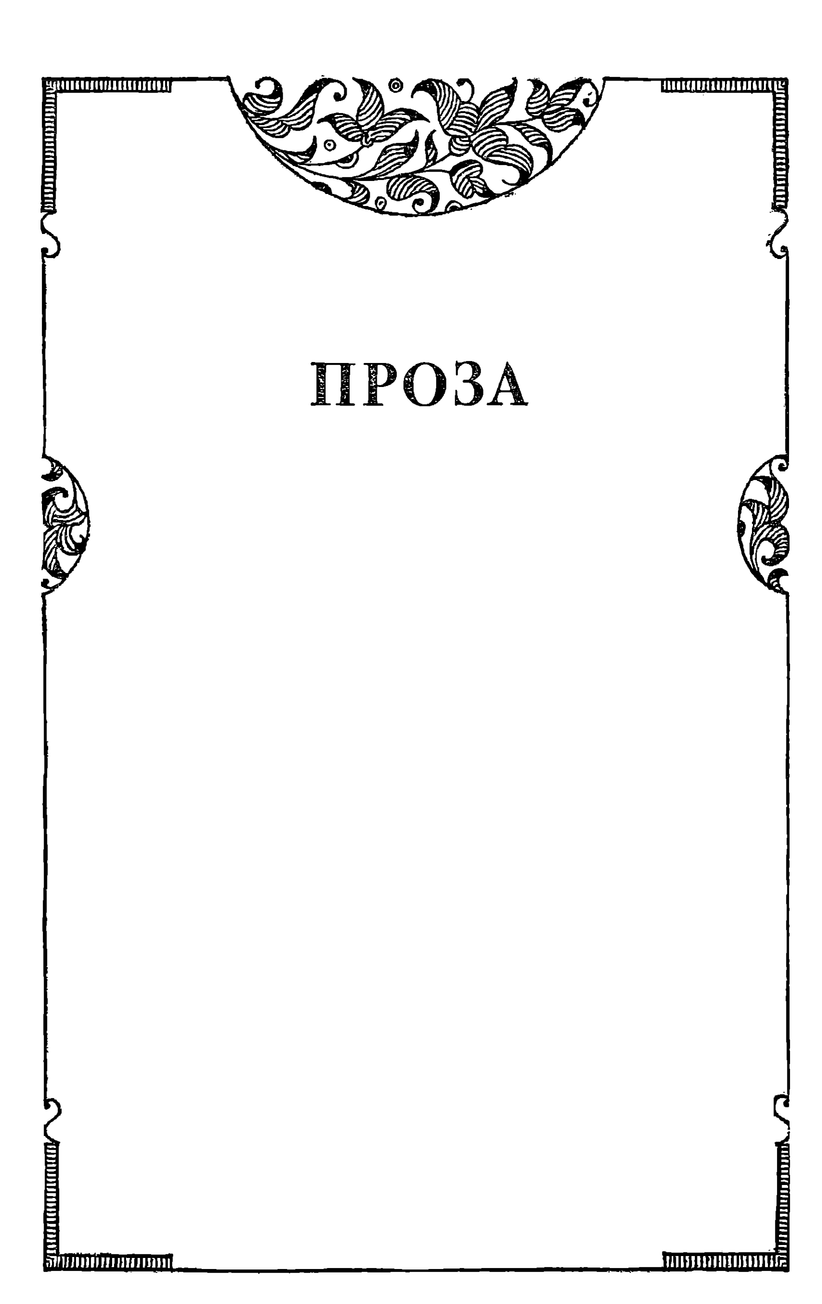
Постой! Еще одно желанье:
Без этого, мой друг, все прочее хоть брось,
А признаюсь, когда б и это удалось —
Афишку бы тогда я в рамочки повесил...

Наташа

Что ж надобно?

Изведов

Чтоб нам похлопали из кресел!



ПРОЗА

НЕРАВНЫЙ БРАК

ОТРЫВОК ИЗ ОДНОГО РУССКОГО РОМАНА

ГЛАВА I

Лиза была молода, прекрасна и любезна; г-н Славолюбский был стар, скуп и дурен. Она любила городскую жизнь, балы, театры и все шумные удовольствия; он любил деньги, малый расход, холмогорских быков и голландских коров. Ей было не более восемнадцати лет, ему около шестидесяти. Кто не пожалеет о бедной Лизе? Она была — его женою! Вообразите фигуру уродливого карлы; представьте себе лицо, на котором время напечатлело неизгладимыми чертами полные шестьдесят лет — вот Славолюбский. Видали ли вы когда-нибудь богиню красоты, написанную рукою искусного художника: вот портрет Лизы. Странно покажется, что Лиза вышла за такого урода! На это есть небольшая причина, о которой я позабыл упомянуть: г-н Славолюбский имел несколько сот тысяч и три или четыре подмосковные. Но возможно ли, чтоб молодая, любезная девица была так привязана к богатству? Конечно нет! Но восемнадцатилетняя девушка не может располагать сама собою; а какому батюшке не кинутся в глаза три тысячи душ! Какая матушка не захочет видеть свою дочку осыпанную бриллиантами!

Лиза воспитывалась в Москве. Там увидела она и полюбила Эраста, молодого, любезного человека. Он сватался; ему отказали (Эраст был небогат). Бедная девушка грустила, тосковала и в один вечер получила повеление явиться в кабинет к своему батюшке. Она взошла и увидела там всех родных своих, собранных вме-

сте. Дядюшки, тетушки, родные, двоюродные, внучатые и проч., и проч.; все они посматривали друг на друга и перешептывались. Почтенный батюшка, подобно Иакову, сидел посреди сего многолюдного семейства. Подозвав поближе изумленную Лизу, изъяснил он в коротких словах причину сего чрезвычайного собрания.

— Дочь моя,— сказал он,— тебе известно, как расстроено наше состояние; ты можешь своим послушанием вывести нас из критического положения, в коем мы находимся: почтенный друг наш, г-н Славолюбский, берется выплатить долги всей нашей фамилии и требует в замену сего руки твоей. Я хочу знать, согласна ли ты выполнить нашу волю.

Тут поднял он величественным образом свои взоры и устремил их на трепещущую Лизу.

Она молчала.

— Отвечай, дочь моя, согласна ли ты?

— Батюшка! — сказала тихим голосом бедная девушка,— он так стар!

— Три тысячи душ! — ворчал двоюродный братец.

— Так дурен!..

— Триста тысяч наличными деньгами,— пищала толстая тетушка в пятом колене.

— Я никогда не буду любить г-на Славолюбского.

— Дурочка! — шептала ей мать,— да кто и требует этого; тебе говорят, чтоб ты только вышла за него замуж.

— Я умру, если вы принудите меня это сделать.

— Пустое, голубушка! — сказала внучатая сестрица, девушка лет под сорок,— от этого не умирают.

— К чему все эти отговорки,— продолжал батюшка,— говори прямо: хочешь ли за него выйти или нет?

— Нет!

Тут маменька закричала; папенька топнул ногою, дядюшки и тетушки, вся внучатая и правнучатая беседа зашумела, как туча шмелей, бедная Лиза плакала, плакала и, наконец, обтерши слезы белым платочком и бросив горестный взор в ту сторону, где жил Эраст, сказала: «да!»

На другой день Лиза имела свидание с женихом своим; выслушала длинную диссертацию о способе разводить с удобностию *рогатый скот*. На третий — г-н Славолюбский нарядился в свой праздничный кафтан, а вечером называл уже Лизу своей супругою. На четвертый, при полном собрании дядюшек и тетушек, сказал своему

тестю, что чувствует всю честь, ему сделанную, и считает себя обязанным *подумать* о приведении в порядок его дел; потом, взяв под руку плачущую Лизу, прошел сквозь длинный ряд родственников и, севши в карету, отправился в свою подмосковную.

Бедные родственники! Итак, все лестные надежды ваши кончились одним пустым обещанием. Долго не могли они опомниться, все стояли в прежнем положении. Наконец, заговорили в одно время; зачали ругать Славолюбского.

— Я предуведомляла, что от этого осла ничего путного не будет,— кричала одна.

— Я предсказывал, что мы останемся в дураках,— ворчал другой.

— Для чего прежде свадьбы не заставить его выполнить данное обещание,— восклицала третья.

— Зачем упустили его,— пищала тетушка в пятом колене.

Батюшка заперся в свой кабинет, матушка в уборную, а жалкие родственники, с наполненными горестию сердцами и пустыми карманами, разъехались по домам.

Между тем, несмотря на тысячи проклятий, которые стремились вслед за молодым супругом, путешествие его приходило к благополучному окончанию. Уже можно было различать вдали деревню, которая готова была сделаться темницею несчастной Лизы. Она молчала, поглядывала назад, и слезы невольным образом капали на прелестную грудь ее. Она оставляла позади себя друзей своих, Эраста, всё. Славолюбский смотрел вперед и улыбался: он радовался скорому свиданию с своими холмогорскими быками и голландскими коровами. С каждым шагом вперед несчастная чувствовала прибавление своей горести, сердце ее разрывалось!

Будучи воспитана с самого младенчества в кругу родных своих, привыкши к городским веселостям, она видела перед собою пустыню, в которой, может быть, должна была навек погребсти себя, жить в деревне, жить в отдалении от друзей, родных своих, иметь каждую минуту перед глазами человека, которого ненавидела более всего на свете, который разрушил навсегда все прелестные мечты ее. Ах! такая жизнь казалась ей несноснее самой смерти! Предавшись глубокой задумчивости, вспоминая счастливые дни прежней жизни своей, милого Эраста, она позабыла на несколько минут горестное свое положение.

— Вот он! вот он! — вскричал с восхищением Славолюбский, высунувшись до половины из окошка. Лиза вздрогнула; заблуждение ее исчезло, и вместо пламенного Эраста она увидела своего уродливого супруга, который в сильных конвульсиях необычайной радости, казалось, хотел выпрыгнуть из окошка, продолжая кричать изо всей силы: «Вот он! вот он!» Изумленная Лиза спросила с некоторым любопытством:

— Что такое?

— Скотный двор! Я вижу его отсюда.

Лиза, несмотря на печаль свою, улыбнулась.

— Так, это он! — продолжал Славолюбский, — наконец я опять вас увижу, любезные мои, увижу и долго уже, долго не расстанусь с вами!

Глубокий вздох вырвался из груди несчастной красавицы: она слышала приговор свой!

Супруги подъехали к околице, и пронзительный колокольный звон раздался по воздуху. Крестьяне стояли у ворот; старики, женщины, ребятишки — каждый горел нетерпением увидеть *молодую барыню*. Впереди сей толпы стоял земский из семинаристов; с важным видом поглядывал он на шумное собрание народа; подавая им знак рукой пребывать в молчании, он готовился произнести поздравительную речь, над которою потел несколько ночей. Карета остановилась, и Славолюбский вышел вместе с унылою Лизою.

Оратор выступил два шага вперед, смиренно поклонился, надулся, правая рука отделилась, поднялась, и латинский текст вылетел из красноречивых уст его; за оным последовали полновесные периоды, в которых истощено было все красноречие сего новейшего Цицерона: метафоры лились рекою, голос его делался час от часу живее, жесты — выразительнее. Он уподоблял Лизу плодовитому дереву, которое должно принесть сладчайшие плоды, и кончил свое поздравление, пропевши хором вместе с тремя дьячками «многие лета» молодым супругам. Славолюбский, изъявив свое благоволение, сел снова в карету и отправился далее.

Теперь, да позволено мне будет, прежде чем доедут молодые до *барского двора*, сделать небольшое отступление. Каждый раз, употребляя в сем описании слово *карета*, чувствовал я, сколь много погрешал противу истины, давая сие название экипажу, в коем ехали новобрачные, и каждый раз должен был сожалеть, что мода и обычай изгнали из языка нашего много таких слов, ко-

торые в некоторых случаях бывают необходимы; например, слово *колымага* могло бы дать совершенное понятие о дорожном экипаже Славолюбского; но кто не побоялся бы на моем месте, употребляя оное, подвергнуться колким насмешкам модных рецензентов, которые назвали бы сие коренное русское слово низким, площадным и присудили б в каком-нибудь периодическом издании к политической смерти и автора, и его сочинение.

Посреди обширного двора, заросшего полынью и репейником, обнесенного высоким забором, возвышались на кирпичном фундаменте деревянные, обитые тесом *хоромы* — наследственное здание в фамилии Славолюбских. Свинцовая рука времени привела в ничтожество большую часть тесниц на кровле сего дома; искусная рука Антипыча, приказчика Славолюбского, заменила их соломою. *Еруслан Лазарич* и храбрый *Бова Королевич,* растерзанные без всякого милосердия, были прилеплены к окнам на место разбитых стекол; сзади к дому примыкала густая дубовая роща; спереди, противу ворот, стоял огромный скотный двор — средоточие всех радостей и наслаждений г-на Славолюбского.

На тяжких вереях ворота заскрыпели,
Бич хлопнул, и —

новобрачные вышли из кареты. На крыльце, посреди кучи слуг, стоял с толстым брюхом и подобострастною миною г-н управитель.

— Честь имеем поздравить! — сказал он входящей на крыльцо новобрачной чете.

— Поздравить честь имеем! — подхватила хором вся дворовая сволочь.

— Спасибо, ребята, спасибо! Что, Антипыч, каково на скотном дворе?

— Все, сударь, в надлежащей исправности.

— Белый холмогорский бык? Черная голландская корова?..

— Вчерась, сударь, изволила отелиться.

— Душенька,— сказал Славолюбский, оборотясь к своей жене,— ступай в свою комнату, а я забегу взглянуть на своих коровок.

Лиза, провожаемая кучею дворовых девок, кои осматривали попеременно с ног до головы то молодую барыню, то служанку ее Анюту, прошла чрез несколько комнат, на голых стенах которых видны были остатки древних обой. Вошедши в свою спальню, выслала она

всех, выключая Анюты, и предалась на свободе своей горести.

Ах! какая женщина, привыкшая с детства к блестящему обществу, не пришла бы в отчаяние, будучи на ее месте!

ГЛАВА II

— Послушай, Антипыч! Я намерен с тобою посоветоваться,— сказал Славолюбский, спустя три дня после своего приезда,— завтрешний день хочу я дать свадебный обед; надобно позвать гостей и ближних моих соседей.

— Слушаю, сударь!

— Как бы, Антипыч, придумать нам подешевле отпраздновать; все эти праздники стоят дорого, а проку-то от них немного.

— Конечно, сударь.

— Однако ж нам не надобно себя и лицом в грязь ударить.

— Совершенно правда, сударь!

— Во-первых, желал бы я улиминовать хорошенько дом; да плошки-то нынче не путем стали дороги, того и гляди, что рублей пять на эту дрянь выйдет.

— Позвольте, сударь, я думаю, что без плошек обойтиться можно: я отдам приказ крестьянам, чтоб они снесли на барский двор все старые лагуны; как мы их запалим, что твои плошки! Любо-дорого посмотреть будет!

— И то дело! Ай да Антипыч! Ну, право, ты старик умный! Нам надобно также достать какую-нибудь музыку. Как ты думаешь, Антипыч?

— В городе, сударь, есть два скрыпача да гуслист; дать им копеек пятьдесят да по рюмке водки, так они вас целые сутки тешить будут.

— И это хорошо. Теперь надо подумать об обеде: дичи-то настреляно у нас довольно; да этого все мало будет. Ну, ин так и быть! Пускай же себе не говорят, что Славолюбский угощать не умеет. Черный-то бык лет двадцати, он что-то больно стал плох: не пьет, не ест, того и гляди, что сдохнет. Антипыч, зарежем его!

— Зарежемте, сударь!

— Вели разлить по бутылкам полведра прошлогодней наливки да вынуть из погреба две бутылки француз-

ского пить здоровье; а о десерте и говорить нечего: моченых яблоков хоть не ешь.

— Да и сушеных груш у нас довольно.

— Хорошо, это все пойдет в дело. Теперь, где бы нам расположить обеденный стол: в зале у нас вчерась обвалился потолок: поправить к завтрему не успеют, а другие комнаты больно тесны.

— Не прикажете ли, сударь, опростать каретный сарай?

— Нет, я придумал лучше: вели сделать на скорую руку лубочную галерею, внутри можно ее украсить зеленью и цветами, а пол усыпать песком.

— Очень хорошо, сударь! Сейчас же пошлю накосить воза два травы! Извольте положиться на меня, все будет сделано.

— Теперь ступай, Антипыч, да мимоходом скажи старосте, чтоб он отпустил полгарнца пшеничной муки дворовым людям: они должны завтра напудриться.

Что делала бедная Лиза в то время, когда супруг ее приготовлялся с такою пышностию торжествовать свою свадьбу? Она сидела в своей комнате, говорила с Анютою об Эрасте, плакала, гуляла по роще и перебирала листы в одном томе экономического журнала, который нашла у себя на окошке.

— Ну, душенька,— сказал Славолюбский, входя к ней в комнату,— будь повеселее: завтре у нас будут гости; ты познакомишься с городничихой — препочтенная дама! Во всем околотке она одна может похвастаться такими коровами, какие у меня. Да кстати, ты еще не была у меня на скотном дворе? Право, милая, есть что посмотреть!

— Верю, сударь, но я еще прежде нашей свадьбы говорила вам, что не охотница до этого.

— Полюбишь, милая, полюбишь — как поживешь здесь годков десять...

— Ах, сударь! Неужели мы всегда будем здесь жить?

— Я иногда буду по делам ездить в Москву, а ты, душенька, станешь оставаться дома и хозяйничать; ведь надобно же тебе приучаться.

«О, Лиза, Лиза, для чего ты сказала «да»? Для чего не перенесла равнодушно упреки своих дядюшек и тетушек? Для чего пожертвовала ты собою?» — так думала бедная Славолюбская, оставшись одна, и — о вы, строгие моралисты, непреклонные к слабостям дру-

гих, снисходительные к собственным вашим порокам, осмельтесь осудить ее!

Весь день был употреблен на приготовление к торжеству; умирающий бык кончил жизнь свою от руки жестокого повара; скрыпачи и гуслист настраивали в застольной свои инструменты; лагуны расставлены по местам, и, прежде чем солнце скрылось за густую дубовую рощу, лубочное здание было окончено. Антипыч превосходил самого себя! Ничто не укрывалось от прозорливых его взоров: мимоходом заметил он в одном углу двора старую заржавленную чугунную пушку, которая около двадцати лет лежала на одном месте и была некогда в большом употреблении у бабушки г-на Славолюбского, великой охотницы до пальбы. Читатели, я думаю, заметили уже, что Антипыч был одарен от природы изобретательным и скорым на выдумки воображением. Чугунная пушка возродила в нем желание удивить приятною нечаянностию своего барина; за желанием следовало исполнение — и грозное орудие лежало уже позади лубочного здания на двух чурбанах, кои наилучшим образом заменяли недостаток лафета; большая куча тростника, оставшегося от кровли, скрывала ее от любопытных взоров.

— Кум,— сказал Антипыч красноречивому земскому,— я думаю, ты не оставишь в завтрешний высокоторжественный день произнести приличное слово.

— Всеконечно, любезный куманек!

— Если так, то прошу тебя заключить оное многолетием, потому что вместе с оным намерен я произвести пушечную пальбу.

— Изрядно, куманек! Но нижайше прошу взять в рассуждение, что оной пальбе следует произойти неукоснительно при конце моей рацеи, дабы не прервать меня посреди одного из периодов.

— Не беспокойся, все будет сделано как следует.

Вместе с наступлением ночи кончились все приготовления. Славолюбский, ложась спать, восхищался, воображая, сколько шуму наделает в околотке роскошный пир, им приготовленный; более всего нравилась ему безубыточная выдумка освещения. Ах! если б он предчувствовал все бедствия, которые произойдут от проклятых лагунов! Если б знал, каких зол будет причиною сия пагубная иллюминация!

Солнце едва еще стало показываться на горизонте, как Антипыч явился с кучею крестьянок, обремененных

ных цветами и различною зеленью: он приступил немедленно к украшению внутренности вновь сооруженного здания. Красноглаголевый земский изливал уже в последнем периоде своей поздравительной речи все красноречие, почерпнутое им в семинарии; крестьяне торопились на работу, чтобы успеть возвратиться заранее домой и поглядеть на ужасное истребление лагунов своих; Славолюбский примеривал свой праздничный кафтан, в то время когда люди его посыпали головы свои пшеничной мукою! Горе им! если б господин их мог читать в книге судеб; если б какая-нибудь сибилла предрекла ему следствия злополучного праздника, он велел бы тогда, вместо муки, пеплом посыпать им главы свои.

Не знаю, тайное ли какое предчувствие или что-нибудь другое было тому причиною, что Лиза, которая, несмотря на предуведомление своего супруга, не намерена была для гостей наряжаться, приказала поутру Анюте вынуть лучшее свое платье и просидела за туалетом гораздо долее обыкновенного.

Анюта прикалывала последний цветок к головному убору своей барыни, как г-н Славолюбский взошел в ее комнату.

— Душенька,— сказал он,— одевайся проворнее, гости уже съехались, и г-жа городничиха с нетерпением тебя ожидает.

Лиза взглянула в окошко; ободранные коляски, плачевные рыдваны, бесконечные линеи и коротенькие линеечки, перемешанные различным образом, стояли в приятном беспорядке посреди двора; подобно колоссу, возвышался между оных огромный фаэтон почтенной городничихи, предмет зависти и удивления всех ее знакомых. Лиза окончила свой туалет и вошла вместе с супругом своим в гостиную.

Где ты, неподражаемый Гогард *! Оставь на минуту своих флегматических соотечественников; переселись в мою веселую горенку; возьми свою чудотворную кисть и изобрази на холсте, тобою одушевляемом, то, чего не может описать перо мое: представь со всем причетом г-на городничего и высокоименитую супругу его; сделай легкий эскиз обществу, посреди которого должна жить воспитанная в самом блестящем кругу несчастная супруга Славолюбского; изобрази ее входящею в при-

* Английский живописец, известный своими карикатурами.

емную комнату; представь весь церемониал уездных рекомендаций; как карикатура за карикатурой подходят с различными ужимками, минами и телодвижениями к смущенной Лизе; как старые дамы в кисейных накрахмаленных чепцах душат ее своими бесконечными поздравлениями; как молодые женщины, разодетые не хуже московских горничных девушек, осыпая ее поцелуями, пересчитывают все складки ее платья и замечают каждый бантик в головном уборе; как почтенные чиновники уездного и земского судов, старые помещики и длинные недоросли шаркают ногами и истощают все красноречие в своих витиеватых рекомендациях; изобрази все это, неподражаемый Гогард, и поставь смело свою картину наряду с лучшими произведениями искусной руки твоей.

— Ну, моя радость,— сказала, когда все уселись по местам, г-жа городничиха, толстая, короткая, краснощекая, лет под сорок дама,— какова вам кажется наша сторона?

— Я так недавно еще здесь, сударыня, что ничего не могу вам отвечать на это.

— Сначала, миленькая, вам, конечно, покажется здесь скучнее московского; но как пообживетесь, то будет весело; я сама была воспитана в губернском городе, и когда, вышедши замуж, должна была жить в уездном, то сначала очень тосковала. Не правда ли, мой друг? — продолжала она, оборотясь к своему мужу, худенькому и малорослому старичку.

— Правда, мой ангел! — отвечал он,— первые дни ты была настоящим дьяволом: сердилась на меня, дралась с своими девками; одним словом, все было не по тебе, все казалось противным; если бы не посетила нас на третий день любезная наша Анна Степановна, то мне осталось бы, завязавши глаза, бежать прямо в воду. Уж истинно по милости ее гляжу я теперь на свет божий!

— Какой затейник,— сказала исправничиха, к которой относились последние слова,— вечно с своими шуточками!

Вскоре разговор обратился на другие предметы. Один из соседей Славолюбского, копия Скотинина, известного действующего лица в прекрасной комедии «Недоросль», взошел с ним в жестокий спор; он доказывал, что природа ни в чем не показала столь много своего могущества, что творческая рука ее не создала

ничего совершеннее большой жирной свиньи и что рогатый скот целого света не стоит одного настоящего породистого цуцкого борова. Славолюбский с жаром опровергал его мнение; городничиха взяла сторону хозяина; другие присоединились к его сопернику, и спор сделался общим.

Жалкое сие прение было прервано приходом человека, который прокричал громогласно, что приехал Мирославский, один из соседей Славолюбского. Дверь отворилась, и он взошел с незнакомым молодым человеком.

— Рекомендую вам моего приятеля! — сказал Мирославский хозяину. Лиза подняла глаза, которые до того были потуплены, и кто изъяснит ее удивление: незнакомый молодой человек был Эраст!

Ах! как запылали лилейные щеки нашей красавицы, когда Мирославский, подведя к ней Эраста, сказал:

— Кажется, не нужно рекомендовать вам моего приятеля: если не ошибаюсь, вы с ним давно уже знакомы.

Бедная Лиза как будто онемела: она не могла выговорить ни одного слова.

— Да, сударь,— сказал Эраст, приметя смущение Лизы,— я имел счастие пользоваться знакомством почтенных ее родителей.

Что может укрыться от проницательных взоров ревнивого мужа? Славолюбский приметил смущение Лизы, ее пылающие щеки и какой-то необыкновенный взгляд, брошенный украдкою на Эраста. Этого уже было довольно, чтоб привести его в ужасное беспокойство: широкий лоб его покрылся морщинами; он подошел к Эрасту, сказал ему с холодностию несколько обыкновенных вежливостей и, отведя на другой конец горницы, просил садиться. Влюбленный человек не уступит в догадливости ревнивому мужу. Эраст, заметя, что его подозревают, стал разговаривать с своими соседями, не глядел на Лизу и, казалось, совсем позабыл, что она в одной с ним горнице. Славолюбский успокоился, зачал думать, что ошибся в своем подозрении, что необычайная краска в лице его супруги произошла от одной застенчивости, и возобновил с прежним жаром спор, прерванный приездом Мирославского. Натурально, Эраст взял его сторону.

— Позвольте,— сказал он упорному защитнику свиней,— сделать вам небольшое замечание: вы, унижая

любимых скотов г-на Славолюбского, позабыли, что сам Юпитер превращался для похищения Европы в сие благородное животное; что древние египтяне имели всегда в числе богов своих одного белого быка и что свиньи никогда и ни в какой части света не пользовались такою честию.

Все упорство г-на Скотинина не могло устоять против сего исторического довода; он не мог опровергнуть оного по весьма натуральной причине: Эрастовы слова казались ему китайскою азбукою. Удивляясь обширным познаниям и глубокой его премудрости, он замолчал и уступил ему место сражения.

— Браво! — вскричал Славолюбский, обнимая с восхищением победителя.— Нельзя лучше доказать превосходства моих любимых животных перед всеми прочими; я вижу, вы знаток и охотник. Смею вас уверить, что если побываете на моем скотном дворе, то ваша к ним привязанность чрез сие нимало не уменьшится.

— Сердечно, сударь, радуюсь, что наши вкусы сходны меж собою.

Между тем все гости поднялись. Хозяин повел городничиху; супруг ее хотел было сделать эту честь Лизе, но Эраст был проворнее: он подал ей руку и пошел вместе с прочими гостьми.

Быть долгое время в разлуке с любимцем души своей, думать, что разлука сия должна быть вечною,— и вдруг увидеть его перед собою, слышать приятный голос своего возлюбленного, прикасаться своей рукой к его руке! О, эти чувства!.. Но извините, я не знаю, как описать их! Прекрасная читательница! если вы никогда не любили, то спросите ваших милых подруг, и, верно, многие из них будут вам описывать то непостижимое и приятное чувство, которое наполняет нашу душу, когда мы находимся в первый раз после долгой разлуки вместе с милым или милою своей; будут вам толковать, изъяснять, доказывать, и вы не поймете их до тех пор, пока сами в свою очередь не узнаете по опыту того, чего никакая теория совершенно изъяснить и доказать не может.

— Зачем вы сюда приехали? — шепнула Лиза голосом, который имел вид упрека, и с нежным взором, который говорил совсем другое. О, женщины, женщины! вам лишь возможно в одно и то же время приводить нас в отчаяние и подавать лестную надежду; казаться на-

шими невольницами и деспотически повелевать нами; одним словом, делать из нас все то, что вам угодно.

— Ах, сударыня! — отвечал Эраст, — я решился на все, решился видеть торжество моего соперника; хотел узнать, заслуживает ли он свое благополучие, найти вас счастливою и умереть, утешаясь мыслию, что я один несчастлив!

Вместо ответа Лиза взглянула на него так жалко, так жалко, что сердце бедного Эраста облилось кровию. С горестию пожал он трепещущую руку несчастной красавицы и замолчал.

Все многочисленное общество вступило в лубочную галерею. Дамы ахнули от удивления! Внутренность ее была убрана гирляндами из цветов, пол усыпан песком и зеленью: одним словом, во всем виден был тонкий вкус Антипыча и расточительный нрав его барина. Посреди тростникового потолка на тоненькой бечевочке висела люстра; на концах положенных крест-накрест двух палок прилеплены были четыре восковые свечки; вся люстра была убрана зеленью и представляла вместе с прочими украшениями галереи что-то романическое и приятное для глаз всего восхищенного собрания; но когда взоры их обратились в передний угол, то всеобщее «браво!» как гром раздалось по воздуху. Гирлянды из полевых цветов, изгибаясь различным образом, образовали из себя вензелевое имя хозяина и его супруги; над ними из огромных подсолнечников была представлена корона, а внизу — рога несчастного двадцатилетнего быка, обвитые гирляндами и туго набитые цветами, в совершенстве представляли рога изобилия и, казалось, предвещали счастливую и безмятежную жизнь молодым супругам! Прошу не погневаться! Антипыч не хуже всякого знал мифологию.

Между восхищенными гостьми нашелся, однако ж, один записной уездный насмешник (где нет этих господ!), который шептал своим соседям, что эти рога ничего путного не предвещают, но никто не хотел слушать его замечаний. Скрыпачи-виртуозы и гуслист затянули «При долинушке стояла...», куча лакеев в разнокалиберных ливреях, шитых при Петре Первом, заняли свои посты позади стульев, и все гости расселись по старшинству чинов, разумеется, супруга городничего заняла первое место.

Случай ли был тому причиною или что-нибудь другое, — Эрастов стул находился прямо против того места,

где сидела Лиза. Он не спускал с нее глаз; а как, по весьма натуральной причине, тот, кто глядит не сводя глаз в одно место, не может видеть того, что делается в другом, Эраст не замечал подозрительных взоров Славолюбского. Лиза сидела потупивши глаза и, казалось, смотрела на тарелку; но если бы ее спросили в ту минуту, какое перед ней стоит кушанье, то она не знала бы, что отвечать; изредка глаза ее встречались с пламенными взорами Эраста; бедная Лиза приходила в такое смущение, что брала вместо ножа вилку и хотела ложкою разрезывать жаркое: все это ужасным образом заставляло хмуриться ревнивого мужа. Но беспрерывная их рассеянность была замечена не одним подозрительным супругом; услуга Славолюбского, для которой в круглом году не было ни одного мясоеда, воспользовалась беспечностию своей барыни и незнакомого гостя: тарелки с кушаньем исчезали, а на место их появлялись пустые; они не обращали на сие никакого внимания; это было также замечено хозяином.

«Кто во время стола не спускает с чего-нибудь своих глаз и позабывает есть, тому сей предмет милее еды; кто любит кого более желудка, тот очень любит; следственно, Эраст очень любит мою жену, а жена моя очень любит Эраста». Так философствовал Славолюбский и час от часу хмурился больше.

На дворе смерклось, вокруг дома и праздничной галереи запылали расставленные в симметрическом порядке лагуны — стол приходил к концу; уже зачинали подавать моченые яблоки, уже две бутылки старого французского были раскупорены,— как вдруг, толкая направо и налево, пробивается сквозь толпу лакеев, в праздничном кафтане, с тетрадию в руке, г-н земский; все собрание обратило на него свои взоры; он вышел вперед и, сделавши низкий поклон, зачал:

— Высокоименитое собрание и ты, о преблаженная чета!..

Вдруг раздался громкий выстрел; дамы ахнули, мужчины выскочили с своих мест; Антипыч остолбенел; прерванный оратор бросал на него взоры, в коих изображалось ужасное негодование.

— Что это значит? — спросил Славолюбский.

— Пожар, пожар! — раздалось снаружи,— пожар, пожар! — закричали внутри, и вмиг быстрый пламень обхватил тростниковую кровлю лубочного здания.

Ах! как зазвенели стаканы и графины, как загремел

бедный фаянсовый сервиз г-на Славолюбского, когда огромный стол со всем своим прибором повалился на пол! Вся субординация была потеряна: люди давили своих господ, дамы кричали как сумасшедшие, мужья забывали своих жен, жены не думали о своих нарядах; большая часть гостей валялись посреди остатков обеда, покрытые упадшим столом, который не позволял им приподняться. Злое несчастие, которое всегда преследует людей, заставило миниатюрную г-жу исправничиху попасть под увесистую супругу г-на городничего; бедная думала, что целая свинцовая гора на нее обрушилась, она не могла кричать, не могла переводить духа; опасность умудряет всякого: она вцепилась зубами в тот предмет, который отнимал у нее дыхание. Городничиха, чувствуя боль и воображая, что начинает уже понемногу гореть, кричит ужасным голосом и употребляет то же средство, чтоб высвободиться из-под двух толстых помещиц и одного заседателя. Пронзительный крик, ужасный вой раздаются повсюду; с треском обрушивается тростниковая кровля, и все собрание исчезает посреди пылающих ее остатков.

Что делал Эраст в минуту сей ужасной суматохи? Он искал глазами Лизы — ее не было. Эраст бросился вместе с прочими к дверям и, продравшись кой-как сквозь толпу, очутился в роще. Первое движение его было искать Лизу; вдали между кустов мелькало белое платье, он побежал туда: это была она.

— Ах, Эраст! вы спаслись. Боже! Я вся дрожу от страха.

— Не бойтесь, сударыня, пожар не будет иметь дальных следствий. Ах! Как много я ему обязан! Я могу говорить с вами свободно, могу сказать вам...

— Что вы от меня хотите, сударь! Мы должны забыть друг друга.

— Лиза, прелестная Лиза!

— Она должна быть для вас госпожой Славолюбской.

— Нет, нет! вы всегда останетесь для меня Лизою! Я не хочу думать о сем ненавистном браке. Вы та же Лиза, та самая, которую я не переставал любить пламенно; которая говорила мне некогда: «Эраст, я люблю тебя, люблю более самой жизни!»

— Перестаньте, сударь, не забывайте, что я принадлежу другому; вы должны забыть меня! Ах, Эраст! я не существую для вас более!

— Мне забыть вас? Ах! я живу одним воспоминанием тех блаженных минут, когда я ласкал себя надеждою быть супругом вашим, одною мыслию, что Лиза меня любит, и вы хотите, чтоб я забыл вас. Нет, нет! это невозможно.

Тут Эраст схватил ее руку, осыпал пламенными поцелуями. Смущенная, трепещущая Лиза едва имела довольно сил, чтоб отнять ее; громко говорила за Эраста любовь в сердце ее, но ангел непорочности бодрствовал над нею; потупив глаза, слушала она своего любовника; уже не отнимала она своей руки, которую Эраст прижимал к груди своей... Но возвратимся к нашим несчастным гостям, которые валяются в различных положениях, покрытые полуобгоревшим тростником и остатками великолепного пиршества.

Нет! они уже не лежат, не валяются кучами на полу, не кричат, не давят друг друга; сырые лубки не стали гореть, и пожар кончился вместе с падением кровли; гости выползают понемногу из-под стола, изъясняются, говорят, извиняются и находят, что сие ужасное приключение не имеет весьма важных следствий. Два или три недоросля опалили себе волосы; исправник разбил себе до крови нос; г-н Скотинин был облит с ног до головы красным соусом и в сем виде чрезвычайно походил на своих любимых животных; хозяин, о! хозяин потерпел всех более: весь пол устлан был остатками разбитого сервиза, и целая фалда праздничного его кафтана во время суматохи была оторвана. Неподвижными глазами смотрел он на сию картину разрушения, как вдруг одна мысль быстрее молнии заставила его окинуть глазами все собрание — Лизы нет. Он ищет глазами Эраста — его также нет. Как сумасшедший, бросается он вон из галереи и бежит в рощу.

Покуда он осматривает каждый кусточек, я расскажу в двух словах причину всей суматохи. Прошу припомнить, что пушка, стоявшая позади галереи, была маскирована кучей тростника, оставшегося от кровли; один из горящих лагунов, быв нечаянно опрокинут, покатился прямо в кучу; сухой тростник вспыхнул, пламень поднялся до кровли, она запылала — несколько искр попали в затравку чугунной пушки, и кутерьма началась.

— Милый Эраст! — шептал кто-то позади густого орехового куста. Славолюбский кидается туда без памяти, и, о ужас! Эраст стоит на коленях перед его супругою, покрывая горячими поцелуями ее руку.

Если б тысяча громов, соединясь вместе, упали к ногам Лизы, то и тогда б она менее испугалась, чем нечаянного появления своего супруга, который, подобно беснующемуся, скрыпел зубами и не мог от бешенства произнести ни одного слова.

— Что вы здесь делаете, сударыня! — закричал он наконец глухим, прерывающимся голосом.

— Ах, сударь,— сказала бедная, трепещущая Лиза,— вы можете иметь ужасное подозрение; но уверяю вас...

— Молчи, негодная!

— Успокойтесь, милостивый государь! — сказал Эраст, оправясь от первого замешательства,— клянусь вам честию, что подозрение ваше несправедливо,— мы разговаривали...

— О! я вижу, сударь,— отвечал с адскою улыбкою Славолюбский,— вы разговаривали, и, кажется, с большим жаром. Но прошу вас сию же минуту отсюда убираться и не приезжать более разговаривать с моей женою. Что вы остановились, сударыня,— продолжал он, дернув за руку полумертвую Лизу,— не хотите ли броситься на шею к вашему *милому Эрасту* и при мне с ним распрощаться?

Никто из действующих лиц сей сцены не приметил толпу зрителей, между коих находилась и супруга г-на городничего; она стояла ближе всех и не проронила ни одного слова.

Лиза ушла в свою спальную; гости стали разъезжаться. Мирославский увез насильно Эраста, который хотел непременно изъясниться с хозяином, а Славолюбский заперся в свой кабинет, осыпая проклятиями Эраста и свою неверную супругу.

— Что вы думаете о г-же Славолюбской? — сказала на другой день супруга городничего почтенной исправничихе.

— Она совсем без воспитания; не спросила даже, по чему куплена кисея на моем платье!

— А последняя сцена, которой мы были свидетелями? Не правда ли, Славолюбский дурно сделал, что женился на этой ветренице?

— Ништо ему, старому скряге; мало ли здесь невест! Нет! Дай ему московскую модницу! Пускай же теперь и сгуливает; по делам вору и мука!

— А что вы скажете об его обеде, не правда ли, ничто не может быть хуже?

— Я с вами согласна: стол был предурной, услуга скверная, наливка гадкая; одним словом, все никуда не годилось.

То же самое или почти то же говорили в каждом доме: ругали мужа, поносили жену, осмеивали угощение, и если б он их опять позвал, то все бы без исключения опять к нему и поехали.

ГЛАВА III

— Ну, сударь, и вы скажете теперь, что книга ваша имеет какую-нибудь моральную цель?

— Да, сударыня!

— Перестаньте, сударь! Чем начинается ваше сочинение? Неверностию молодой женщины, которая не успела еще выйти замуж, а сделала уже своего мужа...

— Но кто сказал вам, прекрасная читательница, что Лиза изменила своему супругу? Я уверен, подозрения ревнивого мужа несправедливы; но если б оно было истинно, то согласитесь сами, что начало моей книги содержит прекрасный урок для престарелых людей, которые, подобно Славолюбскому, имели дурачество жениться на восемнадцатилетней девушке, и сумасшествие думать, что, закопав ее в деревне и лиша всех удовольствий, свойственных ее летам, могут они предохранить от всякого посрамления супружеское чело свое.

Ну, слава богу, я кой-как отделался от моей немилосердной рецензентки. Но что я слышу, какое множество различных голосов! Бедная книга, какая ужасная буря сбирается над тобою!.. *«Вывесть на сцену деревенского приказчика, какого-то гуслиста, кучу уродов, глупей один другого; писать целые страницы о коровах и свиньях; входить в такие мелкие, низкие подробности. Фи! как это все гадко, bon Dieu*! И эта книга называется романом! Тут нет ни на волос вкусу, ни ума! Эта книга ни на что не годится, точно, ни на что!»*

Милостивые государи и милостивые государыни, позвольте бедному сочинителю промолвить хотя одно слово в свое оправдание и после говорите все, что вам угодно. Начиная сию книгу, я намерен был описывать свет и людей точно таковыми, каковые они есть; я не хотел, подобно многим романистам, выводить на сцену вместо

---

* боже мой *(фр.)*.

обыкновенных людей мечтательные существа, имеющие бытие свое в одном воображении автора; не хотел описывать характеры, которых вы не встретите в нашем отечестве. Я желал, начиная мою книгу, взглянуть мимоходом, вместе с читателем, на образ жизни богатого и скупого помещика, которых, скажу вам потихоньку, есть еще много, очень много на нашей матушке святой Руси. Смею вас уверить, я рисовал с натуры и могу скорее назваться живописцем, чем автором; так виноват ли я, что круг людей, описанный мною, составлен не из князей и графов; виноват ли я, что они вместо Фильда слушают какого-нибудь гуслиста, а вместо болонских собак любят жирных свиней и холмогорских быков. Впоследствии, может быть, буду иметь честь описывать и вас, милостивые государи и государыни! Если же и тогда вы станете осыпать меня насмешками и упреками, то я сравню вас с старою кокеткою, которая тем более сердится на своего живописца, чем сходнее он изображает ее на холстине. Впрочем, я объявил уже в моем предисловии, что от вас совершенно зависит, читать или разорвать на папильотки мою книгу, раскурить ею трубки или поставить на полочке в вашей библиотеке — одним словом, делать из нее все то, что вам угодно.

— Что скажешь, Антипыч? — спросил Славолюбский своего управителя, который одним утром, спустя девять месяцев после бедственного праздника, вошел к нему в комнату.

— Я, сударь, пришел вам доложить, что барыня сделалась очень нездорова.

— Пошли в город за лекарем.

— Не лучше ли, сударь, за повивальной бабкою?

Славолюбский нахмурился.

— За повивальной бабкою! — повторил он сквозь зубы.— Итак, она сбирается родить?

— Мне сейчас сказывала, сударь, об этом ее девушка.

Тут ревнивый старик вскочил, стал ходить скорыми шагами по горнице, делая такие ужасные гримасы, что у бедного управителя волосы стали дыбом.

— Антипыч! — сказал он после короткого молчания, устремя на него быстрый взор,— на кого, думаешь ты, будет походить ребенок?

Управитель молчал; он повторил свой вопрос.

— Почему, сударь, мне это знать; может быть, на барыню, может быть, на вас.

— На меня! Скажи лучше — на Эраста, старый дурак.

— Воля ваша, сударь, вы понапрасну изволите на нее грешить; вот уже девять месяцев, как она сидит в четырех стенах. Ах, сударь! пора бы вам умилостивиться. Бедная барыня, сколько ты потерпела!

— Пошел вон, старая плакса! — закричал Славолюбский сердитым голосом.— Эдаких-то дураков, как ты,— прибавил он,— молодые жены за нос и водят.

Все, что ревность имеет в себе ужасного, наполняло в сию минуту душу Славолюбского. Он представлял себе каждую минуту Эраста, стоящего на коленях пред своей женой; в ушах его раздавалось беспрестанно то, что слышал он, подходя к ореховому кусту. Не знаю, имел ли он какие-нибудь особенные доказательства или была одна ревность тому причиною; он твердо был уверен, что не будет иметь никакого права называть себя отцом. Ах! как бы я желал собрать в одно место всех стариков, которые, несмотря на седые волосы, хотят быть мужьями молодых жен. Я показал бы им тогда Славолюбского; пускай посмотрели бы на его лицо, обезображенное ревностию, на его помутившиеся от бешенства глаза, и если б они и после этого не унялись отбивать невест у своих правнуков, то... то я посоветовал бы им пустить себе кровь и лечиться от горячки!

После праздника, который кончился столь горестным образом, Славолюбский походил более на жестокого тирана, чем на строгого и подозрительного мужа. Бедная Лиза почти никогда не выходила из своей комнаты; изредка позволялось ей прогуливаться по роще вместе с своим мучителем; но и тут всякий раз, когда они подходили к известному ореховому кусту, он осыпал ее язвительными упреками, не слушая никогда ее оправданий. В продолжение сего ужасного заключения получила она два письма: одно — от родственников, чрез господина Славолюбского, в котором извещали ее о смерти родителя и пострижении ее матери; другое — от Эраста, отданное ей потихоньку Анютою. Эраст уведомлял в оном о своей женитьбе и оканчивал письмо изъявлением своего глубочайшего почтения, совершенной преданности и всего того, в чем обыкновенно уверяют в письмах и чему также обыкновенно никогда не верят.

Само по себе разумеется, что оба сии письма не принесли Лизе большого утешения. Она осталась теперь

совершенно сиротою. Могла ли Лиза считать за что-нибудь толпу бездушных родственников, которые, если бы могли, продали бы ее опять за несколько тысяч рублей. Бывало, случалось ей строить воздушные замки, бывало, случалось забывать на несколько минут горестное свое положение; часто воображала она себя свободною, супругою Эраста! и приятное заблуждение исчезало не прежде, как с появлением ее мучителя. Теперь, ах! теперь она не могла уже иметь и сего утешения! Что значило письмо Эраста? К чему было уведомлять о своей женитьбе? И притом с такою холодностию, с такими беспрестанными уверениями в своем *почтении, уважении, преданности*. Частое повторение сих слов походило более на насмешку, чем на обыкновенную вежливость. Что почувствовала бедная Лиза, когда, читая и перечитывая раз до двадцати письмо Эрастово, она почти уверилась в своих догадках? Да и что могла она думать? Какая другая причина, кроме желания показать ей явно, что он никогда ничего к ней не чувствовал, заставила Эраста уведомить ее с такою холодностию и в таких двусмысленных выражениях о своей женитьбе, но в то же время, вспоминая прежнее свое поведение, не могла постигнуть причины, побудившей Эраста сделать сей поступок. «Свое поведение!» Так точно, любезный читатель! пора уже вывести тебя из заблуждения, в котором ты, может быть, находишься вместе с г-ном Славолюбским, и сказать утвердительно, что Лиза была невинна. В то время, когда супруг ее бегал, как бешеный, по роще, она упрашивала Эраста никогда более к ним не ездить и не напоминать о своей страсти, которая казалась уже преступною в глазах супруги Славолюбского. Эраст обещался исполнить ее приказание, и ласковое слово, услышанное ревнивым мужем, было единственною наградою за его послушание.

Отцы и матери! и ты, о жадная толпа родственников не по душе, а по одному названию, пусть пример несчастной Лизы послужит для вас уроком! Не продавайте за деньги дочерей и родственниц ваших; не заставляйте их обманывать самого бога и говорить пред лицом его одно, а чувствовать в сердце своем другое. Взгляните на бедную Лизу, готовую сделаться матерью; взгляните на уродливого ее супруга, вменяющего ей в преступление то самое название, которое долженствовало бы сделать для него Лизу еще любезнее, и не принуждайте бо-

лее детей ваших или выходите сами за женихов, которые вам нравятся.

— Кто тут? — вскричал Славолюбский, вскоча с постели.

— Я, сударь! — отвечал тонкий женский голос.

— А, это ты, Аннушка! Зачем это вздумала в полночь ко мне пожаловать?

— Барыня изволила, сударь, сейчас родить.

— Надобно было меня будить для этого вздора.

Славолюбский лег спокойно опять на постелю и закутался в одеяло. Анюта подошла к дверям и, постояв несколько минут, опять воротилась.

— Послушайте, сударь...

— Что тебе надобно, безотвязное животное?

— Младенец очень слаб: его сейчас крестить будут; какое прикажете дать ему имя?

— Нужно мне очень назначать имена чужим ребятам, по мне, хоть не давайте ему никакого!

— Но, сударь...

— Убирайся к черту!

Анюта, несмотря на сие вежливое приказание, постояла еще несколько минут у дверей и, наконец, видя, что упрямый старик притворился спящим, ушла опять в залу, где приготовлялись крестить младенца.

— Что изволил приказать барин? — спросила Анюту повивальная бабка.

— Ничего; вместо того, чтоб назначить имя младенцу, он отправил меня к черту.

— Что же мы будем делать? Можно бы было спросить у барыни, но она так слаба, что не в состоянии проговорить ни одного слова.

— Если так,— сказал священник, которому не нравились все эти остановки,— мы дадим ему имя в честь сегодняшнего святого.

Священник заглянул в святцы, и — подивитесь странному стечению обстоятельств — ребенок был назван Эрастом!

Кто может описать бешенство Славолюбского, когда на другой день узнал он, какое младенец получил имя? Он разругал Антипыча, перебил почти всех людей и, несмотря на свою скупость, коверкал и ломал все, что ни попадалось ему в руки. Тщетно доказывали ему, что Лиза нимало в сем не участвовала, что лишь один слепой случай был всему причиною; ничто не могло уверить ревнивого старика, что младенец окрещен под сим

именем не по приказанию самой Лизы. Задыхаясь от злости, осыпая проклятиями свою супругу, он пошел туда, где обыкновенно находил утешение в своих печалях; где часто, несмотря на ненависть свою к Эрасту, вспоминал красноречивые его доказательства, показавшиеся столь убедительными г-ну Скотинину. Читатель, думаю, отгадал уже, что дело идет о скотном дворе.

Остановись, несчастный! Куда ведет тебя отчаяние? Ты не знаешь еще всех твоих бедствий; не знаешь, что жилище твоих радостей, твоих сердечных наслаждений превратилось в мрачную юдоль горести! Лишь только Славолюбский стал подходить к полузатворенным воротам скотного двора, как вдруг горестные вопли поразили его слух. Он удвоил шаги свои; запыхавшись, вбежал в ворота, взглянул, и — о ужас! посреди двора лежал любимый его бык; он испускал последнее дыхание в ту самую минуту, как господин его, гонимый страшным предчувствием, перешагнул через подворотню. Это уже было слишком много для Славолюбского. Он задрожал, поднял руку, чтоб поразить несчастного скотника, который, проливая ручьи слез, вопил голосом над телом покойника; но вдруг глаза его помутились, и он упал без чувств подле своего любимца. Два дня не приходил Славолюбский в память, бредил беспрестанно то об Эрасте, то о любимом быке своем, изредка о Лизе. На третий, действительно ли оттого, что не мог выдержать столько ударов в одно время или уже так было написано в книге судеб, отправился туда, куда и я, и ты, любезный читатель, когда-нибудь рано или поздно отправимся также в свою очередь.

Мы попросим наших читателей вообразить, что прошло уже около шести месяцев от кончины Славолюбского до одного утра, в которое Лиза, сделавшись опекуншею своего сына и полной начальницею имения покойного мужа, сидела подле окошка и перечитывала единственное письмо, которое она имела от Эраста.

Вошел человек и доложил о приезде г-на Мирославского.

— Давно уже, сударыня,— сказал он, взойдя в комнату,— намерен был я узнать о здоровье вашем; но различные дела и обстоятельства не позволяли мне выполнить моего обещания.

— Я слышала, сударь, вы все это время прожили в Москве.

— Точно так, сударыня, я был на свадьбе у одной из моих родственниц.

— Поэтому можно вас поздравить?

— И тем более, что она вышла по любви.

Лиза вздохнула.

— Если вам угодно,— продолжал Мирославский,— я расскажу историю моей родственницы; в ней есть много романического. Она была влюблена в одного молодого человека; почти в то же время сватался за нее богатый старик. Сердце моей родственницы говорило в пользу молодого человека, но батюшка и матушка не хотели никак согласиться с сердцем их дочери: она вышла за миллионщика. Ревность была из числа не последних достоинств старого мужа; он увез на край света молодую жену свою и держал ее взаперти. Между тем уведомилась она чрез письмо от прежнего своего любовника, что он женился. Вскоре за этим пришла ревнивому мужу в голову прекрасная мысль сделать супругу свою свободною: он умер! Молодая вдова приехала в Москву, нашла своего любезного также свободным и наградила его постоянство, отдавши ему свою руку. Как вы думаете, сударыня, хорошо ли поступила моя родственница?

— Мне кажется,— сказала Лиза с некоторым замешательством,— что нельзя так много выхвалять постоянство сего молодого человека; он был женат на другой.

— А если женитьба сия была не что иное, как выдумка? Если он уведомлял о сем мою родственницу в самых холодных выражениях для того только, чтоб заставить скорей забыть себя? Если он старался показать себя неблагородным, вероломным, недостойным ее привязанности, одним словом, пожертвовать самим собою единственно для ее спокойствия?..

— Бога ради! — вскричала Лиза, которая во время сего разговора находилась в неописанном смущении,— истина ли то, что вы рассказываете?

— О! сударыня! если вы не верите, то пускай он сам поклянется в справедливости слов моих!

Двери с шумом растворились, и Эраст лежал уже у ног своей Лизы.

Через три месяца Эраст женился на Лизе и получил первый поцелуй накануне своей свадьбы, подле того самого орехового куста, где некогда Лиза заплатила

столь дорого за свою неосторожность. Свадебный пир был немного получше, чем два года тому назад. Антипыч и семинарист не пропустили сего случая, чтоб доказать усердие свое новому барину; все действующие лица бедственного праздника, описанного во второй главе, были созваны, угощены прекрасным образом, разъехались благополучно по домам и, так же как прежде, не успокоились до тех пор, пока не отделали по-свойски молодых супругов и не оценили как следует их угощения; одним словом, все происходило надлежащим образом и кончилось как нельзя лучше. Лиза по разным причинам решилась воспитывать своего сына в деревне, которая из ужасной пустыни превратилась для нее в прелестное уединение — счастливую обитель мира и истинной любви.

ВЕЧЕР НА ХОПРЕ *

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов — дай бог ему царство небесное,— был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре. Как теперь, гляжу на десятка два крестьянских изб, разбросанных по высокому берегу реки, на его огромные кирпичные палаты, построенные, на диво всему Сердобскому уезду, в два этажа, со сводами и с такими толстыми стенами, что от них, как мячик, отскочило бы сорокавосьмифунтовое ядро.

Я не был еще знаком с Иваном Алексеевичем, когда приехал по делам в Сердобск. Имея рекомендательное письмо к городничему, я остановился у него в доме и тут-то в первый раз услышал о богатом помещике, отставном секунд-майоре Асанове. Не проходило дня, чтоб в сердобском высшем обществе не толковали о его странностях и причудах. Городничий, уездный судья, стряпчий — словом, все власти и первостатейные сановники города Сердобска относились об нем с весьма дурной стороны; одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не хо-

* Отрывок из манускрипта под названием: «Мое отдохновение, или Современные рассказы и были прошедших двух столетий».

дил к обедне и что в его доме нет ни одного образа. Правда, капитан-исправник всегда восставал против этой клеветы, но так как он один изо всего Сердобска водил хлеб-соль с Иваном Алексеевичем, то никто и не давал веры его словам. «Воля твоя, Дмитрий Иванович,— говаривал ему часто городничий,— воля твоя, а это что-нибудь недаром: кто не хочет жить с людьми, у того совесть не чиста. Добро б он был человек скупой — так нет! Посмотри, как сорит деньгами! Когда прошлого года был пожар в слободе и открыли подписку на погоревших мещан, так он один дал больше, чем все наше дворянское сословие. Ну, рассудите милостиво, господа, что он, для экономии, что ль, живет в этой хоперской деревне, в которой, чай, нет господской запашки и двадцати десятин во всех полях? Человек он богатый: за ним в одной Пензенской губернии с лишком тысяча душ. Вот хоть его Засурская волость: есть к чему руки приложить, десятин по пятнадцати на душу,— а угодьев-то сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми поставах — подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне — Пенза под боком. Конечно,— прибавлял обыкновенно городничий, поправляя с важностию свой галстух,— у нас и в Сердобске общество дворян прекрасное, но ведь Пенза — губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы,— словом, чего хочешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить — Пенза-городок Москвы уголок!»

Хотя сии блестящие похвалы губернскому городу Пензе казались мне всегда несколько преувеличенными, но, несмотря на это, я разделял сначала безусловно мнение городничего. В самом деле, что за охота богатому человеку жить затворником в бедной деревушке, верстах в тридцати от уездного города и, по крайней мере, в двадцати от самого ближайшего соседа, и жить в каком-то заколдованном доме,— так прозвала каменные палаты Ивана Алексеевича сестра городничего, девица зрелых лет, с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душою и сердцем отменно романтическим: одна она выписывала из Москвы все романы знаменитой Радклиф

и первая известила сердобских жителей о существовании госпожи Жанлис.

— Вы не можете себе представить,— говорила она мне однажды,— какой ужас наводит на всех этот старый дом, которому недостает только башен и подъемного моста, чтоб походить совершенно на Удольфский замок или Грасфильское аббатство. Если б вы знали, сколько рассказывают о нем чудных и страшных повестей. Говорят, что лет сто тому назад прежний помещик держал в нем разбойничью пристань, что глубокие погреба под этим домом завалены человеческими костями, что по ночам происходят в нем необычайные явления: слышен громкий стон, и хотя капитан-исправник уверяет, что будто бы это воет ветер по узким коридорам и переходам, которых понаделано в доме великое множество, но он говорит это потому, что живет в ладу с Асановым. Покойная моя мамушка рассказывала мне преужасную историю об этом доме; странно только, что я почти совсем ее забыла, а, кажется, это не так давно; правда, я была тогда еще совершенным ребенком и, как помню, так перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. В этом рассказе есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поезд; мамушка божилась мне, что это не сказка, а быль и что во всем здешнем уезде нет ни одного старика, который не знал бы эту повесть со всеми ее подробностями. Говорят также, что будто бы от времени до времени то же самое, что случилось некогда ночью в этом нечистом, заколдованном доме, повторяется и теперь, а особливо с тех пор, как нынешний помещик переехал в него жить.

— А разве до Ивана Алексеевича Асанова никто в нем не жил? — спросил я сорокалетнюю сестрицу городничего, которая так еще недавно была ребенком.

— Да, никто. Лет двадцать сряду все двери и окна наглухо в нем были заколочены.

«Ну, жаль, что Иван Алексеевич незнаком со мною»,— думал я, очень часто слушая все эти рассказы и толки. Стыдно признаться, а грех утаить, я всегда был смертельный охотник до страшных историй и не только верю, но даже не сомневаюсь в существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои могилы, так же как и огненных змеев, которые летают к деревенским вдовушкам и, рассыпаясь над кровлями изб, являются к ним в виде покойников, о коих они тоскуют. Я скорее посумнюсь, что Киев был столицею ве-

ликого князя Владимира, чем поверю, что в нем никогда не живали ведьмы, и, признаюсь, пиитический Днепр потерял бы для меня большую часть своей прелести, если бы я не верил, что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и поиграть при свете луны в его чистых струях, что они, как рассказывает один из наших поэтов:

То в восторге юной радости
Будят песнями брега;
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
На пучине серебристые.
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах — и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог...

Не могу описать, какое неизъяснимое наслаждение чувствую я всякий раз, когда слушаю повесть, от которой волосы на голове моей становятся дыбом, сердце замирает и мороз подирает по коже. Пусть себе господа ученые, эти холодные разыскатели истины, эти Фомы неверные, которые сомневаются даже в том, что лешие обходят прохожих и что можно одним словом изурочить человека, смеются над моим легковерием; я не променяю на их сухие математические выводы, на их замороженный здравый смысл мои детские, но игривые и теплые мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую пословицу, что «на охотника зверь бежит», во всю жизнь мою не удавалось мне видеть ничего чудесного, и даже все колдуны, с которыми я встречался, как будто на смех, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я наверное знаю, что многие, смотря в два зеркала, поставленные одно против другого, видят и бог весть что, а я смотрел однажды до тех пор, пока мне сделалось дурно и в глазах позеленело, а не видел ничего, кроме бесконечной перспективы и какого-то туманного пятна, которое, как открылось после, было не что иное, как простое черное пятно на зеркале. Уж я ли, кажется, не старался все испытывать! Года два тому назад ходил в Иванов день ночью в лес подкараулить, как цветет папоротник, но когда время стало подвигаться к полуночи, на меня напал такой страх, что я пустился бежать без оглядки и хотя слышал позади себя необычайный шум и свист, но не могу сказать наверное, нечистая ли сила это проказила или просто гудел ветер

по лесу. В другой раз, когда я жил еще в степной моей деревне, я решился идти в полночь на кладбище. «Авось,— думал я,— хоть один мертвец вылезет из своей могилы прогуляться по церковному погосту». И в самом деле, когда я подошел к кладбищу, то увидел между могил что-то похожее на мертвеца в белом саване. Ах, как забилось мое сердце от страха и удовольствия! Каким приятным холодом обдало меня с головы до ног, как подкосились подо мною колени! И теперь вспомнить не могу без восторга об этой ужасной и восхитительной минуте. Крестясь и творя молитву, я пустился бежать домой, бросился на мою постель и всю ночь то бредил, как в горячке, то дрожал, как в лихорадке. «Итак,— думал я, задыхаясь от радости,— этот безвестный мир существует в самом деле; мертвецы бродят по ночам около могил; души усопших посещают землю, и все то, что господа педанты называют суеверием, обманом, белой горячкою — есть истина». И что ж, любезные читатели, как вы думаете, чем все это кончилось? На другой день я стал рассказывать о сем приключении бурмистру моему Федоту; этот негодяй засмеялся и сказал мне:

— Вы напрасно изволили перепугаться, сударь, ведь это шатался по кладбищу староста Тихон, он болен горячкою и прошлую ночь выбежал из избы в то время, как все спали.

— Как! — вскричал я,— так это был не мертвец?

— И, батюшка барин,— отвечал Федот, скривя свою безобразную харю,— какие нынче мертвецы! Ведь в старину народ был глуп: всему верили, а теперь и малого ребенка не испугаешь этими бабьими сказками.

«Бабьими сказками!!» Вся кровь моя взволновалась, я затопал ногами, закричал — и если б этот вольнодумец Федот не ушел из моего кабинета, то непременно вцепился бы ему в бороду. Да и как было не взбеситься? Подумаешь, господи боже мой! добро бы в Петербурге или в Москве, а то и в деревнях уж стали умничать!

После всего сказанного мною читатель может себе представить, желал ли я познакомиться с Иваном Алексеевичем Асановым; но никто, даже сам капитан-исправник, не брался привезти меня к нему в деревню, и я начинал терять уж всю надежду, как вдруг одним утром, проходя базарную площадь, увидел, что кто-то едет в дорожной коляске, глядь поближе — старинный мой при-

ятель и сослуживец, Заруцкий. Мы вскрикнули оба в один голос, экипаж остановился, Заруцкий из него выскочил, и пошли расспросы:

— Откуда бог несет?

— В деревню, к дяде. А ты как здесь?

— По делам.

— Поедем вместе со мною. Я познакомлю тебя с дядюшкою, он старик предобрый.

— Нет, милый, не могу; мне надобно много еще хлопотать по моему делу.

— Поедем, братец, ведь это близехонько, верстах в двадцати отсюда, на Хопре...

— Верстах в двадцати!.. На Хопре?.. А как зовут твоего дядю?

— Иваном Алексеевичем...

— Асановым?

— Да.

— О! если так... едем, мой друг!

— Ты знаком с ним?

— Нет, но я так много о нем наслышался... Подожди! я сейчас заверну домой, возьму с собой узелок, прибегу назад, и катаем!

Как сказано, так и сделано — через четверть часа я сидел уж подле Заруцкого в венской его коляске, которая, покачиваясь на гибких рессорах, понеслась, как из лука стрела, по кочкам и колеям проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. Вокруг нас виды были довольно приятные: с левой стороны расстилались золотистые поля, на которых кое-где разбросаны были запоздалые копны сжатого хлеба; с правой тянулся густой лес, и от времени до времени вдали, сквозь широкие просеки, светлелись голубоватые воды живописного Хопра. Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое житье-бытье, про сельские хлопоты, хозяйство и, наконец, про пламенную любовь свою к какой-то деревенской соседке, молодой вдовушке, «которая,— говорил мой приятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку,— поклялась уморить меня с тоски и до тех пор не давать решительного ответа, пока она не износит полдюжины черных платьев из какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой год не могут износиться, и, верно, в огне не горят и в воде не то-

нут. Чтоб поразмыкать мое горе,— продолжал Заруцкий,— я вздумал съездить недельки на две погостить у моего дяди и очень рад, что встретился с тобою».

— Да рад ли будет этому твой дядя? — прервал я.— Мне весьма приятно с ним познакомиться, но, говорят, он такой нелюдим...

— Да, он неохотно заводит новые знакомства, а особливо с нашими уездными дворянами. Они такие чопорные, считаются визитами, а он человек старый, любит покой и больно тяжел на подъем. Ты — дело другое, ты человек заезжий, а сверх того — старинный приятель и сослуживец его племянника, которого он любит, как сына родного; да, правда, и я его очень люблю.

— Скажи, пожалуйста, что ему за радость жить в этой глуши?

— У него есть на то свои причины.

— А например?

— Это целый роман, мой друг. Прежде всего надобно тебе сказать, что во время оно дядя мой, Иван Алексеевич Асанов, был человек бедный; он не мог даже и мечтать о наследстве, которое досталось ему после; и в самом деле, мог ли он думать, что четверо двоюродных братьев, два племянника и три племянницы умрут в одну неделю от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву. Деревня, в которой живет теперь Иван Алексеевич, принадлежала некогда помещику Глинскому, скупому, злому и, если верить изустным преданиям, настоящему разбойнику. У этого Глинского была дочь, прекрасная лицом, еще прекраснее душою. Не знаю, где и когда мой дядя с нею встретился, как познакомился с ее отцом, только дело в том, что он влюбился по уши в Софью Павловну — так звали дочь Глинского,— а на беду, и она его полюбила. Однажды на отъезжем поле, рыская вместе с отцом своей любезной за зайцами, дядя мой решился открыть ему свою душу. Глинский взбеленился, осыпал его ругательствами, назвал нищим и объявил, что если он когда-нибудь близко подъедет к его деревне, то он выпустит на него целую стаю гончих и затравит, как красного зверя. Дядя мой уехал в армию, дрался так, что Суворов прозвал его чудо-богатырем, и, проколотый навылет штыком в сражении с Огинским при Столовичах, на диво всей армии, остался жив, выздоровел, узнал, что ему упало с неба богатое наследство, поскакал в Сердобск; но было уже поздно: Софья Павловна, зачахнув с горя, давно покоилась на

деревенском кладбище, а отец ее, спустя два месяца после ее смерти, сломил себе шею, травя волка. Дядя мой вышел в отставку, поклялся никогда не жениться, добился наконец, что ему продали эту деревню, и поселился в доме, где некогда жила его любезная. «Господь не допустил меня быть мужем Софьи Павловны. Его святая воля! Но если мне не суждено было жить с нею на земле, так по крайней мере в земле-то я буду лежать вместе с нею». Так говорит всегда мой дядя, и вот уже скоро десять лет, как он живет безвыездно в этой деревне.

— О! да твой дядя человек преинтересный! — сказал я.— Знаешь ли, мой друг, что если б он был помоложе, то я бы не советовал тебе рассказывать всем эту историю... в ней столько романического, что долго ли до беды: как раз найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наследник...

— Да, мой друг! но дай бог, чтоб я во всю жизнь мою не вступал в это наследство! И один раз похоронить отца родного тяжело, а дважды на веку остаться сиротою — не приведи господи! Но вот, кажется... так точно! версты три, не больше осталось. Видишь ли там вдали дубовую рощу?.. За нею тотчас господская усадьба; а вон выглядывает из-за вершин деревьев золоченый крест: это каменная церковь, построенная моим дядей над могилою Софьи Павловны.

— Ах, боже мой! — прервал я, поглядев с ужасом вперед,— неужели мы спустимся в эту пропасть?

— Постой! — закричал мой приятель,— в самом деле, лучше мы выйдем.

Коляска остановилась, и пока ямщик с слугою Заруцкого тормозили задние колеса, мы отправились потихоньку вперед. Поросший частым кустарником овраг, через который шла дорога, действительно походил на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Чем ниже мы сходили, тем выше и утесистее становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопромоинами дорога, идя сначала прямо, вдруг круто поворачивая налево и, огибая небольшой бугор, опускалась к мосту, перекинутому через проток. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полегоньку стала съезжать вниз, висела над нашими головами.

— Знаешь ли, мой друг,— сказал Заруцкий, указывая на бугор,— что этот холм, хотя и не насып-

ной, а может назваться курганом: он весь составлен из могил.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышениями, и кой-где видны еще были полусгнившие деревянные кресты.

— Неужели это деревенское кладбище твоего дяди? — спросил я.

— Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками.

— Разбойниками? — повторил я, невольно поглядев вокруг себя.

— Не пугайся,— продолжал мой приятель,— это было уже давно. В наше время и слуху нет о разбойниках, точно так же как о ведьмах, колдунах, мертвецах, домовых и всей этой адской сволочи, от которой в старину нашим предкам житья не было.

— Ну, это еще бог знает,— сказал я сквозь зубы,— на разбойников есть земская полиция...

— А на колдунов и мертвецов,— возразил мой приятель,— есть управа, которую зовут просвещением.

— Ох уж мне это просвещение! — прервал я почти с досадою.— Но дело не о том: как могли здесь придерживаться разбойники? Разве тут была когда-нибудь большая дорога? Ведь по проселочным грабить некого.

— Большая дорога отсюда в двух верстах. И вот что рассказывают старики об этом овраге: дедушка бывшего помещика деревни, в которую мы едем, держал у себя в дому разбойничью пристань. Это бы еще ничего, было время, что разбои, а особливо в наших пограничных губерниях, назывались удальством и молодечеством; но вот что было худо в дедушке покойного Глинского: говорят, что он был в дружбе с самим сатаною и, как знаменитый польский пан Твардовский, закабалил ему на веки веков свою душу. Разумеется, ему не было никакой нужды в деньгах: черт помогал ему находить клады и даже иногда шутки ради превращал для него кружки из репы и моркови в серебряные рублевики и золотые ефимки; но он любил для забавы, как на охоту, ездить на грабеж. Спуску никому не было: дворян и богатых купцов он залучал насильно к себе в гости, поил, кормил по целым суткам, а там бог весть что с ними было; только говорят, что кто из этих невольных гостей проезжал в одну околицу, тот уж никогда не выезжал в другую. С простыми людьми не церемонились: их резали на большой дороге и бросали в этот овраг.

Впоследствии добрые люди, собрав их кости, похоронили на этом бугре. А так как прошел слух, будто бы каждый год ночью, на родительскую субботу, все эти покойники встают из могил и справляют сами по себе поминки, то это место, которое слыло прежде *Волчьим оврагом,* прозвано теперь *Чертовым Беремищем.* Все это я рассказал тебе кой-как, а надобно послушать моего дядюшку: вот уж если он примется рассказывать эти народные сказки и предания, так есть чего послушать.

— Сказки! — повторил я с нетерпением, — почему же сказки? Ох вы, умницы! слушай вас, так ничему верить не станешь.

— Да неужели ты в самом деле веришь этим бредням?

— Эх, братец! да что мы знаем? Мы не видим далее своего носа, целый век играем в жмурки, а говорим утвердительно: «Это вздор! Это быть не может! Это противно здравому смыслу!» А что такое наш здравый смысл? Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после нам еще сделалось темнее. Нетрудно говорить: «Я не верю этому!» А прошу мне доказать, почему и я не должен верить тому, что кажется тебе невероятным? Нет, Заруцкий, я еще не знаю, кто более ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

— Знаешь ли, мой друг, — прервал Заруцкий, — что ты непременно понравишься моему дяде. Он так же, как ты, готов рассердиться, если его станут уверять, что души умерших не являются никогда живым, и расскажет тебе сейчас двадцать случаев, доказывающих противное. Но вот уж коляска наша въехала на гору. Не знаю, как ты, а я очень устал. Сядем!

Когда мы проехали дубовую рощу, то каменные палаты Ивана Алексеевича Асанова открылись нам во всем своем угрюмом величии. Они стояли посреди большого двора, заросшего крапивою. Главный их фасад, в тридцать узких окон, с широкими простенками, тянулся поперек всего двора; парадный подъезд с тяжелым навесом на четырех деревянных столбах был пристроен к середине дома, позади которого большой плодовый сад спускался по отлогому скату до самого Хопра; против самых ворот на широком лугу стояла вы-

сокая каланча с выкинутым флагом и огромными часами.

— Ого! — сказал Заруцкий, когда мы под громкий лай полдюжины датских и легавых собак въехали на двор,— да у дядюшки, видно, гости: дормез, бричка и, кажется — так точно! — щегольская тележка сердобского исправника. Тем лучше — нам будет весело.

Двое дюжих лакеев, не роскошно, но опрятно одетых, приняли нас из коляски. Мы вошли в обширные сени. Налево одни двери вели в переднюю, направо, другими, вероятно, входили некогда в девичью, но они были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моих читателей заметить это обстоятельство.) Пройдя бильярдную, столовую и две гостиные комнаты, из коих одна была оклеена китайскими обоями, мы встретили в дверях расписанной боскетом диванной хозяина дома.

— Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой друг! — закричал он, обнимая несколько раз сряду своего племянника.— Спасибо, что навестил старика, а я так было по тебе стосковался, что хоть нарочного отправлять.

— Рекомендую вам, дядюшка,— сказал Заруцкий, подводя меня к Ивану Алексеевичу,— искреннего приятеля. Мы с ним давно уже не видались, хотя были некогда неразлучными товарищами и в Москве в пансионе, и в Петербурге в казармах, и в танцевальном классе Меранвиля, и в походном балагане под неприятелем — словом, везде. Я давно с ним не видался и, повстречав его в Сердобске, решился захватить с собою и привезти к вам.

— Милости просим! — сказал Иван Алексеевич, протянув ласково ко мне свою руку.— Кто с моим Алексеем побратался на ратном поле, тот всегда будет у меня дорогим гостем. Милости просим!

Не помню, что я отвечал хозяину, а кажется, ничего. Я так был поражен его почтенною наружностию, что позабыл совершенно все употребляемые в сих случаях условные фразы и вежливые уверения, в которых почти всегда ни на волос нет правды. Представьте себе человека высокого роста, лет шестидесяти пяти, в форменном военном сюртуке времен Екатерины Второй; вообразите румяное лицо и черные с проседью волосы, высокий, покрытый морщинами лоб и ясные, исполненные веселости и радушия глаза, величественную осанку лихого полкового командира, которого сам Суворов прозвал чудо-богатырем, и кроткую простодушную улыбку,

не сходящую с приветливых уст, осененных парою густых усов, о которых, вероятно, в старину не раз толковали меж собой миловидные полячки. В жизнь мою я не видывал старика с такой привлекательной наружностию и, признаюсь, нимало бы не удивился, если б какая-нибудь красавица призадумалась, когда б ей дали на выбор, или быть его женою, или назвать его своим отцом.

— Не угодно ли ко мне в кабинет? — сказал он, — ты найдешь там старых знакомых, Алексей. Да прошу покорно не отставать, — продолжал он, обращаясь ко мне, — а не то как раз заплутаетесь. У меня в саду нет лабиринта, но зато в доме, как в траншеях, такие зигзаги и апроши, что и толку не доберешься.

В самом деле, мы выходили из комнаты в комнату, прошли двумя темными коридорами, то подымались несколько ступеней кверху, то спускались вниз и, наконец, пройдя мимо железных дверей кладовой, помещенной в круглой башне, которая, как говорится, ни к селу ни к городу, была прилеплена к левому углу дома, вошли еще в один коридор, в конце которого слышны были голоса разговаривающих.

— Тут была в старину девичья, — сказал Иван Алексеевич, подходя к полурастворенным дверям, — но так как я человек холостой, то и рассудил закласть в ней одни двери и сделать из нее мой кабинет: зимою эта комната всех теплее и суше. Милости просим!

Судя по величине и первобытному значению покоя, в который мы вошли, нетрудно было отгадать, что у прежнего помещика была большая дворня и что, вероятно, в ней женских душ было более мужских. Четыре окна, обращенные на задний двор, занимали одну из стен ее; на остальных были нарисованы сцены из жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянув на нее, я невольно вспомнил *маляра Ефрема,* о котором бессмертный певец Ермака сказал когда-то, что он имел чудесный дар и что кисть его

...всегда над смертными играла:
Архипа Сидором, Козьму Лукой писала.

На одной стене Суворов представлен был в лесу спящим на соломе, посреди казачьих биваков; у него вовсе не было шеи, но зато такие длинные ноги, что если бы он проснулся и встал, то, конечно, мог бы об-

локотиться на вершину толстого дуба, под тенью которого покоился. На противуположной стене тот же самый Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка. Он стоял, вытянувшись, как струнка, и оборотясь лицом к толпе поляков, с преогромными усами. Несколько французских офицеров, поджарых и тщедушных, изображены были с поникнутыми главами, а перед всей толпою комендант замка, щеголеватый Шуазье, распудренный и выгнутый зелом, отдавал победителю свою шпагу, с таким же точно сентиментальным видом, с каким театральный пастушок, став в четвертую позицию, подает букет розанов своей размалеванной пастушке. На третьей стене изображено было взятие Измаила; разумеется, все убитые были турки, а поле сражения усыпано чалмами, между которых не валялась ни одна гренадерская шапка. В том месте, где была заделана дверь, ведущая в сени, стоял шкап с библиотекою хозяина. В простенках меж окнами висели турецкие пистолеты, ятаганы, польские сабли и прочие домашние трофеи военных подвигов Ивана Алексеевича Асанова. В одном углу стоял пук черешневых чубуков с глиняными раззолоченными трубками и янтарными мундштуками; в другом, по обеим сторонам широкого камина, висело несколько охотничьих одинаких и двуствольных ружей, ягдташей, пороховых рожков и патронниц, а кругом всех стен устроены были спокойные диваны, обитые шерстяной турецкой материею.

Когда мы вошли в кабинет, четверо гостей, в числе которых был и сердобский исправник, трудились, в поте лица и наблюдая торжественное молчание, вокруг стола, на котором поставлен был сытный завтрак. После первых приветствий и дружеских восклицаний Заруцкий стал знакомить меня с гостями своего дяди. Первый, к которому он меня подвел, Антон Федорович Кольчугин, показался мне с первого взгляда стариком лет семидесяти; но когда я поразглядел его хорошенько, то уверился, что, несмотря на впалые его щеки, выдавшийся вперед подбородок и седые, как снег, усы, он моложе хозяина. Прагский золотой крест в петлице ясно доказывал, что он был некогда если не сослуживцем, то по крайней мере современником Ивана Алексеевича. Второй, Прохор Кондратьич Черемухин, человек лет сорока пяти, толстый, рябой, с широкими светло-русыми бакенбардами, с маленькими блестящими глазами и с такой смеющейся и веселой физиономиею,

что, глядя на него, и плакса Гераклит (если он только существовал в самом деле, а не был выдуман для антитезы и рифмы к Демокриту) едва ли бы удержался от смеха. С третьим гостем, исправником сердобским, я был уже знаком, но его не знают мои читатели, а посему я не излишним полагаю сказать и о нем несколько слов. Он был малый образованный, служил штаб-ротмистром в одном армейском гусарском полку, вышел за ранами в отставку и, выбранный дворянами, из отличного эскадронного командира сделался, как говорится, лихим капитан-исправником. Все помещики его любили, казенные крестьяне молились за него богу, а воры, плуты и пьяницы боялись как огня. Говорят (я повторяю то, что слышал), что будто бы он не брал даром и клока сена и не съедал курицы у мужика, не заплатя за нее по справочной цене, что заседатели его не таскали за бороду для своей забавы выборных и даже канцелярские служители нижнеземского суда пили на следствиях вино только тогда, когда им подносили его добровольно.

Познакомив моих читателей с обществом, в котором я провел несколько дней самым приятным образом, я должен сказать, что в первый день моего приезда в деревню Ивана Алексеевича погода начала портиться; к вечеру небеса нахмурились и полился не летний, крупный и спорый, дождь, но мелкий и дробный; он вскоре превратился в бесконечную осеннюю изморось, от которой и вас, любезные читатели, подчас брала тоска, а особливо если она захватывала вас среди полей, когда желтый лист валится с деревьев, а порывистый ветер гудит по лесу и завывает, как зловещий филин, в трубах вашего деревенского дома. Делать было нечего: нельзя было ни ходить с ружьем на охоту, ни кататься в лодке по Хопру; конечно, можно было ездить по *черностопу* за зайцами; но для этого надобно было страстно любить псовую охоту, а изо всего нашего общества один Заруцкий езжал иногда с борзыми, но и тот любил охотиться или по первозимью в хорошую порошу, или в ясный осенний день, в *узерку*; а ездить с утра до вечера с гончими в дождь и слякоть для того, чтобы затравить какого-нибудь несчастного *беляка*, казалось ему вовсе незабавным. Впрочем, нельзя сказать, чтоб мы были без всякого занятия: днем мы пили чай, завтракали, обедали, играли на бильярде и читали журналы. Иван Алексеевич выписывал не только «Петер-

бургские ведомости», но почти все периодические издания, которые в то время выходили в обеих столицах. Разумеется, мы охотнее всего читали московский «Вестник», прославленный первым своим издателем, но от нечего делать перелистывали и «Московского курьера», зевали над петербургским «Любителем словесности», трогались чувствительным слогом «Московского зрителя» и удивлялись разнообразию «Собеседника», который только что появился в свет с затейливым названием «Повествователя мыслей в вечернее время упражняющихся в своем кабинете писателей, рассказывающего повести, анекдоты, стихотворения, а *временем и критику*». Часу в седьмом после обеда мы обыкновенно сбирались в кабинет к хозяину, садились кругом пылающего камина и вплоть до самого ужина проводили время, разговаривая меж собою. Так как Иван Алексеевич почти всегда управлял общим разговором, то предметом оного были по большей части рассказы о необыкновенных случаях в жизни, о привидениях, дьявольском наваждении — словом, обо всем том, что не могло быть истолковано естественным образом. Внимание, с которым слушали все эти рассказы, ясно доказывало, что никто не сомневался в их истине. Один только Заруцкий улыбался иногда вовсе невпопад; но никто не замечал этого, и даже весельчак Черемухин, хотя потихоньку с ним перемигивался и шептал ему что-то на ухо, вслух божился, что верит без разбору всем страшным историям, потому, дескать, что его самого однажды давил целую ночь домовой.

Рассказы и повести, которые я слышал в последний вечер, проведенный мною у Ивана Алексеевича, показались мне столь любопытными, что я с величайшей точностию записал их в моем дорожном журнале. Боясь прослыть суевером, невеждою и человеком *отсталым*, я до сих пор не смел напечатать моих записок; но когда увидел, что с некоторого времени истории о колдунах и похождениях мертвецов сделались любимым чтением нашей публики, то решился наконец выдать их в свет. Не смею обещать моим читателям, что они прочтут их с удовольствием или хотя бы без скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моих рассказов. Да, почтенные читатели! решительно повторяю, что есть *русские истории*, которые несравненно более походят на сказки, чем эти бы́ли и предания, основанные на верных и неподлежащих никакому сомнению *фактах*.

Ветер бушевал по лесу, мелкий дождь как сквозь частое сито лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланче не пробило и шести часов, а на дворе уже было так темно, что хоть глаз выколи. Мы все собрались в кабинет. Хозяин, Кольчугин, исправник и я сидели вокруг пылающего камелька, а Заруцкий и Черемухин расположились преспокойно на широком диване и, куря молча свои трубки, наслаждались в полном смысле сим моральным и физическим бездействием, которое итальянцы называют: far niente *.

— Ну, погодка! — сказал наконец Кольчугин, прислушиваясь к вою ветра,— хоть кого тоска возьмет.

— И, полно, братец! — прервал Иван Алексеевич,— да это-то и весело. Что может быть приятнее, как сидеть в ненастный осенний вечер с хорошими приятелями против камелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенные окна, думать: «Вой себе, ветер, лейся, дождь! Бушуй, непогода! А мне и горюшки мало!» Что и говорить! умен тот был, кто первый вздумал строить дома.

— И делать в них камины,— прибавил исправник, подвигаясь к камельку.

— Не равен дом, господа,— сказал Кольчугин, вытряхивая свою пенковую трубку,— и не в такую погоду не усидишь в ином доме. Я сам однажды в сильную грозу и проливной дождик решился лучше провести ночь под открытым небом, чем в комнате, в которой было так же тепло и просторно, как в этом покое.

— А что? — спросил исправник,— видно, хозяева были тебе не очень рады?

— Ну, нет! один хозяин обошелся со мною довольно ласково, да от другого-то мне туго пришлось; хоть и он также хотел меня угощать, только угощенье-то его было мне вовсе не по сердцу!

— Вот что! — сказал Иван Алексеевич,— да это, видно, брат, целая история.

— Да, любезный, такая история,— продолжал Кольчугин, набивая снова свою трубку,— что у меня и теперь, лишь только вспомню об этом, так волос дыбом и становится.

— Что вы это говорите! — вскричал Заруцкий.— Антон Федорович! помилуйте! Вы человек военный, служили с Суворовым, а признаетесь, что чего-то струсили.

---

* Ничегонеделанье *(ит.)*.

— Да, батюшка, не прогневайтесь! Посмотрели бы мы вашей удали. Нет, Алексей Михайлович! Ведь это нечто другое; поставь меня хоть теперь против неприятельской батареи, видит бог, не струшу! А вот как где замешается нечистая сила, так уж тут, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь: сатана не пушка, на него не полезешь.

— Ого! — сказал Черемухин, перемигнувшись с Заруцким,— так в вашей истории черти водятся?

— Смейтесь, батюшка, смейтесь! — продолжал Кольчугин.— Я знаю, что человек вы начитанный, ничему не верите...

— Кто? я? — прервал Черемухин.— Что вы, батюшка Антон Федорович, перекреститесь!

— Добро, добро! прикидывайтесь! Вот мы так люди неученые; чему верили отцы наши, деды, тому и мы верим.

— Да как же, братец,— сказал хозяин,— ты мне никогда об этом не рассказывал?

— А так, к слову не пришлось. Пожалуй, теперь расскажу. Дай-ка, батюшка Иван Алексеевич, огоньку!.. Спасибо, любезный!

Все придвинулись поближе к рассказчику, и даже Заруцкий с Черемухиным встали с дивана и уселись подле на стульях. Антон Федорович Кольчугин раскурил трубку, затянулся, выпустил из-под своих седых усов целую тучу табачного дыму и начал:

ПАН ТВАРДОВСКИЙ

— Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка, который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван,— промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета.— Ну, да дело не о том. Хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уж начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял с своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Тиницем и Ландскроном. Астраханский гренадерский полк, в котором я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский хлебосол. Почти все штаб- и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были

деньги, тот шел к нему прямо, как в Опекунский совет. Но вот что было худо: наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда, да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси!

— Так что ж,— прервал Заруцкий,— тем хуже для мужа, а офицерам-то какое до этого дело?

— Какое дело! — повторил Кольчугин.— Эх, сударь! время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший батальонный командир; а у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница, а если она бойка да хоть мало-мальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. То-то и есть, батюшка! нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная... а удаль-то какая... голосина какой!.. ах ты господи боже мой!.. что и говорить: город-барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала: мы в поход — и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове и хоть могла часто видеться с своим мужем, но решилась, наконец, совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу,— да ведь делать-то нечего — хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где, бывало, мы все бражничали с нашим командиром, сделали спальню и поставили широкую кровать с розовым атласным пологом. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал барынь, а особливо, когда они жили в лагере и мешались не в свои дела, да он был еще тогда только что генерал-майором, связей никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, похмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспомнить не могу. Экой проказник, подумаешь! Умен был, дай бог ему царство небесное! Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу; по второй — строиться перед лагерем; по третьей — снимать

палатки, а по четвертой — выступать. Он не любил, чтоб солдаты у него дремали, и потому частехонько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками, пошутит с офицерами, побалагурит с солдатами, да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясная, вдруг однажды после знойного дня, ночью, часу в одиннадцатом, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром и пошла такая потеха, что мы света божьего невзвидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома и, чтоб не так была видна ей молния, забралась на постель и задернулась пологом, однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтоб идти домой,— глядь!.. эге! сигнальная ракета. Я назад, докладываю полковнику. «Как? — закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась в мои слова.— Да что, ваш полоумный генерал вовсе, что ль, рехнулся? В такую бурю тревожить весь лагерь!» — «Успокойся, Варенька,— сказал полковник,— ведь это фальшивая тревога, может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь,— прибавил он шепотом, обращаясь ко мне,— кто его знает! да чтоб люди были готовы». Я побежал исполнять его приказания и вот гляжу, минут через десять, зашипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут пять. Чу! третья! вот те раз... Суворов шутить любил, да только не службою, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипело все по лагерю, в полмига веревки прочь, колья вон и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге к Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время... вспомнить не могу!.. То-то было смеху-то!.. Представьте себе, ночью в чистом поле, под открытым небом — двуспальная кровать с розовым атласным пологом. А дождь-то, дождь — так ливмя и льет! Ну! присмирела наша строгая командирша! Господи боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль девалась! Вот отвезли ее кой-как назад в Краков, а корпус, отойдя версты две, остановил-

ся опять лагерем; и я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как взбеленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал к ней своего адъютанта узнать о здоровье.

— Ай да батюшка Александр Васильевич! — вскричал с громким хохотом хозяин,— что и говорить, молодец!

— Да, это очень забавно,— сказал Черемухин,— только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане...

— А жена-то полковника? — прервал Заруцкий.

— Да это другое дело; я говорю о нечистой силе.

— Постойте, батюшка,— продолжал Кольчугин,— дойдет и до этого дело. Дня через два, как полковница совсем уж обсохла, пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в Кракове остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вестимо дело, кому хлопотать, как не адъютанту; вот я и отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ландскрону и Тиницу. Выбрать было нелегко: наша причудливая командирша хотела и большой дом, и обширный сад, и чтоб никого не было живущих, и то и се. Целый день я проездил по дачам; измучил своего куцего коня, да и горский жеребец под казаком, который ездил за мною, насилу уж ноги волочил. Мы на одной мызе позавтракали, на другой пообедали, и когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проехали верст пять. На дворе становилось все темнее и темнее, вдали сверкала молния, а над нами так затучило, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащились вперед, но вдруг дорога по лесу как будто б сдвинулась, начало нас похлестывать сучьями, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело что спотыкались. «Ох, плохо, ваше благородие,— пробормотал мой казак,— никак мы заплутались».

— Видно, что так, Ермилов,— сказал я, приподымая на поводу моего куцего, который в третий уже раз падал на оба колена.

— Вот и дождик накрапывает,— продолжал казак,— кабы бог помог нам до грозы наткнуться на какое-нибудь жилье... Постойте-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака.

В самом деле, недалеко от нас послышался громкий лай; мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось и мелькал огонек.

— Кажись, это панская мыза,— прошептал Ермилов,— ну, слава тебе, господи! нашли приют.

— Постой-ка, братец,— сказал я,— чтоб нам не заплатить дорого за ночлег: ведь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польские-то паны не больно нас жалуют, хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье... долго ли до греха! Уходят нас, да и концы в воду.

— А что? чего доброго, ваше благородие,— прервал казак, почесывая в голове,— ведь нас только двое... Да куда же нам деваться?

— Погоди, Ермилов,— сказал я,— надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что прислан квартирьером занять эту мызу для полковой квартиры и что завтра чем свет придет сюда первая рота нашего полка.

— И впрямь, ваше благородие,— подхватил казак,— пугнемте-ка их постоем, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали и что завтра нагрянет к ним целая рота гренадер, так уж, верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть.

Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, позади которого, среди широкого двора, стоял каменный дом в два этажа, с круглыми башнями по углам. В одном углу светился огонек; ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме, все было тихо, как в глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. Ворота были не заперты, мы подъехали к дому, я слез с коня, вошел в сени... никого. Прямо передо мной лестница вверх. Я начал по ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что, казалось, можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на лестницу, я приостановился — все тихо. «Кой черт,— подумал я,— неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки?» Проведя рукою по стене, я ощупал дверь, толкнул, она растворилась; вхожу — опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. «Вот что! эта часть дома не достроена, но где же светился огонек? кажется, левее». Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены — еще двери; отворил. Ну! попал наконец на жилые покои! В небольшой комнатке, слабо освещенной сальным огарком, двое слуг играли в карты, а тре-

тий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внятный говор, как будто бы от многих людей, с жаром между собой разговаривающих. Но лишь только один из игравших в карты слуг, увидя меня, ушел во внутренние комнаты, то вдруг все утихло.

— Как зовут эту мызу? — спросил я у слуги, который остался в передней.

— Эту мызу? — сказал он, глядя на меня так нахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос.

— Ее зовут Бьялый Фолварк,— отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза.

— А как зовут хозяина?.. Да отвечай же, животное, когда тебя спрашивают! — продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе.

Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал:

— Моего пана зовут — Ян Дубицкий... Гей, Казимир!

— Ну, так и есть! — сказал я.— Насилу же мы отыскали вашу мызу. Веди меня к хозяину.

— Почекай *, пан! гей, Казимир!

Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и, увидя перед собой русского офицера, закричал: «Цо то есть?.. Москаль!»

— Сойди-ка, брат, вниз,— сказал я, стараясь казаться спокойным,— там стоит казак...

— Казак,— вскричал полусонный лакей,— один казак?

— Покамест один, а скоро будет много. Возьми у него лошадей, отведи их в конюшню, а ему вели взойти сюда.

Слуга не торопился исполнить мое приказание; он поглядывал как шальной то на меня, то на своего товарища, а не трогался с места.

— Ну, что ж ты глаза-то выпучил, дурень,— закричал я повелительным голосом,— иль не слышишь? пошел! Да смотри, чтоб лошади были сыты!

Слуга, пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который ходил обо мне докладывать, растворив дверь, пригласил меня в гостиную. Пройдя небольшую столовую, я вошел в комнату, до-

---

* Подожди *(пол.)*.

вольно опрятно убранную и освещенную двумя восковыми свечами. В одном углу приставлено было к стене несколько сабель, и с полдюжины *конфедераток* валялось по стульям и окнам комнаты. Хозяин, человек лет пятидесяти, с предлинными усами, с подбритой головой, в синем кунтуше и желтых сапожках, принял меня со всею важностию польского магната. Развалясь небрежно на канапе, он едва кивнул мне головою и показал молча на табуретку, которая стояла от него шагах в пяти. Ах, черт возьми! Вся кровь во мне закипела; я позабыл, что положение мое было вовсе незавидное; в эту минуту я думал только о том, что имею честь носить русский мундир и служить в Астраханском гренадерском полку капитаном. Не отвечая на его обидный поклон, я оттолкнул ногою табуретку, уселся подле него на канапе и, вытащив из кармана кисет с табаком, принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращение смутило несколько хозяина; помолчав несколько времени, он спросил довольно вежливо, откуда я еду.

— Из лагеря,— отвечал я, продолжая набивать мою трубку.

— И верно, пан... пан поручик...

— Капитан,— прервал я, кинув гордый взгляд на хозяина.

— Препрашу!.. * верно, пан капитан заплутался в этом лесу?

— Нет! я прямо сюда ехал.

— Сюда? — повторил хозяин с приметным беспокойством.

— Да,— продолжал я, раскуривая спокойно мою трубку,— ведь эту мызу зовут Бьялый Фольварк?

— Так.

— А вас паном Дубицким.

— Так есть.

— Я прислан сюда квартирьером; у вас назначена полковая квартира Астраханского гренадерского полка.

— Полковая квартира! — вскричал пан, спрыгнув с канапе.

— Да, завтра чем свет, а может быть, и сегодня ночью, придет сюда первая рота нашего полка. Да садитесь, пан Дубицкий!.. Прошу покорно!

* Извините!.. *(пол.)*

Тут взглянул я на моего хозяина: вытянувшись в струнку, он стоял передо мной как лист перед травой, и на лице его происходили такие эволюции, что я чуть было не лопнул со смеху: огромные усы шевелились, глаза прыгали из стороны в сторону, а хохол на голове стоял почти дыбом.

— Да взмилуйся, пан капитан,— завопил он наконец,— куда девать мне целую роту?

— Найдем для всех место.

— Но рассудите сами...

— Эх, пан Дубицкий! — прервал я, развязывая шарф и снимая мою саблю,— военные люди не рассуждают; делай то, что приказано, вот и все тут.

— Иéзус Мария! — продолжал хозяин,— поместить целую роту!.. Да яким же способом?.. Я сам с больной моей женой живу только в трех комнатах.

— Полно, так ли? — сказал я.— Дом-то, кажется, у вас велик.

— Як пана бога кохам! * Ну мало ли мыз и лучше и просторнее моей? И кому в голову пришло...

— А вот,— прервал я,— пан Дубицкий, как мы выпьем с вами по рюмке венгерского, так я скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу.

— За-раз, пан, за-раз! ** Эй, хлопец!

— Не беспокойтесь! — сказал я, подходя к столу, на котором стояли две бутылки вина и несколько порожних и налитых рюмок,— с нас будет и этого. До вас — пана!

Хозяин приметным образом смешался, и когда вошел слуга, то он, пошептав ему что-то на ухо, сказал, обращаясь ко мне:

— В самом деле, а я было вовсе забыл, что пробовал сейчас с моим экономом это вино, которое вчера купил в Кракове. Ну, что вы о нем скажете?

— Славное вино! Настоящее венгерское! Ну, пан Дубицкий,— продолжал я, выпив еще рюмку,— теперь я вам скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу. Полковая квартира простоит у вас день, много два; но наша полковница останется у вас жить, и надолго ли — этого сказать вам не могу. Ей в Кракове так много наговорили хорошего об этой мызе, что она хочет непременно у вас погостить.

---

* Боже мой! *(пол.)*

** сейчас *(пол.)*

— Барзо дзинкую за гонор! * — сказал хозяин, — но я желал бы знать, кто расхвалил вашей полковнице Бьялый Фолварк? Уж верно, злодеи мои: пан Маршалок, пан Замборский, пан Кланович... Нех их вшисцы, дьябли везмо! **

— А что ж? Мне кажется, они говорили правду.

— Да будь же ласков! взмилуйся, пан капитан! — вскричал отчаянным голосом хозяин. — Где будет жить ваша полковница? Во всем верхнем этаже отделаны только три комнаты, в которых я сам кое-как помещаюсь. Конечно, внизу покоев довольно, но я не знаю, можно ли будет и вам в них ночевать.

— А почему же нет?

— Эх, мось пане добродзею! *** То карабоска есть; дали бук, так! Я и сам, лишь только жене моей будет получше, перееду в Краков, и, уж верно, этот дом никогда не будет достроен.

— Но отчего же? — спросил я с невольным любопытством.

— О, пан капитан! вы человек военный, так, может статься, мне не поверите.

— Да что такое?

— Слыхали ли вы когда-нибудь о пане Твардовском?

— О пане Твардовском? — повторил я и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о храбром витязе, Алеше Поповиче, где между прочим говорится и о польском колдуне пане Твардовском, с которым русский богатырь провозился целую ночь. — А, знаю, знаю! — сказал я. — Этого пана Твердовского, или Твардовского, утащили черти?

— Не только утащили, — прервал хозяин, — а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого видны были кровавые пятна.

— Собаке собачья и смерть, — сказал я, — да что ж общего между вашим домом и этим проклятым колдуном?

— А вот что, мось пане добродзею, мой дом построен на самом том месте, где некогда стоял замок Твардовского.

* Благодарю за честь! *(пол.)*

** Чтоб их черти взяли! *(пол.)*

*** милостивый государь *(пол.)*.

— Неужели? — вскричал я, поглядев невольно вокруг себя.

— Дали бук, так! — продолжал хозяин,— а что всего хуже, так это то, что весь нижний этаж моего дома построен из развалин старого замка.

— Вот что,— прошептал я сквозь зубы,— да ведь, впрочем,— прибавил я,— это было уже давно?

— Конечно давно, пан капитан, да от этого мне не легче. Каждую пятницу около полуночи в нижнем этаже моего дома подымается такая возня, что стены трясутся...

— Каждую пятницу?

— Да. Говорят, что в этот самый день черти продернули пана Твардовского сквозь стену и утащили к себе в преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда целую ночь. Все окна осветятся, начнется ужасный вой, потом сделается опять темно, а там снова разольется по всему нижнему этажу такой свет, что можно снаружи видеть все, что делается внутри.

— А что ж там делается? — спросил я, стараясь казаться равнодушным.

— Однажды только,— отвечал хозяин,— мой прежний эконом решился заглянуть туда с надворья, да, видно, увидел такие страсти, что у него язык отнялся, а когда он стал опять говорить, так ничего нельзя было понять из его слов.

— Отчего же?

— Оттого что он был в жестокой горячке.

— Ну, а когда выздоровел?

— Да он не выздоровел, а на третий день умер.

— Вот что! — повторил я опять сквозь зубы, и что-то похожее на лихорадочную дрожь пробежало по моим членам.— Но ведь вы говорите,— промолвил я, промолчав несколько времени,— что это бывает только по пятницам.

— Так, мось пане добродзею! Да ведь сегодня пятница!

— В самом деле!.. И у вас в верхнем этаже нет ни одной свободной комнаты?

— Дали бук, нет! кроме спальни моей жены, этой гостиной, где живут ее резидентки, и столовой, где сплю я, нет ни одного жилого покоя. Но если,— прибавил с насмешливой улыбкой поляк,— пан капитан не боится...

Если я боюсь?.. боюсь!.. И это говорит польский пан

русскому офицеру!.. Ух, батюшки! так меня варом и обдало! Мне, капитану Астраханского гренадерского полка, испугаться колдуна, и добро бы еще русского!.. Ах, черт возьми! Да если б сам сатана в польском кунтуше явился передо мною, так я и тогда бы скорее умер, чем на вершок от него попятился.

— Извините, пан Дубицкий,— сказал я, вставая,— я не боюсь ни пана Твардовского, ни пана черта, ни живых, ни мертвых и ночую сегодня в вашем нижнем этаже.

— Как угодно! по крайней мере, я вас предупредил, и если что-нибудь случится...

— Не беспокойтесь! и у меня, и у моего казака есть по паре пистолетов и по сабле, так живых мертвецов мы не боимся, а с нечистой силой справиться нетрудно. Не погневайтесь! Ведь мы не по-латыни читаем наши молитвы! Прикажите мне показать мою комнату.

— Зараз, пан! Да не угодно ли вам чего покушать?

— Благодарю! Я не ужинаю, а, если позволите, возьму с собою эту бутылку венгерского и разопью ее за упокой души вашего Твардовского, только не советую ему мешать мне спать: мы, русские, незваных гостей не любим.

Хозяин проводил меня до передней, в которой, к удивлению моему, я нашел казака в большом ладу с людьми Дубицкого: он потягивал с ними предружески горелку и, судя по двум полуштофам, из которых один уж был пуст, а в другом осталось вино только на донышке, нетрудно было догадаться, что они порядком угостили Ермилова; я еще более уверился в этом, когда он, вскочив со скамьи, начал хвататься за стену, чтоб не повалиться мне в ноги. «Ну, плохой же будет у меня товарищ!» — подумал я, но делать было нечего. Один слуга пошел вперед со свечой, а двое повели с лестницы казака, который, несмотря на мое присутствие, беспрестанно лобызался с своими провожатыми, благодаря их за дружбу и угощение.

Когда мы спустились с лестницы, слуга, который шел впереди, отпер огромным ключом толстые двери, и мы вошли в большую комнату со сводами. Я нехотя заметил, что провожатые мои робко посматривали во все стороны и с приметным беспокойством прислушивались к шелесту собственных шагов своих; он раздавался под сводами обширных комнат, сырых и мрачных, как церковные подземные склепы; недоставало только

одних гробов, чтоб довершить это сходство. Мы вошли, наконец, в одну угольную комнату, которая более других походила на жилой покой. Множество фамильных портретов по стенам, дюжины две стульев, обитых черной кожею, канапе, кровать с шелковым пологом, большие стенные часы и дубовый стол, на который слуга поставил свечу, а я — бутылку венгерского, составляли все убранство моей опочивальни. Слуги, пожелав мне спокойной ночи, вышли вон.

— Не стыдно ли тебе, Ермилов,— сказал я казаку, который, прислонясь к стене, старался как можно бодрее стоять передо мною,— ну, выпил бы стакан-другой, а то посмотри, как натянулся!

— Никак нет, ваше благородие! — пробормотал казак,— прикажите, по одной дощечке пройду.

— Молчи, скотина!

— Слушаю, ваше благородие!

— Где мои пистолеты?

— В чушках, ваше благородие.

— И ты оставил их там, на конюшне?

— Ничего, ваше благородие! народ здесь честный, все будет цело.

— Подай мне свои!

Казак вынул из-за пояса свои пистолеты и, подавая мне, сказал:

— Да извольте осторожнее, они заряжены пулями. Знатные пистолеты! уж здешние люди ими любовались, любовались!..

— Хороши! пошел, ложись вон на это канапе! да постарайся выспаться проворнее, пьяница!

Казак, пробираясь вдоль стены, дотащился до канапе, прилег и в ту же минуту захрапел, а я взял свечу и прежде всего осмотрел двери моей комнаты: они запирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мне очень не понравилось, но делать было нечего. Притворив как можно плотнее двери, я взглянул мимоходом на почерневшие от времени портреты, которыми увешаны были все стены. Во всю жизнь мою я не видывал такого подбора зверских и отвратительных лиц. Бритые головы с хохлами, отвислые подбородки, нахмуренные брови, усы, как у сибирских котов,— ну, словом, что портрет, то рожа, и одна другой отвратительнее. «Ай да красавцы,— подумал я.— Ну, если домовые, которые изволят здесь пошаливать, не красивее их, так признаюсь!..» Более всех

поразил меня портрет какого-то святочного пугала с золотой цепью на шее, в черном балахоне и в высокой четырехсторонней шапке. Его сухое и бледное лицо, зачесанные книзу усы и выглядывающие из-под навислых бровей косые глаза были так безобразны, что я в жизнь мою ничего гаже не видывал. Внизу на золоченой раме было написано имя пана Твардовского. «Так вот он! — вскричал я невольно,— ну, хорош, голубчик! И он же приходит с того света живых людей пугать! Ах ты, чертова чучела! — примолвил я, плюнув на портрет,— да небойсь, меня не испугаешь, еретик проклятый!» Не знаю почему, но я не чувствовал в себе никакой робости, мне казалось, что в Польше и черти должны бояться русского офицера. А притом рассказ моего хозяина хотя и произвел на меня некоторое впечатление, но я знал, что поляки любят при случае отпустить красное словцо и сделать из мухи слона. «Впрочем,— подумал я, принимаясь за бутылку венгерского,— если и в самом деле нечистая сила проказит в этом доме, так что ж? Пошумят, пошумят, да тем дело и кончится. Хорошо демону шутить с еретиком, а ведь я православный!» Рассуждая таким образом, я скинул верхнее платье, положил подле себя саблю и пистолеты, сотворил молитву, перекрестился и, хлебнув еще токайского, улегся на постель. Свет от воскового огарка, который я не погасил, падал прямо на противоположную стену и хотя слабо, но вполне освещал несколько портретов. Несмотря на то что я вовсе не трусил, ожидание чего-то необыкновенного не давало мне сомкнуть глаз. По временам мне казалось, что все эти портреты как будто бы одушевлялись, что один моргал глазами, у другого шевелился ус, третий кивал мне головою; и хотя я понимал, что это происходило оттого, что у меня начало уже рябить в глазах, а, несмотря на это, заснуть не мог. На дворе бушевала погода, выл ветер, дождь лил как из ведра, но подле меня и по комнатам все было тихо и спокойно. «Уж не подшутил ли надо мною хозяин,— подумал я.— Чего доброго! Эти поляки любят позабавиться над нашим братом, русским офицером. Вестимо дело! когда сила не берет, так хоть чем-нибудь душу отвести. Чай, теперь думает: «Как не поспит всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское-то выйдет ему соком!» Ан нет, брешешь, мось пане добродзею,— засну!» Я опустил закинутый полог и принялся думать о старине, о матушке-Москве белокаменной, о Пресненских прудах,

о красном домике с зелеными ставнями, о моей Авдотье Михайловне, с которою я был тогда помолвлен, о том о сем — и вот мало-помалу меня стало затуманивать, одолела дремота, и я заснул. В то самое время, как мне снилось, что я прогуливаюсь с моей невестою по Девичьему полю, как будто бы толкнули меня под бок — я проснулся. Ба, ба, ба! Что такое? Кажется, в соседнем покое светло? Отдернул полог, гляжу — точно!.. Не размышляя долго, я вскочил с постели, взял в руку пистолет и, подойдя на цыпочках к дверям, порастворил одну половинку. Ну, это еще не очень страшно: посреди комнаты стоит большой стол, на столе огромное блюдо, накрытое чем-то белым, а кругом тридцать стульев. «Посмотрим,— подумал я,— кто это здесь собрался ужинать?» Не прошло пяти минут, как вдруг вдали, как будто бы за версту, послышалось заунывное пение. Вот ближе, ближе — эге! да это никак поют за упокой: напев точно погребальный, только слов не слышно. Чу! все замолкло — и вот опять, да уж близехонько, как заревут!.. Господи боже мой! Кто в лес, кто по дрова! И вопят как над могилою, и насвистывают плясовые песни — а содом-то какой! Шум, гам!.. Вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнулись настежь, и полезли в них... да все-то в саванах и в белых колпаках с наличниками, ну ни дать ни взять как висельники! Они входили попарно, а позади всех четверо таких же пугал несли на носилках мертвеца; и лишь только эти последние перешагнули через порог, как вдруг все опять завыли, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, которой был покрыт. Глядь! — точь-в-точь как этот портрет в черном платье: в такой же четырехсторонней шапке, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти. Ахти! так и есть!.. Это колдун — пан Твардовский!.. Ну, господа, что греха таить! — дрогнуло во мне ретивое! Меж тем вся эта сволочь разместилась по комнате: одни стали рядышком вдоль стены, другие уселись за столом, сам мертвец расположился на первом месте, только против него один стул остался порожний; и вот, гляжу, колдун манит меня пальцем. «Что делать? — подумал я,— идти — худо, не идти — стыдно, неравно еще эти польские черти подумают, что я их трушу! так и быть! смелым бог владеет — пойду!»

Не выпуская из рук пистолета, я подошел к столу: колдун указал мне молча на порожний стул. «Вот что!

так, видно, я был в счету! Добро, добро! посмотрим, что будет». Я сел. Хотя от времени до времени меня подирал мороз по коже, но я все еще не терял духа; к тому ж все эти святочные пугала сидели и стояли очень смирно; можно было услышать, как муха пролетит, и даже сам колдун, выпучив свои оловянные глаза, сидел так чинно и неподвижно, как набитая чучела. Прошло минут десять, все тихо: черти молчат, колдун таращит глаза, а я посматриваю на всю честную компанию и жду, чем дело кончится. Вот стенные часы в моей спальне зашипели, с треском завертелись колеса, и колокольчик зазвенел: раз, два, три... Чу! полночь. Еще двенадцатый звонок не отгудел, как вдруг колдун зашевелил усами и кивнул головой; один из его собеседников встал, протянул длинную костяную руку, скорчил свои крючковатые пальцы и, ухватив за самую середину белую ширинку, которою покрыто было блюдо, поднял ее кверху... Ух, батюшки! — и теперь не могу без страха вспомнить. Гляжу: на блюде лежит человеческая голова — да еще какая!.. Ах ты господи боже мой!.. Раздутые щеки, нос — два мои кулака, рот до ушей, глаза по ложке... Ну!!! Екнуло во мне сердечко. Эко блюдо изготовили! «Ешь!» — заревел охриплым голосом колдун. «Ешь!» — повторила хором вся нечистая сила. Ой, ой, ой! Плохо дело! Хочу встать — ноги подгибаются; хочу творить молитву — язык не шевелится. А черти и колдун вот так и пялят на меня глазами! Наконец я кое-как промолвил: «Чур меня, чур! да воскреснет бог!» И что ж! голова зашевелилась, начала дразнить меня языком и защелкала зубами. Ахти! и молитва не берет! худо! Не помню сам, как мне пришло в голову, от страху, что ль, только я поднял руку с пистолетом, почти упер в эту чертову башку, взвел курок... бац!.. Не тут-то было!.. Все черти захохотали, а голова раскрыла огромную пасть и, словно из бочки, как грянет басом польскую мазурку. Ну!.. Руки у меня опустились, в глазах запестрело, все вокруг пошло ходуном, в углах поднялся звон, стол запрыгал, черти завертелись как волчки, и я упал без памяти на пол.

Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, но как очнулся, так еще было темно. На дворе ревела гроза, но в комнатах опять все затихло. Стола нет, свечей также, только в спальне чуть-чуть теплился догорающий огарок. Не скоро я образумился; да уж зато лишь только вспомнил, что со мною было, то откуда прыть взя-

лась: мигом оделся, растолкал Ермилова, потащил его за собою в конюшню, разбудил панских конюхов и через полчаса ехал уж опять по лесу. К свету мы добрались до лагеря, и, явясь к моему полковнику, я так его перепугал, что он тот же час послал за полковым лекарем: на мне лица не было! Мартын Адамыч пощупал мой пульс, объявил, что у меня жестокая горячка, прописал лекарство; я его не принял, проспал целые сутки и через два дня отправился опять искать дачи для нашей полковницы.

— И с тех пор вы никогда не встречались с паном Дубицким? — спросил Заруцкий.

— Нет, Алексей Михалыч, а слышал только, что у него на даче, перед самым концом кампании, захватили целую компанию конфедератов и что после небольшой драки этих господ с одним из наших летучих отрядов казаки, взяв хозяина и многих из его товарищей в плен, сожгли и разорили до основания Бьялый Фолварк.

— Так вы думаете, Антон Федорович,— прервал с улыбкою Черемухин,— уж верно, в числе этих пленных конфедератов было несколько бесов, а может быть, и сам колдун Твардовский попался в руки к казакам?

— Вот уж этого, батюшка, не знаю! — отвечал хладнокровно Кольчугин, набивая свою трубку.

— То есть, Прохор Кондратьич,— сказал хозяин,— ты хочешь намекнуть, что эту ночную комедию сыграли с нашим приятелем пан Дубицкий и его гости для того, чтобы отделаться от постоя,— не правда ли?

— Что вы, что вы! — вскричал Черемухин,— да это мне и в голову не приходило. Уж я вам докладывал, что я всему на свете верю. Если б это проказили поляки, так голова бы не запела басом, когда в нее выстрелил Антон Федорович из пистолета. Правда, у пьяного казака не трудно было разрядить пистолеты; но ведь одна догадка не доказательство, и, по-моему, всего вернее, что тут замешалась нечистая сила.

— Ты забавляешься, любезный,— прервал Заруцкий,— а я так скажу вам, почтенный Антон Федорович, без всяких обиняков, что вас одурачили поляки: им нужно было как-нибудь избавиться от постоя. А чтоб одеться в маскерадные платья, просунуть голову сквозь прорезанные стол и блюдо и разрядить пистолеты пьяного казака, так — воля ваша — на это не много надобно хит-

рости. Знаете ли что? я, на вашем месте, сам бы порядком над ними позабавился. Вам стоило только притвориться, что вы хотите отведать блюда, которым вас потчуют, и если б вы одной рукой схватили за нос эту жареную голову, а в другую взяли бы столовый нож, так я вас уверяю, она не запела бы басом мазурку, а разве протанцевала бы ее на своем блюде. Эх, Антон Федорович! так ли еще обманывают честных людей, когда это надобно. Вот и со мною был однажды случай, который хоть кого бы свел с ума...

— С тобою,— прервал с любопытством хозяин,— когда это?

— Лет семь тому назад, когда я носил еще гусарский мундир и был с моим полком в Италии.

— С Суворовым?

— Да, дядюшка. Если хотите, я расскажу вам об этом. Слушайте!

БЕЛОЕ ПРИВИДЕНИЕ

— В сражении при Нови, где русские и французские войска под начальством Суворова разбили наголову французов, я находился с моим эскадроном при отряде, которым командовал любимец Суворова, генерал Милорадович. В ту самую минуту, как он повел вперед свою колонну, чтоб атаковать центр неприятельской армии, убило подо мною ядром лошадь, и я получил такую сильную контузию, что несколько часов сряду пролежал без памяти. После сражения меня отправили сначала в небольшой городок Акви, а потом перевезли в Турин, где я пролежал более двух недель в постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски и мог изредка беседовать с моим хозяином, но, несмотря на это, умирал от скуки и тоски. Когда мне сделалось легче и я стал прохаживаться по моей комнате, то мне посоветовали лечиться за городом. Это было в конце августа месяца, жары стояли несносные, и я сам чувствовал, что свежий деревенский воздух необходим для восстановления моего здоровья. Австрийский комендант отвел мне прекрасную квартиру верстах в десяти от города, на даче сеньора Леонардо Фразелани, богатого туринского купца. Я послал туда передовым моего денщика с квартирным билетом, а сам на другой день ранехонько поутру отправился в наемной карете и, остановясь на

минуту полюбоваться великолепной площадью Св. Карла, выехал через предместье Борго-ди-По за город.

Я никогда не бывал в южной Италии, но если в ней климат и природа лучше, чем в Пиемонте, так уж подлинно можно ее назвать земным раем и цветником всей Европы. Трудно и живописцу дать нам ясное понятие об этой яркой зелени полей, усыпанных благовонными цветами, об этих темно-синих и в то же время прозрачных небесах Италии, так мне нечего и говорить с вами об этом. Вы, дядюшка, бывали на Кавказе и в Крыму, следовательно, лучше другого поймете, с каким восторгом смотрел я на это безоблачное южное небо и цветущие окрестности города, усеянные рощами шелковичных деревьев. Мы, дети севера, воспитанные среди обширных полей и дремучих лесов нашей родины, привыкли с ребячества любить раздолье и простор; так вы можете себе представить, как я обрадовался, когда выехал за город и мог свободно дышать этим животворным деревенским воздухом, напитанным ароматами цветов. Я не успел отъехать двух верст от заставы, как почувствовал в себе такую перемену, что готов был хоть сейчас на коня, саблю вон и в атаку. Мне было так легко, так весело... О! без всякого сомнения, противоположности необходимы для нашего земного счастия! Если бы я не просидел несколько недель в тесной комнате, в которой, как в аптеке, все пропахло лекарством, если б мрачный и узкий переулок, в который никогда не заглядывало солнышко, не был единственным видом, коим я любовался из моих окон, то вряд ли бы в жизни моей нашлось несколько часов сряду совершенного, не отравленного ничем благополучия. Миновав потешный дворец, называемый *Королевским виноградником*, я выпрыгнул из кареты и пошел пешком. Мой жадный взор обегал свободно и унизанные загородными домами холмистые берега реки По, и обширную равнину, которая оканчивалась к северу высокими Пиемонтскими горами. Вблизи, с правой стороны, на Капуцинской горе возвышалась готическая церковь монастыря; позади, еще выше, сквозь темную зелень оливковых деревьев белелись зубчатые стены Камальдульской пустыни, а прямо передо мною, вдали, прорезывая утренний туман, плавал как на облаках огромный купол *Сюперги* — сей знаменитой соперницы колоссального Петра и Павла в Риме. С каждым шагом вперед горизонт расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые следо-

вали беспрерывно один за другим, не заметил, как прошел верст пять перед моей каретой: она тащилась за мной шагом по большой дороге. «Э, гей! синьор официале, синьор официале! — закричал мой кучер.— Маледетто! * синьор официале!» Я обернулся: карета стояла у самого въезда в тенистую аллею из пирамидальных тополей, шагах в двухстах от большой дороги, она примыкала к густой каштановой роще. Я воротился и, продолжая идти пешком впереди моей кареты, в несколько минут достиг до рощи и потом прямой просекою вышел опять на открытое место, которого сельский и спокойный вид так мне понравился, что я остановился на минутку им полюбоваться. Представьте себе широкую долину, посреди которой змеилась излучистая речка, огибая в своем течении несколько высоких холмов, поросших сплошным кустарником; она вливалась в светлое озеро с покатыми берегами, которые без всякого преувеличения можно было назвать персидскими коврами, так они были испещрены бесчисленным множеством самых ярких и разнообразных цветов! Прямо против каштановой рощи, из которой я вышел, на самом берегу озера, проглядывал сквозь померанцевых деревьев и густых кустов благовонной акации одноэтажный дом с плоскою кровлею и красивым портиком; гибкие виноградные лозы обвивались около колонн, которые поддерживали мраморный фронтон, и на всех окнах стояли фарфоровые вазы с цветами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель с широкими италиянскими окнами. Лицевой его фасад был обращен на двор, а противоположная сторона выходила в сад, который окружал с трех сторон и дом, и все принадлежащие к нему строения. От самой каштановой рощи начинался обширный луг, по которому извивалась речка, впадающая в озеро. Пять-шесть крестьянских изб, разбросанных в живописном беспорядке, красивая мельница на ручье, несколько коров и резвых коз, рассыпанных по лугу, и миловидная девушка, которая, зачерпнув воды, несла ее на ту пору в глиняном кувшине на своей голове, оживляли эту сельскую, исполненную прелести картину. «Да это настоящая идиллия в лицах! — вскричал я, невольно посмотрев вокруг себя.— Жаль только, что недостает пастуха и пастушки. Ага! Да вон и они!» — продолжал я, увидев под одним кустом моло-

* Проклятие! *(ит.)*

дого человека, который сидел на траве рядом с девушкой лет шестнадцати. Они оба были одеты просто, по-деревенскому, но отменно щеголевато; и если бы соломенная шляпка, в которой была девушка, попалась в Москву на Кузнецкий мост, так уверяю вас, она недолго бы залежалась в модном магазине. Молодой человек был недурен собою, а его подруга... О, такое миловидное, выразительное лицо, такие черные, пламенные глаза можно только встретить в одной Италии! «Позвольте спросить,— сказал я, подойдя к этим нежным голубкам, которые о чем-то вполголоса ворковали меж собою,— ведь это дача синьора Фразелини?» Девушка вскрикнула, ударилась бежать, и, прежде чем я успел окончить мой вопрос, ее и след простыл. Молодой человек также смутился, но отвечал очень вежливо: «Точно так, синьор официале! это поместье принадлежит Леонарду Фразелини, если угодно, я вас провожу до дому». Я пошел вслед за ним по берегу речки, а карета поехала по дороге, которая шла прямо через луг на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли через ручей по красивому китайскому мостику, я спросил молодого человека, не сын ли он помещика?

— Извините, синьор официале! — отвечал он,— я Корнелио Аничети, родной его племянник.

— А красавица, с которой вы сидели под кустом, верно, сестра выша?

Смуглые щеки Корнелио вспыхнули.

— Нет! — сказал он отрывисто.— Это камериора моей тетки.

— Неужели? Она так хорошо одета, что я подумал... А как зовут эту прекрасную служаночку?

— Челестиною.

— Она очень мила.

Корнелио посмотрел на меня пристально, и признаюсь, для моего самолюбия приятно было заметить, что этот инспекторский смотр не очень его успокоил.

— Да! — сказал он наконец,— это правда, Челестина мила, но она очень дика и, сверх того, извините, синьор официале, терпеть не может иностранцев. Но вот и дядюшка идет к нам навстречу,— прибавил он, указывая на человека пожилых лет с приятной и почтенной наружностию.

Хозяин принял и обласкал меня как родного, а жена его, синьора Аурелия, долго не могла опомниться от удивления при виде варвара русского, который отпу-

стил ей с полдюжины комплиментов на самом чистом тосканском наречии. В продолжение всего дня я не видел никого, кроме моих хозяев, их племянника, проворного слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронеллою. Под вечер, когда мы все сидели на дворе, появилась наконец Челестина. Она уселась смирехонько в одном углу, на низенькой скамейке, и так занялась каким-то рукодельем, что я не мог даже полюбоваться ее черными глазами — она ни разу не подняла их кверху. Разговаривая со мною, синьора Аурелия сказала между прочим, что она не знает, понравится ли мне приготовленная для меня комната.

— Вам надобен покой,— говорила она,— а ваша горница рядом с нашей спальнею; мы встаем очень рано и можем вас потревожить.

— О, что касается до меня,— отвечал я,— обо мне не хлопочите! Я боюсь только, чтоб мне вас не беспокоить. Да нет ли в этом флигеле лишней комнаты? — продолжал я, указывая на длинное строение с италиянскими окнами.

— В нем все комнаты свободны,— сказал хозяин,— да он и выстроен для моих гостей; но с некоторого времени...— Тут синьор Фразелини остановился и, взглянув значительно на жену свою, замолчал.

— С некоторого времени? — прервал я.— А что такое?..

— В нем никто не живет.

— А для чего?

— Да как бы вам сказать? ведь вы, господа военные, ничему не верите. В этом флигеле поселились нечистые духи.

Я засмеялся.

— Смейтесь, синьор официале, смейтесь! А это точно так же правда, как то, что я имею честь говорить с вами об этом. Месяца два тому назад заметили, что во флигеле бывает по ночам какой-то странный шум и раздаются жалобные стоны; но это бы еще ничего: почти каждую ночь, часу в двенадцатом, иногда ранее, иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарем в руках. Я сам несколько раз видел — вот из этой комнаты,— как оно прогуливается взад и вперед мимо всех окон.

— И вам ни разу не приходило в голову,— прервал я,— что это проказит какой-нибудь шалун?

— Как не приходить; но тут есть одно обстоятель-

ство, которое разрушает все мои догадки. Надобно вам сказать, что комнаты в этом флигеле расположены точно так же, как кельи в монастыре. Во всю его длину устроен длинный коридор, из которого десятью дверьми входят в столько же особых комнат, отделенных одна от другой капитальными стенами, и, чтоб перейти из одной комнаты в другую, необходимо надобно выйти прежде в коридор. Вы завтра можете во всем этом увериться сами. Теперь прошу вас растолковать мне, каким образом обыкновенный человек, а не дух или привидение, будет расхаживать во всю длину флигеля мимо окон, не останавливаясь ни на минуту, идя ровным шагом; словом, прогуливаясь свободно взад и вперед, как по одной длинной галерее, в которой нет никаких перегородок? Тут, кажется, долго рассуждать нечего: или между комнат есть прямое сообщение, или никакие преграды для него не существуют, и он проходит сквозь капитальную стену точно так, как мы в растворенные двери. Никаких сообщений и дверей между комнат нет; в этом, повторяю еще раз, вы сами можете завтра увериться: следовательно, этот ночной посетитель не проказник, не шалун, а просто или нечистый дух, или неотпетый мертвец, или, что всего вернее, какая-нибудь христианская душа, которая страдает в чистилище и нуждается в наших молитвах. Здесь все уверены, что это душа бедного Паоло, бывшего моего садовника, который прошлую зиму удавился в этом флигеле. Сначала нас очень это тревожило, но теперь мы уже привыкли; впрочем, до сих пор, кроме племянника, никто не вызывался переночевать в этом флигеле. Правда, и ему это даром не прошло: привидение точно так же, как и всегда, прогуливалось по комнатам, а он до того напугался, что всю ночь пролежал без памяти.

В продолжение сего рассказа я заметил две вещи: во-первых, то, что племянник хозяина вспыхнул, когда речь дошла до него, а во-вторых, что хотя синьор Фразелини и синьора Аурелия твердо были уверены, что в их флигеле поселились жители не нашего мира, но что, несмотря на это, в одной с нами комнате кроме меня были еще люди, которые не очень этому верили. Я сидел против большого зеркала; в нем отражалось все, что было у меня за спиной, то есть и вся противоположная стена, и двери, подле которых стоял слуга Убальдо, и уголок, в котором сидела красавица Челестина. Раза два я подметил, что их взгляды встречались

меж собою и что следствием этой встречи была всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. «Ну! — подумал я,— побьюсь об заклад, что эта плутовка Челестина знает лучше своих господ, как мертвецы проходят сквозь капитальные стены». Поговорив еще несколько времени об этом странном случае, я простился с моими хозяевами и отправился в мою комнату. От перемены места или от чего другого, только мне вовсе не спалось. Из комнаты моей можно было видеть весь флигель. Вот этак немного за полночь одно окно во флигеле осветилось; я вскочил с постели и, точно, видел своими глазами, что какое-то привидение в белом саване с фонарем в руках прошло раза три вдоль всего флигеля мимо самых окон и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это был обман — я не сомневался; что причины этого обмана были самые земные — и в этом я был также уверен; но как это происходило и в чем состоял сей оптический обман — вот уж этого я не мог никак постигнуть. Я думал, думал, и если привидение не напугало меня, то все-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертеться с боку на бок, я с первым светом встал с постели, оделся и пошел гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься; все спали в доме, кроме вашего покорного слуги и какой-то ранней пташечки, которая пропорхнула мимо меня в ту самую минуту, как я стал подходить к садовой стороне флигеля. «Ага! — подумал я,— вот что! Если б в этих комнатах не поселились нечистые духи, так жили бы люди,— понимаю! Ну, господин Корнелио, порядком же вы морочите вашего дядюшку!»

Весь этот день провел я по-прежнему с моими дорогими хозяевами: думал о моей утренней встрече, о белом привидении и наконец как будто бы попал на истинный путь. Мне оставалось увериться, справедливы ли мои догадки, и в то же время, не делая вреда никому, избавить, если можно, моего гостеприимного хозяина от этих ночных посещений. После ужина я заперся в свою комнату и часу в двенадцатом ночи, обернувшись с головы до ног в белую простыню, прокрался потихоньку в сад и подошел к флигелю. Представление уже началось; хотя я зашел не с той стороны, но отгадал это потому, что двери были отперты и что на дворе полусонный сторож начал громким голосом творить молитву. Я потихоньку взобрался на лестницу и спрятался

в темном углу в коридоре. Через минуту все догадки мои оправдались. «Постойте же, господа артисты! — сказал я про себя,— вас надобно так пугнуть, чтоб вам и в голову не пришло играть в другой раз эту комедию». В коридоре стоял деревянный стул; я взмостился на него, опустил вплоть до полу мою простыню и заохал таким нечеловеческим образом, что почти сам испугался. Вдруг из двух комнат выскочили два белых привидения... О, ужас! точно такое же третье привидение, только гораздо огромнее, стоит перед ними неподвижно, испуская тяжкие, могильные стоны. «Кто ты?» — раздался трепещущий и весьма знакомый мне голос. «Молитесь за меня! — проговорил я протяжно,— я самоубийца, я грешник Паоло!» Батюшки мои, как бросились от меня эти два несчастных привидения! Они кубарем скатились с лестницы, растеряли свои белые мантии, и я вовсе не удивился, когда хозяин сказал мне на другой день, что слуга его Убальдо и племянник Корнелио занемогли оба ночью и лежат в постели. Я перешел во флигель, прожил в нем преспокойно два месяца, и уверяю вас, дядюшка, что во все это время белое привидение ни разу не приходило ко мне в гости.

— Ну, брат, молодец же ты! — сказал Иван Алексеевич.— Только, воля твоя, я все порядком в толк не возьму... Ты говоришь, что их было двое... так что ж?..

— А вот что, дядюшка. Они оба были одеты одинаким образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второго покоя, то в ту же минуту прятал огонь и, ударив кулаком в стену, выбегал в коридор; потом, войдя в третью комнату, прижимался к стене. Второе привидение, услышав сигнал, открывало свой фонарь и начинало идти мимо окон до самой стены третьего покоя, из которого продолжало эту прогулку опять первое привидение, и так далее, до конца флигеля. Все это было у них так улажено, что всякий подумал бы, что мимо окон проходит одна и та же фигура, и со двора решительно невозможно было заметить этого обмана.

— Ну, хитро придумано!.. Что и говорить, на свете много обману! Конечно, как иногда не посомниться, не поразмыслить — у каждого свой царь в голове, но не верить ничему и во всем сомневаться...

— Видит бог, грешно! — прервал Кольчугин, раскрыв снова свои молчаливые уста.— Покойный мой батюшка, дай бог ему царство небесное, вздумал также однажды поумничать, да так-то невпопад, что после дал зарок ни в чем не сомневаться и всему на свете верить.

— А что такое с ним сделалось? — спросил хозяин.

— Да так, батюшка, был случай такой! Он не один раз мне сам изволил об этом рассказывать.

— А ты, любезный, расскажи нам.

— Рассказать не фигура, только дело-то такое курьезное, что, того и гляди, эти господа на зубки меня подымут,— промолвил Кольчугин, указывая на Заруцкого и Черемухина.— Да, пожалуй, чего доброго, и покойнику батюшке достанется.

— И, сударь,— прервал я, подвигаясь к Кольчугину,— какое вам до них дело! Рассказывайте.

— Да, да! — подхватил хозяин.— Что тебе на них смотреть! рассказывай!

— Ну, если вам угодно, так слушайте!

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

— Отец мой был человек старого века,— начал так Антон Федорович Кольчугин,— хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь свою ни разу и не подумал об этом, жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами, и под веселый час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который, не тем будь помянут, попивал, а лихо, разбойник, играл на гуслях; бывало, как хватит «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставка», так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли проезжие, хоть мало-мальски не совсем простые люди,

дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить, любил пображничать покойник! Бывало, как залучит себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное, чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки, сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так захолодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина,— а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу,— принялся за Четьи-Минеи. Развернул наудачу — и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дошел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся, слышит — бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

— Что ты, братец? — спросил батюшка.

— Пришел, сударь, доложить вам,— отвечал слуга,— что на селе остановились приказный из города да казаки, которые едут с Дону.

— Ну так что ж? — прервал батюшка.— Беги скорей на село, проси их ко мне да не слушай никаких отговорок.

— Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут,— пробормотал сквозь зубы Андрей.

— Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину,— продолжал батюшка,— и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

— Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка, идя к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ Спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» Но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура,— подумал батюшка,— что это крапивное семя не знает бога, но ведь казаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином, казаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и, вместо ответа на его кудрявое приветствие, закричал: «Гей, малый! Запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.

— Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями,— поотогрейте свои душеньки, чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин-чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей — глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай да питýхи! — подумал батюшка.— Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!» В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у всех волосы рыжие, а щеки — как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех курьезнее по-

казался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица; давно небритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся. «Но эта улыбка,— говаривал не раз покойный мой батюшка,— ни дать ни взять походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот, как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

— Ну, что, приятели,— спросил он казаков,— что у вас на Дону поделывается?

— Да ничего! — отвечал казак с толстым брюхом,— все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем...

— Попевайте, любезные,— продолжал батюшка,— попевайте, только бога не забывайте!

Казаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

— Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трын-трава!

Батюшка нахмурился: он любил пожить, попить, пображничать, но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда.

— Из уголовной палаты, сударь,— отвечал с низким поклоном приказный.

— Ну что поделывает ваш председатель? — продолжал батюшка.

А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.

— Что поделывает? — продолжал приказный.— Да то же, что и прежде, сударь, служит верой и правдою...

— Да, да! Верой и правдою! — подхватили в один голос все казаки.

— А разве вы его знаете? — спросил батюшка.

— Как же! — отвечал казак с совиным носом,— мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

— Да разве он хотел у вас побывать?

— И не хочет, да будет,— прервал казак с большой головою.— Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкой:

— Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

— Как так? — вскричал батюшка.— Да месяц тому назад он при смерти был болен.

— Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

— А, понимаю! — прервал батюшка.— Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее?

— Разумеется! — подхватили с громким хохотом казаки,— ведь у нас за теплом дело не станет: грейся сколько хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке, но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату, а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди, но всякий раз, как нарочно, кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Казаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество, а приказный — про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился

бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться, и он, точно, этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уж вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить, но четыре бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее: они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже — страшно вымолвить! — забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме, а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: «Удалая голова, не ходи мимо сада» — и вошел в такой задор, что хоть сейчас вприсядку. Меж тем казаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным, третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет! все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

— Эге! — вскричал подьячий,— да вон там на последнем окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою, нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин, я и так ее достану,— примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

— Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал с громким хохотом батюшка,— аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинны...

— Да зато память коротка,— прервал один из казаков.

— А вот увидите! — продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола,— небось, вы забыли, чье надо

пить здоровье, а я так помню: начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью, чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать, чтоб они почаще умирали да пореже каялись!

— Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху,— да этак у нас все суды опустеют.

— И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказный, наливая стаканы,— было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной — ура!

— Выпили? — закричал казак с крючковатым носом.— Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшо́го. Кто станет с нами пить, тот наш, а кто наш, тот его.

— А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка, принимаясь за стакан.

— Что тебе до его имени! — сказал казак с большой головою.— Говори только за нами: «Да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит».

— Но кто же он такой?

— Кто наш отец и командир? — продолжал казак.— Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалует содом, гоморр и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить, да это все бабьи сплетни. Наш господин — барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся да не верь тому, что печатают под титлами,— вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица, не правда ли?

Как ни был хмелён батюшка, однако ж призадумался.

— Я что-то в толк не беру,— сказал он.

— А вот как выпьешь, так поймешь,— прервал подьячий.— Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!..

Все гости, кроме батюшки, осушили стаканы.

— Ба, ба, ба! хозяин! — закричал подьячий,— да что ж ты не пьешь?

— Нет, любезный! — отвечал батюшка,— я и так уж пил довольно. Не хочу!

— Да что с тобой сделалось? — спросил толстый казак,— о чем ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

— А что, в самом деле! — подхватил приказный, — мы посидели довольно, не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

— Плясать так плясать! — закричали все гости.

— Так постойте же, любезные! — сказал батюшка, вставая, — я велю позвать моего гуслиста.

— Зачем? — прервал подьячий, — у нас и своя музыка найдется. Гей, вы, начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты, загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал да как хватит плясовую — и пошла потеха!

— Ну-ка, хозяин, — проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза, — посмотрим твоей удали!

— Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится не ладно, — забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

— Не станешь? — заревел толстый казак. — А вот увидим! — Все гости вскочили с своих мест.

Покойного батюшку начала бить лихорадка — да и было отчего: вместо четырех, хотя и не красивых, но обыкновенных людей, стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

— Не станешь! — повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий, — полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние, а ведь ты наш!

— Как ваш? — сказал батюшка.

— А чей же? ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить неможно, а ведь ты служишь нашему.

— Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

— О каком? — прервал большеголовый казак, — вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

— Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

— Эге, приятель! — подхватил подьячий, — да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет,

любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько, молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами!» — что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным. «Господи боже мой!..» — проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было! Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватал голубца с вывертами и вычурами такими, что и сказать нельзя, а там гости подцепили его да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно: как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по возуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.

— Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя как полоумный,— ушли ли они?

— Кто, сударь? — спросил один из лакеев.

— Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием,— кто!.. Ну, вот эти казаки и приказный...

— Какие, сударь, казаки и приказный? — прервал буфетчик Фома.— Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы — не при вас будь слово сказано — коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

— Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

— Не было, сударь.

— Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! — продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока.— А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

— Не знаю,— отвечал буфетчик,— видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.

— Ты врешь! — закричал батюшка,— я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал, и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

— Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка,— говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом.

— Помилуйте, сударь! — сказал буфетчик Фома,— иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.

— Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! где он?

— Вы изволите спрашивать, где Андрей? — проговорил наконец Ванька-гуслист.

— Ну да! где он?

— В избе, сударь; лежит на столе.

— Что ты говоришь? — вскричал батюшка,— Андрей Степанов?..

— Приказал вам долго жить,— прервал дворецкий, входя в комнату.

— Он умер!..

— Да, сударь! ровно в десять часов.

Кольчугин замолчал.

— Ну, подлинно диковинный случай! — сказал Алексей Иванович Асанов.— И если твой отец не любил красного словца прибавить...

— Терпеть не мог, батюшка! Он во всем уезде слыл таким правдухою, что псовые охотники не смели при нем о своих отъезжих полях и борзых собаках и словечка вымолвить.

— Да что ж тут странного! — прервал приятель мой Заруцкий,— ваш батюшка заспался, не помнил, что зажег две свечи, и видел просто во сне то, что за несколько минут читал наяву.

— Так, сударь, так! — продолжал Кольчугин,— да только вот что: спустя несколько времени узнали, что действительно в эту самую ночь три казака с Дону и приказный из города проезжали через село, только ни

где не останавливались; и в том же году, когда стали поверять бутылки в погребе, так четырех бутылок виноградного вина и двух бутылок наливки нигде не оказалось.

— Да! это довольно странное стечение обстоятельств,— сказал исправник.

— И все этому дивились, батюшка! — промолвил Кольчугин.

— То есть проезду казаков и подьячего,— прервал Заруцкий,— а что в погребе не нашлось нескольких бутылок, так это доказывает только одно, что ключник покойного вашего батюшки любил отведать барского винца и наливки и при сем удобном случае свалил всю беду на безответного черта.

— Вот о чем хлопочет! — сказал Черемухин, взглянув исподлобья на моего приятеля.— Ты настоящий Фома неверный! Да что тут удивительного? Такие ли бывают случаи в жизни? Ну, если б я рассказал вам то, что слышал сам своими ушами от одного из моих знакомых...

— Который узнал об этом,— подхватил с улыбкою исправник,— от своего приятеля, а этому приятелю рассказывала кума, а кума слышала от своего дедушки, а дедушка...

— Нет, сударь, извините,— прервал Черемухин,— тот, кто мне это рассказывал, не только был очевидцем, но даже действующим лицом в сем необычайном приключении.

— Необычайном! — повторил с любопытством хозяин.

— Да, Алексей Иванович! подлинно, чудный случай! Да и такой-то чудный, что мне совестно вам рассказывать, тем более что я не могу никак сомневаться в истине сего происшествия.

— Ах, батюшки! — вскричал исправник,— да это становится весьма интересным. Сделай милость, Прохор Кондратьич, не томи, рассказывай скорее.

— Проказит он, господа! — сказал хозяин, покачивая головою.

— Так я же вам докажу, что нет,— прервал Черемухин.— Прошу послушать. Да слушай и ты,— продолжал он, подмигнув Заруцкому,— ты все подводишь под общие законы природы; посмотрим, как ты изъяснишь мне естественным образом то, что случилось с моим приятелем!

КОНЦЕРТ БЕСОВ

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве,— начал так рассказывать Черемухин, положа к стороне свою трубку,— то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин — так звали этого молодого человека — только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италиянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы спли-

ном, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! — говорили мы ему, — что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем — блины, катанья, званые обеды, вечером — театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят, во что бы ни стало, веселиться, все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного поосмотреться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу — высокий мужчина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую

минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

— Садись подле меня,— сказал он,— насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный,— неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да,— подумал я,— в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен...»

— Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! — сказал человек в красном домино, приподымая свою маску.

Я невольно отскочил назад — сердце мое замерло от ужаса... Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

— Что ты? — спросил он с какою-то странною улыбкою,— уж не находишь ли ты, что я переменился?

— О! чрезвычайно!

— Так зачем же говорят, что печаль меняет человека... Неправда! не печаль, а разве радость.

— Радость?

— Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай! — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя,— только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все,— живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством,— и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!

— Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! — прервал я моего приятеля.— У нас не так тепло, как в Италии, но также бывает и весна и лето. Быть мо-

жет, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая италиянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт...

— Да! один и последний. Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

— Так она хочет навсегда здесь остаться?

— Да, навсегда. Ну видишь ли, как она меня любит? Но зато и я... О! любовь моя не чувство, не страсть... нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня...— да! она хотела этого...— Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: — Я отдал ей мою душу,— теперь я весь ее... Понимаешь ли, мой друг?.. весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

— Эх, братец! — сказал я с досадою,— как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем...

— Сердцем! — повторил насмешливым голосом мой приятель.— Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг! дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце — ее не закопают в могилу.

— Да сделай милость,— прервал я,— покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-

соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.

— Я не знаю сам, где она живет.

— Нет, шутишь?

— Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

— А когда будет ее концерт?

— На будущей неделе в пятницу.

— На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе великого поста не дают никаких концертов.

— Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде.

— Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

— Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

— Ровно в полночь! — сказал я, взглянув на мои часы,— то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случалось самим, господа, встречать великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венецияне. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонду: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим

привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинное пугало поздравляло всех с великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой-то иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи. «Лауретта! — повторил я невольно,— примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая итальянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в ротонде

Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл,— сказал он мне,— что я в последний раз виделся с тобою накануне великого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой,— сказала она мне, когда я взял ее за руку,— я требую также, чтоб ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь в ротонде будет репетиция концерта, который я даю в субботу».— «Но к чему так поздно? — спросил я,— и пустят ли меня?» — «Не беспокойся! — отвечала Лауретта,— для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет,— промолвила она тихим голосом,— но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем — и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась бога. По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни ма-

лейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.

— Ты можешь себе представить, — продолжал Зорин, — с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, — о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить в колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или отчего другого, только я приметным образом стал спокойнее и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канде-

лябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи — одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

— Позвольте вас спросить,— сказал я моему соседу,— ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

— Точно так.

— Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономией, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

— Это Моцарт.

— Моцарт! — повторил я,— какой Моцарт?

— Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»...

— Что вы, что вы! — прервал я,— да он года четыре как умер.

— Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидит Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук.

— Рамо и Глук?..

— А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге...

— В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?

— Точно так! с ним разговаривает теперь Люлли.

— Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?

— Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан Жак Руссо. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами...

— Да что ж это значит? — прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спро-

сить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак.— Ба, ба, ба! — вскричал я,— так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! вы ли это, Степан Алексеевич?

— Да, это я! — отвечал он очень хладнокровно.

— Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?

Сосед мой кивнул головою.

— Однако ж позвольте! — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом,— что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?

— Извините! — отвечал мой сосед,— не шесть, а ровно семь.

— Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.

— Статься может. А вы когда изволили скончаться?

— Кто? я?.. Помилуйте! да я жив.

— Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! — сказал покойник, пожимая плечами.

Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венецияне появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов — и каких, мой друг!.. Господи боже мой! что за фигуры! Журавлиные шеи с собачьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками,— одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.

— Что это за лубочный сундук! — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны.— Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?

Лауретта молча указала на моего соседа; контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою станет увеличиваться расстояние, их разделяющее; как вечность, будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противуположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное браво раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам... и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместо юного, цветущего лица моей Лауретты — иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие пре-

лести! — кричали они с восторгом, — посмотрите, какой череп, — точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»

— Синьора Бальдуси, — сказал Моцарт, вставая с своего места, — потешьте нас: спойте нам «Biondina in gondoletta».

— Да это невозможно, синьор Моцарт, — прервал капельмейстер. — Каватину «Biondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента.

— Вы ошибаетесь, maestro di cappella! * — прошептала Лауретта, указывая на меня, — гитара перед вами.

Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.

— А что, в самом деле, — сказал он, — подайте-ка мне его сюда! Кажется... да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.

Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступления; каждый звук гитары производил в ней

* дирижер капеллы (*ит.*).

столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд... Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом... Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще»,— примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.

— Какова история? — спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя.— Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!

— Помилуйте, Иван Алексеич! какие сказки? это настоящая истина.

— В самом деле?

— Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.

— Полно, братец! да это курам на смех! Воля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого — гитару.

— Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он благодаря бога еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста...

— В желтом доме? — прервал исправник.

— Вот этого не могу вам сказать! — продолжал спокойно Черемухин.— Может быть, его давно уже и перекрасили.

— Ах ты, проказник! — подхватил хозяин.— Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?

— От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.

— Смотри, пожалуй! — вскричал хозяин,— какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит — не улыбнется! Впрочем, и то сказать,— прибавил он, помолчав несколько времени,— приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?..

— А что вы думаете? — сказал я.— Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.

— И, полно, братец,— прервал с улыбкою Зарецкий,— да этак бы и числа не было выходцам с того света!

— Напротив,— продолжал я,— эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ...

— Сродству душ? — прервал Зарецкий.— А что ты разумеешь под этим?

— Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше — способность жить и действовать; и точно так же как тело без души, всякий инструмент, без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее — небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка сле-

тит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами: *симпатия* и *сродство душ*.

— Ба, ба, ба! любезный друг! — сказал Зарецкий, улыбаясь,— да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за тобою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.

— Ты шутишь, Зарецкий,— прервал исправник,— а мне кажется, что Михайла Николаич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честию, что это правда.

ДВЕ НЕВЕСТКИ

— В начале 1792 года гусарский полк, в котором я служил корнетом, стоял в Белоруссии, и мой эскадрон занимал квартиры в местечке, принадлежащем двум братьям, князьям Лю......ким. Они жили вместе с своими женами в их наследственном и великолепном замке. Радушное их обращение с русскими офицерами, а более всего веселый образ жизни, напоминающий роскошное хлебосольство древних магнатов Польши, вошли в пословицу между нашими офицерами. «Хоть бы князьям Лю......ким задать такой праздник!» — говаривали мы всегда, когда хотели похвалить чье-нибудь угощение.

Изо всех офицеров моего эскадрона я более других был ими обласкан и в течение двух или трех недель сделался в их семье совершенно домашним человеком. Обе княгини были женщины отменно любезные и могли назваться красавицами. Если б они были родные сестры, то и тогда бы нельзя было не подивиться их необычайной дружбе; но две невестки, две хозяйки в одном доме, которые живут душа в душу,— такая диковинка, какой не всякому удастся на роду своем увидеть. Нельзя было сказать, чтоб их нравы были совершенно сходны меж собою; напротив, одна из них, жена старшего брата, ко-

торая называлась Жозефиною, была самого кроткого характера и даже несколько холодна, а другая отменно жива и вспыльчива; но, несмотря на это различие, которое, впрочем, заметно было только в отношении к другим, никогда ни малейшая досада не нарушала их семейственного согласия. Жозефина очень часто разговаривала со мною об этой дружбе.

— Вы не можете себе представить,— сказала она мне однажды,— какое странное и даже непонятное для нас самих чувство мы питаем друг к другу. Говорят, что мы живем как родные сестры, да это вовсе не то. У меня были три сестры, я любила их, но совсем другим образом. Когда я в первый раз увидела Казимиру — так называли меньшую невестку,— то мне показалось, что ее-то именно и недоставало для моего благополучия; что иногда в грустные минуты я тосковала о ней, и хотя решительно увидела ее тогда в первый раз, но готова была побожиться, что и черты лица ее, и звук ее голоса, и даже некоторые, собственно ей принадлежащие, выражения и привычки давно уже мне знакомы; что мы, не знаю где и когда, но только непременно и любили друг друга, и жили вместе. Не правда ли, что это очень странно? А ведь еще страннее, что Казимира при первой встрече со мною почувствовала то же самое? Ну вот после этого не верьте симпатиям! Сколько раз случалось, я задумаю какую-нибудь новую забаву, хочу сделать ей сюрприз, и что ж?.. Ей именно то же самое придет в голову. Она затеет потихоньку от меня какое-нибудь веселье, секретничает, хлопочет — и вдруг я начну с нею советоваться, каким образом уладить точно такой же праздник, какой она хотела дать мне нечаянно. Мы никогда еще не расставались, и я думаю, что разлука будет для нас большим несчастием. Мало ли что случается? Одна из нас может умереть, нам не удастся проститься друг с другом... О, вы не можете представить, как эта мысль нас пугает! Правда, мы на этот счет взяли некоторые предосторожности,— продолжала Жозефина, улыбаясь, однако ж вовсе не шутя,— мы связали себя клятвою.

— Клятвою?

— Да. Мы поклялись друг другу, что если судьба приведет одну из нас умереть прежде и мы в эту минуту не будем вместе, то умершая должна непременно, не покидая еще земли, явиться к той, которая останется в живых.

— Но подумали ли вы,— сказал я также не шутя,— что исполнение этой клятвы зависит не от вас?

— О, как же! Мы на этот счет взяли свои предосторожности. Говорят, что всякая клятва, данная и не исполненная в здешнем мире, станет в будущем тяготить нашу душу, то есть мешать ей наслаждаться вполне блаженством, если она его заслужит, и для того мы поклялись с условием.

— С условием?

— Да, с условием. Наша клятва должна только иметь силу в пределах возможного. Nous avons juré jusqu'aux bornes de possible *.

Когда она выговорила эту французскую фразу, которую повторяю вам от слова до слова, то я не мог удержаться от смеха — так показалось мне забавным это детское простодушие милой Жозефины.

— Ого, княгиня! — сказал я,— да вы знаете приказный порядок и взяли все законные предосторожности; теперь, если одна из вас выполнит свое обещание, так это будет даже не чудно, потому что свершится в пределах возможного.

— Смейтесь, смейтесь! — прервала Жозефина,— а я уверена, что если одна из нас кончит жизнь не на руках у другой, то или мы умрем в одно время, то есть в один час, в одну минуту, или непременно повидаемся друг с другом перед нашей земной разлукою.

Муж княгини Казимиры страдал уже несколько лет от одной хронической болезни, которая, несмотря на старание лучших медиков тамошнего края, очевидно усиливалась и могла превратиться в неизлечимый недуг. По общему совету докторов ему оставалось испытать последнее средство, то есть ехать за границу и полечиться у иностранных врачей, а в особенности у знаменитого доктора Франка, который в то время был в Париже. Как ни тяжело было для княгини расставаться на долгое время, но необходимость требовала этой жертвы. На прощанье они еще раз повторили свою клятву и обещались, не пропуская ни одной почты, писать друг другу обо всем.

Прошло месяца два; вот в одном из своих писем Казимира уведомила свою невестку, что она отправляется с больным своим мужем в Париж. Это известие очень обеспокоило Жозефину: французская революция стано-

* Мы поклялись в границах возможного *(фр.)*.

вилась час от часу грознее, и хотя кровь не лилась еще реками, но все заставляло думать, что предсказания и догадки европейских журналистов, как крики зловещих птиц, не предвещают ничего доброго. Напрасно Казимира успокоивала своего друга. «Ты не должна за нас бояться,— писала она.— Мы, иностранцы, будем жить тихо, не станем мешаться в политические дела, так нас и не заметят в Париже». Все это казалось Жозефине недостаточной порукою за их безопасность. Меж тем время шло да шло. Робеспьер, Марат, Дантон и сотни других тигров, представлявших в лице своем *великую* нацию, начинали понемногу приучать ветреных французов к кровавым пиршествам, на которых деспотизм палачей величали свободою; судом называли человеческую бойню, а народом французским — шайку разбойников и убийц; и чтоб равенство, это слово, не имеющее никакого морального смысла, сделать хотя физически возможным, предлагали для уравнения всей нации подрубливать головы тем, которые имели несчастие родиться повыше других. Но в то же время как истинные отцы отечества извещали своих сограждан, что они с родительским сердоболием приискивали все средства, как бы облегчить страдания умирающих на эшафоте: и посему, дабы рубить головы и скорее и опрятнее, изобрели *филантропическую* машину, которую называли гильотиною. Жозефина все это читала в журналах, следовательно, не могла оставаться спокойною. Замечая тоску своей жены, князь Лю......кий давал беспрестанно праздники, балы, концерты — одним словом, употреблял все средства, чтоб рассеять ее горесть. На одном из этих балов, на который съехались к ним человек двести гостей, я заметил, что Жозефина была скучнее обыкновенного.

— Здоровы ли вы? — спросил я, садясь подле нее в танцевальной зале.

— А что? — шепнула княгиня,— разве я кажусь больною?

— А если вы здоровы, так позвольте вам сказать, что вы вовсе не походите на хозяйку, которая дает такой блестящий бал. Взгляните, как все оживлено в этой зале: три мазурки в одно время!.. Даже старики поднялись, а вы не танцуете! Да будьте повеселее; ведь этак подумают, что вы не рады вашим гостям.

— Так что ж? пускай себе думают что хотят, а мне, право, не до танцев.

— Вы меня пугаете, княгиня! Уж не имеете ли вы какого-нибудь неприятного известия из Парижа или давно не получали оттуда писем?

— Напротив. Я получила сегодня письмо от Казимиры, и весьма приятное. Она пишет, что в Париже очень весело, что журналисты все увеличивают, что, несмотря на угрозы республиканской партии, король любим и если б захотел только унять этих крикунов, так все пошло бы по-прежнему; но он слишком добр и не хочет прибегать к силе, тем более что это волнение умов не может долго продолжаться: такое постоянство было бы не в характере французской нации. А сверх того королева французская, которая очень милостива к Казимире и приглашает ее на все свои маленькие вечера, открыла ей по секрету, что глава, или, лучше сказать, душа революции, этот граф Мирабо, перешел на сторону правительства. Что ж касается до прочих зачинщиков, то они не только ничтожны, но даже отвратительны и гадки в глазах целого Парижа. Все это должно бы, кажется, меня успокоить, а, напротив, я никогда еще не была так растревожена, как сегодня.

— Да что ж вы чувствуете?

— И сама не знаю. Вот тут на сердце у меня так тяжело!.. Мне так грустно!.. Вы скажете, что это малодушие, ребячество,— быть может! Да что же делать, когда в нас есть что-то такое, что несравненно сильнее всякого рассудка. Конечно, и я могу притворяться веселою, но это будет одно притворство.

— А вы его ненавидите, княгиня. Однако ж так и быть, притворитесь! Я слыхал, что иногда актеры увлекаются своими ролями; почему знать, может быть, и вы забудете ваше горе; протанцуйте первую мазурку нехотя, а вторая будет забавлять. Пойдемте!

Княгиня молча подала мне руку, и мы, составив четвертую мазурку, пустились танцевать наперерыв с другими. В самом деле, Жозефина поразвеселилась, и к концу бала на прекрасном лице ее не оставалось даже и следов прежнего беспокойства и горести.

Вот после ужина гости стали расходиться; ближайшие соседи разъехались по своим деревням, а те, которые жили подалее, остались ночевать в замке; в числе последних было несколько молодых барынь. Хозяйка, уложив их спать в одной большой горнице, расположилась и сама ночевать вместе с ними. Я отправился также в свою комнату и, верно, бы проспал крепким сном до

самого обеда, когда бы рано поутру не разбудила меня какая-то необычайная тревога в целом доме: везде хлопали дверьми и по всем коридорам поднялась такая беготня, что если б хотя немного пахло дымом, так я подумал бы, что мы горим. Я вскочил с постели, оделся на скорую руку и побежал узнать причину этой суматохи. Любимица панны Жозефины, черноглазая Юлия, на которую я давно уже засматривался, первая повстречалась со мною в коридоре и сказала мне мимоходом, что княгиня занемогла, что ей сделалось ночью очень дурно, что она во сне или наяву, наверное не знают, но только видела что-то страшное и лежит теперь без памяти. Не прошло и двух часов, как все остальные гости разъехались, и этак часу в десятом пришли мне сказать, что княгиня просит меня к себе.

Я нашел ее в совершенной памяти; она сидела совсем одетая на канапе и на вопрос мой о внезапной ее болезни отвечала, что чувствует себя совершенно здоровою. В самом деле, кроме необычайной бледности, на лице ее не заметно было никаких признаков болезни, но с первого взгляда на ее мутные и распухшие глаза не трудно было догадаться, что она очень много плакала.

— Садитесь вот здесь, подле меня! — шепнула Жозефина тихим голосом.

— Что с вами сделалось, княгиня? — сказал я, садясь на канапе.

— Ничего. Я знала это наперед. О! сердце мое предчувствовало, оно меня никогда не обманывает.

— Да что такое?

— Я ее видела.

— Видели?.. Кого?

— Ее. Она приходила со мною проститься.

— Да о ком вы говорите?

— О моем друге.

— О вашей невестке?

— Да.

— Что вы, княгиня, помилуйте! Это так — расстроенное воображение. Вы много танцевали, кровь ваша была в волнении, и какой-нибудь сон...

— Сон! — повторила Жозефина с грустной улыбкою.— Сон! Нет, я не спала... Послушайте, я расскажу вам все.

В продолжении сего чудного рассказа я беспрестанно смотрел на нее, надеясь подглядеть в глазах ее признаки бреда или горячки, но, кроме тихой и спокойной

грусти, я не мог заметить ничего на ее бледном и усталом лице. То, что она мне рассказала, было так странно и в то же время носило на себе такой отпечаток истины, что все слова ее врезались в мою память, и я могу вам повторить ее рассказ без всякой ошибки и перемены, точно так, как будто бы слышал его вчера.

Жозефина, уложив спать своих гостей, заснула сама крепким сном часу во втором утра. Засыпая, она даже, сверх обыкновения, ни разу не подумала о Казимире. По ее догадкам, она спала уже более часу, как вдруг ей послышался тихий шелест, и на нее повеяло какою-то приятной весенней прохладою. Она проснулась. У самого ее изголовья стояла женщина в белом платье с остриженными волосами; на ней не было никаких украшений, кроме красного ожерелья на шее и черного пояса с стальной пряжкою. Несмотря на то что в комнате горела одна ночная лампада, Жозефина рассмотрела все это с первого взгляда. Лицо этой женщины было покрыто, или, лучше сказать, на него было наброшено короткое белое покрывало; она стояла неподвижно и держала руки, сложив крестом на груди. В первую минуту испуга Жозефина не могла выговорить ни слова, а потом, когда хотела позвать своих девушек и разбудить гостей, белая женщина подняла покрывало и сказала тихим голосом:

— Не пугайся, мой друг, это я!

— Боже мой! — вскричала Жозефина,— это ты, Казимира?.. Возможно ли? когда же ты приехала? — Она приподнялась, чтоб обнять свою невестку, но Казимира отступила шаг назад и прошептала едва слышным голосом:

— Не прикасайся ко мне, Жозефина! Еще не пришло время, когда тебе можно будет обнять меня и чувствовать, что ты меня обнимаешь. Я пришла проститься с тобою.

— Проститься?

— Да! разве ты забыла нашу клятву?

Тут Жозефина вспомнила все, и как вы думаете: испугалась или, по крайней мере, пришла в отчаяние? залилась слезами?.. Нет! она не чувствовала ни страху, ни горести; и то и другое овладело ее душою после, но в эту минуту она была совершенно спокойна.

— Итак, мой друг, ты умерла? — спросила она Казимиру.

— Да, я умерла в Париже. Мне отрубили голову.

— За что?
— За мою привязанность к французской королеве.
— Злодеи!..
— Не кляни, а благословляй их, Жозефина! Они отперли двери моей темницы.
— Твоей темницы?.. Какой темницы?
Привидение кротко улыбнулось и не отвечало ничего.
— Скажи мне, мой друг, — продолжала Жозефина, — страшно ли умирать?
— Да, точно так же, как страшно слепому от рождения взглянуть в первый раз на светлое солнце и ясные небеса.
— Ах! последняя минута должна быть ужасна!
— Да, мой друг! последняя минута ужасна; но зато первая!..
Неподвижные взоры привидения одушевились.
— И что я прочла в них! — говорила Жозефина, рыдая. — О! как ничтожно это чувство, которое мы все, минутные гости земли, называем нашей радостью и блаженством!
— Но мы должны расстаться, — сказало привидение. — Прощай, Жозефина! До свиданья... там — в нашей родине!..
— Постой, мой друг! — вскричала Жозефина. — Скажи, уверена ли ты, что мы опять увидимся?
— О, я не сомневаюсь в этом! Я вижу твою душу: она рвется из оков своих; она не любит своей неволи. Послушай...
Тут тень Казимиры наклонилась и прошептала несколько слов на ухо своему другу.
— Потом, — продолжала Жозефина, — глаза мои сомкнулись, мне послышалось, что в вышине надо мною раздаются какие-то неизъяснимо приятные звуки, и я или заснула опять, или лишилась чувств — не знаю сама; но только все исчезло.
— А что такое шепнула она вам на ухо? — спросил я с любопытством.
— Не спрашивайте меня об этом, — прервала Жозефина, — эти слова умрут — да!.. Они должны умереть вместе со мною.
Как я ни убеждал ее открыть мне эту тайну, все было напрасно. Я заметил только одно, что всякий раз, когда говорил с ней об этом, она начинала плакать; но эти слезы не были слезами горести.

Через три недели мы прочли в парижском журнале «Друг народа», что вскоре после убийства графини Ламбаль казнена была одна иностранка, и как, по обыкновению французских писателей, ни исковеркано было имя этой несчастной, но, к сожалению, нам нетрудно было отгадать в нем фамильное прозвание князей Лю......ких.

Исправник замолчал. Я слушал с большим вниманием его рассказ, но это не помешало мне заметить, что Зарецкий и Черемухин толковали о чем-то меж собою вполголоса, этот последний поглядел на свои часы, и в то самое время, как внимание наше было обращено на рассказчика, вышел потихоньку из кабинета.

— Ну, племянник,— промолвил, улыбаясь, хозяин,— что ты скажешь на это?

— Если б Алексей Дмитрич не был сам очевидным свидетелем этого происшествия,— отвечал Зарецкий,— то я сказал бы вам, что это просто сказки.

— Ну, а теперь что скажешь?

— Теперь скажу, что это странное стечение обстоятельств — не совсем обыкновенный случай, и больше ничего.

— Как ничего?

— Разумеется. Сон, который видела Жозефина, есть не что иное, как повторение того, о чем она беспрестанно думала наяву; и если б Казимира возвратилась благополучно из своего путешествия, то этот сон был бы забыт точно так, как тысячи подобных снов, которые не сбываются и о которых никто не говорит ни слова.

— Экой ты, братец, какой! Да ведь ты слышал, что это сбылось.

— Да что ж удивительного, когда из миллиона вздорных снов какой-нибудь один нечаянно сбудется! Например, если б жена морского офицера, который отправился кругом света, стала бы очень тосковать о своем муже, то, вероятно, часто бы видела во сне, что он утонул. И если в самом деле он погибнет на море, так вы скажете, что ей было это предсказано во сне?

— Да что ты наладил, племянник, во сне да во сне! Ведь ты слышал, что она видела это наяву.

— То есть ей казалось, что она не спала. Но, так и быть, согласен! Она видела это не во сне; так что ж? Разве не случается видеть наяву предметы, которые су-

ществуют только в одном расстроенном воображении нашем? Испытайте не поспать несколько ночей сряду, и вы увидите наяву такие диковинки, какие не пригрезятся вам никогда и во сне. Поговорите об этом с курьерами, которые скачут день и ночь, не имея времени соснуть ни на минуту. Я сам однажды видел на большой дороге, обсаженной одними липками, целые улицы огромных палат и дворцов, а, кажется, не спал и даже, чтоб не задремать и не свалиться с тележки, пел песни и разговаривал беспрестанно с ямщиком. Знаете ли, до какой степени может иногда приготовленное к чудесам воображение обманывать все наши чувства? Вот, например, теперь темная осенняя ночь, ветер воет, близко полуночи, и мы уже часа три сряду рассказываем друг другу страшные повести. Я уверен, что теперь каждый из нас, не исключая меня, гораздо более обыкновенного расположен к испугу и несравненно легковернее, чем во всякое другое время. Нечаянный стук, неожиданное появление какого-нибудь нового гостя, скрип двери, порыв ветра — одним словом, все может нас потревожить и показаться нам неестественным; и если б в эту самую минуту, как я с вами говорю, кто-нибудь, подмостясь, с надворья заглянул к нам в окно, то, без всякого сомнения, самое обыкновенное лицо показалось бы нам нечеловеческим.

— Вот еще вздумал чем пугать! — прервал хозяин, посматривая робко вокруг себя.

— Какой вздор! — сказал я, взглянув невольно на окно.

— Нет, не вздор! — продолжал Зарецкий. — Мы все имеем какую-то врожденную наклонность верить чудесному; и хотя страх — чувство вовсе не приятное, но мы любим это судорожное сжимание сердца, этот холод, которым обдает нас с ног до головы, когда нам кажется, что мы видим что-нибудь неестественное, и коль скоро мы дадим волю нашему воображению, лишь только оно возьмет верх над рассудком, то мы готовы верить всему, пугаться всего, и точно так же, как в сильной горячке хотя и сохраняем физические наши способности, а, несмотря на это, и видим, и слышим, и даже чувствуем все навыворот. Но вот, кажется, и полночь... чу!

На дворе стали бить часы.

— Как страшно завывает этот колокол, — продолжал Зарецкий, считая вполголоса удары. — Пять... шесть...

Не правда ли, что в этом звуке есть что-то могильное, зловещее? Восемь... девять... Как заунывно и протяжно раздается этот

Глагол времен — металла звон!..

Одиннадцать... двенадцать!.. Боже мой!.. Смотрите, смотрите!.. Что это?

Я вскрикнул, Кольчугин уронил на пол свою трубку, исправник и хозяин вскочили с своих мест, и все взоры, по направлению руки Заруцкого, обратились на одно из окон кабинета.

— Кой черт! — вскричал хозяин,— да что ж он видит? Не знаю, как вы, господа, а я не вижу ничего.

— И я также,— сказал Кольчугин, подымая свою трубку.

— Ах он проказник! — прервал исправник с громким хохотом,— смотри, пожалуй, как он всех нас переполошил! Ого! да ты, брат, славный актер,— продолжал исправник, обращаясь к Заруцкому.— Полно, полно, любезный! не кобенься — никого не обманешь.

Я взглянул на моего приятеля — нет, это не комедия! Его почти безумный и неподвижный взор был устремлен на среднее окно кабинета; все члены его дрожали, волосы стояли дыбом, а на помертвевшем лице изображался неизъяснимый ужас.

— Что ты, что ты, мой друг,— спросил я, подходя к нему,— что с тобою сделалось?

Заруцкий не отвечал ни слова.

— Не трогайте его,— сказал исправник,— он теперь на сцене и так сроднился с своею ролею, что не хочет с нею расстаться.

Вдруг послышались в коридоре скорые шаги, дверь отворилась, и вошел Черемухин.

— Фу, братец, как ты меня напугал,— проговорил Заруцкий, садясь на канапе,— насилу могу отдохнуть!

— Я тебя напугал? — повторил Черемухин.

— Да, ты.

— Чем, если смею спросить?

— Как чем? Я говорил тебе, когда часы на дворе будут бить полночь, чтоб ты при последнем ударе колокола заглянул к нам в окно, а никто не просил тебя закутаться в какой-то белый саван и надеть на голову женский чепец.

— Женский чепец?.. Что ты, в уме ли?

— Ну, вот еще!.. Запирайся!

— Помилуй, братец, да я и с крыльца не сходил.

— Что ты говоришь?

— Ну, да! Когда я вышел на крыльцо и увидел, что дождь льет как из ведра, так не погневайся, не заблагорассудил промокнуть до костей, чтоб для твоей забавы выкинуть проказу, за которую и маленьких детей секут.

— И ты не смотрел к нам в окно?

— Нет.

— Послушай, Александр! — вскричал Заруцкий, побледнев снова,— эта шутка никуда не годится.

— Какая шутка?.. Ах, батюшки! да что с тобою сделалось?

— Говори правду, я это требую.

— Тьфу, пропасть! да если ты мне не веришь, так ступай в переднюю и спроси у людей. Я тебе говорю, что я не только не заглядывал к вам в окно, но даже и с крыльца не сходил. Слышишь, какой идет дождь!.. Если б я был на дворе, то на мне бы сухой нитки не осталось, а вот, посмотри!.. На, пощупай мое платье!.. Ну, что, был ли я под дождем?

Приятель мой замолчал.

— Да разве ты в самом деле что-нибудь видел? — спросил я его вполголоса.

Он сжал крепко мою руку и прошептал прерывающимся голосом:

— Да, мой друг!.. Я видел... О, что я видел!

— Да что такое?

Заруцкий, не отвечая на мой вопрос и как будто бы говоря с самим собою, сказал:

— Кажется, сегодня суббота... Да! точно, суббота...

— А если хочешь, так и воскресенье: двенадцать часов уж било. Да скажи мне...

— Нет, мой друг! Быть может, это один обман моих чувств... Мне могло показаться!.. Но я видел это так ясно,— промолвил он, поглядев с невольным содроганием на среднее окно кабинета,— вот тут!.. против меня!..

— О чем вы, господа, там перешептываетесь?

— Так, дядюшка, ничего! — сказал Заруцкий, стараясь улыбнуться.

— Опять какой-нибудь заговор, чтоб перепугать нас,— подхватил исправник.— Да не трудитесь, господа! Не знаю, как другие, а я за себя отвечаю, два раза сряду не испугаете.

— Ну, не ручайся, любезный! — прервал хозяин.—

Если б ты знал историю моего дома и то, что некогда случилось в этой самой комнате, где мы теперь беседуем, то не стал бы так храбриться. Я давно уже здесь живу и благодаря бога никаких страстей не видывал, а как вспомню про эту ужасную историю, так, признаюсь, меня и в Петровки мороз по коже подирает.

— А, кстати, Иван Алексеевич! — подхватил исправник,— расскажи-ка нам это предание. Мне давно уже хотелось узнать подробнее об этом *ночном поезде*, о котором так много толкуют во всем нашем уезде.

— И, верно, всякий по-своему,— заметил хозяин.

— Да, каждый по-своему, в одном только все согласны, что эта сказка имеет какое-то истинное происшествие.

— А почему вы называете это предание сказкою? — спросил я исправника.

— Потому, что оно с начала до конца походит на сказку.

— А то, что ты нам сейчас рассказывал,— прервал с улыбкою Черемухин,— чай, по-твоему, история?

— О, это другое дело! — сказал я.— Появление умершей — это сообщение мира невещественного с миром земным; это гармоническое сочувствие душ, доказывающее небесное наше начало; и способность проявления в видимых формах существ, не подчиненных никаким физическим законам, может менее или более оправдаться понятием нашим об организации... то есть о внутренней способности существа бестелесного, которое в отношении своем к внешним предметам... то есть к видимому или, лучше сказать, к вещественному миру... Но, может быть, вы меня не понимаете?

— Помилуйте! — вскричал преважно Черемухин.— Как не понять, это ясно!

— Смейся, смейся! — прервал исправник.— О, человек совершенно земной! Ты понимаешь и веришь только тому, что дважды два — четыре.

— А тебе бы хотелось, чтоб дважды два было пять?

— Да что с тобой говорить! — продолжал исправник.— Расскажите-ка нам лучше, Иван Алексеевич, эту страшную историю, от которой, как вы сами говорите, и вас иногда мороз по коже подирает.

— Да уж не поздно ли, господа? — сказал хозяин.

— Ах, сделайте милость! — вскричал я.— Мне завтра поутру должно с вами проститься; так я, может быть, никогда ее не услышу.

— Ну, так и быть! — продолжал хозяин. — Только если вы станете зевать, так прошу припомнить, что теперь уже за полночь, и что благодаря бога мы все, кажется, бессонницей не страдаем. Ну, слушайте, господа!

НОЧНОЙ ПОЕЗД

— Давным-давно, то есть при царе Алексее Михайловиче... Или нет! при батюшке его, государе Михаиле Феодоровиче, это Хоперское поместье принадлежало стольнику Варнаве Глинскому, пращуру отца покойной Софьи Павловны, по смерти которых я купил его — говорят, дорого, а по мне, так задаром, — примолвил Иван Алексеевич, взглянув на окно, из которого днем видны были церковь и приходское кладбище. — Этот Глинский, — продолжал он, — славился в свое время не хлебосольством и разумом, не удальством и молодечеством, которые в крови у всякого русского, но буйством, развратом, грабежом и дневными разбоями, а что всего хуже, он был отъявленный чернокнижник и жил в ладу с самим сатаною. Десять лет сряду сидел он на Хопре, как дикий зверь на перепутье. Когда он выезжал с своею челядью и холопями позабавиться охотою или спускался вниз по реке на косной лодке с белым парусом, то все соседние мужички и бедные помещики дрожкой дрожали и, словно от татарского погрома, прятались по лесам и угоняли скот верст за двадцать. Ну, что ты на меня так посматриваешь, Алексей Дмитрич? Чай, думаешь про себя: вот какую околесную несет! А наша братья исправники-то на что?.. А земская полиция?.. Эх, любезный! Тогда было не то, что теперь; времена смутные: то поляки приступят к Москве, то Лисовский с своими налетами начнет разгуливать по матушке святой Руси; и ляхи, и татары, и ереси всякие, и бунты стрелецкие... Да что говорить! Было времечко для разбойников: погуляли, потешились, и кто бога не боялся, на того и суда не было. Так дивиться нечему, что этот богоотступник Глинский делал что хотел: грабил на больших дорогах, вешал и топил в Хопре земских ярыжек, сбирал оброк с своих соседей и держал в ежовых рукавицах сердобского воеводу, который не смел и носу показать из города. На место старых деревянных хором он выстроил эти каменные палаты, обнес их толстым дубовым тыном, наставил белых изб и клетей для своей

дворни — словом, сделал из господской усадьбы такой красивый посад, что и сам бы город Сердобск ему в пригородье не годился. Но зато бо́льшая половина его крестьян жила в землянках, приходская церковь совсем обвалилась, а колокольня в сильный ветер, словно ветхая голубятня, скрипела и покачивалась из стороны в сторону.

У этого Глинского была одна только дочь; бедняжка осталась еще в ребячестве сиротою. Глинский возненавидел свою жену за то, что она родила ему дочь, а не сына, осыпал ее беспрестанно ругательствами и под пьяную руку бивал чем ни попало. А так как он и в страстную пятницу разрешал на вино и елей, то не проходило почти дня, чтоб его жене не доставалось, и она, горемычная, месяцев через шесть после первых родов зачахла и умерла от побоев своего мужа. С тех пор прошло годов пятнадцать; бедная сиротинка росла да росла, и хоть ее житье было плохое и за ней почти никакого ухода не было, но она, как полевой цветок, который бережет и лелеет один бог небесный, так выровнялась и похорошела, что даже батюшка ее какой ни был зверь, а не мог подчас на нее не полюбоваться.

Несколько раз пытались окружные дворяне и сердобский воевода поунять разбой Глинского; но он всякий раз давал такой отпор, что надолго отбивал у них охоту с ним схватываться. Вот однажды удалось им собрать человек до пятисот стрельцов и вооружить холопей; они думали, что с такой силою им нетрудно будет не только захватить живьем Глинского и всю его шайку, но даже и каменные его палаты разметать по кирпичику, ан вышло совсем не то. Глинский встретил их на большой дороге с своими молодцами, которых и полсотни не было, а земскому войску показалось, что на него идет несметная рать. Холопи дрогнули и пустились наутек; стрельцы сначала подержались, да как увидели, что от Глинского пули отскакивают и бердыши об него ломаются, так на них нашел такой страх, что и они также ударились бежать без оглядки. Глинский с своей шайкою гнал их вплоть до городской заставы, втоптал в грязь и перерезал более половины, а сам воротился в свой разбойничий вертеп, не потеряв ни одного человека. После такой острастки не только все окружные дворяне, да и сердобский воевода нос повесил. Делать было нечего, пришлось на время покориться и, сидя у моря, ждать погоды. В Москве было не до них: к ней

подступали поляки, а гнева царского и опальных грамот Глинский не боялся. Одно только наводило на него страх и ужас: этот разбойник, которого ничем испугать было невозможно, этот злодей и чернокнижник Глинский трусил — как вы думаете — чего?.. Смешно сказать!.. Он до смерти боялся коршунов. С утра до вечера вокруг дома и села ходили люди с заряженными ружьями, и тот, кому, бывало, посчастливится застрелить коршуна, нес его прямо к дворецкому и получал от него два алтына денег и штоф романеи...

— Романеи! — прервал Заруцкий.— Извините, дядюшка, я не думаю, чтоб в старину простые люди пили штофами бургонское вино.

— Да кто тебе говорит о бургонском вине? у наших стариков важивалась настойка, которую звали романеею.

— Однако ж, известное бургонское вино...

— Зовут точно так же?.. Так что ж?.. Вот то-то, племянник, если б ты поменьше знал французских, а побольше русских слов, так не попадался бы впросак как безграмотный и не мешал бы мне рассказывать...

— Виноват, дядюшка, но я читал в одной критике...

— Эх, братец, охота тебе читать всякий вздор!.. Постойте-ка! на чем бишь я остановился?.. Да! на том, что Глинский боялся до смерти коршунов. Причина этого непонятного страха долго была для всех загадкою; но так как под конец все на свете открывается, так вот что дошло до нас об этом по изустному преданию. Глинский, точно, был чернокнижником и помыкал сатаною, как своим крепостным холопом. Да ведь лукавый даром ничего не делает: он пошел к Глинскому в кабалу, но только с тем условием, чтоб он также дал ему на свою душу рукописание, в котором было сказано, что на этом свете демон повинуется ему во всем, охраняет его от огня, воды, меча и всякого другого оружия и не имеет сам над ним никакой власти до тех пор, пока черный коршун не приютится под его кровлею и не совьет гнезда, чтоб жить вместе с белой горлинкой. Теперь и вам нетрудно будет догадаться, почему Глинский коршунов не жаловал и отчего бледнел и дрожал всякий раз, когда эта хищная птица появлялась над кровлею его дома.

Из всех своих челядинцев Глинский особенно любил одного молодого парня, который прозывался Соколом. И подлинно, он был детина удалой и годился бы в есаулы знаменитому Стеньке Разину. И его обычай, и чер-

ный с лоском ус, и окладистая борода, и рост, и сила богатырская — все в нем было по сердцу Глинскому. Никто не знал, откуда он был родом. Однажды в бурную осеннюю ночь приехал этот Сокол один-одинехонек на борзом персидском коне, вошел без доклада к Глинскому и объявил ему, что его зовут Андреем, по прозванью Соколом; что он из московских жильцов, что ему наскучило служить царю-государю и кланяться в пояс думным боярам и что, узнав о привольном житье Глинского, он приехал к нему нарочно за тем, чтоб предложить свои услуги. Глинский принял его в число своих приближенных челядинцев и через несколько месяцев до того к нему привык, что решился выдать за него свою единородную дочь.

Вот этак недели за три до свадьбы на отъезжем поле загорелось вдруг Глинскому повидаться со старинным своим приятелем, засурским помещиком Сицким, таким же, как и он, буяном и разбойником. Этот Сицкий лет десять сряду шатался по белу свету, приставал ко всем крамольникам, был года два лисовчиком и только что месяца три как воротился в свою наследственную вотчину. Глинский не любил ничего вдаль откладывать: он послал сказать Андрею Соколу, который на охоту не выехал, что препоручает ему на время свой дом, и, не сказав никому, куда едет, отправился прямо с поля в сопровождении двух или трех слуг в засурскую волость своего приятеля. Это неожиданное посещение очень обрадовало Сицкого; пошла гульба и пированье: господа с утра до вечера пили, ели, прохлаждались, песельники орали во все горло, крестьянки и дворовые девки играли в хороводы перед окнами, и во весь тот день на барском дворе был такой содом и гомор, что когда ударили в колокол к вечерне, то никому в голову не пришло и лба перекрестить. За ужином Сицкий стал похваляться своим удальством и рассказывал, как он остановил на большой дороге целый обоз и выпряг для себя из возов что ни лучших шесть коней, как он среди бела дня сделал порубку в заповедном лесу у соседа и во все лето кормил свои табуны подножным кормом на чужих полях.

— Ну, есть чем похвастаться! — сказал Глинский, подбоченясь.— Ах ты, горе-богатырь! Видно, у вас по Суре-то все молодцы перевелись. Удалось тебе выпрячь шесть кляч из возов, нарубить дровец в чужом лесу да пощипать у соседа травки, так ты и лба не уставишь —

и это, по-вашему, удальство? Ох вы, щепетильники, щепетильники!.. Нет, любезный! мы на Хопре не так потешаемся: выедем погулять, да как разыграется кровь молодецкая и расходятся руки богатырские, так после нас шаром покати — чистехонько, как у тебя на ладони! Бери все, что ни попалось, души всякого, кто ни повстречался! Мы ведь не по-вашему: на большой дороге с подьячим тягаться не станем, с купцом не торгуемся; а коли захватили целую семью горожан, так мигом суд и расправа: старуху-мать в Хопер, братца — кистенем по лбу, отца — на осину, а дочку на барский двор — вот это удальство!.. Да постой-ка, любезный, у меня будет в Фомин день, ровно через две недели, большое веселье — пир на весь мир — дочь выдаю замуж. Милости просим на свадьбу в посаженые отцы к моей Варваре, а там выедем поохотиться на большую дорогу, и ты посмотришь сам и расскажешь своим засурским приятелям, как на Хопре веселятся добрые молодцы.

Хозяин обещался приехать, а Глинский, погостив у него денька три, отправился в обратный путь и доехал благополучно домой.

Вот уж остался один день до свадьбы, вот и девичник справили. Беззащитная дочь Глинского заливалась горькими слезами: она была девица кроткая, благочестивая и не могла подумать без ужаса, что будет женою этого разбойника Сокола. Три ночи уж сряду бедная сиротинка рыдала и молилась перед святыми иконами; днем она не смела ни плакать, ни молиться: злодей Глинский грозился убить ее из своих рук, если она станет грустить или хоть наморщится, когда священник поведет ее вокруг налоя. Вот наступил и Фомин день, отпели заутреню, ударили к часам, а Сицкий все не едет. Вот и обедня отошла, а посаженого отца нет как нет. Я вам уж сказывал, что Глинский не любил ничего откладывать, и когда заблаговестили к вечерне, то он закричал как бешеный: «Не хочу дожидаться посаженого отца! Ступайте под венец!» И вот длинный поезд потянулся от барского двора до церковной паперти. Вечерня кончилась, и началась венчальная служба. Стоя перед налоем подле будущего супруга и повелителя, полумертвая сирота глотала свои слезы, старалась улыбаться и тихо, но твердым голосом отвечала на вопросы священника; словом, все было в порядке, а, несмотря на это, старики покачивали головами. «Эх, не ладно! Эх, не к добру!» — шептали меж собою все барские ба-

рышни и сенные девушки. И подлинно, было чего испугаться: свеча, которую держала молодая, пылала ясным и чистым огнем, но та, с которою стоял Сокол, горела тускло, дымилась, как погребальный светоч, и без всякой причины три раза сряду гаснула.

Когда венчанье кончилось, то Глинский, как сущий богоотступник, не дав молодым приложиться к местным иконам, повел их вон из церкви, и поезд двинулся обратно на барский двор.

— Что это шумит там, вдали? — спросил Глинский, садясь на коня,— уж не едет ли наш запоздалый гость?

— Никак нет, барин! — отвечал один из слуг.— Нам гостей надо ждать не с этой стороны. Ведь это что-то гудит там, за Волчьим оврагом.

— Вы, господа, все хорошо знаете этот овраг,— продолжал Иван Алексеевич, обращаясь к своим собеседникам,— теперь зовут его Чертовым Беремищем. Он был в старину сборным местом шайки Глинского и кладбищем всех проезжих, зарезанных разбойниками на большой дороге.

— Это верстах в двух от вашего дома? — сказал я.

— Нет, версты полторы, больше не будет,— отвечал хозяин.— Ну вот,— продолжал он.— Молодые уселись за свадебный стол; пошло пированье,— заздравный кубок начал переходить из рук в руки, все начали пить и веселиться; один только Глинский сидел, нахмурив брови, и прислушивался с беспокойством к отдаленному гулу, который час от часу становился сильнее. Вот уж дело пошло за полночь, вдруг двери настежь отворились, и давно жданный гость, приятель Сицкий, вошел в столовую.

— Хорош посаженый отец! — вскричал хозяин, вскочив из-за стола и идя к нему навстречу.— Уж мы тебя ждали-ждали, да и ждать-то перестали.

— Виноват, любезный,— отвечал Сицкий,— позамешкался, выехал из дому, да вот у твоей околицы близко часу провозились. Что за диковинка такая?.. И подо мной и под моими холопями кони словно белены объелись: храпят да упираются! Уж мы бились-бились, ну, хоть зарежь — ни с места! Я оставил моих ребят в поле, а сам дошел пешком до твоего дома. Да что, иль к тебе еще гости едут?.. Вон там, правее, за лесом такой шум, гам и свист, что и сказать нельзя. Ну вот, слышишь?

— Слышу,— отвечал Глинский, посматривая робко вокруг себя,— но только я никаких гостей не жду.

— Постойте-ка, дядюшка,— прервал Заруцкий,— никак ваш рассказ на деле свершается? Слышите ли, какой гул идет за дубовой рощею?

— Видно, ветерок разыгрался,— сказал Иван Алексеевич, взглянув на окно.— Ведь здесь как подымется погода, так по оврагам и перелескам пойдет такой вой, что и боже упаси!.. Да не перерывай меня, племянник!.. Ну, вот опять сбил!.. Да!..

— Но что ж мы стоим у дверей,— продолжал Сицкий,— подведи меня к молодым.

— Вот они! прошу любить и жаловать,— сказал хозяин, подходя с своим гостем к столу, за которым сидели новобрачные.

— Ба, ба, ба! — вскричал Сицкий, отступая с удивлением назад,— что это?.. Уж не мерещится ли мне?.. Нет!.. Так вот твой зять! — промолвил он, указывая на Сокола, который вдруг побледнел как мертвец.

— Ну да! чему ж ты дивишься?

— И ты выдал за него свою дочь?

— Так что ж? Он дворянского отродья, служил жильцом в Москве и хоть роду не знаменитого...

— Да, братец, да! Он точно роду не знаменитого,— подхватил с громким хохотом Сицкий,— его мать была цыганка, а отец — татарин.

— Ты лжешь! — закричал Глинский.

— Да если я лгу, так что ж твой дорогой зять не вымолвит ни словечка? Иль у него язык отнялся?

В самом деле, Сокол сидел как приговоренный к смерти и не только не мог выговорить ни слова, но не смел поднять глаз и взглянуть на своего тестя.

— Не ведаю, служил ли он жильцом в Москве,— продолжал насмешливо Сицкий,— а знаю наверно, что во всей лагерной челяди панов Лисовского и Сапеги не было ни одного коновала досужее и коновала удалее твоего любезного зятюшки.

Около минуты просмотрел Глинский молча на своего зятя; вдруг глаза его засверкали, и он сказал грозным голосом:

— Все равно! Теперь он зять мой и, если кто-нибудь дерзнет порочить Андрея Сокола...

— Да разве его зовут Соколом? — спросил Сицкий.

— А почему же и не так? Он молодец из молодцов и поделом прозывается ясным Соколом.

— О, если так, то прошу прощенья! — подхватил Сицкий.— Коли он заелся в чины, так, видно, в самом деле был на службе царской. Шутка ли, подумаешь! из коршунов махнул прямо в соколы.

— Из коршунов? — вскричал Глинский.

— Ну да! его теперь прозывают Соколом, а в наше время он звался просто Черным Коршуном.

— Черным Коршуном! — повторил страшным голосом хозяин.

Взоры всех присутствующих невольно устремились на Глинского, все с трепетом ожидали чего-то ужасного. Вдруг завыл буйный ветер, погасли свечи перед святыми иконами, а над трубою дома закаркал ворон и прокричал человеческим голосом:

— Глинский! черный коршун приютился под твоею кровлею!

— И свил гнездо, чтоб жить вместе с белой горлинкой,— промяукал мохнатый кот, выглядывая из-за печки.

Стук, стук! — раздалось под окном, и отвратительный сиповатый голос прохрипел:

— Глинский, выходи на крыльцо, принимай гостей!

Вдруг сверкнул в руке Глинского широкий нож, и Сокол повалился мертвый на землю. Как безумный бросился убийца вон из столовой и пробежал в эту самую комнату, где мы теперь сидим и в которую кроме его никто не хаживал. Он схватил большую книгу в черном переплете, хотел ее раскрыть — да не тут-то было! Железные застежки как будто бы спаялись, книга не развертывалась, а за лежанкою и по всем углам поднялся такой нелепый хохот, что чародейная книга выпала из онемевших рук его. Меж тем все небо вспыхнуло и зарделось, как от сильного пожара, и тут-то начался этот *ночной поезд*, который, по словам стариков, каждые двадцать пять лет в тот же самый день и час повторяется и поныне в этом доме. По дороге от Волчьего оврага показались незваные гости; вокруг их ревела буря, и от конского топота широкие поля тряслись, как зыбкое болото. Впереди всех ехал на лошадином остове удавленный накануне свадьбы купец в белом саване; за ним тянулся длинный ряд мертвецов: кто с перерезанным горлом, кто с размозженной головой, и при свете кровавого зарева не видно было и конца этому ужасному

поезду. Они подъехали к барскому двору, с громким скрипом распахнулись ворота...

Иван Алексеевич замолчал.

— Ну что ж вы, дядюшка, остановились? — спросил Заруцкий.

— Постой-ка, брат Алексей! — шепнул хозяин,— что это такое?.. Слышите?

— Да,— сказал Кольчугин,— это уж не ветер воет.

Мы все стали прислушиваться: в самом деле, что-то похожее на свист, песни и громкий человеческий говор сливалось с воем ветра. По временам можно было даже различить стук колес по неровной дороге и сильный конский топот.

— Кому бы, кажется, ехать так поздно? — промолвил почти с робостию хозяин.— Большая дорога отсюда далеко, а к себе я никого не жду. Уж не подгулял ли мой приказчик? Чего доброго, пожалуй, вздумает прокатить гостей по селу. Ведь он сегодня справляет свои именины.

— А как его зовут? — спросил я.

— Его зовут Фомою.

— Фомою! — повторили мы все в один голос и взглянув невольно друг на друга.

— Итак, сегодня Фомин день? — сказал я.— Тот самый, в который...

— Чу! — вскричал исправник.— Слышите ль?.. Отпирают ворота!

Вдруг как будто бы целая ватага пьяных с неистовым криком хлынула на барский двор, как бешеные подскакали к подъезду, и шум от скорых шагов, по-видимому, многолюдной и буйной толпы людей раздался на крыльце. У нас в комнате было тихо, как на кладбище, мы все едва смели дышать; один Кольчугин казался поспокойнее других, но зато на хозяине и на остальных гостях лица не было.

— Господи боже мой,— прошептал, заикаясь, Черемухин,— да что ж это такое?.. Слышите ли? они в сенях... Если это гости, так зачем они нейдут налево, в переднюю? Они подходят к нашей стене... Чу!.. Что это?

Вот с треском и громом посыпались кирпичи и отбитая штукатурка на каменный пол сеней.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вскричал хо-

зяин.— Слышите ль? они проламывают закладенные двери!.. Они хотят ворваться в эту комнату!.. Так точно!.. Господа, это *ночной поезд!*

Мы все повскакали с наших мест. Стук беспрестанно увеличивался. Вот уж в стене остается один только ряд кирпичей... Мы ясно слышим какой-то странный говор, крик, дикий хохот... Вот падают последние кирпичи... Один только ковер, которым прикрыты были закладенные двери, отделяет нас еще от сеней. Вдруг свежий, холодный воздух врывается в наш теплый покой, ковер начинает колебаться, и мы все бросаемся стремглав вон из комнаты.

— Тише, господа, тише! — закричал Кольчугин.— Вы перебьетесь до смерти: здесь так темно, что зги не видать!

И подлинно, мы все как полоумные бежали по коридору, спотыкались, падали и давили друг друга. Вот кой-как мы выбрались на простор, но все еще в потемках. Парадные комнаты не освещены; только в одной столовой светится огонек: мы бросились туда. Все люди Ивана Алексеевича, робко прижавшись один к другому, стоят в куче посреди комнаты; в передней никого, а в сенях ужасная возня, которая вовсе не утихает, а становится час от часу сильнее.

— Да что ж мы, в самом деле, так опешили? — проговорил наконец Кольчугин.— Нас человек двадцать: чего нам бояться? Я один-одинехонек ужинал с целой дюжиной чертей, да ведь ничего же со мной не было. Эх, господа! что робеть, то хуже! Дайте-ка мне свечу!.. Ну-ка, ребятишки, перекреститесь да с молитвою за мной!

Мы все толпою двинулись за нашим предводителем. Почти рядом с ним шел хозяин, а позади всех, едва переставляя ноги, тащился насмешник Черемухин. Вот мы вошли в переднюю. Кольчугин приостановился у сенных дверей, оградил себя крестным знамением; мы все — и слуги и господа — кто про себя, кто вслух творили молитвы, и хотя трепещущим голосом, но громче всех восклицал: «Да воскреснет бог!» — наш полумертвый от страха ариергард. Кольчугин, держа в одной руке свечу, толкнул другою в двери; они распахнулись. Все наше христолюбивое воинство заколебалось, попятилось назад и примкнуло к ариергарду, который сделал уже налево кругом и приготовился к ретираде.

— Смелым бог владеет! — закричал Кольчугин, переступая через порог.

И что ж?.. О чудо!.. Вдруг все замолкло: и стукотня, и шум, и крик. За Кольчугиным вошел хозяин, за ним — исправник, я и Заруцкий, за нами — вся толпа слуг, а часть ариергарда, то есть Черемухин остался в лакейской и высунул только из дверей свою голову. Наш храбрый предводитель поднял кверху свечу: в сенях никого! Мы кинулись к закладенным дверям; ни один кирпич не выломан, штукатурка не обита; кругом все смирно, тихо; половая щетка, приставленная к стене, и несколько изломанных стульев стоят преспокойно на своих местах; дверь на крыльцо заперта, и даже крючок не вынут из пробоя...

На другой день рано поутру я простился, и, к несчастью, навсегда, с добрым и почтенным Иваном Алексеевичем. Я думал прожить несколько дней в Сердобске, чтоб похлопотать о своем деле, но вместо того должен был провести целый месяц в деревне Заруцкого. Бедный мой приятель едва не умер от отчаяния: он оставил свою невесту совершенно здоровою и нашел ее в гробу. Она занемогла поутру в субботу, а ночью на воскресенье, *ровно в двенадцать часов,* скончалась, назвав его в последний раз по имени.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

ЗАПИСКИ БОГДАНА ИЛЬИЧА БЕЛЬСКОГО

/ ИЗ ЦИКЛА /

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтоб они были как можно короче, но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием, или, как говорилось в старину, кратким *возглашением*.

Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы!

Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтоб уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок.

Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи; по словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея, кто он таков и от кого прислан, отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти! — вскричал я,— верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы! Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан *по долгу службы* читать почти каждый день драматические про-

изведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром!..» Я распечатал пакет: письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь; однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского.— Прочтем, что он ко мне пишет.

«Милостивый государь! (я не прибавлю *мой,* потому что вы старее меня чином)».

— Ого,— подумал я,— да это какой-то старовер! Он еще держится правила: «Чин чина да почитает». Посмотрим, чего он от меня хочет.

«Я вас давно уже знаю, мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах, вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Бельского могло бы, по всей справедливости, принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях; следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе нечиновному, потому что у нас,— да, я думаю, и везде,— для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно или, лучше сказать, грустно было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского! Но я, может быть, надоел вам моей болтовнею, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело: я давно уже веду записки,— не о домашней моей жизни: в ней не было ничего особенно замечательного,— но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей, относительно их частного, политического и исторического быта. Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир — разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России; в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдель-

ные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; простодушное гостеприимство добрых сибиряков; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев; способность к письменным делам и необычайное уменье скрывать под простой и тяжелой наружностью ум самый сметливый и хитрый — наших некогда воинственных малороссиян; <...> страсть к псовой охоте степных помещиков; щегольство богатых купцов отличными рысаками; безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые несмотря на это не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью; ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь; одним словом, вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва — сердцем. Москва — богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник; впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку более меня искусному, где должен он искать не одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых — это правда, но ведь золото везде редко, а томпак, семилер и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червонное золото, право, не стоят нашего простого железа... Да об этом после; дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки.

Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове; мы с ним люди знакомые — я даже прошлого года крестил у него сына.

«Чего ж лучше,— подумал я,— мой куманек тридцать лет занимается книжной торговлею, так уж, верно, сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать,

обертка — одним словом, все, а может статься, и манускрипт у меня купит: это было бы всего лучше».

Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери.

— А, любезный куманек! — вскричал я,— милости просим... Очень кстати! ведь у меня есть до тебя дельце.

— Рады служить, Богдан Ильич! что прикажете? — сказал Корешков с низким поклоном.

— Садись-ка, любезный!.. Вот изволишь видеть: ты знаешь мои записки?

— Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные этакие штучки — очень интересно!

— Я хочу их напечатать.

— Ну что ж, сударь, с богом!

— Да вот что: я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение: я дешево продам.

— Нет, Богдан Ильич,— извините! Мы этим не занимаемся. Дело другое на комиссию...

— Впрочем,— продолжал я с видом совершенного равнодушия,— для меня все равно, книга моя не залежится. Уж одно название этих записок разлакомит покупщиков: «Москва и москвичи»!

— Да-с! название бенефисное.

— А как ты думаешь, куманек, дорого мне будет стоить напечатать эту книгу?

— Да если всю, так не дешево-с.

— Как всю? да разве можно будет печатать ее по частям?

— А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная, то есть не то чтоб какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге: «Сто писателей», «Сказка за сказкой» и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе: «Часть первая», «Выход» или «Выпуск первый».

— Да разве это не все равно?

— Помилуйте! уж кто написал «Часть первая», так как будто бы обещает вторую часть непременно, а «Выпуск» что значит?.. Будет, дескать, время, так выпущу другую, а нет — так не прогневайтесь!..

— А что ты думаешь? ведь это правда.

— Как же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура и можно дешевле пустить, так авось и поразбе-

рут, а там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью — сколько душе вашей угодно.

— Спасибо, куманек, за добрый совет. Итак, решено: я буду выдавать мои записки отдельными книжками; их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика.

— Да-с! только смею вас спросить: вы объявите свое имя?

— Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским.

— А, понимаю-с! это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим... как бишь они называются?

— Псевдонимы.

— Да-с! точно так-с. Только, воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с! это не даст ходу вашей книжке.

— Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?

— Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе неизвестный. Вот если бы вы уж печатали да вас разика два похвалили в «Библиотеке», в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» или в «Русском вестнике», так это бы другое дело, а хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом...

— Да что ж еще надобно?

— Имя, сударь, имя! это всего нужнее в нашей книжной коммерции.

— Да где ж мне прикажешь его взять?..

— Вот то-то и дело! Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают?.. Попросите его...

— Что, что,— вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел,— да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?

— Позвольте!..— прервал Корешков, вставая также с своего стула.

— Чего тут позвольте! — продолжал я весьма неравнодушно.— Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам!.. Я трудился, писал, и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой...

— Да выслушайте, Богдан Ильич...

— Полно, кум! вы все, торгаши, на один покрой. Что такое для вас книга? — товар — и больше ничего!

Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник — одно и то же...

— Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он ходчее идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? ведь я хотел вам сказать: попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок...

— Какой вздор! да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?

— А как же, сударь? всякий скажет: «Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель».

— Ну, ну! хорошо! — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось,— может быть, куманек, ты и дело говоришь. Да кого же я стану просить об этом?

— Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть, недалеко идти: г-н Загоскин... Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель — нет! есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал «Юрия Милославского», попал в народность, да и пошел пописывать разные романчики, а там опера «Аскольдова могила»... Что за опера такая!.. Вы изволили ее видеть?

— Как же!.. И ты думаешь, что г-н Загоскин согласится?

— А почему знать? попробуйте!..

— Я напишу к нему письмо.

— Да знаете ли, этак, повежливее — польстите ему... «Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем...»

— Куманек! а не ты ли сейчас говорил...

— И, батюшка! да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой — ну что за дело? бумага все терпит!..

— А если он подумает, что я над ним смеюсь?..

— Не подумает, батюшка!.. Знаем мы этих сочинителей! Иной ломается так, что не приведи господи!.. «Мы да мы!» — а что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале!.. Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда, по надобности, начнешь хвалить иного в глаза — русским Вальтер Скоттом назовешь... Верите ль богу, самому стыдно — а он лишь только ухмыляется. Уж, видно, они все родом так, батюшка!

Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтоб склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям и в особенности вам, милостивый государь.

С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою

Богдан Бельский».

Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня г-н Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел: г-н Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно, но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного г-на Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за г-на Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого — кривым? Ведь и того и другого исправит одна только могила,— так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что г-н Бельский человек не злой; он только немного крутенек, подчас бывает слишком откровенен да любит иногда придержаться известного правила,

Что вовсе не грешно
Над тем смеяться, что смешно.

МОСКОВСКИЙ СТАРОЖИЛ

> Воскреснем ли когда от чужевластья мод,
> Чтоб умный, добрый наш народ,
> Хотя по языку, нас не считал за немцев.
>
> *Грибоедов*

Если б я писал роман, то, конечно, не имел бы никакой надобности знакомить с собой моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения, следовательно, должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе моим, надеюсь снисходительным и, без всякого сомнения, многочисленным, читателям. «Многочисленным!» Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель; разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений. Поверьте мне: все эти ссылки на друзей, *по настоятельной просьбе которых* будто бы книга печатается,— одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем *для всех* и очень бы оскорбились, если б нас прочли одни только приятели.

Кто из москвичей не знает Пресненских прудов, но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов, в узких и кривых переулках, которые довольно круто подымаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу, под самой горой, часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своей *трехгорной* водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежав по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река; прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево подымается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного Замоскворечья. Этот вид везде бы назвали прекрасным, но в Москве уж верно никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами; мы встречаем их на каждом шагу и привыкли

смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своей роскошной красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе незамечательны как реки, но зато какие у них живописные берега!

В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти безвыездно с 1814 года, то есть двадцать восемь лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время, что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу, участвовал в Бородинском сражении, был в деле под Тарутином и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем, где разбитый неприятель должен был, к явной своей гибели, вместо сытной и привольной Калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастию, зимние холода еще не наступили, несмотря на то что *побежденный неприятель бежал уже из России совершенно разбитый и расстроенный.* Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишут о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей; но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под Малым Ярославцем, если б французов победил и выгнал из России один только зимний холод. Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а меж тем не были так же, как я, под Малым Ярославцем, то легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он, без всякого сомнения, назовет *квасным,* говорю неправду; в таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Д. В. Давыдов. Он доказывает *фактами* и словами самих неприятелей, что первые весьма легкие морозы начинались спустя три дня после сражения под Малым Ярославцем, следова-

тельно, французов гнал из России русский штык, а не русский мороз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России.

Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе!.. «Москва! Да где же она?» — спросил я с удивлением. «Вот, батюшка!» — отвечал ямщик, указывая перед собою. Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своею матерью, цветущею здоровьем и красотою, возвращается домой, спешит обнять ее, спрашивает, где его родная — и ему, указывая на каменную плиту, отвечают: «Ты ищешь своей матери — вот она! под этим камнем». О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горчее того, как заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины... Развалины! нет, под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши; а это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились, этот бесконечный лес из одиноких, почерневших труб и кой-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами... Развалины!.. Мы любуемся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбека с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело подымаются высокие пальмы,— да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никаким грустным чувством; над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины как на древний могильный памятник, заросший травою: он нравится вам своей формой, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти, вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а теперь спит непробудным сном... А Москва? О! Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою!.. Но что говорить об этом! Благодаря бога, Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда,— да зато подпалила

крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти.

Когда я доехал до Кудрина, сердце мое сильно забилось. «Что-то мой домик на Никитской? — думал я.— Почему знать? может быть, и уцелел!» Вот уж я проехал Никитские ворота — вон мой приход... Церковь цела, быть может, и мой дом... Нет! вот он, голубчик, без кровли!.. Вот венецианское окно, которым освещалась моя парадная гостиная... оно без рам... кругом все покрыто копотью... Эх, если б уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил!. Подъезжаю поближе... Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как напоказ! Вот столовая с узорчатым лепным карнизом, вот диванная с двумя колоннами под мрамор, а вот — так точно, мой кабинет... Праведное небо! Кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою... в нем приютились извозчики!.. Он служит им биржею, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина!.. «Разбойники! — закричал я.— Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским Атенеем, а вы сделали из него конюшню!..» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричал неистовым голосом: «Вон отсюда!» — они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздывать. Но горе меня одолело: я махнул рукою, велел ехать на постоялый двор и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали; из двадцати изб осталось пять, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела какая-то баня с передбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мною было несколько денег; я, сколько мог, пособил крестьянам обзавестись всем необходимым, прожил в предбаннике целый год, продал две трети моего именья, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков, потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву.

Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе.

Изо всего предыдущего вам нетрудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет от роду, да боюсь огорчить моих ровесников, тем более что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси господи! Правда, и они всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уж лет тридцать восемь служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнет мне сорок лет!» Но, однако ж, все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром; впрочем, почему ж и нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины, если б только они могли говорить, не имели бы права сказать с гордостию: «Посмотрите, какой я был великолепный город!» Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиною; и теперь еще современницы мои, московские старушки, не шутя говорят, что я очень моложав и если б только побольше стягивался, красил волосы да одевался по моде, так мог бы еще — этак в сумерки — показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий, близких родных у меня нет, а женат я никогда не был — не потому, чтоб я не хотел жениться, да как-то все не случалось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак, с глупцом, опускающим руку в мешок, чтоб вытащить из него угря, который лежит один-одинехонек в этом мешке с целой сотнею змей. Боже меня сохрани поверить этому грубияну! Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтоб будущая моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастия. Во-первых, я желал, чтоб моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества, к которому и я принадлежу, то есть чтоб она была дворянкою; за этим, кажется, у нас дело не станет; во-вторых, чтоб она была женщина с обра-

зованием — и это бы еще ничего: у нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно; да вот что беда: я хотел, чтоб девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую *мудемуазель,* ни на немецкую *фрайлейн,* ни на английскую *мисс,* а была бы просто образованная, просвещенная *русская барышня,* которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая: я хотел, чтоб русская барышня была русская, а вот тут-то именно и вышел грех! Уж я искал, искал! Сначала в Москве, что за странность такая? Встречался я с девушками очень любезными, милыми; посмотришь — иная по всему мне пара: я охотник до музыки — она большая музыкантша; я порядочный знаток в живописи — она от нее без памяти; я люблю словесность — она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из «Новой Элоизы»; я страстен к истории, она читала «Анахарсиса», Гибона и даже Боссюэта. Все это прекрасно, да вот что худо: начну говорить по-русски — мне отвечают по-французски; заведу речь о русских художниках — и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досады готов сквозь землю провалиться. Наших родных писателей она знать не хочет, а об русской истории и не заикайся — как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии; другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным; третья сбирается еще только в Париж, а уж к ней и приступу нет. «Постой! — подумал я,— дай поищу русскую барышню в провинции». Что ж вы думаете? И там то же самое! Правда, случалось иногда, в каком-нибудь уездном городке, познакомиться с девушкой, которой и наружность мне понравится, и обычай придет по сердцу: с ног до головы русская. Хвалит все свое, любит в мороз прокатиться на лихой тройке, летом — в горелки поиграть, об святках золото хоронить и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их на чем свет стоит. Чего же, кажется, недостает? А вот чего: она, конечно, говорит со мною всегда по-русски — да это потому, что не знает никакого другого языка; не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз, другой, а там и скучно. О чем ни заговоришь, все невпопад: заведешь речь об изящных

художествах — она начнет посматривать то направо, то налево; перейдешь к словесности — она и ротик разинет да примется зевать — очень мило — это правда, но ведь зевота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? «Ах, боже мой! — думал я, — что это за неуловимое существо такое русская барышня?.. Уж полно, есть ли на свете русская барышня?.. Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор: «У русского-де народа натура такая: немножко дай форсу, тотчас и зазнается». Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь, получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только кстати сказать: «Кесексе, киселя?» *, так уж все русское будет ей нипочем. Ну, делать нечего, видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды».

Надобно вам сказать, что все это происходило лет двадцать пять тому назад. Вот я жду-пожду, а время идет да идет. Я живу на своих Пресненских прудах, хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником: и у меня бывают люди, и я выезжаю в свет — посматриваю, замечаю, прислушиваюсь; худо, очень худо! все по-старому! Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанит да вторит во всем французам, словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени стали мне встречаться русские барыни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские; следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он, как клад, не дается, а время летит да летит. Вот, наконец, стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают гораздо чаще прежнего похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пяти сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Юго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала проявляться необычайная деятельность: начали писать не только стихами, но и прозою, рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения

* Что это такое? *(искаж. фр.)*

совершенно русские, народные; любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества; одним словом, все предвещало, что эта безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется на каком-то гулянье, осанистый русский купец шел вместе с своею дочкою, разодетою по последней моде. Около нее увивался франтик с козлиной бородкою, в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот *лев* суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной; они начали спорить, и Матрена Карповна отпустила нижеследующую фразу: «Финисе, финисе, кель гонт! * Уж вы и этого не знаете, что это не клек, а бурнус... ах, ву!» Я готов был прыгать от радости, а особливо когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже, потихоньку от своих стариков, без милосердия позорят матушку святую Русь. «Славно! — говорил я, потирая руки.— Славно! Дело идет отлично хорошо! Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух:

— Ну, кажется, теперь пора, теперь я найду для себя невесту!

— Что вы это, батюшка Богдан Ильич, бог с вами! — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик,— где уж нам с вами думать о невестах.

Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились.

— Честь имею вас поздравить,— прибавил этот злодей,— с днем вашего рожденья! вам сегодня ровно стукнуло...

— Знаю, братец, знаю! — прервал я с досадой.

---

* Полноте, полноте, какая честь! *(искаж. фр.)*

— Да извольте, сударь, бриться,— сказал, помолчав, Никифор,— вода простынет. Волосы-то у вас больно жестки стали... с тех пор как у вас борода поседела...

— Да отвяжись! — закричал я.— Ну, что ты пристал? я не хочу бриться!

И, чтоб доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь.

— Впрочем,— продолжал я вполголоса, разгибая книгу,— полно, не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины такие капризные, своевольные создания, такие...

Я готов был произнести ужаснейшую клевету, готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе: книга раскрылась, как будто бы нарочно, на известной басне «Лисица и Виноград». Ну, уж если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книге под столом!

Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде; а что делаю и чем занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку.

МАРЬИНА РОЩА

> Вы можете смеяться, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки.
>
> *Карамзин*

Куда подумаешь, как богата наша матушка-Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого, а уж в этом мы вовсе не нуждаемся. Взойдите летом на Ивана Великого, взгляните кругом, и вы увидите перед собою не город, а беспредельное зеленое море, усыпанное домами. Уверяю вас, это вовсе не пиитическая выходка, а самое верное выражение истины. Исключая середину города, где строение по большей части сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было бы хотя маленького садика или по крайней мере нескольких кустов

бузины и акации. В Москве считается садов публичных шесть, ботанический один, частных *тысяча двадцать четыре* и пятнадцать бульваров, из которых иные могут назваться садами. Из городских садов, открытых для публики, самые лучшие: Дворцовый сад за Москвою-рекою, Нескучное, Лафертовский, или Слободской, сад и Пресненские пруды. Кремлевские сады прекрасны, но они более походят на затейливые бульвары, чем на сады. Весной лучшее московское общество гуляет до обеда на Тверском бульваре, а купцы после обеда в кремлевских садах. В этих же садах есть довольно обширный луг, который так же, как и Тверской бульвар, может назваться аристократическим гуляньем, но только не взрослых, а детей. Всякий раз, когда мне случается проходить кремлевскими садами весной, часу в двенадцатом утра, я останавливаюсь и смотрю иногда по целому часу на веселые игры и беготню этих милых крошек, любуюсь их прелестными нарядами и гляжу также с некоторым удовольствием на этих, по большей части молодых и щеголевато одетых, нянюшек, которые, играя в горелки и мячики со своими малютками, посматривают украдкою на проходящих и, обдергивая измятые платьица детей, не забывают приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовые косынки.

Не знаю, существует ли еще в Петербурге знаменитый сад г-на Ганина, если уж он опустел и зарос, если его дощатая башня-*древлянка* развалилась и деревянный Вольтер перестал кланяться всем гуляющим, то я могу сказать его поклонникам: «Утешьтесь! тип этих садов не вовсе погиб: у нас в Москве есть также сад, который едва ли еще не затейливее сада г-на Ганина. Он не велик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот! Какое дивное смешение истины с обманом! Вы идете по крытой аллее, в конце ее стоит огромный солдат во всей форме. Не бойтесь! он алебастровый. Вот на небольшой лужайке, посреди оранжерейных цветов, лежит корова... Какая неосторожность!.. Успокойтесь! она глиняная. Вот китайский домик, греческий храм, готическая башня, крестьянская изба, вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль! Одним словом, вы на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятине

земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что он благодаря радушному хозяину открыт для всех, желающих полюбоваться его затейливым разнообразием».

Наши загородные гульбища также очень многочисленны; у нас есть свой *пратер,* свое *тиволи*; оба эти названия вы можете прочесть в афишах, в которых с таким красноречием приглашают вас за тридцать копеек серебром гулять сколько вам угодно по тенистым дорожкам, смотреть безденежно на *чрезвычайные* представления эквилибристов, быть зрителем морских сражений, происходящих на покрытых зеленью прудах и узеньких канавах, восхищаться пятидесятирублевым фейерверком или дивиться изобретательности ума человеческого, смотря на воздушный шар из китайской бумаги, который, как извещают обыкновенно в афишках, *будет пущен при звуках военной музыки.* Петровский парк, Останкино, Сокольники, Марьина роща и Петровское-Разумовское — вот загородные гулянья, более других посещаемые московскими жителями. Я не говорю уже о прогулках в Коломенское, Кусково, Кунцево и еще несколько далее от Москвы: в Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцово, Марфино, Кузьминки — все эти царские потешные дворцы и подмосковные русских бояр, очаровательные или местоположением своим, или роскошью своих садов, открыты для всех посетителей.

Я люблю вообще противоположности: вечное лето мне точно так же бы надоело и сделалось несносным, как и беспрерывная зима. Мне приятно иногда провести ночь на пышном бале, в кругу лучшего московского общества, полюбоваться великолепным убранством и освещением наших аристократических гостиных, посмотреть на этот роскошный цветник московских красавиц, на их воздушные и легкие наряды, подчас довольно тяжелые для мужей и отцов. Но я люблю также иногда просидеть вечером у какой-нибудь замоскворецкой барыни, у которой дом освещен рублевыми кенкетами и сальными свечами; люблю попировать на свадьбе русского купца, у которого каждого гостя встречают молодые при звуке труб и литавр, где во время бала вас угощают брусничной водой, чаем, виноградным вином, шоколадом, финиками, сладкой водкою и балыком и где за ужином хозяин и хозяйка просят вас кушать непременно за четверых, приговаривая: «Да уж сделайте ми-

лость, батюшка, поневольтесь!» Мне случалось также, и, право, не без удовольствия, трапезничать у русского мужичка, когда он справляет храмовый праздник своего селения, пить вместе с ним сыченую брагу, кушать вареную баранину или пирог с капустою и лакомиться калеными орехами. Я люблю особенно эти противоположности тогда, когда между ними нет никаких постепенных переходов, и они, так сказать, встречаются меж собою, и вот почему решился в последнее воскресенье прошлого июля месяца побывать в один и тот же день в Марьиной роще и в Петровском парке. Эти два загородные гулянья не в дальнем расстоянии друг от друга; но общества, их посещающие, до такой степени различны меж собою, что даже цыгане, которые поют в Петровском воксале, не хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами и цыганками, забавляющими посетителей Марьиной рощи. Время было прекрасное; тихо — нигде ни облачка. Я велел заложить мою пролетку и отправился.

От Пресненской заставы до Марьиной рощи я ехал Ходынским полем, мимо летнего бега и скачки; потом, оставив на левой руке Петровский парк и Бутырки, доехал по дороге, проложенной меж огородов и лугов до березовой рощи, перерезанной во всю ее длину широкой просекою.

Я приказал кучеру дожидаться меня у большой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща отделяется от другой, не очень обширной, которая примыкает к Лазареву кладбищу, широким и продолговатым лугом. На нем бывает в семик одно из лучших годовых московских гуляний. Марьина роща, или Марьины рощи, бывшие некогда немецким кладбищем, принадлежат теперь графу Шереметеву. Олеарий, в своем путешествии по России при царе Михаиле Феодоровиче, упоминает о немецком кладбище за Покровскими воротами, следовательно, должно было бы полагать, что в Марьиной роще погребали иноверцев еще при царе Борисе Феодоровиче Годунове, но надпись на одном могильном камне, на котором вырезан тысяча шестьсот шестьдесят осьмой год, противоречит этой догадке; впрочем, можно сказать утвердительно, что в царствование Петра Великого это кладбище было вовсе оставлено и, судя по названию «Немецкие станы», которое и доныне еще старики дают Марьиной роще, вероятно, превратилось в загородное гулянье иноземцев, живших тогда в Немецкой слобо-

де... В большой роще гуляющих было немного, кой-где сидели отдельными группами семейства купцов и ремесленников. Одни пили чай на каменных могильных плитах, из которых многие совсем уж вросли в землю, другие курили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива. Эти мирные наслаждения добрых и трудолюбивых людей были в совершенной противоположности с тем, что происходило в двух трактирах, которые стоят на лугу, между большой и малой рощами. В наружной галерее одного из этих трактиров играла музыка, то есть какой-то краснощекий артист, с затекшими от перепоя глазами, заливался на кларнете, безобразный старик с небритой бородою колотил в турецкий барабан и полупьяная немка, примаргивая правым глазом, отпускала удивительные трели на скрипке. Вокруг этого оркестра толпились цыганки в запачканных платьях и красных мериносовых платках, записные гуляки в венгерках, удалые купеческие сынки в щеголеватых сибирках и пьяные старики с такими беспутными и развратными рожами, что гадко и страшно было на них взглянуть. В другом трактире, как целая псарня голодных собак, с визгом и завыванием ревела толпа цыган, а перед дверьми трактира, на песчаной площадке, двое растрепанных оборванцев отхватывали *трепака,* этот классический танец всех загородных питейных домов и трактиров самого низшего разряда. Я заметил, однако ж, что большая часть гуляющих по лугу или вовсе не обращала никакого внимания на эти притоны разврата, или смотрела на них с явным отвращением. Я пошел вслед за толпами, которые спешили в небольшую рощу, примыкающую к Лазареву кладбищу. При самом входе в это средоточие народного воскресного гулянья я был поражен звуками, которые сильно потрясли мою душу; они воскресили в ней память о давно прошедшем, перенесли меня за семьсот верст, в ту деревню, где я, будучи еще ребенком, слышал так часто эту самую хороводную песню, которая раздавалась теперь в одном углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда, протерся кой-как сквозь густую толпу народа и стал в первом ряду зрителей. Почти весь хоровод был составлен из молодых крестьян, и только две или три сельские девушки в шелковых повязках и ситцевых сарафанах вмешались как будто бы нечаянно в этот мужской круг. Внутри хоровода ходила пара: краснощекая девушка с потупленными глазами и молодой, видный собой де-

тина, который от времени до времени отпускал разные *коленцы*, то есть помахивал своим красным платком, подергивал левым плечом и припадал бочком к своей даме, которая продолжала ходить по-прежнему, опустив книзу свои *ясные очи* и не обращая никакого внимания на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась песня, под которую происходил танец, *по образу пешего хождения*, танцевавшая пара облобызалась и уступила свое место другой паре. Я пошел далее. Влево за деревьями подымалось несколько зданий, около которых теснился народ. В самом большом из них помещается главный трактир или, если вам угодно, ресторация Марьиных рощей; на высоком ее крыльце пели русские песенники, а вокруг ходили толпами цыганки и приставали к каждому гуляющему, хотя несколько похожему на такого человека, который может для своей забавы бросить полтину серебра и даже при случае не постоит за целковый. Одна из этих цыганок, безобразная как смертный грех, подбежала ко мне и проговорила сиповатым голосом:

— Барин, голубчик! прикажи спеть песенку!

— Спасибо, любезная! — отвечал я очень сухо, оборотясь к ней спиною.

— Ах ты, сокол мой ясный! — продолжала цыганка, забежав с другой стороны,— да прикажи! потешь, золотой, и себя и нас.

— Я, душенька, не охотник до песен, ступай к другим.

Тут подлетела ко мне еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собой.

— Ах, сжальтесь над нами! — сказала она, устремив на меня свои сверкающие черные глаза,— прикажите нам спеть!

— Хочешь, красное солнышко,— прервала первая цыганка,— мы споем тебе «Ты не поверишь» или «Общество наше». Уж распотешим — прикажи!

К этим двум цыганкам присоединилось еще с полдюжины других. Не зная, куда мне от них деваться, я вошел в трактир, взглянул мимоходом на буфет, в котором человек десять прохлаждали себя ерофеичем, и остановился послушать разговор двух мастеровых, из которых один был уже под хмельком.

— То-то, брат Иван! — говорил он другому мастеровому,— раненько ты стал погуливать! тебе бы не след сюда шататься.

— А почему ж, Никита Степаныч? Ведь ты пришел же сюда погулять?

— Я?.. Ах ты, глупая голова! Да я-то разве ты?

— Да что ж ты, Никита Степаныч, так кочевряжишься? Ты подмастерье, и я подмастерье...

— Эк рассудил!.. Дурачина ты этакий! Да вот, примером сказать, крестьянская кляча лошадь, и графский рысак лошадь, а разве они равны? Я был мастером и буду мастером; я приеду домой размертвецки — хозяин не посмеет мне слова сказать. А ты что? Нахлюстаешься, а тебя завтра и по шеям!.. Нет, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а там и погуливай!

Тут подле меня началась какая-то ссора; явился городовой, и я, как человек миролюбивый, поспешил выйти из трактира и пошел по дорожке, которая вела прямо к Лазареву кладбищу. Эта усыпанная песком дорожка может назваться местом гулянья самого избранного общества Марьиной рощи: тут на скамейках сидело несколько купцов с своими женами, два или три пожилых чиновника в форменных фраках; по этой дорожке ходили взад и вперед какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже один франт в альмавиве и белой соломенной шляпе. Он шел рука об руку с другим молодым человеком, который, вероятно, так же в своем уголку считался записным денди: его бакенбарды сходились на подбородке, волосы были острижены в кружок, на манишке блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висела цепочка, вероятно бронзовая, но что более всего изобличало в этих господах самых отчаянных львов своего квартала, так это было то, что от них пахло за версту *пачули* и что они говорили, во услышание всем, на французском диалекте; по крайней мере, один из них, проходя мимо меня, сказал другому: «Ком ву зет плезант, мон шер!» * Пройдя несколько раз по этой дорожке, я вышел опять к трактиру и остановился против дощатого балагана, у которого верхняя часть построена в виде сквозной галереи; в ней с правой стороны две женские куклы в обыкновенный человеческий рост, в белых кисейных платьях и с букетами в руках, кружились на одном месте; с левой стороны другие две куклы небольшого размера возбуждали беспрерывный смех в толпе любопытных зрителей; одна

* Как вы забавны, мой дорогой! *(искаж. фр.)*

из них, представляющая лысого старика с красным носом, закидывала назад голову и пила из деревянного стакана, а другая, которую почтенная публика называла экономкою, поминутно нюхала табак. Посреди галереи вертелись на кругу небольшие лодочки, в которых сидели посетители этого — по словам вывески — *машинного парохода.* Я подошел к дверям и прочел на них надпись: *Вход в ботаническую галерею.*

— Ты, братец, хозяин этой комедии? — спросил я у русского мужичка, который сидел при входе за небольшим прилавком.

— Я, батюшка! — отвечал он, приподняв свою шляпу.

— А что за вход?

— Пятак серебром.

— Вот тебе гривенник, любезный, только растолкуй мне, почему у тебя написано: «Вход в ботаническую галерею»?

— А как же, сударь?.. Ведь у меня там вертятся машинные боты.

— А, вот что!.. Так, любезный, так!.. Ты сам придумал эту надпись?

— Сам, батюшка,— отвечал русский механик, поглаживая свою бороду,— мы уж давно в этом упражняемся. Да милости просим — пожалуйте, сударь!

Я не мог воспользоваться этим приглашением, потому что торопился в Петровский парк. «Как это странно,— подумал я, идучи к моим дрожкам,— в Москве самые любимые гулянья простого народа: Ваганьково и Марьина роща; Ваганьково — кладбище за Пресненской заставой, Марьина роща — также старое кладбище, в двух шагах от Сущевского кладбища; одним словом, это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен окружено со всех сторон кладбищами. В этой Марьиной роще все кипит жизнию и все напоминает о смерти. Тут, среди древних могил, гремит разгульный хор цыганок; там, на гробовой плите, стоит самовар, бутылки с ромом, и пируют русские купцы. Здесь у самой насыпи, за которой подымаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная песня, кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и *безумствует,* не думая нимало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Отчего происходит это совершенное равнодушие к месту, которое должно

бы возбуждать не веселье, не житейские помыслы, но чувство грусти и христианского умиления? Уж не остаток ли это наших языческих обычаев? В древние времена мы справляли *тризну* по усопшим; в наше время простой народ пьет вино и гуляет на *поминках* почти так же, как на свадебном пиру; следовательно, изменилось одно только название этого обычая. Быть может, в старину русский народ любил так же, как и теперь, сбираться в известные дни пировать на гробах своих предков и передал этот обычай своим потомкам. Я скорей хочу верить этому, чем думать, что наши мужички и ремесленный народ веселятся среди могил по какому-то грубому и безотчетному равнодушию к смерти, свойственному одним бессловесным животным».

Рассуждая таким образом, я вовсе не думал встретить в этой же Марьиной роще неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвещенной Европы, стоят еще ниже в моральном отношении этих развратных мещан, гуляк-мастеровых и безграмотных мужиков. Пробираясь к моим дрожкам, я остановился против одного из трактиров, о которых сказал уже несколько слов моим читателям. На крыльце этого трактира в толпе цыган, которые пели плясовую песню, стоял молодой человек лет тридцати; он присвистывал, приплясывал и, по-видимому, был в совершенном восторге от песни. Тут нет еще ничего странного, но вот что меня поразило: у этого молодого человека шляпа была обернута крепом, а на обшлагах черного фрака нашиты широкие плерезы, следовательно, он недавно еще, быть может несколько дней тому назад, лишился отца, матери или жены, и, несмотря на это, не снимая даже своего глубокого траура, приехал слушать цыган в Марьину рощу!.. Поглядев несколько минут на этого чудака, я сел в мою пролетку и велел кучеру ехать в Петровский парк, о котором порасскажу кой-что читателям не в этой, а в следующей книжке моих записок, если только эта следующая книжка выйдет, что, впрочем, совершенно зависит от приема, который сделают читатели этому первому опыту «Московских очерков», может быть, весьма неискусных, но, если не ошибаюсь, довольно верных и чуждых всякого пристрастия.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК И ВОКСАЛ

„По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много к украшенью.

Грибоедов

Вероятно, эти два стиха из комедии «Горе от ума» заставляли вас всегда смеяться — и я также, слушая их, смеюсь, а ведь если рассудить хорошенько, так Сергей Сергеич Скалозуб говорит совершенную правду. Конечно, пожар двенадцатого года весьма способствовал к украшению Москвы. Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени; нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый; если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтоб при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия если не изящной, то, по крайней мере, правильной архитектуры. Но это еще один дом, а что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит вкось, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы, и без того похожей на узкий переулок, — тут уж горю пособить нечем. «Следовательно, — скажет какой-нибудь насмешник, — мы должны радоваться, что в двенадцатом году Москва почти вся сгорела». Избави господи! я говорю только, что она не была бы так хороша, если б ее не нужно было всю вновь перестраивать. Как жаль, что сравнение с фениксом, который возрождается из своего пепла прекраснее, чем был прежде, так часто употреблялось некстати и сделалось до того пошлым, что почти совестно употребить его, говоря о Москве. А ведь трудно найти сравнение, которое было бы во всех отношениях вернее этого — начиная даже с того, что Москва превратилась в пепел не случайно, не по воле врага, но по собственному своему желанию. Нельзя довольно надивиться, когда посмотришь, что сделано для Москвы в течение последних двадцати пяти лет под управлением того, который, облеченный доверенностию русского царя, так долго и с таким постоянным рвением заботится об ее благосостоянии. Не говоря уже об огромном Петровском театре, о великолепной набережной по той стороне реки, между Каменным и Москворецким мостами, о бульварах и о множестве других улучшений, имеющих целию одну

красоту и великолепие города,— сколько сделано в течение этих двадцати пяти лет для существенной пользы и блага московских жителей! Крутые спуски, от которых езда по Москве не всегда была безопасною, везде срыты, и грязные, заплывшие тиною пруды превратились в светлые бассейны, обсаженные тенистыми липами. Придет ли кому в голову, что этот широкий бульвар на *Трубе*, с своими зелеными полянами и гладкими дорожками, был не так еще давно почти непроходимым и зловонным болотом! Кто поверит, что несколько лет тому назад на том самом месте, где теперь красивые сады опоясывают западную часть Кремлевской стены, был безобразный ров, заваленный всякою отвратительною нечистотою? Любуясь изящной и легкой архитектурою Москворецкого моста, вспомните, что недавно еще один только Каменный мост соединял весною все Замоскворечье с остальной частию города. Сколько раз, бывало, проездом в Троицкую лавру, останавливался я в Больших Мытищах, для того только, чтоб напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своею свежестию, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса — главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предложение императрицы Екатерины II не было исполнено и что эта превосходная вода не проведена в Москву. И вот уже несколько лет, как она в самой средине города, на всех площадях, окружающих Кремль, бьет из водометов, украшенных прелестными группами московского художника Витали. И вот уж мы почти забыли, что это величайшее благодеяние, оказанное московским жителям, принадлежит нашему времени. Пройдет еще несколько лет, и нам будет казаться, что это всегда так было, и даже — я уверен в этом — мы станем гневаться за то, что у нас нет фонтанов во всех частях города. Уж, видно, человек так создан: с улучшением его положения всегда умножаются его требования, и то, что вчера казалось ему благодеянием, становится завтра естественною обязанностию, за выполнение которой он даже и благодарить не должен.

Создание Петровского парка принадлежит также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку в Марьину рощу, то, вероятно, вспомните также, что я намерен был проехать из нее в парк для того, чтоб в один и тот же день взглянуть на два общества, совершенно различные между собою. «Давно ли,—

думал я, подъезжая к этому любимому гулянью московской аристократии,— давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика; направо однообразное и бесконечное Ходынское поле, налево — продолжение того же поля, песчаная земля, глиняные копи, кой-где гряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники,— вот все, что представлялось вашим взорам, когда вы, миновав Петровский дворец, прекрасное здание мавританской архитектуры, *переделанной на европейские нравы,* продолжали ехать к Тверской заставе».

А теперь!.. Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие, укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником, какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны, как мил и живописен этот небольшой пруд с своими покатыми берегами и прелестными мостиками! А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка; эти дачи, которые обхватили такой разнообразной и красивой цепью строений большую часть парка; эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца; этот игрушка летний театр с своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями — лет десять тому назад обо всем этом и речи не было.

При самом въезде в парк я должен был сойти с дрожек, потому что мимо воксала было каретное гулянье, в котором смиренному экипажу в одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошел пешком по широкому тротуару, минуты через три попал в толпу гуляющих и, пройдя несколько шагов, остановился, чтоб взглянуть сначала на горы, а потом на круглые и висячие качели и разные другие детские забавы, которые подчас забавляют и людей пожилых. Я удостоверился в этом, глядя на одного человека лет тридцати. Куря весьма важно свою сигарку, он сидел на деревянном коне, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладине. Признаюсь, я почти позавидовал стоическому спокойствию и совершенному равнодушию, с которым этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей, несмотря на то что многие из них указывали на него пальцами и смеялись. Миновав воксал, огромное и кра-

сивое здание, право, не знаю какой архитектуры, я дошел до небольшой рощи, в которой играла музыка. Вдоль по опушке этой рощи, в открытых беседках, построенных простыми навесами, сидели по большей части дамы, только уже вовсе не похожие на тех, которых я видел в Марьиной роще. Я нашел в одной из этих беседок порожний стул, сел на него и очень обрадовался, когда узнал в моем соседе с левой стороны того самого словоохотливого камергера, с которым я провел вечер на бале у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчас возобновили наше знакомство.

— Странная вещь! — сказал камергер,— у меня было предчувствие, что мы сегодня опять с вами встретимся,— точно, предчувствие! Мне кажется, что всякий раз, когда я бываю на бале, на гулянье, в театре — одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись. Не знаю почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы?

— А почему знать,— сказал я с улыбкою,— может быть, я и в самом деле ваш двойник.

— Надеюсь, по крайней мере, на сегодняшний вечер,— прервал камергер...— Вы будете в воксале?

— Как же! я для этого и приехал... А скажите мне, отчего здесь так много народу? что сегодня, праздник, что ль, какой?

— Нет, просто воскресенье и хорошая погода.

— И все, что мы видим, будет в воксале?

— О, это другое дело! За гулянье не берут ничего, а за вход в воксал платят деньги. Однако ж, я думаю, сегодня и в воксале не вовсе будет пусто.

Тут подошел к моему приятелю человек небольшого роста, в сюртуке нараспашку, в легком суконном каскете и с толстой палкою в руке. Если б сосед мой не сказал мне после, что этому господину без малого семьдесят лет, то я никак бы не отгадал этого. Все движения его были так свободны и так быстры; его румяные щеки, веселый взгляд, ласковые речи и приветливая улыбка исполнены были такого юношеского простодушия и жизни, что я невольно вспомнил про некоторых известных мне двадцатилетних философов и отчаянных гегелистов, которые показались бы старыми перед этим семидесятилетним стариком.

«О премудрые юноши! — подумал я,— что-то с вами будет, когда вы доживете до этих лет? «Мы, дескать, все

мыслители,— мы все идем за нашим веком». Нет, господа! вы только заедаете ваш собственный век. Ну что за жизнь, в которой нет ни весны, ни лета, а только одна осень да зима? Кто говорит, хорошо и молодому человеку отрешать себя от этих ничтожных забав света и суеты мирской — да только не ради Гегеля».

— Ну что, моя душа,— сказал этот любезный старик, пожимая дружески руку у моего соседа,— будешь в воксале?

— Буду.

— Так пора! чрез полчаса зажгут фейерверк. Э! да это, кажется, княгиня Вера Андреевна! — продолжал он, взглянув на пожилую даму, которая сидела в одной с нами беседке.— Да, так точно!.. И с обеими дочерьми!.. О, да их надобно непременно завербовать. Без них бал не бал!.. А вот и Матрена Дмитриевна с племянницей... Какой у них щегольский экипаж!.. Пора в воксал, Матрена Дмитриевна!.. Вы будете?.. Да!.. А! князь Иван!.. Постойте-ка, батюшка, ваше сиятельство, одно слово!.. А ты, мой друг, отправляйся в воксал. Я сейчас буду!..

— Пойдемте,— сказал мне камергер.

Мы встали.

— Вот истинно счастливая старость! — продолжал он, идя вместе со мною к воротам воксала.— Сколько еще жизни в этом семидесятилетнем старике! И как полна была его жизнь! Попробуйте, заведите с ним разговор о старине, так он порасскажет вам о таких диковинках, что вы заслушаетесь! Он служил при дворе во времена Екатерины, имел счастие беседовать с Суворовым и представлялся Наполеону, когда еще он был только первым консулом. Кого он не знал, чего он не видал и чего не испытал, не исключая горя, да еще какого!.. О, в жизни его были тяжкие минуты, но природная веселость одолела все. Подлинно, если можно чему позавидовать, так это счастливому характеру человека, сохранившего и под старость всю беспечную веселость юноши, который горюет и смеется почти в одно и то же время.

У ворот воксала мы взяли билеты и, пройдя несколько шагов двором, подошли к крыльцу, на котором стояли жандармы и полицейский чиновник. В самом воксале почти никого еще не было.

Надобно сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучше и приятнее этого сборного места посетителей Петровского парка. Крытые широкие терра-

сы, прекрасные галереи, чистые красивые комнаты и огромная зала в два света истинно изящной архитектуры; совершенная свобода: все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпках; хороший ужин, музыка для желающих танцевать, отличный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни — а этих любителей в Москве очень много; полковая музыка и фейерверк для всех. Одним словом, воксал Петровского парка мог бы стать наряду с лучшими европейскими заведениями в этом роде, если бы у нас было побольше хороших летних дней и поменьше людей, для которых за морем все мило, а дома все не по душе.

Исполнение первого условия зависит не от нас, хотя и в Москве иногда лето бывает прекрасное; что ж касается до второго условия, то, бог милостив, авось и оно когда-нибудь сделается для нас возможным: ведь не век же нам оставаться детьми, для которых чужая игрушка всегда кажется лучше своей.

Через полчаса собралось в воксале человек полтораста. Вот первая ракета зашипела, взвилась под облака и рассыпалась огненным дождем над кровлею воксала.

В одну минуту опустели все залы: боковые террасы и средний балкон покрылись зрителями. Я также вместе с моим неразлучным товарищем вышел на балкон. Огненная потеха продолжалась минут десять и окончилась, как следует, павильоном, или букетом, то есть полсотней ракет и двумя бураками, которые взлетели в одно время на воздух. Мы возвратились в большую залу, прошли по ней раза два и, когда музыка заиграла вальс, присели в уголку подле двух дам. Их лица показались мне знакомыми; но если б мой товарищ не назвал этих дам по имени, то я не скоро бы отгадал, что имею честь сидеть подле двух артисток французской труппы. Они разговаривали между собою довольно громко, и, разумеется, дело шло о притеснениях и обидах — обыкновенный разговор всех актрис, из которых я еще не встречал ни одной, которая не была бы чем-нибудь обижена или притеснена. В особенности одна из этих артисток, женщина лет за сорок, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющего ей играть *молодых любовниц* и отдающего эти роли девчонке неопытной, бездарной, которая нравится публике только потому, что всем делает глазки и перемигивается с креслами.

— Представьте себе,— говорила она, разумеется по-французски,— эта мерзкая интриганка, которой бы сле-

довало занимать в нашей труппе место *ютилите* или даже *аксессуара*, лезет в первые *амплуа* и хочет играть все роли г-жи Алэн! Надобно же иметь медный лоб!.. А как дерзка, как нагла! Третьего дня она до того кривлялась и кокетничала с каким-то господином, который сидел в первом ряду кресел, что забыла свою *реплику*, начала врать вздор, сбила совершенно с толку суфлера да его же, бедного, толк ногою в самый нос!

— Что вы говорите?

— Да, да! этого никто не заметил, а я видела — точно, видела!

— Так что ж он не пожалуется?

— И, ma chère! * Да как он смеет? Ведь у нее так много протекторов: весь город и все предместья.

— Как вы злы, ma chère!

Сначала я слушал с некоторым любопытством эту закулисную болтовню, но под конец мне сделалось скучно, и я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках, в мантильях и даже одна в своем бурнусе. Глядя на кадриль, я невольно вспомнил, как отличался тому лет сорок назад в этом классическом танце, с какой отчетливостию выделывал свои *балансе*, *па-де-коте* и *шасе ан-аван*, с какой легкостию выполнял я этот блестящий *па-де-ригодон*, доступный только для первых учеников незабвенной памяти знаменитого московского танцмейстера Миранвиля.

«И эти пешеходы,— подумал я, поправив с гордостию мой галстук,— воображают, что они танцуют французскую кадриль!.. Нет, господа! мы не так ее танцевали в старину!.. Что это такое?.. Дамы еще как будто бы делают какие-то па, а эти жалкие кавалеры... да они просто ходят, и даже не в такт... И это называют танцами!..»

Первая кадриль кончилась, вслед за нею составилась другая.

— Кто эта молодая девица? — спросил я у моего товарища.— Вот что танцует против нас... в розовой газовой шляпке с белыми цветами?.. Как она хороша собою!

— Да, это правда! Только она не девица.

— Неужели замужем?

— И уж давно, то есть несколько лет.

— Вот этого бы я никак не подумал. Как она грациозна!

* моя дорогая! *(фр.)*

— Да!

— Какая пленительная улыбка!

— Да!

— Я думаю, она должна быть очень любезна и мила?

— Да! говорят, что она любезна и мила.

— Говорят? Так вы с нею не знакомы?

— Нет, знаком; да мне без малого пятьдесят лет, а эта дама разговаривает и даже кланяется только с теми, которым не более тридцати. Уж видно, у нее такая привычка.

— Однако ж она разговаривает с своим кавалером, а он, кажется, человек пожилой.

— Кто! этот господин с рыжеватой бородкою?.. О, это другое дело! Он один из *московских львов*, а эти господа пользуются всеми правами молодых людей; да и кому придет в голову, что человек пожилой решится носить бороду, одеваться по модной картинке и танцевать до упаду?

— Понять не могу, как есть люди, которые, прожив полвека...

— Дурачатся наравне с молодыми повесами?.. Да, это, конечно, странно! а особливо когда между ними встречаются, хотя и очень редко, однако ж все-таки встречаются, люди весьма неглупые. То-то и есть — видно, ум и благоразумие не всегда уживаются вместе.

— Полно, так ли? — сказал я.— Англия наполнена чудаками, которых странные поступки и нелепые причуды не доказывают большого благоразумия, а ведь, право, англичане люди вовсе не глупые и весьма благоразумно обрабатывают свои дела, а если надобно подняться на хитрости, так проведут хоть кого и за пояс заткнут своих ветреных соседей, несмотря на все их остроумие.

— Об англичанах не говорите! Их странности имеют своим основанием совсем другую причину. Англичанин оденется каким-нибудь шутом или станет поступать вопреки всем принятым обычаям вовсе не для того, чтоб обратить на себя внимание или отличиться чем-нибудь от других; он это делает по гордости. У себя дома он еще соблюдает некоторые приличия, но вне своего отечества англичанин ставит себя выше всякого общего мнения: он делает все, что ему придет в голову, и, выполняя свои причуды, не заботится нимало, что скажет об этом общество, которого мнением он вовсе не дорожит. Да вот, кстати! посмотрите на этого господина, у которого сюртук опускается до самых пяток.., ну вот,

что танцует с дамою в лиловой шляпке. Он путешественник, англичанин и, могу вас уверить, человек очень умный.

Я взглянул и онемел от удивления. Представьте себе господина пожилых лет, высокого и худощавого, в долгополом неуклюжем сюртуке, в башмаках и штиблетах; представьте себе на длинной, бесконечной шее угрюмое и бледное лицо, осененное огромным носом, гладко выбритый подбородок, обхваченный снизу тонкой каймою рыжих волос, и пару серых оловянных глаз, из которых в правый воткнута черепаховая лорнетка. Представьте себе, что это святочное пугало не танцует французской кадрили — хотя и это было бы довольно забавно, но работает, как лошадь, коверкается, изгибается, прыгает, переплетает ноги и выделывает ими такие узоры, что глазам не веришь. Его дама закрывает платком рот. Все вокруг его смеются вслух, хохочут ему в глаза; что ж он — сердится? — нет. Сам смеется? — нет. Он продолжает с тем же самым важным и неподвижным лицом вырабатывать с механической точностию разные танцевальные сальтомортали, один другого вычурнее и глупее. Ну точь-в-точь огромная выпускная кукла, которая двигается и прыгает до тех пор, пока в ней не сойдет пружина.

— И вы говорите,— сказал я камергеру,— что этот нарядный шут умный человек?

— И умный, и рассудительный, и очень просвещенный.

— Да помилуйте! станет ли умный человек выкидывать такие балаганные штуки в присутствии целого общества?

— Но если он совершенно равнодушен и к похвалам и к насмешкам этого общества, так оно как будто бы для него не существует.

— Как не существует, когда он из кожи лезет, чтоб позабавить всю честную компанию?

— Да он вовсе никого не забавляет — и не думает об этом.

— Так из чего же он трудится?.. Зачем делает такие удивительные скачки?..

— Зачем?.. Чтоб вспотеть хорошенько. Он говорит, что это необходимо для его здоровья.

Кадриль кончилась; англичанин обтер платком лицо, кивнул головой даме, запустил обе руки в карманы своего сюртука и пошел, переваливаясь с ноги на ногу,

в ту сторону, где раздавались песни цыган. Мы отправились вслед за ним. В конце длинной галереи сидели полукружием смуглые певицы, не слишком красивые собою, но все с блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по их платью, что они цыганки; их прежний наряд, с перекинутым через одно плечо платком, был гораздо живописнее. Теперь они как две капли воды походят на горничных девок самого низшего разряда, которые принарядились, чтоб идти под качели. Позади их стояли рослые цыгане в купеческих кафтанах и сибирках. Насупротив, также полукругом, поставлены были в несколько рядов стулья; на них сидели по большей части дамы, а мужчины толпились кругом, ходили взад и вперед или сидели вдоль стены залы на обитых ситцем скамьях. Цыгане пели, и довольно дурно, какую-то протяжную песню в три голоса.

— Вот это вовсе не по их части! — сказал я камергеру.— Мне не очень нравятся их дикие, неистовые вопли, их бешеные выходки и визготня, составляющие отличительный характер цыганских песен; но, по крайней мере, в этом музыкальном бесновании есть что-то оригинальное, поражающее вас своею новостию, странным смешением разладицы с согласием, неожиданными переходами из одного мотива в другой и какой-то жизнию — безумной, это правда, но исполненной силы и движения; а это вялое пение, на манер французских романсов, приправленное какими-то глупыми, некстати приткнутыми руладами; эти черствые, полуосипшие голоса, которые прикидываются нежными,— все это, по-моему, чрезвычайно дурно, и, признаюсь, я не могу надивиться терпению наших дам... Посмотрите, с каким вниманием слушают они это дурацкое мяуканье... Нет, нет! вот, кажется, одна начинает уж понемножку морщиться.

— Кто?.. Вот та, что сидит крайняя в первом ряду?.. Да, я думаю, что ей тошно. Это одна из наших московских барышень-певиц, которая стала бы наряду первых европейских артисток, если б родилась не дворянкою. Теперь только одни избранные могут восхищаться ее пленительным голосом и жалеть, что случай и общественные условия заключили в такие границы огромный талант, для жизни которого всегда необходимы простор и рукоплескания очарованной толпы.

— А кто эта дама, что сидит подле нее?

— А! — сказал с улыбкой камергер,— вы заметили?.. Не правда ли, что хороша?

— Удивительно!.. Ее можно бы назвать совершенной красавицею, если б она была немножко потоньше...

— И очень любезной женщиною, если б она не так занималась своей красотой, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота дает ей право самовластно царствовать даже и над теми, которые почли бы за счастие быть ее друзьями, но вовсе не имеют желания умножить собою число ее подданных. Ей не мешало бы иногда подумать, что власть красоты есть самая ненадежная из всех властей и что поклонники ее, точно так же как и поклонники богатства, ужасные эгоисты: и те и другие любят не вас, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а ведь красота дело скоропреходящее... Да что ж это такое? — прибавил камергер.— Уж я никак начал говорить поучительные речи?.. Послушаемте-ка лучше цыган; вот они сбираются петь что-то хором.

Один из цыган, детина среднего роста, в обшитом позументами казакине, вышел вперед; он держал в руках гитару.

— Это, верно, их запевало? — спросил я.

— Да! он старший в их таборе.

— Однако ж не летами. Какой бравый детина! как он ловок, развязен! сколько огня во всех его движениях. Ну, подлинно молодец!

— А знаете ли, сколько лет этому молодцу?

— Под сорок...

— Давным-давно за шестьдесят.

Тут этот почти семидесятилетний бандурист ударил по струнам своей гитары. Глаза его засверкали; все смуглые певицы встрепенулись; одна старая, толстая и безобразная цыганка завертелась, как беснующаяся, на своем стуле. Цыган махнул отрывисто правой рукою, и вот грянул хор и разразился каким-то ураганом оглушающих, диких и в то же время гармонических звуков. Подле нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора.

— Comme c'est echevelé! * — шептал один из них.

— C'est ravissant! ** — восклицал другой.

— Да, да! — проговорил позади их исковерканным французским языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль.— Год-

* Как это беспорядочно! *(фр.)*
** Прелестно! *(фр.)*

дем! * Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню!

Вот мотив песни изменился. Голоса стихнули, тоненькое, едва слышное сопрано пропело несколько тактов, и вот снова грянул хор, и тихий голосок утонул в этом приливе звуков, как одинокая капля... чуть было не сказал: в бурном море; да, к счастию, вспомнил, что в прозе дозволяется быть поэтом только до некоторой степени. В двух шагах от меня сидел около стены человек пожилых лет; взглянув на него нечаянно, я заметил, что он необыкновенно бледен; это заставило меня еще раз оглянуться. В эту самую минуту цыгане, кончив свой хор, запели плясовую песню. Вдруг пожилой господин, на которого я смотрел, покачнулся и грянулся об пол. Вслед за этим раздались пронзительные крики. Жена и две дочери этого несчастного бросились к нему на помощь. Все засуетилось, пришло в движение. Толпа, окружавшая цыган, стеснилась вокруг умирающего.

— Доктора, скорей доктора!.. Ему надобно пустить кровь!..— кричали со всех сторон.

Англичанин схватил его за руку, засучил рукав и вынул из кармана перочинный ножик.

— Позвольте, позвольте! — раздался громкий голос.

Толпа расступилась, и один из наших известных московских медиков подошел торопливо к лежащему без чувств господину, взял его за пульс; потом приложил руку к сердцу и, помолчав несколько времени, сказал вполголоса:

— Он умер!

О, каким ужасом поразили эти слова толпу, за минуту до того веселую и беспечную!.. Как изменились все лица, когда на этот пир, кипящий жизнию, пожаловала нежданная, непрошеная гостья — гостья неминучая и дорогая, но которую мы так редко встречаем с радостию и веселием. В полминуты во всех освещенных залах воксала не осталось никого, кроме нескольких полицейских чиновников и отчаянной семьи умершего. Я вышел вслед за другими, отыскал мою пролетку и отправился домой.

Не стану рассказывать вам, что думал я дорогою; кажется, было о чем поразмыслить и повторить не раз так часто повторяемый нами вопрос: «Ну скажите, что такое жизнь человеческая?..»

Думал ли этот отец семейства, отправляясь в вок-

---

* Черт побери! (от *англ.* god damn).

сал, что дни его сочтены и что он — страшно подумать — умрет под цыганскую песню!.. Боже мой, боже мой! как ничтожна эта земная жизнь, которую мы ценим так дорого! Мы станем смеяться над тем, кто будет украшать и отделывать с большим старанием постоялый двор, на котором сбирается прожить несколько часов, а сами... Да что говорить об этом!.. Кто из нас не разыгрывает в лицах русскую пословицу: «Гром не грянет, мужик не перекрестится»? Утихнет гроза, взойдет солнышко, и мы как ни в чем не бывало опять затянем гулевую песню до новой грозы и нового удара!..

Рассуждая таким образом, я вспомнил об одном давно уже забытом послании, из которого очень кстати пришли мне на память следующие, весьма посредственные, но совершенно справедливые четыре стиха:

Сегодня я здоров, а завтра бил мой час,
И часто, может быть, забыв, о друг мой милый,
Что жизнь зависит не от нас,
Мы *пляшем* над своей могилой.

ПЕРВОЕ МАЯ

Сокольники, хоть вас поэты не поют,
Не хвалят вас и вашу жизнь простую,—
Но я люблю и ваш приют,
И ваших сосен тень густую.

— Отвори окно, Никифор!..— сказал я.— Кажется, дождик перестал.

— Нет еще, сударь, моросит немножко, словно ситом сеет, да скоро пройдет: позади все прочистилось.

— В самом деле?

— Ни одной тучки, сударь, знатный будет день.

— И подлинно, какой приятный, благорастворенный воздух,— сказал я, садясь подле окна.— Я думаю, будет градусов шестнадцать тепла?

— Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до осьмнадцати.

— В шестом часу после обеда!.. Да это почти летний день... Что это на улице так пусто? — продолжал я, помолчав несколько времени.— Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет и проедет кто-нибудь, а вот с полчаса, как живой души не видно на улице.

— Да кому быть, сударь? вся Москва в Сокольниках.

— В Сокольниках? Да разве сегодня первое мая?..

— А как же, сударь!

— Скажи пожалуйста! чуть было не пропустил любимого гулянья!.. Ступай, вели скорей закладывать дрожки!.. Да я бы себе никогда этого не простил... Ну, что ж ты стоишь?

— Батюшка Богдан Ильич!..— сказал Никифор, почесывая в голове,— прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою: хочется взглянуть на гулянье.

— Ну, хорошо! да только вели закладывать проворней!

— Разом будет готово, сударь!

Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни! Забыть, что сегодня первое число мая!.. Что за странная вещь наша память! Я помню все, что читал тому лет тридцать и более назад; помню малейшие подробности моей детской жизни; помню даже иные сны, которые видел в ребячестве; но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукою; я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей. Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтоб называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим.

Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего: от Пресненских прудов до Сокольников будет верст восемь, если не более; я отправился и проехал, не встретив почти никого, до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи; пешеходов было мало — они обыкновенно отправляются на гулянье, как и везде, гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чечора.

Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существования этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет права называться рекою, как этот проток — речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа: он любит называть речками

не только едва заметные ручьи, но даже стоячие грязные пруды, и крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет: «Я иду на речку». Когда я миновал Красный пруд, сцена совершенно переменилась: передо мною открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью врассыпную по обширному Сокольничьему полю; большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который, также не знаю почему, называют речкой Рыбинкой. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы Сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села — села, в котором нет ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы. Это собрание не дач, а загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построены еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая дача графа Ростопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого растет трава и ездят иногда, для сокращения пути, мужички в своих телегах. Тут же проходит и водопроводный канал мытищинской воды, подымаемой посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием *Лосиного острова.* До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы: в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большой ловкостию между каретными колесами и, вероятно ради удальства, гарцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шажком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей; они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников,

из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой, вследствие неудачной лансады, перекувырнулся на воздухе и упал, к счастию не под колесо, а подле колеса проезжающей кареты. Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь — настоящая карикатура английского денди. Длинный, худой, с маленькой бородкою, в коротком сюртуке и цветном галстуке, он сидел на каком-то лошадином привидении, и ростом и статями похожем на чахлого верблюда; эта скаковая, кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась: то пятилась боком, то прыгала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью и при каждом ударе хлыста лягалась и перебрасывала своего ездока с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности, сидел подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостию, что невозможно было от смеху удержаться.

— Экий уродина! — шептал позади меня Никифор.— Да где это он достал такого аргамака? Чай, таких и на живодерне мало. Вон подошел к нему такой же долговязый мусью в суконном балахоне...

— То есть в пальто,— сказал я.— Да почему же ты называешь его мусью?

— Да должен быть какой-нибудь иностранец, батюшка. Посмотри-ка, засунул обе руки в карманы.

— Так что ж?

— Как что, Богдан Ильич? У русского человека руки всегда на свободе; не ровен час — поди их вытаскивай из карманов!

— Что это у тебя, Никифор, всегда драка на уме!

— Какая драка, помилуйте! А все-таки, сударь, знаете ли, этак настороже не мешает быть. «Еду не свищу, а наеду не спущу!»

— Ну, полно, полно, заврался!

— Слушаю, сударь!

Я не доехал еще и до середины гулянья, а начал уже скучать и посматривать с завистью на свободных пешеходов, которые шли куда хотели и делали все, что им было угодно. Кто выезжает на гулянье не верхом, а в каком-нибудь экипаже, тот должен отказаться на не-

сколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не *лицо*, а *вещь*, он не гуляет, а его возят, под арестом, в карете или коляске. Он желал бы ехать и стоит, не двигаясь, на одном месте; хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему, ради соблюдения порядка, говорят: «Не угодно ли вам еще прокатиться», то есть проехать версты четыре шагом. Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кой-какие вознаграждения за потерю своей свободы: для него гулянье то же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостию на толпу, которая повторяет его имя и ахает от удивления, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади не могли доставить мне этого «высокого» наслаждения; и как бы я ни разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решился при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком. Благодаря искусству моего кучера Петра, это желание через минуту исполнилось, и я снова вступил в права человека, то есть мог как существо разумное и одаренное свободной волею располагать моими действиями. Время было истинно прекрасное: теплый, влажный воздух, напитанный ароматическим испарением сосен, весенние голубые небеса, кой-где подернутые прозрачными облачками; эта жизнь и всеобщее движение; эти то близкие, то отдаленные звуки полковых оркестров, расставленных по лесу; этот бесконечный ряд экипажей, посреди которых беспрестанно мелькали белые султаны и кивера лихих кавалеристов; эти балаганы, битком набитые людьми всякого звания, и аристократические палатки, наполненные прекрасными женщинами; эти веселые лица и веселый говор бесчисленной толпы народа,— все это вместе составляло такую великолепную картину, такой роскошный *пир весны*, что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошел во всю длину гулянья, до обширной поляны, окруженной с трех сторон густым бором; на ней вокруг шатра, увенчанного елкою, и дощатого балагана, в котором показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народ. В числе разносчиков, предлагавших свой клюквенный квас, каленые орехи, пряники, сайки и калачи, двое потчевали мужичков мороже-

ным, и несколько мальчиков занималось продажею сигар. Кто бы мог подумать, что заморская выдумка — мороженое — и это табачное зелье, которое еще так недавно русский народ называл *чертовой травою*, найдут покупщиков у самых дверей питейного дома? Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородою курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им, спустя несколько минут, отправиться под елку. Возвращаясь к моей коляске, я присел отдохнуть на скамье подле одной палатки, которая, судя по выставленному у ее дверей самовару величиною с порядочную бочку, была одним из временных трактиров, разбросанных по всему гулянью. Я стал смотреть на проезжающие экипажи. Из числа их одна откидная карета, которая отличалась богатой английской упряжью, две щеголеватые кабриолетки и красивый штуль-ваген, запряженный парою англизированных лошадей, обратили на себя мое внимание. Как страстный охотник до всех противоположностей, я полюбовался также патриархальной наружностию некоторых карет и долго смотрел на один дормез, весьма пожилых лет, на козлах которого рядом с кучером сидела легавая собака. Вдруг кто-то звучным, тоненьким голоском произнес мое имя... Я обернулся: мимо меня проезжало целое дамское общество в огромной линейке. Этот простой экипаж показался мне красивее всех других; и подлинно: в ясный летний день что может быть прекраснее линейки, разумеется, если она, так же как в этот раз, служит для прогулки десяти или двенадцати красавиц, на которых вы можете любоваться, не подымая кверху головы и не заглядывая в узкие окна кареты... В то самое время, как этот подвижной цветник проезжал мимо, кто-то взял меня за руку; я оглянулся и увидел подле себя моего бального знакомца, камергера, который сказал мне с улыбкою:

— Здравствуйте, любезный двойник! Вот мы опять с вами встретились; только сегодня это вовсе не случай: я искал вас по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подле вас и отдохну. Вот, — продолжал он, поместясь рядом со мною на скамью, — вот это можно назвать гуляньем! И просторно и тепло, народу бездна, вокруг зелень, пыли нет...

— Так вы довольны сегодняшним гуляньем?

— Очень! мне так весело, что я даже без досады

смотрю на эти уродливые шляпы, которые в нынешнее лето надели на себя все москвичи.

— Да, модные шляпы не красивы: аршинная тулья, сплющенные крылья.

— Знаете ли что,— прервал камергер,— мне, право, кажется, что парижане придумали носить на своих головах эти глупые башни для того только, чтоб испытать, до какой степени простирается наше рабское, безотчетное подражание всем их дурачествам. Я помню исковерканные шляпы à la Cendrillon *, помню шляпы, которые походили на измятые колпаки, и остроконечные шляпы с едва заметными крыльями, напоминавшие формой цветочные горшки; все эти моды были очень безобразны, но их безобразие можно назвать красотою в сравнении с этим вавилонским столпотворением, которое мы должны носить вместо шляп, потому что так угодно Парижу. И добро бы еще дурачились одни молодые люди, а то посмотрите: вон идет старик, он едва передвигает ноги, а на голове у него не шляпа, а каланча! Боже мой, да что ж это такое? да будет ли когда-нибудь конец этому непонятному ослеплению? Перестанем ли мы когда-нибудь одеваться не только

Рассудку вопреки, наперекор стихиям,

но даже вопреки вкусу и красоте, из угождения к прихоти чуждого нам по всему народа. Придет ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которые никогда не стареются, станут повиноваться законам моды, не размышляя о том, прилична ли эта мода нашему климату и служит ли эта мода если не к удобству и спокойствию, то, по крайней мере, к украшению нашей наружности.

Этот длинный монолог моего соседа был прерван каким-то невнятным шепотом: один щеголеватый экипаж обратил на себя всеобщее внимание. Прекраснейшая коляска, четверня великолепных лошадей, богатая упряжь — все в этом экипаже должно было возбуждать удивление и похвалу, а вместо этого я слышал вокруг себя какой-то насмешливый хохот и восклицания, из которых некоторые были даже не очень вежливы.

— Что ж это значит? — спросил я,— чему смеются эти господа? Да это самый лучший экипаж из всего гулянья. Лакей и кучер одеты прекрасно, и в коляске си-

---

* под Золушку *(фр.)*.

дит человек вовсе не смешной наружности... Мне кажется... да, так точно... он должен быть иностранец?

— Вы не ошиблись! — отвечал камергер.

— Верно, какой-нибудь чиновник посольства?

— Не отгадали.

— Так, вероятно, знаменитый путешественник.

Камергер покачал отрицательно головою.

— А, понимаю! мотоватый сынок богатого банкира?

— Совсем не то.

— Да кто ж он такой?

— Артист, и даже не первоклассный.

— Нет, шутите?

— Право, не шучу. Эта четверня представляет сбор двух концертов, а коляска, вероятно, куплена ценою нескольких музыкальных вечеров.

— Так он музыкант? бедняжка! Ну, если он как-нибудь вывихнет палец?

— Да, это будет грустно; ведь вовсе не весело при свисте и хохоте толпы пересаживаться из этой великолепной коляски на какие-нибудь оборванные дрожки плохого извозчика. Ну, теперь понимаете ли, чему смеются?

— Да, это и смешно и жалко.

— Нет, покамест только смешно. Вы знаете басню о лягушке, которая хотела сравняться с быком. О ней можно было пожалеть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась — так, вероятно, все, глядя на нее, смеялись, а не плакали.

— Вот лошади! — вскричал я невольно, взглянув на красивую пролетку, заложенную парою вороных коней необычайной красоты.

— И, верно, пришлись очень дешево хозяину,— прервал камергер.

— А кто он такой?

— Также артист, но только совсем другого роду.

— Кто ж он такой? скульптор, живописец?..

— Нет, механик — да еще какой! Перед ним и знаменитый Боско ничего не значит.

— А, так он фокусник?

— Преудивительный! Если б вы знали, какие чудеса он делает картами! Попробуйте сто раз сряду из целой колоды карт поставить какую вам угодно *ва-банк* — всегда ляжет направо. Необычайное искусство!

— Вот что! И, верно, он называет это искусство удачею и случаем?

— Разумеется — истинный талант всегда скромен.

— Однако ж посмотрите, сколько у него знакомых! Он беспрестанно раскланивается направо и налево; неужели это все такие же, как и он, артисты?

— Избави господи! да тогда бы надобно было бежать вон из Москвы.

— Так поэтому не всем знакомым его известно...

— Чем он промышляет? Да это знают даже и те, которые с ним вовсе незнакомы.

— И несмотря на это...

— Да, несмотря на это с ним кланяются, ему жмут руку, и люди очень честные не стыдятся водить с ним хлеб и соль.

— Скажите пожалуйста!.. Что же значит после этого общее мнение?

— Да равно ничего! Оно страшно только для бедняков, а тот, кто может сыпать деньгами, смеется над этим «общим мнением». Все станут ругать какого-нибудь миллионщика-негодяя, и все к нему поедут обедать, лишь только бы у него была уха из аршинных стерлядей да шампанского вдоволь. Прочтите басню «Суд зверей», вот вам «общее мнение». Кто слаб, того оно задушит, кто силен, тому оно повалится в ноги.

— Да, конечно, Грибоедов прав:

Кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы!

Но кто же в этом виноват? Все-таки не общее мнение; оно делает свое дело, да мы-то своего не делаем. Оно клеймит без пощады порок, прославляет добродетель, уважает ум, смеется над глупостию...

— И, конечно, скажете, всегда бывает справедливо? — прервал с живостию камергер.— Вот то-то и беда, что нет! Сколько раз на моей памяти это «общее мнение» поддерживало ничем не заслуженную славу бездарного писателя, губило возникающий талант и помогало распространяться гнусной клевете; сколько глупцов, по милости того же «общего мнения», слывут во всю жизнь свою людьми умными, и сколько истинно умных людей разжаловано им если не в глупцы, то, по крайней мере, в совершенно пустые и ни на что не способные люди. Общее мнение!.. Да уж не говорите мне об этом общем мнении!..

— Однако ж недаром же есть пословица: «Глас народа — глас божий».

— Да! если б этот глас народа был всегда справедлив или, по крайней мере, выражал общее мнение, а то ступайте, покатайтесь по Москве, послушайте!.. Вот какая-нибудь сиятельная или превосходительная дама, которая в своем углу разыгрывает большую барыню, примется все осуждать, всех казнить, позорить — и тот дурен, и этот не хорош. «Помилуйте, батюшка, на что это походит? Кого нам дали? Что это за человек?.. Его «Москва не любит!..» То есть я — Матрена Власьевна — его терпеть не могу. А там, глядишь, другой барин начнет вам рассказывать такие нелепые новости, что у вас волосы дыбом станут; вы посомнитесь, и он тотчас вам скажет: «Да, сударь, да, это верно — Москва говорит!» А кто это Москва?.. Какой-нибудь отставной бригадир Панкратий Ильич с своей супругою да кумушка из соседнего прихода... Да что об этом говорить,— продолжал мой собеседник, вставая,— вы, верно, приехали сюда не философствовать, а подышать весенним воздухом, погулять, позевать на толпу, так пойдемте лучше в лес да посмотрим, как веселятся те, которые приехали сюда не в щегольских экипажах, а в плохих колясках, тележках, на извозчиках и, как обыкновенно выражаются господа пешеходы, на «паре вороных», то есть просто пешком.

Оставив в стороне большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядных экипажей, мы повернули в лес и не успели сделать двадцати шагов, как сцена совершенно переменилась. Вместо роскошного столичного гулянья мы увидели перед собою сельский праздник во всей незатейливой красоте его, но в таких колоссальных размерах, что вовсе нетрудно было догадаться, из какой деревеньки пришел весь этот православный народ потешиться, погулять и напиться чайку под тенью зеленеющих сосен, которые недели четыре тому назад, занесенные снегом и покрытые инеем, стояли как мертвецы в своих белых саванах. Все пространство, какое только можно окинуть взором, усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и везде пили чай. Эта необходимая потребность нашего купечества, эта единственная роскошь наших небогатых мещан, это праздничное высочайшее наслаж-

дение всех трезвых разночинцев, фабричных мастеровых и даже мужичков — наш русский кипучий самовар дымился на каждом шагу. Мы подошли к одному из этих самоваров, вокруг которого сидело на траве человек пять рабочих людей из крестьян и две молодицы в нарядных телогреях. Все они сидели чинно, попивали чаек, и не стаканами, а из фарфоровых чашек.

— Ну, вот это хорошо, ребята,— сказал мой собеседник,— вы вместо вина пьете чай. Оно дешевле и здоровее...

— Да и батюшка не заказывает,— сказал один молодой парень, кладя в рот кусочек леденца, который служил им вместо сахару.

— Знаете ли,— продолжал камергер, обращаясь ко мне,— ведь это уже не в первый раз, что я встречаю простых крестьян, которые, желая повеселиться, пьют чай, а не вино — этот медленный яд, который хуже всякого другого, потому что он в одно время убивает и тело и душу.

— Почему же яд? — сказал я.— В нашем климате умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно.

— Умеренное, да вот то-то и беда, что умеренность редко бывает добродетелью русского человека. В нужде наш мужичок будет сыт куском черствого хлеба, но если он расположится погулять, то есть попить и поесть сколько душе угодно, то уж, конечно, съест за троих немцев, а выпьет за пятерых. Немцу что надобно? — бутылку пива, много две. А видели ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной столько нальет в себя этого хмельного питья, что весь растечет и сделается почти прозрачным. Немец выпьет с расстановкою небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно, а русский человек коли уж выпил один стаканчик «казенного», так подавай ему целый штоф! Нет, конечно, можно будет порадоваться, если у нас так же, как и в Соединенных Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай...

— Да почему же не сбитень? — прервал я.

— Сбитень? — повторил камергер.— Конечно, зимою русскому мужичку, когда он продрогнет на морозе, хорошо выпить стакан сбитню с перцем или имбирем, да это наслаждение совсем другого рода. Притом же с этим сбитнем много хлопот, его надо варить умеючи, и

для этого есть даже особенные мастера, и обойдется-то он гораздо дороже чаю.

— Неужели дороже?

— Разумеется. Попытайтесь-ка напоить сбитнем русского мужичка, да напоить, как говорится, до отвалу, так он у вас на полтину выпьет. А чай что такое? Был бы только самовар, вода непокупная, чаю для троих довольно на двадцать копеек, на десять — леденцу; и вот наш мужичок примется пить не торопясь, с прохладою; выпьет чашек десять горячей воды, которая пахнет немного чаем, и протешится часа два за медную гривну. Оно и дешево и безвредно, а между тем есть чем и похвастаться. «Были, дескать, в Сокольниках, на бар посмотрели, чаю пили вдоволь... Неча сказать — потешились, погуляли досыта!» Однако ж,— промолвил мой собеседник,— вот моя пролетка, пора домой!

— И мне также пора,— сказал я,— теперь еще ехать можно свободно, а как все разом хлынут с гулянья, так и на Сокольничьем поле будет тесно. Здесь же все ездят шагом, а там начнется такая скачка, что упаси господи! Все кучера с ума сойдут, кинутся во все стороны, начнут перегонять друг друга, благо жандармов нет — воля, гони себе и в хвост и в голову!.. Беда, да и только!

— И это также,— сказал камергер, садясь в свою пролетку,— характеристическая черта русского народа. Заставили его поездить часика четыре тихо, чинно, по-немецки, а там как дали волю русской удали, так уж только держись!

Я простился с камергером, отыскал свою коляску и отправился домой. Когда я стал подъезжать к Красному пруду, то оглянулся назад — все Сокольничье поле было усыпано экипажами: немецкое гулянье кончилось, и началась русская скачка.

ПИСЬМО ИЗ АРЗАМАСА

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?..
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев...

Грибоедов

Мне случилось однажды быть в обществе, где чрезвычайно много толковали о разных европейских вопросах, о требованиях века и в особенности о народном

просвещении, или, по-нынешнему, *цивилизации.* Более всех разглагольствовал один барин с рыжей бородкою и длинными волосами «а-ла мужик»... Он с удивительным жаром доказывал необходимость заведения повсеместных школ в России: называл эти школы нормальными *, говорил так красноречиво и таким непонятно ученым языком, что все слушали его в почтительном молчании. В числе этих слушателей нашелся, однако ж, такой бессовестный человек, который, вместо того чтоб скрывать свое невежество, не постыдился спросить у этого барина, что такое *нормальная* школа. Вы не можете себе представить, до какой степени этот неожиданный вопрос смутил моего красноречивого мудреца: он вспыхнул, замялся, пробормотал что-то сквозь зубы и тотчас переменил разговор,— одним словом, нельзя было не заметить, что он и сам не знал порядком, что такое *нормальная* школа, и, говоря вообще о первоначальных учебных заведениях, называл их нормальными ради того только, чтоб придать более важности своим речам. Впрочем, подобные случаи бывают у нас нередко, и вы можете встретить на каждом шагу людей, которые, как ученые попугаи, повторяют натолкованные им слова, не понимая сами настоящего их смыслу.

Нет! вовсе не таков старинный мой приятель Андрей Яковлевич Миронов. Прослужив с честью лет сорок, он живет теперь на покое в уездном городе Арзамасе. Андрей Яковлевич не может похвастаться ученостью, не знает иностранных языков, не имеет никакого понятия о немецкой философии; однако ж старик неглупый, большой охотник до чтения и в некотором отношении человек очень любознательный. Например, если он встретит в книге какое-нибудь новое для него слово, то не успокоится до тех пор, пока не доберется до настоящего смысла этого слова. Он пересмотрит все словари, переговорит со всеми учителями уездного училища и если найдет их толкования неудовлетворительными, то при первом случае поедет в губернский город и отнесется прямо к господину директору гимназии; но, видно, и это последнее средство не всегда удается моему приятелю, потому что я на днях получил от него преогромное письмо, которое почти все составлено из одних вопросов. «Я, батюшка, человек не многоязычный,— говорит

* от фр. école normale.

он в начале письма, — я знаю только свой родной язык, и, кажется, знаю его порядочно, а вот с некоторого времени стали мне попадаться, особенно в одном журнале, такие странные слова, каких я в жизнь свою не слыхивал. Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надобно же давать какие-нибудь названия — да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке... Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагерротипом (фу, батюшки! насилу выговорил!). А ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски — и, воля ваша! слово «светопись» понятнее и вернее французского слова «дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит. Да что об этом толковать! Я человек простой, где мне состязаться с людьми учеными: мне бы только понимать то, что они пишут; и вот почему, Богдан Ильич, я покорнейше прошу вас истолковать мне, хотя приблизительно, значение нижеследующих слов».

Тут начинался предлинный список словам, из которых многие действительно могли бы сбить с толку не только человека неученого, но даже знаменитого кардинала Меццофанти, который говорит и пишет свободно на семидесяти двух различных языках и наречиях. Я решился отвечать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно — во-первых, потому, что, может быть, в этом ответе и читатели моих записок найдут что-нибудь дельное, а во-вторых, для того, что это небольшое рассуждение о словесном нашествии иноплеменных будет, кажется, совершенно у места в записках старого москвича, который любит свой родной язык не потому только, что этот язык называется русским, а потому, что он истинно прекрасен; потому что в его могучих и роскошных звуках отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русского; потому что этот язык так же самобытен, так же неистребим, так же велик, как наша родина святая, которую не могли сокрушить ни татарские погромы, ни завоевания поляков, ни нашествие французов, ни даже собственные смуты и междоусобия. Теперь об этих народных смутах и речи нет, но в словесности нашей они еще водятся. Одни хотят переделать наш язык на французский образец, нарядить этого русского великана в какой-то пестрый шутовской наряд; другим это вовсе не

по сердцу. Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что «История русского народа» все то же, что история грудного ребенка, а другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче не походила уже на малое дитя. Теперь вы видите, что в нашей словесности действительно есть смуты и *усобица*; не льется только кровь христианская, не гибнет народ православный, но зато чернила льются рекою, и писчая бумага гибнет целыми стопами.

Ответное письмо Андрею Яковлевичу Миронову

Любезнейший Андрей Яковлевич!

Я получил ваше дружеское письмо, и надобно сказать правду: оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мне порядочную задачу! Я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перековерканных на русский лад иностранных слов; они, конечно, были для меня не новостию, но прежде эти изувеченные пришлецы встречались со мною поодиночке, а теперь, когда я увидел перед собою это безобразное полчище *тенденций, консеквенций, субстанций, абстракций, эксплуатаций*, то, признаюсь, волосы стали у меня дыбом. Господи боже мой!.. Да это второе нашествие галлов и с ними двадесяти язык! И добро бы еще все эти уродливые слова были для нас необходимы, но когда подумаешь, что почти каждое из них можно перевести буквально на русский язык или по крайней мере заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь: «Ну, господа преобразователи! много надобно иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтоб решиться на такое нелепое искажение своего родного языка! Как бы порадовался знаменитый профессор *элоквенции*, Тредьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи! Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды исковерканные иностранные слова, и он также называл достоинство *меритом* и говорил вместо принадлежности — *атрибут*, а вместо последовательно-

сти — *консеквенция*. Бедный Тредьяковский! жаль, что ты не дожил до нашего времени!»

Несмотря на все мое желание угодить вам, почтеннейший Андрей Яковлевич, я никак не могу отвечать на все ваши вопросы: для этого мне пришлось бы составить целый пояснительный словарь. Позвольте мне, на первый случай, истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова: *тенденция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и беллетристика.*

Тенденция (tendance). По-русски *наклонность*, а в некоторых случаях — *направление*. Преемники Тредьяковского, вероятно, написали бы: «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства» или «жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет: «*Направление* умов совершенно *согласовалось* с действиями правительства. Жители Океании имеют явную *наклонность* к воровству». Лет около ста тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово *тенденция* было неизвестно, но вместо него часто употреблялось слово *пропензия* (propention), которое значит почти то же самое.

Субстанция (substance). Слово от слова по-русски: *сущность*. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, часть речи, называемая по-русски имя *существительное*, а по-французски le nom substantif, происходит от одного и того же корня. Теперь я спрашиваю: что за необходимость из этих двух совершенно тождественных слов употреблять непременно французское слово, понятное только для тех, которые знают этот язык? Вероятно, господа восстановители школы Тредьяковского скажут мне: «Да какой же порядочный человек не знает по-французски?» А я так думаю, что в Англии, Германии и в разных других государствах много есть порядочных людей, которые не знают французского языка, и что за странный вывод такой? Что за *курьезная консеквенция*: «Если хочешь понимать русский язык, учись французскому»?

Цивилизация (civilisation). Производное речение от слова «civil», то есть вежливый, общежительный; следовательно, «civilisation», или «цивилизация», значит одно

и то же, что наше *образованность*, а в смысле более обширнейшем — просвещение. Спросите у любого грамотного француза, что он понимает под словом «civilisation», и вы увидите, что он разумеет под ним именно то же, что мы разумеем под словами «просвещение» и «образованность», то есть — общежительность, вежливость, науки, художества, изящные искусства и образ мыслей, сходный с понятиями нашего века; следовательно, мы могли бы прожить и без этого новенького словца, которое не обогатило ни на волос ни наш язык, ни наши понятия. У французов есть еще слово «les lumières», которое в смысле нашего «просвещения» заменяет иногда слово «civilisation». Уж нам бы взять и его; ну, чем слово «люмиеры» хуже «цивилизации»? Оно так же непонятно для русского человека и точно так же придает какой-то ученый вид разговору, а ведь мы из этого только и бьемся.

«Просвещение»!.. Подумаешь, какое это чудное слово!.. Мы все им очарованы, все пленяемся, а между тем никто еще не взял на себя труда определить настоящий смысл этого слова. Каждый толкует его по-своему; для одного просвещение — дар божий, для другого — наказание небесное, и как послушаешь, так они оба правы, а, кажется, истина должна быть одна? Уж не оттого ли это, что в здешнем мире все имеет свою дурную и хорошую сторону? Ведь самое благодетельное целебное лекарство может превратиться в яд, если мы станем употреблять его не так, как должно.

Вообще наши понятия о просвещении бывают до того различны, что одни часто находят его в полном развитии там, где другие не замечают и малейших его признаков. Одни говорят, что просвещение начинает уже проникать во все слои нашего общества, другие, и в особенности усердные поклонники Запада, уверяют, что оно не делает почти никаких успехов в нашем отечестве, что мы стоим все на одном месте и отличаемся от своих предков только платьем и обритой бородою. Одним словом, что мы точно такие же неучи, какими были лет за сто назад. Я желал бы спросить этих страстных обожателей Запада: «Да что ж такое, господа, по-вашему — просвещение?.. Если вы разумеете под этим распространение полезных знаний, художеств и наук, смягчение нравов, повсеместное учреждение учебных заведений, умножение всех житейских удобств, улучшение мануфактурных изделий, усовершенствование ремесленной

промышленности и устроение удобных путей сообщения, дающих новую жизнь внутренней торговле государства,— так это все у нас делается; быть может, по-вашему, слишком медленно, да ведь вы знаете, господа, что в деле просвещения поспешность и скачки никуда не годятся. Ну что бы вы сами сказали о человеке, который, не сделав еще потолков и не сведя кровли над своим домом, начал бы штукатурить и расписывать в нем стены потому только, что соседи его, у которых давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу. Вероятно, и вы нашли бы этот поступок необдуманным — так чего же вы хотите?.. Уж полно, то ли вы разумеете, господа, под вашей *цивилизацией* и *прогрессом?* Не полагаете ли вы, что русские тогда только сделаются просвещенным народом, когда совершенно превратятся во французов, немцев или англичан? То есть станут жить как они, переймут все их обычаи, будут смотреть их глазами, мыслить их головой, закидают грязью все родное и заговорят все вашим исковерканным полурусским языком? Да разве это просвещение? О, конечно нет! Это не просвещение, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные немцы, англичане, голландцы, шведы и даже италиянцы, вовсе не походя на французов, имеют право называться просвещенными людьми, так почему же русский не может заслужить этого названия, не утратив своей народной самобытности? Нет, господа, в наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему не рассуждая, а нам уж пора выйти из пеленок.

Гуманность. Я думаю, что в этом слове не всякий француз узнает свое «humanité», тем более что при переделке «на русские нравы» оно получило смысл гораздо обширнейший. Гуманность можно перевести русским словом *человечность*, то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека, или вообще любовь ко всему человечеству, и, разумеется, в самом высоком значении этого слова. Гуманность заменила у нас другое выражение, которое уже несколько поизносилось, а именно *космополитизм*. Вероятно, господа космополиты, сиречь — *граждане вселенной*, оправдывают это странное гражданство своей любовию ко всему человечеству; следовательно, *гуманный* человек и космополит почти одно и то же; надобно только сказать, что есть два рода космополитизма, или *гуман-*

ности: один выражается не словами, а делом, другой по большей части ограничивается одним красноречивым пустословием; первый имеет своим основанием закон божий, второй опирается на просвещение и философию, а самый опыт не раз нам доказывал, как хрупки и ненадежны эти опоры. Любовь ко всему человечеству — какое прекрасное, высокое чувство! В духовном смысле это едва ли не первая христианская добродетель; но посмотрим, то ли оно будет в своем приложении к нашему мирскому, греховному быту. Космополит, сиречь человек гуманный, не хочет знать никакой исключительной любви; он любит всех одинаким образом и заботится не о частном благе одного поколения или одного народа, но о всемирном, общем благе всего рода человеческого; для него мало быть хорошим отцом семейства, полезным членом общества, верным сыном своей родины — он выше всего этого: он гражданин вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолепно на бумаге, а в самом-то деле почти всегда служит благовидным предлогом, чтоб не думать ни о чьем благе, кроме своего собственного. Друг человечества, гражданин вселенной!.. Какие очаровательные слова и в то же время какой верный расчет! Эта многолюдная семья, которую мы называем отечеством, требует от нас иногда большого самоотвержения, великих жертв, а что может требовать от одного человека вся вселенная?.. Будет и того, что он ее любит.

Здесь кстати упомянуть о *филантропии*, близкой родственнице этой модной *гуманности* и заштатного *космополитизма*. Филантропия — греческое составное слово, которое бог знает почему попало в наш язык. Французы начали употреблять его потому, что в их языке нет решительно выражения, которое заключало бы в себе точный и полный смысл этого слова; а мы зачем взяли его у французов? У нас есть звучное, прекрасное слово: «человеколюбие», которое и по смыслу и по составу своему совершенно одно с греческим словом «филантропия», составленным так же, как русское, из двух слов: «любовь» и «человек». И есть же люди, которые называют это обогащением языка! Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие, для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения, но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом,

то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык.

Юмористика — производное речение с английского слова «юмор», которое, в свою очередь, происходит от французского: «humeur». Слово «юмор» дает понятие о какой-то особенного рода веселости, свойственной англичанам или, вернее сказать, некоторым английским писателям, во главе которых стоит имя известного юмориста Стерна, написавшего роман «Жизнь и мнения Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово «юмористика» перевести хотя приблизительно на русский язык, то, может быть, я отвечал бы вам утвердительно, если б не боялся, что меня закидают камнями. Мне кажется, лучше будет, когда я предоставлю вам самим разрешение этого вопроса. Вот что понимают англичане под словом «юмор», разумеется, в том значении, о котором идет речь. Английский словарь «Royal Dictionary english and french» * определяет смысл этого слова следующим образом: «Юмор — свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический; особенная способность ума показывать все *в потешном, смешном* и *шутовском* виде (grotesque)». Ну, теперь я спрошу вас, как назовете вы русского человека, обладающего этой способностью?.. Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а название этого человека вертится у вас на языке. Не правда ли, что этих людей зовут у нас *балагурами?..* Да не пугайтесь! Во всяком случае, камнями станут бросать не в вас, а в меня, потому что я скажу, не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство, или веселость, в существе своем одно и то же и если они выражаются различным образом, так это оттого, что каждый народ имеет свою собственную народную физиономию. Английская веселость, которую мы называем «юмором», резка, карикатурна и в то же время не чужда какого-то простодушия, глубокого чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмешлива. Немецкая тяжела, натянута и почти всегда походит на какую-то заказную веселость, которая не просто выливается из души, а преподается с кафедры по всем правилам науки. Этот немецкий юмор менее всех других походит на разгульную и удалую веселость нашего народа, на это затейливое балагурство, исполненное насмешки и иронии. Рус-

---

*«Королевский англо-французский словарь» *(англ.)*.

ский человек почти всегда назовет какого-нибудь урода — красавцем, недоростка — великаном, дурачка — умницей, и если вы услышите на улице, что народ хохочет и кричит: «Держи, держи!.. Батюшки, разбила!..», то будьте уверены, что дело идет о каком-нибудь лошадином остове, который едва передвигает ноги. «Да помилуйте,— скажут мне,— что общего между благородным английским юмором и нашим площадным балагурством?» — Площадным?.. А разве, вы думаете, английский юмор никогда не бывает площадным? Все зависит от того, кто обладает этой врожденной способностью. Он может быть и человеком образованным, и каким-нибудь трактирным балясником. Ведь и русские балагуры бывают разных родов. Вы можете повстречаться в гостиных нашего лучшего общества с каким-нибудь милым, любезным и весьма остроумным балагуром; вы найдете балагура также и в кабаке, только в этом случае его любезность и остроумие будут совершенно другого рода. Посмотрите, как шутит Грибоедов, как потешается Пушкин, как балагурит иногда Гоголь, и взгляните потом на иную статью журнального балагура, который воображает, что его пошлые, отвратительные шуточки, площадная брань и литературное кощунство исполнены самочистейшего юморизма.

Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом «балагурство» английское слово «юмор». Пусть оно останется в нашем языке для названия веселости, собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово «юмористика» составлено весьма неудачно. Юмор есть не что иное, как отдельное достоинство всякого сочинения, принадлежащего к изящной словесности, какого бы содержания и рода оно ни было. Говоря о книге, написанной с умом и веселостию, вы скажете, что в ней много юмору. Но разве вы не говорите также, что в таком-то сочинении много занимательности, ясности, живости, силы, однако ж никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения какие-нибудь особенные отрасли словесности. Мне возразят, может быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имеют в себе ничего исключительного и принадлежат равно всем, а «юмор» есть особенного рода веселость, по преимуществу принадлежащая англичанам. Согласен!.. Позвольте только спросить вас, чем отличаются вообще наши волжские песни?.. Не этим ли

русским *удальством,* по преимуществу свойственным нашему народу? Следовательно, если б кто написал что-нибудь в духе этих разгульных песен, то мог бы назвать свое сочинение *удалистикой?* Разумеется, это было бы смешно и даже нелепо, а между тем он имел бы на это полное право. Если из юмора, этой народной веселости английских писателей, можно было составить «юмористику», так почему ж из русской удали, этой отличительной черты наших народных песен, нельзя сделать *удалистики?*

Ирритация. По-русски слово от слова: раздражение.

Меркантильная индустрия. Также слово от слова: мелочная промышленность.

Беллетристика. Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевич, что это за наука такая и для чего ей дали такое неблагозвучное название? Что грех таить! увидев в первый раз слово *беллетристика,* я и сам подумал, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалел, что для этой науки, может быть весьма полезной, придумали название, которое так странно и так неприятно звучит для русского уха. Разумеется, я не мог долго ошибаться и, порассмотрев внимательно эту незваную гостью, тотчас узнал в ней нашу старую знакомую, которую до сих пор звали «изящной словесностью». «Неужели,— спросите вы,— эта бесстыдница, мадам беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность?» Жаль, Андрей Яковлевич, что вы не знаете иностранных языков, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический словарь, и вы увидели бы тогда, что слово «belles lettres», из которого состряпали «беллетристику», значит все то же, что наше слово «изящная словесность». Преобразователи русского языка не ограничились, однако ж, этой переделкой, они сочинили еще слово «беллетрист», которое не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова «un homme de belles lettres», а есть только «un homme de lettre» — по-русски *словесник,* да еще слово «un homme lettre», то есть человек ученый.

Вот вам, любезный Андрей Яковлевич, довольно подробное истолкование этим модным словам, которые я выбрал из вашего огромного списка. Не правда ли, что эти иностранные слова с русским окончанием походят на каких-то одетых в шитые кафтаны французов, кото-

рые воображают, что мы их примем как наших кровных и родных, потому что они надели на свои пудреные головы русские шапки с заломом. Нет, почтенные иноземцы! этот святочный, шутовской наряд не обманет никого! Надевайте-ка опять ваши треугольные шляпы с плюмажем; ведь наша русская шапка вам вовсе не к лицу.

Теперь вы спро́сите меня, Андрей Яковлевич, из чего хлопочут эти господа преобразователи и что им за радость увечить без всякой нужды свой родной язык? Что за радость? Да разве вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которым мы вправе гордиться перед всеми, потому что из всех новейших языков он один заключает в себе почти все достоинства древнего греческого языка, едва ли не первого из всех языков человеческих. Записные враги русского языка называют его грубым, бедным, неуклюжим и, чтоб доказать это на самом деле, пишут таким уродливым языком, который равно непонятен и для безграмотного мужика, и для просвещенного человека. Но это бы еще ничего; пусть себе какой-нибудь удалой скоморох коверкает и корчит рожи, чтоб потешить толпу зевак; но что вы скажете, если этот гаер потребует, чтоб и все также ломались и искажали свое человеческое обличье? Что скажете вы, если он будет ругать невеждами, ограниченными *пуристами* и староверами всех тех, которые не желают ему подражать? Что скажете вы, если он начнет кричать: «Чему вы смеетесь, неучи? Уж не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шут и кривляюсь ради вашей потехи? Да знаешь ли ты, не способная ни к какому процессу мышления, невежественная толпа, что это все гумористика и беллетристика! Я хотел было инисиировать * тебя во все таинства гуманности, эксплуатировать ** твой грубый интеллект, приготовить тебя к цивилизации, но я вижу, что в тебе нет ни малейшей тенденции к прогрессу, потому что ты, стюпидная толпа ***, составлена вся из детей с отсталым понятием и ребяческими взглядами». Разумеется, вы скажете ему: «Нет, господин паяц! Дети, может быть, и станут тебя передразнивать; они, по легкомыслию, свойственному их летам, любят и сами покувыр-

* Посвятить (от *фр.* initier).
** Здесь: обработать, разработать (от *фр.* exploiter).
*** Тупая толпа (от *фр.* stupide).

каться, попрыгать на одной ноге, подразниться языком; а мы, люди взрослые, мы можем забавляться твоим гаерством и даже платить за это деньги, но уж, верно, сами не пойдем к тебе в ученики». Конечно, это не уймет скомороха; напротив, он начнет кричать и дразниться языком пуще прежнего, надоест всем порядочным людям — они разойдутся, а все-таки этот отчаянный фигляр не останется без публики. Что ж делать; ведь у нас так же, как и везде, много есть простодушных и не слишком грамотных людей, которые до смерти любят площадных шарлатанов и верят им во всем на честное слово.

Может быть, вы мне сделаете еще вопрос: «Почему же есть люди умные, даровитые, владеющие прекрасно русским языком, которые, однако ж, заменяют иногда без всякой нужды русское слово иностранным?» Почему?.. Да так! По какому-то необдуманному подражанию, по любви к новости, а чаще всего по лени. Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку. Иногда не вдруг придет на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это переделанное словцо уж совсем готово, под руками! Конечно, не все грешат против русского языка по этой причине. Есть люди, которые коверкают его потому только, чтоб подражать во всем каким-нибудь знаменитым *беллетристам*, к которым они питают беспредельное уважение. «Да за что ж они так уважают этих отъявленных врагов русского языка?» — спросите вы. Ну, уж на это я вам отвечать не стану, а если б вы знали французский язык, я бы вам посоветовал прочесть до конца первую песнь из поэмы Буало «L'art poétique» *, вы нашли бы в ней самое удовлетворительное разрешение этому вопросу.

Прощайте, любезнейший Андрей Яковлевич! Будьте здоровы и любите по-прежнему вашего искреннего приятеля

Богдана Бельского.

* «Поэтическое искусство» *(фр.)*.

НЕСКУЧНОЕ *

Несносен мне зимой суровый наш климат,
Глубокие снега, трескучие морозы;
Но летом я люблю и русские березы,
И наших лип душистый аромат.
Как часто в знойный день под их густою тенью
В Нескучном я душою отдыхал...

В-н.

Много есть садов лучше нашего Нескучного, которое скорее можно назвать рощею, чем садом; но едва ли можно найти во всей Москве и даже в ее окрестностях такое очаровательное место для прогулки, а особливо если вы идете гулять не для того только, чтоб людей посмотреть и себя показать. Это Нескучное, поступившее ныне в ведомство московской Придворной конторы, принадлежало некогда К. Ш., человеку доброму, радушному и большому хлебосолу. Я не знаю, кому принадлежал этот сад прежде, но только помню, что когда он не был еще собственностию К. Ш., то порядочные люди боялись в нем прогуливаться и посещали его очень редко. Тогда этот сад был сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали в Нескучное пропивать на шампанском или полушампанском барыши всей недели, гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с *дамами*, которые, по изгнании их из Нескучного, сделались впоследствии украшением Ваганькова ** и Марьиной рощи. На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах, замоскворецкие франты в венгерках; не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, по аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, разумеется на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия: коман ву партеву! тре бьян! бон жур! мон шер! *** Изредка вырывались фразы на немецком

* Написано в 1840 году.

** Кладбище за Пресненской заставою, любимое гулянье простого народа.

*** Как вы поживаете! очень хорошо! добрый день! мой дорогой! *(искаж. фр.)*

языке, и можно было подслушать разговор какого-нибудь седельного мастера с подмастерьем булочника, которые, озираясь робко кругом, толковали меж собою о действиях своего квартального надзирателя, о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. С изгнания цыганских таборов из Нескучного и уничтожения распивочной продажи все это воскресное общество переселилось в разные загородные места, и в особенности в Марьину рощу. Когда я познакомился с новым владельцем Нескучного, этот сад принял уже совершенно другой вид: дорожки были вычищены, знаменитый мост, который, к сожалению, теперь уж не существует, исправлен, укреплен и сделан безопасным; домики украшены, и к воротам сада подъезжали не одни уж рессорные тележки и ухарские пары, но очень часто четвероместные кареты, а по тенистым аллеям бегали миловидные дети и мелькали соломенные шляпки московских дам высшего общества. Потом выстроили в Нескучном воздушный театр, то есть театр без кровли, в котором давали не только водевили и дивертисменты, но даже большие комедии, трагедии и балеты *. Эта новость понравилась, и Нескучное сделалось любимым гуляньем московской публики.

Но знаменитость и слава земная — прах! Когда Нескучное было в ходу и жители Большого Калужского проспекта начинали уж поговаривать без всякого уважения о Тверской улице и при всяком удобном случае рассказывать с гордостию, что их дома в двух шагах от Нескучного, за Петербургской заставою, тихо и безмолвно, вырастал опасный его соперник. Петровский парк был еще в младенчестве, но он мужал не по дням, а по часам, и вдруг, как будто бы волшебством, возникли на чистом поле прекрасные дачи, разостлались широкие дороги, зазеленели бархатные луга, усыпанные куртинами, поднялся красивый портик театра, прекрасного как игрушка, на которую нельзя было не полюбоваться, и выросло из земли огромное здание воксала со всеми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу; Нескучное опустело, его воздушный театр превратился в пепел, то есть он был продан

---

* Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцевали последнее действие «Венгерской хижины» почти по колено в воде.

на дрова; диковинный мост обвалился, и обыватели Большой Калужской улицы стали обращать внимание на каждую проезжающую карету, сбавили половину цены с найма своих домов и не хвастались уже своим близким соседством с Нескучным садом, в котором стало очень скучно, по крайней мере для любителей многолюдной толпы, то есть для девяноста девяти сотых частей гуляющей публики.

Вот краткая современная история Нескучного. Теперь позвольте мне сказать о нем несколько слов в топографическом отношении и описать его так, как оно было в счастливые времена своей мимолетной славы и минутного величия.

Этот сад, начинаясь от рощи, принадлежавшей князю Д. В. Голицыну, оканчивался за Калужскою заставой. Одной стороною он обращен к Донскому монастырю, другая тянется по крутым и гористым берегам Москвы-реки. Войдя главными воротами в широкую аллею, ровную и гладкую, как Тверской бульвар, вы никак не отгадаете, что вас окружают если не пропасти, то по крайней мере такие буераки, что я не советую никому ходить вечером по левой стороне аллеи, между деревьями, которые растут на самых закраинах обрывистых и глубоких оврагов. Когда вы доходили до конца аллеи, вам открывался на правой стороне окруженный цветниками господский дом со всеми своими принадлежностями. Этот дом исчез также с лица земли, но он отжил свой век. И тогда уже страшно было смотреть на этого маститого старца; сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краскою, проглядывали его трещины, точно так же, как, несмотря на толстые слои белил и румян, прорезываются глубокие морщины на лице какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочет остаться вечно молодою. От дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мост. Не бойтесь, ступайте смело за мною: этот мост поставлен на деревянных срубах и хотя на взгляд очень подозрителен, но гораздо прочнее и надежнее господского дома. Вот мы дошли до его средины. Теперь остановимся, обопремся на перила и поглядим, что у нас под ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, так что ж это такое? овраг? Нет, воля ваша! у меня язык не повернется назвать таким пошлым именем первую диковину Нескучного. Представьте себе поросшее сплошным лесом ущелье, мрачное и глубокое для всякого человека с хорошими глазами и почти

бездонное для того, кто имеет несчастие быть близоруким. Столетние деревья, растущие на дне его, кажутся вам деревцами, потому что вы видите только одни их вершины. Их корни омывает едва заметный проток, составляющий по ту сторону моста небольшой пруд. Если вы сойдете по извилистой тропинке на дно этой... ну да! этой пропасти, то вам надобно будет лечь на спину, чтоб, не свихнув себе шеи, посмотреть на многолюдную толпу гуляющих по мосту, который как будто бы висит на воздухе; но я не советую вам сходить в эту преисподнюю, если вы не любите ужей: это их подземное царство, из которого они выползают иногда в аллеи сада, вероятно для того, чтоб полюбоваться на свет божий и погреться на красном солнышке.

Сколько раз встречал я полночь на этом мосту. Я жил тогда в Нескучном. Однажды — никогда не забуду этой ночи! — мне что-то не спалось; я встал, оделся на скорую руку и пошел бродить по саду. Ночь была лунная, воздух теплый, влажный, напитанный ароматом. Дойдя до средины моста, я остановился; мертвое молчание, густая тень деревьев и под ногами эта пропасть — жилище пресмыкающихся и приют летучих мышей — все располагало мою душу к каким-то таинственным ощущениям, все переносило ее в мир чудес и очарований. Мне казалось, что я стою у входа в знаменитую «волчью долину», что на дне ее льют роковые пули и *черный стрелок* выглядывает из-за толстого пня сухой березы, которая, как мертвец в белом саване, отделяется от темной зелени живых деревьев. Вот яркий луч месяца прокрался между листьями и заблестел на чешуйчатой спине красноголового ужа; вот что-то зашелестело над моей головою, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла в глубине ущелья. Вот набежала черная туча, луна скрылась за нею, мрак сгустился, и сотни *светляков*, как звездочки, затеплились на кустах и высокой траве, которая растет привольно на дне этих неприступных стремнин и буераков, и в то же самое время на вершине высокой сосны *заохал* вещий филин. Я не могу рассказать вам, что за странные ощущения, похожие на тихую грусть, не чуждые какого-то страху, но вместе с этим чрезвычайно приятные, овладели моей душою. Страх — чувство болезненное, но эта безотчетная робость, от которой замирает слегка наше сердце, имеет в себе какую-то неизъяснимую прелесть. Более часу простоял я как прикованный к одному месту;

я не замечал, как звезды исчезали одна за другою, как скрылся месяц, как запылали облака и море света разлилось на востоке. Веселое чиликанье пробудившихся птиц заставило меня очнуться. Неугомонный филин давно уже убрался в свое дупло, летучие мыши также попрятались, и сквозь просвет частых деревьев засверкал позлащенный крест высокой колокольни Новодевичьего монастыря.

Вы очень ошибаетесь, если подумаете, что эта пиитическая ночь создалась в моем воображении. Всякий, кто живал в Нескучном, подтвердит мои слова. В этом саду попадаются очень часто ужи, водятся летучие мыши, блестят по ночам светляки, и когда я жил в Нескучном, каждую ночь, перед рассветом, раздавались отвратительные крики сов и стонал зловещий филин.

За этим мостом, которого теперь и следов не осталось, начинается и другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густых куртин березовых и липовых деревьев, приводила вас к одноэтажному домику, в котором некогда помещалась ресторация; в двух шагах от него, на небольшом возвышении, стояла беседка; она соединялась подземным ходом с нижним этажом другого домика, которого существования нельзя было и подозревать, потому что он выстроен был на скате глубокого оврага; из верхнего его жилья можно было пройти в беседку крытым переходом или какою-то висячею галереей, не очень благонадежною, но зато очень живописною. Все это было в совершенном запустении; кругом дичь, высокая трава, огромные деревья и немного пониже — источник прекрасной и чистой, как хрусталь, воды. Позади беседки небольшой мост соединял с садом что-то похожее на остров, который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами. Теперь мы воротимся с вами назад и взглянем на великолепную липовую аллею, где вы можете и в самый полдень найти прохладную тень и укрыться от палящего солнца. Подле, на пространном лугу, возвышался некогда деревянный колизей под скромным названием воздушного театра. Не знаю теперь, а тогда было тут прекрасное эхо, которое повторяло с удивительною точностию двусложные слова.

Сколько раз, бывало, я проходил один или вместе с любезным семейством Ге...вых пробуждать этот чудный отголосок. Однажды под вечер я стоял уж с полчаса против театра и радовался, как дитя, когда эхо по-

вторяло каким-то насмешливым голосом: «Девка!.. кошка!.. слушай!.. молчи!..»

— Не прогневайтесь, сударь,— сказал мне один из садовых сторожей, который уж несколько минут стоял подле меня и покачивал головою,— напрасно вы изволите этим забавляться.

— А что, любезный?

— Да так-с! нехорошо.

— Почему ж нехорошо?

— Ведь он не любит, сударь, чтоб его тревожили.

— Его! да о ком ты говоришь?

— Ну вот что вас передразнивает.

— А что ж ты думаешь, кто это?

— Известное дело — хозяин.

— Какой хозяин?

— Ну, иль домовой, сударь. Его трогать не надобно: ведь не ровен час, как пристанет, так не отвяжется.

— Ах ты, дурак, дурак! — сказал я с громким смехом.

«Дурак, дурак!» — повторило эхо и захохотало так натурально, что бедный сторож вздрогнул, пробормотал что-то под нос и плюнул, вероятно на лукавого, а может быть, и на меня как на совершенного безбожника.

В конце липовой аллеи сходились две дорожки, одна шла направо, к Москве-реке, другая вела к самому живописному месту Нескучного. Мы зайдем туда после, а теперь я попрошу вас со мною на берег реки. Вот мы спускаемся вниз по изгибистой тропинке, прерываемой в нескольких местах деревянными лестницами, и сходим наконец на песчаный берег Москвы-реки. Позади нас пруд, за ним вдали, как будто опираясь на вершины деревьев, тянется длинный мост. Перед нами несколько красивых домиков, колодец и красивая галерея для ходьбы в ненастную погоду. Это заведение искусственных минеральных вод. «Какие минеральные воды? — спросите вы.— Да ведь они на Остоженке». Да, теперешние на Остоженке, а первые искусственные воды — воды, которыми никто не лечился, несмотря на то что они стоили очень дорого хозяину,— были в Нескучном. Вот краткая история их начала, бытия и кончины. Один глубокомысленный испытатель естества, досужий и оборотливый немец, заметил хозяину, что в его колодце вода минеральная, потому, дескать, что в ней есть частицы известковые, железные и разные другие, и что

хотя и в обыкновенной воде бывает не без примеси, но его колодезная вода имеет особенную целебную силу; но так как эта сила не то чтоб отличная какая сила, а только сила укрепляющая и утоляющая жажду, то не мешало бы завести около колодца и другие разные воды, имеющие разнородные силы, и что он берется сделать все это самым легким, вновь изобретенным способом, не требуя ничего, кроме посильного денежного вспоможения, необходимого для устроения сего филантропического и чисто европейского заведения. Добрый и благородный К. Ш., обрадованный мыслию, что он может положить основание такому благодетельному и общеполезному заведению, приступил немедленно к делу. Сначала, пока строили домики для ванн, залу для питья вод и галерею для прогулки больных, можно было видеть, по крайней мере, на что выходят деньги; но как дошло дело до химической части, то добрый К. Ш. призадумался. «Ох уж мне эти машины! — говаривал он довольно часто.— Не успеешь сделать одну, подавай другую! Да ведь как дороги, проклятые! Расходы ужасные, а взглянуть не на что. Ну, видно, плакали мои денежки!» И действительно, первая попытка завести в Москве искусственные минеральные воды не имела никакого успеха. Вот решились, наконец, прибегнуть к самому сильному и последнему средству: воды составлял и всем распоряжался все тот же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителем при них, то есть сторожем, был простой русский человек; на место его сделали смотрителем какого-то физиканта с толстым чревом и важным лицом; у этого мусью была преудивительная фамилия, и он ни слова не говорил по-русски. Кажется, чего б еще? — нет! и это не помогло. В ванны никто не садился, воды не пили, в галерее не гуляли, а физикант брал по пятисот рублей в месяц жалованья, а испытатель естества придумывал все новые машины и сам назначал им цену. Тяжко пришло хозяину! Конечно, он имел удовольствие пить свою собственную зельцерскую воду и потчевать ею своих приятелей; но если б счесть, во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднее было вместо домашней зельцерской воды пить старый рейнвейн и потчевать своих гостей столетним венгерским вином. Между тем под руководством знаменитого профессора Лодера положено основание нынешнему заведению искусственных вод на Остоженке; их скоро открыли, они вошли в моду, и участь первона-

чального заведения была решена. Теперь не только не осталось следов ванн и галереи, но даже засыпан и колодец. Долго я добивался, но никак не мог узнать, кому вошла в голову странная мысль вырыть этот колодец? Он уже давно существовал, а никто не подозревал в нем никакой целебной силы; следовательно, нашелся же человек, который задумал выкопать колодец с обыкновенной, но только дурною водою, на самом берегу реки, в которой вода весьма приятного вкуса.

Однажды — это было в мае месяце — я встретился в Москве с старинным моим приятелем Б****. Он жил безвыездно в Петербурге и в первый еще раз в жизни приехал взглянуть на белокаменную и поклониться ее святым угодникам. Если б я родился в Италии, то уж, верно бы, попал в цех записных *чичероне*. Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать приезжим все диковинки и редкости города, в котором я живу. Четыре дня сряду я угощал моего приятеля Москвою, возил его из одного конца города в другой, ездил с ним в Коломенское, Царицыно, Кунцево, к Симонову монастырю; сходил вместе с ним под большой колокол, взлезал на Сухареву башню и смотрел с Ивана Великого на матушку-Москву православную; наконец, дело дошло и до Нескучного. Я начал с того, что познакомил моего приятеля с хозяином; он обласкал приезжего гостя, показал ему свое целебное заведение и напоил нас зельцерской водою домашнего изделия. Мы оставили хозяина на берегу Москвы-реки, а сами пустились в гору; устали до смерти и, наконец, пройдя мимо липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное место Нескучного и сели на скамье, чтоб отдохнуть и полюбоваться очаровательным видом, который вдруг развернулся под нашими ногами. Внизу излучистая река, за нею обширные луга и Новодевичий монастырь; правее по берегу реки длинный ряд красивых Хамовнических казарм, а за ними сады и бесчисленные кровли домов; еще правее, вниз по течению реки, огромный амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных церквей; подымаясь все выше, он оканчивается усыпанным позлащенными главами державным Кремлем. При первом взгляде, казалось, на его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего блистал на главе Ивана Великого животворящий крест, осеняя своею благодатью священные гроба угодников божиих, святые

соборы и древнее жилище православных царей русских. Налево, вверх против течения реки, возвышаются на полугоре большое каменное здание и церковь — это Андреевская богадельня; выше начинается сад или роща, примыкающая к Васильевскому, великолепному загородному дому, который принадлежит теперь графу Мамонову. За Васильевским подымаются Воробьевы горы; они тянутся по берегу Москвы-реки к Смоленской заставе и оканчиваются там, где речка Сетунь впадает в Москву-реку. Все это можно окинуть одним взглядом и, не переменяя положения, сидя спокойно на скамье, любоваться в одно время и Москвою и ее прелестными окрестностями. Мой приятель был в совершенном упоении. Великолепная Нева с своими островами и море, на которое москвичи смотрят с таким восторгом, давно уже ему пригляделись, а то, что было теперь у него пред глазами, он видел в первый раз.

— Боже мой,— сказал он,— какой очаровательный вид! У нас все так гладко, однообразно, за сто шагов ничего не видно, а здесь — мы гуляем в саду, и вся Москва у наших ног!.. Вот одно из всех земных наслаждений,— продолжал он,— которое не оставляет пустоты в сердце — и одно только, которое доступно и понятно для всякого.

— *Доступно* — это правда,— отвечал я,— но *понятно ли* для всякого — не знаю. И нищий может взойти на гору, и у него будут перед глазами прелестные виды; но станет ли он ими любоваться — это другая речь.

— Как! — вскричал мой приятель,— да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдин совершенно равнодушен к прекрасному и что один только просвещенный человек смотрит с удовольствием на живописное местоположение? Нет, мой друг! я уверен, что самый простой и безграмотный мужик поймет всю прелесть того, что теперь у нас перед глазами. Ведь это не картина, которую должно разбирать по правилам искусства; прекрасное в природе не подчинено никаким законам; оно пленяет нас без всякого предварительного разбора и нравится безотчетно, следовательно, действует одинаким образом и на того, кто проходил эстетику, и на того, кто не знает грамоты.

— Полно, так ли, мой друг? Я уверен, что и в высшем сословии есть люди, для которых существуют *прекрасные* поля, а вовсе нет прекрасных видов. Я знаю одного довольно образованного человека, который, сидя

теперь с нами, не заметил бы, что отсюда вся Москва как на блюдечке, а не спустил бы глаз с Лужников и, вероятно, сказал бы с восторгом: «Вот, батюшка, место-то!.. Что, если б все эти луга засеять клевером или завести трехпольное хозяйство!» А попытайся обратить его внимание на эту роскошную панораму, так он тебе скажет: «И, сударь! что такое вид! Была бы только почва хороша, а дальновидное место ничего! Вот моя деревня в лощине, да зато голый чернозем, а хочешь вдаль посмотреть, ступай на колокольню — с нее за пять верст кругом видно!..»

— Да это, мой друг, выродки, о них и говорить нечего! В их глазах только то и хорошо, что может приносить выгоду. Разумеется, тот, кто думает об одних доходах, не станет любоваться красотами природы, и я уверен даже, что бедный безграмотный человек поймет это высокое наслаждение лучше всякого богача, который заводит обширные сады и создает в них свою собственную природу, вытянутую в струнку, жалкую, изувеченную, или, не видав никогда солнечного восхода, приходит в восторг, когда на сцене театра подымается кисейный туман и всходит хрустальное солнце. Да вот, например,— продолжал мой приятель,— видишь ли ты вон там, за оврагом, на высоком холме будку?

— Вижу.

— Оттуда вид должен быть еще прекраснее здешнего. Не хочешь ли биться об заклад, что будочник, у которого этот вид с утра до вечера перед глазами, понимает всю красоту его и, может быть, не менее нашего им наслаждается?

— Зачем биться об заклад,— сказал я, вставая,— пойдем и спросим его самого.

— Пойдем, пойдем! — вскричал мой приятель.— Только не вздумай требовать от него красноречивых фраз и пиитических восторгов; не забывай, что он будочник и восхищается по-своему.

— Не беспокойся.

Мы вышли задними воротами сада и через несколько минут подошли к будке. В самом деле, от нее вид был еще живописнее. У будки стоял городовой страж пожилых лет. Этот хранитель общественного покоя был очень некрасив собою. На груди у него висели две медали, следовательно, он служил прежде в армии и дрался с неприятелем; но, вероятно, это было очень давно, потому что в нем вовсе уж не было заметно этой

молодецкой выправки, которою отличается наш фрунтовой солдат. Все лицо его было в морщинах, и красный нос с синим отливом почти касался подбородка, покрытого седой щетиною. Положив на руку свой грозный бердыш и прищурив левый глаз, он нюхал с расстановкой табак из берестовой тавлинки; казалось, он был совершенно погружен в это чувственное наслаждение и не замечал нашего присутствия.

— Эй, будочник! послушай! — сказал мой приятель.

Старый воин не пошевелился и даже не удостоил нас взглядом.

— Будочник! — повторил мой приятель. Городской страж взглянул на него исподлобья, втянул в свой огромный нос последнюю напойку табаку и отвернулся.

— Да он никак глух? — молвил мой товарищ.

— Помилуй! — шепнул я,— где слыхано, чтоб кто-нибудь называл будочника будочником? ведь это смертная обида.

— Как обида?

— Ну да! ты этак от него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвал его костыльником или куроцапом. Эх, друг сердечный! как ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будочников в особенности! Посмотри, как он у меня заговорит.

— Эй! часовой!

Будочник выпрямился и опустил правую руку по шву.

— Послушай-ка, служба!..

— Чего изволите, ваше благородие? — вскрикнул бодрым голосом старый воин, отдав мне честь, то есть вытянув горизонтально левую руку, в которой держал свою секиру.

— Какая здесь часть?

— Хамовническая, ваше благородие.

— А что, любезный! — сказал мой приятель,— у тебя нет никакого другого оружия, кроме этого топора?

Будочник нахмурился и взглянул почти с презрением на моего товарища.

— Да чем же эта *алебарда* дурное оружие? — прервал я, стараясь поправить ошибку моего приятеля.

— Да, конечно, ваше благородие! — отвечал будочник,— и алебардой обороняться можно, а то ли дело наш батюшка штык-молодец!

— Ты в каком полку служил, любезный?

— В двадцать третьем егерьском.

— А давно ли служишь в городской страже?
— Пятый год.
— И все стоишь здесь?
— Никак нет, сударь. Я прежде был в Пятницкой части и стоял на Болоте.
— На Болоте! — повторил мой приятель.— Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда?
Старый воин посмотрел с удивлением на г. Б**** и пробормотал сквозь зубы:
— Да! есть чему радоваться!
— Помилуй, любезный! — вскричал мой приятель,— да что хорошего на Болоте? Скверные лавки, грязь, вонь...
— Что грязь! — возразил будочник,— грязь ничего, зато место людное, три раза в неделю базар. Тут поленце упадет с возу, там клок-другой сенца — только подбирай!.. Иной раз мужичок, как сбудет свой товар с барышом, сам на радости в кабак, а служивому грош на табак. Там, глядишь, калачник уважит калачиком или квасник почествует стаканчиком медового, а в этом захолустье век стой, ничего не выстоишь; и хоть бы приютили где-нибудь в лощинке — так нет! поставили будку на самом юру!.. Как осенью потянет ветерок с полуночи или зимою начнет мести сверху и снизу, так господи помилуй!.. Да что и говорить — поганое место!
— Да неужели, любезный,— прервал мой приятель,— ты никогда не любуешься этим прекрасным видом?
— Видом! каким видом?
— Да вот что у тебя пред глазами.
— А что́ у меня пред глазами-то?
— Как что?.. Посмотри кругом!
Будочник посмотрел направо и налево, потом повернулся опять к моему приятелю и сказал:
— Да что вы тут видите, сударь?
— Экий ты, братец, какой! да неужели ты можешь смотреть без восторга на это очаровательное местоположение?
Будочник выпучил глаза.
— Вот изволишь видеть, любезный,— сказал я, спеша на выручку к моему приятелю,— он спрашивает: любо ли тебе смотреть на эти горы, овраги, буераки?
— Да что в них хорошего?
— На Москву-реку, на эти луга...
— Эка невидаль!

— А Новодевичий монастырь? а Кремль?

— Да что мне, впервые, что ль? иль я Кремля-то не видывал?

— Ну, все-таки, братец, место дальновидное, веселое, куда ни обернись, любо-дорого посмотреть!

— Да, нечего сказать!.. Эх, сударь, помилуйте, то ли дело стоять на Болоте! Вот там есть чем полюбоваться: каменные дома, лавки, харчевни, лабазы, а в базарный день народу-то, народу — неотолченная труба!.. Мужички гуляют, шумят, дерутся; их разбираешь — любо!.. А здесь что? пустырь!

Как ни старался мой приятель доказать этому невежде, что он ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по двугривенному и пошли назад в Нескучное.

— Ну, что, мой друг? — спросил я.

— Что! — повторил г. Б ****.— Ну да! этот будочник настоящий варвар, но разве это что-нибудь доказывает? Ты сам говорил, что и в нашем быту есть люди, для которых изящная природа не существует.

— То есть, по-твоему, этот будочник выродок?

— Без всякого сомнения.

— Ох уж вы мне, господа теоретисты, с вашими высшими взглядами! Что и говорить, вы смотрите высоко, да только под носом-то у себя ничего не видите! Уйметесь ли когда-нибудь судить о людях и вещах не так, как они есть в самом деле, но так, как бы вам хотелось, чтоб они были. Конечно, и у простого крестьянина есть свои наслаждения, но они не имеют ничего общего с твоими; их понятия о красоте, о чести и даже о самом счастии совершенно различны с нашими. Попытайся уверить какого-нибудь крестьянина, что женщина с воздушным станом и бледным лицом может быть прекрасна. Тебе также, верно, случалось видеть, что два мужика поссорятся, дадут друг другу по оплеухе — и преспокойно разойдутся в разные стороны, а человек образованный идет стреляться насмерть за одно обидное слово. Крестьянин счастлив, когда у него теплая изба, новый овчинный тулуп, вдоволь хлеба, три-четыре лошади, дойная корова, корчага браги и лишний рубль, чтоб в день своих именин или в храмовой праздник выставить штоф пенника и угостить пирогом своих деревенских соседей; то ли нам с тобою надобно,— не для того, чтоб быть счастливыми — в нашем быту эта вещь едва ли возможная,— но чтоб другие могли сказать о нас, что мы счастливы? Эх, мой друг!

оставь мужичка мыслить, чувствовать и понимать по-своему!

— То есть,— прервал мой товарищ,— не мешай ему тонуть по уши в невежестве и стоять только на один волосок повыше бессловесных животных; не старайся образовать его ум, не просвещай его...

— Сохрани господи! нет, мой друг, есть просвещение, которое необходимо для всякого; это просвещение не кидается в глаза, оно не имеет надобности ни в латинском языке, ни в ученых фразах, но зато оно проникает, и гораздо легче, под соломенную кровлю безграмотного бедняка, чем в мраморные палаты ученого-переученого богача. Это просвещение премудрые философы восемнадцатого столетия величали фанатизмом, а мы, русские варвары, благодаря бога, называем еще верою; и вот это-то просвещение, по милости которого злой человек становится добрым, скупой — милосердым, пьяница — трезвым, ленивый — трудолюбивым, а строптивый — покорным и смиренным,— оно-то одно и необходимо для крестьянина. Без этого просвещения и образованный человек бывает иногда хуже дикого зверя. Так чем же должен сделаться тот, для которого не существуют ни наши условные приличия, ни строгие понятия о чести, ни это уважение к общему мнению, которое все-таки может удержать нас иногда если не от тайных, то, по крайней мере, от явных нарушений нравственности и законов общежития.

— Я в этом совершенно с тобою согласен,— сказал мой приятель,— а не менее того желал бы от всей души, чтоб русский народ полюбил и земное просвещение.

— И я этого желаю, но только с небольшим условием. Просвещая наш простой народ, я хотел бы, чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова.

— Какую басню?

— Да вот ту, которая начинается следующими стихами:

Полезно ль просвещенье?
Полезно, слова нет о том,
Но просвещением зовем
Мы часто роскоши прельщенье
И даже нравов развращенье...

— Я что-то ее не помню.

— Вот в чем дело: один простоватый человек, думая придать более цены золотому червонцу, принялся его

чистить песком, толченым кирпичом и, наконец, дочистился до того, что

> Подлинно как жар червонец заиграл:
> Да только стало
> В нем весу мало,
> И цену прежнюю червонец потерял.

А я прибавлю к этому, что и штемпель-то с него стерся совсем, так что нельзя было отгадать, какая это монета — французская, татарская, немецкая или русская, что, вероятно, также ему цены не прибавило.

— Так что ж, по-твоему, надобно делать? — прервал почти с досадой мой приятель.

— Не мешать и даже помогать тем, у которых есть врожденная любовь к просвещению, потом предоставить все времени — этому неторопливому, но лучшему учителю народов. «Не скоро, да здорово»,— говорит русская пословица, и в этом случае она совершенно справедлива. А меж тем не мешало бы нам поменее говорить о просвещении наших крестьян, а поболее заботиться о их благосостоянии.

— В том-то и дело,— прервал мой приятель,— ведь просвещение-то и делает человека счастливым.

— Да — то, о котором я говорил тебе прежде, а то, о котором ты говоришь теперь, тогда только для нас полезно, когда придет нам по плечу. Хорошо идти за веком тому, кому нет надобности ходить за сохою. Да и с чего ты взял, что ты счастливее безграмотного человека, потому что знаешь больше его? Нет, мой друг! исправный, то есть зажиточный, крестьянин несравненно благополучнее нас с тобою: его не беспокоит наша житейская суета, не тревожит честолюбие. Он, человек безграмотный, знает, что век останется крестьянином, и спит себе преспокойно; а посмотри, как иногда какой-нибудь коллежский секретарь, который занесся в чины, сохнет оттого, что его долго не производят в титулярные советники!

— Толкуй себе как хочешь, а я все-таки желаю, чтоб наш простой народ...

— Эх, мой друг! оставь его в покое! А если хочешь чего-нибудь желать, так пожелай лучше общего просвещения для тех людей, которые могут и должны быть просвещены. Безграмотный мужик не беда, а вот худо то, когда сам помещик читает по складам.

— Да этаких уж мало, мой друг.

— Несравненно меньше прежнего — кто и говорит; а не мешало бы, чтоб их и вовсе не было.

Наш разговор был прерван нечаянным появлением хозяина Нескучного.

— Насилу-то я вас нашел, господа! — сказал он, идя к нам навстречу,— уж я ходил, ходил по саду!.. Представьте, какая случилась со мною неприятность: я остался без вас на минеральных водах, чтоб осмотреть, в порядке ли ванны,— вот слышу, шумят подле целебного колодца. Что такое? Гляжу: какой-то барин, совсем раздетый, чуть не бьет моего смотрителя-немца. Я подбежал к ним. В чем же дело? представьте себе, этот господин лезет купаться в колодец!..— «Помилуйте, батюшка, что вы?» — «Как что? ведь это вода целебная?» — «Ну да, целебная!.. Да ведь ее пьют, а не купаются в ней».— «Вот вздор какой! я слыхал, что на Кавказе и пьют и купаются».— «То на Кавказе, а здесь совсем другое дело».— «Почему ж другое? вода всё вода!» Я чтоб урезонить — куда! так и рвется!.. А колодец глубокий, вода почти вровень с краями,— юркнет, проклятый, и поминай как звали!.. Я ухватился за него и кричу немцу: «Держи, держи!..» Насилу-то вдвоем оттащили его прочь! Такой здоровый — и в голове-то порядком закачено. Что будешь делать — привязался ко мне, шумит, кричит!.. Я так, я этак, и лаской и всячески — не отстает! Уж я поил, поил его зельцерской водою, насилу, разбойник, провалился — устал с ним до смерти. Теперь прошу ко мне, господа! — продолжал хозяин, вытирая платком свое лицо.— Милости просим позавтракать чем бог послал. Не взыщите, если мой пирог простыл; что делать? целый час провозился с этим пьяницей.

Мы отправились вместе с хозяином и, к совершенному удовольствию этого гостеприимного и радушного человека, нашли, что его отлично-вкусный пирог не совсем еще остыл.

РУССКИЕ В НАЧАЛЕ ОСЬМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

РАССКАЗ ИЗ ВРЕМЕН ЕДИНОДЕРЖАВИЯ ПЕТРА I

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Прежде чем я приступлю к рассказу, мне должно поговорить с моими читателями о положении, в котором находилась Россия в эпоху, избранную мною для этой повести.

Последний стрелецкий бунт, вспыхнувший во время отсутствия царя Петра Алексеевича, имел самые гибельные последствия для этого своевольного и мятежного войска; главные зачинщики и участники мятежа были казнены, а остальные сосланы в Сибирь, расселены по отдаленным городам, и стрелецкая рать, некогда знаменитая, исчезла навсегда с лица земли русской. Вместе с прекращением политического существования этих русских янычар уничтожилось и пагубное влияние на умы властолюбивой царевны Софьи Алексеевны. Шведский король Карл XII, разбитый наголову близ Полтавы, едва мог спастись от плена, убежав в пограничный город Бендеры. Вся армия его была истреблена, и на берегах Невы нашим рабочим людям помогали шведские солдаты сооружать — на их же собственной земле — вторую столицу царства русского. Рига, Ревель и вся Лифляндия признавали над собой верховную власть государя Петра Алексеевича; Польша, исполняя его волю, призвала снова на царство изгнанного ею короля Августа II-го. Предатель Мазепа убежал с Кар-

лом XII в Бендеры; почти все малороссийские православные казаки отступились от своего опозоренного изменою и заклейменного церковным проклятием гетмана. Одним словом, из всех внешних и внутренних врагов России, вредящих ее возвышению, устройству и возрастающей силе, оставался один только враг, но самый упорный. Этот враг была почти общая, безотчетная привязанность русских ко всем древним обычаям и предрассудкам старины. Следствием этой слепой привязанности были: неподвижность, презрение ко всему иноземному, невежественная спесь и закоренелое упрямство, всегда враждебное всем переменам и улучшениям, если они хотя несколько противоречат существующим обычаям, иногда совершенно нелепым, но которые обыкновенно оправдываются известным изречением: «Так, дескать, искони važивалось — в старину бывало; а стариков умней не будешь». Одна самодержавная воля Великого Петра могла осилить этого последнего врага и заставить русских хотя нехотя, а все-таки перешагнуть через заветный рубеж, который отделял их так долго от всех других народов Европы. Все покорилось этой могучей, непреклонной воле; она возбуждала иногда боязливый ропот спесивых бояр, упрямых граждан, суеверной черни, но давно уже не встречала нигде явного сопротивления. Люди, приверженные к старинным обычаям, отстаивали их с жаром в своих семейных кругах — осуждали шепотом указы царские, восставали втихомолку против разных нововведений, называли их богопротивными, но никто не смел говорить об этом вслух; времена мятежей прошли; Петр Алексеевич был уже не вторым царем русским, а государем единодержавным, не юношей неопытным, но знаменитым победителем Карла XII — этого венчанного богатыря, перед которым некогда трепетала вся Европа. Несмотря, однако ж, на это, по-видимому, спокойное состояние России, нельзя было не заметить, что в ней происходило что-то необычайное: этот домашний ропот, который тихо разливался в народе — это тревожное ожидание каких-то новых и небывалых перемен волновало все умы, и даже люди дальновидные и умные, начинавшие уже понимать, чего желает государь Петр Алексеевич, шептали про себя, покачивая головами: «Дело-то дело! да крутенько он, батюшко наш, за него принимается». И надобно сказать правду: мы едва ли можем осуждать многих из современников Петра Великого за то, что

они если не делом, так мыслью грешили, осуждая непонятные для них действия этого необъятного, всеобъемлющего гения, которого и мы, вкусившие уже от плодов, им посеянных, не можем еще вполне оценить.

В 1711 году, в одну темную февральскую ночь, шагах в двухстах от Серпуховской дороги, в богатом и большом селе Вздвиженском, светился огонек; его трудно было заметить проезжим людям, потому что погода была бурная, снег валил хлопьями и сильный ветер с метелицею бушевал в чистом поле. Этот огонек светился в бревенчатом, крытом соломою господском доме, в котором жил помещик или, верней сказать, *отченник* села Вздвиженского, окольничий Максим Петрович Прокудин. Чтоб провести как-нибудь время до ужина, Максим Петрович, приютясь в самом теплом покое своих барских хором, изволил забавляться в шашки с любимым своим челядинцем и дворецким, Прокофьем Кулагою. Максим Петрович сидел в обитых кожею широких и спокойных креслах; дворецкий лепился кое-как на узенькой скамеечке. Барин был человек пожилых лет, дородный и видный собою, довольно приятной наружности, с окладистой темно-русой бородою, которая, впрочем, начинала уже местами серебриться. Он был одет по-домашнему, в цветной шелковой рубашке с косым воротом и покрытом узорчатой камкою калмыцком тулупе, нараспашку. Дворецкий был также человек немолодой, с широким рябым лицом, реденькой бородкою и огромным красным носом. Сверх суконного кафтана с козырем на нем надета была затасканная шелковая ферязь с оборванными петлицами, которую он только что удостоился получить с барского плеча за свою усердную и верную службу. У дверей покоя дремал, прислонясь к стене, длинный, неуклюжий детина в смуром кафтане; он держал в руке жестяные щипцы, вроде тех, которые и теперь еще употребляются по церквам; следовательно, нетрудно было отгадать, что главное занятие этого парня состояло в том, чтоб снимать с двух сальных огарков, которыми освещалась вся комната.

— Ну что ж ты, Кулага? — сказал Максим Петрович, взглянув с довольным видом на своего дворецко-

го.— Или пришло в тупик, что некуды ступить? Да полно, братец,— ходи как-нибудь!

— А вот пойдем, батюшка,— промолвил дворецкий, подвигая вперед шашку.

— Так ты вот как... хорошо!.. А мы вот этак!.. Что, брат, опять призадумался?

— Призадумаешься, батюшка,— прошептал Прокофий, почесывая затылок,— дело-то плоховато!.. Вишь, она куда, озорница,— в доведи лезет!.. Нечего делать, пойду так.

— А я так... Фу, батюшки! — промолвил Максим Петрович, посматривая на окны,— что это на дворе-то?.. Господи боже мой!

— Да, сударь, разыгралась погодка!

— То-то, чай, теперь в поле — свету представленье: и снег и метель; а мороз-то сам по себе... Ну что ж ты, пошел, что ль?

— Пошел, батюшка.

— И я пошел... Чу, слышишь, как воет ветер?.. Ох, дорожным-то людям теперь... помилуй господи!

— Истинно так, батюшка Максим Петрович,— бедовое дело!.. Собьешься с дороги, заедешь в сугроб, да коли одежонка-то плохая, так и читай себе отходную... Изволил ступить?

— Ступил.

— А коли ступил, так — не погневайся, батюшка,— фук!..

— Как так?.. Постой, постой!.. За что́ ты взял мою шашку?..

— Не взял, сударь, а фукнул.

— За что́?

— А за то, чтоб она брала, коли ей приходится брать. Вот я двинул сюда мою шашку, а твоя стояла здесь,— так ей приходилось брать назад.

— Так, так!.. Ну, нечего делать,— прозевал!.. А игра-то была какая богатая!.. Да постой, любезный! Хоть ты у меня и фукнул шашку, а я все-таки прежде твоего в доведях буду... Вот мы этак... Пошла!

— А мы, сударь, вот эту тронем.

— Трогай себе, трогай... а уж на выручку не поспеешь... Пошла дура!

— Изволил ступить?

— Ступил, братец!

— Так не прогневайся, батюшка,— фук!

— Как?.. Еще?.. Тьфу ты, пропасть какая!.. Да что

это у меня, глаза-то в затылке, что ль?.. Нет, не могу играть, не то в голове... Степка!.. Смотри-ка, Прокофий, смотри!.. стоя спит!.. Эй ты, болван!

Детина, который дремал, прислонясь к стене, вздрогнул и кинулся, как шальной, к столу, чтоб снять со свечей.

— Тише ты, дурачина! — закричал Максим Петрович.— Что ты бельмы-то выпучил да лезешь, словно угорелый какой!.. Полно-полно!.. погасишь!.. Ну так и есть!.. Эка уродина, подумаешь!.. а уж борода растет!

— Да что ему борода, батюшка,— прервал дворецкий,— у него борода-то выросла, да ума не вынесла. Я уж тебе докладывал: что́ его держать во дворе: он и в пастухи-то навряд годится.

— Эх, Прокофий, стыдно, брат!.. Ну, кто говорит: сына не за что и хлебом кормить, да отец-то служил мне тридцать лет верою и правдою... Эй ты, простофиля!.. пойди, скажи... Да нет,— переврешь, дурак!.. Пошли Андрюшку.

Через полминуты вошел в комнату здоровый и рослый детина лет тридцати; все платье его было в снегу.

— Что ты это, братец,— спросил Максим Петрович,— иль валялся по снегу?

— Никак нет,— отвечал слуга,— я ходил сейчас на погреб.

— И тебя этак занесло?.. Ну, видно, погодка!

— Не приведи господи, батюшка! и снизу и сверху метет.

— Темно?

— Зги божьей не видно.

— И холодно?

— Холодновато, батюшка,— сильно морозит.

— Ну, худо дело!.. От нашего села вплоть до самого Шарапова вовсе жилья нет.

— Да, Максим Петрович, по большой дороге нет.

— Вот то-то и дело: долго ли до греха! Ведь на прошлой неделе подняли же проезжего мужичка — замерз, бедняга; и добро бы еще в поле, а то у нас на задах. Послушай, Андрюшка, возьми с собою кого-нибудь, ступайте за околицу да поближе к большой дороге разведите огонь.

— Слушаю, батюшка!.. Только ветер-то больно силен...

— И, полно, братец!.. Вязанки две сухих березовых дров, да лучины побольше... а огонь донесете в фона-

ре... Ступай! Этак будет лучше,— продолжал Максим Петрович,— на огонек-то всякий поедет.

— Да, сударь,— сказал дворецкий,— коли лошадки не вовсе еще из мочи выбились. Чай, теперь и большую дорогу занесло сугробами, так целиком-то далеко не уедешь. И то сказать: кого нелегкая понесет в такую непогодь; ведь метель-то началась еще засветло.

— Ну, Прокофий, не говори! русский человек на том стоит: ему все трын-трава! Куда немец носа не покажет, а он туда ломит себе наудалую: авось, дескать, проеду — господь пронесет!

— Да, сударь, что правда, то правда. И я, бывало, в старину хаживал чрез Оку по вешнему льду; из-под ног вода брызжет, а тебе и горюшки мало. Что, дескать, в самом деле: двух смертей не бывает!.. Что ж, батюшка: ведь мы еще игру-то не кончили,— прикажешь?

— Нет, Прокофий, будет! Уж я тебе говорил: не то на уме.

— Ну, как изволишь! — сказал дворецкий, вставая.— Да не погневайся, батюшка,— примолвил он, помолчав несколько времени,— дозволь спросить: что это тебя так тревожит?.. Вот ты другой день все как будто бы задумываешься... Или эта грамотка, что прислал к тебе вчера с ходоком из Москвы приятель твой, Лаврентий Никитич Рокотов?..

— Да,— прервал Максим Петрович,— хорошие получил я от него весточки! есть чему порадоваться!..

— А что такое, батюшка?

— Худо, брат Прокофий, больно худо!.. Мы здесь живем в глуши, у нас все по-прежнему: тишь да гладь да божья благодать. А кабы ты знал, что́ на Москве-то делается...

— А что, сударь?.. Неужели опять стрельцы завозились?

— Вот до глухого вести дошли — стрельцы!.. Да об этих мятежниках давно и речи нет. Мы и прежнего-то срама не переживем... Помилуй, братец, кто нынче станет бунтовать против помазанника божия?..

— Так что ж, батюшка? Уж не швед ли опять поднялся на святую Русь?

— Куда ему!.. И король-то их без вести пропал; говорят, в плену у турского салтана.

— Так все ли здорово в Москве?.. Не мор ли, батюшка?..

— Что мор! господь казнит, господь и помилует; а там, глядишь, опять пойдут времена благодатные.

— Да что ж такое, сударь?..

— А вот что, любезный,— продолжал Максим Петрович, понизив голос,— мне пишет Лаврентий Никитич, что наш православный государь... ох, страшно вымолвить!.. Наш батюшка царь Петр Алексеич... совсем онемечился.

— Что ты говоришь, батюшка! — вскричал Прокофий.— С нами сила крестная!.. Да как это может быть?

— Да, любезный! Он такие дела затевает, что не приведи господи!.. Хочет, чтоб мы перенимали все у немцев.

— У немцев?.. Вот еще!.. Что нам у этих еретиков перенимать!.. Да давно ли этих паскудных немцев и в царских-то указах позорным именем называли?..

— Вот то-то и есть!.. А теперь посылают боярских детей в еретичные земли учиться немецким обычаям, хотят нас нарядить в разнополые немецкие кафтаны... обрить бороды...

— Обрить бороды! — воскликнул Прокофий.— Нет, батюшка, уж этого-то никак нельзя! Ведь мы православные, а не басурманы какие!

— Ну вот поди ты!..

— Да я хоть сейчас голову на плаху!.. Господи боже мой, и что это нашему батюшке Петру Алексеевичу дались эти немцы?.. Что они, обошли, что ль, его?

— Эх, Прокофий! лиха беда поддаться демонской прелести, а там все пойдет как по маслу. Вот кабы государь не изволил ездить за море, так ничего бы не было, все осталось бы по-прежнему; а теперь как он набрался немецкого духу, так и слышать ничего не хочет. Да уж пускай бы помаленьку, не торопясь,— мы бы, старики, свой век отжили, а там что бог велит!.. Ну, может статься, и в самом деле есть что перенять у немцев. Вот, примером сказать, хитрость ратную, корабельное плавание — то, другое; да это бы полегоньку, исподволь... а то вынь да положь!.. Вчера наш брат, русский, и якшаться с немцем не хотел, а сегодня ступай к нему под начал... Ну, да что об этом! выше лба уши не растут. И кабы мне не было надобности ехать в Москву, так я бы рукой махнул...

— А разве ты, батюшка, в Москву собираешься?..

— Что ж делать, братец: и не хочешь, да едешь. Ты

знаешь, что я мою племянницу, Ольгу, люблю как дочь родную.

— Как не знать, батюшка!.. Да и кого же тебе любить? Она сиротка, выросла на твоих руках, а у тебя от покойной твоей сожительницы деток не осталось. Да ведь ты изволил говорить, что Ольга Дмитриевна по весне сама к нам сюда пожалует.

— Нет, брат, до весны-то далеко, а я теперь ее в Москве у моей дуры сестры ни за что не оставлю. То-то бабы-то, подумаешь! Подлинно правда, что у них волос долог, да ум короток. «Отпусти, дескать, батюшка братец, племянницу ко мне погостить! ведь она у тебя живет в захолустье, свету божьего не видит!» Вот тебе и отпустил!

— Так что ж, сударь?.. Ведь сестрица твоя, Аграфена Петровна...

— Да, была когда-то баба путная — русская барыня; а теперь хуже всякой немки стала.

— Как так?

— А вот достань-ка там за образами грамотку Лаврентия Никитича,— я тебе прочту, что он о ней пишет.

Прокофий вынул из-за образов довольно толстый свиток и подал его своему господину.

— Сначала-то,— сказал Максим Петрович, развертывая длинный столбец,— Лаврентий Никитич пишет ко мне о приезде государя Петра Алексеевича в Москву, о новых указах царских, о посылке дворянских детей в неметчину, о шутовском немецком наряде; а вот здесь... нет!.. это он пишет о своей меньшой дочери... вот что: «Крестница твоя, Максим Петрович, Катюшка, премного тебе челом бьет и твоего отеческого благословенья просит. Она будет у нас большая грамотница: доучивает теперь заутреню; а напрежь сего учил Катюшку Макарка, наш приходский пономарь, и он, кутейник, меня обманывал: не доуча заутрени, часы начал учить. А ныне учит Катюшку Успенского собора псаломщик Григорий,— и я ученьем его зело доволен. Еще ж, друг сердечный, хотя мне весьма прискорбно говорить тебе об этом, а делать нечего, должен сказать: сестрица твоя Аграфена Петровна и племянница Ольга Дмитриевна свели дружбу с Ягужинскими, а те их вовсе с толку сбили и теперь о них — не при тебе будь слово сказано — идут такие непригожие речи, что все наши и знаться с ними не хотят. Они изволят щеголять в ка-

ких-то заморских фуро *, повадились ездить в Немецкую слободу, и даже говорят, что будто бы дошли до такого окаянства, что на прошлой неделе в немецкой кирке ** были...» Что, брат Прокофий, каково?

— В немецкой кирке! — повторил Прокофий, всплеснув руками.

— Слушай, слушай! — продолжал Максим Петрович.— «Сестрица твоя — и это я доподлинно знаю — наняла двух немчин; у одного твоя племянница обучается разным еретичным наукам и басурманским наречиям, а другой учит ее играть на каких-то клавироцымбалдах — сиречь заморских гуслях...» Что, брат Прокофий,— а?.. Вишь нашли какую гуслистку!.. Да слушай, слушай — то ли еще будет!.. «Еще ж скажу тебе, друг сердечный, что у нас завелись в Москве бесовские сходбища, они прозываются ассамблеями. Чаще всего бывают эти ассамблеи в Немецкой слободе у голландского купца Гутфеля. Вот съедутся к нему и наша братья, дворяне, с женами и дочерьми, и всякая немецкая сволочь. И тут уж, любезный, не жди себе никакого почета: что знатная барыня, что немецкая купчиха — все едино: сядут они все рядышком; а этот чертов сын, Гутфель, как боярин какой, учнет похаживать да потчевать сластями наших барышень и своих немок; а там, как сберется их побольше, затрубят в трубы, заиграют на фиолях, молодые ребята-офицерики и немцы всякие подлетят к барышням, разберут их по рукам и пойдут пляски! Начнется всякое требесие, шум, гам, веселье, ну, ни дать ни взять Содом и Гоморра в лицах. А дураки-то отцы и мужья, как будто бы не их дело, заберутся в особый покой, читают куранты, играют в шахматы, тянут пиво да вместе со старыми немцами табачище жрут. И по этим-то сатанинским игрищам Аграфена Петровна изволила всю зиму таскаться с твоей племянницей, которая, слышал я стороною, познакомилась там с каким-то гвардейским фенриком,— сиречь прапорщиком, и говорят, будто бы этот фенрик очень за нею ухаживал». Ухаживал!.. Слышишь, Кулага?

— Слышу, батюшка.

— Ну что, брат,— продолжал Максим Петрович, перестав читать,— ехать ли мне в Москву?

— Как не ехать, батюшка! Ведь надобно же нашу

---

* узкое прямое платье (от *фр.* fourreau).

** церковь (от *нем.* Kirche).

барышню выручить из этого омута. И что это с государыней Аграфеной Петровной сделалось?

— Воля, братец!.. Кути себе как хочешь: муж на службе царской в Азове, бог весть когда назад вернется. Правда, и он хорош!.. Чай, радехонек, что жена его подружилась с Ягужинскими: «Теперь, дескать, у меня рука есть!»

— А я так, батюшка, очнуться не могу. Эко непотребство, подумаешь!.. Какой-нибудь немчура, чумичка проклятый! чай, у себя дома-то булки пек, а теперь с боярской дочерью, с племянницей твоей, изволит поплясывать!.. Нахалы этакие!.. Как ходу-то им не было, так небось были тише воды ниже травы; а как посадили их за стол, так они и ноги на стол.

— Постой-ка, постой, Прокофий! — прервал Максим Петрович, вставая.— Чу!.. Слышишь?.. Никак ворота заскрипели?..

— Да, сударь,— сказал дворецкий, подойдя к окну,— кажись, кто-то въехал на двор.

— Кого это господь дает?.. Ступай-ка, Прокофий, проведай. Коли приятель — милости просим, коли проезжий — также добро пожаловать! Вели переменить свечи, водки приготовь, да проворней сварить сбитню с имбирем, чтоб проезжим-то людям было чем душу отвести. Чай они, голубчики, больно прозябли.

— Все будет готово, батюшка.

Хозяин, оставшись один, свернул бережно длинный столбец, положил его за образа, пооправился, запахнул тулуп, пригладил бороду и уселся опять в свои широкие кожаные кресла.

ГЛАВА II

Спустя несколько минут дворецкий возвратился, неся в руках пару резных железных подсвечников, в которые вставлены были цельные сальные свечи.

— Ну, что? — спросил Максим Петрович.

— Проезжий, батюшка, военный и, кажись, начальный человек.

— Один?

— Нет, сударь. При нем служивый,— видно, денщик.

— Что, они очень продрогли?

— И, господи!.. Насилу говорят. Служивые-то люди туда и сюда, а ямщик еле жив. Я велел втащить его в

людские сени да оттирать снегом: совсем окоченел, сердечный! Ну, сударь, надоумил тебя господь! Кабы ты не изволил приказать развести огонь за околицею, так пить бы им горькую чашу.

— А что, разве проезжие-то на огонек к нам выехали?

— Как же! Они с дороги сбились да плутали все по полю.

— Что, этот офицер парень молодой?

— Да, батюшка: ему, чай, и тридцати годков не будет.

— Ну что ж, зови его сюда.

— Просил пообождать. «Я, дескать, поразомнусь и отогреюсь немного, а то язык не шевелится».

— Ты проведал, кто он таков?

— Спрашивал у служивого: Василий Михайлович Симский, прапорщик Преображенского полка; такой красивый собою, ловкий детина, и по всему видно, не из потешных каких, а роду хорошего. Сейчас спросил, как зовут тебя по имени и по отчеству.

— Вот что!.. Симский... Мне что-то сдается... сам, что ль, я знавал или слыхал о каких-то Симских,— не помню хорошенько. Ступай, Прокофий, скажи, чтоб ему изготовили постель в предбаннике. Покои-то в доме красивее, да в них холодненько. Денщика сведи в людскую; коли пьет, так поднеси ему добрую красоулю вина, а коли нет, так напоить сбитнем, а там чем бог послал.

— Будет сыт, батюшка.

— Ямщика также, как он совсем оттает, напойте, накормите и спать положите; а лошадок его вели убрать Парфену, да чтобы задал им побольше овсеца. Ну, ступай, и коли проезжий офицер пообогрелся, проси его сюда.

— Слушаю, сударь... Да вот никак он и сам изволит идти.

Долговязый Степка растворил дверь, и в комнату вошел молодой человек лет двадцати пяти. Этот проезжий был действительно замечательной наружности. Несмотря на багровый цвет его лица, которое горело от мороза, нельзя было не назвать его красавцем. Его черные глаза блистали умом и веселостию, а длинные шелковистые волосы расстилались крупными кудрями по широким плечам. На нем был мундир темно-зеленого цвета, весьма похожий на нынешние короткие однобортные сюртуки, с тою только разницею, что он был

без воротника, на груди не сходился и что у него спереди на фалдах были большие клапаны, вырезанные по краям городками, а на рукавах широкие разрезные обшлага. Этот мундир был с медными золочеными пуговицами; под ним суконный камзол и нижнее платье, также темно-зеленые. На шее белый холстинный галстук с висячими концами, а на ногах высокие, по самое колено, сапоги с небольшими раструбами. Все украшение этого не слишком затейливого наряда состояло в том, что мундир, камзол, клапаны и обшлага обшиты были по борту золотым галуном, пальца в полтора шириною.

Максим Петрович встал.

— Милости просим, Василий Михайлович! — сказал он, идя навстречу к своему гостю.— Эй, Степка, стул!

— Зело благодарствую вам, высокопочтеннейший Максим Петрович,— промолвил офицер, кланяясь хозяину,— что вы меня, странного человека, изволили укрыть от холода и непогоды!

— Помилуй, батюшка, да за это нечего и спасибо сказать. Просим садиться.

— Всепокорнейше благодарю!

— Да зачем же на скамейке? Вот стул.

— Все равно, Максим Петрович. Нижайше прошу вас, не извольте себе чинить ради меня никакой турбации *.

— Турбации! — повторил про себя Максим Петрович, взглянув с удивлением на офицера.— Ну что, Василий Михайлович,— продолжал он,— поотогрелся ли ты? Ведь погода-то не приведи господи!

— Истину изволите говорить: совершеннейшее подобие морского штурма, или, паче сказать, смятение всех элементов.

— А по нашему просто: метель. Дозволь спросить: откуда путь держишь?

— Из Санкт-Петербурга. Ездил по указу начальства в Смоленск и Калугу; теперь пробираюсь в Москву.

— Так ты, сударь, не из здешней стороны?

— Нет, Максим Петрович, прошу экскузовать **! Я родом из Москвы, а служу теперь...

— Знаю, знаю: по нынешнему, в царской гвардии, а по старинному — в опричниках.

---

* беспокойства (от *лат.* turbare).

** извинить (от *фр.* exuser).

— Не прогневайтесь, Максим Петрович,— сказал офицер, улыбаясь,— я против этого протестую. Опричня была при государе Иоанне Васильевиче, а лейб-гвардия учреждена государем Петром Алексеевичем по примеру всех царствующих потентатов *.

— Потентатов! — прошептал опять про себя Максим Петрович, нахмурив брови.— Так ты, Василий Михайлович,— молвил он, помолчав несколько времени,— недавно из этого... как бишь вы его зовете?.. Санк-Санк... Не прогневайся, молодец, я по-немецкому-то не горазд. Ну вот из этого бурха-то...

— Из Санкт-Петербурга. Я выехал оттуда на прошлой неделе.

— Ну, что у вас там поделывается?

— Мало ли что: строят всякие здания, проводят каналы...

— И все идет успешно?

— Да, Максим Петрович! Поистине, доложу вам: Санкт-Петербург, яко некий парадис, процветает и, наподобие преизрядного младенца, каждодневно возрастая, всякими инвенциями ** украшается.

— Не осуди меня, старика,— прервал Прокудин,— ты, молодец, изволишь такие мудреные речи проговаривать, что я тебя и в толк не возьму. Ну вот, примером сказать, уподобляешь ты вновь созидаемый град какому-то парадису,— а что такое парадис?

— Парадис? Это иноземное слово; оно соответствует нашему слову: земной рай.

— Вот что! Так на что ж ты, говоря с русским человеком, называешь земной рай по-немецки?

— Привычка, Максим Петрович. У нас в Санкт-Петербурге все так говорят.

— Видно, под стать к вашим немецким кафтанам. Послушай, Василий Михайлович: я человек старый, никаким заморским хитростям не обучался, так нельзя ли тебе говорить со мною попросту?

— Прошу прощенья, Максим Петрович. Я мыслил...

— Что и мы, деревенские, также онемечились. Нет, батюшка, где нам! Мы все такие же неучи, какими были прежде. Ну, скажи-ка мне, Василий Михайлович, что у вас там строят?

---

* государей (от *фр.* potentat).

** выдумками (от *фр.* invention).

— Царский дворец, адмиралтейство, фортецию — сиречь крепость.

— Крепость! Что ж, она сооружается наподобие Московского Кремля?

— Нет, Максим Петрович. Эта крепость строится по заморским чертежам, без башен, со многими бастионами и болверком — сиречь с выступами и с земляным раскатом.

— А что, обывательские-то дома прибавляются?

— Словно грибы растут.

— Не диво! Ведь по царскому указу все зажиточные дворяне должны там строить дома. Вот и мне на старости придется выстроить домишко; да только вряд ли я в нем новоселье буду справлять. Приказано строить — построю; а живи в нем кто хочет.

— Напрасно, Максим Петрович. Почему ж вам не приехать, хоть недельки на две, взглянуть на ваш дом, полюбоваться нашим Санкт-Петербургом...

— Нет, батюшка! коли я в Москву не могу собраться, так поеду ли к вам, за тридевять земель в тридесятое государство. Да и что мне у вас смотреть?

— Мало ли что? Вот, например, вы побывали бы там в кунсткамере...

— А что это, батюшка, такое?

— Это особый дом, в котором показывают всякие редкости.

— А, знаю, знаю!.. Еще недавно объявляли царский указ, чтоб со всех сторон присылали туда всяких уродцев. Вот мне сказывали: в прошлом месяце послали к вам из Серпухова мертвого теленка о пяти ногах,— эка вещь!.. Да я и живого-то теленка о пяти ногах видеть не хочу,— что тут за краса такая?..

— Ну, так посмотрели бы море.

— Море? Вот невидаль! Я смолоду служил в Астрахани воеводским товарищем и видел море-то почище вашего,— море Хвалынское!

— Поглядели бы, как иноземные гости к нам на кораблях приходят.

— Иноземных гостей и в Москве много, и корабли-то мне не в диковинку. Покатался я вдоволь по морю Хвалынскому, вплоть до самого Дербента ходил на парусах.

— Да это все не то, Максим Петрович! Что ваши волжские струга! Вы посмотрели бы на нашу гребную флотилию, галеры, осьмидесятипушечные корабли, по-

катались в шлюпке по Неве... Да что по Неве! У нас такое обилие вод, что можно весь город объездить в лодке.

— А пешком-то ходить, видно, не приходится: в болоте увязнешь.

— Нет, Максим Петрович: у нас почитай все большие улицы вымощены булыжником.

— Не диво: городишка маленький, рук много, а за булыжником дело не станет. Мне рассказывали, что у вас поля-то все усыпаны голышами: ни пахать, ни косить нельзя. А что, молодец, правду ли мне также говорили, будто бы в вашей стороне не русский народ живет, а какие-то латыши?

— Теперь и русских много.

— Что ж, эти латыши по-латыни, что ль, говорят?

— Да, речь у них совсем иная.

— Ну, нечего сказать: далеконько же этот новый городок поотшатнулся, и я — не прогневайся, Василий Михайлович,— мыслю так, что ему никогда не бывать знатным городом.

— Напрасно вы это изволите думать: Санкт-Петербург и теперь уж город нарочитый, и коли он сделается царскою резиденциею, сиречь столицею, так не диво, если и с первопрестольным градом поверстается...

— С Москвою?.. Эк хватил!.. Нет, Василий Михайлович, далеко кулику до Петрова дня!.. Ну, может статься, по времени, ваш новый городишка будет не хуже города Архангельска; но чтоб он с Москвою когда поравнялся — не моги этого и думать.

— Да ведь и Москва, Максим Петрович, не всегда была такая, как теперь.

— Москва!.. Москва-то, любезный, нечто другое: она и великому Царьграду в версту будет!.. Ее, нашу матушку, не три дня строили!.. Вишь скорохваты какие! Тяп да ляп,— ан и другая Москва готова. Нет, молодец, погоди!

В комнату вошли двое слуг, один с серебряным подносом, на котором стояли три полуштофика и две позолоченые чарки; другой с закускою, то есть с хлебом, паюсною икрою и жирным балыком.

— Прошу покорно! — сказал хозяин.— Какой прикажешь? Вот травничек, зорная...

— Нижайше благодарю! — отвечал Симский, кланяясь.

— Да выкушай, гость дорогой! А коли не хочешь ни

травника, ни зорной, так милости просим отведать вот этой... отличная анисовка!.. Говорят, наш батюшка Петр Алексеевич изволил ее жаловать, так вам, верным его слугам, непригоже от нее отказываться... Выкушай за его здоровье, и я с тобой выпью чарочку.

Хозяин и гость налили себе по чарке анисовой водки, выпили, стоя, за здоровье царя русского, закусили; потом, когда слуги вышли, Максим Петрович завел речь о мундире, в котором был его гость.

— Что ж это, батюшка,— спросил он,— праздничный, что ль, это кафтан, или уж вы всегда в таких празументах ходите?

— У нас нет других мундиров,— отвечал Симский.

— Подумаешь: ну чем этот немецкий кафтан лучше нашего?.. Спереди вся грудь раскрыта, сзади затылок нечем прикрыть — и коротенько и узенько!.. Сапоги выше колен...

— Да это по-походному,— прервал Симский,— а на стоянке мы сапогов не носим.

— Право!.. Так в чем же вы ходите?

— В башмаках и зеленых чулках.

— Чулках!.. Летом?

— И летом и зимою.

— И зимою!.. Да как же это?.. Ведь русский мороз чулочки-то не очень жалует.

— Ничего, Максим Петрович. Ну, как больно холодно, можно поддеть что-нибудь.

— Поддеть?.. Вестимо, можно. Да на что ж людей-то морочить? Я, дескать, и по морозу в чулках похаживаю! А глядишь: под чулками-то онучи намотаны.

— Что ж делать, Максим Петрович! Уж коли за морем так одеваются...

— За морем-то, говорят, тепло, а у нас холодно... Ах ты, господи боже мой!.. Вот оно и впрямь выходит, что немцы-то нас умнее. Русский человек хоть замерзни, да одевайся по-немецки; а поди-ка уговори какого-нибудь немца, чтоб он надел наш полушубок,— как бы не так!.. Он тебе тотчас скажет: «Нет, брат, спасибо! наша земля не ваша, у нас в русском полушубке-то задохнешься!»... Ну, а на головах-то что вы носите?.. Вот этакие шапки, что ль?..

— Нет, Максим Петрович, это по-дорожному, а на службе мы носим шляпы с пригнутыми полями.

— А, знаю, знаю!.. У меня проездом был один немецкий купчина в этакой шляпе; ни дать ни взять —

пирог без начинки. По морозцу в ней не далеко уедешь! Хорошо еще, что вы теперь волосы отпускаете: все-таки есть чем уши прикрыть.

— А когда бывают парадные строи, так волосы-то у нас еще длиннее.

— Как так?

— Да, Максим Петрович: мы сверх своих волос надеваем пудреные парики.

— Пудреные парики? Что это за вещь такая?

— Париками называют накладные волосы, а коли они посыпаны пудрою, сиречь мукою, так их зовут пудреными.

— Ну, хитро придумано!.. На свои родные волосы надевать чужие, да еще мукой их посыпать!..

— Так уж везде заведено, Максим Петрович.

— Везде!.. Да пускай себе немцы хоть круглый год святки справляют, а нам, православным, грешно рядиться такими халдейцами и тратить понапрасну дар божий.

— Я вижу,— сказал, улыбаясь, Симский,— что вам все эти новинки не по сердцу.

Прокудин взглянул недоверчиво на своего гостя и повторил вполголоса:

— Не по сердцу... не то что не по сердцу... Коли так угодно нашему батюшке Петру Алексеевичу, так воля его царская — мы все рабы его: что прикажет, то и делаем... а это так, между слов скажешь иногда... Человек же есть: посумнишься, подумаешь... «Что, дескать, ради чего это, на какую потребу?..» Да вот хоть, примером сказать, поговаривают, будто бы не токмо вам, людям ратным, но и всем православным указано будет бороды брить и носить немецкое платье. Но будь же милостив — скажи мне, ради чего это?

— А вот ради чего, Максим Петрович: государю Петру Алексеевичу желательно, чтоб мы, русские, ни в чем не были хуже наших соседей немцев и других иноземных народов.

— Да чем же мы их хуже?

— А тем, Максим Петрович, что они, по своей эдюкации * и науке, во всяком деле больше толку знают, чем мы. Навигация, ратное дело, свободные художества и многие другие хитрости, в которых мы еще не искусились, находятся у них в преизрядном процветании; так любы ли нам немцы или нет, а перенимать у них

* по своему образованию (от *фр.* éducation).

следует. Вы скажете, может быть: «На что, дескать, нам все эти хитрости,— ведь мы жили же без них». Не те времена, Максим Петрович! То было в старину, а теперь без науки не далеко уйдешь. Да вот хоть в деле ратном: давно ли нас шведы походя били, а как мы понаучились от немцев, так и сами стали их поколачивать, да еще как!.. Нет, Максим Петрович, воля ваша, а нам, русским, нельзя не перенимать у немцев. Вот как наберемся от них ума-разума, так, может статься, и сами других поучим. Ведь это, сударь, круговая порука и обижаться этим нечего.

Прокудин улыбнулся.

— Ну, молодец,— сказал он,— много ты наговорил, а все-таки не дал ответа на то, о чем я тебя спрашивал. Наука сама по себе — и мы, старики, знаем пословицу: «Ученье свет, а неученье тьма», да у нас речь шла вовсе не о том; я спрашивал тебя, ради чего должны мы, православные, одеваться как еретики и брить себе бороды? Да неужели государь Петр Алексеевич изволит думать, что коли русский человек отмахнет себе бороду, так в нем от этого ума прибудет? А если вместо ферязи натянет на себя кургузый кафтанишко, так станет хитрее всякого немца?

— Нет, он этого не думает.

— А коли не думает, так в чем же перед ним провинились наши бороды и почему русское одеяние, которым не гнушались наши предки, хуже этого общипанного заморского платья?

— Да это, Максим Петрович, не что иное, как препарация, сиречь приготовление или, так сказать, начало. Чтоб перенять что-нибудь у немцев, надобно иметь с ними обхождение, не чуждаться их; а какое может быть у нас общение с иноземцами, коли между ими и нами не будет даже и наружного подобия? Вы сами знаете, что в старину мы, русские, презирали иноземцев, смеялись над ними, называли их погаными и даже за людей-то признавать не хотели,— и все это не потому только, что они другой веры, а больше потому, что они явно отличались от нас своим платьем, обычаями и бритою бородою. Теперь, как мы сами будем брить бороды и одеваться как они, так мало-помалу свыкнемся с ними, перестанем их чуждаться, и нам будет вовсе не зазорно учиться у них тому, чего мы еще не знаем и что нам зело знать надлежит. Да вот хоть, например, случалось мне принимать к нам в полк рекрутов, сиречь

новобранцев; пока они еще в своих сермяжных зипунах, в лаптях и с бородами, так глядят медведями на своих товарищей солдат, да и те на них не больно ласково посматривают; а как их обреют да оденут в мундиры, так они как век с ними жили: все разом перей-мут, откуда возьмется и удаль и сметка солдатская, ну, словом, вовсе переродятся. Так изволите видеть, Максим Петрович, что значит платье-то! Оно, кажись, ничего, а посмотришь — нет! тот же человек, да не тот.

— Вижу, Василий Михайлович, вижу! Так вот оно что: немцы-то солдаты, а мы новобранцы... Так, батюшка, так!.. Да только вот что: бород-то много на святой Руси, а не у всякого руки на самого себя подымутся, так всех-то брить от казны тяжеленько будет.

— И, Максим Петрович, была бы на это воля царская!

— Воля царская! — прервал Прокудин.— Не прогневайся, молодец: борода-то не что другое — с ней не всякий захочет расстаться. Нет, Василий Михайлович, не знаю, как вы, люди молодые, а мы, старики, не то думаем... Да, батюшка, да! В голове моей царь волен, а в бороде нет!.. Что ухмыляешься? Всеконечно так!.. Пусть себе бреют бороды эти заморские еретики... им что! Они, чай, и бога-то не знают... А чтоб у православного рука поднялась на такое искажение образа божия... нет, любезный! Уж коли желаешь кого осрамить, так прежде сними с него голову, а там и ругайся над ним как хочешь... Да что об этом говорить! — продолжал Прокудин, вспомнив, что человек, с которым он беседует, вовсе ему незнаком.— Мало ли что болтает народ. Наш благоверный царь Петр Алексеевич — государь милостивый: может статься, ему и в голову не приходило насильно брить нам бороды. И к чему насильно? Охотников найдется много. Один оскоблит себе рыло, чтоб на немца походить, другой ради того, чтоб выслужиться... Ведь нынче не прежние времена: столбовые-то люди повывелись... Эй, Степка, вели накрыть здесь стол. Милости просим, Василий Михайлович, поужинать с нами чем бог послал. Да не прогневайся, поваришка-то у меня простой, у немцев не учился.

Во время ужина Прокудин начал снова расспрашивать своего гостя о Петербурге и слушал его с большим вниманием; но когда Симский сказал между прочим, что широкая и многоводная Нева по красоте своей мо-

жет назваться первой русской рекою, он прервал его и промолвил, улыбаясь:

— Конечно, Василий Михайлович, конечно! Где нашим старым рекам, Волге, Дону и Днепру, равняться с вашею новой рекою!.. Правда, по этой речонке, что мы Волгой зовем, проедешь, почитай, все царство русское. Да это что!.. То ли дело ваша Нева!.. Говорят, будто бы она вытекает из Ладожского озера и течет вплоть до самого моря Немецкого — сиречь невступно шестьдесят верст. Эка речища, подумаешь!

— Однако ж по ней большие корабли ходят.

— Как же, батюшка! Недаром говорится: «Большому кораблю большое плаванье». Ведь шутка вымолвить — шестьдесят верст!.. Поди-ка пройди их! Ну, да бог с ней! Пусть она лучше нашей кормилицы Волги, так же как ваш новый город лучше нашего первопрестольного града — перед вами!.. А кстати о первопрестольном граде: что ты, батюшка, поживешь-таки в Москве?

— Недолго, Максим Петрович, с неделю, может быть.

— Сиречь до великого поста? Что у тебя там, знакомые, что ль, есть или сродственники?

— Знакомых довольно, а близких родственников один только дядя. Я у него и остановлюсь.

— А кто твой дядюшка?

— Стольник Данила Никифорович Загоскин.

— Данила Никифорович?.. Старинный, батюшка, приятель! И отцы-то наши меж собою хлеб-соль важивали. Ну вот, Василий Михайлович, примером сказать, твой дядюшка — худо, что ль, послужил и словом и делом нашим царям-государям? Ты, чай, знаешь, что во время стрелецкого мятежа и нестроения Данила Никифорович в Коломенском походе, в Савине монастыре и в разных других местах, не жалея живота своего, стоял за царей православных? Я сам читал в царской жалованной грамоте, как он пришел в скорых числех, многолюдством и, видя в царствующем граде мятеж, стоял с бояры и воеводы крепко, мужественно и верно, по своему отечеству и по породе, за что и жалован многими отчинами и всякой милостию царской. Уж нечего сказать: верный слуга государя Петра Алексеевича, да к тому ж и ума палата — а все-таки старины придерживается, не ходит в немецком платье и бороды не бреет.

— Давно бы обрил,— сказал Симский, улыбаясь,— кабы не тетушка Марфа Саввишна...

— Нет, молодец! — прервал с жаром Прокудин,— видно, ты плохо дядю-то своего знаешь. Конечно, он любит и даже чтит свою благочестивую супругу, но уж верно бы не послушался ее, когда бы она не дело ему советовала. Данила Никифорович человек умный, видно, смекнул, что русская борода ни уму, ни науке, ни службе царской не помеха; и я голову мою прозакладаю, что он не променяет своей бороды ни на какие почести и хоть век останется стольником, а уж ни за что не наденет немецкого кафтана!.. Ну, Василий Михайлович,— продолжал Прокудин, вставая,— коли голоден, так не осуди: я не ждал сегодня такого дорогого гостя.

— Помилуйте, Максим Петрович! — сказал Симский, низко кланяясь хозяину,— да вы изволили меня так оттрактовать, что я и слов не нахожу для моего благодарения: поискали вашей ласкою, накормили и напоили досыта.

— Ну, коли сыт, батюшка, так и слава богу!.. Да не пора ли тебе отдохнуть, Василий Михайлович? Ты, я чаю, сегодня больно умаялся...

— Да, Максим Петрович, признательно вам доложу...

— Так с богом!.. Кулага, вели проводить его милость в опочивальню, да приходи скорей назад,— и мне уж время на боковую. Прощай, молодец, до завтра!

— Я завтра отправлюсь чем свет,— сказал Симский,— так вряд ли с вами увижусь. Не прикажете ли чего в Москву?

— Кланяйся от меня дядюшке.

— Буду кланяться. Прощенья прошу, Максим Петрович!

— Спокойной ночи, Василий Михайлович, приятного сна!

Когда Прокудин, помолясь богу, начал раздеваться, Прокофий спросил его, понравился ли ему проезжий служивый.

— Как тебе сказать,— отвечал Максим Петрович,— парень бойкий и собой молодец, да не нашего поля ягода.

— А что, сударь?

— А вот что, братец: имя-то у него русское, да речь-то полузаморская, а душа, я чаю, вовсе немецкая.

— Эка жалость, подумаешь! А ведь молодец и роду, сударь, хорошего. Денщик мне сказывал, что батюшка вашего гостя был казанским воеводою и оставил сынку-то своему знатные поместья.

— А все бы я за него племянницы ни за что не выдал. Ее и теперь дура сестра таскает с собой к этому немцу Гутфелю, а с таким мужем она, пожалуй, и к обедне-то станет ездить в немецкую кирку... Ну, ступай, Кулага! — примолвил Прокудин, ложась на широкую скамью, которая заменяла ему постель,— да пошли ко мне Егорку слепого, он начал еще на прошлой неделе рассказывать мне сказку о каком-то новгородском богатыре и царевне Прекрасе. Никак не могу дослушать: лишь примется рассказывать, тотчас и засну, видно, уж сказка такая.

Через несколько минут вошел в комнату сказочник Прокудина, Егорка слепой. Он доплелся ощупью до первого угла, прислонился к стене и начал:

— Вчера, государь Максим Петрович, я досказал тебе, как новгородский богатырь, дворянин Заолешанин, побил наголову все поместное войско поганого царя Аспаруха и как он, поганый царь Аспарух, бежал в свой крепкий град Буюслан и засел в нем за тремя каменными стенами в своем высоком тереме. Изволишь помнить, Максим Петрович?

— Помню, помню!.. Рассказывай небось!

— Слушаю, батюшка!.. Ну вот, сильный, могучий богатырь Заолешанин погулял и понатешился, потоптал своим удалым конем рать басурманскую, разметал ее по широким степям и гнал ее, не отдыхаючи, вплоть до самого града Буюслана. Тут он дал маленько вздохнуть своему борзому коню, снял с него уздечку позолоченную, дал пощипать травки в заповедных лугах, напоил водицею из царского студенца любимого, а там вскочил на него опять соколом и учал ездить вкруг высоких стен; затрубил в свой рог серебряный и крикнул зычным голосом: «О, ты гой еси поганый царь Аспарух! Коли сердце в тебе молодецкое, выходи со мной помериться во чисто́ поле, а не выйдешь — разорю твой крепкий град дотла, раскидаю твои высокие стены по макушку, сорву с могучих плеч твою буйную головушку и отвезу ее в тороках во святой град Киев, ребятишкам на потешище и посадским бабам ради игрища». Вот кричит он день, кричит другой, кричит третий..

Тут рассказчик остановился, стал прислушиваться, помолчал несколько времени, потом махнул рукою и, пробираясь вдоль стены, вышел потихоньку вон из комнаты.

ГЛАВА III

Солнце было уже близко полуден, когда Симский, переменив лошадей в Подольске, миновал наконец село Коломенское и стал приближаться к Москве. День был ясный, погода тихая, воздух легкий и прозрачный,— словом, одни только наносные бугры снегу, которыми покрыта была большая дорога, напоминали о прошедшей бурной ночи. Вот вдали проглянул и начал подыматься Иван Великий, забелелись соборы и обрисовался на светло-голубых небесах опоясанный своею зубчатой стеною, усеянный башнями и обставленный царскими палатами высокий холм кремлевский; потом зачернелась необозримая громада зданий, в которой сливались в одну сплошную и волнистую полосу бесчисленные избы простых обывателей, церкви, монастыри, брусяные хоромы зажиточных людей и каменные боярские дома с их вышками и теремами.

— Ну что, Демин,— сказал Симский своему денщику, который сидел на санном облучке рядом с ямщиком,— видишь Москву?

— Вижу, Василий Михайлович.

— Бывал ли ты в ней когда-нибудь?

— Никогда не бывал.

— Так ты, видно, родом не из понизовья?

— Никак нет, Василий Михайлович, и я, и батюшка мой, и дед, и прадед — мы все родом из Великого Новгорода.

— Ого, брат Демин! Да ты, я вижу, человек родословный: все родство свое помнишь.

— Как не помнить! Ведь батюшка мой был человек грамотный, а прадедушка служил господину Великому Новгороду, в Шалонской пятине, в селе Александровском, волостным старостою.

— Вот что! Ну, а как тебе, Демин, отсюда Москва кажется?

— Хороша, Василий Михайлович! Ни дать ни взять как наш батюшка Великий Новгород, и Кремль, кажись, такой же; чай, только этакого собора нет, как наша святая София.

— А вот приедешь, так посмотришь.

— Что это там вдали белеется? — спросил Демин ямщика, указывая на круглую башню, к которой наши путешественники быстро приближались.

— Вон энта-то, с черной верхушкою? — отвечал ямщик.— Это Калужские ворота.

— Ворота!.. Что ж, за ними уж и Москва пойдет?

— Ну да,— Замоскворечье.

— Ого! Вот налево-то от Кремля — Москва же?

— Как же — Москва! Вот прямо Белый город, полевее Чертолье, а там слободы.

— А направо-то?.. Неужели это все Москва?

— Коли не Москва, а то что ж?

— Что, новгородский уроженец,— сказал Симский, заметив удивление своего денщика,— видно, спеси-то в тебе убыло.

— Ну! — прошептал Демин,— никак и впрямь Москва-то побольше будет Новгорода!.. У, батюшки!.. Вон еще вдали забелелись церкви... Ах, господи, да ей и конца нет!..

— Конец-то есть,— прервал ямщик, помахивая кнутом.— А неча сказать, коли мне придется вас везти от Калужских ворот до Немецкой слободы, так я лошадок-то больно упарю.

— Небось, брат,— сказал Симский,— дальше Знаменки не поедем.

— До Знаменки только?.. Ну это что! — рукой подать... Эй вы, други!

Наши путешественники въехали Калужскими воротами в ту часть Земляного города, или *Скородома*, которая, по своему местному положению, называлась и теперь еще называется Замоскворечьем. Кругом них царствовала мертвая тишина, изредка только попадались им какие-то нищие в лохмотьях, которые, однако ж, не просили милостыни, а, робко озираясь кругом, пробирались сторонкою вдоль домов, по большей части совершенно разоренных. Одни из этих прохожих, видя, что в санях сидят люди служивые, одетые на немецкую стать, отворачивались и даже прятались за углами домов; другие, напротив, останавливались и, гордо посматривая на проезжих, провожали их взорами, в которых незаметно было ничего приязненного.

— Что это, брат,— шепнул Демин, толкнув локтем ямщика,— едем мы городом, а людей не видим, и куда ни поглядишь, все пустые да разоренные дома. Вот хо-

роминка преизрядная, а посмотри-ка: окна выбиты, двери настежь... вона опять домишко на боку... ворот нет, одни вереи остались... А это что?.. Кажись, не горело, а весь дом с корня разорен. Что ж это такое?

— Да хозяев-то нет дома,— отвечал ямщик.

— Куда ж они подевались?

— А кто их знает. Чай, перебрались все на Божедомку, а оттуда разбрелись по погостам.

— Сиречь померли... Что ж это такое? Или у вас мор был?

— Мор не мор, а много буйных головушек легло. Мы, служивый, едем теперь стрелецкой слободою.

— Вот что!..— прошептал Демин, робко посматривая кругом.

В продолжение этого разговора ямщик, который ехал до того все прямо улицей, поворотил налево и, миновав обширный луг, выехал на Серпуховскую улицу. Тут стали с ними встречаться довольно часто и проезжие и проходящие. Вот мимо наших путешественников промчался на красивом аргамаке боярский сынок в собольей шапке и бархатном зипуне с золотыми петлицами; вслед за ним проехала московская барыня в своем зимнем экипаже, то есть в обитом красным сукном огромном ящике, поставленном на длинные дровни. Этот неуклюжий возок запряжен был гусем в две лошади, из которых переднюю вел под уздцы конюх; позади, на полосках, стоял слуга, а впереди шли, разумеется шагом, два *скорохода*. Вслед за этим чинным поездом прокатил на лихой тройке в красивых пошевнях молодой купчик, а за ним протащился шажком архимандрит соседнего монастыря, в длинных лубочных санях, у которых не было кучерского места, потому что кучер, или, по-тогдашнему, *повозчик,* правил лошадью, сидя на ней верхом.

— Ну вот здесь полюднее,— сказал Демин,— а все не то, как у нас в Новгороде. Там почитай всегда и на Софийской стороне, и в Славянском конце народ так и кишит.

— Погоди, служивый,— прервал ямщик,— как выедем на бойкое место, так ты не то заговоришь. Здесь что! А вот как подъедем к Берсеньевскому мосту, так пронеси господи! В базарный день проезду нет, а пуще обозы; иной раз всю улицу запрудят — ни взад ни вперед! А сунься-ка наудалую, так тебя разом вверх копыльями!.. Да вот посмотри-ка вперед... вишь, как они дерут порожняком!.. Эва на!.. Ряда в четыре едут.

В самом деле, с каждым шагом вперед, на улице становилось теснее. Кому из московских жителей случалось ехать в базарный день от Москворецкого моста по Пятницкой, тот знает, что такое эти бесконечные обозы, а особливо едущие порожняком, которые скачут иногда сломя голову, потому что лошадьми или вовсе никто не правит, или правят мужички под хмельком, для которых в эту минуту море по колено. В течение последних двух столетий обычаи русских крестьян почти вовсе не изменились,— и в старину так же, как нынче, редкий мужичок, продав на базаре привезенный им товар, не завернет, бывало, в *царское кружало,* то есть в кабак; а уж если русский человек хватит лишнюю чарку, так вы его никак не заставите ехать по-немецки, то есть шагом или маленькой рысцою; он будет кричать, орать песни и скакать до тех пор, пока не одолеет его сон и вожжи не вывалятся из рук. Когда наши проезжие стали приближаться к Москве-реке, навстречу им, от Всесвятских ворот, хлынул один из этих безумных поездов. На переднем возу в нагольном тулупе нараспашку сидел рыжий детина, красный как маков цвет; заломив набекрень свою шапку, он гнал и в хвост и в голову саврасую лошаденку, запряженную в широкие розвальни. Вслед за ним неслись дюжины две порожних саней; в одних сидели и правили полупьяные, в других лежали и также правили вовсе пьяные мужики, а некоторые из подвод были оставлены совершенно на волю лошадей; и, надобно сказать правду, эти добрые крестьянские лошадки вели себя гораздо благоразумнее людей: они должны были скакать поневоле, но по крайней мере не обгоняли друг друга и не кидались из стороны в сторону. Вся эта разгульная ватага, не обращая внимания на крик и угрозы других проезжих, мчалась вдоль по улице, наполненной народом, зацепляя и ломая все, что ей ни попадалось навстречу.

— Эк их черти несут! — прошептал ямщик, завидев издали этот обозный ураган.— Смотри-ка, смотри! всю улицу захватили, мошенники этакие!..

— Эй вы, мужичье!..— гаркнул Демин,— иль не видите, кто едет?.. Держи к одной!

— Куда вы лезете? — закричал ямщик, грозя кнутом.— Ах вы, борноволоки этакие, обломы проклятые!.. Держи правей!.. Держи правей!.. Тише вы, тише... дери вас горой!.. Ах вы, разбойники!.. Ну!!!

Это последнее восклицание сделал ямщик, лежа уж

на боку подле своей пристяжной; ее подшибли раскатившиеся розвальни передового обозника, которые в то же время опрокинули и сани проезжих. Прежде чем они успели справиться, на них наехали еще две подводы, смяли остальных лошадей, изорвали всю сбрую и сшибли с ног Демина, который хотел было своротить их в сторону.

— Держите их, держите! — заревел Демин, вскочив на ноги.

— Держите! — закричали многие из проходящих, не трогаясь с места.

— Держите! — повторили уличные ребятишки, прыгая босиком по снегу и помахивая своими спущенными рукавами.

Но держать было некому. Все кричали: «Держи, держи!», и все расступались, чтобы пропустить этих хмельных мужичков, для которых, как я уже сказал, в минуту разгула всегда бывает море по колено.

— Ну, правду ли я вам баил? — сказал ямщик, подымая вместе с Деминым сани и пристяжную лошадь.— Здесь, подле Всесвятских ворот, в базарный день бедовое дело! А на Берсеньевском мосту и того хуже: со всех сторон народ так и валит, вовсе проезду нет... Эге! — продолжал ямщик, осматривая лошадей.— Да сбруя-то вся хоть брось!.. Ах они шальные, пьяницы этакие!.. Смотри-ка, что понаделали!

— Да, брат,— казал Демин,— постромки никуда не годятся...

— Что постромки!.. Ты посмотри-ка шлею на пристяжной... А дуга-то где?.. Оба гужа лопнули... Ну!.. Озорники этакие!.. Чтоб им до дому не доехать, проклятым!..

— Да нельзя ли как-нибудь связать, чай, с тобой веревки есть?

— Чего связать!.. Нет, уж делать нечего: побудьтека здесь, а я как раз сбегаю.

— Куда?

— Да вот тут недалече живет у меня куманек,— покучусь ему, авось даст хомут на коренную.

— Так оставайся, Демин, здесь,— сказал Симский,— а я пойду пешком. Послушай-ка любезный,— продолжал он, обращаясь к ямщику,— как ты управишься, так ступай на Знаменку. Ты знаешь там дом стольника Данилы Никифоровича Загоскина?

— Нет, батюшка.

— Ну, а знаешь ли ты на Знаменке дом князя Хованского?

— Большие каменные палаты... в три жилья... крыша такая узорчатая?

— Ну да!

— Как не знать.

— Так насупротив-то крытые гонтом бревенчатые хоромы...

— А! Знаю, знаю, батюшка! На дворе еще такая высокая голубятня, с длинным шестом, а на шесте-то петушок?

— Ну, так приезжай же туда.

— Ладно, батюшка, приеду.

Ямщик побежал к своему куму, а Симский, оставив при санях Демина, пошел к Всесвятским воротам. Эти ворота, сходные по своему зодчеству с нынешними Иверскими воротами, стояли на берегу Москвы-реки, у самого въезда на Берсеньевский мост, который назывался также и Всесвятским.

Этот мост, замененный впоследствии нынешним Каменным мостом, служил в то время единственным постоянным и надежным сообщением Замоскворечья с остальными частями города, потому что, вместо нынешнего Москворецкого моста, перекинут был через реку деревянный *живой* мост, то есть длинный плот без перил, по которому ездить не всегда было безопасно. Берсеньевский каменный мост был вовсе не щеголеватой наружности, но зато весьма прочной постройки. На нем во всю длину выстроены были лавки, а под арками поднята вода, и у каждого быка стояло по водяной мельнице о нескольких поставах. На другой стороне Москвы-реки, против Всесвятских ворот, подымалась широкая четырехсторонняя башня с воротами, которыми, прямо с Берсеньевского моста, въезжали в Белый город. Эти ворота, которые давно уже не существуют, назывались Троицкими.

Симский с трудом мог продраться сквозь толпу проезжих и прохожих, которые теснились на Берсеньевском мосту; но ему еще труднее было попасть в Троицкие ворота, потому что, за исключением узкого проезда, все пространство между ними и мостом было загромождено шалашами, мазанками, выносными очагами, на которых пекли лепешки, скамьями и лавочками с разным мелочным товаром, с поношенным платьем, со всякою ветошью и ломаным железом. Продавцы этого хлама,

называемые в старину не купцами, а *щепетильниками*, кричали во все горло, выхваляя свой товар и приглашая покупщиков. Посреди толпы шныряли сбитенщики со своими баклагами, разносчики гречневиков с конопляным маслом, медовой патоки с имбирем и знаменитого калужского теста без всякой приправы. Посадские бабы в коломенковых шубах и меховых шапках, горожанки в теплых ферезях с длинными рукавами, приказные в долгополых синих кафтанах, боярские слуги в нагольных тулупах и сотни разных праздношатающихся зевак лакомились этими сластями, толпились около лавочек, торговали, шумели, спорили и не давали никому прохода. Наконец Симскому удалось выбраться за Троицкие ворота. Оставив в левой стороне Крымский двор, он пошел вдоль стены Белого города; дойдя до Лебединого пруда, повернул мимо Царского сада, расположенного на берегу Неглинной, и вышел на Знаменку. Тут Симский должен был снова остановиться, потому что два обоза, из которых один тянулся от Чертольских, а другой от Арбатских ворот, съехались с третьим, едущим из Кремля, и захватили совершенно всю улицу. Тогда в Москве во многих местах, и почти на всех перекрестках, стояли нищенские избы или богадельни, в которых жили и питались мирским подаянием убогие и недужные люди. Эти богадельни служили также иногда приютом подкидышей, которые там и воспитывались, следовательно, почти всегда, как бесприютные сироты, поступали в число *нищей братии,* без которой и до сих пор наша доброхотная и христолюбивая Москва обойтись не может. Чтоб выждать, когда проедут обозы, Симский остановился у одной из этих нищенских изб. У самых ее дверей, на завалине, сидели две старухи и грелись на солнышке. Обе они были в овчинных шубейках, которых покрыши составлены были из разноцветных полинялых лоскутов. У одной были на ногах истасканные коты, другая была обута в поношенные лапти.

— Ну вот, Федосьевна,— молвила старуха в котах, не замечая, что близехонько подле них стоит прохожий барин,— вот нам господь бог и весну дает. Эка теплынь, подумаешь!

— И, что ты, голубка! — отвечала старуха в лаптях.— Что даст господь опосля великого поста, а теперь мы еще и блинков не ели, так до весны-то далеко. Да что твоя Настька, не вернулась?

— Нет еще, Федосьевна. О-хо-хо-хо, избаловалась она совсем! Вот и вчера, и третьего дня ходила, ходила, и в городе по рядам, и в Кремле по боярским домам, а что принесла? Две полушки, серебряную копеечку да полкалача!.. Ох, Федосьевна, обманывает она меня!

— И я то же мекаю, Кондратьевна. Да вот хоть нынче ночью мне не спалось,— слышу, она щелкает орехи. «Откуда это у тебя, Настька, орешки-то завелись, а?» — спросила я. «Добрые, дескать, люди подали». А я себе думаю: «Врешь, проклятая, купила!» Ну, где слыхано, чтоб милостыню подавали калеными орехами!

— То-то и есть, Федосьевна: приемыш все приемыш! А мало ли я с ней горя натерпелась! Вот ровно четырнадцать годков, как ее в Петров день подкинули; я взяла ее на свои руки, ноченьки целые не спала; выкормила рожком, сколько денег на молоко поистратила, а вот тебе и спасибо!..

Тут подошла к избе безобразная девчонка в лохмотьях, сверх которых висел у нее через плечо на мочальной веревочке сплетенный из лыка кошель.

— А, это ты, Настька! — сказала Кондратьевна.— Поди-ка сюда, поди!.. Да постой, постой! — продолжала она, схватив ее за руку.— Куда ты?

— В избу, бабушка, погреться,— отвечала девочка.— Я вовсе окоченела.

— Вишь, барыня какая,— окоченела!.. Мы и старухи, да в избе не сидим.

— Да полно, бабушка, отцепись,— пусти!..

— Погоди, голубушка, не замерзнешь. Ты мне скажи, где ты до этой поры таскалась?

— Мало ли где: в Чертолье была, у Арбатских ворот, здесь, по Знаменке, ходила...

- А много ли выходила?..

Да что, бабушка,— видно, уж такой день выдался: никто не подает.

— Так ты ничего не принесла?

— Ломтика четыре хлебца.

— Только-то? А что я тебе говорила: как пойдешь по Знаменке, зайди неотменно на двор к боярыне Марфе Саввишне Загоскиной?

— Заходила, бабушка.

— Так тебе и там ничего не подали?

— Ничего.

— Врешь, врешь, негодная!.. Кто другой, а Марфа

Саввишна всегда подает. Она — дай бог ей много лет здравствовать! — нищую братию любит.

— Да у них, бабушка, в дому что-то нездорово.

— Нездорово?

— Видно, что так. Я сначала зашла с переднего крыльца, на крыльце стоит, пригорюнившись, дворецкий Сидор Иваныч. Бывало, он и сам всегда мне подаст, да еще по головке погладит, а тут как закричит: «Пошла, пошла,— не до тебя!» Вот я от него прочь да к девичьему крыльцу... постояла, постояла — никто нейдет. Думаю: взойду в девичью, мне не впервые. Взошла, гляжу — нянюшка Прокофьевна сидит да так и заливается слезами, на всех сенных девушках лица нет. Не дали мне словечка вымолвить: «Ступай, ступай! Бог подаст!..» — «Кормилицы,— сказала я,— доложите вашей барыне...» — «Куда докладывать! — молвила Прокофьевна.— До того ли ей теперь!» Да как вдруг завопит: «Ах ты, батюшка наш, Данила Никифорович, снял ты со всех с нас голову!» А ключница Матрена — такая злющая, завсегда лается, как вскинется на меня: «Убирайся, говорят, а не то я тебя голиком! Пошла, пошла!» Так по шеям меня и выгнала. Да пусти же меня, бабушка, в избу-то: я вовсе прозябла.

— Постой, постой! Дай-ка мне свой кошель.

— Да на что тебе? В нем, окромя хлеба, ничего нет.

— Добро, добро,— прошептала Кондратьевна,— я посмотрю... Ломоть, другой, третий... А это что? — вскричала она, вынимая из кошеля медовую сосульку и пряничного конька с золоченой гривою.— Это что?.. Ах ты, воровка-мошенница этакая!

Симский, который слышал весь разговор, не стал дожидаться конца этому розыскному делу. Ему было вовсе не до того. Он любил своего дядю как отца родного, а если девочка говорила правду, так с Данилою Никифоровичем случилось какое-нибудь несчастие или он был при смерти болен. Несмотря на то что на улице было еще очень тесно, Симский пустился бегом по Знаменке. Пробираясь между возов, он вышел кое-как на свободное место и с ужасною тоскою и замиранием сердца добежал наконец до обширного двора, посреди которого стояли длинные хоромы дяди его, заслуженного стольника Данилы Никифоровича Загоскина.

ГЛАВА IV

Симский прошел всем двором, не встретив никого. В передней не было тоже ни души. Он вошел потихоньку в столовую; в этой комнате сидела под окном и горько плакала пожилая барыня, одетая по-домашнему: в штофной поношенной кофте и тафтяной юбке, которая была когда-то красного цвета. В то время давно уже вошли в употребление женские черевички, то есть башмаки; но эта барыня была обута, по старинному обычаю, в сафьянных сапожках, вышитых бисером. За поясом у нее висела связка ключей, а на голове надета была круглая бархатная шапочка с меховым околышем.

— Ах, друг мой сердечный,— вскричала барыня,— Васенька!

— Здравствуйте, тетушка! — сказал Симский торопливо,— что дядюшка?

Марфа Саввишна всплеснула руками, ухватилась за шею племянника и, опустив голову на его плечо, громко зарыдала.

— Ах, боже мой, боже мой! — проговорил Симский.— Да где же дядюшка?.. покажите мне его.

— Пойдем, мой друг, пойдем! — сказала Марфа Саввишна, всхлипывая,— я тебе покажу его!.. Не узнаешь ты своего дядю! — продолжала она, заливаясь слезами.

«Господи! — подумал Симский, идя вслед за своею теткою,— так, видно, уж добрый мой дядюшка лежит в гробу?»

Пройдя несколько комнат, Марфа Саввишна отворила дверь небольшого покоя и промолвила едва слышным голосом:

— Ну вот, Василий Михайлович, гляди!

Симский, который воображал, что найдет в этой комнате своего дядю если не умершим, то, по крайней мере, при последнем издыхании, переступил с ужасом через порог, и вот что он увидел перед собою: старик лет шестидесяти пяти, но, по-видимому, довольно еще бодрый, сидел в креслах, обитых цветной камкою. Цирюльник, преважный немец с красной рожею и длинным носом, добривал бороду этому пожилому барину. Позади кресел стоял, как приговоренный к смерти, мрачный и угрюмый служитель с перекинутым через плечо белым полотенцем. Поодаль плакала втихомолку старая женщина, держа в руках серебряную лохань с рукомойником. На столе лежала полная пара немецкого платья и

треугольная шляпа, а над ними висел на гвоздике огромный парик с длинными кудрями.

— Дядюшка! — проговорил с удивлением Симский.

— А, здравствуй, брат Василий! — вскричал Данила Никифорович. — Добро пожаловать!

— Так вы здоровы?

— Слава богу.

— А я было как перепугался! Глядя на тетушку...

— Ты подумал, что мне уж отходную читают? Ну, что с ней будешь делать: ревет себе, да и только!

— Батюшка Данила Никифорович!..

— Что, матушка Марфа Саввишна, иль еще вдоволь не наплакалась?

— Да как мне не плакать? Ну посмотри на себя, на кого ты походишь?

— А что и в самом деле: чай, годков десять с плеч свалилось?.. Дайте-ка мне зеркальце!.. Ступай, любезный, — продолжал Данила Никифорович, обращаясь к цирюльнику, — скажи дворецкому, чтоб он тебе заплатил.

Цирюльник, как истый немец, вытер не торопясь свои бритвы, уложил их бережно в футляр, свернул бритвенный ремень и, поклонясь с той гордой важностью, которою вообще отличаются все немецкие ремесленники, вышел вон из комнаты.

— Ну что, Марфуша, — сказал Данила Никифорович, обтираясь мокрым полотенцем, — ведь этак-то гораздо лучше?

— Помилуй, батюшка, да что тут хорошего? А грех-то какой, грех!..

— И, полно, жена!.. коли нет греха стричь волосы, так какой же грех обрить себе бороду?.. Ведь это все едино. С нас будет и старых грехов, матушка, так новых-то выдумывать нечего.

— Мне, батюшка, где с тобою спорить: я баба глупая, а послушай-ка, что говорят умные люди.

— Умные люди! сиречь Максим Петрович Прокудин да Лаврентий Никитич Рокотов с братиею?..

— А что, разве они люди глупые?

— Нет, Марфа Саввишна, особенно Максим Петрович Прокудин крепко неглуп. Да ведь есть и старообрядцы люди очень умные, а заговори-ка с ними о православии, так они занесут такую околесную, что уши вянут.

— Вот вздумал с кем равнять своих приятелей!

— Да воля твоя, Марфа Саввишна, в чем другом, а в упрямстве они старообрядцам не уступят. Чай, по-их-нему, без бороды и в рай не попадешь.

— А почем знать, батюшка? Что, если в самом деле...

— Слышишь, что тетка-то говорит? — прервал Данила Никифорович, улыбаясь.— Ну, племянник, худо нам с тобою будет!

— На него, сударь, не изволь ссылаться,— сказала с жаром Марфа Саввишна,— он человек служивый, хочет не хочет, а делай, что ему прикажут, этот грех не на нем. А тебя кто неволил? Ты ведь не служишь, живешь на покое, царского указа тебе не читали... Так из чего ж ты взял на душу этот грех? А коли, по-твоему, греха в этом нет, так ты бы хоть людей постыдился. Ну что ты теперь? На молодого парня не походишь, на старую бабу также,— ни дать ни взять немец-булочник, что нам хлебы ставит!.. Уж если ты не пожалел своих седых волос, так пожалел бы меня, старуху!.. Мне стыдно будет в люди показаться: все добрые люди станут на меня пальцами указывать. Ведь я, батюшка, жена твоя, твой стыд — мой стыд! И на что? и для чего?..

— Я уж тебе толковал для чего, да ты слушать меня не хочешь.

— Батюшка Данила Никифорович! не изволь на меня гневаться, может статься, я глупо скажу, а воля твоя: как ни толкуй, а по мне, что стриженая девка, что бритый мужик — все едино. Я уж не говорю о том, что скажет Лаврентий Никитич Рокотов: он теперь и знаться с тобой не захочет...

— Так что ж? Коли он любил не меня, а мою бороду, так господь с ним!

— А что мне будет от Надежды Карповны, от Аполлинарьи Степановны, от Нимфодоры Алексеевны?.. Батюшки мои!.. Да они меня со свету божьего сживут, в гроб вгонят!.. «Что, дескать, Марфа Саввишна, ваш Данила Никифорович, говорят, бородку обрить изволил, немецкое платьице носит?.. Ну что, матушка, к лицу ли ему?» Господи, господи! Как подумаю об этом, так у меня сердце и оторвется!..

— Ну что, Марфа Саввишна, никак опять собираешься плакать? Добро, добро, ступай-ка лучше да похлопочи, чтоб нашему дорогому гостю комнату приготовили. Ему после обеда не худо будет отдохнуть, чай, устал с дороги. Ступай, матушка!.. Ступай и ты, Еремей, я еще погожу одеваться. А ты, Прохоровна, оставь

здесь рукомойник и лохань, а сама убирайся в девичью, да коли у тебя такая охота рюмить — так плачь там; будет с меня и жены... Поверишь ли, племянник,— продолжал Данила Никифорович, когда они остались одни,— замучили! Ревут да хнычут все утро, словно по покойнику.

— Зато я не плачу, дядюшка, а очень рад... нашего полку прибыло.

— Ну, брат Василий, не ждали мы тебя. Ведь и двух месяцев нет, как ты от нас уехал.

— Да, дядюшка, я и сам не чаял попасть так скоро опять в Москву. Теперь абшита * взять нельзя: наш полк выступил в поход.

— Куда?

— Покамест в Польшу. Князь Александр Данилович Меншиков оставил меня на время при себе. Недели две тому назад он послал меня с депешами в Смоленск и Калугу, дозволил завернуть на недельку в Москву, повидаться с родными, а там уж мне указано отправиться по прямому тракту к моей команде.

— Вот что!.. Ну, рад, мой друг, что мы с тобой хоть недельку поживем вместе. Вот уж масленица на дворе, блинков с нами поешь, повеселишься... А, да, кстати, о веселье: мне сказывали, что сегодня у твоего приятеля, Адама Фомича Гутфеля, будет вечеринка, по-вашему — ассамблея.

— В самом деле? — вскричал с радостию Симский,— так уж позвольте мне, дядюшка, я сегодня к нему поеду.

— Ступай, мой друг! я затем и сказал тебе. Дело твое молодое, почему не повеселиться. Только знаешь ли что, племянник? В последний твой приезд ты не пропустил ни одной вечеринки; только, бывало, и слышишь: «Еду, дескать, к Адаму Фомичу на ассамблею». И теперь что-то не путем обрадовался. Уж не приглянулась ли тебе у Гутфеля какая-нибудь красоточка?.. Эге, брат! что ж ты этак покраснел?.. Неужели в самом деле?.. Мне сказывали, что у Гутфеля дочка такая пригожая... Послушай, племянник: я слышал от многих, что Адам Фомич старик добрый, богатый, знаю и то, что государь его жалует, а все-таки он купец и не нашей веры. Я человек не спесивый и немцев не чуждаюсь, а, не прогневайся, и я скажу: нашему брату, родовому дворянину,

---

* отпуска (от *нем.* Abschied).

жениться на какой-нибудь купеческой дочке вовсе не приходится. Как бы муж ее ни любил, а все житье ей будет коротенькое: мужнина родня станет ее поедом есть, а посторонние будут смотреть на нее свысока, знаться с нею не захотят... Да еще и Гутфель-то захочет ли выдать свою дочь за русского: ведь они также крепко своей веры держатся.

— Помилуйте, дядюшка! да я и сам ни за что не женюсь на дочери Адама Фомича.

— А коли ты только так, ради одной потехи, хочешь бедную девку с ума свести, так это еще хуже. У нас на Руси за хлеб-соль и ласковый прием говорят спасибо, а ты хочешь... Эх, племянник, нехорошо!

— Да почему вы думаете?..

— Как не думать! Лишь только я об этом намекнул, так посмотри, как ты раскраснелся.

— Ну, дядюшка, делать нечего: я лучше отдамся вам на дискрецию * и всю правду скажу. Я точно повстречался у Гутфеля с одной девицею, которая зело мне по сердцу пришла: но только эта девица русская и хорошего рода.

— Право? А кто ж она такая?

— Я видел ее три раза у Гутфеля; она приезжала к нему с своей теткою, Аграфеной Петровной Ханыковой.

— С Аграфеной Петровной Ханыковой, у которой муж на службе в Азове?

— Точно так, дядюшка.

— А племянницу-то как зовут, не Ольгой ли Дмитриевной?

— Да, Ольгой Дмитриевной.

— Э, так это Запольская. Она также, как ты, брат, круглая сирота: у нее нет ни отца, ни матери. Мы с ее родным дядею, Максимом Петровичем Прокудиным, старинные приятели.

— Ах, боже мой!.. Да я у него вчера ночевал, и он еще велел вам кланяться. Да что ж это, дядюшка: коли вы с ними знакомы, так как же я ни разу их у вас не видал?

— Бабьи сплетни, братец! Жена моя стала выговаривать Аграфене Петровне, зачем она ездит в Немецкую слободу; та разгневалась, перестала к нам жало-

---

* милость (от *фр.* discrétion).

вать, а уж Марфа Саввишна сама ни за что на свете к ней не поедет.

— Ну что, дядюшка, не правда ли, что Ольга Дмитриевна...

— Да! девица хорошая, умная и, говорят, очень благонравная. Ее осуждают, что она частенько по вечеринкам изволит ездить, и тетушку за это побранивают; а как их послушаешь, так они обе правы. Ольга Дмитриевна ездит затем, что это угодно тетушке, а Аграфена Петровна затем, чтоб племянницу повеселить,— так и выходит, что они обе ездят поневоле. Да пускай себе и по охоте,— беда небольшая. Пора нам перестать держать взаперти наших жен и дочерей; и добро бы еще это был коренной русский обычай, а то ведь нет: мы переняли его у татар.

— Так вы думаете, дядюшка...

— Да, брат Василий, да: она по всему тебе пара, и достаток есть.

— Так что ж, дядюшка?..

— Да вот изволишь видеть: Максим-то Петрович ей вместо отца родного, а он человек упрямый, держится старины и не очень жалует вашу братию — гвардейских офицеров.

— Помилуйте!.. Да он меня так обласкал, такую атенцию * во всем показывал...

— Это само по себе. Прокудин вовсе не походит на какого-нибудь Лаврентия Никитича Рокотова: тот не стал бы и говорить с тобою; а Максим Петрович мужик умный, большой хлебосол и всегда рад угостить проезжего человека, кто бы он ни был; но только вряд ли выдаст за тебя племянницу,— не то у него в голове. Он часто мне говаривал: «Коли посватается за Оленьку человек добрый, степенный, хорошего рода, русский по имени, русский по обычаю,— так милости просим; а за какого-нибудь молодчика с бритой бородкою, который на немца смахивает, я ни за что ее не выдам». Да ты как вчера к нему попал?

— Вовсе нечаянно: меня загнала к нему метель.

— Ну что он с тобою поговорил?

— Да все смеялся над Петербургом.

— А ты?

— А я за него горой стоял...

— Ох, худо, брат!

* внимание (от *фр.* attention).

— Потом начал позорить наш мундир, над немцами подшучивать.

— А ты?

— А я за них заступался.

— Ну, худо!.. Вот то-то и есть,— зачем ты с ним спорил?.. Молчал бы, да и только.

— Но разве я мог отгадать...

— Что Ольга Дмитриевна родная племянница Максиму Петровичу?.. Ну конечно, этого ты отгадать не мог. Да Максим-то Петрович тебе в дедушки годится, так пригоже ли тебе с ним заедаться? Я — дело другое: у нас с ним бой равный. А ты что перед ним?.. Молокосос. И что за беда старику уступить? Да пусть он себе говорит что хочет.

— Так поэтому, дядюшка, мне нечего и надеяться?

— Да, племянник, большой надежды нет... Впрочем, почему знать? попытка не шутка, а спрос не беда. Я съезжу прежде поговорить с теткою, а там, пожалуй, и в деревню к Максиму Петровичу поеду, и если мы его уломаем, так теперь на слове положим, а там, как вернешься из похода, веселым пирком да за свадебку!.. Сегодня, может статься, ты опять увидишь ее у Гутфеля... Ведь вы, чай, там меж собой разговариваете?

— Как же, дядюшка, и танцуем и разговариваем.

— Так ты, братец, поразговорись с нею хорошенько, рассмотри ее порядком и себя ей покажи. Вот, подумаешь,— продолжал Данила Никифорович,— когда государь Петр Алексеевич изволил учредить эти ассамблеи и указал на них бывать и женам и дочерям боярским, так мало ли крику-то было: «Последние, дескать, времена наступили, антихрист воцарился! Уж коли православный государь заводит такие богопротивные сходбища, так чего ждать путного?» А прежние-то пирушки лучше, что ль, были? Съедутся на вечеринку, начнется попойка; барынь и барышень нет, так стыдиться некого,— пей себе в мертвую чашу! А как нарежутся, так пойдут всякие непригожие речи, срамные холопские пляски, непотребные песни. То ли дело на этих ассамблеях. Как ты станешь бесчинствовать? Коли не постыдишься своей жены, так перед чужой будет совестно. Иной бы, пожалуй, хватил темную да вприсядку пошел, а тут нельзя! Выпьет стаканчик, другой — да и к сторонке. А это также разве безделица? Теперь ты приедешь на ассамблею, увидишь девицу, она тебе приглянется; ты с нею поговоришь, познакомишься и если за-

думаешь на ней жениться, так знаешь, на ком женишься; не то что прежде: бывало, ты свою невесту и в лицо никогда не видывал, а чтоб промолвить с нею словечко — да забудь об этом и думать! Под венцом она стоит в покрывале, кто ее знает,— может быть пригожа, а может статься, и рожа-то на стороне! Меня точно так же венчали... Да я-то еще слава богу: моя Марфа Саввишна была красавица. Когда в опочивальне она встретила меня без покрывала да поклонилась в пояс, так у меня сердце запрыгало от радости! С другими не то бывало: иному сваха наговорит и бог весть что: грудь лебединая, и брови собольи, и с поволокою глаза... а уж разумница-то какая! что слово скажет, то рублем подарит!.. А там, посмотришь, приедет от венца, заговоришь с нею — дура набитая, взглянешь на нее — батюшки, пугало огородное: рябая, кривая, носатая!.. Вот тебе и с поволокою глаза!.. Ну, пожалуй, после залучи к себе сваху, потешься, отломай ей бока, а что прибыли: жена не башмак, с ноги не сбросишь!..

— Так, дядюшка, так!.. ассамблеи, а также и австерии поистине наиполезнейшие и зело премудрые учреждения. Ну, рассудите сами: какой я могу ожидать сатисфакции * от супружества с девицею, которую не только не знаю персонально, но и в глаза-то никогда не видывал? Ведь жена, как вы сами изволите говорить, не башмак, вы его не станете носить, коли он натирает вам мозоль, а с женою-то что будешь делать?..

— Да, любезный, какова попадется, а уж не прогневайся,— развенчивать не станут. Ну-ка, брат Василий,— продолжал Данила Никифорович, вставая,— пособи мне халат надеть, чай, пора обедать... Да вот, кажется, за нами пришли... Что ты, Фаддей, кушанье готово?

— Готово, батюшка,— сказал слуга с низким поклоном,— Марфа Саввишна изволит вас дожидаться.

— Пойдем, племянник, покушай на здоровье, а там приляг да сосни хорошенько. Ты с дороги-то ни на что не походишь; а ведь тебе, любезный,— промолвил Данила Никифорович, выходя вместе с Симским из комнаты,— следует явиться к Адаму Фомичу молодцом. Смотри, брат, чтоб все немки, глядя на тебя, разахались; только сам-то не больно за ними ухаживай,— помни, брат, охотничью пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

---

* удовольствия (от *фр.* satisfaction).

ГЛАВА V

Симский отправился в шестом часу после обеда к Адаму Фомичу Гутфелю. Иноземный гость, амстердамский уроженец, Адам Фомич Гутфель жил на Кукуе, то есть в Немецкой слободе, против самой кирки, в собственном доме. Хотя этот длинный деревянный дом очень походил на обширные хоромы русского боярина, однако ж во многом напоминал родину своего хозяина. Особенно отличался он от других домов своими широкими равносторонними окнами, черепичной кровлею, подъездом с улицы и резными дубовыми дверьми с двумя огромными медными скобами, из которых одна, повешенная на петлях, заменяла колокольчик, то есть возвещала о приходе гостя, который мог постучать ею как молотком в приделанную к дверям медную бляху. Какой-то путешественник, говоря о голландцах, сказал, что они любят жить очень чисто и для того беспрестанно моют все на свете, исключая своих собственных рук. Не знаю, до какой степени справедливо это замечание, но во всяком случае Адам Фомич вполне оправдывал его собою. У него во всем доме не было ни пылинки: столы, стулья, поставцы — словом, вся домашняя утварь лоснилась и блестела, как будто бы ее сейчас привезли из лавки. Но зато он сам почти всегда ходил неряхою и его толстые красные руки вовсе не могли назваться опрятными даже и тогда, когда у него была ассамблея и он принимал гостей; но на этот раз Адам Фомич, видно, об этом позаботился. Его борода была выбрита гладко, руки не запачканы, манжеты накрахмалены, и коричневый суконный кафтан с огромными пуговицами был почти так же чист, как цветной ковер, постланный в сенях и по всем ступенькам лестницы. Говоря о кафтане Адама Фомича, я упомянул только мимоходом о его огромных пуговицах, а они заслуживают особенного описания. Собственно сказать, это были не пуговицы, а весьма хитрой работы круглые медальоны с выпуклыми стеклами, под которыми очень искусно уложены были пестрые бабочки, красивые козявки, зеленые жучки и разные другие диковинные букашки: одним словом, это портище пуговиц или, лучше сказать, этот голландский кунстштык * мог служить вывескою для знаменитой петербургской кунсткамеры. Отчего же Адам

* Здесь: диковинка (от *нем.* Kunststück).

Фомич принарядился таким необычайным образом? Зачем стоял он в сенях у самого крыльца, несмотря на то, что на дворе было довольно холодно? Ради чего дородная его супруга, в пышном фуро из шелковой японской материи, вышла в переднюю комнату и держала в руках китайский лакированный поднос, на котором лежал хлеб, голландский сыр и стояла серебряная чарка с анисовою водкою?.. Читатель, может быть, позадумается, желая решить этот вопрос, но Симский, войдя в дом, сейчас догадался, что Адам Фомич ожидает к себе на ассамблею государя Петра Алексеевича. Вслед за Симским подъехал, в простых лубочных санях, царский комнатный писец Иван Антонович Черкасов *. Он вошел в сени и, обращаясь к хозяину дома, сказал:

— Государь мой Адам Фомич Гутфель! Его царское величество изволил прислать меня экскузоваться** перед вами. Сегодня он никоим родом не может у вас быть и ради того приказал мне, вместо себя, поклон вам отдать, поцеловать фрау Гутфель, выпить за ее здоровье кружку полпива и повеселиться на вашей ассамблее.

Проговорив эти слова, Черкасов чинно поклонился Адаму Фомичу, потом, чтоб исполнить в точности высочайшее повеление, облобызался с фрау Гутфель и пошел вместе с ними в приемную комнату. Эта приемная комната, лучшая во всем доме, была оклеена китайскими бумажными обоями, по углам стояли фарфоровые кувшины с цветами, а в простенках висели овальные зеркала в золоченых узорчатых рамах. За этим покоем была обширная гостиная, которая в то же время служила и танцевальной залою. В третьей, и последней комнате, обитой голландскими кожаными обоями, стояли вдоль стен дубовые столы, на которых насыпаны были небольшими кучками амстердамский кнастер *** и гамбургский вак-штап ****. Тут же лежали глиняные голландские трубки, и сверх того на каждом столе поставлено было по нескольку оловянных кружек с полпивом; на одном только кружка была серебряная, и кругом, вместо простых деревянных стульев, стояли четыре стула и одно кресло, обитые пунцовым утрехтским бархатом. Разумеется, этот стол был приготовлен для

* Впоследствии барон и кабинет-министр государя Петра Алексеевича.

** Просить прощения (от *фр.* exuser).

*** Трубочный табак средней нарезки (от *нем.* Knaster).

**** Табак крупной нарезки (от *нем.* Wackstab).

государя и остался незанятым. Посреди комнаты, на круглом столе, разбросаны были немецкие газеты, которые в то время назывались по-русски *курантами*, а на особых столиках приготовлены были, для охотников, шахматные доски. Вообще, все комнаты освещались сальными свечами, а полы, исключая одной гостиной, усыпаны были мелким песком.

Войдя в гостиную, Симский увидел с первого взгляда, что в числе посетительниц ассамблеи не было Аграфены Петровны Ханыковой и ее племянницы. Почти все русские барыни сидели вместе, особнячком от немок, и резко отличалисть от них не только своим пышным нарядом, но и каким-то принужденным видом, чопорною осанкою и совершенною неподвижностию. Затянутые в длинные талии своих робронтов, они не смели пошевелиться и, казалось, приросли к стульям. Изредка только и разом все, как будто бы по команде, они поворачивали свои головки, чтоб взглянуть на входящих гостей. Потом те из них, которые были побойчее, перешептывались меж собою, а другие принимали снова свое неподвижное положение и продолжали молчать. Разумеется, в числе русских барынь не было старых женщин. На частные ассамблеи никто не был обязан ездить поневоле, следовательно, одни только *львицы* тогдашнего времени осмеливались так явно нарушать обычаи своих предков. Совсем не то происходило на немецкой стороне: там говорили довольно громко, смеялись, молодые вертлявые немочки задирали мужчин, разговаривали с ними; пожилые голландки, из которых многие были в кофтах, вязали чулки, а даже одна старуха, теща Адама Фомича, преспокойно штопала бумажный полосатый колпак, вероятно принадлежащий его тестю. Вот, наконец, вошел какой-то русский барин с молодой женою и двумя девицами; они показались Симскому гораздо развязнее и ловчее других — по крайней мере эти гостьи и говорили и двигались. Когда вслед за ними приехало еще несколько гостей, Адам Фомич, в сопровождении двух служанок, которые несли подносы, уставленные тарелками, начал потчевать дам всякими сластями, то есть цукатами, китайским леденцом, марципанами и разными другими заморскими лакомствами. Симский, повертясь несколько времени в гостиной и не встречая никого из своих знакомых, прошел в угольную комнату. В ней находились одни только мужчины, и в том числе много русских, но они все без

исключения были в немецких кафтанах. За одним столом сидел Черкасов и разговаривал с каким-то необычайно дородным барином, которому, вероятно, очень надоедал туго подтянутый галстук, потому что он вертел поминутно головою и даже запускал по временам за галстук пальцы, чтоб оттянуть и сделать хотя несколько просторнее этот проклятый немецкий ошейник, который мешал ему дышать свободно.

— Так, сударь Иван Антонович, правда, батюшка! — говорил он, повертывая головою,— этот немецкий наряд, который я недавно еще ношу, истинно лучше нашего русского одеяния: и краса не та, и покою больше...

— Право? — прервал с насмешливой улыбкою Черкасов.— Так что ж вы, Андрей Алексеевич, беспрестанно вертитесь, как будто бы вам неловко?

— Привычка, Иван Антонович, привычка! Меня и маленького за это часто журили: все, бывало, верчу головою. А, смею вас спросить, по какой причине государь Петр Алексеевич не пожаловал сегодня к господину Гутфелю?

— Я думаю, для того, чтоб не соблазниться и не скушать чего-нибудь за ужином.

— Да разве его царское величество изволит недомогать?

— Нет, слава богу, он здоров.

— Так почему ж ему не покушать? Гутфель кормит своих гостей хорошо.

— В том-то и дело, а государь уже четвертую неделю не изволит ничего кушать, кроме пустых щей, хлеба и гречневой каши.

— Что вы говорите?..

— Право так. Государь Петр Алексеевич хотел изведать на самом себе, достаточна ли для пропитания и полного продовольствия солдата отпускаемая для него казенная порция, и для этого в течение целого месяца решился питаться одним солдатским пайком.

— Скажите пожалуйста! ах, господи, да зачем же он изволит себя так изнурять? приказал бы кому-нибудь из своих генералов...

— Нет, Андрей Алексеевич, у его царского величества обычай уж таков. «Изведаю, дескать, на себе самом, так это будет повернее». Ведь он же не послал в Голландию никого из своих генералов учиться корабельному художеству, а сам пошел в рабочие люди; зато уж его теперь никакой иноземный мастер не про-

ведет; он тотчас ему скажет: «Врешь, немец! я это дело не хуже твоего знаю».

— А что, осмелюсь вас спросить, господин фельдмаршал, Александр Данилович Меншиков, пожалует ли к нам в Москву?

— Не думаю,— отвечал сухо Черкасов, закуривая свою трубку.

— Жаль, очень жаль!

— А почему вы так об этом жалеете? — спросил Черкасов, глядя пристально на толстого барина.

— Да как же, Иван Антонович, я еще ни разу не удостоился его видеть и, признательно вам доложу, желал бы очень взглянуть на столь великого мужа.

Черкасов нахмурился.

— Да, сударь,— продолжал толстый барин,— дорого бы я дал, чтоб посмотреть на сего знаменитого полководца и верного слугу царского, который в столь короткое время...

— Попал в фельдмаршалы,— прервал Черкасов.— Ну, что ж тут диковинного? Государь волен жаловать кого хочет.

— Конечно, конечно! Да ведь жалует-то за дела...

— Неравны дела, Андрей Алексеевич: за иное дело как не пожаловать, а есть и такие дела, за которые следует по законам, несмотря на лицо, не токмо сослать в каторжную работу, но даже и весьма живота лишить.

— Неоспоримо есть, да ведь таковые люди достойное по своим делам и приемлют, а я говорю вам об Александре Даниловиче Меншикове.

— И я вам о нем же говорю.

— Как-с? — прошептал с ужасом толстый барин.

— Да так! сегодня фельдмаршал, а завтра капрал.

— Кто-с?..

— Да тот, кто государя обманывает... Да что об этом говорить: коли господь до времени терпит и царь покамест милует, так не наше дело!.. Только, право, не мешало бы господину фельдмаршалу почаще вспоминать пословицу: «Повадился кувшин по воду ходить...»

Андрей Алексеевич, который до того по милости своего галстука был ярко-пунцового цвета, вдруг побелел как мука; он робко посмотрел кругом, хотел что-то вымолвить, поперхнулся, начал кашлять и, не говоря ни слова, встал с своего места, а Черкасов взял со стола гамбургские газеты и принялся их читать. Меж тем Андрей Алексеевич подошел к двум господам, которые иг-

рали в шахматы; один из них, замечательный по своей необычайной худобе и быстрым лукавым глазам, играл, по-видимому, гораздо бойчее своего соперника, человека пожилых лет, в огромном парике с длинными кудрями и немецком светло-голубом кафтане.

— Шах и мат! — возгласил торжественно первый игрок, подвигая вперед пешку.

— Позвольте, позвольте!.. — прервал господин в голубом кафтане.

— Не беспокойтесь, Аркадий Тимофеевич: шах и мат! Хоть до завтрева думайте, вам ходу нет. Здесь конь, а там визирь... ну, куда вы ступите?

— Ах, какая досада! Так вы мне делаете шах и мат пешкою?

— Да, не прогневайтесь, иногда простая пешка задаст такого шаху, что и визирь не очнется.

— Истинно так! — сказал толстый барин вполголоса. — Неравна пешка: вот хоть этот кабинетский писец Черкасов... Ну что такое писец?.. Не велика птица...

— Да ноготок востер! — молвил господин в голубом кафтане.

— Подлинно востер! Кабы вы послушали, что он сейчас со мною говорил...

— А что такое, батюшка Андрей Алексеевич? — спросил с любопытством худощавый барин.

— И теперь очнуться не могу!.. Как он изволил позорить... да ведь вслух!..

— Позорить? Кого?

— Страшно вымолвить!.. Александра Даниловича Меншикова!..

— О, господи! — воскликнул с ужасом худощавый барин. — И он это говорил с вами?..

— Я, батюшка, сейчас ушел... видит бог — ушел!.. слушать не стал!..

— Смотри пожалуй! эка дерзость, подумаешь!.. Ну вот, сведи знакомство с таким человеком — беда!.. Пропадешь ни за денежку!.. И добро бы еще особа какая!.. Дело другое князь Яков Федорович Долгорукий, князь Ромадановский... Шереметев... а то писец... мальчишка... слеток этакий!.. Да что он, о двух головах, что ль?..

— И одна, да, видно, хороша! — прервал господин в голубом кафтане. — Недаром он в такой милости у государя.

— Право?..

— А как же? Да смел ли бы он этак поговаривать... помилуйте!.. Мне сказывал Бартенев, сослуживец Черкасова, что он и в глаза-то Меншикову бог знает что говорит. Вам, я думаю, известно, что Александр Данилович человек надменный?..

— Как же, батюшка... вельможа!

— Вот однажды он обошелся грубенько с Черкасовым, а тот ему при свидетелях напрямик сказал, что если бы о всех делах его узнал государь, так перестал бы он кичиться своею знатностию и презирать честных людей.

— И Меншиков это вытерпел?..

— Где вытерпеть!.. Разгневался, поехал жаловаться государю.

— Что ж было с Черкасовым?

— Да ничего.

— Скажите пожалуйста!.. Ну, я думаю, Александр Данилович не очень его долюбливает?

— Вероятно, только он держит это про себя. Мне рассказывал Крекшин, что однажды государь сильно изволил разгневаться на Меншикова и позвал его к себе в кабинет. Что там было, никто не видел, а слышать слышали. Меншиков, который подозревал в этом деле Черкасова, вышел из кабинета растрепанный, стал оправляться... вдруг — пырь ему в глаза Черкасов. Что ж вы думаете?.. Чай, Александр Данилович, сгоряча, взглянул на него зверем, ругнул?.. Ничуть не бывало, он пожал ему руку и сказал очень ласково: «Все ли вы, друг мой, в добром здоровье?»

— Ну!.. Так, видно, государь очень его жалует.

— Да так-то жалует, что я не подивлюсь, коли Иван Антонович махнет прямо из кабинетных писцов в кабинет-министры.

— Что вы говорите!..

— Право так.

— В кабинет-министры!.. Вот подлинно, кому какая судьба!.. А знаете ли что? — продолжал худощавый господин, обращаясь к толстому барину,— мы с Иваном Антоновичем в свойстве: моя внучатная тетка была за его двоюродным... да еще, полно, не за родным ли дядею; а ведь стыдно сказать: мы с ним не знакомы... Все как-то не случалось: он в Санкт-Петербурге, я в Москве; он приедет в Москву, я в деревне... Ну, словно в гулючки играем!.. И жена мне сколько раз говорила: «Что это, батюшка, ты не познакомишься с Иваном Антонычем?

ведь мы с ним свои...» Послушайте, Андрей Алексеевич, благо случай вышел, сведите нас теперь.

— С моим удовольствием.

— Скажите ему просто: вот, дескать, Ардалион Михайлович Обиняков, племянник вашей тетушки, Ирины Савельевны Таракановой...

— Хорошо... пойдемте же...

— Постойте, постойте!.. Мне кажется... ну, так и есть: он изволит читать куранты, так мы ему помешаем... лучше после.

— Как вам угодно.

Меж тем Симский, выкурив трубку табаку, пошел опять в гостиную; в одно время с ним вошли в эту комнату, только с противоположной стороны, две новые гостьи: одна из них женщина лет под тридцать, довольно приятной наружности, другая в самом цвете молодости, то есть лет семнадцати, высокого роста, с темными голубыми глазами и очаровательным лицом, белым как снег и румяным как весенняя заря, одним словом, прелесть собою. Адам Фомич и его супруга встретили их с приметным удовольствием. И надобно сказать правду — эти новые гостьи вовсе не походили на прежних. Вместо того чтоб поклониться слегка хозяйке и ее дочери, они просто расцеловались с ними. Разумеется, такое свободное обхождение показалось для многих совершенно неприличным. Чопорные русские дамы стали поглядывать друг на друга, ухмыляться, началась общая шепотня, и насмешки градом посыпались на этих новоприезжих барынь.

— Посмотрите, Матрена Дмитриевна,— шепнула одна толстая краснощекая госпожа, толкнув локтем свою соседку, молодую женщину, которая была бы очень недурна собою, если б ее лицо поменьше лоснилось от белил и огромные брови дугою были насурьмлены немного поискуснее,— посмотрите, бога ради, ну на что это походит?.. Кто говорит, почему не приехать на ассамблею к какой-нибудь немецкой купчихе... да надобно, чтоб она знала себя и разумела других, а обходиться с ней как с своей сестрой дворянкой... помилуйте!..

— Конечно, конечно!.. Ведь, пожалуй, эта немка сдуру подумает, что она и в самом деле нам ровня.

— Вон, к ним идет Адам Фомич... Господи, того и гляжу, что они бросятся к нему на шею!

— Ах, что вы говорите, Ирина Никитична! — пре-

рвала Матрена Дмитриевна, закрываясь своим опахалом,— как это вам не стыдно?

— Да от этой Ханыковой все станется!.. А племянница-то ее, Запольская... ах, какая бесстыдница!.. Посмотрите: расхаживает, улыбается, говорит... ну, точно у себя дома, девчонка этакая!..

— Вся в тетушку!.. Да куда это она кинулась?.. Ирина Никитична, посмотрите: сама подошла к этой старухе... вон что в углу-то колпак штопает... Матушки, матушки!.. Слышите ли? ведь она говорит с нею по-немецки!

— Неужели?

— Видит бог, так!..

— Скажите пожалуйста!.. Что ж, это для того, чтоб почваниться перед нами.

— Известное дело!

— Видишь какая!.. Вот бы ей кстати выйти замуж за какого-нибудь немца-булочника.

— А что вы думаете... я не поручусь!.. Уж коли она выучилась говорить по-немецкому, так почему ж и веру не переменить и замуж не выйти за немца?

— Конечно, конечно!.. Посмотрите, Матрена Дмитриевна, что это за молодец к ней подлетел?.. Кажется, гвардейский офицерик?

— А, знаю, знаю!.. Он давно уже за нею ухаживает... Фу, какой шаркун!.. Так и рассыпается!

— Да кто он такой?

— Мне сказывали, какой-то Симский... Что это он ей напевает?.. А, видно, что-нибудь такое... глядите, как она вспыхнула!

— Ну, это еще хорошо, Ирина Никитична, видно, совесть есть.

— Какая совесть!.. Вон видите: она прямехонько смотрит ему в глаза, говорит с ним... смеется... Фу, срам какой!

— От нее чего ждать, Ирина Никитична, девчонка глупая, да тетке-то как не стыдно, чего она смотрит?

— Помилуйте, до того ли ей!.. Поглядите, как ее облепили и немцы и русские!.. А она-то, матушка моя, так и коверкается, то с тем, то с другим!.. Ну, нечего сказать, хороша барыня!..

— И, Матрена Дмитриевна! муж в Азове, унять некому, так что ей, гуляй себе, да и только!

— А вот начинаются и танцы... Что вы, Ирина Никитична, минавею пойдете?

— Может быть.

— А если вас станут подымать на кондратанец *?

— Нет, Матрена Дмитриевна, покорнейше благодарю!.. В прошлый раз достался мне какой-то долгоногий немец, да прыгун какой... замучил, проклятый!.. Ни за что не пойду!

Через несколько минут во всю длину гостиной выстроились в два ряда все танцующие пары, кавалеры против дам. Две скрипки и одна флейта затянули что-то похожее на протяжную немецкую песню, и бал открылся неизбежным *церемонным* менуэтом, который впоследствии заменился круглым, а потом уже теперешним длинным польским. Этот церемонный танец, в котором дамы беспрестанно приседали, а кавалеры поминутно кланялись, продолжался довольно долго. Разумеется, Симский танцевал с Запольскою, и, надобно сказать правду, весьма неудачно. Вместо того чтоб заниматься своим делом, он не спускал глаз с Ольги Дмитриевны, подымал правую руку вместо левой и почти всегда кланялся невпопад. В числе зрителей, которые сошлись со всех сторон посмотреть на танцы, находился также Ардалион Михайлович Обиняков, этот худощавый шахматный игрок, который успел уже познакомиться с Черкасовым. По-видимому, этот господин не обращал ни на кого особенного внимания, а меж тем исподтишка посматривал беспрестанно на Симского и его танцовщицу; при каждой новой ошибке Симского он улыбался с таким лукавством и так выразительно, что, казалось, хотел сказать: «А, голубчик! знаем мы, отчего ты ошибаешься!» Вот под конец и Ольга Дмитриевна стала ошибаться, сбилась с кадансу **, потом забыла присесть и, вместо двух рук, подняла одну. Вертлявые глаза худощавого барина заблистали радостью; в них можно было прочесть, что в эту минуту он говорит про себя: «Ага, красавица, попалась... Подметил я тебя! Что, сударыня, видно, и тебе также не до танцев!»

Менуэт кончился; кавалеры раскланялись, то есть поклонились в сотый раз своим дамам; дамы также присели, разошлись, и посреди гостиной осталась одна только пара: хозяйская дочь и аптекарь Франц Карлович Цвибах, рыжий, худощавый немец высокого роста,

---

* кадриль (от *фр.* contredanse).

** ритма, такта (от *фр.* cadence).

с длинным бледным лицом, украшенным бесчисленным множеством веснушек, и с светло-серыми глазами, в которых выражалась если не спесь, то, по крайней мере, глубокое сознание собственного своего достоинства. Господин Цвибах был уже человек пожилой, но танцовщик неутомимый и совершенный мастер своего дела. Музыканты заиграли альманд, и эта образцовая пара пустилась в ход и начала выделывать необычайные штуки. Франц Карлович превзошел самого себя: он вывертывал таким неестественным образом руки своей танцовщицы, так хитро переплетал их со своими, делал такие чудные выверты и обороты, что нельзя было довольно надивиться его искусству; то, поднявшись на цыпочки, он изгибался, как змей, над своей дамою и заставлял ее кружиться у себя под плечом, то сам подвертывался к ней под руку, и все это не как-нибудь, а чисто, отчетливо, не отставая от музыки и не выпуская ни на минуту из рук своей танцовщицы, которая также с необычайной ловкостию выполняла все эти танцевальные кунштыки * и не сбивалась с кадансу даже тогда, когда руки ее были совершенно выворочены. Все зрители, не исключая дам, встали со своих мест и, чтоб видеть поближе танцующих, обступили их со всех сторон. Одна только Ольга Дмитриевна, стоя позади толпы, не обращала на них никакого внимания; с нею разговаривал Симский.

— Да, Ольга Дмитриевна,— говорил он,— я привез вам весточку от дядюшки вашего, Максима Петровича; он, благодаря бога, здоров.

— Когда ж вы у него были? — спросила Запольская.

— Вчера проездом. Он, по милости своей, укрыл меня от непогоды и оставил ночевать.

— Вчера!.. Так вы приехали сегодня?

— Сегодня поутру и, признательно вам скажу, зело утомлен моим вояжем; но, несмотря на фатигу **, которую чувствую с дороги, не хотел пропустить сегодняшней ассамблеи, в том чаянии, что, может быть, увижу здесь персону, которую я желал бы видеть не только вседневно, но даже всечасно.

— Что ж, эта персона здесь?

— О, всеконечно здесь! — подхватил Симский,— иначе я не остался бы ни минуты.

---

* Здесь: танцевальные па (от *нем.* Kunststück).
** усталость (от *фр.* fatigue).

— Почему же? Разве вам здесь не весело? Вы, кажется, любите танцевать.

— Только не со всеми, Ольга Дмитриевна.

— А с этой персоною? — спросила, улыбаясь, Запольская.

— О, это для меня такая великая сатисфакция,— отвечал Симский, не смея взглянуть на Ольгу Дмитриевну,— что когда я нахожусь вместе с сей персоною на ассамблее, то уж никак не могу резолдоваться * поднять другую даму.

— Так как же вы со мною танцевали? — спросила с самым простодушным видом Ольга Дмитриевна.

Этот весьма естественный вопрос до того смутил Симского, что он совершенно растерялся. Вместо того чтобы отвечать что-нибудь Ольге Дмитриевне, он начал рассматривать огромный эстамп, который висел на стене, и проговорил, заикаясь:

— Ах, какой прекрасный купфер-штык **!.. Мне кажется, это изображение полтавской виктории... Не правда ли, Ольга Дмитриевна?..

— Право, не знаю,— отвечала Запольская с приметным замешательством.

Симский покраснел; глядя на него, Ольга Дмитриевна также вспыхнула, и они оба замолчали.

Не смейтесь над моим Симским, любезные читательницы: ведь то, что я вам рассказываю, происходило в 1711 году, то есть без малого полтораста лет тому назад; тогда наши молодые люди, не исключая и гвардейских офицеров, вовсе не умели изъясняться в любви и только осмеливались иногда намекать об этом обиняками, сторонкою, да и то с большой осторожностию. Чтоб отвечать на вопрос Ольги Дмитриевны, Симскому надобно было признаться, что она-то именно и есть та самая персона, для которой он приехал на ассамблею, то есть, другими словами, что он ее любит и желает быть ее мужем, а это было бы неслыханным нарушением всех приличий. В старину и круглый сирота не мог предлагать своей руки иначе, как через посредников, а человек с родством, дозволивший себе такое бесчинство, восстановил бы против себя не только всех родных и двоюродных дядей и тетушек, но даже и всех замужних сестриц до седьмого колена. Я уж не говорю

---

* решиться (от *нем.* resolvieren).

** гравюра на меди (от *нем.* Kupferstik).

о самой девице, которая, вероятно, сгорела бы от стыда и почла бы себя очень обиженною, если бы молодой человек сказал ей прямо в глаза, что хочет на ней жениться.

Вот наконец альманд кончился, и так благополучно, что не было никакой надобности посылать за костоправом. Вся толпа рассеялась, и к Симскому подошла Аграфена Петровна Ханыкова.

— Что я вижу? — вскричала она,— это вы, Василий Михайлович?.. Опять в Москве?

— Знаете ли, тетушка,— прервала Ольга Дмитриевна,— Василий Михайлович был вчера у дядюшки Максима Петровича.

— У братца! — проговорила с приметным беспокойством Ханыкова,— что ж, вы ему сказали, что познакомились со мною на ассамблее у Гутфеля?

— О нет! Я только сегодня узнал, что Максим Петрович вам родня.

— Вот что!.. Вы не слышали от него, сбирается он в Москву или нет?

— Максим Петрович не изволил ничего об этом говорить, он все расспрашивал меня о Санкт-Петербурге...

— И, верно, очень с вами спорил?

— Да, у нас были небольшие диспуты. Кажется, ваш братец не очень жалует Санкт-Петербург?

— Ох, уж не говорите!.. Батюшка братец человек очень умный и почтенный, но такой старовер, что не приведи господи!.. Вы долго у нас пробудете?

— Не больше одной недели.

— Только-то!.. Хорошо еще, что вы приехали к масленице, по крайней мере повеселитесь, покатаетесь... время будет прекрасное.

— А почему вы изволите думать, что погода будет хороша?

— Это напечатано в календаре, в прогностике * двенадцати месяцев.

— Прошу экскузовать меня! Не очень я верю сему прогностику, государыня моя!.. В этом же календаре напечатано, что в нынешнем месяце конъюкции ** планет показуют добрую гармонию между всеми потентатами, однако ж войска наши находятся в походе, и, ве-

---

* прогнозе (от *греч.* prognōstikē).

** сочетание (от *фр.* conjonction).

роятно, несмотря на сию конъюкцию, мы побываем в гостях у турского салтана.

— Что вы говорите!.. Война с турком? А мой Степан Герасимович в Азове... Господи боже мой!..

— Да вы не извольте предаваться напрасной турбации,— прервал Симский,— Азов нечто другое: ведь это зело крепкая фортеция, его взять не легко. И я мыслю так, что скорее мы будем в Царьграде, чем турки в Азове. Будьте благонадежны, Аграфена Петровна, этот прогностик повернее того, который напечатан в календаре.

— Ах, дай-то господи!.. А, вот опять музыка заиграла?.. Кажется, кондратанец?

Тут подвернулся к Аграфене Петровне неутомимый Франц Карлович Цвибах и в самых отборных выражениях пригласил ее стать вместе с ним в первую пару. Один русский щеголь в бархатном кафтане разлетелся было к Ольге Дмитриевне, но Симский предупредил его и стал с нею во вторую пару.

— Опять вместе! — прошептал Ардалион Михайлович Обиняков, глядя на Ольгу Дмитриевну и Симского.— Уж, видно, у них все дело слажено... Вон и тетушка пошла выплясывать с аптекарем!.. Да она-то, голубушка, из чего бьется?.. Ведь от живого мужа нельзя выйти замуж и за немца... Ну,— промолвил Обиняков, потирая руки,— будет мне что порассказать Лаврентию Никитичу.

После этого танца Аграфена Петровна, у которой разболелась голова, отправилась домой вместе со своей племянницей, а вслед за ними уехал и Симский. Это последнее обстоятельство не укрылось также от бдительных взоров Ардалиона Михайловича, который, впрочем, остался до самого конца ассамблеи, ради того, что у Адама Фомича Гутфеля эти вечеринки оканчивались всегда сытным и хорошим ужином.

ГЛАВА VI

В Земляном городе, между Тверской улицей и Никитскою, на самом *тупике,* то есть в конце глухого переулка, стоял высокий брусяной дом с теремом и *рундуком,* или, по-нынешнему, террасою, над которою подымалась остроконечная кровля, подпертая двумя выделанными из толстых бревен огромными балясинами. Этот дом, принадлежащий думному дворянину Лаврен-

тию Никитичу Рокотову, стоял посреди обширного двора, или, вернее сказать, огороженного поля, на котором во всяком немецком городе поместилось бы по крайней мере две площади, а при нужде и несколько улиц с переулками. Чтоб добраться обыкновенным ходом до хозяина дома, надобно было непременно пройти через запачканную переднюю, в которой оборванные холопы днем сидели на лавках, а ночью спали где ни попало: одни на конике, а другие вповалку на грязном полу. По праву рассказчика я могу вас избавить от этого, любезные читатели, и попрошу вас перенестись вместе со мною прямо в гостиную. Эту комнату можно было бы назвать, сравнительно с другими, довольно опрятною, если б в ней, хотя изредка, промывали стекла в окнах и хотя раз в году обметали по углам паутину, которая со дня кончины супруги Лаврентия Никитича, то есть ровно три года сряду, оставалась неприкосновенною. Хозяин дома, Лаврентий Никитич Рокотов, бодрый старик лет шестидесяти, среднего роста, дородный, с длинной бородою, крутым широким лбом, навислыми бровями и угрюмым лицом, сидел за сытным завтраком, на котором не было ни гданской водки, ни сыру, ни голландских сельдей, ни немецких колбас, а была просто добрая настойка, жирный пирог с визигою, вяленая астраханская шемая, икра, балык и целые пирамиды разнородных блинов. С ним сидел Ардалион Михайлович Обиняков, тот самый худощавый барин, который на ассамблее Адама Фомича Гутфеля подсматривал исподтишка за Симским и Ольгою Дмитриевною.

— Ну что, Ардалион Михайлович,— сказал хозяин,— ведь пирог-то на славу испечен.

— Да, Лаврентий Никитич, пирог диковинный!

— Не прикажешь ли еще?

— Всенижайше благодарю!

— Так милости просим блинков!.. Ну что, каковы?

— У, батюшки!.. Что это... так во рту и тают!

— Право?.. Да, подлинно хороши!.. Ай да Аксинья! истинно скажу, такой отличной стряпухи во всей Москве не найдешь... Изволь-ка вот этих, с припекою... Ну, что?

— Преизрядные!..

— В самом деле? Пожалуй-ка сюда... Да, недурны, а все не то, что мои любимые... Вот откушай-ка этих, со снетками.

— Еще лучше!.. Пухлые, поджаристые!.. Вот это

блины!.. Страшно есть, Лаврентий Никитич, того и гляди, язык проглотишь!

— Не бойся, любезный, не проглотишь. Кушай на здоровье, кушай!.. И я тебе помогу... Да что ж ты, Ардалион Михайлович, с одним блином не сладишь?.. Эх, брат, с тех пор, как ты нарядился немцем, так и кушать-то стал по-немецки.

— Вы все еще, батюшка, изволите меня упрекать, зачем я по-немецки одеваюсь... Да, помилуйте, Лаврентий Никитич! уж я вам докладывал: что ж мне было делать? Неволя скачет, неволя плачет, неволя песенки поет. Я человек служебный, состою под властию, а, вы знаете, всем магистратским указано ходить в немецких платьях. Вот товарищ мой, Степан Иванович Спешнев, стал было отнекиваться, так его тот же час на порог да в шею.

— Так что ж?.. Не служи!..

— Не служи! вам хорошо, батюшка, вы проживете и отцовским благословением. Ведь покойник-то счету не знал своим отчинам, а я человек бедный... жена, дети...

— Нет, любезный, я на твоем месте лучше бы с сумою пошел, стал бы питаться христовым именем... Ну, да и то сказать, человек на человека не приходит... Э, да что ж ты, любезный, перестал кушать?

— Нижайше благодарю, Лаврентий Никитич, будет!

— Так-то?.. Что ж это, первый блин да комом?

— Какой первый — помилуйте! Вот уж за полдюжину перешло.

— Эка важность!.. Кушай, любезный, кушай!

— Никоим родом не могу, Лаврентий Никитич, душа не принимает.

— Вот то-то и есть, братец, набаловался ты у этих немцев, ведь они, чай, гостей-то своих счетным зерном кормят. Вот, примером, вчера на бесовском сходбище, у этого собачьего сына, Гутфеля, уж верно также про гостей ужин был; чай, по ломтику протухлого сыра да по селедке на брата — кушай на здоровье! А что, Ардалион Михайлович, как ты свой ломтик сыру скушал, так другого и не попросил?

— Кто? я-с? Помилуйте, стану я эту немецкую дрянь есть! Я и на вечеринке-то у него был ради того только, чтоб пересказать вам...

— Да, да!.. Ну, что эта дура, Ханыкова, была там со своею племянницей?

— Была, Лаврентий Никитич.
— Срамница!.. Что ж, они плясали?
— Плясали, да еще как, батюшка: всех немок за пояс заткнули!
— Бесстыдницы этакие!
— Лишь только вошли, вся молодежь так к ним гурьбой и бросилась — и немцы и русские; а они с ними и пошли, тара-бара, — и так и этак, и по-немецки...
— Как! неужели по-немецки?
— Да, сударь! Я сам слышал.
— Вот до чего дошли!
— А пуще племянница — так и режет!
— Ну, пора дяде приехать!.. Я к нему писал. С сестрой Максиму Петровичу делать нечего — она отрезанный ломоть, а племянницу прибрать к рукам не мешает, ведь он ей вместо отца родного... Что, чай, молодежь-то около них очень увивалась?
— Да, сударь. За Аграфеной Петровною Ханыковой сильно ухаживал какой-то аптекарь, немец, а за Ольгой Дмитриевной Запольскою вот этот офицерик, что месяца два тому назад...
— Так он опять сюда приехал?
— Видно, что так. Они все вместе изволили выплясывать. Сначала пошли минавею... Уж было чего посмотреть — смех, да и только!
— А что?
— Да как же, батюшка, чем бы им думать о своей пляске, а они друг на друга смотрят. Надо поклониться направо, а они кланяются налево. Она то вспыхнет, то побледнеет, а он, пострел этакий, глядит на нее, да так глазами и ест!
— Экий срам, экий срам!
— А там, как Аграфена Петровна собралась домой, так и он за ними следом, словно в одной колымаге приехали.
— Узнал ли ты, как зовут этого подлипалу?
— Спрашивал, сударь; говорят, какой-то... ну вот и позабыл! Помню только, что роду хорошего.
— Да ведь нынче не узнаешь, любезный. Ты отпустишь холопа на волю, а он твоим прозвищем станет называться. Теперь это нипочем, — как себе хочешь, так и прозывайся, истинно вавилонское столпотворение — смешение языков!
— Да, сударь, да, все перековеркано, Лаврентий Никитич, — продолжал Обиняков, смотря в окно, — к вам

еще гость приехал... кажись, Герасим Николаевич Шетнев.

— Да, точно, это он... Эй, Ванька, вели подать свежих блинов!.. Я не ждал его сегодня... Видно, есть что-нибудь новенькое...

— Опять какая-нибудь немецкая выдумка, батюшка.

— А вот посмотрим.

В комнату вошел барин лет пятидесяти, в шелковой ферязи, из-за которой подымался вышитый золотом высокий козырь, то есть стоячий воротник кафтана, также шелкового. Герасим Николаевич Шетнев принадлежал к числу *недовольных* тогдашнего времени; он был человек не глупый, большой краснобай и отъявленный ненавистник всяких нововведений и перемен, сближающих православную Русь с этим окаянным Западом. Шетнев называл все эти преобразования немецким духом, и никто лучше его не доказывал, что этот немецкий дух есть дух антихристов. Он не сказал бы Петру Алексеевичу, как известный Кикин: «Ты говоришь, государь, что я умен, да за то-то я тебя и не люблю: ум любит простор, а при тебе ему тесно». Нет! Шетнев любил, по его словам, резать правду, да только втихомолку, в кругу искренних своих друзей; но зато уж когда он сидел с ними в огромном покое с запертыми дверьми, за версту от передней, то надобно было его послушать. О, как доставалось тогда всем: и ближним боярам, и немецким генералам, и этим выскочкам-временщикам, и самому старшому, которого, впрочем, он в этих случаях никогда не называл по имени.

— Милости просим, Герасим Николаевич! — сказал хозяин, идя навстречу к своему гостю.— Не ждал я тебя сегодня поутру.

— Здравствуйте, Лаврентий Никитич, здравствуйте! — промолвил Шетнев, садясь.— Фу, батюшки, устал!

— Устал? Отчего?

— Как отчего? Уж я сегодня ездил, ездил!.. Сейчас был на Крутицах у Ивана Ильича Чуфаровского. Я застал у него всех наших: князя Андрея Юрьевича Шелешпанского, Абрама Васильевича Воропанова, князя Алексея Трофимовича Хворостинина, Софрона Саввича Возницына, Петрушу Сорокоумова... Поговорили, потолковали... Что, брат Лаврентий Никитич: час от часу не легче!

— А что?

— Да вот что: ты знаешь, что годов шесть тому назад

наш батюшка — дай бог ему доброго здоровья! — изволил обложить податью все дворянские бороды?

— Как не знать! Ведь и с меня, старика, берут по шестидесяти рублей в год за то, что я, православный, не хочу на поганого немца походить... Нечего сказать, дай, господи, ему доброго здоровья!

— А вот Софрон Саввич Возницын говорит, что слышал от верных людей, будто б вместо шестидесяти станут брать с каждой бороды по сту рублей.

— Ну, это еще что! То не беда, коли на деньгу пошла: пожалуй, бери себе!..

— Бери себе! Хорошо, кому вмоготу; а вот Петруша Сорокоумов так и завыл.

— Скажи ему от меня: не горюй, дескать: не без добрых людей — помогут!

— И князь Шелешпанский больно переполошился.

— Князь Шелешпанский? Да он богаче меня.

— Богат, да не тороват. Ну, вот припомни мое слово; коли Возницын сказал правду, так этот скряга отмахнет себе бороду.

— Нет, любезный, хоть двести рублей наложи, так он и тогда сберет с крестьян рубликов триста прибавочного оброка, двести отдаст в казну, сто положит себе в карман, а уж бороды ни за что не обреет,— не такой человек. Я сегодня звал его к себе на блины... Что, он будет или нет?

— Будет. Он хотел было ехать вместе со мною, да Чуфаровский также масленицу справляет, а ты знаешь князя: как он наляжет на блины, так ты с ним что хочешь, хоть в дубье прими,— ни за что не отстанет.

— Да, русский человек,— любит покушать.

— Я ему говорю: «Полно, князь Андрей, что ты на блины-то навалился!» А он и ухом не ведет. «Пойдем, говорю, князь, пора!» А он молчит да убирает за обе щеки. Ну, нечего сказать, здоров есть! Как я стал прощаться с хозяином, так он между двух блинов пробормотал мне вдогонку: «Скажи, дескать, Лаврентию Никитичу, что я безотменно буду...» Ах, батюшки! Эка память, подумаешь, совсем забыл! Как я к тебе ехал, так знаешь ли, кого обогнал?.. Максима Петровича Прокудина. Тащится нога за ногу в дорожной повозке, видно, прямо из своей серпуховской отчины.

— Слава тебе господи, давно бы пора приехать!

— А что?

— Так, любезный, домашние дела. Ну что, нет ли у тебя еще чего-нибудь новенького?

— Есть, Лаврентий Никитич, есть!.. Да вот погоди... Не Прокудин ли это въехал во двор?

— Он и есть! — вскричал хозяин, вставая.

Через полминуты вошел в гостиную Максим Петрович Прокудин, в дверях встретил его с низким поклоном Обиняков, хозяин принял с распростертыми объятиями, Шетнев также с ним облобызался. Когда, после обыкновенных приветствий и вопросов о здоровье, все опять уселись, двери снова распахнулись настежь, и в комнату вошел князь Шелешпанский. Этот сиятельный барин, ведущий свой род от удельных князей Белозерских, заслуживает особенного описания.

За несколько месяцев до смерти своего родителя князь Андрей Юрьевич Шелешпанский поступил из недорослей в московское *жилецкое* войско *новиком.* Ему было тогда с небольшим двадцать пять лет. Похоронив своего отца, он ударил челом об увольнении его на покой ради всегдашней хворости, многоразличных недугов и крайнего телесного бессилия. Князь Андрей Юрьевич обыкновенно жил в своей коломенской отчине и только изредка приезжал в Москву повидаться с родными, из числа которых был и Лаврентий Никитич Рокотов. Этого отставного новика можно было назвать видным и красивым мужчиною; он был роста высокого, широк в плечах и очень дороден: румяное, полное лицо его, опушенное небольшою окладистой бородкою, казалось, также издалека, довольно благообразным; но зато в круглых огромных глазах его, похожих на слуховые окна, выражалось какое-то тупоумие, которое, однако ж, он не всегда оправдывал своими поступками и делами. Пошлый дурак во всем, он был не только не глуп, но даже очень смышлен, когда дело шло о том, чтоб дешево купить или дорого продать. Князь Шелешпанский был известный лошадиный охотник, или, вернее сказать, барышник, то есть он любил не лошадей, а лошадиный торг так, как любят его и понимают все дюжинные барышники и цыгане. У него никогда не бывало заветного коня. Он беспрестанно покупал, продавал, а всего чаще менялся лошадьми, и, надобно отдать ему справедливость, он был мастер этого дела. Никто не мог бы выгоднее его сбыть с рук испорченной лошади или променять какую-нибудь запаленную разбитую клячу на доброго и здорового коня. Князь Андрей Юрьевич был

очень богат и в то же время чрезвычайно скуп. Живя в деревне, он разъезжал по своим соседям, весьма редко угощал их у себя, а остальное время обедал и ужинал по очереди у своих крестьян. Однажды забрались к нему в кладовую как-то воры и украли тридцать окороков ветчины; это ужасное происшествие до того поразило князя Шелешпанского, что с тех пор, рассказывая о каком-нибудь случае, он всегда определял время покражею своей ветчины, то есть вместо того, чтоб сказать: «Это случилось тогда-то или в таком-то году», он обыкновенно говаривал, что это было или до покражи, или по покраже его ветчины.

— А, князь Андрей! здравствуй, любезный! — сказал Рокотов, обнимая своего гостя.— Хорош молодец,— обещался ко мне на блины, а поехал к Чуфаровскому!

— Ничего, Лаврентий Никитич, ничего,— проревел князь Шелешпанский,— нам не впервые в одно утро на двух блинах побывать, мы еще, благодаря бога, постоим за себя.

— Любезный друг,— продолжал Рокотов, подводя Шелешпанского к Максиму Петровичу,— прошу познакомиться: приятель мой и родственник, князь Андрей Юрьевич Шелешпанский.

— Очень рад, батюшка, познакомиться с тобою,— сказал Прокудин.

— Просим любить и жаловать!..— пробормотал Шелешпанский.— Имя и отчества вашего не знаю.

— Окольничий Максим Петрович Прокудин,— прервал хозяин.

— Прокудин?.. Слыхали, батюшка, слыхали!

— Ну что ж, дорогие гости,— промолвил Рокотов,— блины горячие на столе, милости просим!

— Спасибо, Лаврентий Никитич,— отвечал Прокудин,— я уж поел.

— А ты, князь Андрей?

— Пожалуйте, пожалуйте!.. Я от этого никогда не отказываюсь.

Шелешпанский выпил добрую чарку настойки, присел к столу и начал действовать отличным образом. Пока он справлялся с блинами, Лаврентий Никитич усадил своих гостей, и между ними начался следующий разговор.

Прокудин: Ну что, друзья сердечные, что у вас новенького?

Рокотов: Мало ли что? С тех пор, как государь Петр

Алексеевич изволил пожаловать в Москву, у нас дня не пройдет без разных выдумок. Вот Герасим Николаевич хотел мне что-то сообщить...

Шетнев: Да, новая новинка, и вещь не шуточная. Слыхал ли ты, Лаврентий Никитич, что такое сенат?

Рокотов: Сенат?.. Нет, не слыхал.

Прокудин: Сенат?.. Постойте-ка!.. Ну да, я читал в книге о языческих царствах, что в древнем Риме был сенат, сиречь верховное судилище.

Шетнев: Так прошу знать и ведать, что сегодня учрежден в Москве правительствующий сенат.

Рокотов: Правительствующий, то есть который станет всем править?

Шетнев: Да, он будет и разрядные дела ведать, судить всякие тяжбы выше всех других приказов, и царскую волю объявлять, и указы рассылать...

Рокотов: Да это ни дать ни взять боярская дума...

Шетнев: Нет, любезный, сенат.

Рокотов: Да ведь в этом сенате будут заседать бояре?

Шетнев: Нет, Лаврентий Никитич, сенаторы.

Рокотов: А из кого же этих сенаторов понаделают?

Шетнев: Вестимо дело: из бояр.

Рокотов: Так и выходит по-моему, что боярская дума, что этот сенат...

Шетнев: Нет, любезный, разница превеликая: боярская-то дума, изволишь видеть, по-нашему — по-русски, а сенат — по-иноземному.

Рокотов: Что ж, от этого лучше, что ль, будет?

Прокудин: А как же! Посмотрите, как теперь дела-то пойдут.

Шетнев: Думных дьяков уж не будет, а вместо них будут обер-секретари.

Прокудин: Вот оно что! Слышишь, Лаврентий Никитич: вместо думных дьяков будут... как бишь их?

Шетнев: Обер-секретари.

Рокотов: Так что ж? Крапивное семя как ни называй...

Прокудин: Что ты, что ты, помилуй! Коли думного дьяка будут называть по-немецки, так уж к нему, брат, с приносом не ходи!

Рокотов: А почему ж нет?

Прокудин: Как это можно! Станет он взятки брать — сохрани господи!.. Разве ты не знаешь: любого мошенника Ваньку назови Иоганном — тотчас уймется воровать!

Рокотов: Ах ты, господи, господи!.. Видно, нечего делать... А знаешь ли ты, Герасим Николаевич, кого в этот сенат посадили?

Шетнев (вынимая из-за пазухи исписанный лист бумаги): Как же! Вот у меня и список есть.

Рокотов: Чай, все заморская братья.

Шетнев: Нет, имена-то русские.

Прокудин: Читай, читай!

Шетнев (читая): Во-первых: граф Мусин-Пушкин...

Прокудин: Уж коли граф, так какой русский!

Рокотов: Кто, Пушкин?.. Хуже всякого немца.

Обиняков: А спесь-то, сударь, какая... Фу ты, батюшки! С тех пор как он изволил побывать в Неметчине, так и приступу к нему нет.

Рокотов: Куда!.. Он теперь с нашим братом и говорить не захочет. За морем побывал, умен стал! Ведь там народ все ученый; от последнего мужика до знатного барина все говорят по-немецкому. Там все лучше нашего: и скот, и люди, и домá... Что домá! Там, дескать, и звезды-то светят ярче нашего русского солнышка.

Прокудин: Читай, Герасим Николаевич, читай!

Шетнев (читая): Тихон Стрешнев.

Обиняков: Задушевный друг Адама Фомича Гутфеля.

Рокотов: Свой своему поневоле брат.

Шетнев (читая): Князь Григорий Волконский, Михайла Долгорукий...

Прокудин: Князь Михайла Долгорукий?.. Первый из всех бояр обрил себе бороду.

Шетнев (читая): Григорий Племянников...

Рокотов: Хорош молодец!.. С немецким пастором хлеб и соль водит!

Шетнев (читая): Князь Григорий Волконский, Михайла Самарин и Василий Опухтин.

Рокотов: Василий Опухтин?.. Какой это Опухтин?

Шетнев: И я его не знаю.

Князь Шелешпанский (обтираясь салфеткою): Василий Опухтин?.. Мы с ним люди знакомые.

Рокотов: Ну что он за человек такой?

Князь Шелешпанский: Мужик добрый... плоховат немного. Вот тому годов пять... или нет!.. это уж было по покраже моей ветчины... года три или четыре... купил он у меня вороного жеребчика, статей не отличных и передком слабенек... у меня в возу ходил, а ему про-

дал за персидского аргамака. Уж он им любовался, любовался!.. Такой простофиля, что и сказать нельзя!

Обиняков: Вот, подумаешь, кажись, чего лучше: вы, Максим Петрович, изволили заседать в старину в боярской думе; вы, батюшка Лаврентий Никитич, также; так чем бы хватать на улице и встречного и поперечного...

Рокотов: И, полно, Ардалион Михайлович, куда нам в сенаторы!

Шетнев: Правда, друг сердечный, правда! *(Встает.)* Ну, прощай, Лаврентий Никитич!..

Рокотов: Куда ты спешишь?

Шетнев: Да надобно, любезный, еще местах в трех побывать. Теперь еду на Берсеньевку, к Матвею Сидоровичу Баклановскому.

Обиняков: Так сделайте милость, Герасим Николаевич, довезите меня до дому, вам по дороге.

Шетнев: Изволь, братец, довезу. До свиданья, друг сердечный!.. Милости просим к нам, Максим Петрович! *(Шетнев и Обиняков уходят.)*

Князь Шелешпанский (вставая): И мне пора.

Рокотов: А ты, князь, куда?

Князь Шелешпанский: К Григорию Фаддеичу Таптыкову, он звал меня сегодня на блины.

Рокотов: Ну, князь, видно, у тебя жернова-то хорошо мелют. В одно утро на трех блинах!

Князь Шелешпанский: Да это что, Лаврентий Никитич! Так ли я, бывало, едал в старину. Вот однажды... давно уж, этак еще годов шесть до покражи моей ветчины, у князя Гагина, на завтраке, за спором дело стало; говорят мне: «Не съешь, дескать, князь, за один прием две дюжины блинов с припекою», а я говорю: съем! Вот подали блины, я присел, сначала полегоньку, а там как принялся вплотную,— пошел да пошел!.. Как теперь помню — так за ушми и пищит. Съел дюжину, съел другую,— кричу: «Подавай третью!» Что ж, сударь, как сели мы после обедать, так я как ни в чем не бывало! Полгуся съел, да ни одной похлебки не пропустил, а их было до восьми!.. Нет, теперь уж не то!

Рокотов: И, князь! что бога гневить, хорошо и теперь!

Князь Шелешпанский: Счастливо оставаться, Лаврентий Никитич!.. Прощенья просим, батюшка Максим Петрович! Прошу не оставлять меня вашей милостью!.. *(Целуется с Рокотовым и Прокудиным; потом, низко поклонясь обоим, уходит.)*

ГЛАВА VII

— Уехали! — сказал Прокудин.— Теперь, Лаврентий Никитич, нам можно поговорить с тобой на просторе. Ну, любезный, получил я от тебя грамотку... И теперь очнуться не могу!.. Ты пишешь ко мне...

— Сущую правду, друг сердечный: Аграфена Петровна сгубит свою племянницу. Вот и вчера они были на ассамблее у этого колбасника Гутфеля, плясали с немцами, говорили по-немецкому и разные другие неподобные дела чинили. Около твоей сестрицы увивался какой-то аптекарь-немец, а с племянницей только что не целовался тот же самый офицерик, о котором я тебе писал. Эй, Максим Петрович, послушайся меня, увези отсюда племянницу!

— Я затем и приехал. Да что это с сестрой-то сделалось?

— Что сделалось? Вестимо что: плясать-то веселее, чем сидеть дома за рукодельем.

— Ну, так ли она была воспитана в отцовском дому!

— И, любезный, стоит только начать, а уж там лукавый поможет! Да ты с нею виделся или нет?

— Нет еще; я прямо к тебе взъехал.

— И хорошо сделал, Максим Петрович.

— Конечно, ей очень будет прискорбно, что я не хотел у ней остановиться...

— А бог весть! Ты для нее теперь хуже всякого пугала. «Вот, дескать, бука приехал какой! При нем нельзя будет и повеселиться!» Да и ты, Максим Петрович, не долго бы у нее нагостил: к ней шляются всякие немцы, а ведь ты их не очень жалуешь. И что тебе до сестры? Она замужем, сама себе госпожа... Ты подумай-ка лучше о племяннице.

— Думаю, Лаврентий Никитич, думаю, да не знаю, что придумать. Вот кабы она была девочка лет двенадцати, так увез бы ее к себе в деревню, да и концы в воду; а ведь Ольга Дмитриевна уж невеста, отведала волюшки, так с ней теперь и не сладишь. И то сказать: я человек вдовый, одинокий, ей не с кем будет у меня словечка перемолвить, с тоски умрет!.. Вот кабы бог послал женишка...

— А что ты думаешь! Послушай-ка, Максим Петрович, тебе какого надобно жениха?

— Известное дело: я хочу, чтоб он был ровня моей племяннице.

— Сиречь роду хорошего, человек добрый, не старый, с достатком, а пуще всего наш брат русский.

— Ну да!

— Так изволь, друг сердечный, я тебе жениха поставлю. Он уж давно ищет себе невесты и меня об этом просил.

— А кто он таков?

— Ты сейчас его видел: князь Андрей Юрьевич Шелешпанский. Ведь он еще не женат.

Прокудин покачал головою.

— А что,— продолжал Рокотов,— чем же он худ? Собою молодец...

— Да,— молвил Максим Петрович,— что и говорить, высок и дороден.

— Природный князь...

— Что князь! Этим нас, любезный, не удивишь. Таких дробных князей, как он, у нас на Руси пудовками меряют.

— Человек богатый.

— Вот это не худо... Конечно, и племянница моя невеста богатая: я за нею укреплю все мое именье, и отцовского-то у нее довольно...

— Тем лучше, любезный, подавай нам! Маслом каши не испортишь.

— А что, обычаем-то он каков?

— Сущий ягненок! Малый тихий, рассудительный; ему еще и сорока годов нет, а такой степенный, что нашему брату старику под стать будет. Любит держаться старины, немцев терпеть не может...

— Вот что хорошо, то хорошо! А все, любезный...

— Что все?.. Уж не браковать ли хочешь? Помилуй, Максим Петрович!.. Коли князь Андрей не жених, так какого же тебе жениха надобно?

— Кто говорит, жених хороший, в поре, собой не дурен, да вот тут-то,— промолвил Прокудин, указывая на свою голову,— кажись, у него ветерок посвистывает.

— А что? по-твоему, глуп? Нет, любезный, ошибаешься! Конечно, он парень не речистый и смотрит увальнем, а попытайся-ка его провести — трех дней не проживешь. Да, Максим Петрович, князь Андрей не краснобай, не фертик какой-нибудь, а человек дельный. Говорят, будто бы скупенек немного, да это не беда: скупость не глупость. Поглядишь, у другого из отцов-

ских вотчин ни кола ни двора не осталось, а у него из двух тысяч родовых душ выросло четыре...

— Четыре тысячи душ?

— А поживет, так и восемь будет.

— Ну, конечно, такого женишка охаять нельзя, ты же его хвалишь...

— Так что ж? по рукам, что ль?

— Я не прочь от этого, Лаврентий Никитич, и если он приглянется моей племяннице...

— Приглянется?.. Вот еще!.. Да ей-то что до этого? Разве у нас на Руси невесты сами женихов себе выбирают? Как мы это дело меж собой уладим, так ты ей скажешь: «Племянница, я выдаю тебя замуж за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского, мы уж с ним по рукам ударили». Вот и все!

— Конечно, любезный, конечно! У нас всегда так важивалось, и жених вовсе не знает, на ком женится, и невеста не ведает, за кого выходит замуж... Да полно, хорошо ли это?..

— Что, что?.. Хорошо ли то, чему нас учили отцы и деды?.. Максим Петрович, о своем ли ты уме?.. И как язык у тебя повернулся говорить такие речи?..

— Да ты не гневайся, а выслушай. И ты, чай, не купишь за глаза деревни? Дай, дескать, посмотрю сам, каковы угодья, то, другое...

— Вот куда тебя бросило!.. Да разве это то? Разве мужа-то покупают?

— Оно так! Да скажи-ка мне: женился ли бы на моей племяннице твой князь Шелешпанский, кабы за ней не было души христианской?

— Ну, вот еще!.. Да и ты не выдал бы ее за какого-нибудь нищего, а коли он богат и она с достатком, так о чем и толковать?

— Эх, Лаврентий Никитич, насмотрелся я на моем веку! Не приведи господи жить с немилым человеком! Ведь век-то прожить — не поле перейти.

— А что ж, по-твоему, лучше б было жениха-то с невестою познакомить да спросить у них, любы ли они друг другу?

— А почему бы и не так?

— Ба, ба, ба!.. Максим Петрович, что это с тобой сделалось?.. Где ты набрался этого немецкого духа?

— Ну, вот уж и немецкого духа!.. Да я не знаю, как немцы-то и женятся, а говорю так по своему рассуждению.

— Полно, Максим Петрович, не хитри! Я вижу, брат, чего ты хочешь. Тебе захотелось из окольничих-то в сенаторы.

— Нет, Лаврентий Никитич, не обижай!

— Что не обижай! Не ты первый, не ты последний... Делать нечего, служи, любезный, служи двум господам!

— Эх, Лаврентий Никитич, ну как тебе не совестно? Ты знаешь, что я крепко держусь наших старинных обычаев, а это так на мысль мне пришло. «Что, дескать, это такое? И приятелем не будешь человеку, если прежде с ним не познакомишься; а ведь муж-то и жена не то что приятели: коли они не живут душа в душу, так житье-то их не больно завидное».

— Да неужели, Максим Петрович, по-твоему, коли детина личмянный приглянется девке, так он ей и муж?

— Кто говорит! коли девица будет на одну мужскую красоту зариться...

— А ты думаешь на что? Станет молодая девка толковать о том, о чем мы теперь с тобой толкуем? Ей что за дело, есть ли у суженого достаток, хорошего ли он роду, каков обычаем,— был бы только молодец собою. У них только и речей: «Хорош, дескать, и пригож — по сердцу пришел!» А там, глядишь, пригожий-то муж хуже черта будет. Да вот, примером сказать, дай волю своей племяннице, так я голову мою прозакладаю, что она выйдет замуж за этого офицерика, который по вечеринкам-то около нее изволит ухаживать. А что он за человек такой? кто его знает?.. Чай, какая-нибудь голь беспоместная, а может статься, и холопский сын. Ведь нынче не узнаешь, и коли отдаешь в солдаты парня попроворнее, так кланяйся ему в пояс: «Будешь, дескать, батюшка, во времени, о нас, грешных, вспомяни!»

— Нет, Лаврентий Никитич! — прервал с жаром Прокудин,— я еще из ума не выжил, и хоть Ольга не дочь моя родная, а из послушания моего не выступит. Пока я жив, не бывать ей замужем за каким-нибудь прындиком в кургузом кафтанишке да с бритой бородою. Я хочу жить с племянником в ладу, а с заморским щеголем и полунемцем у меня никогда ладу не будет.

— Так-то говоришь, любезный, а все до поры до времени. Ведь этот молодчик, говорят, в большой милости у Александра Даниловича Меншикова, а может статься, и сам государь его жалует.

— Этим, Лаврентий Никитич, меня не прельстишь.

— Знаю, друг сердечный, знаю! Да если сам госу-

дарь Петр Алексеевич возьмется за это дело? Ведь он уж много этаких бобылей переженил.

— А что ты думаешь?.. Чего доброго!.. Мне сказывали, что он за крестника своего, какого-то черномазого арапа, сиречь мурина, высватал знатную и богатую невесту.

— Вот то-то же! Ну, коли он сам, наш батюшка, пожалует к тебе сватом?..

— Сохрани господи!

— Что ты тогда скажешь, а?..

— Вестимо что: его царская воля!

— Вот то-то и есть. Эй, послушайся меня, выдавай скорей племянницу замуж! У этих гвардейских офицериков, а пуще у царских денщиков, чутье хорошее,— как раз проведают о богатой невесте, да там и бух царю в ноги, а ему-то, нашему батюшке, то и с руки. Поди-ка, жалуй всех за службу поместьями!.. А тут что? Сосватал да женил на богатой девице — вот тебе, голубчик, и поместье!

— Правда, правда, любезный! дело статочное!..

— Да и где ты найдешь лучше жениха для твоей Ольги Дмитриевны? Князь Шелешпанский роду знаменитого, богат, парень добрый, он ее на руках станет носить, да и к тому ж один как перст: у племянницы твоей ни свекра, ни свекрови не будет, кланяться некому; лишь только от венца, так и хозяйка в дому — барыня!..

— Так, так!

— Князь Андрей станет почитать тебя как отца родного. Ступай-ка, любезный, породнись с каким-нибудь нынешним молодчиком, так он тебе и слова не даст вымолвить; а этот зятек умничать не будет: что ты скажешь, то и свято.

Прокудин призадумался.

— Ну что, Максим Петрович,— продолжал Рокотов, помолчав несколько времени,— по рукам, что ль?

— По мне пожалуй! — отвечал Прокудин.— Ты так расхваливаешь своего жениха... а я тебе, друг сердечный, верю. Неужли ты захочешь погубить мою племянницу?

— Сохрани господи!

— Вот то-то и есть!.. Я боюсь только, чтоб она не заартачилась.

— Вестимо дело, если ты скажешь ей об этом теперь. Здесь она изволит забавляться, по ассамблеям

разъезжать, около нее ухаживают всякие молодчики... Ну, конечно, это веселее, чем выйти замуж, сидеть дома да хозяйничать. Ты прежде увези ее к себе в деревню. Вот как поживет с тобой месяц-другой, так дурь-то из головушки выйдет.

— Полно, выйдет ли? Ведь она уж теперь поизбаловалась: ей будет у меня скучно...

— Тем лучше, Максим Петрович, того-то нам и надо!.. Коли ей скучно будет у тебя жить, так пойдет охотой замуж. От веселья веселья не ищут, а от скуки-то иногда и в петлю полезешь. Я здесь улажу все дело с князем, ты ей скажешь, что слово дал, а там, на Фоминой неделе, я прикачу к тебе с женихом, остановлюсь с ним на селе; ты свою невесту снарядишь, отвезешь в церковь, мы ее примем, да и под венец!.. Ну что головой покачиваешь? Конечно так.

— А если она заупрямится?

— Что на это смотреть, ты все-таки вези ее в церковь.

— Учнет плакать...

— И, Максим Петрович! девичьи слезы — вода! Известное дело: все невесты до венца плачут, уж это у них так заведено. Да будь же благонадежен, все уладится как нельзя лучше, увези только отсюда племянницу.

— Ну, хорошо. Мы еще об этом с тобой потолкуем,— молвил Прокудин, вставая,— а меж тем прикажи-ка заложить для меня сани, я поеду к сестре. Да не худо бы также принарядиться: на мне дорожное платье, а еще неравно у сестры гостей застанешь...

— А вот пожалуй со мною,— сказал Рокотов, также вставая.— Я провожу тебя до твоей половины, изволь там располагаться как у себя дома.

Теперь, пока Максим Петрович одевается, чтоб ехать к сестре, мы можем предупредить его, то есть отправиться на Покровку, к Аграфене Петровне Ханыковой. В то время Покровская улица была почти вся застроена княжескими и боярскими домами. В ней были дворы князей Пронских, Сицких, Мосальских, Волконских, Мещерских, Мордкиных, Куракиных, Лыковых и многих других. Несмотря на это аристократическое соседство, дом, в котором жила Аграфена Петровна, вовсе не мог назваться барским. Этот небольшой, чистенький домик, с светлыми окнами и красной черепичной кровлею, казался еще менее, но в то же время и красивее оттого, что рядом с ним стояли с одной стороны огром-

ные уродливые хоромы сибирского царевича Андрея Кучумова, а с другой — ветхие, обросшие мхом и запачканные палаты князя Василия Тюменского. В одной из комнат этого скромного домика сидели за рукодельем Аграфена Петровна и племянница ее, Ольга Дмитриевна Запольская; они обе обшивали кружевами атласное пунцовое фуро, в котором Запольская была накануне у Гутфеля.

— Ну, вот, так и есть! — сказала Ханыкова, снимая с пальца наперсток,— ровнехонько пол-аршина недостает... Делать нечего! Ты помнишь, Оленька, лавку, в которой мы кружево покупали?

— Помню, тетушка.

— Так возьми с собою мамушку Григорьевну да Максимку на запятки и съезди в город. Я возок давно уж велела заложить. Оленька,— промолвила Ханыкова, вставая,— на-ка тебе платье-то... приподыми его кверху... вот так... Ну что, не правду ли я тебе говорила: совсем другое стало?

— Да, тетушка, только цвет...

— И, полно, радость моя, что такое цвет!.. Как будто бы у тебя двух алых фуро быть не может. Да уж поверь мне, жизнь моя, никому и в голову не придет, что ты была в нем на ассамблее у Гутфеля.

— А что, тетушка, завтра у Стрешневых простая вечеринка или также ассамблея?

— Ассамблея, мой друг.

— И много будет?

— Я думаю. Стрешнев вчера у Гутфеля звал к себе всю молодежь.

— Так поэтому у него будет и Василий Михайлович?..

— Симский?.. Как же! Стрешнев при мне его просил.

— Так он будет?.. Как я рада!

— Что ты, что ты, матушка, перекрестись!

— А что, тетушка?

— Ну можно ли девице такие речи говорить! Хорошо, что мы одни, а коли ты этак при людях промолвишься, ведь иной подумает и бог весть что! Симский, конечно, молодец прекрасный и танцует хорошо, а все-таки тебе не след радоваться, что ты с ним увидишься у Стрешневых.

— Я это, тетушка, сказала... так...

— Вот кабы он был твоим женихом, так это дело

другое, тогда такая и мера, а теперь ты знай себя... Да что об этом говорить!.. Все это пустячки, мой друг!.. Эти гвардейские офицеры любят только так... пошалберить, амурное словцо отпустить, а какие они женихи!.. Ведь они у нас в Москве ни дать ни взять перелетные пташечки: сегодня здесь, а завтра и поминай как звали!.. Оленька, посмотри-ка, мой друг, кто это въехал к нам во двор?

— Не знаю, тетушка. Какой-то господин, только я его никогда не видывала.

— Лицо как будто бы знакомое, а хоть убей — не знаю кто.

— Здравствуйте, матушка Аграфена Петровна! — сказал Данила Никифорович Загоскин, входя в комнату.— Не прогневайтесь, что я вошел к вам без докладу: у вас в передней никого нет. Да что ж вы, Аграфена Петровна, изволите на меня так смотреть? И вы, сударыня Ольга Дмитриевна?.. Иль не узнали старинного приятеля?

— Возможно ли! — вскричала с радостию Ханыкова,— это вы, Данила Никифорович?

— Я, матушка.

— Ах, как я рада! насилу-то вы за ум взялись!

— А что, Аграфена Петровна, этак лучше?

— Как можно сравнить! Да вы теперь совсем другой человек.

— И жена говорит то же, да только не так.

— Привыкнет, Данила Никифорович.

— Вестимо дело, привыкнет когда-нибудь. А знаете ли что, матушка, бороду я себе обрил, а ведь часом и мне бывает ее жаль.

— И, полноте!

— Право так. Все как будто бы чего-то недостает. Я ж ее, мою голубушку, так холил!.. Ну, да что об этом!.. Не с бородою жить, а с добрыми людьми. Я приехал к вам, Аграфена Петровна, во-первых, ради того, чтоб повидаться с вами и с вашей прелюбезной племянницею, а во-вторых, матушка,— промолвил Данила Никифорович вполголоса,— у меня до вас и дельце есть.

— А что такое?

— Да мне бы нужно об этом с глазу на глаз поговорить с вами.

— Извольте, батюшка, извольте! Оленька, ну что ж ты в город-то не едешь. Пора!.. Ступай, мой друг.

Когда Ольга Дмитриевна вышла из комнаты, Данила

Никифорович приметным образом смутился; он начал переминаться, кашлять и поглаживать рукою свой голый подбородок.

— Ну, вот мы теперь одни,— сказала Ханыкова,— извольте говорить.

— Ох, сударыня моя! — промолвил Данила Никифорович,— дело-то мое непривычное... не знаю, с чего начать...

— Что ж это такое?

— Не бойтесь, матушка, страшного ничего нет. Вот изволите видеть... как бы мне вам сказать... ну, так и быть, ведь в старину всегда этим начинали... Матушка Аграфена Петровна, у вас есть товар, а у нас купец.

— Как, Данила Никифорович, вы приехали ко мне сватом?

— Да, государыня, я приехал сватать вашу племянницу, Ольгу Дмитриевну Запольскую.

— За кого?

— Есть у меня родной племянник, такой же сирота, как и ваша Ольга Дмитриевна: отца у него убили под Нарвою, а старушка мать скончалась в запрошлом году. Он человек с достатком, малый прекрасный, на хорошей дороге, собой молодец... да что тут говорить: вы лично его изволите знать.

— Я его знаю? Да кто ж он такой?

— Василий Михайлович Симский.

— Симский!.. Так он ваш племянник?

— Да, матушка, сын родной моей сестры, Авдотьи Никифоровны. Ну что ж, каких вы о нем мыслей?

— Самых хороших, батюшка. Он молодец прекрасный, умный и, как мне кажется, истинно достойный человек.

— Так поэтому племянник может надеяться?

— Вот это речь иная, Данила Никифорович, на это отвечать я ничего не могу. Об этом извольте спросить у брата моего, Максима Петровича Прокудина, из воли которого Оленька никак не выступит.

— Я знаю, матушка, что Ольга Дмитриевна взросла на руках у вашего братца Максима Петровича и всеконечно должна во всем ему повиноваться, да неужели он обракует такого жениха, как мой племянник?

— А бог весть, Данила Никифорович. Максим Петрович человек нравный, не очень долюбливает нынешнюю молодежь, и коли он забрал себе в голову выдать

племянницу за человека, который так же, как он, придерживается старины, бороды не бреет и в немецком платье не ходит, так не прогневайтесь!.. Он любит Оленьку как дочь родную, да зато хочет, чтоб и она его слушалась как отца родного.

— Ну, делать нечего,— надобно будет скакать к нему в деревню. А вы уж, Аграфена Петровна, сделайте милость, скажите об этом вашей племяннице.

— Что вы, Данила Никифорович, стану я об этом говорить Оленьке!.. Коли дело пойдет на лад, успею сказать и тогда, а коли из этого ничего не выйдет, так лучше, чтоб она вовсе не знала, что Василий Михайлович за нее сватался. Может статься, он и теперь ей нравится, да это все не то: мало ли молодцев на свете, обо всех плакать не станешь, а жених... сохрани господи! да его век не забудешь!

— Правда, матушка, правда!.. Ну, дай бог вам здоровья,— разумный вы человек, Аграфена Петровна!.. Да что и говорить: в этих делах наш брат мужчина не токмо перед вами — да и перед всякой женщиной дурак дураком!

В комнату вошел или, лучше сказать, вбежал слуга, он растворил настежь обе половинки дверей и проговорил торопливым голосом:

— Государыня Аграфена Петровна, Максим Петрович изволил приехать!

Ханыкова вспыхнула, Данила Никифорович также смутился.

— Здравствуй, сестра! — сказал Прокудин, входя в комнату.

— Ах, батюшка братец! — вскричала Ханыкова, кидаясь на шею к Максиму Петровичу,— вот уж я никак не ожидала...

— Я думаю, что не ожидала,— молвил Прокудин, взглянув исподлобья на Данилу Никифоровича.— Что, матушка, видно, не в пору гость хуже татарина?

— Ах, братец, боитесь ли вы бога? Ну можно ли этак шутить!.. Как жаль, что Оленьки нет дома: она поехала с мамушкой в город кой-что себе купить, сейчас воротится.

— Здорово, друг сердечный! — сказал Данила Никифорович, подходя к Прокудину.— Ну что ты на меня смотришь?

— Да вот гляжу, батюшка! Откуда господь шлет мне такого сердечного друга?

— Скажи пожалуйста!.. Так ты по голосу-то меня не узнаешь?

— Господи, господи! — вскричал с ужасом Прокудин, — Данила Никифорович!

— Да, любезный, это я...

— Ты?.. Да, нет, нет! это демонское наваждение!.. В этом немецком кафтане... с бритой бородою!.. Фу, батюшки, в глазах позеленело, ноги подкосились! — прибавил шепотом Максим Петрович, опускаясь в кресла, которые ему пододвинула Аграфена Петровна.

— И, любезный! — сказал, садясь подле него, Данила Никифорович, — есть от чего ногам подкоситься!

— Ну! — промолвил Максим Петрович, — этого-то уж я никак не ожидал!.. До меня слухи дошли, что сестра водит хлеб-соль с немцами и что они, проклятые, каждый день к ней таскаются. Ну, так и есть, подумал я, вот уж один немец налицо! Немец!.. Данила Никифорович!

— Эх, полно, Максим Петрович! Ну, что, в самом деле: погневался, пожурил, да и будет!

— А что, старинный друг и приятель, — продолжал Прокудин, — скажи-ка мне по совести... О, господи! и спросить-то страшно... Да уж так и быть — режь одним разом!.. Что ты, Данила Никифорович, веру переменил?

— Веру?.. Что ты, что ты, перекрестись!

— Так еще не переменил? слава тебе господи!

— Помилуй, с чего ты взял?..

— С чего! Да не погневайся, коли наш брат, старик, без всякого принуждения, а по своей собственной охоте пойдет на такое дело, так поневоле подумаешь, что ему в немецкую кирку захотелось.

— Эх, любезный!.. Ну как тебе не совестно, человеку умному, такие речи говорить? Да неужели, по-твоему, вся сила православия в нашей бороде? И коли я, по каким ли есть причинам...

— Так сделай милость, — подхватил Прокудин, — скажи мне, ради чего ты изволил оскоблить свою бороду?

— Изволь, скажу. Не знаю, захочешь ли ты понять меня, а коли захочешь, так поймешь. Господь бог послал нам такого царя, какого еще до сих пор нигде не бывало. На войне — Александр Македонский, на суде — премудрый Соломон; в чужих краях — простой работник, поденщик, ради того чтоб перенять все хорошее и изведать, не по рассказам, а на себе самом, что при-

годно и полезно для нашей матушки святой Руси; дома у себя — хозяин, да еще какой! Ему нужды нет, что он трудится в поте лица и сеет то, что пожнут другие: «Я, дескать, умру, но Русь-то святая не умрет; теперь, может быть, на меня станут досадовать, роптать, да зато внучата спасибо скажут». Ты себе, Максим Петрович, как хочешь ухмыляйся, покачивай головкою, а я все-таки буду говорить одно. Как свят господь, так правда то, что наш батюшка Петр Алексеевич ничего не делает ради только одной прихоти или своей забавы, а если иное кажется нам непонятным, так это потому, что мы как дети: их учат складам, а они думают про себя: «Ради чего это заставляют нас твердить: буки аз — ба, веди аз — ва, что, дескать, это такое?» Ради того, деточки, чтоб вы грамоту знали: вот как станете сами читать, так и поймете тогда, зачем вас складам учили.

— Вот подлинно — век живи, век учись! — прервал Прокудин.— Недавно один премудрый молокосос толковал мне, что немцы — солдаты, а мы, русские,— новобранцы; теперь ты мне изволишь говорить, что мы все, старики, безграмотные ребятишки и что нас, дураков, складам учат... Спасибо, любезный!

— Да это я говорю так, Максим Петрович, наприклад...

— И нечего сказать,— красно говоришь. А все-таки я не знаю...

— Зачем я бороду обрил? А вот послушай. На прошлой неделе завернул ко мне приятель, Иван Андреевич Бухвостов, и рассказал, что было при нем в Воронеже, когда государь Петр Алексеевич изволил там находиться. В самый день светлого воскресенья Александр Данилович Меншиков обрил всем магистратским членам бороды и одел их в немецкое платье. В соборе, у заутрени, государь, увидя их в этом наряде, так обрадовался, что с ними первыми похристосовался, благодарил, что они его для такого великого праздника порадовали, пригласил к своему столу, пил за их здоровье и во весь тот день был так весел, что и сказать нельзя. Вот у меня и пошло бродить в голове; думаю про себя: «Что это государю нашему так полюбилось немецкое платье?» Думал, думал, да вот что мне пришло на мысль: хоть я не ведаю, почему наш премудрый государь желает, чтоб мы все одевались по-иноземному, а, уж верно, тут что-нибудь да есть! Не стал бы он так налегать на это, кабы тут не было никакой пользы. Я стар, живу на по-

кое, ни на что ему не пригоден, так дай же я ему, нашему батюшке, хоть этим послужу. Авось, глядя на меня, и другие тем же его потешат. Вот я заказал себе немецкое платье, а как мне вчера его принесли, так послал за цирюльником да и отмахнул себе бороду. Ну, понимаешь ли теперь, для чего я — твоими же словами скажу — оскоблил себе бороду?

— Понимаю, любезный! Ты уверен и не сомневаешься, что государь Петр Алексеевич знает лучше всякого, что для нас пригодно и полезно и что он, как истинный царь русский, любит свой народ паче всего на свете...

— Да! видит бог, я это думаю.

— Хорошо, любезный. Ну, а если б ты думал совсем другое? Если бы ты верил и не сомневался, что государь Петр Алексеевич, попущением божиим и в наказание за тяжкие грехи наши, предался вовсе немецкой прелести и любит не свой православный народ, а немцев, голландцев и всяких других еретиков, которые теперь, словно саранча, обсели всю землю русскую, так и ты бы, Данила Никифорович, так же, как я, стал чтить государя Петра Алексеевича как помазанника божия и повиноваться беспрекословно его царским указам, но, уж верно, ты для его потехи не нарядился бы каким-нибудь заморским шутом и не стал бы кланяться в пояс всякому немецкому колбаснику потому только, что он немец.

— Да помилуй, Максим Петрович, с чего ты взял, что государь Петр Алексеевич больше любит немцев, чем нас?

— А коли нет, так зачем же он, наш батюшка, имя-то свое, говорят, подписывает по-иноземному, и новый город свой назвал по-немецки, и нас всех немцами поделать хочет?.. Да что об этом говорить: коли господь бог наслал казнь, так молчи и покоряйся.

— И то правда, друг сердечный, что об этом толковать! По-твоему, это гнев небесный, а по-моему — божье милосердие, так мы во веки веков с тобой не поладим. Давай-ка лучше побеседуем кой о чем другом, любезный, а нам есть о чем поговорить. Знаешь ли что, Максим Петрович? Ведь я сбирался к тебе в деревню!..

— Милости просим!

— У меня есть до тебя дело, и дело не шуточное; я сейчас об этом говорил с Аграфеной Петровной. Племянник мой, Василий Михайлович Симский, месяца два

тому назад познакомился здесь, в Москве, с твоей сестрицею и с Ольгой Дмитриевною...

— Познакомился!.. И верно, на вечеринке, или, по вашему, на ассамблее, у этого... Сестра, как бишь зовут твоего приятеля-то?..

— Какого приятеля, братец?

— Ну, вот этого немца, у которого ты вчера с аптекарем плясала.

— У Адама Фомича Гутфеля? — прервал Данила Никифорович.— Да, любезный, мой племянник бывал у него на вечеринках вместе с твоей сестрицею и племянницею... Да ты уж не думаешь ли, что этот Гутфель какой-нибудь булочник?.. Нет, Максим Петрович, он человек именитый, к нему сам государь изволит жаловать...

— Как не жаловать!.. Ведь он немец.

— Что немец!.. Немцев много. Адам Фомич и человек хороший, и живет барином. Он здесь у всех в большом почете...

— Еще бы!.. Делать-то нечего, станешь почитать и татарина, коли он тебе господин!.. Так твой племянник познакомился с моей племянницею у этого Гутфеля?.. Знаю, знаю!.. Ведь он, сиречь твой племянник, как по вашему-то, фенрик *, что ль?..

— А вот, бог даст, скоро и подпоручиком будет.

— Так, так!

— Он третьего дня ночевал у тебя в деревне.

— Ночевал, любезный.

— Ну что, как он тебе кажется?

— Молодец прекрасный!

— Так он тебе приглянулся?

— Как же!

— А что, друг сердечный, если б он посватался за твою племянницу Ольгу Дмитриевну!..

— Так я долго не стал бы его маять, а тотчас бы сказал: этому не бывать.

— Как не бывать?..

— Да так!..

— Фу, батюшки! как дубиной по лбу!

— Не прогневайся!

— Да ты хоть подумай, Максим Петрович, Симский роду хорошего...

— Знаю, знаю! Его батюшка был казанским воеводою.

* младший офицер, прапорщик (от *нем.* Fähnrich).

— Человек богатый.

— И это знаю.

— Так почему ж?..

— Долго рассказывать, Данила Никифорович, да и на что? Ты спросил, я отвечал,— чего ж еще тебе?

— Батюшка братец! — промолвила робким голосом Ханыкова.

— Не твое дело, матушка! Покойная сестра, умирая, сдала мне с рук на руки свою дочь, завещала воспитать ее во всяком благочестии и страхе божием, беречь и любить как родное свое детище. Что будешь делать! согрешил я перед покойницей: не вполне соблюл ее приказание... Да бог милостив, это еще дело поправное... Теперь уж я с ней ни за что не расстанусь...

— Как, братец,— вскричала Ханыкова,— вы хотите Оленьку увезти в деревню?..

— Я затем и приехал, матушка.

— Так моему племяннику нечего и надеяться? — проговорил Данила Никифорович, вставая.

— Зачем не надеяться,— сказал Прокудин,— бог в животе волен, а я человек смертный.

— Эка упрямая башка! — прошептал Загоскин.— Прощай, старинный приятель! — промолвил он, выходя вон из комнаты.— Нечего сказать, потешил ты меня!

— Ничего, любезный,— прервал Максим Петрович,— это дело обоюдное: мы, кажется, оба друг друга потешили. До свидания!

ГЛАВА VIII

— Да полно, Василий, кручиниться! И вчера ты целый день прогоревал, и сегодня словно в воду опущенный!.. Что, в самом деле, иль про тебя одна только невеста и была Ольга Дмитриевна Запольская? Ну, конечно, она девица хорошая, да, бог милостив, найдем и почище ее.

Так говорил Данила Никифорович, утешая Симского, которому он накануне объявил о своей неудачной попытке.

— У нас в Москве,— продолжал Данила Никифорович,— чего другого, а невестами-то хоть пруд пруди! Вот покамест ты будешь в походе под турком, мы постараемся, похлопочем да такую приищем тебе невесту, какой ты и во сне не видывал. Не правда ли, жена?

— Уж конечно, батюшка, не чета будет этой вертушке Запольской,— отвечала Марфа Саввишна.— И что тебе, Васенька, понравилось в этой девочке? Ну какая она будет хозяйка? Ей бы только вырядиться заморской куклою, поплясать да перед молодежью покобениться...

— Нет, тетушка,— прервал Симский,— напрасно вы это изволите говорить. Ольга Дмитриевна девица скромная и по своему отличному мериту * зело достойна всякого эстиму **.

— Да ты как хочешь ее по-немецки-то хвали, а все-таки она не много получше своей тетушки! Да уж Аграфена Петровна — об ней что и говорить — отменный соболь!.. Ни стыда ни совести...

— И, полно, Марфа Саввишна! — прервал Данила Никифорович.— Ну за что ты ее так позоришь?.. Что она тебе сделала?

— Виновата, батюшка Данила Никифорович, согрешила!.. А, воля твоя, правду всегда скажу.

— И вы уверены, дядюшка,— сказал Симский,— что Максима Петровича нельзя никак умилостивить?

— Куда умилостивить!.. Приступу нет, так с дуба и рвет!.. «Не бывать этому!», да и только!

— Ну, видно, уж такое мое счастье!..

— Полно, брат Василий! Ты еще молод, твое счастье впереди.

— Ах, дядюшка, кабы вы знали, как мне грустно!.. Я и сам не думал, что так люблю Ольгу Дмитриевну... Нет, уеду поскорей, догоню мой полк, стану драться с турками... быть может, положу голову за святую Русь...

— Что ты, мой друг! — вскричала Марфа Саввишна.— Христос с тобой!.. Ну, как ты в самом деле себе напророчишь...

— Так что ж, тетушка? Я сирота, обо мне плакать некому.

— Спасибо, племянник! — прервал Данила Никифорович.— А мы-то тебе посторонние, что ль? Полно, брат, выкинь эту дурь из головы! Пойдем-ка лучше позавтракать; у меня есть заветная бутылочка фряжского винца; выпьем чарки по две, так авось у тебя на сердце-то будет повеселее.

— Нет, дядюшка, у меня голова и без этого горит. Пойду лучше пройдусь пешком.

---

* достоинству (от *фр.* mérite).

** уважения (от *фр.* estime).

— Ну, ступай, мой друг. Да смотри же приходи к обеду.

— Приду, дядюшка.

Симский накинул свой форменный плащ и, сойдя со двора, повернул вниз по Знаменке к Кремлю. День был ясный, погода теплая, разумеется по-зимнему; самый умеренный морозец, без ветру, не допускал только портиться санному пути и придавал воздуху какую-то особенную легкость и живительную прохладу. Все жители Москвы справляли масленицу, то есть веселились, гуляли и катались по улицам. На каждом шагу встречались с Симским разодетые в пух слободские девки, посадские бабы, городские мещане и мужички под хмельком, которые, обнявшись друг с другом и пошатываясь из стороны в сторону, *растабарывали* и *гуторили* меж собою. Тут целая гурьба веселых горожанок шла посередине улицы и пела, немного на разлад, но зато во все горло, плясовую песню, под которую разбитной детина, медленно подвигаясь перед толпою, расстилался вприсядку. Подле питейного дома лихие песенники, окружив самоучку-музыканта, отпускающего удивительные трели на берестовом рожке, заливались в удалой бурлацкой песне: «Вниз по матушке по Волге». Тут же, в одном уголку, народ умирал со смеху, глядя на медведя, который плясал с козою, и несколько шагов подалее толпился вокруг лубочного балагана, в котором заморский *знахарь* глотал огромные камни, дышал огнем и жупелом, ел хлопчатую бумагу и делал разные бесовские штуки. Мимо Симского, в широких пошевнях, покрытых коврами, и расписных санях, мелькали поминутно московские барыни, богатые купчихи и гостьи иноземные; то проезжал рысцою обитый полинялым сукном рыдван на полозках, из которого выглядывали набеленные старухи в собольих шапочках; то вдруг, как птица, пролетал мимо всех разгульный молодец на борзом казанском иноходце; одним словом, все веселились, гуляли, и Симскому от этого стало еще грустнее. Чтоб не смотреть на эти забавы, в которых он не мог и не хотел принимать никакого участия, Симский, пройдя несколько шагов по Неглинной, повернул Троицкими воротами в Кремль. В то самое время, как он, пробираясь к соборам, миновал дворец Бориса Годунова, с ним повстречались парные сани, и кто-то проговорил громким голосом:

— Здравствуй, Василий Михайлович!

Симский остановился, из саней выскочил молодой гвардейский офицер и бросился к нему на шею.

— Мамонов! — вскричал Симский, обнимая своего однополчанина.— Вот уж никак не ожидал! Я думал, что ты при полку.

— Нет, мой друг, я здесь в откомандировке. А ты какими судьбами?..

— Меня отпустили на недельку повидаться с родными.

— Так ты недолго здесь пробудешь?

— Еще денька два или три.

— А потом?

— Отправлюсь догонять полк.

— Счастливый человек!.. Да садись-ка, брат, в сани, поедем ко мне. Я живу близехонько, на Варварке, в доме дяди моего, Степана Ивановича Шеина.

Симский сел в сани к Мамонову. Через несколько минут они въехали во двор и остановились у небольшого кирпичного домика, вовсе не затейливой наружности.

— Вот, как видишь, Василий Михайлович,— сказал Мамонов, вылезая из саней,— палаты небольшие, да зато в них тепло и я живу один-одинехонек. Милости просим!

Когда они вошли в сени, им послышались в передней комнате голоса; казалось, о чем-то спорили.

— Да погоди, тетка, сейчас вернется! — говорил кто-то басом.

— Чего годить! — раздался в ответ пискливый голос,— что мне, до вечерен, что ль, у вас дожидаться?

— Ну, так и есть! — сказал Мамонов, входя в переднюю,— это Игнатьевна. Здравствуй, голубушка!

— Здравствуй, мой сокол ясный! — пропищала, кланяясь в пояс, пожилая женщина в штофной шубейке и бархатной, опушенной куницею шапочке.— Уж я тебя ждала, ждала!..

— Так подожди еще немножко, мы с тобою поговорим.

— Ох, кормилец ты мой, часочки-то у меня счетные! Мне еще надобно побывать у Спаса на Чигасах, а оттуда к Харитонию в Огородниках; не задержи меня, батюшка!

— Небось, Игнатьевна, не задержу.

Мамонов и Симский отдали денщику свои плащи и, пройдя через столовую комнату и небольшую гостиную, вошли в угольный покой, в котором стояло несколько

стульев, большой шкап, резной дубовый стол и кровать с белым пологом.

— Садись, любезный! — сказал Мамонов, снимая с себя трехцветную шелковую перевязь, которая была у него надета по мундиру.

— Ого! да ты в полном параде,— сказал Симский,— шарф через плечо.

— Как же, Василий Михайлович: я был в Сенате; мне там читали царский указ.

— Указ? О чем?

— А вот, изволишь видеть: у нас теперь война с турком, и велено забирать на службу всех взрослых недорослей из дворян, неслужащих новиков и всяких разночинцев, которые еще молоды и здоровы, а под разными предлогами отбывают от царской службы и проживают в Москве. Вот как пошел перебор, так все эти тунеядцы, которым бы только на боку лежать да ничего не делать, и бросились вон из Москвы, кто куда попал. Меня для этого и прикомандировали к Сенату, чтоб я их везде отыскивал, хватал и представлял на службу; об этом мне и указ сегодня читали. Эх, Симский, счастлив ты: будешь драться с турками, станешь бить этих басурманов, в плен брать, а я... Правда, и я буду брать в плен матушкиных сынков, сорокалетних недорослей и этих мироедов, которые называют себя дворянами, а дворянской службы нести не хотят. Да какая мне будет от этого сатисфакция? Ведь уж тут доброй манирою не кончишь. Хлопот не оберешься, брани также. Все московские барыни, а пуще барышни, закидают меня каменьями... Ну, нечего сказать, вынулся мне жеребьек!.. Добро бы еще оставили меня в Санкт-Петербурге, а то живи здесь — в этом захолустье.

— Вот как!.. Так ты называешь Москву захолустьем?

— А как же прикажешь ее назвать? Неужели такою же резиденциею, как наш Санкт-Петербург? Нет, любезный: кто привык обходиться с людьми эдюкованными * и понасмотрелся иноземных обычаев, тому здесь какое житье? Так ли веселятся и проводят время в нашей резиденции!.. Конечно, и здесь бывают ассамблеи,— да только курам на смех. Ведь почитай все московские дамы ни дать ни взять — шарман-катеринки: заведут их — они, как будто живые, танцуют, не заведут — так просто сидят как разряженные куклы. А что

* воспитанными (от *фр.* éduqué).

за кавалеры!.. Посмотришь, иной одет как человек, в немецком кафтане, в парике, подымет даму как следует, а примется танцевать — фу, батюшки!.. В какие позитуры становится, что за ухватки!.. Так и смотришь, сейчас пойдет вприсядку!.. Заведешь с ним какую-нибудь конверсацию *, он выпучит глаза, слушает и не понимает самых обыкновенных речей. Да что и говорить! в Москве не токмо народ ординарный, но даже люди принципальные **, только бороды себе выбрили, а рожи-то у них все немытые! Нет, Василий Михайлович, наша резиденция не то!

— Ну, конечно, Андрей Степанович; однако ж и Москва...

— Что Москва?.. Москва просто русский город.

— А разве наш Санкт-Петербург город не русский?

— Нет, любезный, извини!.. Санкт-Петербург город немецкий, знаешь, этак... как бы тебе сказать?.. Европа!.. А здесь что? И люди, и дома, и обхожденье — все на русскую старинную стать. Здесь, брат, и с деньгами пропадешь: ничего нет порядочного. Пива хорошего не отыщешь, изрядного голландского сыру не спрашивай, уж о добром гамбургском кнастере или старом францвейне *** и не заикайся. Деревня, братец, деревня!

— Хороша деревенька!

— Велика!.. Да что в этом толку?.. Знаешь пословицу...

— Полно, Мамонов! Ты позоришь Москву, потому что тебе скучно, а скучно оттого, что ты в ней никогда не живал.

— И дай, господи, никогда не жить! Знаешь ли, Василий Михайлович, чем я отвожу себе душу?.. Одна только забава и есть!.. Ты видел в передней старуху?

— Видел. Кто она такая?

— Самая знаменитая московская сваха, Федосья Игнатьевна, по прозванию Перепекина.

— Сваха? Да разве ты хочешь жениться?

— И не думаю... Ну, брат, видно, здесь в Москве залежалых-то невест довольно. Недели две тому назад Игнатьевна явилась ко мне от какой-то вдовушки, которая видела меня у Гутфеля, и с тех пор отбою нет: что ни день, то новая невеста.

---

* разговор (от *фр.* conversation).

** знатные (от *фр.* principal).

*** французское вино (от *нем.* Franzwein).

— *И это тебя забавляет?*

— А как же! Во-первых, каждый день смотр: то в том приходе, то в другом. Я, разумеется, всегда невесту обракую, Игнатьевна разгневается, я начну ее поддразнивать, она примется меня ругать — потеха, да и только!.. А сверх того, если я проживу здесь месяца три или четыре, так уж верно всех московских невест поодиночке переберу; коли сам не женюсь, услужу приятелю. Да не хочешь ли, Симский, я тебе как раз невесту найду?

— Нет, мой друг, моя невеста не здесь.

— А где же?

— Да бог знает. Может быть, в чистом поле, а может статься, и под какою-нибудь турецкой фортециею: булатная сабля, свинцовая пуля, чугунное ядро — вот мои невесты, Мамонов, других суженых у меня не будет.

— И, полно, братец! живой живое и думает. Да что это с тобою сделалось?.. Ты в самом деле грустен... Что ты, любезный, с похорон, что ль?

— Так, ничего... пройдет!

— А вот постой, я тебя развеселю,— сказал Мамонов, отворяя дверь в гостиную.

— Федосья Игнатьевна,— закричал он,— милости просим сюда!

Игнатьевна вошла в комнату, перекрестилась на икону и поклонилась низехонько хозяину и гостю.

— Садись-ка, любезная, к нам поближе,— продолжал Мамонов, указывая ей на порожний стул.

— Присяду, батюшка, присяду! — молвила Игнатьевна, садясь.— Не прогневайся, езды-то у меня много, а коней всего одна бессменная пара, да и та уж старенька, шестой десяток служит.

— Ну что ж, Федосья Игнатьевна, поговорим-ка о деле.

— Да как же это, кормилец, у тебя гость?

— Ничего, это мой задушевный друг: при нем все можно говорить.

— Так, батюшка, так!.. Ну что, сударь, ты вчера, как обедня отошла у Николы в Пыжах, изволил быть на паперти?

— Как же! ведь ты меня видела?

— А видел ли ты, мой сокол ясный, барышню, с которой я шла рука об руку?

— Что ж, эта барышня та самая невеста, о которой ты мне говорила?

— Да, батюшка, да!
— Видел.
— Что, мое красное солнышко, правду ли я тебе сказала — красавица!
— Кто?.. эта барышня? Эх, Федосья Игнатьевна, ну не грешно ли тебе так людей морочить? Что она за красавица?.. Набелена, нарумянена...
— Без этого нельзя, сударь: дело девичье... Да она и так, бог с нею, такая белолицая, румяная, что и сказать нельзя!
— Нос в пол-аршина.
— Уж и в пол-аршина!.. Что ты, кормилец!.. Нос как нос, поменьше твоего будет.
— Я, Игнатьевна, дело другое: я мужчина и человек рослый, а она девица и собой-то больно невеличка.
— А что ж тебе, батюшка, Сухареву башню, что ль?
— Да воля твоя, Игнатьевна, по мне лучше Сухарева башня, чем этакий недоросток. Я жену в кармане носить не хочу.
— В кармане? Не упрячешь, батюшка!
— Она же, кажется, на левую ножку изволит прихрамывать.
— Прихрамывать? Что ты, батюшка, перекрестись!
— И глазки-то у нее... не прогневайся, любезная...
— Что глазки?..
— Да так! немножко врозь посматривают.
— Что, что?.. Так она, по-твоему, коса?
— Есть грешок, Игнатьевна.
— Коса!! Да что ты, сударь, вчера до обедни-то не хлебнул ли?
— Двух передних зубков, кажется, нет.
— Тьфу ты, окаянный этакий! — вскричала старуха, вскочив со стула.— Да что ж ты, в самом деле, всех моих невест цыганишь, что я тебе, дура, что ль, досталась?
— Ну, полно, Федосья Игнатьевна, не гневайся! — сказал Мамонов, усаживая ее опять на стул.— На-ка вот тебе за труды,— продолжал он, подавая ей два рублевика.— Что ж делать, коли мне так показалось.
— Показалось! — повторила Игнатьевна, все еще несколько сердитым голосом.— Вишь, какой зубоскал!.. Чего тут показаться?.. Благо ты господин-то добрый и тороватый, а то бы я давно перестала к тебе жаловать!.. Вот то-то и есть: дали вам повадку, голубчики!.. Бывало, в старину, хочешь верь, хочешь не верь, а уж невесты тебе не покажут. Видишь, что выдумали: изволь то-

вар лицом продать!.. А кто на вас угодит?.. То не так, другое не этак... Ох вы, баловники этакие!

— Да ведь так-то лучше, Федосья Игнатьевна. Теперь жених пеняй на себя, а прежде, бывало, за все отвечает сваха. Что, любезная, скажи-ка правду: чай, тебе иногда доставалось на орехи?

— Ну, конечно, батюшка, всяко бывало. Уж наше дело таковское. Бывало, угодишь, так матушке Федосье Игнатьевне челом; а не угодишь — так старую чертовку Игнатьевну позорят на чем свет стоит.

— А этак, случится, и потасовку зададут?

— Кому, сударь?.. Мне?.. Нет, батюшка, велико бесчестье заплатишь!.. Я ведь не посадская баба какая; мой покойный муженек служил поддьяком в холопьем приказе; ему подчас и бояре кланялись. И кабы не бедность моя, не стала бы я по вашей братье шататься... Ну что, молодец, так эта невеста тебе не люба?

— Нет, Федосья Игнатьевна, подавай другую.

— Подавай другую!.. Эва как поговаривает!.. Да разве невесты-то блины?.. Подавай другую!

— На-ка вот тебе еще рублевик... Полно, голубушка, не скупись: что есть в печи, все на стол мечи!

— Спасибо, кормилец, спасибо!.. Ах ты, мой сокол ясный! Хотелось бы мне тебе послужить... Да ты, Андрей Степанович, человек-то бедовый!.. Видишь, какой привередник!.. Ну, так и быть — скажу! Уж только и ты, батюшка, не забудь меня, старуху. Есть у меня на примете невеста — и хороша и пригожа, девица рослая, не то чтобы очень дородная, а этак, знаешь, наливное яблочко: свежая, румяная, глаза голубые, брови черные... Да это еще ничего,— богатство-то какое!.. Покойный ее батюшка тридцать лет сряду был якутским воеводою, а ведь там воеводам житье! От царя земного далеко, а царь небесный грешников милует, так делай что хочешь — своя рука владыка. Ты, чай, изволишь знать, Сибирь-то золотое дно. Там, говорят, из черных соболей нагольные тулупы носят, а простых куниц никто и даром не берет, так есть около чего ручки погреть!.. Да он таки и понагрел их, дай бог ему царство небесное! Легко вымолвить: тридцать годов на воеводстве просидел!.. А дочка-то у него одна-одинехонька осталась, делиться не с кем... Ну, что?.. Неужели ты, кормилец, и эту невесту охаешь?

— А вот как посмотрю.

— Тебе бы все смотреть!

— Нельзя без этого, Игнатьевна... Э, да постой, любезная!.. Давно хочу тебя спросить: я недели две тому назад познакомился на ассамблее у Стрешневых с одною барыней — не знаешь ли ты ее? Аграфена Петровна Ханыкова...

— Как, сударь, не знать!.. Я у нее зачастую бываю. Приношу всякую всячину: то кружева и ленточки, то шелковые платочки. Ведь я человек бедный, батюшка, всем промышляю. Да что ты о ней изволишь спрашивать? Разве она овдовела?

— Нет, Игнатьевна: с ней живет племянница.

— Ольга Дмитриевна?.. Вишь ты какой!.. Губа-то у тебя не дура, батюшка!

— А что?

— Как что? Да Ольга Дмитриевна не то что всякая другая, это, сударь, нещечко! Собой красавица, богатство большое, родство знатное, ни отца ни матери... Нет, Андрей Степанович, тут взятки-то гладки!

— И, полно, Игнатьевна! Коли Ольга Дмитриевна невеста...

— Невеста, сударь, невеста, да только не твоя.

— А почему ж не моя?

— Да потому, батюшка, что она уж просватана.

Симский побледнел.

— Просватана? — повторил Мамонов,— за кого?

— Ох, молодец, крепко-накрепко заказано не сказывать... А я все-таки скажу... назло ему скажу... скряга этакий!.. Я, батюшка Андрей Степанович, часто хаживала к одному богатому женишку, князю Андрею Юрьевичу Шелешпанскому; его уж давно разбирает охота жениться, и он также куда браковал невест; да только не так, как ты, кормилец: он все добивался богатой невесты. Вот я, сударь, и приискала ему одну купеческую дочку — лет этак под сорок и собою некрасива: рябая, черномазая... да зато вся в жемчугах; у отца чугунные заводы, рыбные ловли в Астрахани и всего только две дочери. Сегодня поутру я зашла об этом поговорить с князем Андреем Юрьевичем, а он мне и слова не дал выговорить. «Спасибо, дескать, Игнатьевна, за твою службу и труды, а я уж покончил; мой двоюродный братец, Лаврентий Никитич Рокотов, высватал мне богатую невесту. Вчера по рукам ударили, а на Фоминой будет и свадьба».— «Ах, батюшка,— молвила я,— да дай же порадоваться твоей радости,— скажи мне имечко нареченной; может статься, и я ее знаю». Князь Андрей

Юрьевич учал отнекиваться, а я все приставала. Вот он помялся, помялся, да и сказал мне, что Максим Петрович Прокудин выдает за него племянницу свою, Ольгу Дмитриевну Запольскую, и что уж это дело совсем поконченное. Как я стала с ним прощаться, так говорю ему: «Батюшка, милостивый князь, я много для тебя потрудилась, не одну пару чеботов истоптала и денно и нощно заботилась о том, как бы тебе угодить, не забудь же теперь меня на такой радости,— пожалуй мне, старой сиротинке, хоть что-нибудь на хлебец!» Ах, батюшки, как его, сударь, стало коробить!.. Инда в пот ударило! Учал он ходить по комнате и туда и сюда, гляжу: пошел к себе в чуланчик... Уж он там шарил, шарил!.. Вот изволит опять идти — такой красный, так и пышет! Подошел, да и сунул мне в руку... что ж ты думаешь, кормилец?.. Полтинник!.. Да еще проткнутый,— видно, с какой-нибудь мордовки! «На, дескать, Игнатьевна, у меня его не берут, а ты везде шатаешься, у тебя с рук сойдет».

— Неужели ты, Федосья Игнатьевна, взяла?

— Что ты, батюшка! Я этот дырявый полтинничек положила ему на стол, низехонько поклонилась да сказала: «Прими, батюшка, Христа ради!», а сама и вон. Вот, сударь, скряга-то!

— Да, хорош! И за него выдают Ольгу Дмитриевну!

— Что ж делать! Андрей Степанович богат, природный князь и, нечего сказать, собою молодец.

— Право?

— У, батюшка!.. Детина такой ражий, дородный... что вы, молодцы! Обоих-то вас сложить, так его одного не будет.

— Вот как!

— Да, сударь, да!.. Не будь он такой скула, так нечего сказать, жених недюжинный!.. Э, да что толковать об этом шмольнике. Ты мне лучше скажи, батюшка, хочешь, что ль, посмотреть воеводскую-то дочку?

— Как же, Игнатьевна, хочу.

— Так изволь, сударь, знать, что она завтра будет у Троицы на Кулишках, после ранней обедни, милостыню нищим раздавать, и я с ней вместе буду.

— У Троицы на Кулишках! Где ж это?

— Ничего, батюшка, я твоему Федоту растолкую, так он тебя прямехонько довезет. Ну, мое красное солнышко,— промолвила Игнатьевна, вставая,— заболталась я с тобой!.. А дела-то у меня, дела, господи боже

мой!.. Прощенья прошу, батюшка! Смотри же, не забудь, завтра после ранней обедни...

— Небойсь, Федосья Игнатьевна, не забуду. Прощай, любезная!.. Ну что,— продолжал Мамонов, обращаясь к своему гостю,— какова моя сваха?.. Э, да ты никак стал еще грустнее!.. Что это с тобой?

— Так, что-то нездоровится.

— Катайся больше, любезный, так все пройдет. Знаешь ли что, Симский, приезжай завтра ко мне пораньше, поедем вместе смотреть воеводскую дочку.

— Нет, Мамонов, я сегодня в ночь или завтра чем свет уеду отсюда.

— Сегодня? да ведь ты хотел пробыть в Москве еще дня два или три.

— Ни за что на свете!

— Что, брат, видно, я правду говорил, видно, Москва-то не Санкт-Петербург?

— Да, мой друг! Мне скучно, мне тошно здесь... так душа и рвется! Скорей бы туда, где пули посвистывают и люди валятся как снопы!.. Вот как, бог даст, догоню наш полк да под турецкими ядрами почерпну водицы в Дунае, так авось тогда на душе-то у меня будет повеселее. Прощай, Мамонов!

— Прощай, Симский! — сказал Мамонов, обнимая своего приятеля.— Коли господь поможет тебе отличиться, так вспомни, друг сердечный, и пожалей обо мне. Я бы от тебя не отстал.

На другой день, рано поутру, из Калужских ворот выехала на Серпуховскую дорогу лихая ямская тройка. В открытых пошевнях лежал закутанный в медвежью шубу Симский, впереди на облучке сидел денщик его, Демин.

— Ну, что ж вы стали поперек дороги? — закричал ямщик, сдерживая лошадей.

Симский приподнялся. В пяти шагах от него стоял большой возок, двое слуг помогали кучеру перепрягать коренную лошадь.

— Возьми полевее,— сказал Симский,— их не переждешь.

Когда ямщик, своротя в сторону, поравнялся с возком и Василий Михайлович взглянул на открытое окно, из которого выглядывала какая-то барыня, то вся кровь его прилила к сердцу: эта барыня была Ольга Дмитриевна Запольская; подле нее сидел Максим Петрович Прокудин.

— Ну что ж ты? — сказал Демин ямщику.— Коли выбрался на торную дорогу, так ступай!

— Эй вы, соколики! — гаркнул ямщик.

Рысистая коренная легла в гужи, отлетные подхватили, и снежная пыль вихрем закрутилась из-под копыт удалых коней.

ГЛАВА IX

Мы должны теперь расстаться на несколько времени с Василием Михайловичем Симским и воротиться опять в Москву. В то самое утро, когда Симский так неожиданно повстречался на большой дороге с Ольгой Дмитриевной, но только гораздо позднее, Аграфена Петровна Ханыкова сидела у себя в гостиной с Ардалионом Михайловичем Обиняковым. Я думаю, читатели не забыли еще этого худощавого господина, которого люди неблагонамеренные называли приказной строкою, нахлебником, переметной сумою и даже подозревали, что он «язык», то есть тайный доносчик, готовый при случае *оговорить* и выдать руками своего родного брата. Разумеется, Аграфена Петровна не знала ничего об этом и, по случаю одного тяжебного дела, очень часто советовалась с Ардалионом Михайловичем как с человеком знающим и деловым.

— Так вы, батюшка, полагаете,— говорила она,— что, этак месяца через два, наше дело должно решиться?

— Да, Аграфена Петровна, по всему бы так следовало. Крепостные записи и межевые книги вами представлены, все справки собраны, и задержек формально никаких нет, а все-таки, может статься, дело ваше протянется. Слабенько вы изволите действовать, матушка Аграфена Петровна!

— Да что ж прикажете мне делать?

— Всякая тяжба, сударыня, требует хождения. Теперь дело поступило в отчинную коллегию,— так что ж зевает ваш поверенный? Надо попросить.

— Да я сама ездила к президенту, просила его...

— И, сударыня!.. Что президент!.. Дела-то вершат не президенты, а секретари.

— Что вы, Ардалион Михайлович! Хоть я и женщина, а все-таки кой-что знаю: у секретарей и голосов нет.

— Так, сударыня, так! Только вот что, когда вы изволите играть, примером сказать, на гуслях, так голос-

то подают они, а все-таки сила не в них, а в вас: что вы захотите, то они и заиграют.

— Так, по-вашему, Ардалион Михайлович, и председатель и судьи...

— Гусли, сударыня, гусли!.. Ну, Аграфена Петровна, не прогневайтесь, я вижу по всему, что ваш поверенный вовсе приказного порядку не знает и, кажись, дело-то без меня не обойдется.

— Ах, сделайте милость!

— Вот изволите видеть, матушка Аграфена Петровна, надобно, во-первых, подарить секретаря, у которого в руках ваше дело; не мешает также и протоколиста подмазать, чтоб оно ходче пошло; а там еще кой-кому: регистратору, актуариусу; так, может статься, и ближе двух месяцев эта тяжба кончится в вашу пользу. Да уж положитесь во всем на меня, Аграфена Петровна, я это дельце обработаю... Не извольте только забывать одного, матушка: коли плохо сеешь, так и жатва бывает плоха.

— Андрей Степанович Мамонов приехал,— сказал слуга, войдя в комнату.

— Ты сказал, что я дома?

— Сказал, сударыня.

— Так делать нечего — проси!

— Здравствуйте, государыня моя Аграфена Петровна! — сказал Мамонов, входя в гостиную и кланяясь хозяйке.— Зело радуюсь, что нахожу вас в вожделенном здравии.

— И я также, государь мой Андрей Степанович,— отвечала Ханыкова, вставая,— с великой сатисфакциею вижу, что и вы совершенно здоровы, в чем я, признательно скажу, начинала уже сомневаться. В последний раз, на ассамблее у Стрешневых, вы дали мне ваш пароль * посетить меня, и вот уже скоро две недели...

— Прошу экскузовать меня, Аграфена Петровна: я несколько раз хотел к вам презентоваться **, но все это время так был занят службою...

— То есть гуляли, веселились... Ну, да бог вас простит!.. Прошу покорно садиться!

Обиняков взглянул исподлобья на Мамонова, лукаво улыбнулся и взялся за свою шапку.

---

* слово (от *фр.* parole).

** явиться (от *фр.* présenter).

— А вы куда, Ардалион Михайлович? — сказала Ханыкова. — Побудьте с нами.

— Коли вам это угодно, Аграфена Петровна, — промолвил Обиняков с той же самой двусмысленной улыбкою, — так я с моим удовольствием!.. Мне торопиться некуда.

— Я приехал к вам, государыня моя, — сказал Мамонов, садясь подле хозяйки, — во-первых, для того, чтоб отдать вам мой всенижайший респект *, а во-вторых, чтоб поздравить...

— Поздравить? с чем?

— Как с чем? Ведь ваша племянница, Ольга Дмитриевна, выходит замуж.

— Оленька выходит замуж! С чего вы это взяли?

— Я слышал от верных людей.

— Помилуйте! да ее даже нет и в Москве: она уехала в деревню к своему родному дяде, Максиму Петровичу Прокудину.

— Может быть, Аграфена Петровна, вам не угодно разглашать о помолвке Ольги Дмитриевны и я поступаю весьма неполитично, говоря об этом, но, воля ваша, когда сам жених объявляет, что дело уже кончено...

— Сам жених!.. Ах, боже мой! Да неужели в самом деле Максим Петрович, не сказав мне ни слова, просватал племянницу?

— И я также, сударыня, — прервал Обиняков, — слышал кой-что об этом стороною.

— Что вы говорите?!

— Я ужинал вчера у Лаврентия Никитича Рокотова, а у него был князь Андрей Юрьевич. Они изволили немного подгулять, и Лаврентий Никитич, этак между речей, проговаривал, что свадьбы дальше Фоминой недели откладывать не должно, а то, дескать, чего доброго, тетушка как-нибудь и разобьет. От этой, дескать, Аграфены Петровны Ханыковой все станется. А ведь, кажется, сударыня, окромя вас никакой Аграфены Петровны Ханыковой в Москве нет, а у вас одна только племянница Ольга Дмитриевна.

— Возможно ли! Так это правда?

— Видно, что так.

— Да за кого же ее выдают?

— За какого-то князя, — сказал Мамонов. — Вспомнить не могу... Шпанского!.. Гишпанского...

---

* почтение (от *фр.* respect).

— Должно быть,— прервал Обиняков,— за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского.

— Да, точно так!

— Ах, бедная Оленька! — вскричала Ханыкова, всплеснув руками.— Да ведь этот Шелешпанский совершенный мужик, дурачина!..

— Так вы его знаете? — спросил Мамонов.

— Я только один раз его видела. Года два тому назад он приезжал к нам торговать деревню. Господи боже мой!.. Что за фигура, какие ухватки! А уж глуп-то как!.. Представьте себе: для первого знакомства стал нам рассказывать, как у него украли ветчину, а там принялся хвастаться своим конским заводом, да такие речи начал говорить, что я из комнаты вон ушла... И я должна буду называть этого человека моим племянником!

— А почему знать, Аграфена Петровна? Ведь насильно венчать никого нельзя; и если этот жених не понравится Ольге Дмитриевне...

— Так она будет втихомолку плакать, зачахнет с горя, а все-таки выйдет за него замуж. Вы не знаете Оленьки: ведь это ангел во плоти; ей и в голову не придет, что она может не повиноваться своему дяде. Оленька же привыкла его любить и почитать как отца родного...

— Да что ж это вздумалось вашему братцу? Неужели он не мог найти лучшего жениха для своей племянницы?

— Женишок-то, сударь, хорош,— прервал Обиняков,— четыре тысячи душ.

— Нет, тут есть что-нибудь другое,— подхватила Ханыкова.— На одно богатство Максим Петрович никогда бы не польстился.

— Богатство само по себе, да ведь не худо и то, сударыня, коли мою родную племянницу станут княгиней величать.

— И, полноте, Ардалион Михайлович! Да что такое князь Шелешпанский?

— Шелешпанский! — повторил Мамонов.— Позвольте, позвольте!.. Да у меня, кажется, в списке есть какой-то князь Шелешпанский.

— В каком списке? — спросила Ханыкова.

— А вот изволите видеть: я здесь прикомандирован к Сенату, ради того, чтоб забирать и рассылать по полкам всех дворян, которые или вовсе еще не служили, или еще в силах продолжать службу. По этой-то оказии

и выдан мне регистр разным лицам, и, помнится, в числе их... Да вот постойте — я посмотрю...

Мамонов вынул из кармана исписанный кругом лист бумаги и начал читать про себя.

— Ну да,— вскричал он,— так и есть: «Князь Андрей Шелешпанский, тридцати осьми лет, по разрядам писан был в московском жилецком войске новиком, проживает в своих отчинах и бывает наездом в Москве». Ну что — он ли это?

— Он и есть,— сказал Обиняков.

— Так не беспокойтесь, Аграфена Петровна,— продолжал Мамонов,— что будет впереди, я не знаю, но по крайней мере теперь этому князю Шелешпанскому жениться будет некогда. Да что, он в Москве? — промолвил Мамонов, обращаясь к Обинякову.

— Как же! я с ним вчера ужинал у Лаврентия Никитича Рокотова.

— А где он живет?

— Кто, сударь? Лаврентий Никитич?

— Нет, этот князь Шелешпанский?

— А кто его знает! чай, где-нибудь на подворье... Помнится, он всегда останавливается по Троицкой дороге, у Креста.

— Да это все равно. Я завтра же велю его отыскать и повестить ему, чтоб он ко мне явился.

— А что ж после будет? — спросила Ханыкова.

— Известное дело: коли еще молод и здоров, так послужи, голубчик!

— А где ж он будет служить?

— Да не опасайтесь, Аграфена Петровна, в Москве не останется. Я слышал, что он молодец собою.

— Да, сударь,— сказал Обиняков,— князь Шелешпанский человек рослый, повыше вас будет.

— Так, может статься, и к нам в Преображенский полк попадет, а не то в драгуны или в бомбардирскую роту. Не беспокойтесь, найдем место.

— Что ж, его примут офицером? — спросила Ханыкова.

— Из новиков да прямо в офицеры — помилуйте! За что? послужит и солдатом.

— Ах, бедненький!

— Ну вот уж вы о нем и жалеть стали.

— Да как же, Андрей Степанович: подумаешь, человек богатый, привык жить барином, и вдруг — ступай, служи солдатом!

— Что ж делать, Аграфена Петровна. Я, кажется, ничем его не хуже, а годика три солдатом прослужил.

— Да вы еще были тогда очень молоды, а этому князю Шелешпанскому под сорок лет.

— Вольно ж ему было до сих пор лежать на боку. Да вы не горюйте о нем, Аграфена Петровна: служба пойдет ему впрок. Он, по вашим словам, и совершенный мужик, и дурачина, а посмотрите, как мы его вышколим,— не узнаете! Будьте спокойны, Аграфена Петровна,— примолвил Мамонов, вставая,— я этим делом займусь.

— Вы уж едете? — сказала Ханыкова, также вставая.

— Мне еще надобно кой-где побывать. Да сделайте милость, государыня моя,— продолжал Мамонов, очень вежливо и с большою ловкостию, пятясь назад спиною,— не извольте принимать для меня никакой фатиги! * Останьтесь, прошу вас!

— Как это можно, Андрей Степанович,— это моя облигация **: я хозяйка, а вы мой гость.

— Вы меня конфузите, сударыня! да, по крайней мере, не извольте провожать так далеко.

— Помилуйте, что за далеко! Разве вы не знаете пословицы: «Для дорогого гостя и семь верст не околица»?

— Всенижайше прошу вас... без проводов, Аграфена Петровна!..

Однако ж Аграфена Петровна проводила своего гостя до самой передней.

— И вы также едете, Ардалион Михайлович? — сказала она Обинякову, который повстречался с нею в дверях гостиной.

— Пора, сударыня, время обеденное; чай, жена давно уж меня дожидается.

— Ну, бог с вами, только смотрите же, не забудьте о моей тяжбе.

— Как это можно! Я на этих днях непременно у вас побываю.

— Сделайте милость!

Обиняков отправился, но только не к себе на Берсеньевку, а в Зарядье, к Андрею Юрьевичу Шелешпанскому, который никак не подозревал, что над его беззащитной головою сбирается такая ужасная гроза. Этот потомок удельных князей Белоозерских останавливал-

* не утруждать (от *фр.* fatiguer).
** обязанность (от *фр.* obligation).

ся обыкновенно в одном из самых худших постоялых дворов Зарядья. Он занимал три небольшие покоя, или, вернее сказать, одну грязную запачканную комнату, разделенную натрое дощатыми перегородками. Первая комната служила лакейскою для двух холопей, которые, судя по их тощей наружности, были великие постники; во второй — князь Андрей Юрьевич принимал своих гостей, а в третьей, более похожей на теплый чулан, чем на комнату, он изволил спать ночью и отдыхать после обеда на высокой лежанке, которой недоставало только полатей, чтоб походить совершенно на самую простую крестьянскую печь. Нечаянный приезд Обинякова помешал любимому занятию князя Шелешпанского: он считал свои деньги, отбирал к стороне истертую мелочь и чистил кирпичным порошком серебряные рублевики.

— Ах, батюшка Ардалион Михайлович,— вскричал он.— Как ты меня захватил!.. Сейчас... сейчас!.. Сочту после,— продолжал он, всыпая торопливо деньги в кожаную суму и кладя ее за пазуху.— Что это тебе вздумалось?

— Да надобно кой о чем поговорить с вами.

— Поговорить! О чем? Уж не хочешь ли опять торговать моих саврасых?

— Нет, сударь, дорого просите.

— Дорого?.. Что ты, Ардалион Михайлович, побойся бога! За эту цену у меня их с руками оторвут. Таких коней на свете мало: трехвершковые казанки — да ведь это диковинка, любезный!.. Им на охотника и цены нет. Вот у меня была — давно уж, еще до покражи моей ветчины — такая же пара, так я взял за нее двести рублев чистоганом, да еще жеребчика в придачу, вот того самого, что я продал Опухтину за персидского аргамака.

— Да не о том речь, князь Андрей Юрьевич. Я приехал с вами поговорить о деле нешуточном. Во-первых, честь имею поздравить вас с невестою...

— С какою невестою?

— А как же?.. Ведь вы женитесь на племяннице Максима Петровича Прокудина.

— Кто это тебе сказал?

— Помилуйте, об этом вся Москва говорит.

— Неужели?.. Да от кого же это вышло?

— Видно, вы сами как-нибудь проговорились.

— Я только сказал об этом одной Федосье Игнатьевне Перепекиной... Ты знаешь ее?

— Сваху Игнатьевну? Как не знать! Ну, батюшка, нашли человека! Да вы бы еще взлезли на Ивана Великого да ударили в успенский колокол!

— Так это Игнатьевна разболтала?.. Ах она чертова тетка!.. А ведь как божилась, проклятая!.. «Никому, батюшка, не скажу, видит бог, не скажу! Отсохни у меня правая рука по локоть, коли я кому ни есть хоть словечко вымолвлю!» Ну, делать нечего!.. Да и то сказать, пускай себе говорят, что князь Андрей Юрьевич Шелешпанский женится на Ольге Дмитриевне Запольской... Эка беда! Что она, краденая, что ль, какая?.. Невеста богатая...

— Так, сударь, так! Да вот изволите видеть: я сейчас был у ее тетушки...

— Аграфены Петровны Ханыковой?

— Да, князь. Ей при мне об этом сказали... Батюшки светы! Она так на стены и полезла... «Не хочу, да и только!»

— Вот еще! Да ей-то какое до этого дело? она тут ни при чем.

— Помилуйте, родная тетка!..

— Так что ж? Не приедет ко мне на свадьбу?.. Да пожалуй себе не езди! Кума с возу, возу легче!

— Это бы ничего, князь, да у нее есть приятель, гвардейский офицер, Андрей Степанович Мамонов...

— Эка важность! Велика фря, гвардейский офицерик... Да что он мне сделает?

— Ну, сударь, не говорите! Знаете ли, зачем прислали в Москву этого Мамонова?

— А кто его знает.

— Ему указано от царя забирать и рассылать по полкам всех неслужащих дворян.

— Всех? как всех?

— Ну, вестимо дело, сиречь тех, которые еще молоды и здоровы, а пуще-то всего молодых дворян, которые писаны были в новиках, а службы никакой не несли.

— Батюшка Ардалион Михайлович,— вскричал князь Шелешпанский, побледнев как полотно,— да ведь этак, пожалуй...

— Да, князь, и до вас доберутся. Этот Мамонов читал при мне список дворян, которых потребуют на службу, а в нем и ваше имечко есть.

— Что ты говоришь?

— Был, дескать, писан в московском жилецком войске новиком, тридцати осьми лет; живет, дескать, пра-

здно в своих отчинах и доселе облыжно показывал, что он человек недужный.

— Так и написано?

— Так, сударь. Я поспешил вас об этом уведомить, потому что завтра, а может быть и сегодня вечером, пришлют за вами.

— Неужели пришлют?

— Непременно.

— Ну, а коли я не поеду?

— Нельзя: возьмут насильно.

— Неужели насильно?

— А вы думаете, кланяться вам станут?..

— Ах ты, господи!.. Вот дело какое!..

— Кажись, этот Мамонов,— продолжал Обиняков,— очень желает угодить Аграфене Петровне. Он при мне говорил: «Уж вы не беспокойтесь, матушка: князь Шелешпанский не женится на вашей племяннице». Да еще как похвалялся, разбойник! Я, дескать, этого женишка ушлю туда, куда ворон и костей не заносил.

Бледное лицо князя Андрея Юрьевича покрылось багровыми пятнами, холодный пот выступил на лбу; он вскочил со стула и начал как шальной бегать по комнате, повторяя шепотом:

— Куда ворон костей не заносил! Вот тебе на!.. Фу ты, нелегкая!.. Эка притча, подумаешь!.. Да что же этот проклятый Мамонов говорит,— промолвил он наконец, остановясь напротив Обинякова,— меня опять, что ль, новиком запишут?

— Какие, сударь, теперь новики! Об них давно нет и в помине. Вас запишут в драгуны или в какой ни есть пехотный полк солдатом.

— Как солдатом?

— Да так! бороду обреют, наденут на вас лямку...

— Солдатом!.. Да ведь солдат-то бьют?

— Бьют, сударь.

— Да ведь этак, пожалуй, не ровен час, и меня палочьем вздуют?

— Вздуют, батюшка.

— Ах ты, господи! — завопил Шелешпанский.— Отцы мои!.. Сударики!.. Кормильцы!.. Да что ж мне делать?

— Я вам, батюшка князь, объявил об этом заранее; а уж там как сами знаете.

— Постой, Ардалион Михайлович! Знаешь ли что?.. Дай-ка я себе растравлю руку или ногу...

— Так что ж? вас отвезут в лазарет, сиречь в казенную больницу, а там как раз вылечат.

— Эко дело, подумаешь! куда ни кинь, все клин!.. Да нельзя ли хоть деньгами откупиться?..

— Деньгами? Нет, сударь, не такой человек этот Мамонов, его не подкупишь.

— И что ты, Ардалион Михайлович! Да кто же себе злодей? Станут мне деньги давать, а я не возьму?

— Вы дело другое, сударь: вы человек умный, а этот Мамонов что? шалопай, мотыга,— ему деньги нипочем. Да и что вы ему дадите? ведь он богаче вас.

— Неужели?.. Ну, пропала моя головушка!.. Коли нельзя и деньгами взять, так делать-то нечего, ложись да умирай!

— Оно конечно,— молвил Обиняков, помолчав несколько времени,— дело-то плоховато... Тут надобно, чтоб и волки были сыты, и овцы целы... Разве подняться на какие-нибудь хитрости?

— Ах, друг сердечный! — прервал Шелешпанский,— сделай милость, дай, батюшка, ума... приставь голову к плечам!

— Вот то-то, князь Андрей Юрьевич, теперь дай ума, приставь голову к плечам! А как в прошлом месяце я просил у вас взаймы двадцать пять рубликов, так и денег нет!

— Право не было!.. Видит бог, не было!

— А теперь, кажется, есть: вы при мне считали. Одолжите, сударь, пятьдесят рублей, мне крайняя нужда.

— Да ведь это деньги-то не мои.

— Ну, коли не ваши, так и говорить нечего. Счастливо оставаться, батюшка!

— Постой!.. Куда ты?

— К Аграфене Петровне Ханыковой: она, верно, не откажет мне в пятидесяти рублях, барыня богатая...

— Помилуй, да на что тебе пятьдесят рублей?.. Ну, двадцать пять рублей куда ни шло! — продолжал Шелешпанский, вынимая из-за пазухи мешок с деньгами.

— Премного благодарю, батюшка князь, да мне этого мало, и коли пришлось занимать, так лучше занять у одного приятеля, чем у двоих... Прощенья просим, Андрей Юрьевич!

— Постой, постой! Ну, Ардалион Михайлович, недаром говорят, что ты крапивное семя! На, вот тебе, считай,— промолвил князь, высыпая деньги на стол,—

возьми себе пятьдесят рублев... Да ведь ты мне их отдашь?

— Как же, князь! — отвечал Обиняков, отсчитывая себе пятьдесят рублевиков.— Непременно отдам, когда будут деньги... Ну, спасибо вам, князь Андрей Юрьевич,— помогли бедному человеку в нужде! — продолжал Обиняков.— Теперь мы поговорим о вашем деле. Коли забирают на службу всех дворян, так это потому, батюшка, что у нас война с турком, а вот как сделается с ним замирение, так тревожить никого не станут и дела-то пойдут по-прежнему. Нам бы только с вами как ни есть время протянуть, а там, господь милосерд, все будет шито да крыто. Вся сила в том, князь Андрей Юрьевич, чтобы вы к Мамонову не являлись и чтоб вас, несмотря на это, нельзя было назвать ослушником.

— Да как же ты это сделаешь?

— А вот как: коли вы не знаете, что он вас требует, так вам нечего к нему и являться,— не правда ли?

— Ну, вестимо! да ведь ты сказал, что по меня пришлют?

— За вами пришлют завтра, а вы уезжайте в деревню сегодня, да только не в ту, в которой всегда живете. Я слышал, что у вас около Москвы много отчин.

— Как же, все мои отчины около Москвы, одних сел до десяти будет.

— И все по разным дорогам?

— Все по разным: и по Тверской, и по Коломенской, и по Серпуховской, и по Владимирке есть, и по Остромынке...

— Ну вот изволите видеть!.. Поезжайте теперь в какую-нибудь отчину, а здесь оставьте верного человека. Лишь только я узнаю, что Мамонов проведал, где вы живете, я к вам тотчас гонца. Незваные-то гости на двор, а ваш и след простыл! «Уехал, дескать».— «Куда?» — «Да бог весть — не то в Москву, не то в коломенскую отчину». А вы переезжайте в серпуховскую, а коли надобно будет, так в другую, в третью, а там в четвертую,— устанут за вами гоняться. Ну, а если каким ни есть случаем вас и захватят, так что ж? «Я, дескать, не знал, что меня требуют, и от царского указа не прятался; а ездил по моим отчинам». Да и как вас захватить? Я буду здесь сторожить, и коли вы сами зевать не станете, так будь этот Мамонов хоть семи пядей во лбу, а все-таки на своем не поставит. Ему же и без вас дела-

то будет довольно, погоняется за вами, а там, глядишь, плюнет да скажет: «Черт его побери совсем!»

— Ну, Ардалион Михайлович, головка-то у тебя...

— Годится покамест, батюшка.

— Только вот что: как же я женюсь? Ведь свадьбе положено быть на Фоминой неделе.

— Здесь, в Москве?

— Нет, в серпуховской отчине Максима Петровича Прокудина.

— Так что ж? тем лучше: в чужом селе и подавно вас искать не станут. Да еще до Фоминой недели много воды утечет, лишь только бы на первых-то порах вы не попались в лапы этому Мамонову. Известное дело: новая метла всегда чисто метет; теперь он сгоряча и рвет и мечет, а там, бог милостив, уходится, голубчик! Только уж вы не мешкайте, батюшка, уезжайте скорей из Москвы.

— Чего мешкать... Эй, Фомка!.. Сидорка!

Двое слуг вошли в комнату.

— Скажите Андрону,— продолжал Шелешпанский,— чтоб скорей запрягал лошадей, мы сейчас едем. Ты, Сидорка, поедешь со мною, а ты, Фомка, останься здесь.

— Слушаю, батюшка! — отвечал Фомка с низким поклоном.

— Найми себе какой-нибудь уголочек, да смотри — подешевле! Харчевых я тебе оставлю. Будет с тебя копейки по две на день?

— Воля твоя, государь князь Андрей Юрьевич.

— Чего ж еще тебе?.. Скоро пост. Был бы только хлеб, а за водой и сам на реку сходишь. Смотри, каждый день являйся к Ардалиону Михайловичу и что он тебе прикажет, то и делай — слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступайте же, помогайте Андрону запрягать лошадей, а я стану здесь укладываться. Да у меня смотри — живее!

— Прощайте, князь Андрей Юрьевич,— сказал Обиняков, вставая,— мы, кажется, все порядком уладили, теперь вам бояться нечего.

— Нет, Ардалион Михайлович, боюсь, крепко боюсь!.. Как подумаю об этом Мамонове, так меня вот так трясучка и начнет бить... У, батюшки, страсть какая! пожалуй, еще пошлют под турка...

— Вестимо дело! теперь с ним война, об этом уж и манифест объявлен.

— А ведь там, говорят, людей-то до смерти бьют.
— Да, батюшка, по головке не гладят.
— Вот то-то же!.. Уж ты сделай милость, Ардалион Михайлович, не зевай ради бога! Лишь только узнаешь что-нибудь, мигом посылай ко мне Фомку.
— Да куда ж посылать-то?
— По Смоленской дороге, в село Сысоево: я теперь туда поеду.
— Так оставьте ж ему деньги на езду.
— Зачем? Дойдет и пешком: ведь всего только пятьдесят верст.
— Ну вот еще!.. Он пойдет пешком, а команда от Мамонова поедет на подводе,— что вы это!
— Да ведь он у меня ходок.
— Эх, князь, вот нашли время алтынничать. Ведь дело-то нешуточное!
— Ну, хорошо, хорошо!
— Прощенья прошу, князь Андрей Юрьевич... Ну что, сударь, послужил ли я вам?
— Как же, любезный! — сказал Шелешпанский, посматривая с горем на свой кожаный мешок с деньгами.— Ах ты, мошенник этакий! — прошептал он, когда Обиняков вышел вон из комнаты.— Послужил!.. Ну за что содрал с меня пятьдесят рублей?.. Отдам, дескать, когда деньги будут! Да когда у тебя деньги-то бывают, голь проклятая!.. А там еще для Фомки лошадей нанимай, плати за его харчи... Вот не было печали, да черти накачали! — промолвил князь Андрей Юрьевич, начиная укладывать в чемодан свое добро.— Эка притча какая!.. Копишь, копишь деньги: не доешь, не допьешь, сбираешь по копеечкам; а как пришла беда, так рубли нипочем!.. Ну, нечего сказать, выдался денек!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

«Летом деревня — рай»,— говорят все любители сельского быта, и в этом я с ними совершенно согласен; разумеется, если деревня, в которой я провожу лето, окружена рощами, а не голою степью, и перед моим веселым домиком расстилается не грязный, подернутый зеленью пруд, но изумрудный луг, усыпанный цветами, между которыми вьется игривая и светлая речка. О, ко-

нечно, такой сельский приют не грешно назвать земным раем, только не приведи господи жить в этом раю зимою, а особливо человеку несемейному. Если он не умрет со скуки, то, уж конечно, можно сказать утвердительно, что люди от скуки не умирают. Вот, например, ночью подымется погода; вы просыпаетесь поутру, протираете глаза и думаете: «Неужели еще ночь?» Нет, на дворе уж полдень,— да ваш дом занесло метелью, и огромные сугробы снега лезут к вам прямехонько в окна. Если иногда проглянет солнышко и улыбнется по-летнему,— не спешите к нему навстречу, потому что на дворе уж верно трескучий мороз. Полюбуйтесь этим солнышком сквозь двойные стекла и оставайтесь попрежнему в натопленных комнатах, в которых мы все, как тепличные растения, должны прозябать большую часть нашей жизни. Если, наконец, вам надоест это искусственное тепло и вы захотите подышать свежим воздухом, надевайте на себя шубу, шапку, теплые сапоги и ступайте гулять, то есть ходить взад и вперед по утоптанной тропинке, которая ведет от барского дома к селу. Вероятно, эта прогулка не принесет вам большого удовольствия,— напротив, вам сделается очень грустно. Посмотрите вокруг себя: неужели эти голые, огромные метлы были когда-нибудь роскошными пушистыми деревьями, под тенью которых вы с таким наслаждением отдыхали в знойный полдень? Неужели это однообразное белое поле, эти наносные бугры снега, эти непроходимые сугробы — тот самый луг, на котором вы рвали цветы? А эта изгибистая дорожка, прорезанная глубокими колеями, та самая речка, в которой вы купались несколько месяцев тому назад? Согласитесь, что лучше сидеть дома, в теплой комнате, чем мерзнуть и смотреть на эти мертвые деревья, засыпанные снегом поля и это безжизненное солнце, которое, вместо тепла, обдает вас холодом. Но что ж вы будете делать дома? Читать беспрестанно нельзя: и голова устанет, и глаза заболят; а общества в деревне нет. Бывают иногда соседи, да и тут беда: на одного умного приятного собеседника заберется к вам с полдюжины таких приятелей, для которых в городе ваши двери были бы всегда заперты, а тут отворяйте их настежь. Деревенский быт имеет свои собственные условия и законы. В городе вы можете одного гостя принять, а другому сказать, что вас нет дома,— попытайтесь это сделать в деревне... Да сохрани господи! вас закидают каменьями!.. Нет, круглый

год жить в деревне можно только там, где солнце греет и зимою, где я могу и в декабре месяце открыть окно, сорвать на лугу цветок, покататься в лодке и отдохнуть под тенью густого дерева, покрытого зелеными листьями.

Вероятно, в старину зимняя деревенская жизнь была еще скучнее. Наши предки не знали этих отрадных минут, которыми дарят нас умственные занятия: словесность, музыка и все изящные художества; ничем не сокращаемые длинные зимние вечера должны были им казаться бесконечными. Вы можете судить поэтому, как весело было жить Ольге Дмитриевне в деревне Максима Петровича Прокудина. Бедная девушка тосковала, как ручная птичка, которая побывала на воле, полетала под открытым небом, полюбовалась на свет божий и потом попала опять в ту же самую тесную клетку, в которой томилась почти со дня своего рождения. Чтоб не зачахнуть с тоски, она старалась забыть о своем настоящем положении; изредка, да и то с какою-то безнадежной грустью, мечтала она о будущем; но зато беспрестанно думала о прошедшем, то есть о том счастливом времени, которое она провела в Москве, у своей тетки. Как часто, сидя за рукодельем, она переносилась мыслию на эти веселые ассамблеи Гутфеля, у которого в первый раз встретился с нею Василий Михайлович Симский. «Где он теперь? — думала Ольга Дмитриевна.— Помнит ли меня?.. Ах, нет! я чай, давно уж забыл!.. И зачем ему обо мне помнить? Может быть, мы уж век не увидим друг друга... Да и мало ли на белом свете девиц милее и пригожее меня... И что это мне казалось, что будто бы он... Да нет, если бы я пришла ему по сердцу, так уж верно бы он за меня посватался... Правду говорила тетушка: «Эти гвардейские офицеры — что им! Им бы только в Москве погулять, повеселиться да посмеяться над бедными московскими барышнями...» Так зачем же я беспрестанно о нем думаю? Отчего он мерещится мне и днем и ночью? Может быть, он теперь ухаживает за какой-нибудь красавицей... смотрит ей в глаза... любуется ею, а я... О, слава богу, что это моя заветная тайна!.. Ну, если б кто узнал об этом? Избави господи!.. Да мне бы тогда стыдно было и на людей смотреть!.. Нет, не стану о нем думать — забуду его!..» — повторяла про себя Ольга Дмитриевна, потом начинала плакать, тосковать и принималась снова думать о Симском.

В летнее время кругом Максима Петровича Прокудина жило много соседей. В десяти верстах от него была отчина Лаврентия Никитича Рокотова, несколько подалее — поместье Герасима Николаевича Шетнева и в весьма близком расстоянии пять или шесть господских усадеб, принадлежащих по большей части богатым помещикам; но зимою они все уезжали в Москву, за исключением только двух, которые жили безвыездно в своих деревнях. Один из них, бывший некогда комнатным стольником царя Алексея Михайловича,— Антон Кондратьевич Чередеев, дряхлый старик, разбитый параличом; другой — помещик тридцати душ, Карп Саввич Пыжов, служивший при царе Феодоре Алексеевиче городским дворянином в Серпухове, лысый старик, весьма некрасивой наружности, не слишком грамотный, но человек очень добрый и простодушный. Этот мелкопоместный дворянин вместе с приходским священником села Вздвиженского, отцом Филиппом, составляли зимою единственное общество Максима Петровича. К ним можно было присоединить и дворецкого, Прокофия Сидорыча Кулагу, который принимал иногда участие в общих разговорах, играл в шашки с барином, толковал с Карпом Саввичем Пыжовым о старине и осмеливался даже, как человек начитанный, рассуждать с отцом Филиппом о разных духовных предметах, в особенности о древних церковных книгах, которым он, несмотря на свое православие, отдавал явное преимущество перед новыми. Ольга Дмитриевна редко находилась при этих беседах. Она тотчас после обеда уходила в свою комнату, сначала принималась за работу, а там, покинув свое рукоделье, сидела иногда по нескольку часов сряду в каком-то забытьи и думала, разумеется, о том, о чем столько раз закаивалась думать. Так прошел весь великий пост. Вот, наконец, «эта седая чародейка», русская зима, понатешилась вдоволь; повеял весенний ветерок, зашумели снежные потоки, вода хлынула с гор, и все поля покрылись бесчисленным множеством быстрых ручейков. Вот появился первый гость весны, голосистый жаворонок, и начал перепархивать с одной проталинки на другую. Прошло еще несколько дней, и настал великий праздник божий, и весь русский мир закипел жизнию и весельем. Казалось, что вместе с Христовым воскресеньем воскресло все — и люди и природа. Холмы опушились зеленью, озимые поля, сбросив свой снежный покров, разостлались роскошными коврами,

На всех лицах сияла радость, все дышало любовью, и все, встречаясь друг с другом и восклицая: «Христос воскресе», обнимались, как родные братья.

В светлое воскресенье Максим Петрович, по старинному русскому обычаю, разговелся за одним столом со всеми своими *домочадцами,* потом вышел с Ольгой Дмитриевной на крыльцо, поклонился всему *миру,* который собрался на его барский двор, и перехристосовался поодиночке со всеми крестьянами, из которых каждый принес своим господам по красному яичку. К обеду Максим Петрович поджидал своего соседа Пыжова, но он не приехал. На другой день праздника, когда Прокудин садился за стол вдвоем с своей племянницей, Карп Саввич вошел в столовую.

— А, соседушка любезный,— вскричал Максим Петрович,— Христос воскресе! Милости просим откушать нашего хлеба и соли!

Пыжов облобызался с Прокудиным, с Ольгой Дмитриевной, со всеми служителями, которые на ту пору были в комнате, перекрестился и сел за стол.

— Что это, друг сердечный,— сказал Максим Петрович,— за что такая немилость? Когда это бывало, чтоб ты не обедал у меня в светлое воскресенье?

— Что ж делать, батюшка! — отвечал Пыжов, кушая, с прохладой и с расстановкою, сытную похлебку из гусиных потрохов.— Я и сам не чаял этого. Уж я отговаривался, отговаривался, да он пристал ко мне, как с ножом. «Ты, дескать, мой прихожанин, зачем тебе ехать к Максиму Петровичу? разговейся у меня, а к нему и завтра поедешь».

— Да о ком ты говоришь?

— О Лаврентии Никитиче Рокотове.

— Как? да разве он здесь?

— Здесь, батюшка. Третьего дня изволил приехать в свою отчину и завтра собирается к тебе.

— Милости просим.

— Ну, батюшка, дай бог ему много лет здравствовать! потешил он меня, старика.

— А что?

— Да вот что, Максим Петрович: глаза-то у меня становятся больно плохи; уж чего, кажется, крупнее акафистов киевской печати,— и те с грехом пополам читаю; что ж, он, мой кормилец, привез мне из Москвы какие-то стеклянные наглазники...

— Сиречь очки?

— Да, сударь, по-иноземному — окулары; знаешь, этак на нос надеваются. Немецкая выдумка, батюшка, а, нечего сказать, хитро придумано.

— Что ж, тебе в них лучше?

— Как же, батюшка, свет увидел!

— Вот что! Так стекла-то пришли тебе по глазам?

— Да как бы тебе сказать... не очень по глазам. Сначала все как будто бы застилало, да я фортель нашел.

— Какой фортель?

— А вот какой: как я начну читать, так книгу-то держу подальше, а наглазники спущу пониже да через них и смотрю. Ну, этак хорошо!.. Что ж ты, батюшка Максим Петрович, смеешься?.. Право так!

— Ах ты голова, голова! Да коли ты через них смотришь, так на что ж они тебе?

— Ну вот, поди ты! Я и сам в толк не возьму; а лучше, право лучше!.. Видно, уж так хитро устроено, и князь Андрей Юрьевич Шелешпанский тоже говорит: «Знать, дескать, тут есть пружина какая-нибудь».

— Князь Шелешпанский? так и он здесь?

— Как же, батюшка!.. Приехал погостить к Лаврентию Никитичу. У него здесь недалеко и своя отчина есть. Фу, батюшки, богат!.. Куда ни поезжай кругом Москвы, все его отчины! И сам-то он какой молодчина!.. Вот бы тебе, государыня Ольга Дмитриевна, женишок! То-то была бы парочка!

— Что вы это, Карп Саввич,— прервала Запольская,— охота вам говорить!

— А что ж, матушка? ты у нас девица на возрасте, невеста.

— Да полноте, как это вам не стыдно!

— Да что ж тут стыдного, Ольга Дмитриевна? Дело житейское. Не век же тебе сидеть в девках.

— А вам-то что до этого? — сказала с улыбкою Ольга Дмитриевна, стараясь обратить этот разговор в шутку.

— Как что, матушка? — подхватил Карп Саввич.— Да ведь ты наше красное солнышко; мы все бога молим, чтоб он послал тебе суженого роду знатного, богатого, молодца собою и чтоб он человек-то был добрый. Ну кто говорит, и ты у нас, Ольга Дмитриевна, невеста первостатейная: и красотой, и умом, и богатством — всем наделил тебя господь. Да и князь-то Шелешпанский не другим чета. Такие женишки, каков он, и в старину за углами не валялись, а теперь, не прогневайся, матушка,

в сапожках ходят! Человек смирный, молодец собою, и, легко вымолвить — четыре тысячи душ! А в кладовых-то, говорят, отцовское серебро так ворохами и навалено; одних серебряных братин десятка два наберется, а разным кубкам, ковшам и позолоченным чаркам счету нет!.. Так как же, матушка, не пожелать тебе счастья, а нам, старикам, радости; то-то бы попировали на твоей свадебке!.. Ну, вот уж ты и нахмуриться изволила!.. А за что, матушка?.. Ведь это я любя говорю...

— Я очень вам благодарна, только сделайте милость...

— Ну, хорошо, сударыня, хорошо. Мы теперь об этом говорить не станем, эта речь впереди... Да я же, видит бог, ни с чего другого об этом заговорил, а так, матушка, к слову пришлось... И то правда,— промолвил вполголоса Пыжов, обращаясь к хозяину,— дело девичье!.. Ушки-то у них золотом завешены, и слышат, да не слышат, и любо, да не скажут!

После обеда Карп Саввич пошел отдохнуть. Ольга Дмитриевна хотела также уйти к себе в комнату, но дядя приказал ей остаться, посадил подле себя, приласкал, потом, помолчав несколько времени, сказал:

— Послушай, Оленька, ведь Карп Саввич-то дело говорил, и если б князь Андрей Юрьевич Шелешпанский за тебя посватался...

— Ах, что вы, дядюшка! — вскричала Запольская.

— А что, мой друг?.. И я также тебе скажу: ты уж, матушка, невеста,— не век же тебе в девках сидеть.

— Нет, дядюшка, я не хочу с вами расставаться.

— И я этого не хочу, мой друг. Да в том-то и дело: если б ты вышла замуж за князя Андрея Юрьевича, так мы бы никогда с тобой не расстались; он переехал бы на житье в здешнюю свою отчину, вы стали б ездить ко мне, я к вам...

— Да отчего вы думаете, дядюшка, что этот князь...

— За тебя посватается? А почему знать?.. Конечно, он жених недюжинный, да ведь Карп-то Саввич и про тебя правду сказал: таких невест, как ты, в Москве не много наберется... Ну что, мой друг, коли он в самом деле за тебя посватается?..

— Избави господи!

— Что ты, что ты, Ольга Дмитриевна? Да уж это, не прогневайся, глупо! Ты его в лицо не знаешь, тебе говорят, что он молодец, ты слышишь о нем речи все хорошие и, ничего не видя, руками и ногами!.. Как буд-

то бы тебя за какого-нибудь старого черта выдают замуж!

— Ах, дядюшка! бога ради, не выдавайте меня замуж! И зачем вам торопиться?.. Я еще так молода...

— Да я-то стар, мой друг, и мне бы очень хотелось пристроить тебя, пока еще жив. На сестру у меня плохая надежда. Конечно, она баба добрая, да — не при тебе будь сказано — вовсе свихнулась: из русской барыни сделалась немкою да и тебя было совсем онемечила. Как подумаю, что бы сказала покойница твоя мать, если б ты при ней поехала на пирушку к этому еретику Гутфелю?.. И зачем?.. Чтоб поплясать там с каким-нибудь колбасником или сорванцом, гвардейским офицериком, для которого что ты, благородная и честная девица, что какая-нибудь разбитная немка — все едино. Ну, да что об этом говорить: кажись, бог милостив,— я успел еще в пору выручить тебя из этого омута... Не по грехам наказал меня господь: ты все еще моя разумница, моя послушная и добрая племянница — милое дитя мое!.. Не правда ли, мой друг, ты все еще любишь меня, как отца родного?

— О, конечно, как отца родного! — вскричала Ольга Дмитриевна, обнимая своего дядю.— И вам не грешно меня об этом спрашивать?

— Эх, Оленька! ты ведь человек молодой, а там, я думаю, чего тебе в уши-то не напевали? Да вот, примером сказать, кабы ты не жила у своей тетки, так, верно, бы не стала говорить, что не хочешь замуж идти, а, по русскому благочестивому обычаю, отвечала бы мне: «Воля ваша, дядюшка!..» Хочешь ли, я тебе скажу, что ты теперь думаешь? «Да зачем мне идти замуж? Мне и в девках не скучно. Вот поеду опять к тетушке, начну веселиться, ездить по пирушкам...» Да нет, Ольга Дмитриевна, ты напрасно это думаешь: не отпущу я тебя на житье к тетке, не видать тебя московским коршунам, моя чистая белая голубушка!.. Эх, что я говорю!.. Вот годика через три, как ты войдешь в совершенные лета, будешь полною госпожою, так, может быть, сама покинешь своего дряхлого дядю. «Пусть, дескать, этот старый ворчун умирает здесь на чужих руках, а я поеду в Москву плясать да веселиться у немца Гутфеля!»

Ольга Дмитриевна заплакала.

— Ну вот уж и в слезы! — проговорил Максим Петрович встревоженным голосом.— Ох эти мне слезы! И откуда они у тебя берутся?.. Да полно же, мой друг,—

продолжал он, лаская свою племянницу,— не плачь, жизнь моя!.. И о чем тут плакать?.. Ведь это так — простой разговор!

— И вы могли сказать, дядюшка,— молвила сквозь слезы Ольга Дмитриевна,— что я покину вас на старости!..

— Ну, виноват, моя радость, виноват! прости меня, бога ради!.. И как это непригожее слово сорвалось у меня с языка!.. Вот то-то и есть, друг сердечный, коли человек одинокий доживет до старости, так ему подчас и бог весть что придет в голову!.. Ну, ступай, моя душа, к себе; мне пора уж отдохнуть, и ты также приляг, успокойся... Да полно же — перестань!.. Эх, худо дело,— прошептал Максим Петрович, покачивая головою и глядя вслед за уходящей племянницей.— Уж не опоздал ли я тебя увезти из Москвы?.. Кто говорит: здесь житье скучнее московского, да от скуки этак не плачут... Ох мне этот гвардейский фенрик!.. Хорошо еще, что племянница не знает, что он за нее сватался.

ГЛАВА II

На другой день, то есть во вторник на святой неделе, дворецкий и приказчик Максима Петровича, Прокофий Сидорович Кулага, выехал на тележке осмотреть барские поля, которые тянулись версты на три по обеим сторонам большой Серпуховской дороги.

— Эка благодать божья! — шептал он про себя, посматривая с радостию на яркую и густую зелень озимых полей.— Что, брат Ферапонт,— молвил он, обращаясь к седому старику, который правил лошадью,— каковы всходы?

— Да, батюшка Прокофий Сидорыч,— отвечал старик,— из годов вон!.. Давно я живу на свете, а таких озимей не видывал! Нечего сказать: коли господь не нашлет какой невзгоды, так будем с хлебцем.

— Ферапонт,— прервал Кулага,— посмотри, что это впереди-то... на большой дороге... вон там из-за горки... кажись, кто-то скачет.

— Да, Прокофий Сидорыч, два вершника... А вон за ними катит кто-то на тройке вороных.

— В телеге?

— Нет, батюшка: кажись, в одноколке.

— Э, да это никак Лаврентий Никитич Рокотов!

— Он и есть, Прокофий Сидорыч. Вон передний-то вершник, на саврасом коне, куманек мой, Фомка Дерюгин.

Когда одноколка поравнялась с Прокофьем Кулагою, он спрыгнул с телеги и снял шапку.

— Постой! — закричал Рокотов.— Здорово, Кулага! Христос воскресе!

— Воистину воскресе, государь Лаврентий Никитич! — отвечал Прокофий с низким поклоном.

— Что, барин твой здоров?

— Слава богу, сударь.

— Гостей у него нет?

— Никого нет, батюшка.

— Хорошо. Пошел!

Минут через пять Максим Петрович встретил своего гостя на крыльце. После обыкновенных дружеских приветствий и лобызаний Лаврентий Никитич сказал Прокудину:

— Ну вот, друг сердечный, мы, кажись, не запоздали. Готов ли ты, а мы, пожалуй, хоть накануне Фомина понедельника нагрянем к тебе со всем поездом.

— Помилуй,— прервал с приметным смущением Прокудин,— что это тебе так загорелось, любезный? До другого-то поста еще далеко.

— Эх, Максим Петрович, или ты не знаешь русской пословицы: «Куй железо, пока горячо»? Чего тут мешкать? Дальше в лес, больше дров. Мы с тобой по рукам ударили, жених налицо...

— Так что ж? Пусть он погостит у тебя неделек пять или шесть.

— Что ты, друг сердечный, легко вымолвить: шесть недель! Да ты этак моего парня вовсе замаешь: он так и бредит твоей Ольгой Дмитриевной. Хочешь верь, хочешь нет, а видит бог — исхудал! Бывало, живет безвыездно в своей коломенской отчине, а теперь ему на месте не посидится: поживет в одном селе недельки две, а там переедет в другое, из другого — в третье, словно его кто-нибудь гоняет. Тоска, дескать, одолела, хлеба лишился!

— Да отчего ж, любезный? Ведь он моей племянницы и в глаза не видывал.

— Ну вот поди ты!.. Видно, уж я не путем ее расхвалил. Нет, Максим Петрович, откладывать нечего. Уж коли ты со мной порешился, так чем скорей, тем лучше.

— А бог весть, любезный! Как поспешишь, да людей насмешишь.

— Как так?

— Да так! Я вчера пытался сторонкою намекнуть об этом племяннице...

— Ну что ж она?

— И руками и ногами!

— Чай, прежде хочет посмотреть своего жениха?

— Нет, об этом и речи не было.

— Так из чего ж она упрямится?

— Из чего? вот в том-то и дело, друг сердечный. Ты говоришь, что князь Андрей с тоски умирает по моей племяннице, и она все тоскует да плачет, только, кажись, не о нем.

— Что ты говоришь?

— Да, любезный. Помнишь, ты мне рассказывал об этом гвардейском фенрике, сиречь прапорщике, который познакомился с нею у немца Гутфеля?

— Как же! Василий Михайлович Симский, племянник Данилы Никифоровича. Оба хороши — и племянник и дядюшка! Ты знаешь, что этот старый черт оскоблил себе бороду?

— Знаю, знаю!.. Да это что! У всякого свой царь в голове. Захотел осрамить себя на старости — его воля! А вот что худо, Лаврентий Никитич: мне сдается, что этот Симский не в добрый час свел знакомство с племянницею.

— А что?

— Вестимо что: Симский — молодец, собою красавец...

— Да неужели ты думаешь, Максим Петрович, что племянница твоя до того забыла весь девичий стыд...

— Что, не спросясь меня, полюбила этого Симского?.. Эх, Лаврентий Никитич! И не хотелось бы этого думать, да думается.

— И, полно, друг сердечный! Может ли статься, чтоб воспитанная в благочестивом доме, благородная и разумная девица полюбила заезжего детину, который сегодня здесь, а завтра бог весть где!.. Да и он, чай, вовсе о ней не думает. Ведь эта петербургская молодежь на наших московских барышень и смотреть не хочет. Вот кабы он посватался за твою племянницу...

— Да то-то и беда, любезный, что он сватался.

— Неужли?

— Да, Лаврентий Никитич! дядюшка его, Данила Никифорович, сам изволил сватом приезжать.

— Ну что ж, ты его порядком отбоярил?

— Да. Я сказал наотрез, что этому не бывать.

— А Ольга Дмитриевна знает, что Симский за нее сватался?

— Как это можно! ее на ту пору и дома не было.

— Да Аграфена-то Петровна не сказала ли об этом племяннице?

— Сохрани господи!.. Хоть она и очень поглупела, а все еще настолько-то у ней в голове толку есть, чтоб понапрасну девку не тревожить.

— Полно, так ли?

— Уж я тебе говорю. Сестра мне сама сказала, что она об этом Оленьке никогда не заикнется. Уж если, дескать, ей, бедной, не суждено быть за Симским, так лучше вовсе не знать, что он хотел на ней жениться.

— Ну, коли ты правду говоришь, так это еще дело поправное.

— И я то же думаю, только надобно за него умненько взяться. Круто повернешь — хуже будет, любезный! Теперь, может статься, она частехонько думает об этом Симском, а как пройдет месяц-другой, так дурь-то понемногу из головы выйдет.

— Эко дело, подумаешь! — прервал Рокотов.— Вот они — эти проклятые ассамблеи! Бывало, наша сестра, благородная девица, сидит у себя в терему, болтает с подружками о том о сем, погадает на святках о суженом, да, может статься, иногда, выходя из церкви, взглянет украдкою на какого-нибудь молодого парня — вот и все!.. А теперь, на этих бесовских сходбищах, обступят ее, мою голубушку, удалые молодцы, начнут подхваливать да всякие другие неподобные речи говорить,— так диво ли, что у нее голова-то кругом пойдет. Да вот хоть твоя племянница — почему ты знаешь?.. может быть, этот подлипало, Симский, давно уж ей сказал, что хочет на ней жениться?

— Ну, этого не думаю, любезный: племянница не стала бы таких речей и слушать; да и он какой бы ни был сорвиголова, а не посмел бы так обидеть благородную девицу.

— А кто его знает! Ведь нынешние-то молодые ребята не то, что мы были с тобою в старину, от этих пострелов всего жди... Да вот постой, любезный,— ведь Ольга Дмитриевна с нами будет кушать?

— Вестимо дело: она у меня хозяйка в дому. Да ты не хочешь ли с нею поговорить?.. Избави господи, ты все дело испортишь!.. Она сгорит со стыда...

— Да уж не бойся, Максим Петрович, я маху не дам... У меня есть кой-что в голове... и коли правда, что она ничего не знает, так погоди, любезный, будет как шелковая!

— Да ты скажи мне...

— Теперь ничего не скажу; а вели-ка, брат, подать водки да чего-нибудь закусить: я что-то очень проголодался.

Перед самым обедом Ольга Дмитриевна, желая угодить своему дяде, который очень любил все старинные обычаи, вошла в гостиную и взяла из рук слуги, который шел позади нее, небольшой серебряный поднос с двумя позолоченными чарками.

— Милости просим, Лаврентий Никитич! — сказал Прокудин.— Подавай, племянница!

— Ах ты, моя красавица! — молвил Рокотов, принимаясь за чарку.— Ну, стою ли я этой милости?.. Да это и дело-то не девичье!

— Знаю, друг сердечный! — прервал Максим Петрович.— Вот кабы моя покойница была жива, так она бы поднесла тебе чарочку, а теперь не осуди, любезный, другой хозяйки у меня в дому нет.

Ольга Дмитриевна поднесла другую чарку Максиму Петровичу, похристосовалась с Лаврентием Никитичем и, пригласив к столу хозяина и гостя, пошла — не прогневайтесь, любезные читательницы,— не впереди них, а *вслед* за ними в столовую комнату. К концу обеда Рокотов начал говорить о московских новостях.

— Дошел ли до тебя слух, Максим Петрович,— сказал он,— что государя Петра Алексеевича, когда он изволил быть в польском городе Луцке, сильно схватил какой-то недуг?

— Помилуй господи! А теперь-то что?

— Говорят, совсем оправился, а так было прихватило, что не чаяли ему, нашему батюшке, и в живых остаться.

— Скажи пожалуйста!.. Вот была бы напасть-то! И дома умирать не легко, а умереть в дороге...

— Да это будет когда-нибудь. Разъезжать-то он больно охоч, наш батюшка: сегодня в Архангельске, а там, глядишь, через неделю в Воронеже... В старину этого не бывало: наши православные цари всегда живали дома.

— Так, Лаврентий Никитич, да зато, чай, иногда за глазами-то и бог весть что делалось. Ведь русский царь в своем государстве что хозяин в дому; а коли хозяин сам за всем не присмотрит, так пеняй на себя. Нет, этим наш батюшка Петр Алексеевич хорош: все хочет видеть своими глазами, все знать доподлинно; и сам не ленится, и других понукает. Нечего сказать — хозяин!.. Эх, если б он, наш кормилец, поменьше любил этих проклятых немцев!..

— Если б!.. Вот то-то и есть, любезный, кабы не тучи на небе, так мы бы солнышко видели... Ну, да что об этом!.. Поговорил бы я с тобою...— промолвил шепотом Лаврентий Никитич, поглядывая на слуг, которые суетились вокруг стола,— поспорил бы... да ушей-то здесь больно много... А знаешь ли ты, друг сердечный,— продолжал Рокотов,— какая была у нас в Москве богопротивная содомщина?.. Как ты думаешь: на первой неделе великого поста, у этого собачьего сына, Гутфеля, была ассамблея с музыкою и со всякими бесовскими потехами! Знаешь, немецкую масленицу справлял.

— Да, уж верно, у него никого из русских не было?

— Вот то-то и дело! говорят, что были.

— Не может статься...

— И я плохо этому верю, а мне называли... Ну-ка, отгадай, кого?.. Андрея Семеновича Юрлова с женою и с дочерью!

— Ах он старый хрыч... Да что, он перешел, что ль, в немецкую веру?

— Вот изволишь видеть: старик простоват, а мать баловница, видно, хотела свою дочку развеселить. Говорят, она больно тоскует по своем женихе.

— А разве дочка-то их помолвлена?

— Так ты об этом и не слыхал? давно уж помолвлена. Ну, нечего сказать — убили бобра!

— А что?

— Правду говорят, любезный, что глупость-то подчас хуже воровства! Помолвили они свою дочь за гвардейского офицерика. Детина, говорят, видный собою, а такой ветрогон, что не приведи господи! На другой день помолвки он поскакал догонять свой полк, который теперь в походе. Ну что б им, кажется, не сказать: «Ты, дескать, батюшка, сходи прежде под турка, а там, как вернешься жив и здоров, так мы об этом и поговорим с тобою». А то, рассуди сам, Максим Петрович: воротится он об одной руке или на деревяшке — тогда-то

что?.. Попятиться и взять свое слово назад — дело не честное, да и дочку-то выдать за калеку большой радости нет; ан и выходит: сглуповали так, что и сказать нельзя. И чему обрадовались? Достатка большого нет, и, говорят, мальчишка пребеспутный. Он с первозимья был также в Москве и тогда еще втихомолку сватался за Юрлову, а в то же время, говорят, у Алексея Тихоновича Стрешнева старшую дочь с ума свел, разбойник! Да ты должен его знать, Максим Петрович, он родной племянник приятелю твоему, Даниле Никифоровичу.

— Родной племянник?

— Ну да!.. Как бишь его... дай бог память... Да!.. Василий Михайлович Симский.

Ольга Дмитриевна побледнела

— Оленька, что ты, мой друг? — вскричал Прокудин, вскочив со стула и подходя к племяннице.

— Так, дядюшка,— отвечала дрожащим голосом Ольга Дмитриевна,— голова очень болит.

— На-ка, мой друг, выкушай водицы... Ах, господи, на тебе лица вовсе нет!

— Ничего... пройдет...

— Пройдет,— повторил Рокотов, вставая.

— Ступай, мой друг, к себе,— сказал Прокудин,— приляг да сосни, если можешь...

— Да, дядюшка... позвольте мне...

— Ступай, мой друг, ступай!..

Ольга Дмитриевна вышла вон из комнаты.

— Ах, господи,— прошептал Максим Петрович,— как ее вдруг перевернуло!.. Эх, любезный!

— А что? — спросил Рокотов.

— Как можно этак... вдруг... не говоря доброго слова...

— Нет, доброе-то слово я сказал, посмотри, что будет!.. Да пойдем отсюда.

— Андрюшка,— молвил Максим Петрович,— ступай, проведай барышню — что она?

— Да что ты тревожишься? — продолжал Лаврентий Никитич, когда они вошли в гостиную.— Эка важность!.. Ну, поплачет денек, много другой — вот и все.

— Бедненькая!.. Эх, сестра, сгубила ты мою Ольгу Дмитриевну!

— И, полно, братец!.. Велика беда, что молодой девке приглянулся пригожий детина. Небойсь, любезный: теперь как она знает, что он помолвлен с другой, так в головке-то у нее бродить перестанет.

— Да что, этот Симский в самом деле женится на Юрловой?

— А почему знать, может быть, я ему и напророчил.

— Так ты солгал, любезный?

— Солгал, Максим Петрович.

— Эх, Лаврентий Никитич, нехорошо!

— А почему ж нехорошо? Да разве ты не знаешь, что ложь бывает иногда во спасение?

— Нет, я этого не знаю.

— Вольно ж тебе не знать. Мне сказывали, что это в какой-то духовной книге напечатано.

— Верно, в той же, в которой говорится: «Отруби по локоть ту руку, которая добра себе не желает»?

— Может статься.

— Нет, любезный, таких духовных книг не было и не будет. Не то заповедал нам господь: он говорит, что всякая ложь есть от дьявола.

— Ах ты, святоша этакий! Ну что за грех солгать ради пользы? Ведь ты не хочешь выдать свою племянницу за этого Симского?

— Не хочу.

— Так не лучше ли, чтоб она вовсе о нем не думала? Что покачиваешь головою?.. Ну, добро, добро,— коли, по-твоему, это грех, так я беру его на свою душу.

— И что толку-то будет из этого?

— А вот погоди: дай ей денька два наплакаться досыта, а там заговори с нею опять о князе Андрее Юрьевиче, так увидишь, что она тебе ответит.

— Ну что, Андрюшка,— спросил Прокудин у слуги, который вошел в гостиную,— что Ольга Дмитриевна?

— Все слава богу, батюшка. Нянюшка Федосья говорит, что барышня ни на какую болезнь не жалуется, а только прилегла на постель и втихомолку изволит плакать...

— Ступай!.. Ну, слышишь, Лаврентий Никитич, она плачет...

— Еще бы, и нашему брату в таком деле сгрустнется, а ведь она девица. Да пусть себе поплачет,— ничего, пройдет!

— Пройдет!.. Вестимо дело, все пройдет, да каково-то ей теперь?

— И, любезный! стерпится, слюбится.

— Хорошо, кабы так. Да точно ли ты уверен, что князь Андрей Юрьевич будет добрым мужем?

— Я, Максим Петрович, боюсь только одного, что он

вовсе избалует жену. Такие добрые люди, как он, в диковинку.

— Это-то хорошо. По мне, доброта лучше разума, а все бы не мешало, если б он был...

— Так же умен, как твоя Ольга Дмитриевна?

— Ну хоть и не так же...

— Да что ты так за умом-то гонишься?.. Ведь с умным мужем жена не барыня. То ли дело, когда он по ее дудочке пляшет.

— Нехорошо и это, Лаврентий Никитич.

— Вестимо нехорошо, коли жена не умнее мужа; а ведь у твоей Ольги Дмитриевны ума-то на двоих мужей достанет. Увидишь, друг сердечный, заживут так, что любо!.. Князь Андрей будет во всем ее слушаться, да и она также иногда его послушается. Я уж тебе говорил, что он не простофиля же какой-нибудь; он смотрит только простячком, а где надобно, так вовсе не глуп. Ну да что об этом говорить! Коли дело совсем сладится, так скажешь спасибо, и Ольга-то Дмитриевна не раз мне поклонится; а теперь не худо бы отдохнуть, любезный, а там и в путь.

— Как, разве ты у меня не ночуешь?

— Нельзя. Чай, теперь князь Андрей ждет меня не дождется. Я ему скажу, Максим Петрович, что на Фоминой неделе свадьба будет.

— И, что ты, Лаврентий Никитич, помилуй!

— Хорошо, хорошо!.. Приезжай ко мне этак денька через три, может статься, мы с тобой поладим.

Лаврентий Никитич, отдохнув часа полтора, распрощался с Прокудиным и отправился обратно в свою деревню.

На другой день поутру Ольга Дмитриевна пришла в комнату к своему дяде. Она была так бледна, так исхудала в одни сутки, что Максим Петрович перепугался.

— Оленька, друг мой! — вскричал он.— Что с тобой?.. Да ты никак в самом деле больна?

— Нет, дядюшка,— отвечала Ольга Дмитриевна,— теперь, слава богу, мне гораздо лучше.

— Лучше? да отчего же ты так бледна?

— Я всю ночь не могла заснуть.

— И, верно, плакала?.. Посмотри-ка, глаза-то у тебя!..

— Теперь уж я не плачу, дядюшка. Всю ночь у меня болела голова и сердце что-то очень тосковало. Вот в самые заутрени я встала с постели, начала молиться

пред иконою божией матери; мне как будто бы сделалось полегче, а там все лучше да лучше, тоска прошла, и теперь я почти совсем здорова.

— Дай-то господи!.. А все что-то смотришь невесело. Вот то-то и есть: тебе скучно, ты вовсе отвыкла от нашего деревенского житья.

— Привыкну опять, дядюшка.

— Нет, Ольга Дмитриевна, не привыкнешь. Вот если б ты была замужем — дело другое: с добрым мужем везде весело.

— Да мне и с вами не скучно.

— Так-то говоришь, мой друг, а в самом-то деле у тебя, чай, все Москва на уме.

— О нет, дядюшка! бог с нею совсем.

— Добро, добро!.. А знаешь ли что, Оленька? Ведь я тебе напророчил: князь Андрей Юрьевич Шелешпанский за тебя сватается...

Максим Петрович остановился и посмотрел с удивлением на свою племянницу. Да и было чему подивиться. «За тебя сватаются» — кажется, от этих слов у каждой девушки должно сердце замереть от радости или от ужаса, смотря по тому, кто сватается, а Ольга Дмитриевна преспокойно их выслушала, не обрадовалась, не испугалась, не переменилась в лице, ну точно как будто бы речь шла о какой-нибудь вовсе незнакомой ей девице.

— Да, мой друг,— повторил Максим Петрович, помолчав несколько времени,— князь Шелешпанский за тебя сватается.

— Слышу, дядюшка.

— Ну что ж прикажешь ему сказать?

— Что вам угодно.

— Так ты пойдешь за него замуж?

— Воля ваша.

— А коли моя, так послушай, мой друг: князь Андрей Юрьевич жених недюжинный; он роду знатного, человек молодой, одинокий, собою молодец; я слышу от всех, что он очень добр, а уж как богат...

— И, дядюшка! мне все равно...

— Все равно? Даже и то, мой друг, если твой муж увезет тебя за тридевять земель или будешь жить почти вместе со мною?

— О нет! — вскричала Ольга Дмитриевна, кинувшись на шею к своему дяде,— я не хочу с вами расставаться!

— Милое дитя мое,— сказал Прокудин, обнимая племянницу,— ну как же мне не любить тебя как дочь родную! Знаешь ли что, мой друг? Коли ты выйдешь замуж за князя Шелешпанского, так мы по зимам не будем жить в деревне. Ты человек молодой, любишь Москву...

— Москву!.. Нет, дядюшка, мне там будет скучно.

— Скучно? да ведь ты о ней тосковала?..

— Да, дядюшка, сначала, а теперь я вовсе в Москву не хочу. Я хотела бы только повидаться с тетушкою...

— Вот кстати напомнила! Уж коли у нас дело идет на лад, так мы тетушку-то на свадьбу выпишем. Да нечего и мешкать: сегодня же пошлю к ней нарочного в Москву.

— Сегодня? — повторила встревоженным голосом Ольга Дмитриевна.— Так вы хотите?..

— Зачем откладывать, мой друг? Веселым пирком да за свадебку!

— Ах, дядюшка,— промолвила сквозь слезы Ольга Дмитриевна,— он только что посватался...

— Нет, мой друг... дело прошлое: ведь князь Шелешпанский сватался за тебя еще до великого поста. Уж если ты согласна выйти за него замуж, так что ж его, бедняжку, маить? За мною дело не станет: твое приданое готово... Вот мы этак в четверток на Фоминой неделе сделаем девичник, а в пятницу с божиим благословением...

Ольга Дмитриевна опустила голову на плечо к своему дяде и громко зарыдала.

— Что ты, что ты, мой друг! — вскричал Максим Петрович,— да успокойся, бога ради!.. Коли хочешь, мы отложим свадьбу на месяц... на два... на три... как тебе угодно! Конечно,— продолжал он,— я желал бы... да и как мне, старику, не желать, чтоб это было поскорее? Ведь уж мне давно седьмой десяток пошел, станешь каждым денечком дорожить! Что будешь делать, вот и теперь: я здоров, слава богу, а все мне кажется, что не доживу до этой радости, и как подумаю: ну, коли господь бог пошлет по душу, прежде чем я пристрою моего друга сердечного, так, поверишь ли, сердце у меня так и обольется кровью!

Ольга Дмитриевна подняла голову: в ее задумчивых голубых глазах выражалось какое-то грустное спокойствие; на длинных ресницах блистали еще слезы, но она уж не плакала. С полминуты продолжалось молчание...

Вдруг бледные ее щеки вспыхнули, она взглянула с необычайным оживлением на своего дядю и сказала твердым голосом:

— Да, дядюшка, вы правду говорите: зачем откладывать.

— Так ты согласна, Ольга Дмитриевна?.. В будущий четверг...

— Как вам угодно, дядюшка!.. Теперь позвольте мне...

— Что, мой друг?

— Я пойду к себе... Да не бойтесь: я иду не плакать... нет, я хочу помолиться богу, дядюшка.

— Ступай, мой ангел, ступай!.. Ну,— прошептал Максим Петрович, когда племянница его вышла вон из комнаты,— нечего сказать, хитер Лаврентий Никитич! Как он отгадал, что будет!.. Дай-то господи, чтоб только в добрый час!.. Да что ж это сердце-то у меня... радуется, что ль, или тоскует?.. Кажись, как бы ему не радоваться, а все как будто бы щемит... Вот то-то и есть: идти-то замуж она идет, да как идет!.. Бедняжечка!.. То ли бы дело было... Эх, не бывать бы ей за князем Шелешпанским, если б этот пострел Симский не служил в Питере и не стоял, как за своих кровных, за этих окаянных, паскудных немцев!

ГЛАВА III

В среду на Фоминой неделе, часу в пятом после обеда, народ гулял толпами по широкой улице села Вздвиженского. На барском дворе заметно было необычайное движение. Вся господская дворня занималась приготовлением к наступающему торжеству. Одни выкатывали из погребов бочки с пивом, другие ставили на дворе длинные столы для угощения *меньших братьев христовых*, то есть нищих, увечных и недужных, которые начинали уже понемногу собираться изо всех окрестных мест в село Вздвиженское на свадебный пир к боярину Максиму Петровичу Прокудину. Перед самым господским домом толпились в праздничных нарядах крестьянские старухи, молодые бабы и красные девицы; они смотрели в окна, как их барышня, государыня Ольга Дмитриевна, изволит справлять свой девичник.

— Смотри-ка, смотри! — молвила одна старуха, толкнув локтем свою внучку,— вон видишь, за столом-то сидят?

— Вижу, бабушка.

— Это все боярские дочки.

— Да их что-то немного.

— Да, маленько!.. Вот две-то, что сидят подле нашей матушки Ольги Дмитриевны, с правой руки, дочки боярина Шетнева, а с левой... вон энта... белобрысая-то... это, кажись, внучка кадыковского барина, Карпа Саввича Пыжова... А уж других-то я не знаю.

— Чай, из Москвы понаехали. Да какие же они, бабушка, все пригожие!..

— Эх, дитятко! кому ж и быть-то пригожим? Боярские дочки сладко едят, живут в холе... что им делается!.. А все далеко им до нашего красного солнышка, нашей родной-то Ольги Дмитриевны, дай ей господи много лет здравствовать!.. Эка пава, подумаешь!

— Бабушка,— прервала одна молодица,— да что ж это наша барышня-то... гляди-ка... кровинки нет в лице!.. И головку-то изволила понурить...

— Эх ты, глупая, глупая,— молвила старуха, покачивая головою,— да где видано, чтоб невеста ухмылялась? Чай, и ты на своем девичнике зубы-то не скалила?

— Кто? она? — подхватила пожилая баба.— Да она на своем девичнике только что не плясала, словно не ее замуж выдавали.

— Ну, Авдотья,— сказала старуха,— так недаром же тебя муженек-то поколачивает! Коли ты такая озорница, что и в невестах не плакала...

— Эх, бабушка, да коли не плачется...

— Так ты бы хренку понюхала, дура этакая!.. Ведь старые люди говорят: коли девка в невестах не плачет, так наплачется вдоволь замужем.

— А что, Потапьевна,— спросила пожилая баба старуху,— что говорят о женихе?

— Да говорят, что он и собой молодец, и отчин много, и роду княженецкого...

— Ну, слава тебе господи! А что, он завтра, что ль, приедет с поездом прямехонько в церковь божию?

— Нет, Федосья, Прокофий Сидорыч говорил при мне батьке Филиппу, что жених приедет к нам сегодня и переночует здесь на селе со всем своим поездом. Для них... вон там за речкою, на верхнем порядке десять дворов отведено... Постойте-ка!..

— Что, бабушка?

— Никшни, Аксютка! Кажись, в дому-то сбираются петь!.. Чу!

В комнате раздались звуки унылой песни, под которую подлинно трудно было невесте не заплакать. Сенные девушки запели:

Ласточка, касаточка,
Не вей гнезда во высоком терему:
Уж не жить тебе здесь и не летывать!..

— Что ж это они? — шепнула старуха.

— Да это, кажись, песня-то не свадебная, а подблюдная.

— Знать, обмишулились,— сказала молодица.

— Эй вы, голубки,— закричал крестьянский парень, подбегая к бабам,— что вы здесь глаза-то пялите?.. Ступайте за околицу.

— А что? — спросила старуха.

— Жених с поездом едет.

— Ой ли?

— Право так!

— То-то же! Ведь ты, Фомка, озорник, пожалуй, даром нас перебулгатишь!

— Вот те свят — едет! Весь народ и валит из села.

— Да что ж, он близко, что ль?

— Бают, уж выехал из господской засеки и подымается на горку.

В полминуты на барском дворе не осталось никого, и даже дворовые люди, покинув свою работу, пустились бегом за остальными мужиками, которые спешили все навстречу к жениху. У самой околицы приходский священник, отец Филипп, держа в руках крест, дожидался, со всем церковным причетом, суженого боярышни Ольги Дмитриевны. Позади него стоял, с хлебом и солью, дворецкий, Прокофий Сидорыч Кулага. Народ толпился по обеим сторонам дороги. Разумеется, все стояли без шапок. Прокофий Сидорыч, как человек опытный и бывалый, посматривал заботливо на православных, стараясь заметить, нет ли в числе их какого-нибудь *недоброго* человека. Вот толпа заколыхалась, народ расступился: старая, безобразная баба, опираясь на клюку, вышла вперед и остановилась на самой дороге. Прокофий Сидорыч нахмурился.

— Послушай-ка, Антон,— шепнул он дворовому парню, который стоял подле него,— ведь эта старуха... вот что вышла вперед... кажись, кадыковская ворожея, Савельевна?

— Да, Прокофий Сидорыч, она.

— Зачем пожаловала, старая чертовка!.. Знаем мы их!.. Поди-ка, скажи ей, чтоб она убиралась подобру-поздорову... нам этаких гостей не надобно... Погоди, погоди!.. На вот тебе алтын... сунь ей в руку, а то еще, пожалуй, разгневается, ведьма проклятая, всю скотину перепортит, чего доброго!.. Эй, Антон, постой!.. Ну хоть вовсе-то не гони ее,— провались она ставши! — а только отведи к стороне подальше от дороги... знаешь, чтоб глаз-то у нее до жениха не хватил.

— Слушаю, Прокофий Сидорыч, уж я ее спроважу.

— Ну, то-то же, смотри!

— Едут, едут! — раздались голоса из толпы.

Шагах в двухстах показались из-за горки два передовые вершника с белыми ширинками через плечо; за ними потянулся длинный поезд щеголевато одетых холопей Лаврентия Никитича,— их было до сорока: все они сидели на красивых конях и ехали попарно; потом ехали, также верхом, двое жениховых дружек, сыновья Герасима Николаевича Шетнева, а немного позади — князь Андрей Юрьевич Шелешпанский и Лаврентий Никитич Рокотов. Под первым красовался отличный персидский аргамак, белый как снег, с заплетенною гривою и перевязанным хвостом; второй сидел на вороном черкасском жеребце. На женихе была шапка мурмолка с собольим околышем, красный объяринный кафтан и парчовая ферязь с золотыми петлицами. Надобно сказать правду: князь Шелешпанский сидел молодцом на своем борзом аргамаке, и когда этот полный огня и жизни красавец конь начинал под ним играть, он сдерживал его могучей рукой и, как будто бы шутя и без всякого усилия, заставлял идти ровным и тихим шагом. Поезд оканчивался длинным рядом всякого рода повозок, в числе которых отличалась особенно обитая алым сукном огромная колымага с позолоченными колесами. В ней сидели посаженая мать князя Шелешпанского — супруга Лаврентия Никитича Рокотова, Герасим Николаевич Шетнев и сваха из мелкопоместных дворянок, которая должна была принимать молодых в опочивальне и осыпать их хмелем. Все мужики, завидя господ, примолкли и низко поклонились; бабы также поклонились, но только принялись болтать пуще прежнего.

— Посмотри-ка, Акулина,— молвила одна молодая баба,— с правой-то стороны жених, что ль, едет?

— Вестимо жених. С левой едет боярин Рокотов,

— Так это жених-то?.. Ну, неча сказать: сокол ясный!..

— Батюшки светы! — закричала другая молодица,— какой на нем зипун-то!.. А сбруя-то на лошади... матушки!.. Никак литого серебра!

— Какого серебра! Разве самоцветного золота,— вишь, как на солнышке-то горит!

— Смотри, кума, смотри, как лошадь-то под ним прядает!.. Ну, молодец!

— У, батюшки, какой рослый, дородный!..

— Да личмянной какой!.. Гляди-ка, тетка, гляди, лицо-то у него так и пышет!

— Ну, послал господь женишка нашей боярышне!

— Подавай ей господи!..

— Эй вы, бабье! — закричал Кулага,— тише вы!.. Что вы так горланите, чечетки этакие... Тише, говорят!.. Наболтаетесь дома!

Подъехав к околице, поезд приостановился; князь Андрей Юрьевич сошел с коня, приложился к кресту, принял от дворецкого каравай, на котором стояла серебряная солонка, потом сел опять на своего аргамака, и поезд двинулся снова вперед. За ним кинулся весь народ. Старики плелись позади, молодые ребята забегали вперед и, останавливаясь на каждом крестце, встречали жениха низкими поклонами. Когда поезд поравнялся с господским домом, за ворота высыпала целая толпа сенных девушек, а из домовых окон высунулись головки приезжих барышень. Все они казались очень пригожими, вероятно потому же, почему и звезды кажутся ярче, когда нет на небе светлого месяца: Ольги Дмитриевны не было в числе этих любопытных.

Максим Петрович, приняв жениха и почетных гостей в просторной избе своего старосты, пригласил к себе в дом Рокотова с женою и Герасима Николаевича Шетнева. Жених, сваха, дружки и все, составлявшие поезд, разместились по отведенным для них избам. Прокофий Сидорыч заправлял угощеньем. Различные наливки, вино, пиво и сладкие меды лились рекою. Сваха набила себе препорядочный мешок черносливом, винными ягодами, финиками и всякими другими иноземными сластями; жених выпил целую ендову имбирного меду и скушал фунтика три изюму; дружки также позабавились около сластей и посмаковали вдоволь прокудинской вишневки, которая под этим названием славилась во всем околотке. Об остальном поезде и говорить нечего.

Прокофий Сидорыч не успокоился до тех пор, пока не уложил в лоск всех холопей Лаврентия Никитича; ему не удалось только справиться с одним ражим детиною, который, по привычке или по какой-то особенной способности, пил вино как простой квас, а пиво — как воду; впрочем, и тот хотя стоял еще крепко на ногах, но не мог уж вымолвить ни слова.

Вот этак часу в седьмом князь Шелешпанский, которому стало душно в избе, снял с себя ферязь и вышел в одном кафтане за ворота. К нему явился Прокофий Сидорыч.

— Что, батюшка князь,— сказал он,— не угодно ли тебе прогуляться?

— Нет,— отвечал Шелешпанский,— я сяду вот здесь, на скамеечке.

— Присядь, батюшка, присядь!.. Отсюда пригоже посмотреть на все стороны. Местечко дальновидное — на горке вышло: верст за десять кругом видно, и все село как на блюдечке.

— А что, старина,— сказал Шелешпанский,— ведь это село-то все ваше?

— Как же, сударь.

— Отчина или поместье?

— Отчина, батюшка. Жалована еще при дедушке Максима Петровича.

— Доброе село, доброе!.. Чай, этак домов до полутораста будет?

— Без малого двести.

— Вот как!.. А что, вон энти поля за большой дорогою — ваши?

— Наши, сударь.

— А чернолесье, которым мы ехали?

— Это господская засека.

— А вон вдали-то бор?

— Наш, батюшка, наш.

— Знатное село, знатное!.. Чай, у вас по речке-то луга заливные?

— Да, сударь, заливные. По той стороне верст на пять пойдет все пойма. Наша река невеличка, батюшка, а весной по ней хоть струга ходи. Вон ракитник-то на лугу — в полую воду одни вершинки видны.

— Знатное село!.. Кажись, и крестьяне у вас исправные.

— Да, сударь, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, государя Максима Петровича, мужички у нас по

миру не ходят. Много есть зажиточных, и разве редкий только по мясоедам-то пустые щи хлебает.

— Вот как!.. Ну, знатное село!.. А что это, направо-то, дорога куда пошла?

— В Москву, батюшка.

— Откудова ж мы приехали?

— От Серпухова.

— Так!.. Посмотри-ка, старина, кто это там по московской дороге едет?

— А кто их знает!.. Здесь езда не малая. Бывает, временем, как в Москву повезут хлебец, так по дороге и денно и нощно тянутся обозы. Ведь Серпухов — город торговый, батюшка; пристань на Оке, а кремль-то никак почище был московского, весь из белого камня построен. Теперь он поразвалился, а все еще местами как взглянешь на стену, так шапка с головы валится. Говорят, будто бы его строил царь Иван Васильевич,— не Грозный, сударь, а дедушка Грозного...

— Что это, брат,— прервал Шелешпанский, который, не слушая дворецкого, продолжал смотреть с приметным беспокойством на большую дорогу,— эти проезжие-то, видно, не мимо едут?

— А что, сударь?

— Вон, видишь, своротили с большой дороги... едут сюда!

— Сюда?.. Так, может статься, это сестрица Максима Петровича.

— Кто? Аграфена Петровна Ханыкова?

— Должно быть, она. К ней посылали нарочного в Москву.

— Зачем?

— Что ты, батюшка князь!.. Как зачем? ведь она родная тетушка твоей нареченной, так как же ее не позвать на свадьбу?

— Так она знает, что завтра свадьба? — вскричал с ужасом князь Андрей Юрьевич.

— Как не знать.

— Ну!! плохо дело!

— А что, сударь?

— Беда, да и только!

— Беда! — повторил с удивлением Прокофий Сидорыч.

— Да как же не беда! Ведь Аграфена-то Петровна скажет об этом Мамонову.

— Какому Мамонову?

— Ну вот этому — провал бы его взял!.. Ах, господи... Смотри-ка, смотри!.. На четырех тройках!

— Да, сударь, это не Аграфена Петровна, а, кажись, люди служивые.

— Вот тебе раз! — вскричал Шелешпанский, вскочив со скамьи.

— Да, сударь. Вон остановились за околицей... говорят с мужичками... вон одна подвода поехала прямо к господскому дому... а с другой-то сошли служивые и стали возле околицы... А вон остальные-то две подводы, кажись, повернули сюда... Ну, так и есть!.. Видно, к старосте...

— А где живет староста?

— Здесь, батюшка. Это его изба.

Князь Андрей Юрьевич помертвел.

— Да вот уж они и едут,— сказал дворецкий.— Эк дерут!.. Видно, животы-то не свои.

Князь Андрей Юрьевич кинулся на двор и начал метаться по сторонам как угорелый. На все вопросы Прокофия Сидорыча он не отвечал ни слова, а только повторял прерывающимся голосом:

— Где ворота, где ворота?

— Ворота? — спросил дворецкий, который, видя необычайный испуг жениха, и сам также немного испугался.— Какие ворота?

— На зады, на зады!

— Да вот, сударь, перед тобою.

Шелешпанский распахнул ворота, выскочил на огород и ударился бежать.

— Батюшка князь! — закричал Кулага, стараясь догнать жениха.— Да постой!.. Куда ты?..

Добежав до плетня, который отделял огород от поля, Шелешпанский остановился.

— Уф!.. Задохся!..— промолвил Прокофий Сидорыч.— Да что это, сударь князь, куда ты изволишь бежать?

— И сам не знаю! куда глаза глядят! ну вот хоть в лес!

— В лес?.. Ах, господи!.. Да от кого ж ты это изволишь прятаться?

— Как от кого? Ведь это приехал Мамонов!

— Так что ж?.. Да бог с ним!.. Пускай он Мамонов... что тебе до этого?

— Да ведь он уж два месяца за мной гоняется.

— Гоняется?

— Ну да! Ведь у него указ есть схватить меня — да в солдаты.

— Как так?

— Да так! Слышь, велено всех новиков забирать на службу, и Аграфена-то Петровна с ними заодно... Ах, батюшки-сударики! Вот тебе и свадьба!

На заднем дворе избы раздался грубый голос:

— Эй, староста!.. Где староста? Подавайте его сюда.

Князь Шелешпанский полез через плетень.

— Погоди, батюшка! — закричал Кулага.— Тут болото: увязнешь по уши... Постой, постой!

Но Шелешпанский перекинулся со всего размаху через плетень, грянулся оземь и, к счастию, попал не в трясину, а между двух кочек, в грязную лужу, в которой он увяз только по пояс. Прокофий Сидорыч перелез бережненько через плетень и, придерживаясь за него, помог жениху выбраться на сухое место.

— Вот я говорил тебе, батюшка! — сказал он.— Тише, тише!.. Изволь ступить сюда... на кочку... вот так!..

— Ух, батюшки! — промолвил Шелешпанский, отряхиваясь как медведь, который вылез из болота.— Грязи-то на мне, грязи!.. А кафтанчик новенький, с иголочки...

— И, батюшка, сошьешь другой!.. Чу! никак уже служивые-то по огороду ходят.

В самом деле, на огороде послышались голоса.

— Голубчик ты мой... родной,— прошептал князь Андрей Юрьевич, дрожа всем телом,— спрячь меня куда-нибудь!

— Да куда ж я тебя спрячу, батюшка,— сказал Кулага, почесывая затылок,— лес далеко, и идти-то до него все чистым полем. Вот кабы летом, так дело иное: засел бы в коноплях, так тебя наискались бы досыта; а теперь время весеннее, и в лесу-то спрятаться негде.

— Ух, батюшки! — проговорил, заикаясь, Шелешпанский.— Слышишь?.. Идут!

— Ну, делать нечего! — прошептал Кулага,— ступай-ка, батюшка, вдоль плетня... вон там налево барское гумно... Все-таки лучше, чем здесь, на юру: там можно и в ригу, и меж одоньев завалиться — не вдруг найдут.

— Ступай же вперед, голубчик, ступай!

Пройдя шагов двести вдоль крестьянских огородов, они вошли калиткою на барское гумно.

— Ну вот, сударь,— сказал дворецкий,— хочешь где-нибудь за одоньем прилечь или в ригу?..

— Постой-ка, голубчик!.. Ведь это кладь соломы?..

— Да, сударь.

— Так я залезу в нее.

— Что ты, батюшка! ведь это хорошо минутки на две, а то задохнешься; да еще неравно с барского двора приедут за соломою, начнут валить ее на телегу да как хватят тебя вилами в бок... избави господи! Вот разве, сударь, в овинную яму, так авось туда не заглянут.

— В самом деле!.. Ах ты, мой любезный!.. Голубчик мой!.. Пойдем скорее.

— Вот тебе раз! — вскричал Кулага, подойдя к овинной яме,— лестницы-то нет!.. Да постой, батюшка, я спущу тебя на кушаке.

Прокофий Сидорыч снял с себя пояс, захлестнул один конец за туго подвязанный кушак Шелешпанского и начал его спускать потихоньку в яму.

— Ох, батюшка князь,— промолвил он, кряхтя,— грузен ты больно!.. Не сдержу... видит бог, не сдержу!..

— Ничего! — сказал Шелешпанский,— пускай: внизу-то солома.

Кулага выпустил из рук кушак... князь Андрей Юрьевич повалился на солому, крякнул и встал на ноги.

— Ну, что, батюшка, не ушибся? — спросил дворецкий.

— Нет. Ступай-ка теперь, голубчик, на барский двор, проведай, что там делается, да приди сказать мне.

— Ладно, сударь, я как раз сбегаю... Да послушай, батюшка,— промолвил Прокофий, воротясь,— смотри сиди смирно и, коли кто подойдет к овину, голосу не подавай... Как я приду, так первый тебя окличу.

ГЛАВА IV

В то самое время, как князь Шелешпанский прятался от служивых в овинной яме, к дому Максима Петровича подъехал на тройке молодой гвардейский офицер. Он соскочил с телеги и, войдя в переднюю, приказал доложить, что приехал по царскому указу поручик Мамонов; потом, сбросив с себя забрызганный грязью плащ, вошел в столовую комнату. Через несколько минут его попросили в гостиную. В этой комнате встретил его Максим Петрович; тут же, развалясь на креслах, сидел Лаврентий Никитич Рокотов, подле него, на стуле, Герасим Николаевич Шетнев, а несколь-

ко поодаль стоял, прислонясь к печке, Карп Саввич Пыжов. Когда Мамонов вошел в гостиную, Карп Саввич низехонько поклонился, Шетнев привстал, а Лаврентий Никитич не тронулся с места. На побледневшем лице Карпа Саввича ясно изображались сильный испуг и самая рабская, безусловная покорность; хотя в глазах Шетнева заметно было также что-то похожее на страх, однако ж он не смутился и даже посмотрел довольно спесиво на приезжего. В надменном и неприязненном взгляде Лаврентия Никитича выражалось негодование, которое он вовсе не старался скрывать; он взглянул исподлобья на Мамонова, нахмурил брови и повернулся к нему спиною. Казалось, что этот нечаянный приезд не потревожил одного только хозяина.

— Милости просим, батюшка! — сказал он спокойным голосом.— Ты приказал доложить мне, что приехал сюда по царскому указу... вот я тебя слушаю: изволь мне сказывать царский указ.

— Во-первых, государь мой Максим Петрович,— отвечал Мамонов, вежливо кланяясь,— я осмеливаюсь презентовать вам мой всенижайший респект!..

— Благодарю, батюшка, хотя, признательно сказать, и не очень понимаю, что ты изволишь мне говорить.

— Всепокорнейше прошу вас экскузовать меня! — продолжал Мамонов, не обращая никакого внимания на замечание Максима Петровича.— Может быть, я вовсе не в пору потревожил вас моим приездом?

— И, что ты, батюшка: царский указ всегда в пору!

— Не извольте только гневаться на меня, Максим Петрович. Я человек служивый и должен поступать в силу данной мне от правительствующего Сената инструкции — сиречь наказа.

— От Сената!.. Так ты, батюшка, не по царскому указу изволил ко мне приехать?

— Все едино, Максим Петрович. Разве не изволите знать, что сенатским указам, якобы своеручно подписанным его царским величеством, должны повиноваться все под опасением строгого наказания?

— Знаю, батюшка, знаю. Ну, чего ж от меня этот господин Сенат изволит спрашивать?

— Дело идет вовсе не о вас, Максим Петрович. Его царскому величеству государю Петру Алексеевичу угодно было указать, чтобы, ради войны с турским салтаном, всех неслужащих молодых дворян забирать на службу. В именном регистре, данном мне от Сената,

значится также и неслужащий дворянин, князь Андрей Юрьев сын Шелешпанский...

— Князь Андрей Юрьевич?

— Да, Максим Петрович. Меня известили, что он здесь.

— Здесь, батюшка. Да ведь, кажется, он уж служил...

— Никак нет, Максим Петрович: он был только записан новиком в московском жилецком войске и на службу не являлся; а так как ему еще нет и сорока лет...

— Да ты знаешь ли, господин офицер,— прервал Шетнев, подойдя к Мамонову и толкнув потихоньку локтем Прокудина,— что князь Андрей Шелешпанский, хотя еще в поре, однако ж давно уже уволен на покой ради его хворости и всегдашних недугов?

— Знаем мы эти недуги! — возразил Мамонов.— Сенат уж известен и о том, что он облыжно называет себя недужным. Люди хворые сидят на одном месте, а этот князь только и делает, что разъезжает кругом Москвы. Вот уж я два месяца за ним гоняюсь.

— Как так? — спросил с удивлением Прокудин.

— Да, Максим Петрович! у него около Москвы много деревень; вот мне дадут знать, в которой деревне он живет, я пошлю за ним,— не тут-то было: «Изволил уехать неизвестно куда». Я пошлю в другую: «Был, дескать, и здесь, да вчера выехал». Я в третью: «Сейчас только выехать изволил». Поверите ль: всю команду с ног сбил. Видно, у него есть приятели в Москве, которые весточку ему подают. Да уж теперь вы сами изволили мне сказать, что он здесь, так я его из рук не выпущу.

В комнату вошел слуга и доложил Прокудину, что из соседнего села пришел земский староста с понятыми.

— С понятыми?.. Это зачем? — спросил Прокудин.

— Не прогневайтесь,— сказал Мамонов,— я человек военный и приказного порядка не ведаю; но со мною есть подьячий, который говорит, что формальную выемку без понятых и свидетелей делать не следует.

— Выемку?.. Да почему ж ты думаешь, батюшка, что князь Андрей Юрьевич не поедет с тобой волею? Может статься, он вовсе и не знает, что ему должно к тебе явиться.

— Помилуйте, как не знать! Чай, ему давно уж об этом донесли. Во всех его отчинах наказывали об этом

всем старостам и приказчикам... Да вот, кажется, вошел на крыльцо мой сержант. Я послал его с командою к старосте. Ваши крестьяне сказывали мне, что князь Шелешпанский остановился у него в избе. Позвольте, Максим Петрович, войти сюда сержанту.

— Изволь, батюшка.

Мамонов отворил дверь в столовую и закричал:

— Прохоров, ступай сюда!

В гостиную вошел пожилой служивый. Он перекрестился на икону, опустил руки по швам и вытянулся перед своим командиром.

— Ну что, Прохоров,— спросил Мамонов,— нашел ли ты князя Шелешпанского?

— Никак нет! — отвечал сержант.

— Как нет? Да ведь он стоял у старосты?

— Стоял, господин поручик, да вдруг изволил без вести пропасть.

— Куда же он девался?

— Не могу знать. Из избы он никуда не уходил, а в избе его нет. Мы все уголки обшарили: и под лавками смотрели, и в печи, и на полатях; на чердак лазили, все хлева обошли. Артемьев и Забулдыгин ходили смотреть на огород, не залег ли он где-нибудь между грядками,— нигде нет, словно сквозь землю провалился.

— Ну вот, изволите видеть, Максим Петрович,— сказал Мамонов.— Да это ему не поможет. Прохоров, возьми с собой понятых и обойдите все дворы!.. Ступай!

— Ты, батюшка, напрасно это делаешь,— молвил Прокудин с приметным негодованием.— Коли князь Шелешпанский не по неведению, а знаючи отбывает от царской службы, так я и сам не стану его у себя держать: у меня притона для беглых нет.

— О, если так, Максим Петрович, так с меня довольно вашего слова. Да и то сказать: коли он смекнул, что за ним приехали, то, уж верно, у вас на селе не останется, чай, давно убежал туда, откуда приехал. Мне сказывали, что он недалеко от вас гостит у какого-то Рокотова...

— У какого-то Рокотова!..— повторил Лаврентий Никитич.— Вишь, как изволит поговаривать!.. Этот Рокотов при царе Алексее Михайловиче заседал в боярской думе, и сам государь не называл его каким-то, а изволил чествовать Лаврентием Никитичем.

— Так это вы, государь мой, Лаврентий Никитич Рокотов? — сказал Мамонов.

— Я, батюшка... имя и отечества твоего не знаю, да, по правде сказать, и знать не хочу.

— Лаврентий Никитич! — молвил Прокудин.

— Я все молчал, Максим Петрович,— прервал Рокотов,— а теперь как дело дошло до меня, так не мешай мне говорить. Ты, голубчик, называешь себя Мамоновым и сказываешь, что приехал по царскому указу. Вот Максим Петрович и поверил тебе на слово, а коли ты ко мне пожалуешь, так я тебе вперед говорю, что у меня на одних-то речах не много выторгуешь.

— Что ж вы думаете, государь мой, что я самозванец какой-нибудь? — сказал вспыльчиво Мамонов.

— А кто тебя знает! Коли Гришку Отрепьева угораздило назвать себя царем русским, так не велика важность, если какой-нибудь пройдоха напялит на себя немецкий кафтанишко, назовется каким-то Мамоновым и приедет будто бы по царскому указу, а в самом-то деле, чтоб сорвать что-нибудь... Ведь голь хитра на выдумки!

Мамонов вспыхнул. Он вынул из кармана бумаги и, подавая их Прокудину, сказал:

— Я точно виноват: мне следовало бы начать с этого. Вот сенатский указ на мое имя и регистр дворянам, которых требуют на службу.

Пока Максим Петрович рассматривал бумаги, Шетнев подошел к Рокотову и шепнул ему:

— Эх, Лаврентий Никитич, рассердил ты его!

— Так что ж? барин не большой,— отвечал Рокотов,— пусть себе сердится!

— Пусть сердится!.. Да разве от этого князю Андрею легче будет?.. Нет, друг сердечный, за это не так надо было взяться. Да вот постой, я поговорю с ним с глазу на глаз, так авось дело-то как-нибудь поправлю.

— Так, батюшка, так! — молвил хозяин, отдавая бумаги Мамонову.— Ты делаешь, что тебе указано,— да я в этом и не сомневался.

— Позвольте мне,— сказал Мамонов,— оставить у вас в селе небольшую команду,— не ради какого-нибудь надзора — избави господи! Я питаю к вам, Максим Петрович, столь великую эстиму, что для меня достаточно вашего слова,— это необходимо ради всякого случая: неравно князь Шелешпанский снова появится в вашем селе, так было бы кому задержать его и препроводить немедленно в Москву.

— Хорошо, батюшка, хорошо!

— А я,— продолжал Мамонов,— сей же час отправлюсь с понятыми к господину Рокотову.

— Милости просим! — промолвил Рокотов, нахмурив брови.— Нам не впервые принимать незваных гостей, и за проводами у нас дело не станет.

— Что ж это,— прервал Мамонов,— угрозы, что ль?.. Так прошу вас, государь мой, быть известным, что коли вы осмелитесь оказать какое-нибудь сопротивление, так вас самих потребуют к ответу!.. Счастливо оставаться, Максим Петрович!.. Еще раз прошу вас всенижайше не поставить мне в вину...

— Ничего, батюшка, ничего! ты человек служивый и делаешь то, что тебе приказано.

Шетнев вышел вслед за Мамоновым в столовую.

— Господин офицер! — сказал он самым ласковым и приветливым голосом.

— Что вам угодно? — спросил Мамонов, остановясь.

— А вот что: я преусерднейше прошу тебя, батюшка, не изволь гневаться на Лаврентия Никитича Рокотова. Он крутенек немного, заносчив, а, право, старик добрый!

— Да, конечно, заносчив, и даже чересчур. Нынче не прежние времена, государь мой,— коли приказано, так слушайся.

— Да ведь он только так — язык чешет, а в самом-то деле, сохрани господи!.. А что, батюшка, господин Мамонов! ты, по всему видно, человек добрый... Нельзя ли как-нибудь это дельце уладить?

— Какое дельце?

— Да вот чтоб князя-то Андрея не тревожить. Он уж человек не молодой, ему давно под сорок, здоровье у него хилое, и хоть с виду еще молодцеват, а не стоит нашего брата старика: одышка, ногами плох, животом жалуется — вовсе не жилец! Малый такой рахманный... увалень!.. Ну из чего тебе за ним тянуться? Что, в самом деле, или без него у вас и войска не стало?

— Это, государь мой, до меня не лежит: про то знают старшие.

— И, батюшка, где им все знать, и коли бы ты захотел...

— Да что ж я могу сделать?

— Как что! ты можешь донести своему начальству, что он хворает. Вовсе, дескать, для службы негоден — даром паек будет получать, и то и се... Да что тут гово-

рить: ученого учить — лишь только портить! Ты, чай, лучше моего знаешь, как эти дела делаются.

— Нет, не знаю.

— И, полно, батюшка!.. Шелешпанский человек богатый, а вы, господа служивые... не прогневайся,— чай, иногда как рыба об лед бьетесь. Вот если б ты, молодец, нам помирволил, так князь Андрей ударил бы тебе челом... знаешь этак — посильное место... сотенку, другую рублевиков...

— Что,— проговорил Мамонов,— вы сулите мне двести рублей?.. Да о своем ли вы уме?

— А что?.. Маленько?.. Ну, так три сотни... Э, да что тут толковать!.. Шелешпанский не постоит и за четыре...

— Что ж это, государь мой, вы шутите или нет?

Этот вопрос был сделан таким голосом, что Шетнев отступил шага два назад.

— Да за что ж ты изволишь гневаться,— сказал он, смотря с удивлением на Мамонова,— ведь это дело полюбовное, и коли тебе четырехсот рублей кажется мало, так мы, пожалуй, и еще накинем.

— Я таких срамных холопских речей и слушать не хочу! — прервал Мамонов. Он повернулся к Шетневу спиною и вышел вон.

— Не берет, пострел этакий, ничего не берет! — сказал Шетнев, входя в гостиную.— А все ты, Лаврентий Никитич! кабы ты его не рассердил, так мы бы верно с ним поладили...

— Мальчишка этакий, молокосос,— прошептал Рокотов,— вишь какой, стращать вздумал!.. Потребуют, дескать, к ответу... Так что ж?.. Коли пошло на то — милости просим: примем гостя!.. Уж коли отвечать, так было бы за что!

— Что ты, Лаврентий Никитич,— прервал Прокудин,— ведь государь Петр Алексеевич шутить не любит. Что, тебе голова, что ль, надоела или захотелось в Березов?

— В Березов?.. И, полно, любезный! страшен сон, да милостив бог!.. Березов-то далеко, и царь теперь не близко... Э, да что ж мы зеваем!.. Надо послать когонибудь ко мне в село; и коли князь Андрей в самом деле туда перебрался... Да вот кстати Кулага!..

В гостиную вошел Прокофий Сидорыч.

— Ну что, Прокофий? — сказал Максим Петрович.

— Все слава богу! — отвечал дворецкий,— приезжий

офицер оставил у нас двух служивых, а сам забрал с собою понятых и отправился...

— Ко мне? — спросил Рокотов.

— Да, батюшка Лаврентий Никитич.

— Так ступай, братец, прикажи кому-нибудь из моих молодцов сесть на коня да живо проселком в Знаменское, и коли князь Шелешпанский там...

— Никак нет, сударь,— проговорил вполголоса Кулага.— Князь Андрей Юрьевич здесь.

— Здесь?.. Где ж он?

Прокофий посмотрел вокруг себя и сказал шепотом:

— На барском гумне, сударь, в овинной яме.

— Ах он сердечный! — вскричал Шетнев.— Больно перепугался?

— У, батюшки!!! дрожкой дрожит.

— Слышишь, Максим Петрович,— сказал Рокотов,— ведь князь-то Андрей здесь!

— А ты, Лаврентий Никитич,— молвил Прокудин,— слышал ли, что я говорил этому Мамонову?

— А что?

— Я сказал ему, что у меня притона для беглых нет; и коли князь Шелешпанский знаючи отбывает от царской службы, так я и сам не стану его у себя держать.

— Что ты, что ты, Максим Петрович, перекрестись!

— Да, Лаврентий Никитич, ты себе думай как хочешь, но, по мне, и простому мужичку зазорно быть в бегах, а уж коли наш брат, дворянин, учнет прятаться по овинам, чтоб отвилять как-нибудь от царской службы...

— Служба службе розь, любезный! Вот и мы с тобой служили, кажись, верой и правдою, да только кому?.. Православным царям Алексею Михайловичу, Феодору Алексеевичу...

— А он пусть послужит царю Петру Алексеевичу.

— Что, небось язык-то у тебя не повернулся сказать: православному?..

— А какому же? Разве наш батюшка Петр Алексеевич в церковь божию не ходит?.. Эх, Лаврентий Никитич, нехорошо, видит бог — нехорошо!.. Царей-то не мы выбираем, а господь нам дает, так если б что и не по-нашему было...

— Толкуй себе, толкуй!.. Ну вот, Герасим Николаевич, ты со мною спорил, ан и выходит моя правда, что друг-то наш сердечный, Максим Петрович, в сенаторы захотел... Слышишь, как поговаривает?

— В сенаторы!..— повторил Прокудин.— А ты во что, Лаврентий Никитич?.. Сказал бы я тебе, да только обидеть не хочу.

— Говори, небойсь, я не обижусь.

— Да не об этом речь! — прервал Шетнев, стараясь замять разговор, который, по его мнению, вовсе не следовало заводить при каком-нибудь Пыжове, а и того менее при дворецком Максима Петровича.— Скажите-ка лучше, что ж свадьба-то у нас?

— Делать нечего,— молвил Рокотов,— придется на время отложить.

— Знаете ли что? — продолжал Шетнев,— ведь повенчать-то можно у меня на селе, ко мне Мамонов не пожалует.

— Повенчать! — сказал Прокудин.— Нет, уж об этом что и говорить. Чай, теперь жениху-то не до венца: ему служить надобно.

— Служить! — подхватил Рокотов.— Зачем?.. Авось дело и так обойдется. Я найду ему укромное местечко: у меня верстах в тридцати отсюда есть хуторок в лесу...

— Да что ж, ему там целый век, что ль, жить?

— А кто знает, Максим Петрович? Мало ли что может быть: государь-то Петр Алексеевич не на свадебный пир поехал: еще бог весть, вернется ли из-под турка или нет.

— И, Лаврентий Никитич, охота тебе говорить!..

— Ну вот еще! и поговорить нельзя. Ведь от слова ничего не сделается. Под Полтавою ему, нашему батюшке, шляпу-то продырили; ну, а как теперь в туретчине, этак, грехом зацепит немного пониже... Ведь пуля дура, не разбирает!

— Избави господи!

— Да что ж, Максим Петрович, мы все люди смертные... А случись что-нибудь такое, так дела-то пойдут иным чередом... Конечно, нашей матушки Софьи Алексеевны не стало, да зато, говорят, сынок-то его — дай бог ему много лет здравствовать!..

— Эх, Лаврентий Никитич! — прервал с приметной досадою Прокудин,— не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Что ж мы, в самом деле крамольники, что ль, какие, стрельцы?..

— Стрельцы! — повторил Рокотов.— Стрельцы-то были удальцы!.. Ну кто говорит: теперь они крамольники... Вестимо дело: чья взяла, тот и прав.

— Послушай, Лаврентий Никитич,— сказал с негодованием Прокудин,— коли ты хочешь оставаться со мной приятелем, так не изволь при мне таких непригожих речей говорить!

— Вишь как!.. А сам-то ты?

— Грешный человек — и я иногда поропщу, но все-таки люблю нашего батюшку Петра Алексеевича и молюсь о его здравии; а тот, кто называет Софью Алексеевну своей матушкой и подхваливает мятежных стрельцов, тот сам коли не делом, так словом такой же точно крамольник, как они... не прогневайся!..

— Вот как!

— Да, Лаврентий Никитич, кто ненавидит законного своего государя и любит врагов его, тот, по-моему, не русский, не православный и даже не христианин... не прогневайся!

— Так ты этак-то? — молвил Рокотов, вставая.— Ну, господь с тобою! поедем, Герасим Николаевич: нам здесь делать нечего.

— Что ты, что ты! — вскричал Шетнев.

— Что я?.. Да разве не слышал? я не русский, не православный и даже не христианин. Прощай, Максим Петрович! спасибо за угощенье!

— Лаврентий Никитич,— сказал Прокудин,— я, может статься, погорячился и если сказал лишнее слово, так прости меня... да только, воля твоя, и тебе непригоже такие речи говорить. Ведь, кажись, и ты так же, как я, целовал крест государю Петру Алексеевичу. Послушай, любезный: мне, право, жаль, что я тебя обидел...

— Добро, добро, чего жалеть: снявши голову, о волосах не плачут. Прощай!

— Да погоди, Лаврентий Никитич,— сказал Шетнев, идя вслед за Рокотовым,— воротись!

— Ни за что на свете!.. Поди-ка лучше да похлопочи, чтоб князя Андрея свезли на мой красноярский хутор, а я прикажу седлать коней.

— Да неужели ты не помиришься с Прокудиным?

— Зачем? чтоб опять поссориться? Ведь это уж не впервые. Да и бог с ним совсем! Кто говорит: «Помоги господи и нашим и вашим», с тем каши не сваришь!

Через полчаса в селе Вздвиженском из всех гостей остались только Карп Саввич Пыжов и двое служивых, приехавших с Мамоновым, из которых, благодаря

гостеприимству Прокофия Сидорыча, один сидел, покачиваясь, на лавке и пел во все горло: «Как во стольном граде во Киеве», а другой давно уже лежал под лавкою и спал богатырским сном.

ГЛАВА V

Премудрый век, в котором мы живем, может по всей справедливости назваться веком изобретений, открытий и всяких улучшений. Начиная от серных фосфорных спичек до железной атмосферической дороги, чего ни сделано, ни придумано, ни открыто, ни доведено до совершенства в течение нашего девятнадцатого столетия, а несмотря на это мы все еще не выдумали *коврика-самолета,* известного нам по древним преданиям, которые мы, бог знает почему, называем сказками. Теперь, по милости железных дорог, мы переносимся из одного места в другое довольно скоро, однако ж все-таки не скорее птиц. Ну есть ли тут чем хвастаться? Так ли в старину летали досужие люди на коврике-самолете, с быстротою которого может сравниться только один электрический телеграф, также придуманный в наше время. Вам стоило тогда присесть на этот ковер и сказать: «Коврик, коврик-самолет! перенеси меня из села Вздвиженского в Бессарабию, на берега Днестра», и прежде, чем звук этих слов исчез бы в воздухе, вы очутились бы там, куда я хочу теперь, за неимением этого воздушного экипажа, перенести вас если не делом, так по крайней мере мыслию.

Верстах в пятидесяти от Могилева, уездного города нынешней Подольской губернии, на бессарабской стороне Днестра, есть небольшой городок, который прежде все звали Сорокою, а теперь зовут иногда и Соколом. Не знаю, по какой причине дали ему это птичье название; но во всяком случае если в старину, когда этот город был укрепленным и довольно значительным городом, он назывался Сорокою, так теперь и подавно не за что его величать Соколом. Представьте себе огромный луг, или, вернее сказать, цветущую, роскошную долину, а посреди ее сотни полторы выбеленных известью домиков, которые, вместе со своими обширными плодовитыми садами, составляют почти равносторонний четырехугольник. В близком расстоянии от реки, из-за низких кровель домов, подымаются стены небольшого замка или крепости, вероятно построенной генуэзцами.

Излучистый Днестр, выгибаясь дугою, обхватывает эту долину с трех сторон, а с четвертой заслоняют ее утесистые холмы нагорной стороны Днестра, то есть бессарабского берега этой необычайно красивой и живописной реки.

В тысяча семьсот одиннадцатом году на одном из этих холмов стоял хорошенький домик, напоминающий своей восточной архитектурою затейливые турецкие киоски, которыми обставлены все берега Босфора. Сзади примыкала к этому домику частая буковая роща, а с лицевой стороны, обращенной к огороду, окружали его обширные виноградные сады; опускаясь широкими уступами, они тянулись по скату горы вплоть до самого Днестра, который в этом месте, обогнув всю долину, приближался снова к своему гористому бессарабскому берегу. Этот дом принадлежал молодой вдове, богатой молдаванской куконе Смарагде Хереско. В нем стоял временным постоем больной русский офицер. Я думаю, вы отгадали уже, любезные читатели, что дело идет о вашем старом знакомце, Василии Михайловиче Симском. Он догнал свой полк близ Львова, почувствовал себя нездоровым, перемогался, и когда государь Петр Алексеевич прибыл 12-го числа июня с преображенцами и семеновцами в город Сороку, Симский сделался до того болен, что должен был снова расстаться с своим полком. Генерал Вейде, которого дивизия была расположена на бессарабском берегу Днестра, знал Симского лично и, по совету доктора, перевел его из городского лазарета на мызу молдаванской помещицы Смарагды Хереско. 17 июня государь Петр Алексеевич выступил в поход к Пруту с полками Преображенским и Семеновским. Хотя эти полки были так же, как и теперь, пехотными, однако ж в походе садились всегда на коня и шли с литаврами, штандартами и трубами, когда же приходили на место, им возвращали барабаны, и эти временные конные полки становились снова пехотными. Вслед за государем выступила вся артиллерия под начальством генерала Брюса, пехотная дивизия генерала Вейде, конница под командою бригадира Моро де Бразе, и в городе Сороке осталась одна только дивизия князя Репнина, которому препоручено было окончить все начатые крепостные работы.

Несколько дней, проведенных спокойным и даже весьма приятным образом, помогли Симскому лучше всех лекарств: в нем осталась одна слабость; но она

была еще так велика, что он никак не мог сесть на коня или отправиться в *каруце,* то есть огромной тряской телеге, догонять свой Преображенский полк. Я сказал, что Симскому было не только спокойно, но даже приятно жить на даче куконы Хереско. Эта молодая и прекрасная вдова могла свободно объясняться с своим постояльцем: она научилась говорить по-нашему, гостя очень часто у своей родной сестры, жены одного русского барина, который жил безвыездно в Киеве. Когда Симского поместили к ней в дом, она, как добрая и гостеприимная хозяйка, приняла его ласково и с самым радушным участием позаботилась о его покое. Казалось, это участие было совершенно искренним, потому что оно не только не уменьшалось, но беспрестанно увеличивалось, и самым заметным образом. В первый день она зашла на минуту к своему больному постояльцу, на второй провела с ним целый вечер, а на третий почти безвыходно просидела в его комнате. Когда Симскому стало полегче и он хотя с трудом, однако ж мог переступать и выйти на открытый воздух, Смарагда водила его по своим виноградным садам, отдыхала вместе с ним под тенью буковой рощи, поила из своих рук серальским шербетом, кормила *дульчецом,* то есть сахарным вареньем, ухаживала за ним, смотрела ему в глаза — одним словом, не оставляла его ни на минуту и нянчилась с ним, как самая нежная мать с своим больным ребенком.

Однажды поутру, в тот самый день, когда государь Петр Алексеевич выступил с гвардейскими полками из Сороки, Симский, опираясь на руку своей хозяйки, вышел из дома и присел на одну из ступенек крыльца, над которым подымалось великолепное ореховое дерево, посаженное у самых дверей дома. Смарагда Хереско села подле него. Трудно было б решить, кто из них был прекраснее, разумеется, каждый в своем роде. На молдаванке сверх утреннего платья из полосатой шелковой *аладжи* накинута была бархатная, опушенная горностаем *фермеле,* то есть кофточка, похожая на нынешние женские кацавейки. Черная, блестящая, как вороново крыло, коса ее, обвиваясь дважды вокруг головы, служила околышем для пунцовой албанской фески, или круглой шапочки, с которой опускалась на одну сторону густая кисть из синего шелку. Бледное и даже несколько смуглое, но роскошно прелестное лицо ее соединяло в себе все то, что составляет идеал восточной

красоты: черные влажные глаза, которые то выражали какую-то усталость, исполненную сладострастия и неги, то горели страстию и жгли своим огненным взглядом, длинные ресницы, тонкие брови дугою, коралловые уста и два ряда зубов, «как два жемчужных ожерелья».

Представьте себе все это, и вы будете тогда иметь понятие о прекрасной куконе Смарагде Хереско.

Симский, рослый, статный юноша, с лицом, похудевшим от болезни, но все еще румяным, с задумчивым взором своих светло-голубых глаз и русыми волнистыми кудрями, которые опускались небрежно на его белую шею и широкие плечи, мог также назваться образцом этой славяно-русской самобытной красоты, пленяющей нас не страстным выражением лица, не пламенем очей, но каким-то величавым спокойствием, тихой, приветливой улыбкою и этим мощным, светлым взглядом, который обещает не минутную безумную страсть, но верную постоянную любовь до гроба, не бешеную, мимолетную храбрость, но твердое, ничем не поколебимое мужество. Молдаванка сидела молча подле своего больного и не спускала с него глаз; казалось, Симский не замечал этого и смотрел все на город, из которого выходило русское войско. Вдруг задумчивый взор его оживился, и он, обратясь к своей хозяйке, сказал:

— Смарагда! видишь ли ты это войско, вон что подымается в гору?.. Это Преображенский полк, в котором я служу.

— Если ты в нем служишь,— промолвила кукона, глядя с нежностию на Симского,— то, уж верно, этот полк лучше всех полков.

— Да! государь его жалует.

— Куда же он идет?

— В поход.

— За Дунай?

— А бог весть! говорят, визирь переправился через Дунай и хочет нас встретить под Прутом.

— Под Прутом? да это недалеко. У меня поместье есть в Орхеевском цынуте, на самом берегу Прута.

— Может быть,— продолжал Симский грустным голосом,— дней через пять храбрый Преображенский полк померится с врагом, отличится перед другими полками, а я буду сидеть здесь сложа руки...

— Так что ж,— прервала с живостию молдаванка,—

тем лучше! Дай бог, чтоб ты долго, долго не выздоровел!

— Спасибо, Смарагда!

— Ах, Василий Михайлович, ты не знаешь этих турок: они такие злые!.. Они тотчас отрежут тебе голову.

— Авось не отрежут! ведь наши русские багенеты стоят их турецких ятаганов.

Молдаванка покачала печально головою.

— Небойсь, добрая Смарагда,— сказал Симский,— мы за себя постоим.

— Дай-то бог,— прошептала кукона,— только и в Яссах и в Бухаресте — везде я слышала, что сильнее турок нет народа на свете.

Симский улыбнулся. Вероятно, ему пришло в голову то, что в наше время высказал Крылов, у которого мыши убеждены, что сильнее кошки на свете зверя нет.

— Чему ж ты смеешься? — сказала почти с упреком Смарагда.— Да если русские и одолеют турок, так разве тебя не могут убить?

— Так что ж? дай бог нашему великому царю остаться в живых и победить супостата, а я умру с радостию. Смерть за царя и за родину честна пред господом.

— О нет,— вскричала молдаванка,— пусть пропадет все русское войско, пусть гибнет ваш царь, лишь только бы ты остался жив!

— Я?.. И, кукона! охота тебе говорить такие речи!.. Ну что такое я один в сравнении с царем и всем православным русским войском? Да разве всякий из нас не должен умереть с радостию за свое отечество?

— Отечество! — повторила с презреньем молдаванка.— И у меня есть отечество: я родилась в Молдавии. Да что мне до нее? Пусть ею владеют турки, немцы, русские — по мне, все равно!.. Ах, нет! теперь я хотела бы, чтоб мы были вашими, тогда и я была бы русская!..

«Бедняжка! — подумал Симский, глядя с сожалением на свою хозяйку.— Нет, ты не знаешь, что такое свой царь и свое отечество!.. Ты молдаванка, веруешь в Христа — и все-таки раба неверного турка!.. О, конечно, у таких рабов нет ни царя, ни отечества!»

— Вот дело другое,— продолжала кукона,— умереть за одного... О, это я понимаю!.. Умереть за того, кого любишь!.. Да тут и спрашивать нечего: эта смерть милее жизни!

— А я так думаю,— сказал Симский,— что лучше умереть за всех, чем за одного.

— За всех, за всех! — прервала с досадою Смарагда.— Ты, я вижу, всех любишь!

— Так что ж, кукона? Нам и бог велел всех любить.

— Скажи мне, Василий Михайлович,— прошептала молдаванка, помолчав несколько времени,— только скажи правду: любишь ли ты меня?

— Тебя?.. Да как же мне тебя не любить? Ты приняла меня как своего кровного, заботилась обо мне как о родном брате... У меня сестры не было, Смарагда, но мне кажется, что я стал бы ее любить точно так же, как люблю тебя.

— Сестры!.. А любил ли ты кого-нибудь больше родной сестры, больше самого себя... больше всего на свете?

— Да, Смарагда, любил и теперь еще люблю.

Молдаванка вздрогнула, ее смуглые щеки покрылись бледностию, и уста посинели, и она промолвила прерывающимся голосом:

— Что ж, та, которую ты любишь, русская?

— Русская.

— И, верно... твоя невеста?

— О нет! Я хотел на ней жениться, но ее родные этого не захотели. Теперь, я думаю, она давно уж замужем.

— Замужем? — повторила Смарагда, и потухший взор ее снова оживился.— Так ты любишь замужнюю женщину?.. Ах, Василий Михайлович, это нехорошо!

— И рад бы не любить, кукона, да, видно, любовь-то дело невольное.

— А знала ли она, что ты ее любишь?

— Как не знать, ведь я за нее сватался.

— Так, видно, эта русская тебя не любила?

— Любила или нет, про то знает она. Ведь у нас девицы очень скромны, Смарагда... Однако ж по всему было заметно, что я пришел ей по сердцу.

— И она, любя тебя, вышла замуж за другого?

— Поневоле пойдешь, когда прикажут.

— Когда прикажут! И вы называете это любовью? — прервала с жаром молдаванка.— Да кто может приказать мне?..

— Вестимо кто: отец, мать, родные...

— Родные! да какое же им дело до моей любви?.. Разве они могут сказать мне: отдай себя немилому человеку и забудь о том, кого ты любишь, сноси с покорностию ненавистные ласки твоего мужа, ласкай его сама

и не люби того, кому ты отдала все помышления, всю душу свою!.. Не люби! да разве это не все то же, если б мне сказали: живи себе на здоровье, да только не дыши воздухом, без которого ты не можешь жить!.. Нет, Василий Михайлович, эта русская не стоит твоей любви! Если б я была на ее месте, ты увидел бы тогда, как любят молдаванки!.. Быть твоей женой, твоей любовницей... рабою... О! за один день этого блаженства я отдала бы всю жизнь мою, ушла бы за тобой на край света! Пусть бы отец проклял меня, мать покинула, родные бросили,— что мне до этого: я уж не их, когда люблю!

Страстная кукона была в эту минуту неизъяснимо прекрасна; дикий пламень ее черных очей был так очарователен, что всякий просвещенный юноша тотчас бы упал перед нею на колени; но Василий Михайлович был в этом отношении совершенный варвар. Понятия, которые он имел о женской скромности, разумеется понятия невежественные, отсталые, но закоренелые, как всякий старый предрассудок, сгубили одну из самых поэтических минут в его жизни. Вместо того чтоб восхищаться и падать на колени, он молча и с приметным ужасом глядел на свою хозяйку. Эта безумная страсть, эти почти богохульные слова в устах женщины казались ему до того преступными, что он готов был перекреститься и сотворить молитву. Впрочем, это неприятное впечатление продолжалось недолго; несмотря на его неопытность — общий недостаток молодых людей тогдашнего времени,— ему нельзя было не отгадать, что Смарагда его любит; и надобно отдать справедливость Симскому: он не обрадовался этому; напротив, ему стало жаль бедной куконы. Он чувствовал, что может быть только ее другом и любить как родную сестру. Не знаю, что делал бы Симский, если б сердце его было свободно, но, вероятно, и тогда бы он не захотел на ней жениться, не потому, чтоб она ему не нравилась... О нет, кукона Хереско была истинно прекрасная женщина; но в любви ее было что-то страшное для Симского, и эта буйная, неистовая страсть казалась ему чувством не только не женским, но даже вовсе неестественным.

— Ну, что ж ты на меня так смотришь,— продолжала Смарагда,— иль ты не веришь, русский, что мы, молдаванки, можем так любить?

— Да, кукона,— отвечал Симский,— мне что-то не верится. Вменять ни во что отцовское проклятие, отка-

заться от родной матери — да это, чай, не водится и у турок, а ведь вы христиане.

Молдаванка посмотрела с удивлением на Симского.

— Так ты этого не понимаешь? — сказала она.

— Нет, Смарагда, не понимаю.

— Да как же ты любил свою русскую?

— Я любил ее как будущую мою подругу, как счастье и радость всех дней моих, но вовсе не хотел, чтоб она была моей рабою, и сам бы не пошел к ней в рабы.

— Так ты еще никогда не любил, Василий Михайлович, да вряд ли и будешь когда-нибудь любить!.. Правду говорят, что ваша Русь земля холодная...

— Бывает и у нас тепло, Смарагда,— сказал с улыбкою Симский.

— Да, видно, так редко,— прервала кукона,— что вам и оттаять некогда... Да что об этом!.. Ты мне сказал, что любишь меня как сестру родную...

— О, конечно, моя добрая Смарагда!..

— Так я могу называть тебя милым другом... ласкать как родного брата... не правда ли, Василий?..— промолвила молдаванка, опустив свою прелестную головку на плечо Симского.

В эту самую минуту сквозь густые виноградные лозы сверкнул как молния огненный взгляд, потом послышались шаги, и на тропинку, которая подымалась в гору, вышли двое мужчин: один одетый довольно просто, другой — залитый в золото и укутанный в турецкие шали. Этот последний, несмотря на свою богатую одежду, шел позади и нес в руках пунцовый, шитый золотом мешок и турецкую трубку с длинным черешневым чубуком.

— Кто это? — спросил Симский.

— Кажется...— сказала Смарагда.— Ну, так и есть: это бояр Алеско Палади с своим арнаутом.

— Что, он твой родственник?

— Нет, чужой... и чего он от меня хочет?.. Кажется, в последний раз я обошлась с ним не очень ласково... Да вот я его так угощу, что он долго ко мне не пожалует!

Высокий и статный молдаванин подошел к крыльцу и, не удостоив Симского взглядом, поклонился Смарагде. Этот бояр Алеско Палади был еще довольно молод и мог бы назваться прекрасным мужчиною, если б его орлиный нос был несколько поменьше, а черные густые

брови не придавали его взгляду такой угрюмый, неприязненный вид.

— Здравствуй, кукона! — сказал он по-молдавански.

Смарагда кивнула молча головою. Молдаванин сел подле нее на ступеньку крыльца и закричал арнауту:

— Хе!.. Янке, ада чубуче!

Арнаут высек огня, закурил трубку и подал ее своему господину.

— Смарагда,— сказал Симский, вставая,— я пойду к себе в комнату и прилягу на минутку.

— В самом деле, Василий Михайлович, отдохни. Мы с тобой сегодня много ходили... А вот постой,— я тебя провожу,— промолвила Смарагда, вставая.

— Зачем?.. Я и сам дойду.

— Да ты еще так слаб...

— О нет! сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Останься со своим гостем.

— Хорошо, я с ним останусь, да только будет ли ему со мною весело.

Симский вошел в дом, а кукона села опять на прежнее свое место.

ГЛАВА VI

— Кукона! — сказал вполголоса бояр Паладн, указывая чубуком на уходящего Симского,— что это за человек?

— Мой постоялец,— отвечала Смарагда,— русский офицер.

— К тебе поставили больного офицера, а этот, кажется, здоров.

— Здоров! Да разве ты не видишь, что он насилу ходит?

— Скажи мне, кукона,— промолвил Алеско Паладн, помолчав несколько времени,— что с тобою сделалось?

— Со мною? Ничего...

— Как ничего? Я не узнаю тебя. Ты почти не говоришь со мной, не хочешь меня видеть. Третьего дня меня уверили, что ты уехала в город, а в городе тебя не было, вчера вышла ко мне твоя цыганка и сказала, что ты нездорова... Ну, вот теперь я застал тебя на крыльце, и по лицу твоему нельзя заметить, чтоб ты была больна... Что ж это значит?.. Если я в чем провинился перед тобою, так скажи.

Смарагда молчала.

— Что ж ты не отвечаешь, кукона,— продолжал бояр Палади.— Я хочу непременно знать, отчего ты так ко мне переменилась?

— Да с чего ты взял, что я переменилась? — сказала Смарагда, взглянув равнодушно на своего гостя.

Этот вопрос, конечно очень неуместный, но довольно обыкновенный в подобных случаях, заставил вспыхнуть молдаванина.

— И ты можешь меня об этом спрашивать! — вскричал он.

— Ах, не кричи, бояр,— прервала Смарагда,— я этого терпеть не могу!.. Ну, да! с чего ты взял, что я переменилась? Разве я не все та же знакомая твоя кукона Хереско, которая принимала тебя как хорошего приятеля и которой — не прогневайся, бояр! — ты начинаешь ужасно надоедать своей любовью.

— Надоедать? — повторил молдаванин, и глаза его засверкали. Он хотел что-то сказать, но остановился и, помолчав несколько времени, промолвил тихим голосом: — Ну, кукона, видно, память-то у тебя очень коротка! Давно ли, вот здесь, под этим самым ореховым деревом, ты говорила мне: «Погоди, милый Алеско, дай мне подумать!»

— Ты лжешь,— прервала с живостью Смарагда,— я не называла тебя милым, а хотела подумать — это правда. Ну, вот я подумала и говорю тебе решительно: бояр Алеско Палади! я не хочу выходить замуж.

— Ни за кого?

— Нет, этого я не говорю. Захочу, так выйду.

— Смарагда! — проговорил, задыхаясь от бешенства, молдаванин.

— Да, бояр,— продолжала твердым голосом кукона,— я могу отдать себя тому, кто придет мне по сердцу, могу сделаться его женою или невольницей — все равно! была бы на это моя воля; но ни ты, ни наш господарь, ни сам падишах не возьмут меня насильно. Ступай в Стамбул, бояр Палади, покупай там на базаре невольниц, а Смарагда Хереско не раба: ее нельзя ни купить, ни продать.

— Да разве я этого не знаю? — сказал молдаванин, стараясь удерживать свой гнев.— Ты, конечно, вольна отдать себя кому захочешь, но где ты найдешь человека, который любил бы тебя так страстно, как я? Давно ли ты сама — не гневайся, кукона, я говорю правду,—

давно ли ты сама была со мною так ласкова, встречала меня всегда с такою радостною улыбкою, и вдруг я сделался тебе противен, ты стала убегать меня, отворачиваться от меня с презрением, ну, вот как теперь... не слушать речей моих...

— Так зачем же ты говоришь со мною? — промолвила Смарагда, которая, отворотясь от своего гостя, смотрела рассеянно в ту сторону, где проходило густыми рядами русское войско.

— Зачем! — повторил молдаванин,— неблагодарная! да знаешь ли, как я люблю тебя?.. В Бухаресте господарь предлагал мне руку своей племянницы, я отказался от этой чести, и он сделался навсегда врагом моим; мой родственник, любимый драгоман великого падишаха, звал меня в Стамбул, обещал и богатство и почести,— я не поехал, для того чтоб не расстаться с тобою. Для кого отказался я от звания великого спатаря, которое предлагал мне князь Кантемир? для кого покинул я мою родину, уехал из Ясс, расстался с родными?..

— Уж верно не для меня,— прервала Смарагда, продолжая смотреть в поле.— Я тебя об этом никогда не просила.

Бояр Паладн побледнел.

— Смарагда! — сказал он,— ты не женщина, а дикий зверь!

Влюбленный молдаванин ошибся. Нет, вам скорей удастся разжалобить дикого зверя, чем женщину, страстно влюбленную, но только не в вас. Если вы перестали ей нравиться и она любит другого, то все, что бы вы ни делали, будет напрасно. Чем более вы имеете прав на любовь ее, тем вы будете казаться ей несноснее. Если вы не хотите этого, так скрывайте ваши страдания, терпите, глотайте молча слезы... Конечно, и это вам не поможет: она не сжалится над вами, но по крайней мере пожалеет о вас. Перестаньте любить ее, постарайтесь забыть, что и она также вас любила... О! тогда, быть может, вы сделаетесь ее другом. Но боже вас сохрани упрекать, жаловаться и пуще всего вспоминать о прошедшем — это увеличит только ее ненависть, и она не захочет вас знать даже и тогда, когда пройдет этот душевный недуг, этот безумный бред, который не покидал ее ни днем ни ночью и от которого да избавит вас господь бог, любезные читательницы!

Несколько минут продолжалось молчание. Смарагда встала.

— Извини меня, бояр,— сказал она.— Я не могу долее с тобой беседовать: у меня на руках больной.

— Больной! — повторил с горькой усмешкою Паллади,— да, он очень походит на больного!.. Постой, кукона, еще одно слово!.. Когда я подходил к твоему дому, ты сидела, кажется, очень близко подле этого больного?

— Так что ж?

— Мне показалось даже, что ты лежала на его плече?

— Может быть.

— И ты в этом признаешься?..

— А для чего я буду запираться перед тобою? Что ты, муж мой, брат или жених?

— Ты любишь этого русского?

— Да, люблю.

Молдаванин вскочил; глаза его налились кровью, а правая рука судорожно ухватилась за рукоятку кинжала.

— Бояр Паллади,— сказала кукона, глядя смело в глаза своему гостю,— этот русский не виноват, что я его люблю, он даже и не знает об этом: так если тебе вздумается убить кого-нибудь из нас — убей меня! Я смерти не боюсь! — промолвила грустным голосом Смарагда.

Эти слова, казалось, немного успокоили молдаванина.

— Ты его любишь! — сказал он.— Недаром же я ненавижу этих русских!.. Да вот увидим, как-то они вернутся из-под Прута!.. Через несколько дней и твой постоялец отправится туда же и, может быть, его угостят там не по-твоему, кукона!.. Визирь уж близко, а где он с непобедимым войском великого падишаха, там гибнет все!.. Неужели, Смарагда, ты будешь думать об этом русском даже и тогда, когда он погибнет?

— Нет, я не стану тогда о нем думать, а умру поскорее, чтоб никогда с ним не расставаться.

— О, если так,— прервал Паллади,— так ты недолго наживешь! Прощай, кукона!

— Прощай, бояр.

— Прощай, любовница русского офицера!

— Да,— прервала с жаром молдаванка,— я его любовница, а не жена твоя! Слышишь, бояр Паллади?

— Слышу,— прошептал молдаванин, взглянув угрюмо на Смарагду.— Слышу, кукона, и не забуду об этом.

— Я презираю твои угрозы и ругательства, злой человек! — сказала Смарагда, глядя вслед за своим незваным гостем.— Кукона Хереско не была ничьей любовницей, но она скорей будет рабой последнего из русских, чем твоей женою, ненавистный молдаванин.

Прошло еще два дня. Бояр Паладо не показывался, а Симскому становилось все лучше и лучше. Вот на третий день, часу в осьмом утра, он надел на себя полный мундир и вошел в комнату к своей хозяйке.

— Прощай, Смарагда,— сказал он.— Я иду в город.

— В город,— повторила с приметным испугом кукона.— Зачем?

— Сначала зайду к коменданту и скажу, чтоб меня выписали из числа больных, а там явлюсь к князю Репнину.

— Я слышала, что он завтра уходит с войском из Сороки.

— Да, его дивизия идет к Пруту. Чем мне догонять армию одному, я попрошу, чтоб меня прикомандировали к какому-нибудь полку.

— Так ты хочешь завтра отправиться?

— Я уж совсем здоров, Смарагда; так мне грешно будет перед богом и стыдно перед товарищами оставаться здесь на покое. Мне кажется,— промолвил с улыбкою Симский,— я и так у тебя довольно погостил.

— Довольно!.. Несколько дней!.. Ну, видно, ты не очень любишь свою сестру!

— Что же делать, мой друг, мне и самому грустно с тобой расстаться...

— А почему знать, может быть, мы с тобой не расстанемся?.. Я тебе говорила, что у меня есть поместье Кут-Маре, на самом берегу Прута, разве я не могу туда переехать?

— Да ведь Прут-то не маленькая речка, Смарагда. Говорят, он немногим поменьше Днестра; так, может статься, наше войско остановится верст за сто от твоего поместья.

— А может быть, и недалеко. Верст пять от Кут-Маре есть урочище, которое зовут Рябой Могилою. Мне сказывали, что там войску расположиться очень хорошо: место такое привольное. Не знаю отчего, а мне кажется, что вы будете там стоять лагерем.

— Вот этого-то я и боюсь, моя добрая Смарагда. В военное время чем дальше живешь от войска, тем лучше. Мало ли что может случиться! Хоть у нас и очень

строго, а все поручиться нельзя: и казаки к тебе заедут, и шалуны солдаты забредут. Нет, мой друг, останься лучше здесь.

— Ни за что на свете.

— Ну, коли, на беду, мы около тебя сойдемся с турками?

— Так что ж?.. Господь милостив, может быть, с тобой ничего не будет; а если, боже сохрани, тебя ранят, кто станет за тобой ходить, кто сбережет тебя?.. Нет, мой милый друг, уж если ты назвал меня сестрою, так покину ль я тебя!

— Послушай, Смарагда, да коли мы и в самом деле остановимся подле твоего поместья, так что ж от этого?.. Мы все-таки не будем видеться. В военное время из лагеря отлучиться нельзя.

— Так я сама к тебе приеду.

— Как это можно, Смарагда! Что скажут о тебе добрые люди?

— Что мне до этого!.. Да и почему ж мне не приехать к вам в лагерь?.. У вас так много будет барынь. Все жены ваших немецких генералов поехали на Прут со своими мужьями, я познакомлюсь с ними...

— И все-таки, может быть, не увидишь меня. Ведь военный лагерь не город: там у всякого свое дело. Я же с нашими немецкими генеральшами вовсе не знаком.

— Да уж как хочешь! — прервала кукона.— Что будет, то будет, а я непременно поеду в Кут-Маре и если не увижу тебя, так, по крайней мере, буду знать, где ты...

— Ну, воля твоя!.. Только я, право, боюсь за тебя...

— И, мой милый друг! Коли эти чопорные немки не побоялись ехать за своими мужьями, так чего же ты за меня боишься?.. Да что это тебе вздумалось идти в город пешком, Василий Михайлович? Ведь это не близко. Вели заложить мою кочу.

— Нет, я хочу пройтись пешком. Прощай, моя добрая Смарагда!

— Прощай, мой милый брат!

Окончив в городе все свои дела, Симский отправился в обратный путь. День был жаркий, полуденное солнце горело на темно-синих безоблачных небесах. Изредка только затихающий ветерок шелестел между деревьями и играл в струях Днестра, по берегу которого шел Симский. Хоть он вовсе не спешил и шел очень тихо, однако ж почувствовал наконец большую усталость и,

чтоб отдохнуть где-нибудь под тенью, свернул с дороги в большой, поросший лесом овраг, который шел покатистой лощиною между двух высоких холмов, покрытых также частым дубовым лесом. Дойдя до первого ветвистого дерева, Симский присел под тень его и когда посмотрел вокруг себя, то увидел, что не он один приютился от жары в этом прохладном и тенистом овраге: в двадцати шагах от него, подле широго ручья, который вливался в Днестр, расположились табором вольные цыгане. Пары четыре усталых волов лежали между деревьями, три спутанные лошади и два жеребенка бродили по берегу ручья и щипали траву. В середине полукруга, составленного из нескольких огромных каруц, висел над огоньком чугунный котел. Вокруг него валялись запачканные ребятишки, из которых многие не были даже покрыты и лохмотьями. По-видимому, эта роскошь была предоставлена одним взрослым, и в особенности женщинам, но и те не слишком были обременены одеждою, то есть всякого рода тряпьем и ветошками, которые кажутся нам так красивы и живописны на картине и которые так отвратительны на самом деле. Один молодой цыган гудел на скрипке, перед ним две босые девчонки коверкались и прыгали как полоумные, припевая молдаванскую песню: «Мититика винам коче»; подле них два безобразных цыганенка дрались и грызли друг друга, как цепные собаки, а третий, не обращая на них никакого внимания, боролся с ручным медвежонком. Все взрослые цыгане, собравшись в кружок, рассуждали о чем-то с большим жаром. Симскому не трудно было отгадать, что предметом совещания была какая-то тощая лошадь. Этот лошадиный остов, который цыгане ощупывали и осматривали со всех сторон, стоял повесив голову и, вероятно, вовсе не подозревал, что досужие люди сбираются подкрасить ему зубы, понахлестать хорошенько, выхолить и превратить из старой клячи в молодого и борзого коня. Ближе всех к Симскому сидела на пеньке высокого роста женщина лет под сорок. Она вся была обвешана старыми тряпками и всякой цветной ветошью, которые, впрочем, так искусно были на нее наброшены, что издали она казалась почти одетою. Резкие черты ее смугловато-желтого лица были довольно правильны, но дикий, почти безумный взгляд и нечесаные, раскинутые по плечам черные как смоль волосы придавали ей вид настоящей ведьмы, которые, как известно, сбираются по ночам на Лысой

горе, близ Киева. Она сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и пела вполголоса:

Арды ма, фриджи ма,
Пи карбуне пуне ма,
Дай мне пуне пи карбуне —
Амурезо ну ти спуне! —

то есть:

Жги меня, жарь меня,
На огне пали меня
И на углях на каленых —
Имя друга не скажу!

Вдруг ее быстрый взгляд повстречался с взглядом Симского, она встала, подошла к нему и сказала довольно чисто по-русски:

— Здравствуй, бояр!

— Здравствуй, голубушка! — отвечал Симский.— Где ты научилась говорить по-нашему?

— Я жила долго в Могилеве и в Чернигове, а матуся моя была родом из Москвы... Ну что, мое красное солнышко, хочешь, я тебе поворожу?..

— О чем?

— Вестимо о чем: о твоей московской зазнобушке.

— У меня нет никакой зазнобушки.

— Лжешь, бояр!.. Вишь, ты какой молодец!.. Уж коли у тебя нет кханочки, так, видно, у вас в Москве и красным девушкам не вод. Ну что, хочешь ли, я поворожу тебе о суженой?

— Нет, не хочу.

— Так о том, молодец, уцелеет ли твоя головушка на плечах.

— Моя голова?

— Ну да! Ведь вы пришли сюда с турком-то не бражничать. Небойсь! я тебе всю правду скажу.

— Нет, голубушка, я этого вперед знать не хочу.

— Экий ты какой!.. Да дай же мне, золотой, свою ручку!.. Ты мне на ладонку положи серебро, а я тебе скажу добро.

Симский, чтоб отвязаться от цыганки, подал ей серебряный пятикопеечник.

— Спасибо, добрый молодец! — молвила цыганка.— Дай же я тебе поворожу.

— Ну, поворожи, да только скорей,— сказал Симский, протягивая руку.

— Ай, ай, ай,— прошептала цыганка,— да ты никак заколдован, молодец!.. Смотри-ка, смотри!.. сабли ту-

рецкие тебя не берут, ядра и пули мимо летят!.. А есть у тебя злодей... Ух, как черная немочь его коробит!.. Вот так бы и съел тебя!.. Да не потешится он над твоей головушкой!.. Не таков его талан: самому глаза в чистом поле галки выклюют, а тебя господь помилует... Да, да!.. Смотри: вон он, под кустом лежит, а ты, молодец... у! далеко отсюда... видишь, там... вон, где золотые-то маковки на солнышке горят...

— Уж не в Москве ли? — прервал Симский.— Нет, любезная, не отгадала: я в Москву ни за что не поеду.

— Эх, мой ясный сокол! — сказала цыганка,— ну вот и помешал: теперь ничего не вижу. Положи-ка еще на ладонку!

— Хорошо, голубушка, будет с меня и этого. Ступай с богом!

Цыганка не успела отойти нескольких шагов, как вдруг из-за деревьев раздался выстрел, и пробитая насквозь шляпа слетела с головы Симского. В то же время поднялся ужасный крик во всем таборе: пуля, назначенная, по-видимому, для Симского, не сделав ему никакого вреда, попала в старую клячу, около которой хлопотали цыгане, и убила ее наповал.

— Ну вот, мое красное солнышко! — молвила цыганка, оборотясь к Василию Михайловичу,— правду ли я сказала, что тебя пули не берут и что у тебя есть злодей? Смотри же, молодец, и вперед цыганкам верь! — промолвила она, садясь по-прежнему на пенек и запевая снова:

Арды ма, фриджи ма,
Пи карбуне пуне ма!

— Нет,— подумал Симский, рассматривая свою шляпу,— это не дробь!.. А ведь охотники по дичине пулями не стреляют... Неужели в самом деле у меня есть злодей?.. Да кто ж он такой? Я здесь, кроме Смарагды, никого не знаю. Что ж это такое?..

Рассуждая с самим собою и теряясь в догадках, Симский дошел потихоньку до мызы куконы Хереско. Там все было в движении: дворовые цыганки бегали из комнаты в комнату, кучера суетились вокруг дорожных каруц, арнауты и слуги укладывались и сама кукона была в больших хлопотах. Когда Симский стал ей рассказывать о своем приключении, она сначала испугалась, побледнела, потом вдруг глаза ее засверкали гневом.

— Это ты, злодей! — проговорила она вполголоса.—

Да погоди, разбойник, если ты осмелишься показаться подле Кут-Маре, так я велю застрелить тебя, как бешеную собаку!

— О ком ты это говоришь? — спросил с удивлением Симский.

— Ты видел у меня бояра Палади? Это он хотел убить тебя.

— Меня? за что?

Смарагда приметным образом смутилась.

— Я его совсем не знаю,— продолжал Симский.

— Да он тебя знает,— прошептала кукона.— О, как я рада, что ты поедешь в поход вместе с войском! Отсюда до самого Прута все степи, и если злой человек захочет кого-нибудь убить...

— Да что ж я сделал этому Палади?..

— Что сделал!.. Ты русский, а он ненавидит русских...

— И хочет один всех нас перебить поодиночке? — прервал с улыбкою Симский.— Ну, молодец!.. Я вижу, ты сбираешься в дорогу, Смарагда?

— Да, я завтра поеду в Кут-Маре.

— Воля твоя, а, право, лучше б, если ты осталась.

— Уж я тебе сказала, мой друг: ни за что на свете!

— Ну, делать нечего, укладывайся. У меня сборы невелики, однако ж пойду и я кой-что уложить.

На другой день рано поутру дивизия князя Репнина отправилась в поход. Обоз этого войска тянулся еще по горам бессарабского берега Днестра, когда из мызы куконы Хереско выехала дорожная венская карета на пасах; с каждой стороны этого тяжелого рыдвана ехало по одному вооруженному с ног до головы арнауту; на козлах, подле кучера, сидела Мариорица, любимая цыганка куконы, а позади тащились на волах огромные каруцы с поклажею и многочисленною дворнею первой, по своему богатству, сорокинской барыни, Смарагды Хереско.

ГЛАВА VII

Русское войско, под личным начальством государя Петра Алексеевича, пройдя в пять дней Буджакские степи, остановилось в прекрасной, орошаемой Прутом долине. Река Прут гораздо уже Днестра, но несравненно его быстрее. В своем излучистом течении она очень

часто отрывает от берега огромные глыбы и сильным напором воды производит береговые осыпи и провалы, весьма опасные для запоздалых путешественников.

27 июня, то есть в день Полтавского сражения, рано поутру, шли по берегу этой реки, разговаривая меж собою, двое молдаван. Один из них был среднего роста, но весьма стройный и прекрасный мужчина. Другого описывать мне нечего: вы уж его знаете. Первый был господарь молдавский, князь Кантемир, второй — бояр Алеско Паладии. Они шли к небольшой рощице, на опушке которой стоял арнаут, держа в поводу двух красивых турецких коней.

— Да точно ли ты уверен, бояр,— говорил князь Кантемир,— что только небольшая часть турецкой армии переправилась через Дунай и что сам визирь не прежде будущей недели тронется со всем войском?

— Я это наверно знаю,— отвечал Паладии.

— Полно, так ли, бояр? Для чего, кажется, визирю мешкать за Дунаем, когда войско русского царя стоит на Пруте?

— Для чего!.. Да разве ты, домне господарь, не знаешь турок? Они всегда так: где надо поспешить, они тут примутся рассуждать, да и теперешний-то визирь, Ахмет-паша, говорят, очень трусоват. Чай, он сидит в своей палатке, пьет шербет да думает про себя: «Что, дескать, мне идти навстречу к русским? Может, они постоят месяц-другой на Пруте, а там и сами уйдут домой!»

— Нет, бояр, на это полагаться нечего. Ахмет-паша человек не глупый и, верно, не станет думать, что русские пришли сюда для того только, чтоб вернуться ни с чем домой. Ну, если, боже сохрани, он переправится втихомолку где-нибудь через Прут и отрежет нас от дивизии генерала Рене, так дело-то будет худо.

— Да как же это можно, светлейший домне? Ведь стотысячная армия не один человек. Как бы она ни шла осторожно, а вы, уж верно, об этом узнаете.

— В том-то и дело, бояр, что есть слухи, будто бы визирь не только переправился через Дунай, но уж несколько дней идет безостановочно к Пруту.

— Не верь этому, домне господарь! это сказки. Я ездил до самой Журжи, а теперь прямехонько из Бухареста. Ну, может быть, где-нибудь в Валахии передовые татары сожгли деревню или ограбили проезжих, так и пошли все говорить, что визирь идет. Да вот я сейчас

еду опять в Бухарест и если узнаю, что визирь тронулся с места, так или сам к тебе приеду, или пришлю к тебе гонца.

— Так, по-твоему, бояр, нам нечего опасаться нечаянного нападения?

— Да, светлейший домне! Что будет вперед — не знаю, а теперь вы можете здесь спать и веселиться так же спокойно, как у себя дома.

— Смотри же, бояр, послужи мне и русскому царю. Будь уверен, Палади, ты в этом раскаиваться не станешь.

— Конечно не стану,— прервал бояр,— да только не так, как ты думаешь: я не наемник и не прошу никаких наград. Ты знаешь, светлейший домне, как я тебе предан, но ты еще не знаешь, как я люблю русских. Чтоб доказать им это на самом деле, я готов на все решиться. Не пожалею головы своей, лишь бы только послужить им так, как душе моей угодно.

Если б господарь хотя несколько сомневался в преданности Палади, то, вероятно, обратил бы внимание на странную противоположность этих слов с угрюмым и злобным взором молдаванина; но князю Кантемиру нельзя было и думать, чтоб человек, осыпанный его милостями, решился на какую-нибудь измену или предательство. В продолжение этого разговора они подошли к роще. Палади махнул арнауту, и когда тот подвел к нему оседланную лошадь, он простился с господарем, вскочил на коня и пустился рысью по дороге, ведущей в селение Рушешти. Князь Кантемир возвратился в лагерь.

Желая как можно скорее уведомить государя о полученном известии, он пошел к его ставке. Перед нею, на обширном лугу, преображенские солдаты, под надзором нескольких офицеров, ставили длинный стол, за которым могло свободно поместиться человек двести. У дверей палатки стоял царский денщик: он пригласил Кантемира войти, сказав ему, что государь Петр Алексеевич принимает поздравления от всех начальных людей и будет сегодня праздновать вместе с ними вторую годовщину знаменитой Полтавской виктории. Чрез полчаса его величество в сопровождении первых чинов отправился к обедне в походную артиллерийскую церковь, подле которой выстроены были в боевом порядке все пехотные полки. Они составляли три стороны огромного каре, которого четвертую сторону занимала

артиллерия. По окончании литургии известный проповедник тогдашнего времени Феофан Прокопович произнес длинное поучительное слово, потом стали служить благодарственный молебен, и когда запели «Тебе бога хвалим», началась беспрерывная стрельба: беглый ружейный огонь и пальба из всех орудий не умолкали несколько минут сряду. Из церкви все отправились за государем к обеденному столу. Его величество поместился в самой средине стола, по правую его руку сидел молдавский господарь князь Кантемир, по левую — граф Головкин, барон Шафиров и Савва Рагузинский. Все генералы, бригадиры, полковники и прочие начальные люди разместились сообразно их званию и *табели о рангах*. Преображенские и семеновские капитаны разносили вино; каждый из них прислуживал шести особам, имея в своем распоряжении трех служителей для перемены стаканов и бутылок. Пированье было на славу, и лучшее венгерское вино лилось рекою. Это царское угощение продолжалось целый день и кончилось не прежде одиннадцати часов ночи.

На другой день после обеда в палатку старшего немецкого генерала Януса сошлись покурить трубки и побеседовать также все немцы: генерал-лейтенанты барон Аларт, Брюс, Денсберг, Остен, Берхгольц, Адам Вейде, генерал-майор Буш и бригадир француз Моро де Бразе. Все они сидели за большим круглым столом, на котором стояли серебряная чаша с пуншем, несколько стаканов, тарелка с лимонами и два картуза гамбургского табаку,— один с вакштафом, другой — с кнастером. Благодаря неутомимой болтовне француза Моро де Бразе, это общество вовсе не походило на тихую беседу важных немцев, которые, как известно, курят беспрестанно табак, мало говорят, много думают и по большей части сходятся вместе для того только, чтоб кой о чем помолчать. Разговор шел о вчерашнем угощении.

— Надобно отдать справедливость поварам его царского величества,— говорил Моро де Бразе,— стол был отлично скверен; эти русские супы, эта жареная и вареная баранина, эти пироги, одним словом, все было так дурно, что если б не подали под конец стола голландского сыра, так я умер бы с голоду.

— Да,— пробормотал толстый генерал-майор Буш,— то ли дело наша немецкая кухня!

Фрацуз поморщился. Вероятно, он подумал: «Хороша и ваша!»

— А как вам показалось вино? — спросил генерал Брюс.

— О, что касается до вина,— воскликнул Моро де Бразе с восторгом истинного знатока,— так я вам скажу!.. Нам подавали такое вино, како́го я в жизнь мою не пивал!

— Да, вино доброе! — промолвил генерал Янус, выпустив носом две густые струи табачного дыму.— Оно мало чем уступит нашему хорошему рейнвейну.

Француз опять поморщился.

— Конечно,— сказал он,— ваши немецкие вина хороши, господин генерал, но они немного кисловаты, а это старое токайское, которое нам подавали, настоящий нектар!.. И нечего сказать, его величество не поскупился!.. Вот уж истинно, как говорится, пили так пили! Не знаю, как вы, господин генерал, а вы, господин барон, кажется, по-моему, не отказывались.

— Да, господин бригадир,— отвечал барон Аларт, вытряхивая свою трубку,— я пил довольно.

— Хорошо б очень,— сказал барон Остен,— если б его величество так же был нескуп и во всем... Вы понимаете, что я хочу сказать, господин генерал?

— Понимаю, господин генерал-лейтенант,— отвечал Янус,— и я давно об этом думаю. Теперь не время, но когда кончится кампания, я буду непременно просить о значительной прибавке жалованья.

— Просить-то можно,— заметил Брюс,— да вряд ли вы что-нибудь выпросите.

— А не выпрошу, так пусть дадут мне абшид.

— И я последую вашему примеру,— сказал Остен.

— И я! — промолвили в один голос генералы Берхгольц, Аларт, Денсберг и Буш.

— Эх, господа,— прервал Брюс,— нам грешно на это жаловаться: посмотрите, что получают русские генералы.

— Русские! — повторил француз.— Русские обязаны и даром служить своему царю. Да если правду сказать, так стоят ли они и того, что им дают?

— Стоят или нет,— сказал Берхгольц,— а очень изволят обижаться, что мы больше них получаем жалованья, и даже так дерзки, что говорят, будто бы они служат из чести, а мы, немцы,— из одних только денег.

— Ах они варвары! — вскричал Моро де Бразе.— Желал бы я, чтоб кто-нибудь из них сказал это при мне.

— Что ж бы вы сделали? — спросил Брюс.

— Я отвечал бы этому русскому, что он, точно, прав: что мы, иностранцы, действительно служим из денег, а русские — из чести: да это потому, что каждый старается добыть то, чего у него нет.

Глубокомысленные немцы взглянули друг на друга и призадумались. Они подозревали, что в словах француза скрывается какая-нибудь обидная насмешка, однако ж не вдруг поняли смысл этой эпиграммы.

— То, чего у него нет,— повторил наконец Янус.— А, понимаю, господин бригадир, понимаю!.. Ну, это зло, очень зло!..

— И совершенно справедливо,— промолвил Берхгольц.

— Фу, как остроумны эти французы! — шепнул Буш, толкнув локтем Остена.

— Конечно, конечно! — сказал Остен.— Это очень остро, да только не совсем справедливо. Ну, можно ли говорить, что мы служим из денег? Вот хоть я, например: третий год служу все на одном трактаменте *, да еще на каком?.. Стыдно сказать: триста рублей в месяц!

— То есть,— прервал Моро де Бразе,— на наши французские деньги восемнадцать тысяч ливров в год. Конечно, это мало, но все еще сносно. А я, представьте себе, получаю всего-навсего двенадцать тысяч ливров жалованья.

— А где бы вам дали больше этого, господин бригадир,— спросил Брюс, выпив одним духом полстакана пуншу,— уж не во Франции ли?

— Да, господин генерал-лейтенант,— возразил Моро де Бразе,— да, во Франции! Деньгами я получил бы гораздо менее, но взамен их дали бы то, чего никакой русский царь дать не может, то есть: прекрасный климат, просвещенное общество, любезных женщин, хорошее вино и превосходный театр, о котором, не прогневайтесь, и вы, господа немцы, не имеете никакого понятия. Вы думаете, господин Брюс, что если я отказался от этих высоких наслаждений просвещенного человека, если я закопал себя живого в эту снежную могилу, которую мы называем Московским царством, так я уж вознагражден с избытком за это необъятное пожертвование тем, что получаю в год каких-нибудь ничтожных двенадцать тысяч ливров жалованья?

---

* жалованье (от *фр.* traitement).

— Да разве вам обещали больше этого или заставили насильно служить русскому царю?

— Конечно, не насильно, но вы знаете, господин Брюс, что в жизни встречаются разные обстоятельства: я был молод, любил пожить и, натурально, прожил все мое состояние. Мой дядя, старик лет семидесяти пяти, после которого доставалось мне большое именье, женился на молодой девушке; у его жены родился сын... одним словом, я был в таком положении, что мне должно было выбрать одно из двух: или всадить себе пулю в лоб, или идти в русскую службу. К несчастию, я выбрал последнее...

— Ну, это еще не большое несчастие,— сказал Брюс,— конечно, Россия не Франция, но, не прогневайтесь, в ней жить можно, и вы, господин бригадир, напрасно называете русскую землю могилою. Вот я уж давно живу в этой могиле, а, кажется, на мертвеца вовсе не похож,— промолвил Брюс, допив свой стакан пуншу.

— Я это сказал,— возразил француз,— относительно ее умственного состояния и совершенного отсутствия всякой человеческой жизни. Разумеется, в этом смысле в ней все мертво, как в могиле. Сошлюсь на всех: скажите, господа, есть ли где-нибудь, не говорю в Европе, но в целом мире, земля скучнее этой Московии и народ невежественнее этих грубых, необразованных *московитов?*

— Да, да! — пробормотали в один голос все немецкие генералы, исключая Брюса и Вейде.

— Вы, вероятно, читали,— продолжал француз,— в книге знаменитого путешественника Адама Олеариуса, что он пишет о русских? Помните ли то место, где он приводит мнения некоторых шведских и ливонских ученых, которые доказывают, что русские вовсе не христиане да и людьми-то могут назваться только потому, что имеют дар слова?

— То ли еще вы найдете в этой книге! — прервал Брюс.— Помните ли, как этот Олеариус, описывая русскую свадьбу, говорит, что во время венчания и молодые, и все приглашенные на свадьбу пляшут в церкви, под пение псалмов, какой-то особенного рода танец, похожий на французский *бранл.* Ну, скажите, господа: можно ли иметь какую-нибудь доверенность к путешественнику, который рассказывает такие нелепости?

— Вы, господин Брюс,— сказал хозяин,— всегда заступаетесь за русских.

— Не за русских, господин генерал, а за правду. Если б вы говорили, что русские народ еще необразованный, что они начинают только просвещаться, так я не стал бы с вами спорить, но вы их даже и за людей почитать не хотите.

— Извините, господин Брюс,— прервал Моро де Бразе,— я первый этого не думаю: русские говорят и пьют иногда хорошее вино, следовательно, они люди.

— Ваши шуточки,— возразил Брюс,— доказывают только, что вы француз, господин бригадир, и любите пошутить, так уж посмейтесь и надо мною. Я думаю вот что о русских: они еще дети, но дайте им возмужать, так у вас пройдет охота смеяться над ними. Что русские народ самобытный, этого, я думаю, и вы оспаривать не станете. Их не могли стереть с лица земли ни татары, ни поляки; напротив, после каждого народного бедствия Россия становилась все сильнее и сильнее. До татарского ига она была вся раздроблена на мелкие княжества; татары исчезли — и все эти отдельные части слились в одно огромное, мощное тело. После междуцарствия и хотя минутного, однако ж тяжкого владычества поляков Россия, без всякой посторонней помощи стряхнув с себя постыдные оковы, двинулась вперед и стала наряду всех европейских государств. Вы, я думаю, слыхали, что здоровые и сильные дети почти всегда хворают к росту? Вот точно так же Россия: она часто бывала больна, и, казалось, больна смертельно, а в самом-то деле это была только болезнь к росту. Да вот хоть в наше время, что можно было ожидать после нарвского сражения? Уж конечно, если не порабощения и совершенной гибели, так по крайней мере совершенного унижения России, а вышло напротив: Россия точно так же, как прежде, прихворнула, да вдруг и выросла на целую Лифляндию. И об этом-то исполненном жизненной силы и самобытном народе вы говорите с таким презрением? Нет, господа, не знаю, будет ли когда Россия предписывать законы другим народам, но я убежден в душе моей, что лет через пятьдесят она займет одно из первых мест в числе всех просвещенных государств Европы.

— Срок-то очень длинен,— сказал Моро де Бразе,— а то бы я побился с вами об заклад, что ваши русские и через пятьдесят лет будут точно такими же варварами, какие они теперь.

— То есть мы, иностранцы, станем называть их варварами? Да, это может быть и через полтораста лет. Известное дело: мы всегда не жалуем и позорим тех, которых боимся.

— Охота вам об этом спорить!..— прервал Янус.— Поговоримте-ка лучше о турках. Что бы это значило, господа: мы заняли всю Молдавию, перешли Прут, а визирь, как слышно, все еще стоит за Дунаем? Чего ж он дожидается?

— Чтоб мы подошли к нему поближе,— отвечал Остен.

— А может быть, и раздумье берет,— сказал Брюс.— Ведь с русскими ладить нелегко.

— И, полноте,— вскричал Моро де Бразе.— Турки народ храбрый, станут они трусить ваших русских! А вот разве что: не узнал ли визирь, что при русской армии находится много иностранных генералов,— это всего вернее. Поневоле призадумаешься, когда надобно иметь дело с знаменитым генералом Янусом!..

Янус улыбнулся и кивнул головою.

— С таким необычайным стратегом, как вы, господин Аларт.

Аларт поклонился.

— С такими испытанными тактиками,— продолжал француз,— каковы генералы Денсберг, Остен, Брюс, Вейде.

— Позвольте мне прибавить,— сказал Остен,— и с таким храбрым начальником кавалерии, как вы, господин Моро де Бразе.

— Да уж если вам, господа, не угодно сказать ни слова о фельдмаршале Шереметеве,— прервал Брюс,— так не забудьте хоть самого государя Петра Алексеевича. Кто разбил наголову первого полководца нашего времени, Карла Двенадцатого, с тем шутить нельзя.

— Разбил! — повторил француз.— Да, конечно, разбил, по милости фельдмаршала Гольца и других иностранных генералов.

— Мы все только исполняли приказания русского царя, господин Моро де Бразе,— продолжал Брюс,— а всем распоряжался и был душою всего сам государь Петр Алексеевич. Вы не были под Полтавой, так можете говорить все, что вам угодно; но мне грешно бы было не отдать справедливости не только самому царю, но также и князю Меншикову и многим другим из русских генералов.

— А позвольте спросить, господин Брюс,— сказал Янус,— кто ж, по-вашему, эти русские генералы?.. Вот, например, хоть оба фельдмаршала, которыми так хвастаются русские: Шереметев и князь Меншиков,— неужели вы назовете их хорошими генералами? Меншиков, конечно, человек способный; но имеет ли он сведения, необходимые для искусного полководца? А вы сами знаете, что одной практики для этого недостаточно. Я отдаю также полную справедливость необычайной храбрости Шереметева, но он вовсе не тактик и, вероятно, не понимает даже, что значит слово: стратегия.

— А почти всегда бил шведов! -- прервал Брюс.

— Случай, господин генерал-лейтенант, счастье — и больше ничего.

— А надобно сказать правду,— подхватил Моро де Бразе,— старик Шереметев в деле молодец! Чтобы спасти простого солдата, он готов сам кинуться с саблею на неприятеля.

— Это, господин бригадир, храбрость, приличная обер-офицеру, а Шереметев фельдмаршал.

— Так, господин генерал, так! Только вы уж слишком строго судите и князя Меншикова и Шереметева. Не забудьте, что они русские, так чего же вы от них хотите?

— Чего! — повторил Брюс.— Да я уверен, что Шереметев, князь Меншиков и князь Репнин, несмотря на то что они русские, были бы везде отличными генералами.

— В самом деле? — прервал француз.— Так зачем же русский царь окружает себя иностранцами? Нет, господин Брюс: хотя и он также русский человек, но у него много природного ума. Он очень понимает, что без нас ему нельзя шагу сделать и что только при помощи иностранцев он может — не просветить свой народ, это, я думаю, дело невозможное! — но придать ему, по крайней мере, хотя наружность и физиогномию просвещенного народа. Одним словом, я убежден, что русский царь как человек в некотором смысле гениальный не может уважать своих русских и охотно бы променял их на иностранцев, которые одни могут понимать его.

— Полно, так ли? — прошептал генерал-лейтенант Адам Вейде, который во все время слушал других, а сам молчал и курил трубку.— Я думаю, что царь Петр Алек-

сеевич ни на кого не променяет своих русских, потому что он, кажется, их очень любит.

— А нас, господин генерал-лейтенант? — спросил Моро де Бразе, бросив на пол лимон, который лежал подле него на столе.

Адам Вейде затянулся, выпустил в один прием целое облако табачного дыму и не отвечал ни слова.

— Что ж вы не отвечаете на мой вопрос? — продолжал француз, прихлебывая пунш из своего огромного стакана.

— Вы, кажется, всегда любили свежие лимоны, господин бригадир? — промолвил наконец Вейде, приостановясь курить.

— Да, господин барон, я их люблю.

— Так что ж вы бросили ваш лимон на пол?

— А на что он мне? Я выжал из него весь сок... Да дело не об этом, вы отвечайте на мой вопрос: если, по-вашему, царь Петр Алексеевич, несмотря на свою страсть к просвещению, очень любит этих русских варваров, так как же он любит нас, образованных иностранцев?

— Да я думаю, точно так же, как вы любите свежие лимоны, господин бригадир! — сказал Вейде, принимаясь снова курить свою трубку.

В палатку вошел адъютант и доложил Янусу, что царь требует к себе его и генералов Брюса и Аларта.

— Извините, господа,— сказал Янус,— я пригласил вас к себе, полагая, что нас сегодня не потревожат, а, кажется, без нашего совета и сегодня дело не обойдется. Что, господин барон,— промолвил он, взглянув с насмешливою улыбкою на Вейде,— видно, в лимонах-то соку еще довольно?

Все гости откланялись хозяину, и он, накинув плащ, отправился вместе с Брюсом и Алартом в ставку государя Петра Алексеевича.

ГЛАВА VIII

Вероятно, многие из наших читателей не знают всех подробностей турецкой войны 1711 года; следовательно, вовсе будет не излишним, если я скажу несколько слов о положении, в котором находилась русская армия в течение первых чисел июля месяца. Обманутый ложными известиями, государь Петр Алексеевич узнал весьма поздно о приближении всей турецкой армии. Ге-

нерал Янус, посланный с сильным отрядом для того, чтоб помешать неприятелю переправиться через Прут и зайти в тыл русской армии, не исполнил как следует своей обязанности: столкнувшись нечаянно с турецким авангардом, который только что начал переправляться через реку, генерал Янус не только не задержал его, но отступил немедленно с своим отрядом и донес государю, что визирь со всеми войсками перешел через Прут. Вследствие этого неверного донесения ему приказано было идти назад и присоединиться к армии. Визирь воспользовался этой ошибкою: не встречая никакого сопротивления, он перевел большую часть своего войска на бессарабский берег Прута, занял все высоты и совершенно отрезал этим движением русскую армию от войск, находящихся под начальством генерала Рене. Дивизии генералов Вейде и князя Репнина находились также не в близком расстоянии от главной армии. Ночью, на девятое число июля, она выступила из лагеря и к рассвету, соединясь с этими дивизиями, продолжала идти вдоль Прута, избирая удобное место, на котором могла бы, несмотря на неравенство сил, вступить в бой с неприятелем. Поутру, когда армия была в походе, турки напали на наш ариергард, состоящий из одного Преображенского полка; этот храбрый полк не только не допустил себя отрезать от войска, которое продолжало идти вперед, но после пяти часов беспрерывного сражения, откинув назад неприятеля, примкнул к обозу главной армии. В тот же день визирь, полагая, что ему вовсе не трудно с двумястами тысяч войска уничтожить сорок тысяч русских, напал со всеми своими силами на нашу армию, но после упорного сражения был отбит с большим уроном, и русские, дойдя до урочища, известного под названием Рябая Могила, остановились на берегу Прута. Наше войско выстроилось в каре, в средине которого был весь обоз и несколько палаток. Пока одна часть солдат укрепляла по возможности этот со всех сторон открытый лагерь, другая перестреливалась с отдельными турецкими партиями, которые продолжали тревожить русских до самой глубокой ночи. Меж тем визирь расположился на противоположном гористом берегу Прута; он развернул свое бесчисленное ополчение огромным полукругом, которого концы, упираясь в Прут, обхватывали с трех сторон русский лагерь, а с четвертой, то есть с тылу, все высоты были заняты буджакскими и крымскими татарами. В этом за-

труднительном положении государь Петр Алексеевич не щадил, как и всегда, своей собственной жизни. Вот что рассказывает очевидец, человек не русский и вовсе не преданный русскому царю: «Могу засвидетельствовать,— говорит он,— что царь не более себя берег, как и храбрейший из его воинов. Он переносился повсюду и под неприятельским огнем говорил с генералами, офицерами и рядовыми ласково и по-дружески, расспрашивая о том, что происходило на их постах».

Надобно прибавить, что русским угрожало еще новое бедствие, несравненно ужаснее всего остального: им предстояла голодная смерть. Валашский господарь Бранкован, который вызвался продовольствовать наше войско, изменил своему слову. В русском лагере, окруженном со всех сторон неприятелем, едва ли оставалось на несколько дней провианта, и, несмотря на то что вода была под руками, многие умирали от жажды, потому что днем турецкие стрелки не давали никому подойти к реке и даже ночью осыпали пулями весь берег, вдоль которого тянулись наши лагерные укрепления, составленные из деревянных рогаток, засыпанных землею. Одним словом, гибель русского царя, а с ним всего войска казалась неизбежною. 10 числа июля турки, не возобновляя своего нападения на русский лагерь, открыли по нем сильный огонь из всех своих орудий. Весь день прошел в этой беспрерывной и, к счастию, почти безвредной для нас стрельбе. Вечером государь Петр Алексеевич, собрав военный совет, объявил фельдмаршалу Шереметеву и всем генералам, что, по совершенному недостатку продовольствия, нельзя было оставаться долее в оборонительном положении, что всей армии предстояло одно из двух: или сдаться военнопленными, или пробиться сквозь неприятеля и, соединясь с дивизиею генерала Рене, отступить к своим границам; что это последнее средство одно могло спасти если не армию, то по крайней мере славу нашего оружия и что он, русский царь, желает лучше идти на верную смерть, чем сдаться безусловно на волю неприятеля. Фельдмаршал, вместо ответа, подал государю бумагу, подписанную им и всеми генералами еще за несколько часов; содержание этой бумаги было совершенно согласно с настоящей волею русского царя. Государь Петр Алексеевич, приказав, чтоб рано поутру все полки были готовы к бою, распустил совет и заперся один в своей палатке, строго наказав не пускать к себе никого.

Эта решительная мера, конечно, не спасла бы русских. У визиря было с лишком двести тысяч свежего, неизнуренного войска, а у нас, за исключением бесконных казаков и плохо вооруженной молдаванской сволочи, всего двадцать две тысячи, почти без конницы и с артиллериею, которая, в сравнении с турецкою, могла назваться ничтожною. Если б русская армия, ударив дружно, и прорвалась сквозь турецкие полчища, то могла ли она уцелеть и дойти до границы, неся на плечах своих в десять раз сильнейшего неприятеля? Туркам очень легко было заслонить от нас Яссы и заставить идти назад тем же самым путем, которым мы пришли к Пруту, а тогда что могло спасти русских? Несколько дней усиленного похода по безводным степям буджакским, вероятно, довершили бы совершенное истребление армии; турки не стали бы и драться с нами: им пришлось бы только забирать в плен отсталых и прирезывать умирающих от усталости, жажды и голода. Супруга русского царя Екатерина Алексеевна, узнав об этом отчаянном намерении, собрала все свои драгоценные вещи, поручила Шереметеву доставить их к визирю, а сама, несмотря на запрещение, решилась войти в палатку государя и просить его, чтоб он дозволил фельдмаршалу вступить в мирные переговоры с неприятелем. Шереметев получил это позволение не прежде ночи и тот же час отправил с трубачом в турецкий лагерь гвардейского унтер-офицера Шепелева.

Теперь, любезные читатели, познакомив вас с ходом дела и положением нашей армии, я отказываюсь от важной обязанности историка, которая мне вовсе не по плечу, и превращаюсь снова в смиренного рассказчика, от которого вы вправе требовать только того, чтоб он не вовсе надоедал вам своей болтовнею.

В небольшой походной палатке, разделенной надвое парусинным занавесом да простым деревянным столом, на котором догорали две свечи, сидел, погруженный в глубокую думу, государь Петр Алексеевич. Перед ним лежал лист исписанной бумаги. Облокотяся на стол, он поддерживал руками свою поникшую голову. Как пасмурные осенние небеса, туманно и мрачно было высокое чело венценосного владыки; но в задумчивых его взорах незаметно было ни страха, ни тревоги: в них выражалась только одна глубокая душевная грусть. Много было грустных минут в твоей жизни, русский царь, но никогда мощная душа твоя не страдала так, как

в эту ужасную ночь. Что думал ты, Великий Петр, ожидая решения гордого визиря, от которого зависела не жизнь твоя — о ней ты мало заботился,— но вся будущность твоей великой державы, твоей православной родины, которую ты хотел, как милое дитя твое, вынянчить и взлелеять на руках своих? Ты возвеличил твою Россию, двинул ее вперед, поставил на чреду могучих и великих царств. И вот все заботы, все труды твои, все надежды — все могло погибнуть в одну минуту! На кого оставлял ты свою святую Русь? Кто стал бы продолжать после тебя начатое? И кто окончил бы то, что было уже почти приведено к концу?.. О, конечно, в этот горький час ты должен был вспомнить и мог повторить проникнутые неизъяснимою грустию слова Спасителя: «Прискорбна есть душа моя до смерти!»

Поодаль от государя, в темном углу палатки, сидела на складном лагерном стуле царица Екатерина Алексеевна. Она смотрела молча на своего державного супруга и робким взором следила за каждым его движением.

— Катенька,— сказал наконец государь Петр Алексеевич, обращаясь к своей супруге,— послушай, я прочту тебе то, что написал в Сенат. Это мое духовное завещание.

— Ах, Петр Алексеевич! — прервала царица,— да почему ж нам не надеяться, что визирь...

— Пойдет на мир? Может быть, и пошел бы: он знает, что мы живые в руки не дадимся; да вот что худо: Бендеры недалеко отсюда. Я чаю, мой братец, шведский король, давно уж в гостях у визиря и, верно, не то ему советует. Я уж сказал тебе, что не сдамся ни за что на дискрецию. Может быть, мне посчастливится, и я умру с оружием в руках; а коли господь меня не помилует, коли я попаду в турецкий плен, что ж тогда?..

— Избави бог! — вскричала Екатерина Алексеевна.— Да нет, этого не будет!

— Что будет после предстоящей отчаянной акции, про то знает один господь, мой друг! И вот для чего я написал этот, может быть, последний указ моему Сенату. Слушай, Катенька!

Государь Петр Алексеевич взял со стола исписанный лист бумаги и начал читать:

— «Господа Сенат! Извещаю вас, что я со всем своим войском, без вины или погрешности нашей, но

единственно только по полученным ложным известиям, в семь крат сильнейшею турецкою силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены и что я, без особливой божьей помощи, ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то́ по собственноручному повелению от вас было требуемо, покамест я сам не явлюсь между вами в лице моем; но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберете между собою достойнейшего мне в наследники».

— Как, Петр Алексеевич,— сказала с удивлением царица,— если ты попадешь в плен, так твои подданные не должны уж тебя и слушаться?

— Да, мой друг! Ведь я человек, и почему знать, на что могу решиться, когда буду в неволе у турок. Чтоб выручить себя из плену, я, может быть, соглашусь на все, что от меня потребуют, не пожалею ничего и разорю вконец мое царство. Нет, Катенька, русские должны слушаться меня, своего законного государя, пока я свободен, а коли я в плену, так я сам не хочу, чтоб мне повиновались: ведь тогда уж не я стану приказывать, а турецкий султан.

— Да зачем же так отчаиваться, Петр Алексеевич? Бог милостив! Ну, конечно, выгодного мира нам ожидать нельзя...

— Вестимо, Катенька! Теперь нам об этом и думать нечего, да лишь только бы мир-то нам заключить не позорный... Я охотно возвращу туркам Азов, разорю построенную на их земле Троицкую крепость, заплачу все военные издержки....

— Я думаю,— сказала царица,— визирь прежде всего потребует, чтоб ты выдал ему князя Кантемира...

— Князя Кантемира? — прервал с жаром государь.— Ни за что на свете!.. Вот тогда-то подлинно я заключил бы позорный мир!.. Молдавский господарь положился на мое обещание, был верным моим союзником, и я выдам его туркам, допущу умереть на плахе!.. Нет, Катенька, скорей уступлю я туркам русские земли по самый Курск: господь поможет мне воротить их назад; но если я изменю моему царскому слову, так этого уж ничем не воротишь!

В палатку заглянул царский денщик.

— Что ты? — спросил государь.

— Прапорщик Симский, ваше величество.

— Хорошо. Позови его сюда.

Симский вошел в палатку.

— Господин прапорщик,— сказал Петр Алексеевич,— мне рекомендовал тебя генерал Вейде как отлично хорошего и расторопного офицера. Я хочу послать с тобою в Москву указ нашему Сенату. Надеешься ли ты довезти его?

— Если бог поможет, ваше величество,— отвечал Симский,— так довезу.

— Знакома ли тебе здешняя сторона?

— Меня часто посылали фуражировать, ваше величество, так я все окольные дороги знаю.

— Хорошо. А по какой дороге ты поедешь?

— Надобно дать круг, ваше величество, и ехать на Яссы.

— Так!.. Ступай же, не мешкая ни минуты. Турки далеко не посылают своих разъездов, и если ты успеешь отъехать ночью верст пятнадцать, так авось с божьей помощью доберешься благополучно до Ясс, а там уж тебе никакой остановки не будет. На всякий случай вместе с тобою поедет казак, который хорошо говорит по-молдавански и по-турецки. Ну, теперь погоди немного, господин прапорщик, я сейчас тебя отправлю.

Государь Петр Алексеевич сложил свой указ, запечатал его и, отдавая Симскому, сказал:

— Отправляйся скорее! Я чаю, до рассвета и трех часов не осталось. Прощай, молодец,— промолвил государь, поцеловав Симского в лоб,— господь с тобою!.. Только смотри не забывай русской пословицы: «На бога надейся, а сам не плошай!»

Симский, выходя из царской палатки, повстречался с Шереметевым.

— Ну что, господин генерал-фельдмаршал,— спросил Петр Алексеевич,— есть ли какой ответ от визиря?

— Никакого, государь! — сказал Шереметев.

— Да ведь он должен же что-нибудь отвечать.

— Шепелев не воротился, ваше величество. И коли его убили на неприятельских форпостах, так, может быть, визирь и не знает, что мы желаем начать с ним переговоры.

— Да, конечно, дело статочное. Так пошлите, господин фельдмаршал, сей же час другого парламентера;

прикажите ему требовать немедленного ответа и объявить визирю, что если он не хочет вступать с нами в переговоры, то мы с божией помощью постараемся проложить себе дорогу с оружием в руках и ляжем все до единого, но ни за что не сдадимся на дискрецию.

Фельдмаршал, отправив в турецкий лагерь своего адъютанта, возвратился опять в царскую палатку.

Прошло более двух часов — ответа не было. Вот облака зарделись на востоке. Раскинутый в долине русский стан был еще покрыт ночною тенью, но на гористом берегу Прута начинали уже белеться верхи турецких палаток. Вот первый луч восходящего солнца отразился на позолоченной луне великолепного шатра визирского; на передовой турецкой батарее сверкнул огонек, раздался пушечный выстрел, и неприятельское ядро просвистело над царской палаткою.

— Вот нам и ответ от визиря! — сказал Шереметев.— Слышишь, государь?

— Слышу, Борис Петрович!.. Ну, как ты думаешь?

— Да о чем тут думать?.. Делать-то нечего,— потешимся в последний раз... Что, в самом деле: умирать так умирать!.. Да нелегко же и туркам-то будет! — промолвил фельдмаршал, нахмурив свои седые брови.

— А если мы не пробьемся? — спросил Петр Алексеевич.

— Так что ж, надежа государь,— прервал старик Шереметев, помолодев двадцатью годами,— мертвым срама нет! А мы все готовы умереть с тобою.

— Спасибо, добрый и верный слуга мой! — сказал Петр, обнимая Шереметева.— Спасибо, брат Борис!

Вот снова раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий; все неприятельские батареи вспыхнули, и турецкие ядра посыпались в русский лагерь.

— Эк они, проклятые! — проговорил Шереметев.— Видно, пороху-то у них много!..

— Господин фельдмаршал,— сказал государь Петр Алексеевич твердым и спокойным голосом,— прикажите строиться войску в каре; обоз, понтоны и артиллерия в средине. В переднем фасе полки Преображенский и Семеновский; кавалерия в ариергарде; все генералы и штаб-офицеры по своим местам.

— Слушаю, ваше величество!

— Катенька,— сказал государь,— палатку сейчас снимут; ступай, садись в карету и посади с собой князя Кантемира.

— Петр Алексеевич! — вскричала царица, обнимая со слезами государя.

— Полно, Катенька, полно! Теперь не до того. Господь с тобою!

Государь Петр Алексеевич вышел из палатки. Весь лагерь был в движении. Быстро, но стройно и спокойно становилось войско в боевой порядок; полки примыкали один к другому, и в несколько минут под неприятельскими ядрами вокруг всего стана образовалась сплошная стена из русских воинов.

Фельдмаршал подошел к государю.

— Ну что наш парламентер? — спросил Петр Алексеевич.

— Все еще в турецком лагере,— отвечал Шереметев,— а может статься, и его так же убили, как Шепелева. Да уж что, батюшка Петр Алексеевич, один бы конец!

— И то правда, Борис Петрович: коли визирь упрямится и молчит, так пора нам заговорить. Прикажи бить поход!.. С богом!

Государь и все генералы сели на коней. Через полминуты раздался по всему войску барабанный бой, и вот, как стальная нива, заволновались на солнышке русские штыки; огромное каре двинулось с места.

— Да что это,— прошептал Шереметев,— никак турки-то не стреляют?

В самом деле, неприятельские батареи замолкли, и от противоположного берега Прута отчалила лодка.

— Стой! — скомандовал Шереметев.— Государь Петр Алексеевич,— продолжал он,— у тебя глаза-то помоложе моих,— видишь?

— Вижу!.. Это оба наши парламентера... и с ними турецкий офицер; они машут платками...

— Вот что!.. Так, знать, визирь-то надумался?

— Видно, что так.

— Ну, слава тебе господи! — сказал Шереметев, перекрестясь.— Я что! я уж мой век отжил; а куда бы жаль было всех этих молодцов!

— Да, друг сердечный! — сказал Петр Алексеевич, пожав крепко руку фельдмаршала.— Да, слава богу: мы увидим еще с тобой святую Русь!..

ГЛАВА IX

Теперь, любезные читатели, мы возвратимся опять к Симскому.

Ночь была темная, порывистый ветер гнал от запада густые тучи, и на мрачных небесах изредка только проглядывали звезды. Два всадника, один закутанный в широкий плащ, другой в черкесскую бурку, ехали шагом по узкой тропинке, которая вела то берегом Прута, то, отбегая в сторону, терялась в глуши мелкого дубового леса, поросшего густым кустарником. Эти ночные путешественники ехали почти рядом и оба молчали. Один из них был Василий Михайлович Симский, другой — казачий урядник Никита Фролов. Вдали слышны еще были оклики русских часовых, а до рассвета оставалось уж не более двух часов.

— Да что ж мы этак плетемся нога за ногу? — промолвил наконец Симский.— Фролов, пойдем рысцою!..

— Нет, сударь, теперь рысью недалеко уедешь,— отвечал урядник,— вишь, какая темь, хоть глаз выколи!.. Мы же едем берегом, а тут местами есть такие провалы, что не приведи господи!..

— Да ведь этак мы и десяти верст не проедем до рассвета.

— Проедем, сударь, и все пятнадцать, лишь только бы господь бог от встречи помиловал... Что ты... что ты, гнедко... чего испугался?.. Экий черт! Иль нагайки захотел?..

— А что, Фролов, мы долго этим лесом-то поедем?

— Вот скоро должен быть поворот направо, в деревню Кут-Маре; мы примем левее, да и выедем в чистое поле; и кабы нам добраться только подобру-поздорову до села Германешти, так дело-то было бы в шапке: там пойдет дремучий лес верст на десять, вплоть до поместья Будешти, а за Будештами прямая дорога до самых Ясс.

— Да ты, видно, Фролов, хорошо знаешь здешнюю сторону?

— Как не знать, сударь: меня раза три в Яссы посылали; дорога знакомая.

— Постой-ка, брат, постой! — сказал вполголоса Симский, приостановя свою лошадь.

— Ничего, Василий Михайлович,— молвил Фролов,— это ветер шумит по лесу. Здесь нам и днем опаски большой бы не было, а вот как выберемся в чистое

поле, так уж тут держи ухо востро!.. Благо ночь-то темна, а то проклятые басурманы как раз бы нас подозрили, а пуще эти буджатские татары: они, словно волки, так везде и рыщут.

— Неужели ты, Фролов, испугаешься татарина?

— И двух, сударь, не испугаюсь, да ведь их здесь видимо-невидимо!.. всех не перебьешь, а наутек и не думай: у них кони знатные!.. Вот не так чтобы давно этих поганых татар вовсе здесь не было, да вдруг как полая вода нахлынули,— вовсе простору не дают!.. А что, сударь, правду ли говорят, что государь Петр Алексеевич хочет с турком-то мир учинить?

— Может статься.

— Так что ж велено всему войску готовиться к сражению?

— Видно, так надобно.

— Знать, по пословице: миру проси, а камушек с собой носи!..

— Ну, разумеется. Почему знать, коли визирь не пойдет на мировую...

— Так придется с ним распить круговую? Так, сударь!.. Да и пора чем ни есть порешить с турком-то: ведь нашим скоро перекусить нечего будет. Что, в самом деле, мир так мир, а не то перекрестясь, да и пошел наудалую. Вынесет господь — хорошо, не вынесет — его святая воля! Лишь только бы наш батюшка уцелел, а наши головы что!.. Ведь царство-то русское не нами стоит!

— Да, брат Фролов, за нашего государя не жаль своей головы положить.

— Чего жалеть, батюшка! Да ведь таких царей, как наш государь Петр Алексеевич, сродясь нигде не бывало. И собой молодец, и удаль вся русская. Как теперь смотрю: под Полтавою летает себе соколом на своей лошадке; вокруг его народ так варом и варит, а ему и горюшки мало! Где погуще, тут и он! А уж заботливый-то какой! Подумаешь, кому бы, кажется, и понежиться, как не царю? — ему никто не указ; так нет! говорят, ночи не спит!.. Да зато уж у него и другие не дремлют. Вот иноземные-то государи — фу, батюшки,— чай, к ним и приступу нет! А к нашему царю, коли ты прав или за делом идешь,— ступай прямо! Он, наш кормилец, со всеми милостив; простого лапотника не погнушается. Да вот я, сударь, расскажу тебе, что слышал от одного крестьянина, у которого года два тому

назад стоял постоем. Забыл, как село-то прозывается... ну, да это все равно. Вот что он рассказывал: «Еду, дескать, я однажды порожняком с базару по большой дороге, зазевался маленько, попал в рытвину, задняя ось-то и пополам, а до села еще версты четыре оставалось. Что делать, на одном передке далеко не уедешь. Со мною был парнишка, я послал его за осью на село, а сам остался подле воза. Вот, гляжу, едет на тройке в телеге какой-то барин, а с ним служивый; поравнялся со мною и велел остановиться. Я шапку долой. «Что, дескать, мужичок, стоишь ты здесь с возом праздно?» — «Да вот, мол, батюшка, притча сделалась: ось лопнула».— «Так что ж,— у тебя, кажись, за поясом топор?» — «Да, кормилец, купил на базаре».— «Ну так чего же ты сложа руки стоишь? Иль уж ты и оси-то сделать не сумеешь? Лесок здесь есть, срубил бы деревцо, да и за работу».— «Нельзя, кормилец! здесь лес рубить царем заказано».— «Экий ты какой, да кто про это узнает?.. Я никому не донесу».— «А бог-то на что, батюшка?» Вот, гляжу, барин спрыгнул с телеги, подошел ко мне, взял меня за виски и поцеловал в маковку. «Добрый ты мужичок, говорит, добрый! и бога боишься, и царя слушаешься».— «Да кого ж нам и слушаться»,— молвил я. «А видал ли ты когда-нибудь царя-то?» — спросил барин. «Нет, батюшка, сродясь не видывал».— «Ну, так посмотри на меня, ведь я-то и есть царь Петр Алексеевич». Я в ноги, а он поднял меня и говорит: «За то, что ты, мужик, присягу помнишь и царский указ хранишь, я сам тебе послужу и сделаю тебе ось моими руками». Вот он взял у меня топор, срубил деревцо да в два мига такую смастерил ось, что любо-дорого посмотреть! Приладил как быть надо, сел опять в телегу и покатил. Я приехал на село да прямехонько к батьке. «Вот, дескать, отец Федор, како дело со мной было». Батька выслушал, подивился и говорит мне: «Не подобает тебе, Гаврила, ездить на оси, которую делал своими ручками помазанник божий: отдай ее в церковь!» * Ну, вестимо, я отдал, и ее поставили на паперти, у самых церковных дверей». Вот что, сударь, Гаврила мне рассказывал, а ось-то я сам видел: она и теперь все там же на паперти стоит. Так вот он каков, наш батюшка! И разной мудрости ино-

* Теперь эта ось перенесена на паперть соборного храма города Волоколамска.

земной обучен, и царством правит, да и в мужичьем-то деле всякого за пояс заткнет!

В продолжение этого рассказа наши путешественники доехали до опушки леса.

— Вот и поле пошло,— сказал Фролов,— теперь зевать не надо... Постой-ка, сударь...

Урядник слез с лошади, нагнулся к земле и стал слушать.

— Ну что? — спросил Симский.

— Тихо, батюшка, ничего не слышно.

— Да зато скоро видно будет. Посмотри-ка, Фролов, все облака разошлись.

— Да, сударь, да!.. Мешкать нечего — с богом!

Симский и Фролов выехали на изрытую колеями дорогу, которая, судя по частым насыпям и гатям, шла низкими и болотными местами.

— Вот, кажись, и поворот,— прошептал урядник.— Два дубка... столб... ну, так и есть!.. Эх, больно светло становится... Пронеси господи!.. Сюда, батюшка, сюда, налево!.. Ну, что это? — промолвил вполголоса Фролов, осадив свою лошадь.— Слышишь, сударь, что ветром-то наносит?

— Да не близко ли мы к реке?.. Может быть, это шумит Прут?

— Какой Прут!.. Река должна быть правее, а это прямехонько против нас... Никшни-ка, батюшка! Так и есть — конский топот!.. Едут к нам навстречу... Слышишь?

— Теперь слышу. Это должны быть татары или турецкий разъезд.

— Полуночники проклятые!.. Вот их черт несет!..

— Думать-то нечего, Фролов, свернем с дороги в сторону, а как они проедут...

— Вот то-то и беда, сударь! Здесь по сторонам вовсе езды нет — трясинник да болота; днем бы еще, может статься, проехали, а ночью как попадешь в какую-нибудь трущобу, так и сиди до утра, а там тебя руками возьмут. Нет, батюшка, уж лучше ехать на Кут-Маре, хоть и дадим крюк, да авось ли как-нибудь доберемся проселками до села Германешти. Нам в Кут-Маре проводника дадут.

— Кут-Маре,— повторил Симский.— Кут-Маре! Ведь это, кажется, поместье молдаванской барыни Хереско.

— Да, сударь. В Германешти лошадей вовсе нет, так я у нее часто подводы брал и сенцом не раз поживлял-

ся. Такая ласковая... Чу, слышишь?.. Близехонько, и, кажись, их много... Ну, сударь, делать-то нечего — наутек!

Путешественники приняли направо и пустились по дороге, которая вела в деревню Кут-Маре. Проехав шибкой рысью версты две, они выехали на берег Прута. Кругом все было тихо, вдали перед ними мелькал огонек.

— Вот, немного полевее, должен быть мост,— сказал Фролов,— а за ним как раз господская усадьба.

— Так поэтому,— спросил Симский,— и огонек-то светится?

— Должно быть, в барских хоромах. Там есть у меня приятели: один детина по имени Димитраки, сиречь Дмитрий, и любимая сенная девушка куконы, цыганка... помнится, Мариорицею зовут. Она всем домом заправляет. Кабы нам до нее только добраться, так барыни и тревожить нечего: Мариорица девка добрая, русских любит и, уж верно, даст нам проводника.

— Постой-ка, Фролов, — прервал Симский, — что это?.. Мне кажется, как будто бы...

— Да, сударь, что-то шумит!.. Или это так ветер, что ль, шелестит?.. Кажись, ветер... Вот опять затихло!.. Чу, на господском-то дворе собаки залаяли!.. Видно, нас почуяли... Слышишь, сударь?.. Вон ворота заскрипели... Что ж это ни свет ни заря?.. Уж не дожидаются ли они кого-нибудь?..

— А вот увидим! — сказал Симский, приударив нагайкою свою лошадь.

Через несколько минут наши путешественники, переехав через мост, въехали на господский двор, обнесенный высоким тыном, и остановились шагах в десяти от барского дома. Прямо, в глубине двора, тянулось длинное здание, покрытое соломою, налево чернелся густой сад, а направо разбросаны были по двору отдельные выбеленные известью мазанки. Симский и Фролов спешились. К ним подошел с фонарем дюжий детина в овчинном кожухе.

— Ты, приятель, караульщик, что ль? — спросил его по-молдавански Фролов.

— Караульщик,— отвечал молдаванин.

— Э, здравствуй, брат Димитраки!

— Здравствуй!.. Да ты кто?

— Иль не узнал казачьего урядника Никиту... помнишь?

— Помню... Так это ты?.. А твой товарищ?

— Русский офицер.

— Русский офицер?.. Да как это вас сюда черт занес?

— Уж это не твое дело. Поди разбуди Мариорицу и вышли ее к нам. Ну что ж ты рот разинул?

— Да как же это вы сюда приехали?

— Говорят, не твое дело, ступай!

Молдаванин почесал затылок, поглядел с удивлением на Фролова и отправился. Минуты через две сени господского дома осветились, и Димитраки вышел на крыльцо вместе с женщиною, закутанною в длинную кацавейку.

— Ну вот и Мариорица! — прошептал Фролов.

— Да, это, кажется, она,— сказал Симский.

— Так и ты, сударь, ее знаешь?

— Знаю.

Симский подошел к крыльцу, и лишь только свет от фонаря отразился на его лице, цыганка вскрикнула, всплеснула руками и кинулась опрометью назад в дом.

— Постой, постой! — закричал Фролов.— Куда ты, Мариорица?.. Постой... Димитраки, что ж это она, чего испугалась?

— Да, видно, этого черта,— отвечал молдаванин,— вон что идет сюда из людских-то. Он всю ночь шатается по двору да за всеми присматривает, цепная собака этакая!

— А кто он такой?

— Янко, арнаут бояра Паладм.

— Какого бояра? Ведь здешняя-то помещица кукона Хереско?

— Ну да.

— Так, видно, этот бояр к ней в гости приехал?

— И не один: с ним гостей-то много наехало.

Огромного роста арнаут подошел к караульщику, вырвал у него из рук фонарь, посмотрел молча на наших путешественников и, сказав вполголоса несколько слов, отправился назад.

— Что этот долговязый с тобой говорил? — спросил Фролов.

Вместо ответа Димитраки подошел к воротам и начал их запирать.

— Эх, плохо дело,— шепнул урядник,— никак мы в ловушку попались!.. Послушай-ка, приятель,— продолжал он, обращаясь к молдаванину,— ты зачем ворота запираешь?

— А вот скоро опять отопру,— промолвил Димитраки,— кажись, гости едут.

— В самом деле,— сказал Симский,— конский топот!

— Кто ж это к вам едет? — спросил Фролов.

— Ночь-то больно темна, а то бы ты не стал меня спрашивать. Вон — посмотри! Видишь ли ты там что-нибудь подле забора?

— Нет, не вижу.

— Подойди поближе.

Фролов сделал несколько шагов вперед и остановился.

— Что ж это,— сказал он,— никак оседланные лошади?

— Ну, да!.. Вот ты бы днем тотчас увидел, что на них турецкая сбруя.

— Так здесь турки?

— Другой день стоят. Их привел бояр Паладн.

— Где он, где он? — раздался женский голос.— Василий Михайлович, где ты?

— Я здесь, Смарагда! — сказал Симский, идя навстречу куконе.

— Боже мой, ты здесь, и в какую минуту!.. Марнорица!.. Димитраки!.. Приберите куда-нибудь лошадей, а ты, Василий, и твой товарищ ступайте ко мне в дом.

На дворе замелькали огни.

— Скорей, скорей! — шепнула Смарагда, таща за собой Симского.

Но прежде, чем они добежали до крыльца, бояр Паладн с целою толпою турков заступил им дорогу.

— Постой, кукона! — сказал он, схватив за руку Смарагду.— Мы и без тебя угостим этих русских.

Симский и Фролов не успели вынуть своих сабель, их схватили и тотчас обезоружили.

— Свяжите хорошенько этих бродяг! — продолжал Палади, обращаясь к туркам.— Как ваш ага воротится, так мы расспросим их порядком, зачем они сюда пожаловали, и если они подосланы...

— О нет! — вскричала Смарагда,— уверяю тебя... они заплутались... заехали сюда нечаянно!..

— Э, да как ты за них заступаешься, кукона!.. Посветите-ка сюда,— продолжал Палади, подходя к Симскому.— Ну так и есть! — сказал он, нахмурив свои густые брови.— Милости просим, господин офицер!.. Теперь мы с тобой разочтемся!.. Я дал по тебе промах,

проклятый русский, да авось теперь не промахнусь! — промолвил он, вынимая из-за пояса пистолет.

— Так убей и меня вместе с ним! — вскричала Смарагда.

Она обвила Симского обеими руками и крепко прижалась к груди его. В эту самую минуту ворота распахнулись снова, и видный собою турецкий ага в сопровождении многочисленного отряда спагов въехал во двор.

— Что у вас такое? — спросил он, спрыгнув молодцом с коня.

— Да вот,— отвечал Паладн, опустив пистолет,— к нам заехали сюда русские, так я хотел с ними поскорей разделаться.

— Русские?.. Хош халды! Добро пожаловать! Где ж они?

— А вот здесь.

— И только двое? Да что ж эти москов — с ума, что ль, сошли?

— Видно, их подослали нарочно.

— И ты хотел их застрелить?

— А разве не прикажешь?

— Нет, не прикажу. Ну, стоят ли эти собаки, чтоб ты тратил для них порох? Хамид,— продолжал ага, обращаясь к одному из спагов,— возьми себе их головы.

Хамид, пожилой турок с седой бородою, спустился медленно с коня.

— Ну, Василий Михайлович,— молвил Фролов,— пришел наш конец!.. Я по-турецкому-то маракую,— знаешь ли, что сказал этот турка?

— А что? — спросила торопливо Смарагда.

— Он велел покончить с нами.

Кукона вскрикнула, голова ее скатилась на грудь, руки опустились, и она упала без чувств на землю. Мариорица подняла свою госпожу и, при помощи Димитраки, внесла ее в дом.

— Делать нечего, Фролов,— сказал Симский,— воля господня... молись богу!

— Поганые басурманы,— прошептал урядник,— эк они нам руки-то скрутили... и перекреститься нельзя!

Хамид вынул из ножен свой булатный ятаган, обтер его полою кафтана и, обращаясь к своему начальнику, сказал:

— А что, эфенди, здесь, что ль, или там, за воротами?

— Да, сведи их со двора. Паладн,— продолжал

ага,— ты спрашивал этих москов, что они за люди такие?

— Одного из них я знаю: он должен быть русский юз-баши.

— Юз-баши! — вскричал ага,— Аллах кирим!.. И ты хотел застрелить его?.. Постой, Хамид, постой!.. Мы до сих пор не могли еще захватить в плен ни одного русского юз-баши: они, проклятые собаки, ни за что живые в руки не даются. Наш визирь Ахмет-паша — да сохранит его аллах и да утонет он в море милостей великого падишаха! — дорого бы дал, чтобы порасспросить хорошенько хоть русского ан-баши, а это юз-баши!.. Он от него все может выведать...

— Так ты его отошлешь к визирю?

— Я сам после утренней молитвы отвезу этих пленных в лагерь и сдам с рук на руки великому каймакану... Ханух! Селим! заприте куда-нибудь до утра этих гяуров!.. Да если они уйдут...

— Не заботься об этом,— прервал молдаванин,— не уйдут! За это я берусь.

— Ну, не говори, Палади! Этим русским — да истребит аллах весь нечестивый род их! — сам шайтан помогает: они в мышиную щелку пролезут, проклятые! Смотри не упусти их!

— Чтоб я их упустил? Да застрели меня как собаку, если я выпущу из рук этих разбойников русских!

— Хорошо, эфенди!.. Помни же, что ты теперь сказал!

— Не забуду. Я их так припру, что к ним и муха не влетит!.. А что ты думаешь, ага, визирь что с ними сделает?

— Известно что: расспросит обо всем.

— Да, скажут они правду!

— Скажут. Да ведь их станет допрашивать визирский палач Абдул-Мукир, а у него и мертвый заговорит.

— А как их допросят?

— Так велят задушить. Кто побывал в руках у Абдул-Мукира, тот уж ни на что не годится.

— Вот что!.. Хорошо же, что я их не застрелил. Алейкум салам, эфенди!

Палади велел вести за собою Симского и Фролова. Все турки, убрав лошадей, разбрелись в разные стороны, и на опустелом дворе остался снова один караульщик Димитраки.

ГЛАВА X

В небольшой комнате, при слабом свете лампады, которая висела перед образом божией матери, сидела на своей постели бледная, убитая горестью кукона Хереско. Она молчала, и по временам только удушливые рыдания вырывались из груди ее. Подле кровати стояла любимая ее цыганка.

— Мариорица,— промолвила наконец кукона,— не обманывай меня! Ты говоришь, что он жив, но я сама слышала...

— Да, кукона,— прервала цыганка,— им хотели отрубить головы, но, видно, турки передумали.

— Да точно ли это правда?

— Как же, кукона! Уж я тебе говорила, что их отвели в каменную кладовую. Димитраки видел, как их туда заперли.

— А что ж нейдет ко мне бояр Палади?

— Кто его знает! Когда я ему сказала, что ты зовешь его к себе, так он поглядел на меня таким зверем, что я и ответа не стала дожидаться.

— Боже мой! а меж тем время так и летит!.. Что, Мариорица, посмотри, светает?

— Да, кукона! Вон уж там, где из-за рощи-то солнышко выходит, звезды стали тухнуть.

— А Палади нейдет!..

— Чу, что-то стукнуло... Вот и в девичьей зашумели... Идет, кукона, идет!

Двери отворились, и в комнату вошел бояр Палади. Он взглянул угрюмо на Смарагду; ее заплаканные глаза и помертвевшее лицо, казалось, не возбудили в нем никакого сожаления; напротив, взор его сделался еще мрачнее.

— Проклятый! — прошептал он,— как она его любит!

— Садись, бояр! — сказала тихим голосом Смарагда.

— Зачем, кукона! Мне некогда с тобою долго разговаривать: я отвечаю головою за пленных русских, так сам их караулю. Конечно, им уйти нелегко, да ведь здесь, пожалуй, и помогут.

— Бога ради, Палади, скажи мне всю правду: что с ними будет?

— Известно что: Ибрагим сказал мне, что он после утренней молитвы отвезет их в лагерь к визирю; там от них допытаются, зачем они сюда пожаловали, расспро-

сят о русском войске. Турки на это молодцы: коли примутся пытать, так у них всякий заговорит,— по жилочке вытянут из человека! А там как узнают от них все, что надо, так отмахнут им головы или велят задушить. Ведь у них расправа короткая!

— Милосердый боже! — вскричала Смарагда,— а я еще радовалась, что Симский жив!

— Вольно ж тебе было мне помешать: я сгоряча убил бы его непременно. Теперь, не прогневайся, и сам ни за что не трону этого красавчика: пусть он прежде побывает в руках у визирского палача. Посмотрим тогда, каков-то он будет!

— Боже мой, боже мой!.. Да за что ж ты его так ненавидишь?

— За что?.. И ты спрашиваешь об этом?.. За что? ты любила меня, Смарагда... Да, да, ты любила меня!... И если б не этот пришелец, не этот демон-соблазнитель, я был бы давно твоим мужем! Теперь он в руках моих, его ждет мучительная смерть, а знаешь ли, что я завидую ему? Он умрет любимый тобою, а я останусь жить... На что?.. Для чего?.. Если б я ненавидел тебя, как ненавижу этого русского... о, тогда бы я мог еще жить! Я был бы счастлив твоею горестью, я упивался бы слезами твоими. Твое отчаяние было бы моим блаженством, но я люблю тебя!.. И если бы ты знала, Смарагда, какой адский пламень обхватывает мое сердце, как рвется оно на части при одной мысли, что ты презираешь любовь мою, что этот злодей владел тобою!

— Ты ошибаешься, бояр...

— Я ошибаюсь — я?.. Так он не для тебя приехал в Кут-Маре, не для тебя пошел на явную гибель?

— Он здесь в первый раз и заехал сюда нечаянно.

— Да не ты ли сама признавалась мне, что любишь этого русского?

— Да, я люблю его; но та, которую он любит, не здесь, Паладь: она русская. Симский зовет меня сестрою и, может быть, любит как сестру, но никогда не будет моим мужем.

— Если б я тебе и поверил,— сказал молдаванин,— так что ж от этого? Любит ли тебя этот русский или нет, но он стал между тобою и мною...

— Но разве Симский желал этого?.. О, поверь, Паладь, он ни в чем не виноват перед тобою!..

— А в чем виноваты перед турками солдаты русского царя? Они не сами пришли: их привели на Прут; так,

по-твоему, падишах должен их всех помиловать? Нет, кукона, если этот русский не виноват предо мною, так пусть кровь его будет на тебе: не я, а ты его убийца!

— Бояр Паладп,— прервала кукона,— время дорого, выслушай мою последнюю и непременную волю: клянусь тебе господом богом, если Симский погибнет, так я никогда не буду твоей женою и умру, проклиная тебя; а если ты спасешь его, то веди меня завтра же к венцу!

— Завтра... тебя! — повторил с удивлением Паладп.— Ты шутишь, кукона!

— Вот как я шучу! — сказала Смарагда, снимая со стены икону.— Гляди, Паладп: я целую лик божией матери и повторяю мою клятву.

— Да подумала ли ты, Смарагда, что до завтрашнего дня осталось только несколько часов и что в Кут-Маре есть церковь и священник?

— Прикажи ему быть готовым.

— Так ты будешь моею? — прошептал Паладп, устремив сверкающий взор на бледную, истерзанную горестью, но все еще прекрасную молдаванку.— Моею! — повторил он, схватив ее за руку.

— Да,— прошептала кукона,— если ты спасешь Симского.

— Смарагда! — сказал, помолчав несколько времени, бояр,— я верю, что теперь ты на все готова, но кто поручится мне за будущее? Пройдет месяц, другой...

— Но разве я тебе не сказала, что ты можешь завтра же вести меня к венцу?

— Завтра!.. Да ведь я отвечаю за этих пленных головою и, чтоб спасти их, должен сам уйти вместе с ними, а ты останешься здесь.

— Нет, бояр, я здесь не останусь, а поеду к моим родным в Киев; ты можешь также туда приехать и если докажешь, что Симский доехал благополучно до России...

— А чем я докажу это?

— Привези от него письмо.

— Письмо! — повторил молдаванин.— Письмо, в котором, может быть, он станет уверять тебя в любви своей!..

— Я уж сказала тебе, Паладп, что он любит меня как сестру и никогда не будет моим мужем.

— Почему я знаю,— продолжал молдаванин,— что у тебя на уме, кукона? Может быть, вместо Киева мне придется ехать с этим письмом в Москву.

— Боже мой, боже мой, да чем же я могу тебя уверить?.. Постой! — промолвила Смарагда, снимая с себя золотой крест.— Вот благословенье покойной моей матери: она завещала мне никогда с ним не расставаться, но ты — мой жених, Паладн, возьми его! И пусть благословение моей матери превратится в вечное проклятие, если я изменю моему слову!.. Да, клянусь перед богом: только тот, кто возвратит мне этот крест, будет моим мужем! Ну, веришь ли теперь, что я тебя не обманываю?

— Хорошо, кукона! я постараюсь спасти этих русских! Помни только, что дело идет о голове моей и что с этой минуты ты принадлежишь мне навсегда. Погибну я или нет — все равно! Да, Смарагда, этого креста не возвратит тебе никто, кроме меня... Прощай!

Паладн вышел из дома. На дворе все было тихо. У дверей кладовой, в которой заперты были пленные, стоял Янко, арнаут бояра Паладн. У коновязи сидел, поджавши ноги, турецкий часовой, он не курил даже трубки, потому что спал мертвым сном. Один только Димитраки расхаживал подле запертых ворот и мурлыкал про себя песенку.

— Димитраки,— сказал Паладн, подойдя к караульщику,— что, все спокойно?

— Все, бояр.

— Кажется турки-то все спят?

— Да когда ж им соснуть, коли не теперь? Всю ночь прошатались.

— А ты что не спишь, Димитраки?

— Нет, бояр, спасибо!.. Вишь какой! — промолвил он шепотом.— Еще спрашивает, черт этакий!

— Я вчера поколотил тебя за это,— продолжал Паладн,— а сегодня, уж так и быть,— жаль мне тебя, ступай, спи!

— Да вон уж светает, бояр, высплюсь днем.

— Ну пошел же, когда тебе говорят! Да возьми с собою в избу собак: надоели — все лают.

— Да кто же двор-то станет караулить?

— А вот кто! — прервал Паладн, ударив кулаком караульщика.— Когда приказывают, так слушайся!

Димитраки подкликал к себе собак и отправился вместе с ними в одну из мазанок, которыми уставлен был весь двор, а Паладн, поглядев внимательно вокруг себя, пошел к каменной кладовой. Минуты через две Димитраки высунул голову из дверей избы.

— Проклятый полуночник,— прошептал он,— вчера приколотил меня за то, что я спал, сегодня — за то, что нейду спать, разбойник этакий!.. Да что ж это такое,— продолжал караульщик, выходя потихоньку из избы,— и меня прогнал, и собаки ему надоели?.. Это что-нибудь недаром... Уж не пойти ли мне сказать об этом туркам?.. Что, в самом деле,— ведь я и перед ними также в ответе. Упаси господи, коли грех какой сделается, ведь тогда за меня первого примутся!.. Ты, дескать, караульщик!..

Рассуждая таким образом, Димитраки пробрался стороною до длинного надворного строения, в котором помещался турецкий ага со своим отрядом. В одном окне светился огонек.

— Э! — прошептал Димитраки,— да никак ага-то не спит!.. Ну так и есть! кажись, молится по-своему богу... Не пойти ли мне сказать ему?.. Нет, дай прежде посмотрю, где этот чертов сын, Паладн.

Между надворным строением и забором сада рос высокий бурьян и разбросано было несколько кустов смородины, Димитраки почти ползком прокрался между ними до самой коновязи. При свете утренней зари, которая стала уже заниматься, можно было различать довольно ясно все предметы. В пяти шагах от Димитраки бояр Паладн и его арнаут Янко суетились около лошадей.

— Проворней, проворней! — шептал Паладн,— я все боюсь, что этот проклятый турок... Эх, лучше бы!..

— Да небойсь, бояр,— прервал Янко,— я ему рот завязал платком и скрутил так, что ему пошевелиться нельзя, а закричать и подавно, еще, пожалуй, задохнется. Да ништо ему: коли приставили караулить, так не спи!

— Ну, веди теперь лошадей садом, а там задними воротами в рощу,— знаешь, где старая винокурня?

— Знаю, бояр.

— Там и дожидайся, а я пойду к русским.

«Эге,— подумал Димитраки,— и турка связали, и лошадей ведут украдкою, так дело-то не ладно, надо сказать аге. Ну, бояр, как-то ты с ним разделаешься: ведь он не наш брат, его не поколотишь!»

Меж тем Паладн подошел к каменному небольшому зданию с одним окном, в которое вставлена была толстая железная решетка, отпер ключом дубовую окованную дверь и вошел в кладовую. Через несколько минут

он вышел из нее с Симским и Фроловым и перерезал кинжалом веревки, которыми они были связаны.

— Теперь за мной! — сказал Палади.

Симский и Фролов, вслед за молдаванином, перелезли через забор и пустились бегом по саду.

— Скорей, скорей,— прошептал бояр.— Вон видите там за воротами?.. Эти кони приготовлены для нас.

— Ты лжешь, Палади! — сказал кто-то по-молдавански. Из-за кустов высыпали вооруженные спаги, и турецкий ага заступил дорогу беглецам.

— Ибрагим! — вскричал бояр.

— Да, ты лжешь, Палади,— повторил ага,— эти кони приготовлены для меня. Возьмите русских,— продолжал он, обращаясь к туркам,— и посадите их на коней: я сам с ними поеду, а ты, проклятый гяур, оставайся дома.

Вслед за этими словами раздался выстрел, и бояр Палади упал мертвый на землю. Ага продул спокойно затравку своего пистолета, заткнул его за кушак и пошел к роще, а два или три турка, которые остались в саду, принялись раздевать и обшаривать убитого бояра.

Солнце начинало уже всходить, когда наши пленные выехали на дорогу, ведущую от поместья Кут-Маре к турецкому лагерю; он тянулся по высотам, которые шли вдоль низкого берега Прута, поросшего густым камышом. Вот забелелись бесчисленные палатки и красивые наметы турецкого войска. Вдали, как белоснежная, увенчанная золотой луною гора, возвышался огромный шатер великого визиря. Посреди обширного поля, отделявшего таборы крымских татар от турецкого стана, гарцевали сотни лихих наездников. Они крутились вихрем по полю, гонялись друг за другом, бросали свои джериды и на всем скаку подхватывали их на воздухе. Эта необычайная быстрота движений, этот восточный живописный наряд, это блестящее на солнышке и залитое в серебро оружие, от которого сыпались огненные искры,— все это вместе было так прекрасно и так великолепно, что Фролов, несмотря на свою ненависть к басурманам, не мог удержаться от восторга и прошептал:

— Эх, жаль, что эти поганые турки Христа-то не знают!.. А нечего сказать, удалой народ!

Не доехав шагов пятидесяти до визирской ставки, ага сошел с коня; русские пленные и их провожатые также спешились. Сказав несколько слов янычарам, стоявшим у входа в шатер, он вошел в него и велел вести за собою пленных. Пройдя два отделения, в которых

толпились турецкие аги и татарские мурзы, они вошли в третье; в нем, на низком диване, или, верней сказать, широком тюфяке, сидел каймакан, то есть наместник великого визиря. Перед ним стояли в почтительном молчании пять или шесть бимбашей и сидели на ковре двое осанистых пашей. Несколько поодаль писал, стоя на коленях перед низеньким столом, ада-баши — по-нашему, обер-квартирмейстер. В углу, позади каймакана, стояла целая толпа чаушей, готовых по первому мановению визиря или его наместника отколотить по пятам весь главный штаб турецкой армии. Русских остановили при входе, а Ибрагим, став против каймакана, наклонил голову и, приложив к губам правую руку, сказал обыкновенное приветствие правоверных:

— Маш аллах! — то есть: да благословит тебя господь!

— Аллах разола! — пробормотал каймакан, кивнув слегка головою.— Ну, что скажешь, Ибрагим?

— Я сегодня ночью,— отвечал ага,— захватил вот этих двух русских. Один из них юз-баши.

— Пек-эй, пек-эй!.. А который из них юз-баши?

— Вот этот, что выше ростом.

— Как, этот мальчишка?.. И он юз-баши!.. Ну, видно, у этих москов не по-нашему! — промолвил он, поглаживая свою седую бороду.

Занавеска дверей, ведущих во внутренние отделения визирской ставки, зашевелилась. Все турецкие чиновники встрепенулись, паши вскочили с своих мест, и сам каймакан приподнялся. Но эта тревога тотчас же кончилась, потому что вместо великого визиря вошел русский подканцлер Шафиров с своим переводчиком.

— Что я вижу,— вскричал он,— Симский!.. Ты как здесь?

— В плену, Петр Павлович.

— В плену?.. Да когда ж ты попался?

— Сегодня ночью. Государь изволил отправить меня с указом в московский Сенат.

— С указом?.. Так погоди же!..

Шафиров подошел к каймакану и начал говорить с ним через переводчика. Турок слушал его с большим вниманием, улыбался и, когда Шафиров перестал говорить, кивнул приветливо головою и сказал:

— Пек-эй, пек-эй!

— Что это он говорит? — спросил Шафиров.

— Хорошо, дескать,— отвечал переводчик.

Шафиров поклонился каймакану и, проходя мимо Симского, спросил, не отобрали ли у него царского указа.

— Нет, Петр Павлович,— отвечал Симский,— указ, слава богу, при мне.

— Так авось ты довезешь его благополучно до Москвы. Прощай!

Через несколько минут вынесли от визиря бумагу; каймакан прочел ее с приметным удовольствием, повторяя беспрестанно свое «пек-эй»; потом передал ее адабаши и, проговорив с набожным видом «шокюр аллах», потребовал свою трубку; но, прежде чем он успел затянуться первым глотком благовонного дюбека, вошел торопливо пожилой бим-баши и сказал ему что-то вполголоса.

— Аллах кирим! — вскричал каймакан с приметным ужасом.— Что ты говоришь, он здесь?

— Здесь и прямо идет сюда.

Перед шатром послышался шум. Каймакан вскочил, паши также встали; шум приближался, и вдруг в палатку вошел или, лучше сказать, вбежал человек высокого роста, не слишком приятной, но весьма значительной наружности. Этот, по-видимому вовсе нежданный, гость не отличался ничем от трех шведских офицеров, которые вошли вместе с ним в палатку. На нем была небольшая треугольная шляпа, однобортный зеленый мундир с желтым подбоем, такого же цвета исподнее платье, ботфорты со шпорами, лосиная портупея с медною пряжкою и замшевые перчатки с широкими раструбами по самый локоть.

— Где визирь? — сказал он повелительным голосом, не снимая шляпы и не отвечая на почтительный поклон каймакана.— Понятовский, спроси их!

— Вот, государь, наместник его,— сказал Понятовский, указывая на каймакана.

— Какое мне дело до его наместника! Где Мехмет-паша?

Каймакан молча указал на двери, ведущие в соседнюю комнату. Карл XII — читатели, вероятно, уж отгадали в этом посетителе шведского короля — отдернул занавеску и вошел, вместе с Понятовским, в обширное отделение палатки, устланное персидскими коврами и обтянутое богатым штофом. В глубине этой походной аудиенц-залы, на роскошном атамане, покрытом турецкими шалями, сидел, поджав ноги, и курил трубку вели-

кий визирь. С одной стороны подле него стоял с серебряным подносом и золотою кружкою сербет-аглан, то есть чашник, или кравчий; с другой — черный невольник обмахивал мух павлиным хвостом и в то же время навевал прохладу на его благополучие победоносного Ахмет-пашу, который, несмотря на летний жар, сидел в шубе и уродливой визирской чалме, совершенно похожей на огромный, поставленный вверх дном цветочный горшок. Несколько турецких сановников и драгоман сидели на ковре и перечитывали какие-то бумаги. Нечаянное появление шведского короля, по-видимому, очень смутило визиря. Он встал с своего места и хотел что-то сказать, но Карл XII не дал ему вымолвить ни слова; кинув на него гневный взгляд, он опустился небрежно на диван и сказал:

— Понятовский, переводи этой турецкой чучеле все, что я буду говорить, да смотри — слово от слова!

Визирь сел опять на прежнее свое место, и между ним и шведским королем начался через переводчика следующий разговор.

— Правда ли, визирь,— спросил Карл XII,— что ты хочешь заключить мир с русским царем?

— Правда,— отвечал Мехмет-паша.

— Я надеюсь, этого не будет.

— Нельзя не быть: мир уж заключен.

— Заключен! — вскричал король.— Ах он изменник!.. Да как же ты, Мехмет-паша, осмелился заключить этот мир?

Визирь поглядел с удивлением на своего гостя и сказал:

— Да разве ты не знаешь, что я имею право и войну вести, и мир заключать?

— Вот то-то и худо, что тебе дали это право. У меня бы ты не смел этого сделать. Вот и мои сенаторы вздумали было также умничать, да я послал им мой старый сапог и приказал, чтоб они спрашивались у него, что делать. Переведи ему это, Понятовский!

Вероятно, Понятовский исполнил в точности это приказание, потому что визирь поглядел с ужасом на короля и отодвинулся от него подалее.

— Да для чего же ты, Мехмет-паша,— продолжал Карл XII,— заключил мир с русским царем, когда все войско его и он сам были в твоих руках?

— Наш закон,— отвечал с важностию визирь,— повелевает щадить врагов, когда они просят помилования.

— А разве этот закон запрещал тебе взять в плен русского царя?

— Взять в плен москов-султана? А кто же бы тогда стал править его царством?

— Ну, вот,— прошептал Карл XII,— говори с этим бессмысленным скотом!.. Да какое тебе дело, Мехмет-паша, что некому бы было управлять русским царством?

— Аллах не любит безначалия,— возразил визирь.

Потом, взглянув исподлобья на шведского короля, промолвил еще несколько слов. Понятовский видимым образом смутился.

— Что он еще там бормочет? — спросил король.— Ну что ж ты молчишь, Понятовский?

— Он говорит такой вздор, ваше величество, что, право, не стоит и переводить.

— Все равно, я хочу знать!.. Да смотри — не обманывай меня!

— Он говорит, ваше величество, что нехорошо будет, если все цари станут жить по чужим землям.

Карл XII вспыхнул.

— Ваше величество,— сказал торопливо Понятовский,— не гневайтесь на этого турка: он не знает сам, что говорит.

— Ты прав, Понятовский,— промолвил король,— с этим болваном рассуждать нечего. Поедем!

Он вскочил с дивана, зацепил шпорою за шубу визиря, разорвал ее, потом выбежал вон из палатки, вспрыгнул на своего коня и поскакал назад в Бендеры.

— Собака! — прошептал Мехмет-паша, принимаясь снова курить свою трубку.

Спустя минут десять каймакан вошел к визирю.

— Что ты, Осман? — спросил Мехмет-паша.

— Я пришел донести твоему великолепию,— отвечал каймакан,— что ага Ибрагим захватил в плен двух русских, один из них юз-баши.

— А когда он взял их в плен?

— Ночью, за час до утренней молитвы.

— То есть прежде, чем мы заключили мир с русскими?

— Прежде.

— Так пускай Ибрагим возьмет их себе.

— А я думаю, что их лучше отпустить.

— Зачем?

— Да вот мне сейчас русский рейс-эфенди говорил, что москов-султан послал их с фирманом в свою землю

затем, чтоб там скорей сбирали подать, которую он должен положить к ногам великого падишаха.

— Ну, это другое дело!.. Ты правду говоришь, Осман: их должно отпустить. Да уж кстати скажи Ибрагиму, чтоб он взял с собою человек двадцать спагов и проводил этих русских, а не то, пожалуй, их захватят крымские татары. Ведь для этих разбойников все равно, война или мир, им только бы грабить.

Каймакан поклонился и вышел вон.

Через полчаса Симский и Фролов, которым отдали оружие, сидели уже на конях.

— Ну, вот, сударь,— сказал Фролов,— господь нас помиловал! Нас даже и в плен не берут. Ага сказал мне, что едет с нами для того только, чтоб нас не обидели татары.

— Что ж это значит?

— Должно быть, перемирие, сударь. Да, видно, за нас очень просил и боярин Шафиров, дай бог ему много лет здравствовать!

— Хайде! — крикнул ага, и весь поезд двинулся по дороге, ведущей к Яссам.

ГЛАВА XI

Теперь мы должны возвратиться опять в Москву, но вы не узнаете ее, любезные читатели:

Она *грустна,* она уныла,
Как мрачная осення ночь...

Дурные вести скоро доходят, да это бы еще ничего: что было, того не воротишь; но вот что худо: почти всегда, как будто бы для того, чтоб оправдать пословицу: «Пришла беда, отворяй ворота», за каждой нерадостной вестью следуют тысячи новых, одна другой ужаснее. Есть люди, для которых всякое народное бедствие — сущий клад. В спокойное время они обыкновенно сидят по домам, но случись какая-нибудь общая беда — и они, как зловещие птицы, появятся везде, начнут всех пугать своим отвратительным криком, и надобно отдать справедливость этим вестовщикам горя: они вполне обладают непостижимым искусством — из небольшой мухи сделать огромного слона. На этот раз для них было настоящее раздолье: нашествие турок на святую Русь, погром Москвы, осквернение храмов божиих — было над

чем уму-разуму потрудиться, и, нечего сказать, эти господа потрудились порядком. В Москве не знали ничего верного о положении нашего войска, знали только, по слухам, что дела идут худо; но, по милости этих зловещих птиц, и неробкие люди стали призадумываться; о трусоватых и говорить нечего — те уж давно распорядились: одни припрятали подалее свое серебро и наличные денежки, другие уложились и держали наготове лошадей, чтоб при первой опасности ускакать из Москвы.

Семнадцатого июля, часу в десятом утра, Данила Никифорович Загоскин беседовал в гостиной комнате своего московского дома с Герасимом Николаевичем Шетневым.

— Да, батюшка Данила Никифорович,— говорил Шетнев,— ты себе верь или нет, а уж шила в мешке не утаишь,— плохо дело!

— Да ведь это только слухи,— сказал Данила Никифорович.

— Какие слухи! Говорят тебе, изо всего русского войска ни одной живой души не осталось.

— Помилуй, любезный! да как же это может быть? Ведь люди не мухи, а и тех всех не перебьешь. Русская-то рать была не маленькая. Ну, коли турок было и впятеро больше...

— Впятеро! Нет, Данила Никифорович, их пришло с лишком шестьсот тысяч, а татар-то собралось вдвое против этого. Говорят, весь Крым поголовно вышел на подмогу к туркам, так уж тут делать нечего,— насилу не возьмешь!

— Воля твоя, Герасим Николаевич, а я этому не верю, не до конца же прогневался на нас господь. Ведь, по-твоему, и войско и государь...

— Все погибло, любезный, все!.. Вот они, немецкие-то кафтаны!.. Кабы жили да жили по старине...

— А в старину-то нас, чай, никогда не бивали?

— Случалось, да только не этак. Бывало, господь накажет, а там и помилует.

— Ну так, может быть, и теперь то же.

— Нет, любезный, теперь мы сами от господа отступились, так и он нас покинул. Послушал бы ты, что говорит об этом Лаврентий Никитич Рокотов. Я третьего дня был вместе с ним в селе у Максима Петровича Прокудина.

— Так они помирились?

— Да, помирились, а вчера опять было поссорились.

— За что?

— А вот за что: Максим Петрович так же, как ты, не очень верит слухам. «Как, дескать, мы ни грешны,— говорит он,— а все-таки рабы божьи, и он не предаст помазанника своего и нас, рабов своих, на поругание язычникам». А Лаврентий Никитич и скажи ему на это: «Коли, дескать, все правда, что говорят, так тут есть и гнев и милость божья. Придет разоренье на святую Русь,— ну что ж: не впервые,— авось как-нибудь оттерпимся, зато после легко будет. Ведь по мне, дескать, немецкий-то погром хуже турецкого». Батюшки, как Максим Петрович расходился!.. Да, нечего сказать, и я Лаврентия Никитича не похвалил. Ну, коли каким ни есть чудом государь Петр Алексеевич вернется да узнает о таких речах... Господи боже мой, пропадешь ни за денежку. Насилу, насилу их помирил, да и то, что Лаврентий Никитич догадался и сказал, что он это так... пошутил, чтоб подразнить Максима Петровича.

— Здравствуйте, Герасим Николаевич! — сказала, входя в комнату, Марфа Саввишна.

Шетнев встал и поклонился.

— У тебя гости были, жена? — спросил Данила Никифорович.

— Да, батюшка, Аполинарья Степановна Бирдюкова да Нимфодора Алексеевна Добрынская.

— То-то, чай, навезли тебе вестей!

— О, господи, такие страсти, что и сказать нельзя!.. И что им за утеха рассказывать?.. Держали бы про себя...

— Куда! чай, так и рвутся одна перед другой!

— И добро бы еще слухи-то были хорошие,— так нет! С радостной весточкой ни за что не приедут!

— Охота тебе, жена, их слушать.

— А что такое они вам рассказывали? — сказал Шетнев.— Сделайте милость, сообщите нам!

— Ох, батюшка!.. Коли правда, что они говорят...

— А что они говорят такое?

— Да вот Аполинарья Степановна рассказывала мне: она получила письмо от одной приятельницы из Чернигова, и в этом письме к ней пишут, что турки-то уж в Полтаве.

— Слышишь, Данила Никифорович? — прервал Шетнев.

— Слышу, батюшка, слышу!

— Ну, что ж они, Марфа Саввишна, с Полтавой-то сделали?

— Камня на камне не оставили! И место, где она стояла, вспахали, проклятые, да солью посыпали, чтоб трава не росла!

— А с православными-то что сделали? К себе, что ль, угнали?

— Нет, батюшка, перебили всех до единого.

— И женщин также?

— Ох, нет, кормилец!.. Говорят, молоденьких всех по рукам разобрали.

— А что, от Полтавы они назад, что ль, пошли?

— Куда назад!.. Говорят, уж дошли до Киева.

— Что ты, матушка,— прервал Данила Никифорович,— да ведь Киев-то ближе к туркам, чем Полтава!

— Я этого, сударь, не знаю, а рассказываю тебе, что слышала. И Нимфодора Алексеевна говорит то же, и ей также пишут, из Курска, что ль, не знаю, что кругом Полтавы нет деревца, на котором бы человек десяти не висело.

— Скажите пожалуйста,— вскричал Шетнев,— и режут и вешают!

— То ли еще они, душегубцы, делают с православными,— продолжала Марфа Саввишна,— и подумать-то страшно!

— А что такое, матушка?

— А вот что, Герасим Николаевич: возьмут человека, зароют его по самую голову в землю, да так в степи и оставят. Вот как он, голубчик, рот раскроет, так в него и поползет всякий гад: и ящерицы, и змеи, и козявки всякие...

— Господи боже мой!.. Охота же была связываться с таким народом!

— Ох, батюшка, правду ты говоришь! Знаешь ли ты, что мне сказывала Аполинарья Степановна, а она слышала это от людей бывалых: где нам воевать с турками! Они все народ тучный, дородный,— что им делается? Вот турок ударит саблею русского, так он тут же изойдет кровью, сердечный! А коли наш пырнет чем ни есть турка, так ему это нипочем: тотчас заплывет жиром... Ну что ж ты смеешься, Данила Никифорович?

— Да повеселее на сердце стало, матушка. Коли и другие-то вести так же верны, как эти, так еще слава богу!

— Нет, Данила Никифорович,— прервал Шетнев,— не говори этого. То, что изволила рассказывать Марфа Саввишна, само по себе, а то, что я тебе говорил, так

это верно, как бог свят. Вот как и дело было: мы перешли за реку Днестр, а за этой рекою пойдут арапские пустыни... Это, матушка Марфа Саввишна, должна быть та самая земля, в которой живут мурины, сиречь арапы.

— Так, батюшка, так!

— Ну вот, сударыня моя, наши много нужды натерпелись; места, знаете, этак безводные, а жары такие, что там и огня вовсе не разводят.

— Да как же, Герасим Николаевич, там хлебы-то пекут?

— На солнышке, матушка. Вот наши шли, шли, да и пришли на какой-то пруд, а может быть, и озеро — наверно не знаю; говорят только, что рыба в нем так и кишит, и даже тюлени водятся.

— Так какой же это пруд, батюшка?

— Да, Марфа Саввишна, должно быть, озеро. Мы стали по сю сторону, а турки по ту. Вот как они собрались все воедино, так пошли в обход, а мы стоим да стоим. Глядь-поглядь, а турки-то уж и с тылу зашли, да и ну палить в наших из пушек. Мы также, а там врукопашную — и пошла жарня! Наши, сударыня, двое суток стояли крепко, денно и нощно бились с врагом. В первые сутки перебили у него пятьдесят тысяч, на вторые еще пятьдесят, а на третьи-то и силы уж не стало. Легко вымолвить! поди-ка перебей сто тысяч человек — руки отмотаешь!.. Вот как турки заметили, что наши вовсе из мочи выбились, так кинулись на них гурьбою и пошли резать, как баранов. Я слышал от верных людей, что всех дотла перерезали. Ну, может статься, сотни две-три в живых и осталось; кто под кустом отлежался, кто успел тягу дать... да это все какая-нибудь лагерная челядь, а настоящая-то рать и царская гвардия вся поголовно легла.

— Слышишь, Лаврентий Никитич? — сказала Марфа Саввишна, заливаясь слезами.— А наш-то Васенька!..

— Племянник ваш, Симский? — прервал Шетнев.— Да! ведь он служил в Преображенском полку!

— Ох, недаром я тосковала, когда с ним прощалась! — продолжала Марфа Саввишна, рыдая.— Голубчик ты мой, сокол мой ясный! Умереть в таких годах, на чужой стороне, и, может быть, без покаяния!.. Батюшка Данила Никифорович, поеду я, отслужу по нем панихиду!..

— Что ты, матушка, помилуй! Ну что хорошего, коли ты о живом человеке панихиду отпоешь?

— Нет, Данила Никифорович,— сказал Шетнев,— не мешай! Что, в самом деле, племянник твой за выскочка,— один изо всего полка уцелел! Ведь он у тебя, я слышал, молодец,— так живой в руки не дастся.

— Да, это правда, а за куст и подавно не спрячется.

— Так и думать нечего! Ступайте, матушка Марфа Саввишна, дело христианское, богоугодное...

В столовой послышались шаги поспешно идущего человека. Двери отворились — и Симский вошел в комнату.

— С нами крестная сила! — вскричала Марфа Саввишна.— Что это?.. Васенька!

— Друг сердечный, Василий, ты ли это? — сказал Данила Никифорович, обнимая племянника.

— Я, дядюшка, я!.. Здравствуйте, тетушка!

— Голубчик ты мой! — воскликнула Марфа Саввишна, осыпая поцелуями Симского.— Ты жив... тебя турки не убили?

— А вот как видите.

— Ну, Герасим Николаевич! — сказал хозяин, обращаясь к Шетневу,— ты советовал жене отслужить по нем панихиду...

— Ну что ж, Данила Никифорович, теперь Марфа Саввишна вместо панихиды отслужит благодарственный молебен!

— Отслужу, батюшка, отслужу!.. Подлинно милость божия! Подумаешь: один как перст изо всего полка остался!

— Нет, тетушка, не один, наш полк благодаря бога целехонек.

— Что вы говорите, батюшка? — прервал Шетнев.— Так поэтому ваш только полк и уцелел?

— Нет, государь мой, все целы. Ну конечно, в ином полку народу гораздо поубыло, и наш поменьше стал, да без этого нельзя.

— Скажите пожалуйста!.. Ох уж мне эти вестовщики!.. И ведь выдумают же, проклятые!

— А что, видно, нас всех похоронили?

— Чего, батюшка! У нас слухи были, что из всего русского войска ни души не осталось.

— И что турки-то уж в Полтаве! — подхватила Марфа Саввишна.

— Нет, тетушка, далеко от Полтавы,— сказал Симский, улыбаясь,— да вряд ли туда и пойдут.

— А что государь? — спросил Данила Никифорович.

— Слава богу, здоров. На прошлой неделе он сам изволил отправить меня с именным указом. Я сейчас был в Сенате и вручил его господам сенаторам.

— Так он, батюшка наш, жив и здоров! — вскричал Шетнев, сложив умильно руки.— Слава тебе господи! Не отринул ты грешных молитв наших!

— А что, племянник,— молвил Данила Никифорович,— скажи по правде: что, дела-то наши худо идут?

— Да, дядюшка, тесненько нам приходило.

— Слышишь, любезный? — прервал Шетнев.

— Турки обложили нас со всех сторон...

— Слышишь? — повторил Шетнев.

— И надобно сказать правду: наше дело было десперантное.

— Какое? — спросил Данила Никифорович.

— Десперантное, то есть отчаянное.

— Слышишь, Данила Никифорович?

— Слышу, любезный!.. А теперь?

— Теперь, кажется, пошло на мировую.

— Почему ты это думаешь?

— А вот почему, дядюшка: когда государь изволил послать меня в Москву, так с визирем шли переговоры. Меня отправили ночью, затем что мне надобно было пробираться сквозь все турецкое войско. Сначала-то мне не очень посчастливилось: турки меня захватили...

— Господи! — вскричала Марфа Саввишна.— Так ты был у них в полону?

— Был, тетушка.

— И тебя не зарезали, не повесили, не закопали живого в землю?

— Нет, тетушка, бог помиловал. Напротив, они и в плену меня не оставили, а отпустили с честью и даже дали мне проводников. Вот потому-то я и думаю, что у нас с турками положен штиль-штанд.

— Штиль-штанд! — повторил Данила Никифорович.

— Да, дядюшка, то есть армистициум.

— Армистициум. А это что такое?

— Сиречь перемирие.

— Ну так бы и сказал, братец. Да что это, племянник, или у вас в Питере-то все так говорят?

— О нет, дядюшка, как можно, чтоб все так говорили! Ведь и в Петербурге много людей непросвещенных.

— Вот что! Ну, этого я еще не знал. Так, по-вашему,

просвещенный человек должен говорить по-русски так, чтоб его свои не понимали?.. Ох вы, петербургские! перехитрили вы, кажется!

— Ну, прощай, любезный! — сказал Шетнев,— пора домой.

— Батюшка Герасим Николаевич,— молвила Марфа Саввишна, провожая гостя,— ты поедешь мимо Нимфодоры Алексеевны Добрынской, заверни к ней на минутку, скажи о нашей радости и о том, что мы слышали от Васеньки...

— Извольте, Марфа Саввишна. Только она мне не поверит.

— Что ты, батюшка!

— Право, не поверит. Да не прогневайтесь, и я не вовсе верю вашему племяннику. Человек служивый говорит то, что ему приказано. Ну, да утро вечера мудренее: узнаем когда-нибудь всю правду. Прощайте, матушка!

— Долго ли ты у нас пробудешь? — спросил Данила Никифорович Симского.

— Не знаю, дядюшка. Коли мир состоится, так, может быть, мне дадут здесь отдохнуть. Теперь позвольте на часок отлучиться...

— Куда?

— Я видел в Сенате моего однополчанина, Андрея Степановича Мамонова, и обещал побывать у него сегодня до обеда.

— Ну, ступай, мой друг... Да постой, я велю тебе заложить мою одноколку.

— Нет, дядюшка, мне езда до смерти надоела, пойду лучше пешком.

— Только, пожалуйста, Васенька,— сказала Марфа Саввишна,— не замешкайся, дай мне насмотреться на тебя, мое сокровище!

— Часа через два непременно ворочусь, тетушка.

Мамонов жил все там же, то есть на Варварке, в доме своего родственника, Шеина. Симский, входя к нему, повстречался с каким-то барином, который, посторонясь, отвесил ему низкий поклон. Лицо этого господина показалось Симскому знакомым, но он никак не мог припомнить, где его видел.

— Спасибо, друг сердечный,— вскричал Мамонов,— спасибо! Я думал, что ты не сдержишь своего слова. Чай, все твои родные так за тебя и уцепились. И то сказать, выходец с того света!

— Да, любезный, тетушка сбиралась по мне панихиду служить.

— Ну, Симский, хороша ваша белокаменная! Вот сплетница-то, подумаешь!.. И всех вас перебили, и турки идут на Москву.

— Да за этим, Мамонов, дело не станет и у нас в Петербурге. Конечно, там поменьше праздных людей, так и вздорных слухов не так много, как здесь; а все, я думаю, и там вестей-то не оберешься.

— Судя по тому, Симский, что ты рассказывал мне в Сенате, у нас с турками должен быть армистициум, так надобно надеяться, что скоро будет и мир заключен.

— Да, Мамонов, коли пошло дело на переговоры, так авось как-нибудь поладят.

— Ах, дай-то господи! Тогда, может быть, и моя откомандировка кончится. Нет, Василий Михайлович, из мочи выбился. Такая скука, что я подчас с ума схожу.

— А невесты-то, Мамонов?

— Что невесты!.. И они надоели, пересмотрел я их больше сотни; все одно и то же. Сначала это меня забавляло, а теперь нет. Да и Федосья Игнатьевна перестала ко мне жаловать. Видно, догадалась, что я на бобах ее провожу. Была у меня здесь одна знакомая, Аграфена Петровна Ханыкова; с ней можно было время проводить: барыня умная, с хорошей эдюкацией, да и та давно уж уехала в Воронеж, чтоб быть поближе к мужу, который на службе в Азове. Ягужинские уехали из Москвы, Стрешневы также, у Гутфеля умерла старуха теща, так он никого не принимает. Ну, тоска, да и только!

— Однако ж у тебя гости бывают. Вот я сейчас повстречался в дверях с каким-то господином, лицо мне знакомо, только не могу вспомнить, где я его видел.

— Это один магистратский чиновник, Ардалион Михайлович Обиняков, он везде шатается. Вот мошенник-то, братец, так уж я тебе скажу! Знаешь ли, зачем он у меня был? Да вот я расскажу все дело. Тебе известно, что мне поручено забирать на службу всех недорослей из дворян и новиков, которые не явились к своей команде. Вот я почти всех забрал: кто сам явился, кого привезли насильно. Один только, словно клад, мне не дается: какой-то сорокалетний новик, князь Шелешпанский. Охотился ли ты когда, Симский, с борзыми собаками?

— Как же. Мой покойный батюшка любил псовую охоту.

— А случалось ли тебе травить лису?

— Случалось.

— Так ты знаешь, как она проводит и охотников и собак. Ты думаешь: ну, настигли!.. Как бы не так, проклятая вильнет хвостом, собаки промечутся в одну сторону, она шмыгнет в другую — и поминай как звали! Вот точно так же и князь Шелешпанский: уж я ли, кажется, не давал этой лисе угонок. Проведаю, где он, нагряну ни свет ни заря — не тут-то было, и след простыл. Теперь уж третий месяц, как я ничего о нем не слышу. Все его отчины здесь кругом Москвы, а он как в воду канул. Вот перед тобой явился ко мне этот Обиняков и объявил, что князь Шелешпанский скрывается верст за шестьдесят отсюда в лесу, на хуторе богатого помещика Рокотова, и что если я дам ему, Обинякову, команду, так он этого беглеца руками возьмет и представит ко мне в Москву. Да это бы еще ничего, а вот что скверно: я знаю доподлинно, что князя-то Шелешпанского этот самый Обиняков и уговорил от меня прятаться. Каков молодец!

— Да из чего же он это делает?

— Из чего! А вот прочти эту копию с царского указа,— сказал Мамонов, подавая Симскому исписанный лист бумаги.

— Что ж это? — молвил Симский, читая.— Тут речь идет о том, что дозволяется всякому чину торговать с платою пошлины.

— Это пункт первый, читай дальше.

— Пункт второй,— продолжал Симский.— «С семьсот первого году выписать, сколько каких выморочных деревень роздано и кому». И это, кажется, к делу нейдет?

— Читай, читай!

— Пункт третий: «Кто скрывается от службы, объявить в городе, кто такого сыщет или возвестит, тому отдать все деревни того, кто ухоранивался».

— Ну что, любезный, теперь понимаешь, из чего бьется Обиняков?

— Ах он разбойник!

— По мне, хуже разбойника. Подбил человека на дурное дело да сам же на него и в донос.

— И этот мошенник получит все именье князя Шелешпанского?

— Разумеется. Завтра после обеда он отправится с командою, сделает выемку, привезет сюда этого нови-

ка, получит от меня свидетельство, а там представит его при своей челобитной в Сенат и отберет от этого бедняжки Шелешпанского все именье, а ведь именье-то какое: с лишком четыре тысячи душ.

— Да что ж, это,— спросил Симский,— тот самый князь Шелешпанский, который был помолвлен на племяннице...

— Аграфены Петровны Ханыковой. Ну да, тот самый. Месяца два тому назад Аграфена Петровна, которая была еще здесь, уведомила меня, что родной ее брат, Максим Петрович, зовет ее на свадьбу племянницы в подмосковное свое село. Надобно тебе сказать, что Ханыкова и слышать не хочет об этой свадьбе. Вот я взял с собою команду и отправился втихомолку к Прокудину. Подъезжая к селу, я узнал от мужичков, что жених, то есть князь Шелешпанский, прибыл со всем своим поездом в село Максима Петровича. Кажется, я хорошо распорядился: одну часть моей команды оставил на карауле у самой околицы, другой приказал ехать с обыском на село, а сам отправился прямо в господский дом. Свадьбе-то я помешал — это правда, а жених все-таки ушел. Что будешь делать! сквозь пальцев проскользнул, проклятый!

— Так поэтому он еще не женат? — спросил Симский таким странным голосом, что Мамонов взглянул на него с удивлением и сказал:

— Что ты, брат, поперхнулся, что ль?

— Да!.. что-то так...— промолвил Симский, чувствуя, что сердце его совершенно оледенело.— Так ты, Мамонов,— продолжал он,— помешал этому бедняжке жениться на племяннице Прокудина?

— Да ведь жениться-то всегда можно. Чай, их давно уж обвенчали. Коли дело полажено, так долго ли отпеть «Исайя ликуй»? Не на селе у своего дяди, так где-нибудь на погосте. Жаль мне этой... как бишь ее звали в девках-то?.. Да, Запольская! Такая хорошенькая, умненькая, танцует прекрасно... Бедняжечка! вышла за богатого человека, а теперь что он будет? нищий!

— Да неужели в самом деле этот мошенник Обиняков отберет у него все именье?

— А ты думаешь, оставит что-нибудь?

— Послушай, Мамонов, нельзя ли как-нибудь этому пособить?

— Никак нельзя. Конечно, если б он догадался да прежде, чем его захватят на этом хуторе, явился ко мне

сам,— ну, это дело другое. Не знал, дескать, что меня требуют, ездил по моим отчинам, хворал... мало ли что можно сказать.

— Что ж тогда с ним будет?

— Ничего, поступит на службу, а все именье при нем останется. Куда ж ты, Симский?

— Прощай, мой друг, меня дожидаются обедать. Э, да кстати!.. Можешь ты мне дать эту копию с указа?

— На что тебе?

— Показать дядюшке. Может быть, он еще этого указа не читал.

— Пожалуй, возьми, если хочешь.

— Ну, прощай, Андрей Степанович!

— До свиданья, мой друг!

Симский обнял Мамонова и отправился домой.

ГЛАВА XII

На другой день после рассказанного мною в предыдущей главе, часу в восьмом утра, Максим Петрович Прокудин сидел на рундуке своего сельского дома вместе с Ольгой Дмитриевною Запольскою. Максим Петрович читал любимую свою книгу «Камень веры» Стефана Яворского, племянница сидела подле него и вышивала в пяльцах.

— А вот и Прокофий едет из Москвы,— сказал Прокудин, закрывая книгу,— что он везет нам — горе или радость?

Через несколько минут Прокофий Сидорыч стоял уж перед своим господином.

— Ну что, Кулага? — спросил Максим Петрович,— что слышно в Москве?

— Да мало ли что толкуют, батюшка,— отвечал Прокофий,— одни говорят одно, другие другое.

— Так есть и хорошие слухи?

— Есть, Максим Петрович.

— Ну, слава тебе господи!.. Ты был у Шетнева?

— Как же, сударь. Изволит тебе кланяться. «Писать-де к твоему барину не могу — дело опасное, а скажи ему на словах: начали, дескать, распускать по Москве слухи, что в нашем войске все благополучно, что государь Петр Алексеевич жив и здоров и что теперь с турками замирение. Да ты, дескать, Максим Петрович, этому не верь — все это выдумки, и хоть оттоле и есть выходцы, да от них правды не узнаешь; а все-таки и они

поговаривают, что дело-то было сильно плоховато; так ты себе на ус и мотай: коли было плохо, так отчего ж теперь стало хорошо? Ведь к нашему войску на выручку никто не подоспел!» Вот что, батюшка, приказал тебе сказать его милость Герасим Николаевич.

— Так Шетнев думает, что это все сказки? А ты что думаешь, Кулага?

Прокофий Сидорович начал ухмыляться, почесал затылок, помялся и наконец промолвил:

— Не прогневайся, государь Максим Петрович, я думаю, Герасим Николаевич изволит называть эти добрые слухи выдумкою ради того, что ему крепко бы хотелось, чтоб слухи-то были дурные.

— Может статься. Да ты-то сам как думаешь?

— Я, батюшка, что! Я человек глупый. По мне, лучше верить хорошему, чем худому.

— И я, видно, Прокофий, не умней тебя. Ну, ступай с богом!.. Тебе, чай, надо отдохнуть... Постой-ка, постой!.. Ох, глаза-то у меня плохи стали!.. Посмотри, Прокофий: ведь это к нам кто-то едет.

— Едет, батюшка.

— Кажись, тройкой в телеге?

— Да, сударь... У! да как задувает! Видно, на разгонных.

— Да, шибко едет. Ступай, Прокофий, скажи, чтоб закуска была готова... Кто бы это такой? — продолжал Прокудин.— Э! да никак на нем шляпа-то немецкая?.. Или мне так кажется... Посмотри-ка, Оленька!.. Да что ты, мой друг?

— Ничего, дядюшка.

— Как ничего: ты вся побледнела... и голос у тебя дрожит... Что ты, что ты... Господь с тобою!

— Да!..— прошептала Ольга Дмитриевна,— это он.

— Он? Кто?.. Этот гость, который к нам едет?

— Дядюшка! — сказала Запольская, вставая,— я пойду к себе... я не хочу его видеть.

— Да кто ж он такой? — спросил Прокудин.

Слезы брызнули из глаз бедной девушки; она закрыла руками лицо и назвала едва слышным голосом Симского.

— Симский! — повторил Прокудин,— что ты, матушка, перекрестись! да ведь он под турком...

— Так что ж, дядюшка? видно, приехал затем, чтоб сдержать свое слово и жениться на Катеньке Юрловой.

— На Юрловой!.. Да это все вздор, Оленька.

— Как! — вскричала Запольская, и по бледному лицу ее разлился яркий румянец.— Так он не помолвлен?

— Нет, мой друг, это все выдумки Рокотова. Ступай, моя душа, ступай! Мы после поговорим об этом с тобою.

Меж тем гость подъехал к воротам и, не въезжая во двор, спрыгнул с телеги.

— Ну, так и есть! — молвил про себя Максим Петрович,— это точно Симский... Экий бравый детина! И в этом-то дурацком наряде молодцом смотрит!.. Да какой учтивый парень: не въехал прямо во двор... Вон и шляпу снял!.. Эх, кабы немцев-то он поменьше любил!

— Не прогневайтесь, почтеннейший Максим Петрович,— сказал Симский, взойдя на крыльцо,— что я осмелился незваный к вам приехать!

— Ничего, батюшка, ничего! Добро пожаловать! Милости просим садиться!

Симский поклонился и сел подле Прокудина.

— Прежде всего, батюшка,— сказал Максим Петрович,— позволь спросить: ты приехал из-под турка?

— Да, Максим Петрович.

— Давно ли?

— Другой день.

— Так сделай же милость, Василий Михайлович... так, кажется, батюшка: Василий Михайлович?

— Точно так, Максим Петрович.

— Усердно прошу тебя, скажи мне без утайки всю сущую правду, что у вас там делается.

— Теперь все кончено, Максим Петрович. Вчера прибежал в Москву гонец: с турками заключен вечный мир.

— Вечный? Так авось годика два-три протянется. А что наш батюшка Петр Алексеевич?

— Все слава богу! Чай, идет теперь с войском к нашим границам.

— Ну, спасибо тебе за добрые вести, молодец, спасибо!

— Теперь позвольте мне доложить, Максим Петрович, зачем я к вам ехал: дело важное и требует большой поспешности.

— А что такое, Василий Михайлович?

— Оно отчасти и до вас касается.

— До меня?

— То есть до человека, очень вам близкого. Ваша племянница, Ольга Дмитриевна Запольская, была по-

молвлена за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского и, вероятно, теперь уж замужем.

— Так что ж, батюшка?

— А вот что, Максим Петрович: коли вы не поторопитесь сделать что я вам скажу, так у вашего племянника, сиречь князя Шелешпанского, все именье отберут.

— Племянника! — повторил Прокудин.

Казалось, он хотел что-то вымолвить, но остановился и, поглядев пристально на Симского, сказал:

— Да как же это у него отберут все имение?

— А вот как, Максим Петрович. Я думаю, вам небезызвестно, что государь Петр Алексеевич приказал забирать на службу всех взрослых недорослей из дворян и неслужащих новиков. Отыскивать их и записывать в полки поручено моему сослуживцу, Преображенского полка господину поручику Мамонову.

— Знаю, батюшка, знаю! он у меня был.

— Так вам должно быть известно и то, что князь Шелешпанский несколько уже месяцев отбывает от службы и прячется по своим деревням. Вчера я застал у Мамонова какого-то приказного чиновника Обинякова...

— Ардалиона Михайловича?

— Точно так, Максим Петрович. Этот Обиняков объявил Мамонову, что князь Шелешпанский скрывается верст за шестьдесят от Москвы в лесу, на хуторе помещика господина Рокотова, и что он, Обиняков, коли дадут ему команду, изловит непременно вашего племянника и доставит его к Мамонову в Москву.

— Вот что!.. А давно ли, батюшка, этот мошенник Обиняков в сыщики попал?

— Он не сыщик, Максим Петрович, и делает это не по долгу службы, а по собственной охоте.

— Да что ж ему за прибыль?

— Вот то-то и дело, что для него тут прибыль превеликая: коли он доставит к Мамонову князя Шелешпанского, так отберет у него все именье.

— Все именье!.. Да по какому же праву, Василий Михайлович?

— А вот в силу этого именного указа. Извольте прочесть сами... пункт третий...

— Ах он Иуда предатель! — вскричал Прокудин, прочтя этот третий пункт.— Да неужели он в самом деле завладеет всем именьем князя Шелешпанского?

— Нет, Максим Петрович! этому делу пособить еще можно. Если ваш племянник не даст себя захватить на хуторе и успеет сам явиться к Мамонову, так прежнее отбывательство в большую вину ему не поставят: его только примут в службу, а именье при нем останется. Теперь,— продолжал Симский, вставая,— прошу прощенья, Максим Петрович! Я свое дело сделал, извольте делать ваше.

— Постой, постой, любезный! — сказал Прокудин, схватив за руку Симского.— Дай мне на тебя полюбоваться... Да что ж ты за человек такой, Василий Михайлович?

— А что ж, Максим Петрович, я думаю, и всякий другой на моем месте...

— Нет, молодец, не говори! Я все знаю: тебе не за что любить Шелешпанского. И добро бы ты думал, что племянница моя не замужем,— ну, это другое дело! Я, дескать, покажу себя добрым человеком, угожу Максиму Петровичу, а теперь из чего ты изволил себя тревожить?.. Ну, дай бог тебе здоровья, Василий Михайлович, утешил ты меня, старика! Видно, еще не перевелись честные-то по булату, православные люди на святой Руси!.. Вот посмотрим, что-то скажет об этом мой приятель, Лаврентий Никитич Рокотов. Послушаешь его, так вся наша молодежь так набралась немецкого духа, что в ней русской-то правды на волос не осталось.

— Да неужели и вы, Максим Петрович, изволите думать, что между немцами нет добрых и честных людей?

— Как не быть, батюшка! И в нечестивом Содоме нашелся праведный Лот, а немецкая-то земля, чай, побольше будет Содома и Гоморры... А, да вот нам и завтрак несут!.. Андрюшка! вели заложить мой возок, я сейчас поеду к Рокотову. Милости просим, гость дорогой! Покамест мне запрягают лошадей, мы с тобой закусим, выпьем по чарочке, а там и с богом!

В продолжение завтрака Максим Петрович расспрашивал подробно своего гостя о прутском деле и когда выслушал его рассказ, то, покачав головою, сказал:

— Эх, молодец! сплоховали ваши на́большие! Как же они этак словно в ловушку попали?

— Что ж делать, Максим Петрович! — отвечал Симский,— государя обманули ложными донесениями, и воложский господарь нам изменил.

— Так что ж смотрели ваши немецкие генералы! ведь их там, говорят, неотолченая труба.

— Ох, Максим Петрович, уж не извольте говорить о немецких генералах!..

— А что?

— Да главный-то из них — генерал Янус — все дело испортил: перепустил турок через Прут, дал им зайти к нам в тыл, а подержись он хоть с полдня, так мы бы через Прут переправились и не дали себя обойти.

— Да что ж это такое,— промолвил с удивлением Прокудин,— этот Янус немец, а ты за него не заступаешься?

— Чего тут заступаться! Сам государь изволил сказать, что генерал Янус нечестно свой долг исполнил.

— Вот что! Так, видно, и немецкие-то генералы со всячинкою: не все с неба звезды хватают!

— Помилуйте, Максим Петрович! да есть ли изо всех этих немецких генералов хоть один, которого можно было бы сравнить с нашим графом Шереметевым, с князем Меншиковым и даже с князем Репниным? Я уж не говорю о государе Петре Алексеевиче, у которого в одном мизинце больше ума, чем у всех этих немцев.

— Ах ты, мой голубчик! — вскричал Прокудин, всплеснув руками,— так вот как ты изволишь поговаривать!.. А я думал, что ты вовсе погряз в этой немецкой прелести!..

— Нет, Максим Петрович, я вам и прежде докладывал, что нам должно перенимать все полезное у наших соседей, но не ради того, чтоб сделаться самим немцами. Да разве русский человек не может изучиться разным наукам и всем заморским хитростям, а меж тем остаться таким же точно православным русским, какими были его отцы и прадеды? Ведь это везде так, Максим Петрович. Вот, примером сказать: голландцы не уступят в науке англичанам, немцы не меньше знают французов, а ведь не все же за морем сплошь да рядом или французы, или немцы, или голландцы,— и там также наука наукой, а каждый народ сам по себе. Однако ж, Максим Петрович, вам надо поспешить. Хоть, кажется, времени еще довольно, а ведь не ровен час: коли этот Обиняков поторопится да захватит вашего племянника...

— Племянника! — повторил Прокудин, улыбаясь,— ну а коли Шелешпанский вовсе мне не племянник?

— Что вы говорите,— прервал Симский, и глаза его заблистали радостию,— так Ольга Дмитриевна не вышла за князя Шелешпанского?

— И никогда за ним не будет.

— Так она не замужем?..

— Покамест нет. Ну, прощай, друг сердечный! ты, чай, остановился в Москве у своего дяди?

— Да, Максим Петрович.

— Так мы послезавтра опять с тобой увидимся. До свиданья, любезный!

Симский уехал. Прошло несколько минут. Прокудин провожал глазами уезжающего гостя и, казалось, размышлял в эту минуту о чем-то приятном. Он поглаживал с приметным удовольствием свою седую бороду и улыбался. Вдруг сенные двери скрипнули и растворились до половины.

— А, это ты, Оленька — сказал Максим Петрович.— Поди сюда, поди!.. Сядь-ка вот тут... поближе ко мне... Ну, племянница, глаза-то у тебя зорки: издалека ты узнала Симского!

— И, что вы, дядюшка!.. Ведь он уж был близко,— отвечала Ольга Дмитриевна, покраснев как маков цвет.

— И то сказать,— продолжал Максим Петрович,— такого молодца за версту узнаешь. Не правда ли, мой друг?

Вместо того чтоб отвечать на вопрос дяди, Ольга Дмитриевна придвинула к себе пяльцы, нагнулась над ними, стала разбирать шелк и наконец промолвила едва слышным голосом:

— А зачем он приезжал к вам, дядюшка?

— Да по делу твоего жениха, князя Шелешпанского.

— Жениха! — повторила с ужасом Запольская.

— То есть бывшего, мой друг! — прервал с улыбкою Прокудин.— Ну, чего ты испугалась? Уж я сказал, что скорей выдам тебя за немца, чем за этого беглого новика. Вот, подумаешь, прошу узнать: этот вор Ардалиошка Обиняков крепко стоит за нашу старину, позорит всех иноземцев, князь Шелешпанский также, оба они слывут людьми русскими, а что в этом толку, коли душонки-то в них жидовские. Один мошенник, а другой, по мне, и того хуже. Обиняков что? приказная строка! а Шелешпанский — богатый боярин, природный князь, да любого цыгана научит, как обманывать добрых людей. Живет хуже всякого скареда и, чтоб отвилять от царской службы, по овинам изволит прятаться. А вот этот Симский... И я, грешный человек, думал, что он вовсе онемечился... Да и как не подумать: хвалит все заморские обычаи, любит немцев и сам-то говорит иногда

ни дать ни взять как немец; а как пришло дело начистоту, так его честная русская душа вот так из-под немецкого-то платья и рвется наружу!.. Ну, нечего сказать, славный малый!

— Так он вам нравится, дядюшка? — спросила робким голосом Ольга Дмитриевна.

— Да, мой друг, очень нравится, а тебе?.. Ну, что ж ты молчишь, Оленька?.. А! вот что: ты не хочешь со мной спорить...

— Как, дядюшка?

— Да, мой друг: я его хвалю, а тебе он, видно, не по сердцу.

Ольга Дмитриевна кинулась на шею к дяде и заплакала.

— И, полно, матушка! — сказал Прокудин, улыбаясь.— О чем ты плачешь?

Запольская хотела что-то сказать, но слезы не дали ей вымолвить ни слова.

— Да не бойся, мой друг! Коли Симский тебе не нравится, так бог с ним.

— А разве он что-нибудь вам говорил? — промолвила Ольга Дмитриевна.

— Теперь ничего. Да ведь он уж за тебя сватался.

— Что вы говорите!..

— Да, мой друг. Вот когда ты жила еще у своей тетки, родной его дядя, Данила Никифорович, сам приезжал ко мне сватом, а я как будто бы отгадал, что Симский тебе не по сердцу, и слушать его не стал.

— Ах, дядюшка!..

— Что, племянница?

— Да вы, кажется, смеетесь надо мною.

— И, что ты, матушка!

— Вы говорите, что Симский мне не нравится?

— А как же, Оленька? Когда я уговаривал тебя выйти замуж за Шелешпанского, ты плакала, и теперь также, лишь только я намекнул тебе о Симском...

— Ах, дядюшка! — прервала Запольская, потупив глаза,— да ведь тогда я плакала с горя...

— А теперь с радости? Ага, смиренница, промолвилась!

— С радости!..— повторила Ольга Дмитриевна, и в глазах ее снова блеснули слезы.— Почему знать, может быть, теперь Симский...

— Нет, мой друг, и теперь все то же. Ведь он приехал сюда затем, чтоб выручить из беды твоего мужа...

Да, да, Оленька, Симский думал, что ты давно уже княгиня Шелешпанская, и кабы ты видела, как он обрадовался, когда я сказал, что ты еще не замужем... Ну, да что об этом говорить! Видно, пословица-то недаром: «Суженого конем не объедешь». Прощай, Оленька! Мне пора ехать к Рокотову, а завтра я отправлюсь в Москву, и если Данила Никифорович опять заговорит о своем племяннике, так что ж, матушка... прикажешь ударить по рукам?

— Воля ваша, дядюшка.

— А твоей-то воли нет?

— Ах, какие вы!..

— Ну, добро, добро!.. Прощай, мой друг!

ГЛАВА XIII

— Что ж это Максим-то Петрович не едет? Ведь он сказал тебе, племянник...

— Да, дядюшка, он спросил меня, у вас ли я живу, и сказал, что послезавтра непременно со мной увидится.

— Ну, так и есть! ты был у него третьего дня, и коли он выехал вчера, так должен быть сегодня к обеду. Ты не знаешь, где он остановился?

— Не знаю, дядюшка.

Разумеется, эти вопросы делал Данила Никифорович Загоскин племяннику своему Василию Михайловичу Симскому.

— Коли он приедет сюда с племянницей,— продолжал Данила Никифорович,— так, верно, остановится в доме у сестры, а если один, так, может статься, и ко мне взъедет. Нечего делать, надобно подождать его к обеду. Как ты думаешь, жена?

— Воля твоя, Данила Никифорович,— промолвила Марфа Саввишна.— Только я за гуся не отвечаю: пережарится, батюшка.

— Беда не большая. Мы с Максимом Петровичем люди не привередливые. Ты говорил мне, Василий, что он тебя ласково принял?

— Очень ласково.

— Очень ласково! Да это еще ничего: Максим Петрович человек радушный, ты же приехал к нему с добрым делом; на его месте и всякий обошелся бы с тобою ласково.

— Нет, дядюшка! сначала он был только приветлив со мною, а под конец так меня обласкал, что я и слов не нашел. Уж он хвалил, хвалил меня!.. А как стал прощаться со мною, так назвал другом сердечным.

— Ну, это не дурно. А намекал ли он тебе что-нибудь... знаешь, о том?..

— Как же, дядюшка, и очень намекал...

— И это хорошо! Максим Петрович не скажет слова на ветер,— не такой человек. Да и ты не глупо сделал, племянник: расхвалил русских генералов, а немецкого-то генерала ругнул... Умно, любезный, умно! потешил старика...

— Я говорил это, дядюшка, не ради его потехи: это сущая правда.

— И, Василий! ну хоть бы и душой-то немного покривил, что за беда! Ведь немцам от твоих слов ни хуже, ни лучше не будет, а Максиму Петровичу это как маслом по сердцу!.. Так ты, племянник, хочешь, чтоб я с ним опять речь повел об Ольге Дмитриевне?

— Ах, сделайте милость, дядюшка!

— Ну так и быть, попытаемся еще разок. А ведь обидно будет, коли он и теперь так же заломается...

— Дай-то господи! — прошептала Марфа Саввишна.

— Что, что? — прервал Данила Никифорович.

— Да, государь, не прогневайся! кабы моя воля, так я бы ни за что не благословила Васеньку жениться на этой Запольской.

— Не благословила! А почему бы так, сударыня? Что, она невеста бедная, что ль?

— Нет, батюшка, с достатком.

— Собой, что ль, не хороша?

— И этого сказать нельзя: личико у нее смазливое и по годам она ровня Васеньке.

— Все говорят, что она предобрая.

— И это может быть.

— Так чего ж еще тебе? рожна, что ль, прости господи!

— Эх, Данила Никифорович! да ведь жена должна быть хозяйкой в дому, угождать мужу, заботиться о детях...

— А почему ты думаешь, что Ольга Дмитриевна...

— И, батюшка! чего ждать от такой девицы, которая по немецким ассамблеям ездит, в заморские робронты одевается и пляшет с кем ни попало...

— Так что ж, тетушка,— прервал Симский,— Ольга Дмитриевна человек молодой, почему ей не повеселиться?

— Ох, Васенька! припомни мое слово: сядет тебе это веселье на маковку!

— Добро, добро! — прервал Данила Никифорович,— ты это, Марфа Саввишна, говоришь потому, что сама-то устарела.

— Ах, батюшка, разве я не была так же молода?

— Была, мой друг, да в то время об ассамблеях-то у нас и речи не было и вас всех, моих голубушек, за ключиком держали; а будь-ка ваша воля, так, может статься, и ты бы поехала на вечеринку к немцу Гутфелю.

— Сохрани господи!

— И, Марфа Саввишна! так-то бы поехала да отхватала минавею с каким-нибудь аптекарем!.. Ведь мы все под старость прежние свои грехи забываем. У самих ноги плохо ходят, так и другие не бегай... Э! да вот никак и Максим Петрович въехал на двор... Ну, племянник, коли ты хочешь, чтоб я высватал тебе невесту, так убирайся вон!.. Максим Петрович любит все старинные обычаи, а в старину такие дела при женихе и невесте не делались.

— Постарайтесь, дядюшка!

— Будем стараться, батюшка, а там что бог даст!

Симский вышел вон, а Данила Никифорович пошел навстречу к своему гостю.

— Здравствуй, старый друг! — сказал Прокудин, обнимая Загоскина.— Давно мы с тобой не видались.

— Давно, Максим Петрович.

— Марфа Саввишна!.. Как, матушка, ваше здоровье?

— Слава богу, Максим Петрович, господь грехам терпит! — молвила очень сухо Марфа Саввишна, выходя вон из комнаты.

— Я, Данила Никифорович, и с тобой хотел повидаться,— сказал Прокудин, садясь,— а коли правду молвить, так сегодня приехал не к тебе, а к твоему племяннику.

— Все равно, любезный, мы с ним не делимся.

— Мне хотелось еще раз сказать спасибо Василию Михайловичу за то, что он не дал мошеннику Обинякову ограбить князя Шелешпанского. Ты ведь, чай, об этом знаешь?

— Да! Василий мне сказывал.

— Ну, Данила Никифорович, можешь ты похвастаться своим племянником: вот уж подлинно честный малый!..

— Да и как быть иначе, Максим Петрович: его покойные родители были истинно честные и благочестивые люди, а ведь ты, чай, знаешь пословицу: «Недалеко яблочко от яблоньки падает».

— Так, так! Да как он это из-под турка-то к тебе приехал? В побывку, что ль, отпустили?

— Нет, Максим Петрович: государь Петр Алексеевич прислал его сюда гонцом.

— Вот что!

— Он привез Сенату указ от его царского величества.

— Указ! о чем?

— А вот, изволишь видеть... Э! да кстати, помнишь, мы с тобой спорили,— я говорил, что наш батюшка Петр Алексеевич паче всего любит и бережет свою святую Русь, а ты стоял в том, что он любит не свой православный народ, а немцев, голландцев и всяких других иноземцев.

— Помню, Данила Никифорович, помню! Что делать, грешный человек, я и теперь то же думаю.

— И думаешь это потому, что государь жалует заморские обычаи, хочет, чтоб мы все одевались по-иноземному, и подписывается иногда не Петром, а Питером?

— Да разве этого мало?

— Погоди, любезный, погоди, выслушай меня!.. Вот, примером сказать, если б какой-нибудь царь вел войну и ему бы не посчастливилось: войско его разбили, а его самого захватили в полон — как ты думаешь, что бы он написал своему народу?

— Вестимо дело: он написал бы, чтоб его как-нибудь выручили, а коли насилу взять нельзя, так выкуп дали.

— Выкуп! да ведь за царя-то, пожалуй, и полцарства попросят, всю землю разорят...

— Что ж делать, любезный! Коли уж такой грех приключился, так жалеть нечего — все отдавай!

— Ну, а коли этот царь напишет своему народу: если вы узнаете, что я попал в плен, сиречь нахожусь в неволе, так вы уж не должны почитать меня своим царем и государем и никаких указов моих не исполнять. Пусть, дескать, я пропаду, да вы-то останетесь целы.

— Что ты это говоришь? Да неужели государь Петр Алексеевич...

— На вот, прочти!

— Да это что такое?

— Список с того указа, который привез сюда племянник.

— Господи боже мой! — вскричал Прокудин, прочтя указ.— Ну!!!

— Что, любезный, кто из нас прав?

— Ты, Данила Никифорович, ты!.. Ах я окаянный ропотник!.. И я мог говорить, что государь Петр Алексеевич променял свой народ на немцев, что он вовсе о нас не думает, а он, кормилец наш, себя не пожалел для своего царства!.. Ну, правду ты мне говорил, Данила Никифорович, господь послал нам такого царя, какого до сих пор еще нигде не бывало.

— Что, Максим Петрович, будешь ли теперь гневаться на меня, что я, в угоду такому великому государю, немецкое платье на себя надел?

— Куда мне гневаться, Данила Никифорович! да мне стыдно теперь на тебя смотреть.

— То-то же, любезный!.. А что, друг сердечный, если б государь сам лично тебе сказал: «Послушай, голубчик Максим Петрович, потешь меня, отмахни себе бороду»?

— Эх, полно, Данила Никифорович, не искушай!.. Да и на что ему моя седая борода? Я прожил с нею весь мой век, так пусть она при мне и в могиле останется!.. А коли я ему, отцу нашему, на что-нибудь надобен,— прикажи только, так я, вместе с моей бородою, и голову за него положу!.. Так вот какой указ привез твой племянник?

— Да, Максим Петрович. И знаешь ли что? Ведь он сам напросился ехать гонцом в Москву, а это было все равно что идти на явную смерть.

— Как так?

— Да разве ты не слышал, что турки-то все наше войско кругом обложили и проезду никому не было?

— Так как же он проехал?

— А вот так же, как русские люди по вешнему ледку переходят: девятеро пойдут ко дну, а десятый кой-как доберется до другого берега.

— Так что ж ему за охота была напрашиваться?

— Что за охота! Так ты не знаешь племянника? Он у меня такой молодец, что и сказать нельзя,— вся рус-

ская отвага! И хоть он в немецком платье ходит, а удали-то в нем на десятерых немцев станет. Мало ли что с ним было: попался было в полон к туркам, голову ему срубить хотели, а все-таки господь помиловал, и сам остался невредим, и царский указ сберег.

— Да, нечего сказать, молодец!

— Вот то-то же, Максим Петрович, ты сам изволишь говорить, что он и честный малый и молодец, а все-таки обраковал его.

— Да у меня тогда, любезный, не то в голове было, и его-то я вовсе не знал.

— А теперь?

— Теперь иная речь, Данила Никифорович! Теперь об этом можно поговорить.

— А коли так, Максим Петрович, так позволь мне вторично сказать тебе, что я и моя Марфа Саввишна имеем великое желание породниться с тобою.

— И я также, любезный друг, не прочь от этого. Дай время подумать, поразмыслить...

— Да что тут размышлять? Коли мой племянник тебе по сердцу...

— Кто говорит: он молодец прекрасный, да и немцев-то не так любит, как я прежде думал.

— Кто? Василий? С чего ты взял, что он любит немцев? Ведь это так, любезный, знаешь, этак — щегольство: «Мы, дескать, люди петербургские, так у нас все на немецкую стать!..» А попытайся кто-нибудь сказать при нем непригожее слово о нашей матушке святой Руси, так он на нож полезет!.. Ну что ж, друг сердечный, пореши чем-нибудь!

— Экий ты проворный... пореши! Да ведь это не что другое... Иль, по-твоему, невеста в самом деле товар, а жених купец?

— А, понимаю!.. Ты хочешь прежде посоветоваться с Ольгой Дмитриевной?

— Ну, вот еще!.. Ее дело девичье, стану я с ней об этом говорить!

— Так что ж тебе за охота понапрасну меня маять? Ведь уж мы оба с тобой каждый денек считаем, и коли господь посылает радость, так откладывать нечего.

— Правда, Данила Никифорович, правда!

— А коли правда, так о чем и думать?.. Что ж, Максим Петрович, по рукам, что ль?

— Ну, по рукам так по рукам!

Прокудин и Загоскин обнялись.

— Поздравляю тебя, любезный сват, с племянником! — сказал Данила Никифорович.

— А тебя, друг сердечный, и сватью с племянницей!

— Ну что, Максим Петрович, не прикажешь ли теперь позвать жениха?

— Зачем? Это дело между нами: чай, ты не станешь спрашивать у твоего племянника, хочет ли он жениться на моей племяннице?

— И то правда! я ведь ему вместо отца родного, так он должен во всем меня слушаться. Я ему скажу просто: «Племянник, мы ударили по рукам с Максимом Петровичем: он выдает за тебя свою племянницу; так хочешь или нет, а прошу идти с нею под венец!» Так ли?

— Так, так! И я то же скажу племяннице.

— Конечно, конечно! Их дело сторона.

— Они знай только под венцом стоять, а свадьбу уладить наше дело. Так ли, Данила Никифорович?

— Так, Максим Петрович, так! станем мы их спрашивать!..

— Вот еще!.. Делай что велят... Да что ж ты этак глазами-то поводишь, Данила Никифорович?

— А ты что ухмыляешься, Максим Петрович?

Оба старика взглянули друг на друга и засмеялись.

— Эх, любезный сват,— сказал Прокудин,— что нам друг друга морочить? видно, что было, того не вернешь. Да хоть свадьбу-то справим по старине, в этом нам никто не указ.

— Изволь, друг сердечный, только, пожалуйста, не откладывай.

— Чего откладывать! уж скоро Успенский пост. Милости прошу ко мне с женихом и со всем поездом в село Вздвиженское, на будущей неделе во вторник.

— Будем, Максим Петрович, будем!

— Да скажи Василию Михайловичу, что он увидит свою невесту только тогда, когда она будет Ольгой Дмитриевной Симскою. Чай, у них в Питере этого не водится, да ведь мы люди не петербургские. Э! да, пожалуйста, любезный, пригласи на свадьбу господина Мамонова. Кабы не он, дай бог ему здоровья!.. Да что об этом говорить: помиловал господь и меня и племянницу... А! да вот и Марфа Саввишна!

— Жена,— сказал Загоскин,— мы сейчас покончили с Максимом Петровичем: он выдает за Василия свою племянницу, Ольгу Дмитриевну; на будущей неделе

свадьба... Ну, что ж ты стоишь? Поцелуйся с нашим дорогим сватом!

Марфа Саввишна поцеловалась молча с гостем.

— Прошу меня любить и жаловать,— молвил Прокудин,— и не оставлять вашею милостью мою Оленьку!

— Помилуйте, Максим Петрович,— проговорила наконец Марфа Саввишна,— родня всегда родня. Жаль только, что я уж стара и хила стала, батюшка. Что делать! не могу во всем заменить ее тетушку Аграфену Петровну, та, бывало, с ней по ассамблеям ездит...

— А вы, матушка, приучите племянницу хозяйничать, заниматься домашними делами: ведь ей стоит только у вас перенимать!

— И, батюшка: ученого учить — лишь только портить!

— Хорошо, хорошо! — прервал Данила Никифорович, которому этот разговор начинал не нравиться.— Вели-ка, Марфа Саввишна, закуску подавать. Да милости просим, дорогой сват, чем бог послал!

— Благодарю покорно! я уж обедал.

— Где?

— У сестры Аграфены Петровны.

— Как, да разве она приехала?

— Вчера поутру. Азов сдают опять туркам, так и муж ее скоро вернется в Москву. Прощай, сват! — продолжал Прокудин, вставая.— Поеду отдохнуть немного, а там и домой.

— Так ты здесь и дня не пробудешь?

— Когда теперь! Надо о свадьбе подумать. Ведь это дело не шуточное, около пальца не обведешь. До свиданья! жду вас, любезные сваты, во вторник.

— Будем, будем, Максим Петрович! — сказал Загоскин, провожая своего гостя.— Ну что, жена,— спросил он, воротясь в гостиную,— каково я делом-то повернул, а?

— Ух, батюшки,— промолвила Марфа Саввишна,— отлегло от сердца!

— А, то-то же! только что говорила, а небось теперь сама радехонька!

— Слава тебе господи! то-то бы срам был!

— Срам не срам, а нечего сказать,— обидно бы было.

— Ну, кабы Максим Петрович остался обедать!..

— Так что ж?

— Как что? ведь я тебе говорила, батюшка: гусь пе-

режарился, похлебка простыла, а пирог так подгорел, что стыдно на стол поставить.

— Вот о чем толкует!.. Пойдем-ка обедать да вели позвать нашего затворника — чай, он теперь ни жив ни мертв. Вот мы с ним на радости выпьем по чарочке да закусим твоим подгорелым пирогом!

Через несколько дней в селе Вздвиженском повторилось опять то же самое, о чем я рассказывал вам, любезные читатели, во второй главе этой части моего рассказа, с тою только разницею, что после девишника на другой день была свадьба и что на этот раз все без исключения были счастливы и довольны... Ах, нет! ошибся. Помните вы старуху Потапьевну, которая шуняла солодую бабу за то, что она не плакала на своем девишнике? Эта старуха осталась очень недовольною. Во время девишника она смотрела в окна и, к крайнему своему прискорбию, заметила, что ненаглядное ее солнышко, боярышня Ольга Дмитриевна, не только не плакала, но беспрестанно улыбалась и была так весела, как будто бы не ее замуж выдавали.

— Ох, худо! — говорила она.— Не плачет теперь, так наплачется вдоволь замужем!

Я думаю, вовсе не нужно вам сказывать, любезные читатели, что это пророчество не сбылось.

Разумеется, Рокотов не был на свадьбе и поссорился с Шетневым за то, что он не отказался от приглашения. Года через три Лаврентий Никитич умер преспокойно на своей постели. Вероятно, он кончил бы свою жизнь совсем другим образом, если бы времена смут и мятежей не прошли безвозвратно. По смерти его Шетнев оделся в немецкое платье, но это ему не пошло впрок: он не получил места, для которого принес в жертву свою великолепную окладистую бороду. Впрочем, Шетнев перенес эту невзгоду гораздо великодушнее, чем Ардалион Михайлович Обиняков, у которого четыре тысячи душ... «по усам текло, да в рот не попало». Отправясь с командою, чтоб захватить князя Шелешпанского, Обиняков начал мечтать о будущем своем барском быте. «Шелешпанский глуп,— думал он,— и коли он получал до осьми тысяч рублей с своих четырех тысяч душ, так я получу вдвое. Построю себе на Ильинке каменные палаты, заживу барином и не стану ни перед кем шапки ломать!» Представьте же себе его ужас, когда он не нашел никого на хуторе и узнал, что князь Шелешпанский поехал в Москву явить-

ся Мамонову. Эта неудача, которой он никак не мог предвидеть, до того его поразила, что он слег в постель; потом стал попивать с горя, начал заговариваться и кончил тем, что сошел с ума,— разумеется, на том, что у него четыре тысячи душ крестьян и огромные каменные палаты на Ильинке.

Предсказание Мамонова сбылось: военная служба принесла большую пользу князю Шелешпанскому. Конечно, он не поумнел, но зато из неуклюжего увальня сделался таким расторопным молодцом, что через два года махнул из рядовых прямехонько в сержанты.

Может быть, вы желаете знать, любезные читатели, что сделалось с молдаванскою куконою, Смарагдою Хереско? В таком случае, я прошу вас прочесть следующее письмо Андрея Степановича Мамонова, который, года два спустя после свадьбы Симского, был откомандирован по делам службы в Киев.

«Любезный друг Василий Михайлович!

Не удивись, что я пишу к тебе такое длинное письмо. Я знаю, что ты меня любишь, так, верно, с истинною сатисфакциею узнаешь, что твой друг и сослуживец помолвлен. Я пишу к тебе одному об этом, а ты потрудись уведомить всех общих наших приятелей, а к отсутствующим напиши универсалы,— пусть все знают, что я счастлив! Но я еще не сказал тебе, кто эта персона, которая в столь короткое время успела меня совершенно заполонить. Да вот, постой, я расскажу тебе все по порядку. Приехав в Киев, я недели три прожил совершенным сиротою. Первое мое знакомство было с отставным полковником Артамоном Никитичем Голушкою. Он живет безвыездно в Киеве, потому что все его отчины в Чигиринском повете, по Днепру. Жена его природная молдаванка, женщина без большой эдюкации, но очень ласковая и обходительная. У нее гостит родная сестра ее, молодая и богатая вдова, Смарагда Хереско. В жизнь мою я не видывал такой красавицы. Представь себе... да ты не поймешь меня! Ты, любезный друг, живешь теперь почти всегда в Москве, так, уж верно, стал человеком старозаветным; чай, по-твоему, та только и хороша, про которую можно спеть:

Круглолица,
Белолица,
Красная девица,

А моя невеста смугла, бледна, и лицо у нее продолговатое. Для тебя, чай, краше нет твоей Ольги Дмитриевны. Кто и говорит: она, конечно, пригожа, да это все не то. Как бы тебе сказать? Ну, вот, примером, твоя Ольга Дмитриевна хороша, как прекрасное весеннее утро, а моя Смарагда — как жаркий ясный полдень. Голубые глаза твоей жены тихи и спокойны, как светлый месяц на чистых небесах, а черные очи моей молдаванки вот так и жгут, как летнее солнышко. Надобно тебе сказать, что у нее был жених, какой-то боярин Паладн; его убили турки, и она, из любви к покойнику, дала обещание не выходить никогда замуж. Много у нее было женихов в Киеве, да все они как не солоно хлебали! Лишь только кто посватается, так и ворота на запор. Иной не мог даже добиться того, чтоб она с ним словечко перемолвила. Со мной обошлась она гораздо ласковее, чем с другими, и знаешь ли почему? Ты век не отгадаешь. Она любит без памяти Преображенский полк, в котором мы с тобою служим. Ты спросишь: за что? а бог весть! Я думаю, так! женский каприз. В первый раз, как она со мною об этом говорила, так расспрашивала, как зовут моих товарищей и кто из них женат. Ну, разумеется, в числе женатых я назвал и тебя, рассказал ей, как ты был влюблен в Ольгу Дмитриевну, как ее хотели выдать замуж за князя Шелешпанского, а выдали наконец за тебя. Вот этак недельки через две я начал ей говорить обиняками, пытался завести амурную речь — не тут-то было, и слушать не хочет! Что, брат Василий, тебе, как другу сердечному, скажу всю правду! Не прошло месяца, как я исхудал так, что на себя не стал походить. Сна нет, еда на ум нейдет, только и думаю что о ней! А она все та же — ни лучше, ни хуже. Однажды поутру пришел ко мне жид с разными товарами: с колечками, сережками, запонками; в числе этих вещей был у него золотой крест с молдаванскою надписью, который, по его словам, достался ему от какого-то турка. Он уступил мне этот крест очень дешево, и я в тот же день повез его показать Смарагде. Ты не можешь себе представить, что с ней сделалось, когда она его увидела. Я думал, что моя молдаванка с ума сошла: уж она его целовала, целовала, прижимала к груди! Разумеется, я стал просить позволения благословить ее этим крестом. Сначала она как будто позамялась, подумала минутки две, а там взяла его да так на меня взглянула, что я совершенно ожил. С этой поры

пошло все лучше да лучше, и вот теперь она моя невеста. Я было, любезный друг, сначала и возгордился. Думаю про себя: ну, видно, я молодец не дюжинный и знаю, как с женщинами обходиться, когда такая непобедимая фортеция сдалась мне на дискрецию! Только вчера моя Смарагдушка спеси-то во мне поубавила. Она была со мною очень ласкова, приголубила меня да вдруг и говорит: «Хорош ты и пригож, мой суженый, а всего-то для меня милее то, что ты носишь преображенский мундир».— «А если б я служил в Семеновском полку?» — спросил я шутя. «Так вряд ли была бы я твоей невестою»,— промолвила с улыбкою Смарагда. «Да разве ты любишь не меня, а мой мундир?» — сказал я. «О, нет,— отвечала Смарагда,— теперь я и тебя люблю — ведь ты мой жених!» И тебя!! Вот, толкуй после этого! Подумаешь, как женщины-то причудливы! Ну, скажи сам, Василий Михайлович,— чем наш преображенский мундир красивее семеновского?

Прощай, друг сердечный! Поклонись от меня своей барыне и коли встретишь где-нибудь Федосью Игнатьевну Перепекину, так скажи ей, чтоб она обо мне не хлопотала. Он, дескать, нашел уж себе невесту».

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Расстался я надолго с вами,
Брега священные Невы!
Уже исчезли пред глазами,
Среди туманной синевы,
Небес Петрополя унылых
Последние главы церквей.
И я как вихрь лечу, друзей оставя милых,
На тройке удалых коней,
И в первый раз, живя досель с весельем в дружбе,
Узнал я горе не шутя.
А ты, товарищ мой по чувствам и по службе,
Бессмертных дев любимое дитя.
О Гнедич, может быть, с тобою
Навек, мой друг, простился я!
Увы! Сей грустною мечтою
Полна теперь душа моя!
Кто знает, что в своем совете
Творец небесный мне предрек?
Слепые смертные на этом жалком свете,
Играем в жмурки мы весь век!
Грядущего никто не знает —
Оно сокрыто от людей:
Таясь во мраке, как злодей,
Судьба удар свой совершает.
Сегодня я здоров, а завтра бил мой час!
И часто, может быть, забыв, о друг мой милый,
Что жизнь зависит не от нас,
Мы пляшем над своей могилой!

Так думал я, и дух невольно унывал,
Предчувствием во мне таинственным смущенный;
Казалось мне, что я, на скорби обреченный,
И счастье и друзей навеки покидал.
Далёко уж за мной роскошная столица;
И я, сквозь легкий сон, закутавшись в шинель,
Мечтаю о тебе, о севера царица,
О юных дней моя вторая колыбель!
В тебе я начал жить, в тебе я встретил друга;
В тебе я в первый раз знаком с любовью стал
И счастие в тебе ж семейственно познал,
Название приняв священное супруга.
Ты скрылася, но мне осталися мечты:
Средь их ищу я утешенья.
И вдруг, о чудо воображенья!
Моим глазам явилась снова ты.
В тебе опять с друзьями я встречаюсь,
Иду опять бродить по улицам твоим;
Любуюсь снова всем и молча восхищаюсь
Или спешу с утра к занятиям моим
И, свой окончив труд, народное теченье
Иду смотреть на Невский тротуар.
Какая пестрота и чудное смешенье!
Тут вижу персиян, бухарцев и татар,
Французов ветреных и англичан степенных;
Там храбры воины, отечества сыны,
В одеждах, златом испещренных,
И мирный квакер здесь, не знающий войны.
Или окрестности градские посещаю.
Вот в Царском я Селе, в волшебных сих местах,
Где всякий раз певца Торквато вспоминаю,
Мечтая быть в его Армидиных садах.
Иль, в шумном жить наскуча в мире,
Я мыслями лечу в унылый Петергоф,
И там на берегу морском я в Монплезире,
Дремлю под шум седых валов,
Гляжу, как бледная Геката
Верхи дерев сребрит в саду.
Или, в час солнечна заката,
В обитель Невскую иду;
Люблю смотреть я там на чудное сближенье
Предметов двух, столь разных меж собой.
Вот здесь в моих глазах, теряясь в отдаленье,
Та улица, куда веселою толпой
Стремятся все, где роскошью все дышит,

Где пышность дивную — причудницу творца
Волшебное перо едва ли нам опишет,
Где вечной суете и шуму нет конца,
Где все сулит нам век счастливый
Среди приятных жизни снов!
И что ж в конце сей гордой перспективы?
Жилище смерти, ряд гробов!
Невольно здесь душой я возвышаюсь,
Мирскую суету ничтожность всю узрев.
Но день уже протек; я дале отправляюсь,
С холодным чувством осмотрев
Умерших пышные могилы,
Предмет тщеславия и роскоши живых.
Теперь я на мосту, склонившись на перилы,
Встречаю сумерки. Вот шум градской затих:
Вечерние мольбы уж кончились во храмах,
И я смотрю, ночной любуясь тишиной,
Как светится Нева в своих прозрачных рамах,
Чуть-чуть волнуяся, течет передо мной:
Луна и ряд планет, как будто бы в картине,
На гладком зеркале ее прозрачных вод.
«Давно ль,— подумал я,— в ужасной здесь пустыне
Лишь ветер выл? Теперь кишит везде народ.
Давно ли здесь, среди болот, лесов дремучих,
Не смел и дикий зверь прокладывать следа?
Явился град Петров, краса царей могучих,
Прошли немногие года,
И слава уж его вселенну наполняет!
О русский царь, ты был воистину велик!
Ты восхотел — и флот твой море покрывает;
Сказал — и новый Рим на севере возник!»
Вот так-то, милый друг, мечтою обольщенный,
На краткий миг я горе забывал.
«О, если б,— я сказал,— восторгом увлеченный,
Небес священный дар, тобой я обладал!
Когда б я мог, певец Омирова рожденья,
Вослед тебе, на лире золотой,
Воспеть душевны наслажденья,
Беседы все с волшебною мечтой;
Когда бы мог...» Но вдруг, незнаемый дотоле,
По членам трепет пробежал;
Уста сомкнулись поневоле,
В груди священный огнь вспылал;
Все стало для меня приятней:
Свежее зелень на лугах,

И воздух чистый ароматней,
И тень прохладнее в лесах;
Всей, всей природы обновленной
Казался мне прелестней вид!
О, радость... наконец, восторгом упоенный,
Познал я в первый раз бессмертных Пиерид;
Познал небесно наслажденье,
Поэтов счастливых кумир,
Тебя, святое вдохновенье!
И новым озарилась светом
Моя душа и друг твой стал поэтом!

АВТОРСКАЯ КЛЯТВА

Как часто я слыхал, что главный наш порок —
Любовны клятвы все и нежны уверенья
Писать лишь на песке: повеет ветерок,
И мигом страстные исчезнут выраженья,
А с ними и любовь. Так точно иногда
Поэт, обиженный судом несправедливым,
Клянется с музами расстаться навсегда,
Навек прости сказать мечтам любимым,
И, чтоб верней свой выполнить обет,
Об этом он друзьям в посланье объявляет,
И, разругав путем коварный злобный свет,
Стихов он не писать... стихами обещает.
Что эту истину не трудно доказать,
В том спора нет нимало,
Лишь только б в вас, друзья, терпения достало
То выслушать, что вам хочу я рассказать.
Однажды в скуке я (тому назад неделю)
Дремал у камелька, десятый час пробил,
И я сбирался на постелю,
Как вдруг вбежал ко мне Людмил,
Старинный мой приятель,
Изрядный малый и с умом!
А ремеслом
Комический писатель.
«Что вижу,— я вскричал,— ты бледен и смущен!
Взглянувши на тебя, нельзя не испугаться».—
«Ах, дай прийти в себя и с мыслями собраться:
Я так замучен, разбешен!» —
«Да сказывай скорей, что сделалось с тобою?» —
«Ничтожный вздор; к чему рассказывать его?
Я только в дураках — и больше ничего! —

Осмеян, посрамлен — и сам тому виною!
Какой нечистый дух...» — «Да полно, не тужи!
Садись-ка лучше здесь — и все мне расскажи!» —
«Ты хочешь знать?» — «Весьма желаю».—
«Так слушай же, мой друг, и смейся надо мной!
От Вельского вчера письмо я получаю,
В котором просит он — любовию одной
К моим талантам побужденный —
Прочесть в кругу его лишь искренних друзей
Мой новый труд и что, заране восхищенный,
Творца он завтра ждет с супругою своей.
Попутал грех меня: подумал, соблазнился
И, давши мой ответ на сей проклятый зов,
Сегодня вечером я ровно в семь часов
С пиесою моей у Вельского явился.
Вхожу — и что ж? Полна гостиная людей.
«Кой черт,— подумал я, поклоны раздавая,—
Как много искренних у Вельского друзей!»
Меж тем хозяйка пожилая,
Известная своим умом,
Ужасно суетилась
Вокруг стола, покрытого сукном.
И вот толпа гостей по креслам разместилась,
Умолкли все — и начал я читать.
Увы! Язык гостей не долго был спокоен!
Чтоб тонкий вкус вполне свой оказать,
Знаток прямой ничем не должен быть доволен.
Хвалить! И кстати ли себя унизить так,
Хвалить ведь может и дурак;
Но тот, кто смело все бранит и осуждает,
Уж верно умница и все на свете знает.
Едва лишь первый акт окончить я успел,
Как вдруг один, словесности любитель,
Известный меценат, талантов покровитель,
Своим блеснуть умом и вкусом захотел.
Окинув взором всех надменно,
«Я вам,— сказал он мне,— признаюсь откровенно,
Что экспозиция ужасно не ловка».—
«Быть может, что долга?» — «О нет! Ее бы можно
Еще порастянуть».— «Что, вижу, коротка?» —
«И этого в ней нет, признаться должно».—
«Скучна?» — «Нимало, нет!» — «Так, видно,
не верна,
Фальшива, сбивчива?» — «О нет, совсем другое!
И лучше б быть могла, конечно, вдвое...» —

«Позвольте мне сказать,— пристала тут одна
Премудрая жена,
Которая везде по городу считалась
Игрицей первою в бостон и модный вист,—
Мне кажется, у вас язык не очень чист:
Я это замечать, по чести, не старалась,
Но, признаюсь, мой слух давно уже отвык
От всех тяжелых выражений.
В комедии у вас слуга совсем мужик,
Везде он говорит без всяких украшений
Таким преподлым языком;
Признайтесь сами в том!
Ведь я не вовсе виновата,
И если критика вам кажется строга...» —
«Помилуйте! Да он не принц — простой слуга!» —
«Так что ж, не важная утрата —
Могли б и выкинуть его!
А впрочем,— знаете ль, прочтите Мариво!
Вот истинный талант — везде в нем превосходство!
Какой прелестный тон, какое благородство!
Служанка, госпожа, лакей и господин».—
«А я совсем не то заметить вам желаю,—
Прервал с улыбкою и нюхая табак
Мудрец, которого назло везде встречаю,
Педант несносный и чудак,—
Искусством вы меня своим не обманули:
Сюжет в Теренции вы точно почерпнули».—
«В Теренции?» — «Ну да! Я вздора не скажу:
Поверьте, сходство есть большое;
Вы спросите, какое? —
Постойте, докажу:
У вас...» — «Нет сил терпеть,— хозяйка
закричала,—
Вы только спорите, а время все идет!» —
«Позвольте доказать!» — «Нет, нет! уж я устала,
И этот долгий спор тоску лишь наведет.
Прошу вас, продолжайте!
Успеем, может быть... Ахти, десятый час!
Что, если б вы... иль нет, послушайте, для вас,
Конечно, все равно, вы все-таки читайте,
А я меж тем могу гостей занять в бостон!»
Хотя терпеньем я изрядным одарен,
Однако ж, черт возьми, всему ведь есть граница:
Я вышел из себя, вскочил, схватил тетрадь —
И прежде, чем могла проклятая игрица

Опомниться путем, ударился бежать,
Кой-как до улицы добрался;
Забывши о гостях, не помня о себе,
Прыгну́л в карету и помчался
Прямехонько к тебе.
И вот, мой милый друг, судьи, которых мненья,
Везде всеобщего достойные презренья,
Оракулом, законом чтут,
Которые, к стыду нас всех, признаться должно,
Хваля без толку все иль все браня безбожно,
Бесславие и славу раздают!
И после этого за славою гоняйся!
Забудь веселье и покой.
Пиши комедии — будь мученик — старайся,
Но льстить себя не смей наградой никакой!
Читать в домах — беда! Отдать играть — другая;
Да что и говорить, скажу без дальних слов:
Театр, где царствует посредственность златая,
Страшнее для меня и самых знатоков.
У нас хоть не пройдет без новости недели,
Зато уж ничего, не езди под качели,
Играют мастерски — ну, любо посмотреть!
А если примутся артисты наши петь
Иль станут в опере при всех менять кулисы,
То вон беги!
И, словом, от царя до самого слуги
Певицы и певцы, актеры и актрисы,
И даже самая суфлера западня
Терзает все и мучит лишь меня.
Нет, кончено! Писать я больше не намерен,
Клянусь — и клятве сей, конечно, буду верен!
Да, да, мой друг! Клянусь... а жаль! Ведь есть сюжет,
И если б только я решиться мог... да нет!
Все кончено!.. А план и сцены уж готовы —
Придумал и конец,
И все характеры так новы!
Прекрасный резонер — чувствительный отец;
Контрасты резкие — с природы, а не с сказки!
Тут будет все: и плут, и честный человек,
Интрига чудная... а веселей развязки
Нельзя придумать ввек,
И интересных сцен, конечно, будет с двадцать!
Да впрочем... почему ж... ага, уж бьет двенадцать!
Пора домой!» — «Так ты решился не шутя?» —
«Прощай!» — «Да погоди, карета не готова!»

Но мой Людмил в ответ ни слова;
Поклон и, шляпу ухватя,
Отправился домой. Домой? Конечно, спать?
Ах, нет, мои друзья: комедию писать!

ВЫБОР ЖЕНЫ

В дурачествах своих нам трудно сознаваться:
Мы все помешаны на том,
Что сами никогда ни в чем
Не можем ошибаться.
Причиной неудач, всех горестей и бед —
Иль случай, иль судьба, иль что-нибудь другое,
Но только уж не мы. Один несчастье злое
Клянет, с дурной игрой поставивши лабет;
Другой, хотя блеснуть с умеренным доходом,
Вступает с богачом в неравную борьбу
И после, не сведя никак приход с расходом,
Винит во всем жестокую судьбу,
Как будто бы она и в том уж виновата,
Что бедный человек не должен жить богато,
А с взяткою одной бостон нельзя играть.
Но чтобы вы, друзья, не начали дремать
От сих преважных поучений,
Не лучше ль мне наместо рассуждений
От скуки вам кой-что порассказать?
Сюда, друзья, в кружок — я сказку начинаю;
В одной из двух столиц,— а точно где, не знаю,
Положим, что в Москве — для сказки все равно,—
Тому назад не так чтобы давно,
Среди веселья жил счастливец,
Фортуны баловень, по имени Клеон.
И подлинно был счастлив он:
Красот московских всех любимец,
Душа их общества и зависти предмет;
Все маменьки его ласкали
И часто дружеский совет
Без умысла ему давали
(Хваля своих любезных дочерей)
Жениться поскорей.
И после этого — кому поверить можно —
Счастливец сей, признаться должно,
Природой был не слишком одарен:
Красавцем он не мог назваться,
Отлично не был и умен,

И даже — я стыжусь по чести вам признаться, —
И даже не умел в мазурке рисоваться,
А несмотря на то, как будто б наподряд,
Невесты скромные его ловили взгляд.
За что, вы спросите, Клеона уважали?
Хотите знать? Он был... я вижу — отгадали!
Да, да, друзья, он был богат.
Но участью своей кто в мире сем доволен?
Клеон вдруг сделался задумчив, беспокоен;
Стал редко ездить со двора,
Вздыхать, грустить, томиться,
Иль, попросту сказать, ему пришла пора жениться.
Поверьте, в тридцать лет приятней жить вдвоем!
Итак, счастливец наш, обдумав все путем,
Решился общему последовать закону
И, чтоб сомненья все вернее истребить,
Отправился тотчас к приятелю Честону
И так с ним начал говорить:
«Жениться никогда, мой друг, шутить не должно!
Уж надо поступать отменно осторожно:
Ты опытен и знаешь свет,
Так в этом можешь дать полезный мне совет!
Из всех невест я двух сестер предпочитаю;
Послушай, я тебе точь-в-точь их опишу:
Знать мнение твое, Честон, весьма желаю,
Но только, милый друг, быть искренним прошу!
Они фамилии не знатной, но известной:
Аглая, старшая сестра, тиха, скромна,
Имеет нрав прелестный
И даже, говорят, умна,
Но только утверждать я этого не смею:
С тех пор, как езжу я к ним в дом,
Едва ли удалось, как помнится, о том
Сказать слов шесть мне с нею,
Что время скверное и дождь идет с утра.
Какая разница, мой друг, ее сестра!
Представь себе, Честон, Киприду для примера:
Как слабо и тогда сравнение твое!
Нет, нет! Эмилия, конечно, не Венера,
А лучше во сто раз ее!
Остра, умна, талантов бездна,
А как ловка, мила, любезна!
Пускай иной в ней слабости найдет:
Она, не спорю я, как будто бы спесива,

Немножко ветрена, немножко прихотлива,
Да только вот беда: все это к ней идет;
Насмешлива — нельзя и в этом не признаться,
И если уж над кем она шутить начнет,
То мертвого заставит рассмеяться!» —
«Все это хорошо, да только не в жене —
Ведь сердцу доброму таланты не замена!
Поверь, Клеон, как другу, мне:
Коварство, злоба и измена
Всегда насмешников удел!» —
«И, милый друг, ну что за преступленье!
Как будто бы грешно
Над тем смеяться, что смешно?
Да где же взять терпенья
С глупцом без смеха говорить?
Притом же — с клятвою могу я утвердить —
Чувствительней ее не может быть;
Она добрее, чем Аглая:
Та любит лишь людей,
А эта даже и зверей.
Эмилия на днях, лишившись попугая,
Почти иссохла от тоски...
Нет, нет, мой друг, она совсем не злоречива,
А любит изредка глупцам давать щелчки!
Сестра ж ее уж слишком молчалива.
Ты скажешь, что она скромна.
Что ж толку в том? Зато ведь вовсе не видна;
А я хочу, чтобы жена моя блистала,
Чтоб свет не только красотой —
Талантами, умом и всем обворожала,
Чтоб праздник тот считался за пустой,
Который ей самой украсить не угодно.
А если ж вздумаю явиться всенародно,
Пущусь в собранье с ней...
Какое торжество! Среди толпы людей,
В глазах у всех она как грация танцует;
Не только что умы — сердца у всех волнует:
Того-то и хочу.
Все вкруг нее теснятся,
Все ахают, дивятся.
А я — стою спокойно и молчу;
Гляжу на всех с улыбкой сожаленья
И думаю: «Ей дань платите удивленья,
А мне — завидуйте, друзья!»
И вот уж шепчут, слышу я:

«Вот муж ее, вот он»,— и вкруг меня народу
Ужасная толпа, и мне уж нет проходу!» —
«Умерь его, мой друг,— сказал Честон, вставая,—
И выслушай совет — я в двух словах скажу:
Супругой доброй быть способнее Аглая.
Поверь, блистать всю жизнь не может человек —
С женою жить не год, не два, а целый век.
Теперь прощай,— в деревню еду,
Мне хочется поспеть на станцию к обеду;
Смотри ж, Клеон, держи совет мой в голове!»
Простился; а Клеон подумать обещался...
И на Эмилии спустя недели две
С большим парадом обвенчался.
Три года минуло, и вот опять Честон
В столицу возвратился;
Оправиться едва успел с дороги он
И тот же час к приятелю пустился.
«Ну вот, Клеон, опять в Москве я наконец;
Куда, мой друг, давно с тобой мы не видались!
Ты был жених, когда расстались,
Теперь любовник, муж и счастливый отец...
Но ты нахмурил лоб, молчишь, не отвечаешь?
Какой ужасный взгляд — ты стал совсем другим,
Тебя, по чести, не узнаешь!
Давно ли чудаком ты сделался таким?» —
«Давно ль? С тобой на что таиться...
С тех пор, как за грехи задумал я жениться!» —
«Возможно ли, Клеон? Да разве уж жена
Твоя в собраньях не блистает?» —
«По-прежнему всегда окружена
И всех собой обворожает».—
«Талантов, что ль, убавилось число?» —
«О нет... ведь нравиться желанье не прошло:
В мазурке и пенье она весьма успела!» —
«Так что ж? Неужели богиня подурнела?» —
«Богиня, скажешь, красоты?..» —
«Да это говорил не я, мой друг, а ты!» —
«Не может быть! Я толк немного в этом знаю!
И что в ней нравится — никак не понимаю,
У ней во всем лице нет правильной черты».—
«Скажи же наконец, что сделалось такое?» —
«А то, Честон, что добрая моя жена
Долг матери считает за пустое:
По балам каждый день, в гостях разряжена!
Супружеской любви в ней даже нет и тени:

Со всеми страх мила, но только не со мной;
И если я когда останусь с ней одной,
Тотчас пойдут и спазмы и мигрени...
И сверх того, злодейка так хитра,
Что в свете прослыла предоброю женою,
Я мученик — и все ж смеются надо мною!» —
«А где теперь ее сестра?» —
«Давно уж замужем, Людмил на ней женился:
Ну, видно, богу он молился!
Как счастливо живет он с ней!
Она всегда с детьми, всегда в семье своей.
В женитьбе испытал Людмил одно блаженство;
За что ж такое нерáвенство?
Один счастлив, другой судьбою угнетен;
За что ж не он, а я жить должен несчастливо?
Куда, подумаешь, судьба несправедлива!» —
«Напрасно ты винишь судьбу,— прервал Честон,—
Вини себя в своей печали:
С Людмилом оба вы нашли, чего искали!
Аглая попросту без пышных всех затей
Живет для мужа и детей;
Зато твоя ловка, по моде разодета,
Пленяет всех, а мучит лишь тебя;
Но кто же виноват? Ты взял жену для света,
А он женился для себя».

ПОСЛАНИЕ К ЛЮДМИЛУ

С каким торжественным и радостным лицом,
С каким восторгом мне, Людмил, ты объявляешь,
Что, резвой Талии решившись быть жрецом,
Досуги ты свои театру посвящаешь.
Поверь, в том жалости, мой друг, нимало нет,
Кто вздумал дать тебе столь пагубный совет!
Скажи, какой злой дух, конечно в наказанье
За тяжкие грехи, внушил тебе желанье
На этом поприще твоих изведать сил?
Иль участь горькую не знаешь ты, Людмил,
В удел сужденную комическим поэтам?
Веселья все забыв, расставшись с целым светом,
Трудам всю жизнь свою ты должен посвятить,
С терпеньем слушать вздор, без ропота сносить
Насмешки остряков, нападки журналистов,
Суждения купцов, лакеев, копиистов,—
И словом, всей Москве отдав себя на суд,

За милость почитать, когда из снисхожденья,
Порядком осмеяв твое произведенье,
С ним вместе и тебя забвенью предадут.
Все это б доказать я мог легко примером,—
Но участи тебе других не можно ждать,
Уж верно, будешь ты у нас вторым Мольером;
Все станут и должны тебе рукоплескать.
Согласен и на то. Не скажем мы ни слова,
Как много ты ночей провел совсем без сна;
Положим, что твоя комедия готова,
Отдать ее в театр — забота лишь одна
Осталася тебе,— и вот из доброй воли,
Мытарства все пройдя, успеешь наконец;
Пиеса принята, расписаны все роли,
Друзья заранее плетут тебе венец,
Враги до времени свою скрывают злобу,
И ты, довольный всем, являешься на пробу,
Спешишь ее начать... О, бедный мой Людмил!
Крепись, мой друг, терпи! Час бедствий наступил.
Каких ты перенесть не должен испытаний,
Препятствий и досад, несносных истязаний...
Ты, верно, скажешь мне: «Все это не беда,
Награду приобресть не можно без труда».
Она перед тобой — твоя, в том нет сомненья!
И вот настал уж день желанный представленья;
На сцене ты давно — в ужасных суетах,
С смущеньем на челе, с улыбкой на устах.
К актерам всем в глаза с поклоном забегаешь,
Здесь руку жмешь слуге, там дядю обнимаешь,
И даже сам суфлер, попав к тебе в друзья,
Бросает вкруг себя взгляд важный и спесивый.
Но вот шумит партер — сей грозный судия,
В суждениях своих нередко торопливый;
Пробило шесть часов — знак подан роковой;
Хлопочет режиссер, актеров всех сзывая,
Оркестр гремит, и ты, с поникшей головой,
Смятение свое и страх едва скрывая,
Спешишь среди кулис прижаться в уголок.
Хоть скромность лишняя — не авторский порок,
Поверь, Людмил, в сии минуты ожиданья
Исчезнут все твои надменные мечтанья,
Надежда пропадет — твой труд, в котором ты
Доселе находил одни лишь красоты,
Представится тебе столь мелким и ничтожным,
Что, всякий уж успех считая невозможным,

Предвидишь торжество завистников твоих,
Погрешности забыть стараешься напрасно,
Ошибка каждая и каждый слабый стих —
Все-все придет на ум теперь; ты видишь ясно:
Завязка сбивчива, интрига не верна, —
Так точно — боже мой! комедия дурна!
Все зрители должны дремать, заснуть от скуки...
Уже ты чувствуешь начало адской муки —
Ты слышишь злобный смех, и шиканье, и свист;
Ты видишь пред собой — о, страшное явленье! —
Как сердцем ледяным холодный журналист
Подробно описав постыдное паденье
И подписью скрепив твой смертный приговор,
В листах своих тебя выводит на позор!
Тогда, Людмил, с каким душевным сокрушеньем
Ты вспомнишь мой совет — винишь, клянешь себя.
Но вдруг затихнет все, и вместе с представленьем
Мученья новые начнутся для тебя.
Ты с трепетом глядишь на каждого актера...
Недаром за себя боишься и за них.
Тот выйти опоздал, тот скушал целый стих.
А здесь другой, отстать не смея от суфлера,
Без точки с запятой не скажет ничего.
Терпи, Людмил! Терпи, а более всего
Показывать не смей ни гнева, ни досады.
Но вот уж наступил желанный час награды:
Могущество свое доказывать любя,
Партер шумит, кричит и требует тебя.
Все эти вызовы между собой похожи:
С приличной скромностью, согнувшись весь в кольцо,
Приятелям своим покажешь ты из ложи
Давно уже для них знакомое лицо —
Доволен, счастлив ты! Не спорю я с тобою,
Но знаешь ли, какой ужасною ценою
За этот счастья миг ты должен заплатить?
Жрец истины святой, всегдашний бич порока,
Поэт комический льстецом не может быть,
И если не успел хорошего урока
Он дать насмешникам, надменным богачам,
Иль, кистью верною изображая нам
Бесстыдного ханжи смиренную личину,
Не смел сорвать с него обманчивый наряд,
Не смел сказать в глаза большому господину,
Что гордость есть порок, что славных предков ряд
Без собственных заслуг да тайны уваженья

Есть для него и стыд и поношенье;
Коль хитрость и обман, злословье и вражда
Судью не строгого найдут в тебе — тогда
Напрасно ты себя поэтом называешь;
Но если ты сей долг священный исполняешь
И смело обличать порок везде готов,
То знай, мой друг: полки бесчисленных врагов
Восстанут на тебя всеобщим ополченьем,
Весь ум свой изострят над бедным сочиненьем,
Найдут погрешности, не сыщут в нем красот
И, чтоб верней убить едва возникший гений,
Творение твое, прекрасный, зрелый плод
Ужаснейших трудов, глубоких размышлений,
О, стыд, с каким-нибудь посланием сравнят!
Проснется клевета — зоилы зашипят.
Тогда, при помощи услужливых журналов,
Презренная толпа новейших ювеналов,
Тяжелых, как свинец, педантов и вралей,
И, словом, сборище парнасских всех шмелей,
Как туча над тобой разверзнется и грянет;
Под тяжким, желчью их напитанным пером
Твой юный, свежий лавр безвременно завянет.
И ты, Людмил, поверь, согласен будешь в том,
Что лучше век не быть комическим поэтом,
Без славы умереть, чем сделаться предметом
Злословья, и клевет, и злобных эпиграмм.
Ты хочешь мне сказать: — Я знаю это сам,
Поэтам истинным прилична ль боязливость?
Что значит в их глазах врагов пристрастный суд? —
И рано ль, поздно ли, а верность, справедливость
Таланту твоему потомки отдадут:
Забвение твоим не может быть уделом;
Оставя за собой в твоем полете смелом
Ничтожных всех певцов, театр украсив наш,
Творения свои векам ты передашь! —
Прекрасно, милый мой! Большое утешенье,
Награда лестная — всю жизнь терпя гоненье,
По смерти быть в чести! Не лучше ли хотеть,
Безвестный кончив век, спокойно умереть,
Чем жертвой вечной быть интриг и вероломства?
К чему нам льстить себя бессмертия мечтой?
Что слава мне тогда и что мне до потомства,
Когда в сырой земле и прах истлеет мой!
Что нужды мне, что свет и лживый и коварный
Раскается тогда в суждении своем?

Нет, нет! Людмил! Оставь сей труд неблагодарный!
Коль славным хочешь быть, ступай иным путем:
Известность не всегда подруга дарованья!
Будь лириком, мой друг, примись-ка за посланья.
Писателей, друзей хвалить не уставай!
Хороших — потому, что их хвалить не стыдно,
Дурных же — для того, чтоб не было обидно;
Описывай пиры, а чаще их давай!
А так как здравый смысл давно уже не в моде,
То можешь иногда писать и в мрачном роде.
Поймут тебя иль нет... что нужды — все равно!
А лучше и того, певец любви счастливой,
Воспой прелестный взгляд Лаисы прихотливой,
Забавы юности, беспечность и вино.
«Да это,— скажешь ты,— не новые предметы,
В сем роде есть отличные поэты».
От них-то и живись! Гражданские права
Не значат ничего в республике словесной.
Талант украсть нельзя — так выкради слова.
Лети вослед мечты, крылатой и прелестной;
Все сны волшебные чувствительной души
И неги праздной сон описывай в тиши,
Оплачь потерю дней, в чужбине проведенных,
Кипящей младости отцветшие года.
Короче, модных слов, талантом освященных,
Будь полным словарем — описывай всегда
Души растерзанной все бури и ненастья,
Цвет жизни молодой, грядущего обет,
Бывалые мечты, а пуще сладострастье:
Без этого словца в стихах спасенья нет.
Хоть это все старо — не спорю я нимало,—
Зато, Людмил, чернил лишь только бы достало,
А то, мой друг, пиши! Стихи твои жестки?
Не бойся ничего! Друзья найдут в них силу.
Разбавлены водой? Так что ж? Они легки.
Ошибки все простят богатому Людмилу.
Шампанским кто поит, того никто не тронь!
Нет смыслу, наконец,— зато какой огонь!
И словом: ты рожден писателем чудесным!
Ты должен славным быть, ты должен быть известным!
Стихам твоим гремит повсюду похвала;
И вскоре, может быть, без всяких затруднений,
По милости друзей и сытного стола,
Ты будешь все — талант, поэт и даже гений.

РЕЧЬ В ВОЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 15 МАРТА 1820 г.

Милостивые государи! Главный предмет сегодняшнего собрания нашего есть разрешение вопроса: «Нужно ли сделать некоторые перемены в издаваемом нами журнале?» Я не повторяю слова почтенного нашего вице-президента — не скажу, что взоры всей России обращены на оный; Россия велика — да и к тому же, стыдно сказать и грех потаить, большая часть наших соотечественников или вовсе не читают русских книг, или, что и того хуже, читают одни глупые романы. Года два или три назад продавали пудами «Римскую историю» Роллена; а в нынешнем году вышло в свет шестое издание «Маркграфини Бранденбургской и милорда Георга». Признаюсь, это заставляет меня думать, что в России еще много есть людей, для которых все равно, печатают ли в нашем журнале шарады или ученые известия, эротические стихотворения или христианскую мораль. Довольно, если я скажу, что на нас обращены взоры всех подписчиков, всех истинных любителей русской словесности, что, не говоря уже о выгодах общества, собственно самолюбие наше должно страдать, если журнал, нами издаваемый, не оправдает в полной мере ожидание публики — разумеется, не той, которая читает «Маркграфиню Бранденбургскую», но публику просвещенную, составленную из людей, желающих читать статьи не только приятные, но полезные и ученые, людей, которые, умея чувствовать всю прелесть хорошей поэзии, не хотели бы, однако ж, встречать в журнале, издаваемом не частным человеком, но целым обществом, похвалы пьянству, неге и сладострастию; мо-

жет быть, скажут мне, что анакреонтические песни Державина пользуются всеобщим уважением — это правда! Но я уверен, что бессмертный творец никогда бы не решился прочесть в «Беседе», а и того менее напечатать в книжках, ею издаваемых, некоторые из сих песен, например ту, которая начинается стихами:

Я охотник был измлада
За девчиною гулять...

Или другое:

Мешок пшеницы принесли,
Вечор мне красные девицы...

несмотря на то что эти оба стихотворения прекрасны.

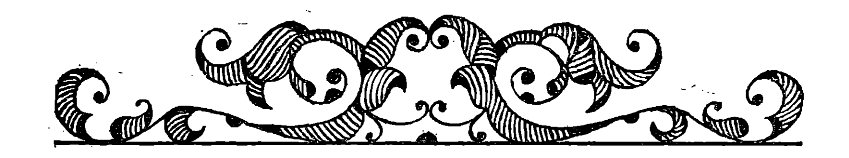
Чтоб вполне удовлетворить желание сей просвещенной публики, я полагаю, что некоторые преобразования в нашем журнале необходимо нужны; он по самому существу своему разделяется на две части,— одна из них должна заключать в себе статьи ученые, другую можно посвятить исключительно одной словесности; и о сем-то последнем отделении я намерен сказать теперь мое мнение.

Позвольте мне спросить вас, милостивые государи, не странно ли, не смешно ли даже, что в журнале, издаваемом Обществом любителей *русской* словесности, помещают известия о иностранных сочинениях, а не говорят ни слова о произведениях отечественных? Большая выгода знать нашему подписчику, что в Париже вышла хорошая книга, когда ему ни прочитать, ни купить ее не можно. Не гораздо ли лучше извещать его о вновь выходящих русских книгах? По крайней мере тогда он поблагодарит нас, если мы должной похвалою привлечем его к прочтению хорошей книги или справедливой критикою остережем от покупки дурного сочинения. Если Общество препоручит одному из своих членов составление русской библиографии для каждой книжки издаваемого нами журнала, то я готов с моей стороны дать ему для сего все нужные способы, в случае же моей отлучки почтенный мой товарищ и наш сочлен Иван Андреевич Крылов охотно возьмет на себя сию обязанность. Мне кажется, также не мешало бы завести в журнале нашем постоянную статью о русском театре; оставив уже то, что эта статья будет для многих весьма любопытна и, без всякого сомнения, прибавит число наших подписчиков, я полагаю, что Общество любителей словесности должно также любить и драма-

тическое искусство — искусство, которое древние греки считали почти божественным, которое едва ли не больше других прославило французскую литературу, которое... но я забыл, милостивые государи, что в своем деле судьею быть не можно — всякий любит то искусство, которым занимается, следственно, и судит о нем несколько пристрастно. Я повторяю только слова мои: введение сей статьи принесет существенную пользу журналу, т. е. прибавит дохода, которым содержится наше Общество, и, следовательно, даст ему возможность увеличить круг своего действия относительно к благотворению.

Вот, милостивые государи, в коротких словах мое мнение, может быть, я ошибаюсь в своих предположениях, но смею уверить почтенных товарищей, что одно желание быть чем-нибудь полезным нашему Обществу водило пером моим.

ПИСЬМА



Н. И. ГНЕДИЧУ

Январь 1818 г.

Я был очень болен, почтенный мой Николай Иванович. Теперь, благодаря бога, зачинаю понемногу бродить по комнате. Последняя книжка «Северного наблюдателя» вышла в то время, когда я совершенно был без памяти. Какие в ней мерзости; волосы дыбом становятся! Чтоб не быть участником глупостей остальных двух книжек, я отказался продолжать — пускай Похорской с Ивановым, которые так же, как я, издатели, делают что хотят — да я же не только писать, но и мыслить едва в состоянии. О театре мне, разумеется, говорить нечего: вот около двух недель, как я из моей горницы ни ногою. Посылаю к вам письмо Антона Прямосудова; я написал его в минуту досады. Прочтите его и скажите по-дружески, откровенно, печатать его или нет. Ваш совет будет для меня законом. Вы увидите в нем, какие помарки сделала цензура. Не знаю, что скажете вы, а я так зачинаю думать, что на глупости Соца отвечать не должно, а надобно их презирать. Заочно вас обнимаю. Душою вам преданный

М. Загоскин.

Н. И. ГНЕДИЧУ

6 июня 1820 г.

Вот я уже и в Москве, почтенный и любезный друг Николай Иванович. Я проскакал довольно счастливо семьсот верст, и вся моя семья дотащилась также благополучно, на долгих, до матушки-Москвы, которая, сколько я мог в три дня заметить, весьма походит на добрую старушку, разодетую в щегольское платье, разрумяненную, насурьмленную, и которая, несмотря на свежесть своего наряда, все-таки старушка, только что вставшая с одра смерти. Я не был еще здесь ни у кого. Завтра поеду к главнокомандующему городом и, как кажется, к главнокомандующему здешним миролюбивым воинством литераторов, т. е. к господину Каченовскому. Вчерась был у главнокомандующего здешним театром. Несмотря на репутацию большого невежи, г-н Майков принял меня очень хорошо, прочие члены театра осыпали меня ласками, и — право — я боюсь, как бы здесь не избаловаться; долго ли до греха: пожалуй, заберу себе в голову, что я чего-нибудь да значу в литературном свете. В Петербурге я не смел об этом думать. Здесь я успел уже прочесть моего «Доброго малого» в доме князя Долгорукого и так уж заважничался, что потребовал воды с сахаром. У меня есть до тебя пребольшая просьба, любезный Николай Иванович! Алексей Николаевич, прощаясь со мною, говорил мне, чтоб я приехал зимою в Петербург, хотя на один месяц. Я очень уверен в желании его сделать мне добро, но может ли он выполнить свое желание? К новому году по русской части едва ли будет какая-нибудь прибавка в русском каталоге, следственно, меня нельзя будет и представить; а прокатиться полторы тысячи верст, когда дела требуют здесь моего присутствия, и прокатиться даром, мне очень не хочется. Если, например, сбудутся слова министра и в библиотеке будут производить без экзамена, то это дело другое, тогда можно будет меня представить к чину не за каталог, но за выслугу. Вот что я думаю об этой поездке. Как ты думаешь, любезный Николай Иванович, ехать ли мне зимою к вам или нет? По крайней мере, может ли мне нести какую-нибудь пользу эта прогулка? Когда тебе вздумается отвечать на это письмо, то сделай дружбу, скажи откровенно твое мнение. Впрочем, вся эта часть

письма писана мною *по секрету*. На будущей почте я напишу письмо к Алексею Николаевичу с просьбою о переименовании меня в почетные библиотекари.

Прощай, любезный и почтенный мой друг, не забывай человека, душою к тебе привязанного, который весьма дорого ценит твою дружбу и гордится ею, как собственным своим достоинством. Заочно тебя обнимаю, и, право, это не лобзание Иуды. Много тебя почитающий и непритворно любящий приятель и преданный слуга

М. Загоскин.

Жуковскому, Гречу, графу Толстому и другим общим знакомым нашим поклонись.

Мой адрес: в Старой Конюшенной, в приходе Власия, в доме Дмитрия Александровича Новосильцова.

Прошу поклониться всем моим библиотечным товарищам.

Н. И. ГНЕДИЧУ

28 августа 1820 г.

Не умею тебе описать того удовольствия, любезный и почтенный мой друг Николай Иванович, с которым я получил приятное письмо твое. Слава богу! Итак, я еще не совсем умер для петербургских моих приятелей. Эта мысль веселит меня, как ребенка,— я почти прыгаю от радости. Да, мой друг, грустно мне было сначала. Я написал семь писем и до сих пор не получил ни на одно ответа; да и поделом мне; я имел дурачество думать, что у меня в Петербурге семь приятелей. Семь! Легко выговорить, мой милый. Ты один, мой друг, один потешил бедного изгнанника. Не смейся этому названию. Москва хоть не Камчатка, а, право, не веселее Уфы или Оренбурга, по крайней мере летом. Не удивительно, что в старые годы, когда Карамзин жил в Москве, он любил плакать и тосковать. Я, кажется, и по комической части, а тоскую и вздыхаю здесь, как будто бы век мой писал одни драмы. Сделай милость, любезный Николай Иванович, утешь меня еще раз,— не отвечай на это письмо. Просьба довольно странная, скажешь ты. Вот мои причины: я не хочу быть в тягость моим приятелям. Ты отвечал мне на первое письмо; этого мне ме-

сяцев на шесть будет довольно,— а я между тем буду продолжать писать к тебе, и тем чаще, что не стану опасаться надоесть тебе. Как бы длинно письмо ни было, прочесть его не скучно; отвечать — другое дело. Не в пору гость хуже татарина. Про письмо, на которое должно отвечать, можно сказать то же самое,— а особливо тебе: ты служишь и занимаешься постоянно своим Омиром. Я же ничего не делаю и, конечно, не найду занятия приятнее, как писать к человеку, которого душевно люблю и уважаю. Очень рад, что Алексей Николаевич доволен моим письмом. Я писал в нем точно, что чувствовал и буду чувствовать всякий раз, когда вспомню об этом почтенном человеке. Пожалуйста, поклонись от меня Степану Васильевичу, В. П. Двигубскому и всем сослуживцам, а доброго Ивана Андреевича обними покрепче и скажи ему, что я нашел прекрасную надпись для его портрета в собственной его басне «Пруд и река». Это 28-й и 29-й стихи.

Прощай, почтенный Николай Иванович. Дай бог, чтоб ты был здоров и столько счастлив, сколько желает тебе этого твой искренний друг

М. Загоскин.

М. Е. ЛОБАНОВУ

7 октября 1820 г.

Да, любезный Михайла Астафьевич, я мог гневаться, злиться и даже ругать тебя, но, конечно, не мог перестать любить. Если бы ты видел, как обрадовало меня письмо твое, как я его перечитывал, как останавливался на каждом слове... Да, мой друг! Оно очень облегчило мое сердце — признаюсь, грустно мне было подумать, что я забыт тобою,— при одной этой мысли душа моя наполнялась горестию, и слезы... Что это?.. Душа, сердце, слезы,— да это уже походит на князя Шаликова, вот каково дышать с ним одним воздухом, того и гляди сделаешься плаксой.

Шутки в сторону; я не плакал, но досадовал на тебя очень-очень... ну, да, одним словом, точно так же, как радуюсь теперь, перечитывая милое письмо твое.

Когда-то бог приведет меня побывать в Петербурге, обнять друзей моих и, начав с Михайлы Астафьевича Лобанова, сразить его моим великодушием. Не знаю,

веселитесь ли вы в Петербурге, а мне становится здесь очень весело — я, изволишь видеть, ударился в большой свет — танцую, смотрю, как играют на благородных театрах, и... страшно сказать! — играю сам. Кстати о театрах — прошу не насмехаться над здешним,— здесь, сударь, не лицедеи — а актеры, и даже не дурные — им недостает только главы. Составь целый оркестр из виртуозов, но не давай им никогда сыгрываться, то, конечно, и посредственный оркестр, например ваш петербургский, покажется гораздо лучше. То же самое можно сказать и о здешнем театре, с той только разницею, что виртуозов здесь нет, а, право, есть хорошие солисты. На днях играли здесь «Пустодомов»: эту комедию в пяти действиях в стихах репетировали только два раза, и в первый раз недоставало на репетиции несколько действующих лиц — чему же быть путному? Однако ж смотри не проговорись об этом Шаховскому, с ним сделается удар (NB. Несмотря на это, комедия была принята очень хорошо). Мою комедию «Добрый малый» ставил я сам — и надобно сказать правду: она была разыграна вдвое лучше, чем в Петербурге, и успех имела пребольшой.

При сем письме препровождаю к тебе нечто для прочтения в Обществе соревнователей и прошу тебя вместо предисловия прочесть также из сего письма все то, что на следующей странице написано до знака NB.

Да, мой друг! Я не живу здесь поджавши руки. Я гляжу, замечаю, записываю, но на всякий случай, чтоб не вздумалось кому убить меня из угла камнем, не напечатаю ничего из моих записок, пока не переберусь опять в Петербург. Не подумай, однако ж, что я одним только этим и занимаюсь — нет, мой друг! — страсть писать комедии не лучше пьянства, от нее никогда не отстанешь.— Я написал... вижу отсюда! Ты бледнеешь от ужаса — да, мой милый! бледней, ужасайся,— я написал комедию в четырех действиях! — и что всего ужаснее, препровождаю при сем из нее одну сцену для прочтения в Обществе, в котором, к стыду моему, я целые четыре месяца был самым бесполезным членом. Если не ошибаюсь, то в моей комедии есть сцены забавнее и лучше той, которую посылаю, но одна только эта не имеет большой связи со всем действием и может быть особо напечатана. Многим может показаться, что я, подобно Дон Кишоту, сражаюсь с ветряными мельница-

ми — то есть: нападаю на слабость, существующую в одном только моем воображении — к несчастию, это замечание будет несправедливо. Я могу назвать по именам здесь двух, а в Петербурге трех отцов, которые обращаются с своими сыновьями точно так же, как князь Фольгин,— один из них, разговаривая при тридцати человеках с своим сыном, сказал: «Что это значит, Волдемар! всякий раз, как я поем, мне жарко, как собаке?» — «Это оттого, папа,— отвечал сынок,— что ты ешь, как свинья».— Правда, сей разговор происходил на французском языке, а так как *cochon* гораздо приятнее для слуха, чем *свинья,* то для многих эта игра слов показалась очень забавною. Когда я совсем разделаюсь с своей комедией, то доставлю тебе для прочтения в Обществе небольшую статью под названием «Торжественное заседание преобразователей российской азбуки». Признаюсь, я желал бы очень, усердием моим к общей пользе, заменить недостаток моих дарований и оправдать хотя несколько надежды почтенного Общества, избравшего меня в свои действительные члены. NB. Пора кончить — чай, я надоел тебе, как горькая редька — обнимаю тебя как друг, как сочлен и как брат.

Твой искренний друг *М. Загоскин.*

Моя Анета тебе кланяется, Александру Антоновну целует, а я — целую у ней поодиночке все пальчики. Ивана Андреевича, Гнедича и всю библиотечную братию обнимаю мысленно.

Н. И. ГНЕДИЧУ

10 февраля 1821 г.

Помнишь ли, любезный друг Николай Иванович, как однажды в библиотеке ты взял на себя труд дать мне первые понятия о правилах стихотворства? Хотя ученик твой не потешил тебя успехом, но в нем осталась охота употребить когда-нибудь в пользу твои наставления. Здесь, от нечего делать, принялся я опять за просодию и наконец на этих днях написал первые мои стихи. Дурны ли они или хороши — не знаю, потому что я не принимал ничьего совета и не хотел переправить ни одного слова, для того чтоб ты получил стихи мои

точно в таком виде, в каком они вылились из моего пера. Если они на что-нибудь годятся, то прошу тебя сделать следующее: 1-е, прочесть их Савве Михайловичу, не говорив сначала, что эти стихи мои, эта предосторожность необходимо нужна; а почему? догадайся сам. 2-е, если они подлинно на что-нибудь похожи, то отдай их напечатать в «Сыне отечества», и, наконец, 3-е, уведомь меня, хотя в двух строках, о твоем мнении. Ты, как учитель мой, имеешь право приказать мне продолжать писать стихи или замолчать навсегда, на твое решение не подам я никакой апелляции. Я сначала хотел было прислать тебе стихи от имя неизвестного, и для того они переписаны не моей рукою, но отдумал. Мне нужнее знать твое мнение, чем заставлять тебя ломать голову и отгадывать имя сочинителя дурных стихов. Теперь слова два о моем житье-бытье — я, слава богу, здоров и *по-здешнему* живу очень весело. На этих днях давали новую мою комедию «Богатонов в деревне». Она имела пребольшой успех, не знаю только, заслуживает ли она его. Ваша цензура вымарала из нее три лучшие сцены, и я на кой-как, чтоб не разорить Колпакова, в бенефис которого ее играли, склеил ее — к счастию, прорехи не очень заметны. Сделай милость, почтенный мой Николай Иванович, обними покрепче от меня Ивана Андреевича, Михаила Астафьевича, Василевского и всех, кроме самого себя. Напомни также обо мне всем милым моим товарищам и скажи при удобном случае почтеннейшему Алексею Николаевичу, что чувства истинной благодарности и нелицемерной любви к человеку, которого я считаю моим благодетелем, умрут в душе моей не иначе, как вместе со мною. Прощай, мой милый, будь здоров и люби слепого Загоскина, точно так же как он тебя любит.

Душою тебе преданный и искренний друг

М. Загоскин.

Сейчас прочел я письмо мое — куды складно написано! Нечего делать — переписывать некогда; боюсь, что и теперь уж опоздал послать на почту. Если мое послание в стихах так же красно написано, как послание в прозе, то в печь его! не говоря ни слова.

Н. И. ГНЕДИЧУ

3 марта 1821 г.

Любезный и почтенный друг Николай Иванович, прошу тебя полюбить вручателя сего письма, приятеля моего князя Михаила Ивановича Долгорукова, сына известного поэта. Уезжая из Москвы, он убедительно просил меня познакомить его с тобою. Он имеет благое желание посещать нашу библиотеку и заниматься делом, а особенно по русской части, и для того познакомь его, пожалуйста, с Крыловым и попроси, чтоб он облегчил для него некоторые от обыкновенного порядка происходящие затруднения, то есть поступал бы с ним как с человеком, который не от *нечего делать,* а с пользою хочет ходить в Императорскую библиотеку.

Я, слава богу, здоров — от всей души желаю тебе того же. Получил ли ты мое послание? с трепетом разверну я первое письмо твое, ибо в оном будет заключаться приговор мой и, так сказать, будущая литературная моя участь. Прощай, мой друг, не поленись обнять от меня И. А. Крылова, Лобанова, Василевского и поклонись всем прежде бывшим моим товарищам. Тысяча раз тебя обнимаю. Не пугайся! Ведь это заочно.

Твой искренний друг *М. Загоскин.*

Н. И. ГНЕДИЧУ

7 марта 1821 г.

Письмо твое, мой милый друг Николай Иванович, третьего дня получил. Что оно принесло мне величайшее удовольствие, в этом уверять тебя, кажется, нет ни малейшей нужды. Ты жалеешь, мой милый, что не имеешь способа сюрпризом отплатить за мой сюрприз, — да и правда, оно было бы несколько трудно — какое превосходное творение, написанное *тобою,* может удивить твоих приятелей. Есть только один способ, но я думаю, он тебе не понравится — постараться написать дурные стихи, и тогда, нет сомнения, ты сделаешь

величайший сюрприз не только своим друзьям, но и всем тем, которые читают стихи и понимают их. Ты, верно, полагаешь, что это письмо наполнено поправками моих стихов — ах, нет, мой друг! Я не поправил ни одного. «Ни одного,— скажешь ты,— как! этот новорожденный рифмач, которому удалось написать сносные стишонки, смеет уже пренебрегать моими советами!» Погоди, любезный Николай Иванович, не сердись! и дай оправдаться. Замечания твои совершенно справедливы, но ты недаром назвал меня *новорожденным*. Мне хочется — смейся моему ребячеству! — мне хочется, чтоб первая моя пиеса осталась точно такою, какою она вылилась, так сказать, из моего сердца. Если без поправок она не может быть напечатана, то пусть остается ненапечатанною. Ты ее прочел — она принесла тебе некоторое удовольствие — следственно, главная цель моя выполнена. Это первое мое оправдание. Вот второе. Несмотря на ребячество, о котором имел уже честь тебе доложить, я принялся было сначала делать поправки, но мое воображение, наполненное стихами, которые я теперь пишу, отказалось мне помогать. Несколько раз принимался я ломать себе голову и не сделал ничего. Наконец, решился обратиться к новым стихам, но не тут-то было! и они перестали писаться! Случалось ли тебе видеть, как осторожная мать приучает детей своих к учению: вместо азбуки дает им карты с буквами, а там книжки с картинками; одним словом, чтоб не возбудить в них с самого начала отвращения к наукам и не охолодить навсегда воображение, она старается делать из ученья забаву, а не труд. Я точно такой же ребенок, а ты пусть будешь этой снисходительной маменькой, по крайней мере для первых стихов моих, тем более что они писаны совсем не в том роде, в котором я хочу и должен писать,— в описательной поэзии у нас есть такие мастера, что школьнику, каков я, не только трудно, но даже невозможно идти по одной с ними дороге; а быть несчастным подражателем и повторять другими словами то, что давно уже ими сказано, я никак не хочу. Я не умею назвать тебе род, который для себя выбрал. Это что-то среднее между сказки и сатиры — может быть, скоро ты получишь небольшой образчик. Не сердись на меня, мой милый Николай Иванович! Клянусь тебе честию, совсем не из упрямства я не хотел воспользоваться дружескими твоими советами, но ведь ты знаешь, проза не стихи; с хо-

лодной головою не придумаешь и одного порядочного полустишия. Ты делаешь мне в своих замечаниях два *вопроса, на которые мне отвечать нетрудно. 1-е, почему я называю Петергоф унылым;* по собственному опыту и убеждению своих чувств. Спроси Савву Михайловича и Марию Степановну, может ли что-нибудь быть грустнее и унылее Петергофа, который во время праздника кажется очаровательным. Представь себе мертвую тишину, сухие бассейны, ни одной лужайки, мрачные, бесконечные аллеи, древние сосны, которые поседели от времени, ни одной веселенькой куртины деревьев, и все это на берегу моря, которое единообразным своим шумом наводит сон,— представь все это и повтори, если можешь, свой вопрос.— *Не смел и дикий зверь прокладывать следа,—* а где же дикий зверь смеет? Там, где он может пройти, а я воображаю такую дикую пустыню, такие непроходимые болота, что даже и дикий зверь не смеет туда пускаться. Может быть, я виноват в том, что удалился от исторической истины, но, конечно, не погрешил против правдоподобия. Я сам также хотел кончить послание явлением какого-нибудь гения или музы. Это придало бы новую жизнь моим стихам, но для этого надобно переделать всю пиесу; а это показалось мне ужасным. Мечтать и приходить в восторг можно сидя в кибитке, которая мчится вихрем по дороге, но заставить гения явиться ко мне в кибитку и на всем скаку превратить меня из прозаиста в поэта — показалось мне вовсе неприличным. Это явление могло бы быть в лесу, на поле, в комнате, везде, но только не в кибитке. Поблагодари Ивана Андреевича за участие и за *хотение* писать ко мне. Я никогда не сомневался в искренной его дружбе,— сердце сердцу весть подает. Прощай, мой друг! Заочно тебя, со всеми чувствами искренней благодарности и дружбы, обнимаю. Мой усердный поклон всем любезным библиотечным товарищам.

Навсегда твой *М. Загоскин.*

NB. Не сердишься ли ты на меня? Это было бы мне очень больно. Послушай, мой милый, если поправки необходимо нужны, то скажи одно слово, и я хоть месяц протружусь, а сделаю то, что советует мне мой друг и наставник.

Н. И. ГНЕДИЧУ

30 марта 1821 г.

Почтенный учитель не может пожаловаться на своего слишком прилежного ученика. Вот еще стихи новоиспеченного поэта. У меня написаны еще стихи, тоже в этом же роде, но я посовестился, любезный мой Николай Иванович, навесить на тебя разом такую кучу рифм, которые, может быть, не заслуживают и этого названия, или, лучше сказать, я самый утонченный варвар — не хочу разом тебя прирезать, а намерен жарить понемногу, маленьким огоньком. Впрочем, ты можешь успокоиться, вероятно, я долго уже не буду писать в сем роде, потому что намерен (если ты мне присоветуешь) начать комедию стихами. Если ты найдешь, что прилагаемые у сего стихи не совсем дурны, то отдай их Гречу. Здоровы ли все наши знакомые и товарищи? Я уже давно не имею из Петербурга писем. Здесь живет теперь общий наш приятель Ф. Н. Глинка; мы с ним весьма часто видимся. Я думаю, что недели через две он будет в Петербурге и может тебе рассказать о здешнем моем житье-бытье. Прощай, мой милый друг, будь здоров и люби меня так же искренне, как искренне я к тебе привязан. Письмо мое более походит на записку, чем на письмо, но у меня жестоко болит голова, едва могу держать в руке перо.

Душою тебе преданный *М. Загоскин.*

Дружеский поклон всем моим товарищам, а в особенности И. А. Крылову, Лобанову и Василевскому.

Если тебе покажется, что стих:

Ах, дай прийти в себя и с мыслями собраться! —

слишком напоминает следующий:

Ах, дайте отдохнуть и с силами собраться! —

то можно, мне кажется, переписать его следующим образом:

Позволь прийти в себя и с мыслями собраться!

Тысяча раз тебя обнимаю.

Н. И. ГНЕДИЧУ

16 апреля 1821 г.

Поздравляю тебя, любезный и почтенный друг Николай Иванович, с праздником. Дай бог, чтоб ты провел его весело в совершенном здоровье и чтоб вы все, петербургские жители, пользовались таким же прелестным временем, каким наслаждаются теперь москвитяне. Дня два, как здесь опять <стало> походить на начало весны, а до этого почти можно было побожиться, что мы в средине лета. Поздравь, пожалуйста, от меня и обними, начиная с Крылова, Лобанова и Василевского, всех наших сослуживцев. Получил ли ты вторые мои стихи под названием «Авторская клятва»? Не желая тебя отрывать от твоих занятий, я попрошу тебя, вместо того чтоб отвечать мне на это письмо, сказать на словах брату моему, преображенцу, которого, верно, встречаешь часто у Саввы Михайловича, дошли ли до тебя мои стихи и намерен ли Греч поместить их в своем журнале. Если нет, то я напечатаю их здесь. Брат обо всем меня уведомит. Ну, мой друг, что ты думаешь о войне, которая возгорается между «Вестником Европы» и «Сыном отечества»? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Каченовский не вовсе виноват; и те, которые называют последние две сатиры князя Вяземского превосходными творениями, заслуживают, чтоб над ними немного посмеялись.

Прощай, мой друг. Заочно поздравляю тебя снова с праздником; от всей души и со всей искренностию нелицемерного друга обнимаю.

Твой новорожденный стихокропатель *М. Загоскин.*

Н. И. ГНЕДИЧУ

2 мая 1821 г.

Письмо твое, от 19-го апреля, любезный и почтенный друг Николай Иванович, имел удовольствие получить. Хотя я очень чувствую, что похвалы твои происходят от одного желания ободрить школьника поэта, но

тем не менее это желание доказывает мне твою дружбу. Я прочел раз десять твое письмо и при всяком разе веселился, как ребенок. Да, мой друг, твои похвалы для меня драгоценны. Не опасайся, однако ж, чтоб я возгордился. Ты называешь мои успехи блистательными и в то же время печатаешь сам стихи. Читая их, ясно вижу всю разницу между сносным и прекрасным, и, несмотря на некоторую уверенность, возбужденную во мне твоим снисхождением, я чувствую в полной мере мое ничтожество. Я уверен был наперед, что тебе не очень понравятся *деяния нового опекуна* «Сына отечества»! Он настоящий литературный наездник. Выражение «знаменитые друзья» насмешило всю Москву. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что последнее послание Вяземского к Жуковскому — подражание не третьей, как напечатано, а второй сатире Буало,— не только не может назваться превосходным, но хуже посредственного. Ухо, смысл и грамматика страдают беспрестанно. Тут найдешь и *стихолюбивый яд* (т. е. яд, любящий стихи), тут *просят тайну,* тут одевают Сумарокова *в покрове новом,* вместо «в покров новый», тут пестрят стих *услужливой заплатой;* а что всего забавнее, тут Вяземский делает из имени Хераскова такое употребление, какое прилично было бы сделать из имени Хвостова и Тредьяковского. В 7-м и 8-м номере «Вестника Европы» пальба против «Сына отечества» не умолкает, а в 9-м довольно забавное будет напечатано послание к Вяземскому, точно в таком же роде, в каком он написал к Каченовскому. Вот первый стих:

Перед судом ума сколь, Вяземский, смешон...

Оно сочинено (будь между нами) переводчиком 10-й сатиры Буало. При сем письме препровождаю к тебе еще стихи — вероятно, последние,— потому что намерен заняться комедиею. Делай из них какое хочешь употребление; прочти Савве Михайловичу, но только не при его жене — et pour cause! * Будь также милостив, как прежде, что нужно будет, поправь.

Как ты думаешь, мой друг, не лучше ли для избежания неприятного созвучия заменить сей стих:

С женой же жить не год, не два, а целый век —

следующим:

---

* и не без причины! *(фр.)*

С супругой жить не год, не два, а целый век, —

хотя слово *супруга* в простом разговоре и не слишком употребительно. Последний стих не лучше ли сделать из четырехстопного шестистопным, то есть вместо:

А он женился для себя —

так:

А он, мой милый друг, женился для себя.

Прощай, мой снисходительный учитель! Заочно тебя от всей души обнимаю и прошу обнять от меня Крылова, Лобанова и Василевского, а прочим товарищам обо мне напомнить.

Твой искренний друг *М. Загоскин.*

NВ. Комедию начну писать точно так, как ты мне советуешь, прежде в прозе; в прозе выкинуть сцену не жалко, а написавши стихов двести, бросить их ужасно для начинающего поэта.

Н. И. ГНЕДИЧУ

28 июля 1821 г.

Письмо твое от 19-го мая, любезный и почтенный друг Николай Иванович, я получил только четвертого дни; и вот почему так поздно. Я целых два месяца прожил в деревне за семьсот верст от Москвы, а моя Анета, которая оставалась в Москве, не догадалась мне переслать его в деревню.

Из последнего нумера «Соревнователя» увидел я, что ты избран в помощники председателя нашего Общества, — от всей души радуюсь, мой друг, и поздравляю с сим не тебя — а наше Общество. Давно бы надобно взяться за ум и не *количеством*, а *качеством* действительных членов сделать и нас достойными общего внимания.

Здесь идет слух, что *два* издателя «Сына отечества» начинают не уживаться — правда ли это? — по моему мнению, если до этого еще не дошло, то, без сомнения, вскоре дойдет; с тех пор, как В. сделался товарищем Греча, «Сын отечества» стал несравненно хуже — бесстыдные похвалы дурным стихам, какая-то холоп-

ская острота и куча старых стихов, перепечатываемых без воли их авторов,— вот чем отличается сей журнал от всех других.

Я согласен с тобою — похвалы графу Хвостову во всех журналах — такая мерзость, для которой не приищешь названия во всем русском языке. Если это насмешка — то самая глупая. Если же нет — то, черт возьми, журналисты наши стоят, чтобы публика плевала не на сочинения их — а прямо им в глаза.

В последнем номере «Соревнователя» напечатана такая же прекрасная басенка Измайлова — уймется ли этот Ерыга-поэт писать о пьяницах, Сидорычах, Макарьевнах и Барбосках, и что он хотел сказать в своей басне или сказке? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что черт не зайдет никогда и к Измайлову в гости.

Я не спрашиваю тебя, мой друг, чем ты занимаешься,— великий и достойный тебя труд — труд, предпринятый тобою, познакомить русских с Омиром,— не позволяет тебе, без сомнения, заниматься чем-нибудь другим; ученик твой пускается также на великий подвиг (разумеется, *великий* в отношении к его способам) — т. е. принимается писать комедию в пяти действиях сначала в прозе, а потом в стихах,— я назову ее «Благородный театр», и вот взятый из Делиля эпиграф, который даст тебе некоторое понятие о сюжете сей комедии:

. . . .

C'est à qui sera jeune, amant, prince ou princesse,
Et la troupe est souvent un beau sujet de pièce.

. . . .

Tel neglige ses fils pour mieux jouer les pères,
Je vois une Mérope et ne vois point de mères *.

Не подумай, однако ж, мой друг, чтобы я хотел осуждать сие благородное и приятное занятие — нет! Мне хочется посмеяться только над теми, кои делают из сей забавы государственное дело. Я играл сам здесь

---

* Это — для тех, кто молод, влюблен, для князя и княгини,
А толпа — прекрасная тема для пьесы.

. . . .

Иной пренебрегает своими сыновьями, чтобы лучше сыграть отцов,
Я вижу Меропу и вовсе не вижу матерей *(фр.)*.

в трех труппах и заметил отменно много забавного — сколько интриг, происков и сплетней, чтобы отбить у другого ролю, какие хитрости, чтоб переманить хорошего актера из чужой труппы в свою, сколько молодых людей, которым маменьки не позволяют с дочерьми сказать два слова и которые болтают с ними что хотят за кулисами.

Прощай, мой милый Николай Иванович, поклонись Крылову, Лобанову и Степану Васильевичу.

Душою навсегда тебе преданный друг *М. Загоскин.*

Н. И. ГНЕДИЧУ

30 октября 1821 г.

Давно я не писал к тебе, мой почтенный и любезный друг Николай Иванович. Вот уже около двух месяцев, как я не имею ни одной свободной минуты. Не подумай, однако ж, чтобы я сочинял комедию — нет, мой друг! Я учусь геометрии, физике, праву, статистике, истории,— одним словом, приготовляюсь к экзамену; недели через три надеюсь получить аттестат и, может быть, приеду на несколько месяцев в Петербург. Я говорю «может быть», потому что эта поездка не совсем будет зависеть от меня. Если ты, мой милый друг, возьмешь на себя труд узнать от Алексея Николаевича следующее: можно ли меня представить в чин коллежского асессора за выслугу лет, и если почтенный наш начальник скажет, что это дело возможное, то я отправлюсь тот же час к вам. В противном случае я постараюсь найти здесь какое-нибудь место и поневоле должен буду отказаться от удовольствия обнять тебя и побывать в Петербурге. Впрочем, я думаю, что это не совсем невозможно. Я шесть лет в чине титулярного советника, следственно, за вычетом двух лет, прожитых мною здесь, я выслужил в *действительной* службе четыре года. Я буду ждать с нетерпением твоего ответа. Дай бог, чтоб ты приказал мне явиться в библиотеку.

На этих днях читал я прекрасные стихи твои к И. А. Крылову, они принесли мне живейшее удовольствие и очень удивили. Неужели в самом деле наш Лафонтен сбирается в чужие края? Статное ли это дело?

От всего сердца желаю, чтоб это была только одна шутка. Мне было бы очень грустно не застать в Петербурге милого Ивана Андреевича, а и того грустнее опасаться беспрестанно, чтобы он в Италии не попал в руки к разбойникам, а во Франции не застала бы его какая-нибудь контрреволюция — не сам ли он написал:

Что б ни сулило вам воображенье ваше,
Не верьте, той земли не сыщете вы краше,
Где ваша милая иль где живет ваш друг.

Ученые мои занятия не помешали мне сделать план пятиактной комедии и написать половину небольшой комедии в стихах, но с месяц уже я не пишу ничего, кроме геометрических фигур — чем ближе конец, тем больше должен я трудиться,— мне же пришло в голову учиться не на шутку — т. е. не для одного экзамена, и того гляди, что к семи греческим мудрецам прибавится русский.

Прощай, мой почтенный Николай Иванович, обнимаю тебя как искренний друг и как благодарный ученик, который обязан тебе, *именно* тебе за все минуты наслаждения, доставляемые ему бессмертными сестрицами, с которыми без тебя он, верно бы, никогда не познакомился.

Твой навсегда *М. Загоскин.*

Ивану Андреевичу, Михаилу Астафьевичу и всем любезным моим товарищам усердный мой поклон.

Н. И. ГНЕДИЧУ

2 декабря 1821 г.

Благодарю тебя, мой любезный почтенный друг Николай Иванович, за участие, которое ты принимаешь во всем, что касается до преданного тебе душою Загоскина. Итак, мне не нужно будет ездить в Петербург для того, чтобы быть представлену в следующий чин? Признаюсь, мой милый друг, снисхождение и хорошее ко мне расположение Алексея Николаевича удивляют меня — чем заслужил я это? Не знаю по чести, как писать к нему. Я так обласкан его милостями, что должен

бы был не просьбою, а одною благодарностию наполнить письмо мое.

Экзамен мой кончился — много узнал я для себя вещей полезных, а и того более наслушался и начитался вздору. Первое постараюсь держать в памяти, а о последнем давно уже забыл. На будущей неделе получу аттестат и при письме отправлю к Алексею Николаевичу. Жаль очень, что мне не удастся обнять тебя — но утешаюсь мыслью, что летом (и кажется, это верно) переселюсь опять в Петербург.

Мне самому хочется давно уже приняться за то, что ты мне советуешь — т. е. учиться языкам, а особенно испанскому. Сомневаюсь только, найду ли здесь учителя.

«Приютино» твое читал я с истинным удовольствием, а что читают его другие с жадностию, это доказывает тот № «Сына отечества», где эти стихи напечатаны, он так долго ходил по рукам, что я теперь не знаю, где его и отыскивать.

Извини, мой друг, что письмо с такой большой помаркой — переписать его мне некогда. Не удивляйся, что я поверил отъезду И. А. Крылова в чужие краи — я тут чудного отменно ничего не вижу. Князь Шаховской не легче же его, а катался по всей Европе.

Еще слова два о твоих стихах, которые ты по скромности называешь безделками. Мнение о них всех здешних литераторов сливается, так сказать, в один голос; вот оно: все то, что ни появляется в журналах под твоим именем, может служить образцом для наших молодых писателей, в самых небольших стихах твоих есть мысли, намерение и какая-то *сила,* которая вовсе неизвестна большей части нашим *гладеньким* стихоподбирателям — под словом «сила» я и *другие* разумеют совсем не то, что приятели князя Вяземского находят в его вандальских стихах. Чтоб оправдать какой-нибудь стих, который едва можно выговорить, они называют его *сильным.* Твои стихи доказывают, что можно в одно и то же время говорить воображению и пленять слух. Приятели и соклевреты Вяземского сказали бы, может быть, на это, что я не что иное, как *мышь, которая грызет со злостью щепетильной,* и что сильные стихи должны быть непременно тяжеле свинца. Но воля их, я никогда в этом не соглашусь.

При сем, мой любезный Николай Иванович, прилагаю я несколько сцен из небольшой комедии, кото-

рую я почти уже окончил. Не знаю <...> мои стихи для драматического рода? Ты можешь ими располагать по произволу, т. е. отдать в «Соревнователь» или в «Сын отечества».

Недавно получил я из Общества 5-ть билетов на журнал, право, не знаю, куда с ними деваться — однако парочку, я думаю, сбуду.

Обнимаю тебя тысячу раз.

Н. И. ГНЕДИЧУ

20 декабря 1821 г.

Я не даю тебе отдыху, мой почтенный и любезный друг Николай Иванович, — еще письмо! Но дело пойдет в нем не о литературе. Оправдай меня в глазах Алексея Николаевича в неучтивости, которая произошла совершенно не от меня. Я послал к нему при моем письме аттестат, но так как он в пакете мог бы повредиться, то уложил его в ящик; на почте сказали моему человеку, что аттестат должен быть отправлен в обыкновенном пакете, и премудрый мой Личарда решился поправить мою ошибку — он запрятал его в ужасный пакетище, запечатал такою дурацкой печатью и надписал своей рукою, которая во сто тысяч раз хуже руки нашего друга И. А. Крылова. Я узнал все это недавно. Еще раз прошу тебя между слов сказать об этом почтенному моему начальнику. Это безделица, но я и в мелочах не хотел бы манкировать перед тем, кого уважаю как человека во многих отношениях необыкновенного и люблю как благодетеля, который осыпает меня своими милостями не потому, чтобы я заслуживал это, а по одному желанию делать добро.

Не знаю, что это делается у вас в Петербурге, а здесь по улицам чистят грязь, две недели не видим солнца, и дожди беспрестанные. Говорят, что здесь на днях было землетрясение — не знаю, правда ли это — по крайней мере, я этого не заметил.

Молодой Писарев очень доволен твоим ласковым письмом. Он одарен истинным талантом, и притом малый очень хороший, но молод, любит острить, и так как его здесь очень балуют, то боюсь, чтобы он не пошел по стопам автора «Руслана», которому вряд ли уступает в таланте.

Прощай, мой любезный Николай Иванович, тысяча раз тебя обнимаю.

Твой друг и искренний почитатель

М. Загоскин.

Кланяюсь и обнимаю: И. А. Крылова, Лобанова, Василевского и всех бывших моих товарищей.

М. Е. ЛОБАНОВУ

2 мая 1822 г.

Давно не писал я к тебе, мой милый друг, Михайло Астафьевич, хотя я сделался настоящим московским жителем и почти совсем забыл Петербург, но никогда не забуду тех, которые называли меня своим другом, и мне очень было бы грустно заживо умереть в их памяти. Николай Иванович вовсе меня забыл, на два последние письма мои он не отвечал ни слова, а что он получил их, в том нет сомнения, потому что приложенные при них стихи напечатаны в «Соревнователе». Сделай милость, любезный друг, выведи меня из сомнения, что случилось с моим аттестатом, который я при письме отправил к Алексею Николаевичу? Николай Иванович писал ко мне, что наш почтенный начальник приказал мне доставить аттестат, для того чтобы хлопотать о производстве моем в чин. Вот уже четвертый месяц, как я его отправил и нет о нем ни слуха ни духа. Мне очень нужно знать, могу ли я надеяться получить чин или нет? Что ты поделываешь, мой друг? — до нас доходят слухи, что ты трудишься около какой-то Федры, которая до сих пор, благодаря Анастасевичу и (не тем помянуто) покойному Державину, была известна у нас под именем Федоры — от всей души желаю, чтоб слухи были справедливы — стыдно переводчику «Эфигении» молчать, тогда как тысячи шмелей, и сиятельных и простых, затопили нас своими стишонками и, не сделав ничего путного, величаются *знаменитыми друзьями.* Я теперь в больших хлопотах, послезавтра играют в первый раз мою новую комедию, из которой небольшой отрывок был напечатан в «Соревнователе». Кажется, она будет хорошо разыграна и если не понравится, то в этом виноват буду один я. Напиши мне, мой

милый, хотя две строчки. Докажи, что я не совсем еще умер для моих петербургских приятелей. Обними за меня почтенного Ивана Андреевича, Николая Ивановича, Глинку, Василевского — всех тех, кои меня помнят, разумеется, в том числе графа Толстого, а крепче всех прижми к груди своей (если только сумеешь это сделать) товарища и друга моего Михайла Астафьевича Лобанова, — он малый добрый, и, верно, обрадуется, когда узнает, что я еще жив.

Н. И. ГНЕДИЧУ

14 июня 1822 г.

Давно уже не писал я к тебе, любезный и почтенный мой друг Николай Иванович! Но, признаться, я и до сих пор не отвык от мысли, что могу надоесть тебе моею перепискою — однако ж несмотря ни на что не только пишу к тебе, но даже намерен надавать комиссий — не сомневаясь в дружбе твоей, я уверен, что ты ими не потяготишься. Все сии комиссии заключаются в одной, потрудись раздать прилагаемые у сего экземпляры новой моей комедии по надписям — а именно — А. Н. Оленину, Крылову, Лобанову, Глинке, обществу Л. Р. С., Жуковскому, Батюшкову, Воейкову, Шаховскому, Савве Михайловичу и Соломону Михайловичу Мартыновым — и приятелю твоему Николаю Ивановичу Гнедичу.

Если вздумаешь ко мне когда-нибудь писать, скажи мне слова два, что поделывает мой аттестат, который я уже месяцев шесть представил при письме моем А. Н.!

Я сделался теперь совсем московским жителем, служу при здешнем главнокомандующем, который поручил мне все производство дел по здешнему театру — а сие бо есть море пространное, в нем же гада несть числа. Впрочем, так как батюшка едет жить в Петербург, то я почти каждый год буду к вам на несколько недель приезжать.

Если к моей комедии будут так же милостивы в Петербурге, как снисходительны были здесь — то я, может быть, зимою ужасну вас пятиактною комедиею в стихах.

Скажи, пожалуйста, что это за беснующийся Бестужев? Что пасынок отечества не поместил меня в свою

книгу, это еще не беда, я этому литературному мерзавцу не хотел бы и за это быть обязан — но почему цепная его собака, Бестужев, заставляет меня вместе с другими молодыми людьми благодарить Катенина за его протекцию? Долго ли вся эта парнасская чернь, для которых «Сын отечества» служит толкучим рынком, будет страмить нашу словесность? Кулачные бои должны бы быть запрещены не только в городах, но и в журналах, — впрочем, и то сказать — без «Сына отечества» обойтись не можно — в словесности, так же как и в городах, необходимы места для стоку всякой нечистоты. Чем более мерзостей будут в нем печатать, тем менее их будет в других журналах.

Я взял другое перо — чтоб кончить мое письмо, — одним и тем же писать о Грече и о дружбе невозможно. Прощай, мой почтенный и любезный друг Николай Иванович, будь здоров и люби отсутствующего твоего приятеля — он душою к тебе привязан.

Навсегда твой *М. Загоскин.*

Н. И. ГНЕДИЧУ

9 октября 1822 г.

Последнее письмо твое, почтенный и любезный друг Николай Иванович, от 3 числа сего месяца я получил. Отвечаю на него и отдаю отчет: Ширяеву я объявил, что ты не согласен сделать известную уступку, 20-ть рублей. Но он отдал мне только пятнадцать рублей, то есть из двадцати вычел 5-ть за пересылку остальных двадцати экземпляров через Плавильщикова. Я продал 7-мь экземпляров на веленевой бумаге, отослал к князю Вяземскому одиннадцать — 10-ть для продажи, один в подарок. Затем у меня остается два. Деньги за 7-мь экземпляров за вычетом платы на почту — 45 бумажками и 80 коп. серебром, то есть 47 <рублей> 88 копеек, а вместе с ними 15 рублей, полученные от Ширяева, посылаю — и затем остаюсь тебе должен 10 копеек медью. Каков счетец? Не правда ли, что я гожусь в бухгалтеры?

Известие о твоих книгах будет на нынешней неделе напечатано в газетах. А Ширяеву не нужны ни Ба-

тюшков, ни «Шильонский узник» — у него оба сии сочинения есть.

Говоря мне о новых произведениях князя Шаховского, ты упрекаешь меня, что я заснул на лаврах. Неправда, мой друг, — во-первых, потому что я не заслужил еще и листочка лаврового, следственно, не могу иметь такой роскошной постели, во-вторых, потому что я продолжаю марать бумагу — теперь занимаюсь безделюшками, но месяца через два примусь за большое дело, которое дай бог кончить в один год.

Не можешь ли, любезный друг, узнать как-нибудь от Алексея Николаевича, буду ли я в следующий чин представлен и могу ли надеяться получить его с старшинством. Это мне отменно нужно знать вот почему. Если я не могу быть произведен по библиотеке, то попросил бы нынешнего моего начальника представить меня в чин, если же могу — то, может быть, удостоился бы другой какой-нибудь награды — неприятно по двум представлениям получить одну и ту же награду.

Прощай, мой милый друг — обнимаю тебя от всей души — поклонись от меня тем, кои меня помнят. Будь здоров и живи для чести своего отечества.

Твой друг *М. Загоскин.*

NB. Когда остальные экземпляры продам — тотчас вышлю тебе деньги, à propos de bottes *, не знаешь ли, кто готовится в «Сыне отечества» поразить меня правдивою или неправдивою Критикою?

Н. И. ГНЕДИЧУ

15 апреля 1823 г.

Неправда, мой почтенный и любезный Николай Иванович! ты не заставишь меня никогда сказать тебе, как сказал тот старик, о котором ты мне пишешь: «Бог тебя простит!» — все мои стихи, порядочные, плохие, скверные, какие бы они ни были, буду отсылать к тебе — читать на просторе не тяжело и дрянь; итак, я не боюсь обременить тебя, тем более что и муза моя не слишком плодовита. Я считаю себя даже обязанным

* ни к селу ни к городу *(фр.)*.

доставлять тебе все мои маранья. Если я когда-нибудь напишу хорошую комедию в стихах, то этим буду обязан именно тебе. Дружеское твое снисхождение к первым моим стихотворным безделкам, твое одобрение поддержало меня на сем неизъяснимо трудном для меня пути; не можешь вообразить, каких ужаснейших трудов стоило мне приучить себя писать стихи — и если б ты принял холодно первое мое послание, то я, от отчаяния, заклялся бы век их не писать. Если в Обществе будут на меня досадовать, что «Послание к Людмилу» напечатано в «Вестнике Европы», то уверь их, что это сделано совершенно без моего ведома. Не худо, если бы ты при первой встрече с почтенным Ф. Н. Глинкою сказал ему об этом.

Итак, мой милый, видно, в следующий год я буду представлен князем Голицыным, в таком случае мне очень было бы нужно, чтобы Алексей Николаевич возвратил мне мой аттестат. Правду ты говоришь — мне радоваться нечего, что я сделан членом Московской дирекции — минуты нет свободной, а когда порассмотришь, в каком нищенском и бедственном виде наш с Кокошкиным театр, то с горя плакать хочется. Ни денег, ни гардеробу, ни декораций — словом, ничего, кроме долгов, беспорядков и презрения, которое успели возбудить в публике к русскому театру, сделав из него какую-то собачию комедию. Но, может быть, он как-нибудь поправится. Есть истинные таланты — большие надежды — и один актер, какого почли бы находкою и на парижском театре. Он был актером в Полтаве, непостижимое разнообразие — ум, натура, искусство, в нем есть все, кроме чванства и уверенности в своем даровании — играя превосходно, он думает, что только что сносен.

Прощай, мой любезный и почтенный друг — тысячу раз тебя заочно обнимаю. Всей душою твой

М. Загоскин.

М. Е. ЛОБАНОВУ

3 октября 1823 г.

Любезный друг Михайла Астафьевич. Письмо твое я получил с большим удовольствием, но, признаюсь, с большим неудовольствием отвечаю на оное, потому что

не могу сказать: «Изволь, мой друг! просьба твоя справедлива — получай деньги и присылай скорей трагедию». Грешно тебе посомниться в дружбе моей, следовательно, ты не посомнишься и в том, что я поспешил бы порадовать тебя хорошим известием. Кокошкин также будет отвечать к тебе, вот на чем основывает он совершенную невозможность согласиться на твое требование: в отделении театра московского от санкт-петербургской дирекции именно сказано, что все пьесы, приобретенные одним из сих театров, должны уже поступать без всякого возмездия на другой, и посему театр петербургский, купив твой перевод и располагая им как собственностию своею, должен его безденежно доставить здешней дирекции. Если б, по крайней мере, московский театр благоденствовал, то, может быть, нашлись бы какие-нибудь способы отступить от сего правила, но в то самое время, когда князь Голицын в докладной записке изъясняет государю, что без его пособия московский театр существовать никак не может, делать расходы, именно запрещенные в высочайше утвержденном положении, было бы не только неосторожно, но даже и опасно для конторы — а сверх того, веришь ли богу, милый друг,— мы так бедны, так бедны, что я и описать тебе не могу. Затеи большие, способы отменно малые, хорошая публика была отучена до такой степени от русского театра прежнею его запачканностию, что до сих пор считает почти преступлением быть в русском театре. Боже тебя сохрани, если ты подумаешь, что твой старинный друг не хотел от всей души быть для тебя полезным, но ты должен теперь видеть сам, что это не моя вина. Что сказать мне о себе — я кляну иногда судьбу мою — вообрази: минуты нет свободной — я от этих дрянных театральных дел не пишу ничего — начатая комедия не подвигается вперед. Поклонись доброму Ивану Андреевичу и всем бывшим сослуживцам моим. Николаю Ивановичу Гнедичу на будущей почте буду писать.

М. Е. ЛОБАНОВУ

13 ноября 1823 г.

Любезный друг Михайла Астафьевич. Два письма твои от 30 октября и 6 ноября получил. Сегодня посылаю в почтамт за экземплярами «Федры». Напрасно, ми-

лый друг, ты думаешь, что я поскучаю твоей комиссиею; я душевно рад, когда приятелям моим могу на что-нибудь пригодиться. Я роздал несколько присланных тобой листочков, но подписка идет не слишком успешно; впрочем, я надеюсь, что Москва не до такой степени полутатарский город, чтоб сто экземпляров хорошего перевода одной из лучших трагедий Расиновых не были раскуплены. Завтра, а может быть и нынче, я отвезу несколько экземпляров в книжную лавку. Лишь только я посберу порядочную сумму денег, то тот же час к тебе отправлю.

Ах, мой милый друг, как ты счастлив, что можешь заниматься словесностию! пожалей о моей окаянной доле! — вот три месяца, как у меня начата комедия, план обдуман, первые сцены написаны — стихи, кажется, не дурны — одним словом, я предвижу, что это будет лучшая моя комедия — т. е. первая, которой я буду сам доволен, и несмотря на то, я должен оставить мой труд; хлопоты мои театральные час от часу становятся несноснее, с уменьшением денежных способов прибавляются постоянно новые заботы, но делать нечего — потерплю. Одним или другим образом, а это должно скоро кончиться. Обними за меня Н. И. Гнедича и Ив. Анд. Крылова.Скажи последнему, что, несмотря на то что мы с ним не переписываемся, я люблю его как близкого родного, я готов о чем хочешь биться об заклад, что и он меня также любит.

И. И. КОЗЛОВУ

29 апреля 1825 г.

Почтеннейший Иван Иванович!

Я сейчас прочел поэму вашу «Чернец» и хотя не имею чести вас знать, но решил писать к вам и благодарить за неизъяснимое удовольствие, которое доставило мне сие стихотворение, исполненное истинной поэзии и глубокого чувства. Вы сделали чудо: заставили плакать комического писателя. Да, почтеннейший Иван Иванович, я плакал, читая поэму вашу, и никогда не забуду этих слез. Поверьте, это не сентиментальная фраза, я всегда их ненавидел; я говорю то, что чувствую в сию минуту, и каждый из петербургских моих приятелей удостоверит вас, что я не умею говорить

одного, а чувствовать другое. Будучи увлечен первым движением, я решился к вам писать и вижу теперь, что в письме моем нет никакой связи; досадуйте за это на себя: когда б я менее был растроган поэмой вашею, то, вероятно, письмо мое было бы складнее; точно так же, если б вы были здесь, то я не стал бы искать случая познакомиться с вами, а просто бы прибежал обнять вас. Быть может, это показалось бы для вас столь же странным, как и письмо мое; но я уверен, что не поступил бы иначе. Извините, если я не кончу письмо мое обыкновенным образом и не назовусь слугою человека, которого желал бы назвать своим другом.

Искренно почитающий вас и душою преданный

М. Загоскин.

М. Е. ЛОБАНОВУ

29 мая 1825 г.

Любезный и милый друг Михайла Астафьевич. Тысяча раз тебе спасибо! Ты не забываешь старых друзей своих. Письмо твое весьма меня обрадовало. Ты здоров, а покупавшись в море, еще будешь здоровее, Александра Антоновна также. Ты любишь меня по-прежнему — ты пишешь для театра — все это читать мне было очень весело — теперь позволь отвечать методически на письменные твои запросы. 1-е. Гнедича я видел проездом, с ним едут два молодца, оба такие краснощекие и толстые, что трудно отгадать, от чего помогут им Кавказские воды. Николай Иванович худ, бледен и, кажется, едет на Кавказ не для того только, чтоб полюбоваться южным краем России. 2-е. Слухи о моем переходе в Петербург не совсем пустые. Может быть, действительно, я буду директором, и самым неожиданным для меня образом, я и во сне не мог об этом видеть; но, впрочем, до тех пор пока я не прочту именного указа, я сам этому плохо верю. Ты пишешь, мой друг, что в Петербурге при театре худо — поверь, что и в Москве не лучше. В Петербурге связаны руки, а здесь и руки и ноги; в Петербурге я (может быть) буду главным начальником, хотя под ведением Комитета, а здесь я только член; в Москве я получаю только 2400 руб. жалованья, а в Пе-

тербурге 10 000 руб., а сверх того, могу шагнуть по службе так, что приятели мои ахнут от удивления, а враги охнут от зависти. Впрочем, все это воздушные замки. Итак, полно о них говорить. Если приеду к вам в Питер, то привезу с собой вырученные за твою «Федру» деньги, если останусь, то перешлю тебе — их больно мало, но делать нечего, татары не охотники до словесности, а полуфранцузы любят только французскую. 3-е. Ты написал или перевел две пьесы — для чего же не уведомить, какие именно? А я и хотел бы тебе рассказать подробнее о моих занятиях, да нечего рассказывать. Я могу марать бумагу только по постам, а в мясоеды некогда подумать о литературе. Великим постом я почти кончил второй акт «Благородного театра», а с тех пор и за перо не брался. Прощай, мой милый друг, если бог приведет увидеться, то мы наговоримся досыта. Если же мне на роду написано прокиснуть в Москве, то хоть изредка откликайся.

Н. И. ГНЕДИЧУ

6 ноября 1826 г.

Почтенный и любезнейший друг Николай Иванович. От искреннего сердца и души поздравляю тебя и всех русских с окончанием твоего знаменитого труда. Хотя теперь тебе нечего бояться смерти — переводчик, и едва ли не лучший, царя эпических поэтов умереть не может,— но все же лучше, если ты годков пятьдесят еще поживешь для друзей своих и для чести русской словесности.

Комиссию твою я исполнил; но не совсем так, как тебе хотелось; я с Измайловым не знаком, но знаю, что он живет в Верее в собственном доме и долго еще не будет в Москву, а посему я и решился отправить письмо твое по почте, а не дожидаться его возвращения. Извини, мой друг, что я пишу не лучше модной барыни, которая стыдится иметь хороший почерк; я теперь в конторе, меня теребят направо и налево, я спешу, тороплюсь и вру что ни попало.

Мне нечего сказать тебе о моих занятиях. Они все те же. Едва ли в месяц раз удается мне написать несколько стихов. Костюмы, декорации, сборы, ссоры и всякие закулисные дрязги до того завладели моей голо-

вой, что для бедных муз не осталось в ней и уголка свободного. Театр называют иногда храмом муз; а по мне, так он храм шлюх, поющих, танцующих и говорящих, которые ссорятся, интригуют, шумят, пищат и выводят из терпения раз по пяти в неделю вашего покорного слугу. Есть, конечно, исключения; но они так же редки, как и отличные таланты. Если б не сумасшедшая страсть моя к театру, то я бы давно раскланялся с сим почтенным сословием; да прошу доказать пьянице, что голова болит с похмелья оттого, что он не перестает пить. Ему все кажется, что он когда-нибудь привыкнет к хмельному.

Прощай, мой друг; обними за меня любезнейшего Ивана Андреевича и не забывай друга, который весьма дорого ценит приязнь твою.

Твой *М. Загоскин.*

Н. И. ГНЕДИЧУ

24 ноября 1826 г.

Позволь, любезный и милый друг мой Николай Иванович, поздравить тебя с монаршею милостию — ты не можешь себе представить, или лучше сказать, ты можешь себе представить, как я обрадовался. Слава монарху, умеющему ценить и награждать таланты, слава и писателю, который не происками, но трудами и талантами заслужил награду. Так, мой друг. Если б я был и врагом твоим, то и тогда бы в душе моей поблагодарил государя, который в лице твоем наградил всех отечественных писателей. Теперь судьба твоя некоторым образом обеспечена. Но я уверен, что друг мой не заснет на лаврах, хотя эта постеля мягка и соблазнительна.

Прощай, мой милый Николай Иванович, будь здоров и пожалей обо мне — ты перевел Омира, а я учусь быть скоморохом.

Обнимаю тебя.

Твой *М. Загоскин.*

Кто помнит и любит меня, того от всей души обнимаю.

М. Е. ЛОБАНОВУ

9 января 1830 г.

Письмо твое, любезный друг Михайла Астафьевич, сейчас получил и сейчас отвечаю на оное. Во-первых, я давно уже послал через Н. И. Греча тебе, Крылову и Гнедичу экземпляры «Юрия Милославского», а из письма твоего вижу, что ты еще не получал экземпляра; потрудись потребовать его от Греча; во-вторых, я никогда не переставал любить тебя, ты из весьма ограниченного числа людей, которых я уважаю в душе моей и люблю как самых близких родственников. Если б бог привел меня побывать в Петербурге, ты увидел бы и почувствовали бы твои бока, умею ли я прижимать к сердцу старинных друзей моих. Ты спрашиваешь меня, любезный друг, что может для меня быть приятнее, получить ли дар академии или быть ее членом? — разумеется, быть членом! — я эту честь почту самой лестной для меня наградою; я, надеясь на твою дружбу и благорасположение почтенного президента, буду ожидать с нетерпением истинно приятной для меня вести — что я могу уже назвать большую часть прежних моих сослуживцев моими сочленами.

Я отгадал твою мысль — один экземпляр моего романа отправлен уже для поднесения государыне императрице через Жуковского — если бы он имел такой же успех у вас, как здесь, то мне ничего не осталось бы желать; в три дня разошлось пятьсот экземпляров — и кажется, скоро дойдет до второго издания — а меж тем я начал уже другой роман: «Русские в 1812 году». Ты удивляешься, почему я, так сказать, прирос к Москве. Что делать, любезный друг, жена моя (которая кланяется тебе и твоей супруге) шестой год больна и не может проехать двух верст в карете; следовательно, я не могу и думать переменить мое местопребывание. А съездить — так — на время, для этого надобно какой-нибудь законный предлог — ты не можешь вообразить, как мне хочется самому взглянуть на Петербург и на петербургских друзей моих! — повторяю еще раз: что же делать? Не так живи, как хочешь, а так, как бог велел. Прощай, мой друг! Поклонись от меня И. А. Крылову, Гнедичу, Востокову и всем, кто меня помнит. Я чрезвычайно занят, но это не помешает мне отвечать на каждое письмо твое и хотя письменно обнимать тебя и целовать ручку у твоей почтенной супруги.

У меня твоих денег 80 руб., да, может быть, рублей 30 или 40 еще вытяну от книгопродавцев — беда отдавать на комиссию — это разбойники — обсчитывают, обманывают, а что всего хуже, не стараются продавать. Я не отдавал на комиссию «Милославского», и очень умно сделал.

Н. И. ГНЕДИЧУ

14 января 1830 г.

Почтенный и любезный друг Николай Иванович! Письмо твое и при оном несколько экземпляров твоей «Илиады» четвертого дня получил и, роздав их по надписям, спешу принести тебе искреннюю и душевную мою благодарность за драгоценный твой подарок. Ты соорудил себе бессмертный памятник и наряду с Фоссом, которым гордится Германия, останешься навсегда в числе людей (к несчастью, весьма ограниченном), которых имена и позднейшее потомство произносит с уважением и благодарностию.

Издание твоего превосходного перевода отменно хорошо и нравится мне более богатого издания трагедий Озерова, несмотря на то что в сем последнем много картин.

Из письма Лобанова узнал, что Н. И. Греч не очень торопился исполнить мою комиссию и доставить тебе и другим петербургским приятелям экземпляр моего романа. Я по какому-то глупому добродушию полагал, что товарищ Булгарина, с которым я осмелился вступить в состязание, сохранил еще ко мне прежнюю приязнь, — видно, я век останусь ребенком.

Что тебе сказать, мой милый друг, о моем московском житье-бытье? — единобразие, скука, тоска и какая-то *растительная* жизнь — разумеется, за исключением нескольких приятных часов — вот характеристика моего здешнего существования. Театральные хлопоты и сплетни надоели мне до того, что я дал честное себе слово не писать ничего для театра, и когда не буду служить при дирекции, то забуду навсегда о существовании в Москве театра, для которой довольно бы было и одной медвежьей травли.

Ты, я думаю, читал биографию Грибоедова, написанную автором «Выжигина» — по мне — умора! — Он

(т. е. автор «Выжигина»), потеряв Грибоедова, осиротел навеки! — Фаддей Булгарин осиротел навеки!! — Ах он собачий сын! — Фаддей Булгарин, был *другом* Грибоедова, жил с ним *новой жизнию!!* — Как не вспомнить русскую пословицу, в которой говорится о банном листе.

Прощай, мой милый друг. Поклонись от меня всем моим приятелям библиотечным и продолжай любить того, кто уважает и любит тебя нелицемерно.

Твой *М. Загоскин.*

В. А. ЖУКОВСКОМУ

20 января 1830 г.

Милостивый государь Василий Андреевич!

Я получил истинно обязательное письмо ваше и спешу принести вам чувствительнейшую мою благодарность за участие, принятое вами в моем романе, а еще за лестные и бесценные для меня похвалы, которыми вы порадовали мою душу. Мнение ваше, что можно написать совершенно исторический и занимательный роман из первых годов царствования Михаила Феодоровича, не подлежит ни малейшему сомнению, и я непременно им воспользуюсь, когда кончу начатый мною роман.

Вам кажется почти невозможным написать роман, в коем должно вывести на сцену наших современников, с которыми мы так близки и из которых многие еще живы и теперь. Вот что я скажу вам на это. Исторические романы можно разделять на два рода: *одни* имеют предметом своим исторические лица, которые автор заставляет действовать в своем романе и на поприще общественной жизни, и в домашнем быту; *другие* имеют основанием какую-нибудь известную эпоху в истории; в них автор не выводит на сцену именно то или другое лицо, но старается характеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы в эпоху, взятую им в основание его романа. К сему последнему разряду принадлежат «Юрий Милославский» и роман, которым я теперь занимаюсь. И вот почему я не мог их назвать иначе, как «Русские в 1612-м» и «Русские в 1812 году». Если действующие лица, выведенные мной в романе

«Милославский», походят на русских 1612 года; если Юрий, Алексей, Шалонский, Туренин, юродивый, земский ярыжка могут назваться представителями различных гражданских состояний своего времени, то, несмотря на то что сии лица не исторические, я не мог дать вернейшего названия моему роману. Теперь, я думаю, вы согласитесь, почтеннейший Василий Андреевич, что я могу написать сего рода исторический роман нашего времени, не заставляя действовать людей, которые, как наши современники, не могут ни в каком случае занимать первые места в романе — о них можно упоминать в рассказе и даже показывать на втором плане, но с величайшей осмотрительностию.

Извините, милостивый государь Василий Андреевич, если я утомил вас моим многоречием. Позвольте еще раз принести вам живейшую мою благодарность за участие, принятое вами в моем первом опыте. Ваше хорошее о нем мнение не защитит его от ругательств Булгарина или Греча — но что мне до мнения сих литературных торгашей, когда вы довольны моим романом?

С истинным и душевным почтением и совершенной преданностию честь имею остаться вашим покорнейшим слугою — *Михайла Загоскин.*

А. С. ПУШКИНУ

20—25 января 1830 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Не нужно, кажется, уверять вас, что я с сердечною благодарностию и величайшим удовольствием прочел обязательное письмо ваше. Вам грешно — и даже смешно бы было принять за комплимент, если я вам скажу, что, читая ваши похвалы моему роману, я несколько минут был причастен тяжкому греху — гордости. Да, почтенный Александр Сергеевич! до последнего вашего приезда в Москву мы были только *знакомы* с вами; но из всех ваших задушевных приятелей никто, верно, не уважал более моего превосходные произведения ваши и даже (упрекайте меня, если хотите, в самолюбии) не все приятели ваши умели ценить высокий ваш талант, как человек, которого вы полагали, может быть, в числе литературных врагов ваших. Мне очень приятно, что г-н Погорельский хочет написать рецензию на мой ро-

ман; но признаюсь, был бы еще довольнее, если б этот разбор вам не понравился и вы бы сделали то, о чем мне намекнул в своем письме Филипп Филиппович Вигель.

Прощайте! Как жаль, что не могу обнять вас иначе как мысленно; но если я прикован к Москве, то вы не век будете жить в Петербурге — и я уверен, что, приехав сюда, захотите показать мне новый драгоценный знак для меня приязни вашей — то есть пришлете мне сказать, что вы в Москве.

Будьте здоровы, продолжайте быть украшением словесности нашей и полюбите, хотя когда-нибудь, искренно вас уважающего — и от души готового быть другом вашим

покорнейшего слугу *М. Загоскина.*

Сейчас прочел рецензию на меня в «Северной пчеле». Может быть, Булгарин и прав — да нехорошо кричать: «Пожалуйте к нам, господа! милости просим! наш товар лучше!»

Н. И. ГНЕДИЧУ

22 января 1830 г.

Истинно дружеское письмо твое, любезный и почтеннейший Николай Иванович, я имел удовольствие получить; не буду говорить тебе, с какой радостию я прочел твои похвалы моему роману; для всякого должно быть дорого мнение такого писателя, как ты, но для меня, который знает твой образованный вкус, твою строгую разборчивость и пламенную твою душу, не терпящую холодной посредственности,— похвалы твои бесценны. Первое твое замечание совершенно справедливо, а о втором я немного с тобой поспорю. Не понимаю сам, как мог я, имея в руках своих подробное описание Запорожской Сечи, в котором упоминается не только об их законах, военных подвигах, политическом существовании, но даже о мелких подробностях, касающихся до их домашнего быта, обычаев и нравов, сделать такой непростительный анахронизм, виноват, проглядел кудри! Во втором издании непременно исправлю. Но волжскую песню он петь весьма может — он родился в Царицыне, был долго волжским рыбаком и, вероятно, дол-

жен запеть скорее какую-нибудь песню, затверженную им в молодости, чем другую. Я даже хотел с первого приступа показать, что он не украинский казак; я в нем хотел представить, во-первых, чистого русского, а во-вторых, то, что французы зовут officier de fortune *, он служил и у поляков, и против поляков, был украинским казаком и запорожцем, а наконец вступил в нижегородское ополчение — может быть, я не хорошо выполнил свое намерение, но волжская песня попала в роман не ошибкою. Я охотно бы тебя послушался и назвал его просто казаком, если б для этого не должен был переделать весьма многое — впрочем, если я исправлю первую ошибку, и кудри перестанут развеваться — то, кажется, это лицо не будет анахронизмом — все, что он говорит относительно к своему званию запорожского казака, основано на фактах. Вчера я заглянул в «Северную пчелу»: кажется, мне в ней достается порядком. Неутешный друг Грибоедова, чувствительный Фаддей — ополчился против дерзкого русского, который хочет писать о русских не хуже поляка и накануне выхода в свет «Дмитрия Самозванца» ругать сочинение, написанное в том же роде. Ну есть ли стыд в этих литературных торгашах! И я хорош! Упоминать о стыде, когда дело идет о парнасских лоскутниках Грече и Булгарине, которые, не краснея, хвалят сами себя; не краснея, называют невежами и педантами всех тех, коим не нравится «Выжигин»; не краснея, зазывают, как мелкие торгаши на толкучем рынке, всех проходящих в свою литературную лавочку. Не краснея, гравируют свои портреты и, не краснея, называют друзьями своими известных людей, которые не вопиют на сию обидную клевету потому только, что мертвые отвечать не могут. Извини, мой друг, что я запачкал письмо мое именами сих журнальных гаеров. Прости мне, почтенный Николай Иванович, еще раз благодарю тебя за похвалы, которыми я горжусь так же, как твоей дружбою — дай бог, чтоб лет через двести сказали, говоря о том, кто усыновил нам Гомера: «в числе друзей его был Загоскин, который, вероятно, также был писателем».

* офицер из рядовых, выслужившийся *(фр.)*.

Н. И. ГНЕДИЧУ

4 февраля 1830 г.

Любезный и почтенный друг Николай Иванович!

Хочешь ли одолжить меня? Извини, что начал таким глупым вопросом! — мне грешно сомневаться в искреннем твоем желании оказать мне услугу всегда, когда это от тебя зависит. Вот в чем дело: Алексей Николаевич вызвался сам сочинить для моего романа виньетки и велит их выгравировать в Академии. Второе издание моего романа печатается, потому что уже более недели весь первый завод вышел. До нас дошли слухи, что Алексей Николаевич болен, следовательно, весьма натурально, что он не занимался этой безделкою — и тот, кому я продал второе издание, крайне беспокоится, что выход его в свет будет задержан картинками. Сделай дружбу, узнай, начаты ли гравироваться виньетки. Если к этому уже приступлено — то нельзя ли попросить, чтобы сколь возможно поспешили окончанием. Я готов заплатить что угодно художникам, только бы они поторопились. Если картинки не начаты — то потрудись меня уведомить, и так как в этаком случае нет надежды, чтобы они поспели к концу великого поста, то мне придется выдать второе издание без картинок. Я с нетерпением буду ожидать твоего ответа, а так как мне время дорого, то вперед прошу тебя написать хотя бы только два слова.

Прощай, мой бесценный и милый друг. Дай бог тебе доброго здоровья и новых лавров — только не засыпай под их обольстительною тению и продолжай обогащать нашу небогатую словесность.

Твой искренний друг тысячу раз тебя обнимает.

М. Загоскин.

М. Е. ЛОБАНОВУ

9 апреля 1830 г.

Поздравляю тебя с праздником, мой милый и сердечный друг Михайла Астафьевич, и вместо красного яичка навязываю на тебя комиссию. Сделай дружбу,

доставь прилагаемый у сего экземпляр «Юрия Милославского» г. Олину. Он присылал мне свой журнал, следовательно, я у него в долгу. Да еще покорнейшая просьба с коленопреклонением и земными поклонами. Напиши мне хоть только два слова и в этих двух словах уведомь меня, сколько полагают в библиотеке дублетов — мне помнится, будто очень много. Если хочешь меня душевно одолжить, то поторопись отвечать на сей вопрос, разрешение которого для меня чрезвычайно важно. Что тебе сказать о моем московском житье? Служба театральная сделалась для меня так противна, так тошна, что и описать не могу. Только и отвожу душу тем, что мараю бумаги. В бытность свою в Москве император призывал меня к себе, проговорил со мной в своем кабинете с полчаса и осыпал ласками; это самая лестная награда за мои литературные труды, и я, конечно, не имел никакого права надеяться заслужить ее. Скажу тебе еще диковинку насчет второго издания моего романа. Отгадаешь ли, что в первый день, как оно появилось в свете, его взяли 750 экземпляров. Я и сам не верил, но издатель показал мне даже деньги. Слава богу! Это доказывает, что и у нас начинают любить читать русские книги.

Прощай, мой милый друг! Целую тебя от всей души, а у почтенной твоей супруги обе ручки.

Экземпляр я посылаю прямо на имя Олина.

Н. И. ГНЕДИЧУ

27 апреля 1830 г.

Любезный и почтенный друг Николай Иванович.

Надоел я тебе моими комиссиями; но кого же мне и мучить, как не тебя, моего доброго, искреннего и снисходительного друга? Вот в чем дело: Алексей Николаевич хотел мне сделать милость приказать выгравировать три виньетки ко второму изданию моего романа — но, как видно, за них еще не принимались. А так как второе издание все уже вышло и я должен приступать к третьему — то сделай одолжение, узнай, поспеют ли виньетки к августу месяцу. Если нет, то мне их не надобно. Потому что откладывать далее третьего издания не могу — а четвертое постыжусь и печатать — надобно знать и совесть.

Я меж тем исполняю твое приказание, т. е. пишу, пишу роман, но я месяц был болен и не принимался за перо, да и, надобно сказать, взялся я за тяжкое дело — с этими современниками трудно ладить — скажешь что-нибудь об одном, говори и о другом, а не то рассердятся. Однако ж я надежды не теряю — бог милостив. Авось, я с ними управлюсь.

Прощай, мой милый друг — поклонись от меня всем, кто меня помнит.

Душою тебя любящий

Михаил Загоскин.

М. Е. ЛОБАНОВУ

23 мая 1830 г.

Благодарю тебя, мой милый и любезный друг Михайла Астафьевич, за дружеское письмо твое. Буду тебе отвечать по пунктам. Во-первых, посылаю к тебе восемьдесят рублей за проданные экземпляры «Федры» — когда сберу еще что-нибудь, то доставлю. 2-е. Я вижу, что Александру Семеновичу неугодно назвать меня членом Академии — и хотя, скажу откровенно, мне это сделало бы большое удовольствие, но, несмотря на это, я не намерен употреблять никаких посторонних средств, чтоб попасть в Академию. Когда напечатаю мой второй роман и собрание театральных сочинений, то пошлю их к Александру Семеновичу — как к уважаемому мной и истинно почтенному литератору — а вовсе не так, как к председателю Академии. Или я стóю того, чтобы быть в Академии, или нет; если стою — стыдно Академии, что я не членом; если не стою, стыдно мне добиваться незаслуженной чести. Пункт 3-й, второго издания «Милославского» нет у меня ни книжки — а у издателя оно все разошлось — третье издание будет, кажется, покрасивее, и я дарю тебя вперед экземпляром — и 4) замечания твои на слова Минина были бы совершенно справедливы — но они не мои — я взял их из летописи Палицына, мне они и самому кажутся слишком затейливыми; но если я поправлю — хорошо ли это будет? Ну, если Палицын сохранил историческую верность, приводя речь Минина? — вправе ли я заменить ее своей собственною? 5) Как искреннему моему другу тебе, вер-

но, будет приятно знать, что «Милославский» переведен на французский и переводится на немецкий и английский языки. 6) Я очень скучаю театральной службою и, конечно, если не будет никаких перемен, оставлю ее — но Москвы оставить не могу. Моя Анета шесть лет не выезжает из дома и не только семьсот, но даже двух верст не может сделать в карете. И, наконец, 7) я пишу,— и кровавый пот капает с чела моего. За трудное дело я взялся — с современниками ладить нелегко — того и гляди, что кого-нибудь обидишь — а судей-то будет, судей! — что читатель, то критик — «зачем он описал то-то, а не то-то» — «вывел того-то, а не этого» — «я сам это видел — я сам тут был... следовательно, видел все и лучше и вернее автора и проч. и проч.» — как подумаю — мороз по коже подирает.

М. Е. ЛОБАНОВУ

2 февраля 1831 г.

Точно, мой милый друг Михайло Евстафьевич, сердце твое не дало промаха — я благодаря бога живехонек — был болен, но не холерой, а теперь здоров, назло Булгарину, и толст, вопреки душевным желаниям господина Греча. Ты хочешь, чтобы я прислал к тебе еще отрывок из моего романа. Друг мой! Досадно мне — я не могу выполнить твоего желания — не гневайся, а выслушай. Во-первых, роман мой печатается, два тома уже готовы, и я желал бы, чтоб друзья мои с ним познакомились не по отрывкам, но прочитав сряду все четыре тома — все четыре тома!.. Требование весьма неумеренно; но я желаю этого. Во-вторых, из всего романа можно было напечатать только тот отрывок, который уже напечатан — он один представляет что-то целое, и наконец, в-третьих, несмотря на мое желание угодить тебе — я боюсь рассердить многих издателей альманахов и некоторых журналистов, которым я отказал в том же самом и по той же самой причине. Сто тысяч дать за роман в 4 частях невозможно, у нас не так еще много читателей, но я честь имею уведомить, что продал право напечатать два издания моего нового романа за сорок тысяч рублей — не на вексель, но на чистые деньги. Ко мне писал ваш Заикин — отвечать мне ему, право, некогда — а если хочешь сделать мне дружбу, то уве-

домъ его, что он может адресоваться для покупки экземпляров к издателю моему, содержателю типографии Николаю Степановичу Степанову, на валу близь Пречистенских ворот. Когда роман мой отпечатается, я, разумеется, пришлю один экземпляр к А. С. Шишкову, но как литератору, а не председателю Академии. Еще раз, мой милый друг, повторяю тебе: за большую честь почту быть твоим сотоварищем — но не сделаю для этого ни шагу. Я по службе никогда не хлопотал, а по литературе и подавно не буду. Мне, право, совестно, когда погляжу на мое маранье, ты пишешь и складно, и умно, и красиво — а мое письмо срам, да и только!.. Поклон от меня князю А. А. Шаховскому, Н. И. Гнедичу, И. А. Крылову, В. А. Жуковскому и всему Петербургу, если правда, что он меня не любит. Не забудь также напомнить обо мне почтенному семейству Алексея Николаевича. Прощай, мой милый друг, дай-то бог, чтоб вторая моя попытка понравилась тебе так же, как первая.

М. Е. ЛОБАНОВУ

13 декабря 1832 г.

От всей души благодарю тебя, почтенный и любезный друг мой Михайло Астафьевич, за приятное для меня уведомление об избрании моем в действительные члены русской Академии — пока это еще не кончено, я не называю тебя моим сотоварищем, но, со всей откровенностию старого приятеля, признаюсь тебе, что эта новость меня порадовала. Может быть, нынешней зимою мне удастся обнять тебя и наговориться с тобою вдоволь. Что сказать тебе о моем житье-бытье? Хлопочу по-прежнему; театр одни хвалят, другие ругают — меня одни любят, другие нет — надеюсь, что число первых больше, но из числа последних самый злейший мой враг Полевой — потому что я не пускаю его даром в театр и презираю как подлейшего из людей — поверишь, мой друг, что этот крикун-либерал добился посредством своих покровителей права ругать всех, кого захочет, — и в то же время запрещения для всех отвечать на его ругательства; ты не веришь этой неимоверной литературной монополии, однако же это истинная правда. Я писал уже о сем официально к министру просвеще-

ния — ответа еще нет. Полевой ругает меня и дирекцию, а защищать и меня и ее цензура не позволяет — и не подумай, что не позволяет потому, что антикритика дерзка или обидна — нет! Потому что не позволено ничего писать против Полевого, ибо так угодно С. С. Уварову. Если министр просвещения не защитит меня против этого московского демагога, который ненавидит меня за то, что я предан правительству и люблю мое отечество, то я буду просить защиты у самого государя. Прощай, мой милый друг, пиши, трудись и будь полезнее меня для русской словесности — а мне почти за перо некогда приняться... Здесь давали оперу «Вадим» — в 6-е представление театр набит битком — и подлинно — спектакль по всему европейский, а говорят, Полевой печатает ужасные ругательства и отвечать на них нельзя!!! — где мы?

М. Е. ЛОБАНОВУ

<1833 г.>

Благодарю тебя, мой любезный и старый друг, за твое письмо и присланную книжку о выставке Академии художеств, я прочел ее с большим удовольствием. К сожалению, я не могу тебя лично поблагодарить за это. Нынешним постом я не намерен делать моего обыкновенного вояжа в Питер. Дела мои по службе хорошо идут, и отчет не требует никаких изустных пояснений. Итак, вы затеваете журнал? Помогай вам бог! — только вряд ли это дело сладится. Конечно, должно бы было подумать о плотине, чтоб придержать быстрый помойный поток, о котором ты говоришь — да и у нас в Академии есть молодцы изрядные. Запорют такую дичь, что уши будут вянуть. Я не называю никого, но подумай хорошенько, и ты увидишь, что журнал, в котором, вероятно, каждый член будет вкладчиком, затянет такую нескладную песню, что святых всех понеси. Я на этих днях открываю под моим председательством заседание Общества любителей российской словесности и приготовил коротенькую речь, в которой повыскажу все то, что лежит у меня на сердце; я знаю, что наши московские модницы будут морщиться — а полуфранцузские амфибии в парижских фраках провозгласят меня

староверем — да я об этом и не думаю. Никогда и ни для чего не стану кривить душой. Прощай, моя душа; поклонись всем, кто меня помнит.

М. П. ПОГОДИНУ

<Середина 1830-х гг.>

Грешный председатель многогрешного Общества любителей словесности приглашает благочестивого секретаря Общества пожаловать к нему завтра не позже 2-х часов похлебать постных щей и потолковать о том, как бы затеять ученую потеху и не наделать смеху. Просят преподобного отца Михаила отвечать решительно, положительно и определительно.

Г. Ф. КВИТКЕ-ОСНОВЬЯНЕНКО

10 ноября 1836 г.

Я прочел с удовольствием комедию «Приезжий из столицы», которую вам угодно было, при вашем письме, доставить ко мне; в ней есть сцены истинно комические, и если б я получил ее прежде, чем «Ревизор» был дан на здешней сцене, то она была бы непременно принята; но, так как главная идея этой пьесы совершенно одна и та же, как и в «Ревизоре» г. Гоголя, то я почти уверен вперед, что эта пьеса не может иметь успеха. Публика всегда чрезвычайно строга к *подражаниям,* а уверить ее едва ли будет можно, что эта комедия написана прежде комедии г. *Гоголя;* впрочем, если б это было и возможно, то и в этом случае ей покажется скучным смотреть пьесу, которая во многом имеет большое сходство с пьесой, столько уже раз игранною на петербургской и московской сцене.

Примите, милостивый государь, искреннее уверение в совершенном моем уважении к автору комедии «Дворянские выборы», которая, вероятно, имела бы величайший успех, если б могла быть дана на здешней сцене.

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Конец зимы — весна 1837 г.>

Почтеннейший князь Петр Андреевич.

Благодарю вас от всей души за уведомление ваше, что вещи и платья г. Белькур будут выпущены из С.-Петербургской таможни, и спешу отвечать на вашу приписку. У меня теперь решительно ничего нет, что могло бы по своему объему войти в состав «Современника». Я пишу и еще не кончил довольно большой роман, но, к сожалению, все то, что в нем не вовсе дурно, так тесно связано с целым сочинением, что нет никакой возможности выбрать какой-нибудь отрывок, который имел бы и начало и конец. Во втором томе есть только один эпизодический рассказ, который подходит под это необходимое условие, но это, по мнению моему, самое слабое место из всего романа и может дать весьма невыгодное о нем понятие; но, несмотря на это и чтобы доказать вам, как искренно я желаю, хоть несколько, участвовать в прекрасном благородном намерении вашем сделать добро семейству нашего великого поэта, я пришлю к вам этот рассказ — только с условием: если вы найдете его чересчур плохим, то, бога ради, не церемоньтесь и раскурите им вашу сигарку.

Позвольте еще раз поблагодарить вас и уверить в моей искренней приязни и неизменном уважении, с которыми я за удовольствие почитаю называться вашим преданным и покорнейшим слугою.

Михаил Загоскин.

NB. Вы не ошиблись, почтеннейший князь Петр Андреевич, я точно оплакиваю вместе с вами Пушкина; я никогда не был в числе его близких друзей, но всегда любил его, как честь и славу моего отечества.

И. А. КРЫЛОВУ

23 февраля 1838 г.

Любезнейший и почтеннейший Иван Андреевич. Не знаю, слышали ли вы в Петербурге, как я закричал в Москве «ура!», когда прочел письмо приятеля моего

Аверкиева, в котором он уведомляет меня о вашем торжестве. Слава богу! Наконец мы дожили до того, что смеем называть свои великие таланты великими и пред лицом всей Европы подносить им лавровые венки — а что всего лучше, не говорим: «Наш русский Лафонтен», а просто: «наш Крылов». Поздравляю вас, мой милый, добрый и почтенный Иван Андреевич, и от всей души благодарю за присланный лавровый листок — он перейдет в наследство к моим детям.

Я отдал в цензуру новый роман мой. Если не будет каких-либо неожиданных затруднений, то я надеюсь, что вы скоро его прочтете или, по крайней мере, будете иметь в руках. Прощайте, будьте здоровы и любите вашего бывшего сослуживца, который сам без памяти вас любит, и потому — что вы Иван Андреевич Крылов, добрейший и любезнейший из людей, и потому — что этот Иван Андреевич честь и слава матушки святой Руси, которую Загоскин любит более всего на свете.

Обнимаю вас с чувством самой искренней дружбы не один, а тысячи раз, ваш *М. Загоскин.*

А. Н. ЗАГОСКИНУ

27 декабря 1838 г.

Любезный друг и брат Алексей!

Что у тебя за странные выражения! Ты боишься, чтоб я не стал *презирать* тебя,— за что? За то, что образ твоих мыслей, быть может, несколько несходен с моим? Нет, мой друг, до сих пор я никак не считал тебя за фанатика, теперь, признаюсь, начинаю несколько этого бояться, потому что замечаю в тебе какой-то не терпящий противоречия деспотизм — самый верный признак фанатизма. Если ты меня любишь, то молись обо мне, сожалей о моем заблуждении, а не говори о *презрении* и не думай так дурно о твоем брате. У всякого свой путь, мой друг; ты хочешь быть *победителем*, а я, если буду на том свете последним из слуг — не господа,— этого я не стою,— но последнего из рабов его, то почту себя несказанно счастливым, потому что вполне чувствую всю нищету и греховность души моей. Друг мой Алексей! с одним из писем твоих я не расстаюсь;

оно всегда со мною, другие же сушат и охлаждают мою душу.

Не понимаю я также, мой друг, почему роман мой ты зовешь *идолопоклонством*. Я описываю в нем свет, а не монастырь и уверяю тебя: мои намерения были чисты. Я хотел, мешая дело с бездельем, заставить читать себя и хоть что-нибудь сказать полезное. Ты, вероятно, не читал в третьем томе главу под названием *«Философический разговор в харчевне»;* прочти его, мой друг. Я вижу также, что намерение мое показать, что в нынешнем так называемом просвещении участвует сам сатана, тебе также неизвестно. Друг мой! Я пишу для света, который проповедей не слушает и часто христианских книг не читает; я пишу также и для того, чтоб честным образом устраивать мое и детей моих состояние, и если ты не гневаешься на ремесленника, который делает модную мебель и другие предметы, служащие для одной роскоши,— так за что ж я у тебя идолопоклонник? Видит бог, не понимаю! Но несмотря на это, хоть и подозреваю тебя несколько в фанатизме, но не *презираю* тебя, а всей моей душой уважаю и люблю как друга и брата. Прощай, моя душа, да, бога ради, не думай, что я могу за что-нибудь на тебя так озлиться, чтоб захотел *вовсе не знать* тебя. Эх, Алексей, Алексей! Как этакой вздор мог прийти тебе в голову?

Твой *М. Загоскин.*

П. А. КОРСАКОВУ

28 июня 1840 г.

Любезный друг Петр Александрович!

Давно уже я сбираюсь писать к тебе и поблагодарить за истинное удовольствие, которое приносит мне чтение твоего издания, и вот наконец собрался, тогда когда бы мне вовсе писать не следовало, потому что я, измученный ужасными спазмами, три дня уже ничего не ел и едва могу от слабости сидеть на стуле — но сердце мое не терпит немоты — я прочел или, лучше сказать, проглотил последнюю (IV) часть «Маяка» — ретивое закипело, стклянку с микстурой за окно, перо в руку и пишу.

Боже мой! сколько в этой части прекрасных вещей! что за логическая, светлая и умная голова у твоего товарища Бурачка! сколько новых ясных идей, сколько святых истин! Наконец, благодаря бога, явилось у нас издание книги, в которой говорят прямо, что без религии не может быть и хорошей литературы. Когда я прочел между прочим в разборе «Героя нашего времени» следующие слова:

«Как не жаль хорошее дарование посвящать таким гадким нелепостям, из одной только уверенности, что они будут иметь успех; дело давно известное, чем всего скорее угодишь слабым людям; но дело ли художника пользоваться этой слабостию людей, когда художник призван именно врачевать эту слабость, а не развивать ее», то я так бы и бросился к Бурачку на шею — да, на беду, шея-то его в Петербурге, а мои руки в Москве — так прошу тебя, любезный друг, исполнить это за меня par procuration *. Однако ж я не во всем согласен с твоим сотоварищем и в двух случаях вовсе его не понимаю — вот в каких именно.

Не понимаю, как мог Бурачек, человек религиозный, логический, человек, который так хорошо определил достоинство «Героя нашего времени»,— как мог назвать Марлинского *колоссом?* О господи! да простится ему этот грех и в сей и в будущей жизни! Что такое был Марлинский? рассказчик с талантом и воображением. Марлинский, этот, по временам, самый рабский подражатель неистовой французской школы, этот бонмотист, щеголяющий самыми нелепыми сравнениями и остротами, этот умник, который, живя на Кавказе, описывал нравы московского общества по Бальзаку,— и, вероятно, лучше знал быт дербентских татар, чем русских мужичков; этот исковерканный, вычурный, осыпанный полинялыми французскими блестками Марлинский, который говорит, что *Улитка* разговора перешла на другой предмет и думает, что сказал очень умно; этот безусловный обожатель Запада и всех его мерзостей; этот Марлинский, который находит, что между диким чеченцем и русским дворянином менее расстояния, чем между этим последним и каким-нибудь французским маркизом или английским лордом, как будто бы все маркизы и лорды — люди истинно просвещенные, а все русские

* по доверенности *(фр.)*.

дворяне решительно невежды,— Марлинский, у которого во всех сочинениях подобные нелепости рассыпаны тысячами; Марлинский, который коверкал, увечил, ломал, терзал без всякой пощады русский язык; Марлинский, который изредка только говорил языком человеческим и никогда не согревал души читателя ни одной высокой религиозной мыслию; наконец, Марлинский, в котором я только потому и признаю истинный талант, что, несмотря на все эти дряни, он читается с удовольствием,— этот Марлинский — колосс! что же после этого тот, кого Бурачек назовет пигмеем? что ж он такое? инфузорий?

Другой случай касается одного меня. Бурачек говорит, что *всех русских* романистов *нельзя обвинять в религиозности.* В этом общем числе, вероятно, нахожусь и аз многогрешный. Я могу быть писателем бездарным, невеждою — всем, что ему угодно; но чтоб в романах и повестях моих не проявлялись идеи религиозные, нет! воля его, в этом я никак не могу согласиться. Я не сомневаюсь, убежден, *верую,* что мой первый роман обязан своим успехом именно религиозному чувству, которым он согрет. Если Бурачек, прочтя первый том «Аскольдовой могилы», не заметил в этом романе решительно религиозного направления, то или ему не угодно было вовсе обратить на это своего внимания, или наши понятия о религиозности не имеют ничего общего между собою. Я полагаю, что религиозность в романе состоит в том, чтоб при всяком удобном случае напоминать читателю, что земная жизнь есть не цель, а только средство к достижению цели; что без христианской религии нет истинного просвещения, что мудрованья западных философов есть только «медь звенящая и кимвал звяцаяй» и что, наконец, одна только вера во Христа дает человеку возможность быть истинно добродетельным: все это — видит бог — может быть, очень дурно,— но я стараюсь выполнять во всех моих сочинениях. Правда, с некоторого времени я поослабел, потому что устал воевать один против наших скептиков, европейцев, либералов, ненавистников России, апологистов всех неистовых страстей и поэтов сладострастья, то есть защитников земной жизни и всех ее плотских наслаждений. Но когда стал выходить ваш «Маяк» и я познакомился с Бурачком, то сердце мое снова ободрилось; я сказал: «Слава богу! теперь я не один — нас двое! теперь есть у меня сослуживец на этом ратном поле,

да еще какой? — чудо-богатырь!» Не тут-то было: Бурачек не хочет меня признать и товарищем. Жаль! Наш полк не велик — а их — избави господи!!

Теперь я обращусь прямо к вам, неумолимый мой судья — я думаю, Корсаков исполнил мое препоручение — мы с вами обнимались — следовательно, можем говорить откровенно, как старинные приятели. Г. Бурачек! (имя и отчества вашего не имею чести знать) я прочел с восторгом ваш разбор духовных сочинений — с наслаждением почти всю статью о словесности; но когда дочитался до колосса Марлинского и заглянул потом в статью о философии, то меня так холодом и обдало! «Ах, батюшки! — подумал я, — уж не хочет ли он служить двум господам? — избави господи!» Что это, почтенный Бурачек, вы так уважаете философию — разумеется, я говорю о философии, которая ведет или, лучше сказать, старается вести нас к познанию истины и к необходимости нашего перерождения, другой я не признаю. Эта философия для плохого христианина наука сбивчивая, шаткая и решительно неудовлетворительная, потому что душа его чувствует, что он ищет истину не там, где должен искать ее, и что божественная истина недоступна для земного нашего разума, а постигается одной только верой. Для истинного христианина философия (не прогневайтесь!) — одно пустословие, потому что все важнейшие ее вопросы для него давно уже решены. Неистинный тот христианин, который станет искать доказательств бессмертия души в Платоновом «Федоне»; неистинный тот христианин, который станет благоговеть перед наукою, в которой делаются следующие вопросы (извините): «Не самобытен ли видимый мир? конечен ли он, или у него не было начала и не будет конца?» Не правда ли, что эти вопросы и решения их должны показаться христианину не только пустословием, но даже богохульством? Осмелится ли он поверять своим ничтожным земным умом истины, изреченные самим богом? да и что прибыли ему изучаться философии для того, чтоб узнать, что он должен верить тому, чему давно уже, без всяких доказательств, верит. Воля ваша — как бы мне ни стали умно доказывать что я — т. е. М. Н. Загоскин — точно М. Н. Загоскин, — а все-таки я бы сказал, что это пустословие. К чему же ведет эта наука того, кто верует? ровно ни к чему; а неужели, вы скажете, что верует только тот, кто учился философии? Г. Бу-

рачек! вы называете почти всех нас язычниками — что, к несчастию, довольно справедливо,— смотрите не сделайтесь сами язычником, не вздумайте сами вместо бога поклоняться философии, то есть вашему земному разуму. Древние ему и поклонялись — это очень естественно — философия была откровением эллинских мудрецов, а мы, по милости божией, христиане — то есть знаем все то, что можем и должны знать, не изучая ни Гегеля, ни Фихте, ни Канта, ни Окена, ни всех этих эллино-христианских болтунов, о мудрости которых, кажется, не с большой похвалой отзывается апостол Павел. Теперь позвольте, Бурачек, пожать у вас на прощанье руку — только сделайте милость, не будьте деспотом, не гневайтесь на меня за то, что я думаю не по-вашему, а по-моему.

Обращаюсь опять к тебе, любезный друг Петр Александрович, первое мое препоручение ты верно исполнил — т. е. обнял своего книжного сотоварища — посмотрим, как-то ты сладишь с другим. Ты уж, душенька, больно стар, кажется, ты на моих крестинах танцевал с покойной моей бабушкой перегурдин — так спина-то у тебя не очень гнется — однако ж попытайся поклонись, да пониже, князю Мышицкому, за его прелестный отрывок. Если весь роман таков же, то я перекрещусь и скажу: «Слава тебе господи! нажили мы романиста». Как просто, верно, хорошо! а описание русской метели — прелесть! ну что моя метель в «Юрии Милославском», дрянь перед этой! я читал этот отрывок вчера — день был жаркий, 21 градус тепла,— а я чуть было не закричал: «Человек, медвежью шубу!» Только, да поможет ему господь, остаться всегда таким, каким он есть теперь, т. е. не острить по пустякам, не писать крючковатым слогом, не франтить неуместной ученостию, а пуще всего не выставлять в хорошем свете неистовые страсти и не подражать пакостнице — французской словесности, хотя бы за это прославили его во всех казармах и караульных России — необычайным гением: все это фольга, мишура, шумиха, а талант его из пробного золота.

Прощай, любезный друг, будь здоров, обнимаю тебя тысячу раз.

Михаил Загоскин.

В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

13 февраля 1843 г.

Почтеннейший князь Владимир Федорович.

Благодарю вас от всей души за ваше дружеское и любезное письмо. Я имел уже несчастие быть в руках у духовной цензуры, следовательно, нимало не дивлюсь, что она хотела или не пропустить, или по крайней мере коверкать по-своему мою статью и сделать из нее какую-то проповедь — по крайней мере, вступление очень походит на проповедь. Я не могу обещать вам ничего для второй книжки, потому что воображение мое становится очень ленивым, и я занят «Москвой и москвичами», которых намерен выдать по крайней мере книжек шесть. Ваше сравнение народа русского с тринадцатилетним мальчиком совершенно справедливо — то-то беда, если ему подсунут какого-нибудь Фоблаза, и, конечно, теперь для него лучше ничего нельзя придумать «Сельского чтения». Спасибо вам за намерение и выполнение. Дай бог, чтоб наши мужички полюбили это чтение, которое решительно должно им принести пользу.

Что у вас в Петербурге делается? Так же ли вы мокнете, как мокнем мы, бедные, в нашей Москве; нам скоро придется ездить по улицам на лодках. Иностранцы стараются нас утешить, говоря, что точно такая зима бывает во Франции и южной Германии. Если это правда, то я не поздравляю их с этим — то ли дело наш мороз — чистый, сухой воздух и санный путь; от холода есть защита — завернулся в шубу да и знать его не хочешь,— а от этой сырой, мокрой и гнилой погоды нет никакого спасения. Нет во всей Москве человека, который не страдал бы от нее или насморком, или кашлем, или, по крайней мере, тоскою.

Прощайте, почтеннейший Владимир Федорович, обнимаю вас от всей души и прошу поцеловать за меня ручку у вашей барыни.

Всем сердцем вам преданный *Михаил Загоскин.*

Ф. А. КОНИ

30 марта 1850 г.

Милостивый государь Федор Алексеевич!

К совершенному моему сожалению, я не могу исполнить вашего желания. По просьбе моего приятеля Вельтмана я отдал комедию мою в редакцию «Москвитянина» и скажу вам откровенно: для меня было бы гораздо приятнее видеть ее в вашем «Пантеоне». Я, кажется, напишу еще несколько комедий и, конечно, отдал бы их вам предпочтительно перед всеми, но, к несчастию, есть одно большое препятствие: я дал себе слово печатать все в Москве для того, чтобы самому просматривать последнюю корректуру. Не знаю, есть ли возможность отстранить это неудобство, но я решительно лучше вовсе ничего не буду печатать, чем печатать заочно. Я уже испытал, как неприятно, когда вас заставляют говорить совсем не то, что вы хотели сказать, а это, к несчастию, со мною не раз случалось.

Прощайте, любезный Федор Алексеевич. Желаю вам здоровья и всевозможных успехов. Истинно уважающий вас и покорный слуга

М. Загоскин.

Ф. А. КОНИ

11 января 1852 г.

Милостивый государь Федор Алексеевич.

Благодарю вас за честь, которую вы мне делаете, приглашая меня участвовать в издании вашего журнала; к сожалению, я ничего не могу вам обещать. Вот уж год, как я не берусь за перо; тяжкая болезнь, которая не уступает никаким медицинским средствам, отнимает у меня всякую возможность заниматься словесностию; а сверх того, я поклялся ничего не печатать в Петербурге, и когда скажу вам, что меня к этому побудило, то, вероятно, и вы согласитесь, что я совершенно прав.

Последняя моя комедия в стихах была пропущена без всяких помарок в цензуре собственной канцелярии государя императора, а как поступила с ней с.-петер-

бургская цензура министерства народного просвещения? Она сделала в моей несчастной комедии более пятидесяти помарок и поправок — и каких поправок! Вместо: прямой армейщина — прямой *кикимора;* корнет назван *верхолетом,* вместо *зевающих мужей* напечатано *счастливейших мужей.* Подлинно, благочестивая цензура: не позволяет мужьям зевать даже тогда, когда им скучно. По этим трем поправкам вы можете судить и об остальных. А хотите ли знать, какие стихи вовсе вымараны? Вот, например:

Тот смотрит барином, а этот что? — холоп!
Да и какой еще?.. тотчас забрил бы лоб
Да в рекруты...
Кто? граф?.. Да он всегда гонялся за прогрессом
И Русь святую звал всегда дремучим лесом...
Я этих усачей до смерти как боюсь:
У них всегда прескверные повадки.
В моей он образной, пожалуй, на лампадке
Сигару закурит.
Все дети нынче стары.
И если у кого насущного нет хлеба...

В нескольких местах вымарано стихов по десяти сряду, а за что? — хоть убейте, не понимаю. Разумеется, от этих помарок составилось великое множество самых беззаконных стихов, без меры, без рифм, без сочетания и даже совершенно без смысла, и за все это должен отвечать я, потому что не имею права объявить публично, что мою комедию изуродовала цензура. Согласитесь, что после этого я не могу и не должен ничего печатать в Петербурге.

Имена всех необычайных людей, какого бы рода они ни были, не должны оставаться в неизвестности, и потому я долгом считаю присовокупить, что мою комедию цензуровал какой-то господин Шидловский. Если, несмотря на мое письмо, вам вздумается поместить в вашем журнале мой портрет, уведомьте меня об этом: я исполню с удовольствием ваше желание.

Прощайте! Дай бог вам здоровья, побольше подписчиков и — других цензоров, хотя немного поумнее теперешних.

Искренно вас уважающий, старинный ваш приятель

Михайло Загоскин.

КОММЕНТАРИИ

КОМЕДИИ

КОМЕДИЯ ПРОТИВ КОМЕДИИ, или УРОК ВОЛОКИТАМ (Стр. 7)

Впервые — СПб., 1816. Печатается по этому изданию.

Впервые поставлена в Петербурге 3 ноября 1815 года (до весны 1816 г. состоялось лишь несколько представлений) и 1 июня 1816 года в Москве. Больше не ставилась. В петербургской постановке в главных ролях выступили: Графиня — Е. И. Ежова, Софья — М. С. Воробьева, Княгиня — М. И. Вальберхова, Князь — М. В. Величкин, Граф — И. И. Сосницкий, Изборский — Я. Г. Брянский, Эрастов — А. Н. Рамазанов, Даша — А. Е. Асенкова.

Премьера состоялась в бенефис актера Брянского, в один вечер с очередным представлением комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», с которой «Комедия против комедии» тесно связана (см. вступ. статью в т. 1 наст. изд.). Поставленная на петербургской сцене 23 сентября 1815 года комедия Шаховского содержала сатирические выпады против карамзинистов, и в частности против В. А. Жуковского. Вокруг комедии поднялась целая буря: «...партизаны поэта Жуковского негодовали на то, что в лице Фиалкина автор комедии явно желал подсмеяться над его балладами. Посыпались остроты и эпиграммы на Шаховского со всех сторон...» (Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 239). Д. В. Дашков печатает в «Сыне отечества» язвительное «Письмо к новейшему Аристофану», пишет едкую кантату «Венчание Шутовского»; Д. Н. Блудов — сатирическое «Видение в какой-то ограде»; в Москве негодование друзей разделяет П. А. Вяземский, который сочиняет «Письмо с Липецких вод» и цикл эпиграмм. Сторонники Карамзина объединились 14 октября 1815 года в пародий-

но-сатирическое общество «Арзамас», ведя свое литературное летоисчисление «от Липецкого потопа».

Загоскин узнал об эпиграммах и сатирах на Шаховского от своего родственника Ф. Ф. Вигеля, и так как Шаховской первым благословил Загоскина на литературное творчество, похвалив его комедию «Проказник» (см. с. 6 т. 1 наст. изд.), так как Загоскин вообще весьма почитал Шаховского и разделял его литературные пристрастия, он выступил в его защиту. Но современники увидели в «Комедии против комедии» в основном личное заискивание молодого драматурга перед всесильным комедиографом: «Шаховской тогда был властелином русской сцены; Загоскин сейчас понял, что нужно к нему подделаться и прежде всего получить право на его благодарность; вот он и явился к Шаховскому с своим «Уроком волокитам». Решитель судьбы драматических сочинений принял его с восторгом, смекнув, что «Комедия против комедии» много прибавит славы его «Уроку кокеткам»; он обласкал Загоскина и сжал его в своих широких объятиях, сказав: «Плеклясно, бесподобно, лучаюсь что плоизведет эффект вася пиеса» <Шаховской картавил>. Шаховской занялся усердно ее постановкой, и точно, успех был, но, натурально, случайный...» (Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 243—244). Все это определило и резкое отношение к «Комедии против комедии» в кругу А. С. Грибоедова. Двумя годами позже Грибоедов высмеял Загоскина в сатире «Лубочный театр».

В построении «Комедии против комедии» заметна ориентация на одноактные полемические пьесы Мольера, созданные в защиту комедии «Урок женам»: «Критика «Урока женам» (1663) и «Версальский экспромт» (1663). Обвинения в адрес своей пьесы Мольер снимал в ходе споров, развертывавшихся на сцене, и путем высмеивания своих противников. Название «Комедия против комедии», вероятно, восходит к популярной пьесе-пародии «Комедия комедии» (1629) французского писателя Н. Дюпескье.

Стр. 7. *Предисловие.* В «Сыне отечества» (1815, № 46) появилась статья «Мнение постороннего» с резкой критикой комедии Загоскина и предположением, что она написана самим Шаховским с целью смягчить нападки на Жуковского в «Липецких водах» и примириться с карамзинистами: «...кто мог предвидеть, что один автор, изъявивший желание осмеять другого, более известного, вдруг через несколько дней на том же месте, где он советовал ему не мучить стихами живых и мертвых, вздумает сам чрез своего представителя мучить его своими похвалами и уверять его в невинности своих намерений? К какому роду принадлежит сие окончание войны литературной? Трактат ли это или капитуляция? Но что

бы ни было, кажется, теперь все должны быть довольны. Правда, говорят, что сие торжественное отречение было сопровождаемо несколькими выстрелами против защитников прежнего неприятеля. Будут ли они чувствительны к этим выстрелам?.. Равнодушие, конечно, не мешает иногда пошутить и посмеяться над тем, что достойно осмеяния, но захочет ли кто употребить время и силы, чтобы правильно отражать нападение лилипутов словесности?» (с. 35—36).

Стр. 8. *...не исключая первого явления во втором действии...* — В этой сцене герои комедии спорят по поводу «Урока кокеткам».

...а есть такие догадливые люди, которые уверяют, что не только я, но даже и моя фамилия вымышлена... — Ф. Ф. Вигель вспоминал о комедии Загоскина: «В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнавать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким никогда я не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностью рода своего, чем новостью своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию» («Записки», ч. IV. М., 1892, с. 173).

Стр. 11. *Столетний волокита и неутомимая бостонистка...* — Персонажи «Липецких вод» барон Вольмар и княжна Холмская.

Стр. 13. *...как Малек-Адель любил свою Матильду...* — См. с. 290 т. 1 наст. изд.

Стр. 14. *...чтоб не заставить краснеть бедные розы...* — Речь Князя состоит из традиционных штампов сентиментальной литературы.

Стр. 15. *Гофманские капли* — успокоительное средство.

Стр. 15—16. *...Овидиева искусства любить...* — Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 16 н. э.), римский поэт, автор «Метаморфоз», элегий, дидактической поэмы «Наука любви».

Стр. 17. *...у нас завелись свои Мольеры...* — А. А. Шаховского сравнивали с лучшими комедиографами прошлого, называя его «русским Мольером». «Арзамасец» Д. В. Дашков иронично обратился к нему как к «новейшему Аристофану» (Аристофан — родоначальник греческой комедии).

...чтоб большая часть нашей публики имела более вкуса, более истинного понятия о всем изящном... — Мысль о зависимости авторского таланта от вкуса светского общества неоднократно высказывалась карамзинистами. Еще сам Карамзин писал: «Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России — тогда как увидим между светскими людьми более ученых или между учеными — бо-

лее светских людей» (Карамзин Н. М. Избр. соч. в 2-х томах, т. 2. М.— Л., 1964, с. 184; статья «Отчего в России мало авторских талантов», 1802).

Стр. 22. *...аркадский пастушок, который тает от восхищения...* — Имеются в виду традиционные темы и образы пасторальной поэзии тех лет. Аркадия — горная область в Греции, символ мирного сельского счастья.

Стр. 25. *...в пятом акте от фейерверка...* — В 8 явл. 5 действия «Липецких вод» в домашнем театре барона Вольмара устраивают праздник с фейерверком.

...сценою между Пронским и графиней Лелевой? — Сцена из 3 действия комедии Шаховского (явл. 8).

Стр. 26. *...Какие это стихи, если их можно читать так же легко, как прозу?* — Здесь отразились споры начала XIX в. о том, должна ли поэзия ориентироваться на простоту разговорного языка или иметь нарочито усложненный, книжный стиль. Для карамзинистов хорошим автором был тот, «кто пишет так, как говорит» (К. Н. Батюшков). Несмотря на свою как бы карамзинистскую ориентацию, граф Фольгин высказывает прямо обратную точку зрения, доводя ее до абсурда.

Стр. 27. *...в «Тилемахиде» каждый стих...* — «Тилемахида» — эпическая поэма В. К. Тредиаковского, считавшаяся образцом бессмысленного, громоздкого произведения, написанного труднопонятным языком.

...Аристотель (384—322 до н. э.) — греческий философ, автор трактата по теории поэзии — «Поэтика».

...сатира сделалась тогда поучительнее... — Имеется в виду суждение Аристотеля в 4-й главе «Поэтики».

Он говорит ей вещи... — В 3 явл. 4 действия Ольгин, беседуя с вдовой, графиней Лелевой, колко отзывается об их знакомых и о самой графине: «Графиня, отчего, скажите мне без шуток, // Переменились вы: от князя иль от вод? // Ну, право, черный год // Нашел на милых вдов...»

Стр. 29. *...но баллады, про которые он так часто говорит...* — Имеется в виду пародийный образ поэта Фиалкина в «Уроке кокеткам».

...комедию засыпают эпиграммами... мне сегодня еще про одну сказывали... — Речь идет об эпиграмме П. А. Вяземского:

С какою легкостью свободной
Играешь ты в стихах природой и собой,
Ты в «Шубах» Шутовской холодный,
В «Водах» ты Шутовской сухой.

В 1817 г. Загоскин снова вернулся к спору о комедии Шаховского: «...если скажешь, что «Липецкие воды», вопреки всем сати-

рам и эпиграммам,— лучшая наша комедия, то все записные враги ее сделаются твоими неприятелями... гораздо легче написать несколько дюжин эпиграмм насчет самого автора, чем доказать, почему дурна его комедия» (Северный наблюдатель, 1817, № 1, с. 16—17).

...совершенно французский оборот...— Речь идет о двух последних строках приведенной выше эпиграммы Вяземского. Подобные антитезы и поэтические каламбуры восходили к традиции французской легкой поэзии (см.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 142).

Стр. 30. *Вся эта басня украдена из Лафонтена...*— Одним из творческих принципов баснописцев XVIII — начала XIX в. было заимствование сюжетов у поэтов прошлого. Образцовым автором басен считался Ж. Лафонтен (1621—1695), чьи сюжеты использовали баснописцы разных поколений — А. П. Сумароков, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев. Первые опыты Крылова в басенном жанре также были восприняты современниками на фоне произведений Лафонтена. В рецензии на первую книгу его басен (1809) Жуковский писал, что Крылов «занял у Лафонтена (в большей части басен своих) и вымысел и рассказ, следственно, может иметь право на имя автора оригинального по одному только искусству присваивать себе чужие мысли, чужие чувства и чужой гений» (Вестник Европы, 1809, № 9). Позже Жуковский пересмотрел свою позицию. В «Конспекте по истории русской литературы» он писал: «Басни Крылова почти все оригинальны... Он является философом-наблюдателем и чудесно рисует то, что происходит перед его глазами. Его басни — богатая сокровищница идей и опыта» (Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985, с. 323). Ср. с оценкой Загоскиным творчества Крылова в письмах к Н. И. Гнедичу от 20 октября 1821 г. и И. А. Крылову от 29 февраля 1838 г.

Стр. 36. *...в «Маркизе Глаголе»...*— «Приключения маркиза Г...» (СПб., 1756—1758) — русский перевод романа А.-Ф. Прево «Записки знатного человека, удалившегося от света».

Стр. 45. *...воскресить нового Вертера...*— Повесть И.-В. Гете (1749—1832) «Страдания молодого Вертера» (1774) была очень популярна в России в конце XVIII — начале XIX в.; вызвала ряд подражаний.

Г-Н БОГАТОНОВ,
или
ПРОВИНЦИАЛ В СТОЛИЦЕ (Стр. 51)

Впервые — СПб., 1817; второе издание — М., 1823. Печатается по второму изданию.

Впервые поставлена в Петербурге 27 июня 1817 года. В главных ролях: Богатонов — Е. П. Бобров, Богатонова — Х. П. Рахманова,

Лиза — Е. Я. Сосницкая, Блесткин — И. И. Сосницкий, баронесса Вольмар — М. И. Вальберхова, Владимилов — Я. Г. Брянский, Мирославский — З. Ф. Каменогорский, Клим — А. Е. Пономарев, Анюта — А. Е. Асенкова, Филутони — Г. И. Жебелев.

В Москве была поставлена 17 января 1818 года. В 1820-е годы роль Богатонова в московском театре исполнял М. С. Щепкин.

Последующие представления:

Петербург. 1817: 3, 12 июля, 23 августа, 23 сентября, 6 ноября; 1818: 11 января, 23 февраля, 5, 30 июня, 24 сентября; 1819: 12 декабря; 1820: 9 июля; 1821: 28 января; 1825: 19 июля, 16 августа, 25 октября; 1827: 18 января, 15 мая; 1828: 3 июня, 15 июля; 1831: 16 октября.

Москва. 1818: 21, 25 января, 1, 8, 21 февраля, 22 апреля, 9 сентября, 3 ноября; 1819: 19 августа, 27 октября, 10 декабря; 1820: 6 февраля, 11 июля, 9, 14 ноября; 1821: 24 июля, 23 октября; 1822: 16 июля, 20 сентября, 23 ноября; 1823: 21 мая, 24 июля; 1824: 19 ноября; 1825: 2 сентября; 1827: 11 июля, 21 октября; 1829: 23 августа; 1843: 2 января.

Комедия упрочила известность Загоскина. «Пьеса эта имела большой успех; зрителей собралось много, несмотря на то что значительная часть публики петербургской находилась в отсутствии на дачах... Вообще пьеса поставлена была и разыгрывалась прекрасно, и она утвердила самобытность комического таланта Загоскина» (Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 251). Но единственным журналом, похвально отозвавшимся о комедии, был «Северный наблюдатель», в котором театральный отдел вел сам Загоскин. В большой рецензии на премьеру «Г-на Богатонова» (подписана псевдонимом *Ювенал Беневольский)* пьеса была отнесена к комедиям *характерным*, изображающим типичные пороки и слабости людей; была указана и зависимость комедии от «Мещанина во дворянстве» Мольера: «...роль г. Журдена подала автору первую идею о его главном лице. Впрочем, это нимало не отнимает достоинств у комедии г. Загоскина... *подражание умному, хорошему в иноземном есть приобретение к пользе отечества;* особливо если подражание сие так удачно сделано, как в комедии г. Загоскина» (Северный наблюдатель, № 1, с. 25). Эта рецензия вызвала резкую критику комедии со стороны «Сына отечества» (1817, № 29), который редактировался в это время А. Е. Измайловым; о полемике Загоскина и Измайлова см. коммент. к с. 261 наст. тома. В литературно-театральных кругах был отмечен и русский образец «Г-на Богатонова»: А. С. Грибоедов в сатире «Лубочный театр» (1817) писал, что Богатонов «с Транжирина кафтан стащил», имея в виду героя комедии А. А. Шаховского «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808). К характеру Богатонова Загоскин вернулся в комедии «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (1821).

Стр. 56. *Мадам Трише...* — Хозяйки популярных иностранных магазинов — сатирические персонажи ряда русских комедий начала XIX в. Особую известность получило сатирическое обличение пристрастия светского общества к французским товарам и модам в комедии И. А. Крылова «Модная лавка» (1807), где фигурирует мадам Каре, хозяйка французской лавки. В числе действующих лиц комедии Крылова — торговец мосье Трише, который продает по домам различные товары и так же коверкает русские слова, как Филутони у Загоскина.

Стр. 57. *...то книжку оставит дома...* — Книжка — бумажник.

Стр. 67. *Русская — простая русская! А я называла ее мадамою!* — В светском обществе существовало разграничение обращений к женщинам: *госпожа, мадам, мадемуазель (мамзель)* и т. д. Мадамами называли хозяек французских модных лавок, иностранок-портних, домоправительниц. Мамзель — приживалка, благородная прислуга из русских. Госпожа — дворянка. См. в комедии «Какаду» А. А. Шаховского:

Саша

Графиня же, забыв о грубости моей,
Дала мне здесь приют.

Ольгин

То есть взяла в служанки.

Саша

Мой муж с официей.

Ольгин

Прошу меня простить.
Я виноват, забыл, что вы почти дворянки.
Так здесь в мамзелях вы?

Саша

Охота вам шутить.

Ольгин

Напротив, я хочу в мадамы вас представить.

...тетушка ваша вздумает одеться Флорою. — Флора (римск. миф.) — богиня цветов. Всем была памятна героиня известного балета Шарля Луи Дидло «Зефир и Флора» (1808), где роль Флоры исполняла А. Истомина. Платье и прическу ее украшали гирлянды цветов. В «Уроке кокеткам» А. А. Шаховского княжна Холм-

ская говорит о графине Лелевой: «...в гирляндочках из роз, // Какой-то Флорою в крещенский наш мороз // Изволит разъезжать».

Стр. 72. ...*Богатонов (в светло-зеленом фраке)*.— В связи с распространением английской моды в конце 1810-х гг. фраки становятся излюбленной одеждой русских щеголей. Цвету фрака придавалось большое значение: «...черных фраков и жилетов тогда еще нигде не носили, кроме придворного и семейного траура... фраки носили коричневые или зеленые и синие с светлыми пуговицами...» (Свербеев Д. Н. Записки, т. 1. М., 1899, с. 265).

Стр. 77. *Буало*-Депрео Никола (1636—1711), французский поэт, «законодатель» классицизма. Особую известность приобрели его стихотворные сатиры и поэма «Поэтическое искусство» (1674).

Расин Жан (1639—1699), французский драматург, его трагедии стали популярны в России с середины XVIII в.

Лабрюйер Жан де (1645—1696), французский писатель-моралист; особенной известностью пользовалось его произведение «Характеры, или Нравы нашего века» (1688).

Стр. 82. ...*хочешь говорить о магнетизме*...— Согласно теории магнетизма, с помощью скрытых внутренних сил можно передвигать предметы, угадывать мысли и т. д. Вера в магнетизм была очень распространена в русском светском обществе начала XIX в.

Стр. 84. *Лувр* —дворцовый комплекс и художественный музей в Париже.

Пале-Рояль — королевский дворец.

Тюильри — один из дворцов в Париже.

Пантеон — усыпальница выдающихся деятелей Франции.

...*народ, который, под предводительством своего государя, освободил от ига всю Европу*...— После разгрома Наполеона в России русские войска в 1813—1814 гг. освободили захваченные Францией страны Восточной и Центральной Европы; в конце марта 1814 г.— вошли в Париж.

Стр. 85. ...*я давно уже не слышал вас петь*...— Отличительная черта осмеиваемых героев Загоскина — наличие в их речи галлицизмов — слов и синтаксических конструкций французского языка в буквальном переводе.

Стр. 87. ...*арию из «Жоконда»*.— Ария из оперы французского композитора Никола Изуара (1775—1818) «Жоконд, или Искатели приключений» (1814).

Стр. 97. ...*эти бесконечные бостоны, несносные висты*...— Карточные игры бостон и вист были особенно популярны в России начала XIX в., преимущественно среди людей солидных; великосветская молодежь предпочитала фараон, макао, крепс.

Стр. 117. *И эта заморская харя смеет меня называть мадамою!* — См. коммент. к с. 67 наст. тома.

БЛАГОРОДНЫЙ ТЕАТР
(Стр. 121)

Впервые — М., 1828. Печатается по изданию: Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. М.— Л., 1964, с. 761—908.

Замысел комедии относится к 1821 году (см. письма Н. И. Гнедичу от 28 июля и 30 октября 1821 г.).

Впервые поставлена в Москве 28 декабря 1827 года. В ролях: Любский — М. С. Щепкин, Любская — Е. М. Кавалерова, Оленька — Н. В. Репина, Вельский — П. С. Мочалов, Посошков — А. М. Сабуров, Изведов — В. В. Рязанцев.

В Петербурге поставлена 1 января 1829 г.

Последующие представления:

Москва. 1828: 11, 17 января, 1 февраля, 27 апреля, 11 июля, 20 августа, 3, 26 сентября; 1829: 15, 20, 24 февраля, 23 апреля, 5 июня, 20 августа, 18 сентября, 29 октября, 14 ноября; 1830: 21 января, 15 февраля; 1832: 26 апреля, 5 мая, 18 июля, 4 октября, 20 декабря; 1833: 8 февраля, 4, 12 сентября; 1834: 11, 26 февраля, 9 октября, 1 ноября; 1835: 10 сентября; 1837: 24 февраля; 1838: 24 июня, 22 ноября; 1839: 19 ноября, 3, 17 декабря; 1840: 18 ноября; 1841: 2, 22 сентября, 9 декабря.

Петербург. 1829: 8, 25 января, 24 мая, 7, 30 июля, 19, 27 сентября, 19 декабря; 1830: 15 февраля, 29 декабря; 1831: 3, 19 мая; 1832: 10 января, 10 февраля, 26 мая; 1833: 12 сентября; 1834: 16, 31 октября, 28 ноября, 26 декабря.

Стр. 121. *Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт, переводчик Вергилия, автор описательных поэм.

Стр. 124. *...сейчас в Палате был...*— в губернском суде.

Стр. 132. *Мельпомена* (греч. миф.) — муза трагедии.

Стр. 134. *Меропа* — героиня одноименной трагедии Вольтера (1743).

Стр. 148. *И вот тщеславия плоды!* — Реминисценция из «Недоросля» Д. И. Фонвизина: «Вот злонравия достойные плоды!» (заключительная реплика Стародума).

Стр. 149. *Забытого детьми Эдипа представляет...*— Эдип (греч. миф.) — фиванский царь, изгнанный детьми из города после того, как стало известно, что он убийца своего отца и супруг собственной матери. Сюжет об изгнанном Эдипе запечатлен в трагедии Софокла «Эдип в Колоне». В России начала XIX в. особенной славой пользовалась трагедия В. А. Озерова, интерпретировавшего этот сюжет — «Эдип в Афинах» (с 1804 г. спектакль шел почти ежегодно в обеих столицах до начала 1830-х гг.).

Стр. 151. *Селадон* — изначально: герой романа французского писателя О. д'Юрфе (1568—1625) «Астрея», где в изысканной манере повествовалось о любовных переживаниях пастуха Селадона и пастушки Астреи. Позднее Селадон — нарицательное имя галантного кавалера.

Стр. 160. *Ну им ли женщин быть умнее и хитрей.* — Реминисценция из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Модная жена» (1792): «О женщины! могу признаться, // Что вы гораздо нас хитрей!»

Стр. 167. *Гаррик* Дэйвид (1717—1779) — английский трагический актер.

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер.

...орган отлично гибок — голос хорошо звучит.

Стр. 185. *...осьмое в свете чудо.* — В представлениях античного общества было семь чудес света — великих достопримечательностей: древнеегипетские пирамиды, храм Артемиды в Эфесе, Мавзолей в Геликарнасе, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, статуя Зевса в Олимпии, статуя Гелиоса в Родосе (Колосс родосский), маяк в Александрии.

Стр. 221. *По окнам шкалики, а плошки на крыльцо.* — Любский собирается устроить иллюминацию у дома, для чего приказывает расставить сосуды с деревянным маслом.

Стр. 232. *Куда девался спирт? Вот здесь ло-де-лаван...* — Ароматный спирт и лавандовая вода — средство для натирания висков во время обмороков.

ПРОЗА

НЕРАВНЫЙ БРАК

Отрывок из одного русского романа

(Стр. 257)

Впервые — «Северный наблюдатель», 1817, № 10—12, 14—16, под заглавием «Не ровный брак».

«Неравный брак» — один из первых прозаических опытов Загоскина. Главные герои повести — Лиза и Эраст — носят имена действующих лиц знаменитой повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).

Стр. 258. *Почтенный батюшка, подобно Иакову...* — Иаков — (б и б л.) легендарный патриарх; перед смертью произнес своим 12-ти сыновьям благословляющее слово.

Стр. 261. *...подвергнуться... насмешкам модных рецензентов...* — Имеются в виду критические выступления А. Е. Измайлова в адрес Загоскина, началом которым явилось «Письмо к издателям «Сына отечества» о «Богатонове, или Провинциале в столице» (Сын отечества, 1817, № 29; Измайлов редактировал журнал во время отъезда основного издателя Н. И. Греча), подписанное псевдонимом *Ювенал Прямосудов*, с критикой не только комедии Загоскина, но и похвальной рецензии на нее в «Северном наблюдателе» (1817, № 1). Затем Измайлов поместил в «Сыне отечества» сатирическое стихотворение «Сочинитель и раскольник» (№ 32, с. 227), в котором Загоскин был выведен под именем Вралева:

Один из здешних франтов,
По имени Вралев, пустился в автора!
Забыл знакомых всех; ни шагу со двора —
И ну писать, писать — комедию в пять актов.

Далее следовали упреки Вралеву-Загоскину в том,

Что будто бы Вралев, забравшись в кладовую,
Хранившу редкости известных авторо́в,
Сшил новый им наряд из разных пестрых слов.

Здесь повторялись упреки из «Письма» Ювенала Прямосудова в подражании «Мещанину во дворянстве» Мольера и «Полубарским затеям» Шаховского.

Загоскин напечатал «Письмо к издателям» «Северного наблюдателя», написанное от лица вымышленного читателя из города Касимова и «Ответ» на это «Письмо» издателей (Северный наблюдатель, 1817, № 7) с критикой «Сына отечества». Измайлов в рецензии, подписанной именем Ювенала Прямосудова, на перевод комедии Детуша «Расточитель» (Сын отечества, 1817, № 35) несколько раз язвительно отозвался о «Северном наблюдателе», завершив рецензию прямым выпадом в адрес Загоскина: «Есть даже такие затейники сочинители, что, будучи щедро наделены от предков своих плутусовыми дарами <имелись в виду древность и богатство рода Загоскиных>, не щадят никаких издержек на издание журналов, сами хвалят в них свои произведения <Измайлов подразумевал рецензию на «Г-на Богатонова» в «Северном наблюдателе», считая ее автором Загоскина>, сами покупают свой журнал и сами одни его читают» (с. 95). В том же номере «Сына отечества» было помещено «Письмо к издателю» из Касимова (№ 35, с. 116), где Загоскин был назван «вздорным сочинителем», который «не в состоянии написать что-нибудь умное».

Загоскин отвечал «Письмом к издателям» (Северный наблюдатель, 1817, № 10, с. 330); в том же номере был напечатан и фраг-

мент «Неравного брака», в котором говорилось о «модных рецензентах». «Сын отечества» отозвался «Ответом на письмо г. Неизвестного <из Касимова>» (№ 36, с. 158). Загоскин напечатал иронически комментированный разбор этой статьи Измайлова (Северный наблюдатель, № 11). Далее последовало «Оправдание Ювенала Прямосудова» (Сын отечества, № 37), в котором Измайлов обвинял Загоскина в невежестве: «Наши критики, не кончившие порядочно, а может быть, и не начинавшие еще курса словесности, находят, большею частию, красоты в таких сочинениях и переводах, в которых всякий просвещенный читатель видит грубейшие ошибки, и напротив того, предполагают ошибки там, где их вовсе нет или где даже есть красоты, ощутительные для людей, имеющих правильный вкус» (с. 199). Загоскин выступил с резкой критикой Измайлова (№ 12, с. 396), упрекая его за «низость» слога. Измайлов в статье «Ответ на ответы» также отвечал стилистическим разбором произведений, помещаемых Загоскиным в своем журнале (Сын отечества, № 39, с. 36). В своем опровержении Загоскин указал погрешности в слоге заметок, подписанных Ювеналом Прямосудовым (№ 14, с. 26; № 16, с. 90). Вернувшийся из-за границы издатель «Сына отечества» Н. И. Греч прекратил полемику со стороны своего журнала. Но Загоскин, считая Измайлова причастным к изданию «Волшебного фонаря», продолжил нападения на Ювенала Прямосудова, заявив, что «одному мудрому Ювеналу прилично описывать... разговоры конфетчиков, банников, кучеров, трубочистов» (№ 18, с. 158; все номера «Волшебного фонаря» состояли из стилизованных под речь простонародья монологов и диалогов крестьян, ремесленников, продавцов, разносчиков и т. д.). «Волшебный фонарь» ответил Загоскину пасквилем «Разносчик книг и Сочинитель» в сопровождении иллюстрации, где Сочинитель изображен с лицом Загоскина (Волшебный фонарь, 1817, № 12, вышел в середине января 1818 г.). Ниже приводим отрывок этого текста:

«Сочинитель. ...Из ничего нажить много значит быть умным человеком. Я и сам женился чрезвычайно выгодно на богатой девице. Хочешь знать, как это сделалось? Изволь, я откровенен, скажу: когда блестящие мои комедии появились на театре, когда начал я составлять великолепный план моего журнала, тогда у многих девиц в городе зашевелились сердца; все они удивлялись моему уму, моим способностям, не давали мне проходу; а я — я смотрел на них равнодушно и наконец, из сожаления, бросил взгляд на ту, которую называю теперь моею женою; а она, из благодарности, принесла мне двадцать тысяч доходу. О мой друг! просвещение есть редкая черта нравственного мира.

Разносчик книг *(в сторону)*. Барин-то, видно, не в полном уме.

<Сочинитель.> Какие же у тебя, мой друг, журналы?

<Разносчик.> Да разные есть; и больше всех надоел мне какой-то... *(Показывает.)*

<Сочинитель.> А! у тебя есть этот журнал?

<Разносчик.> Как же, сударь; чтобы его провал взял! Ношу, ношу — с рук нейдет!

<Сочинитель.> Молчи! не смей охуждать такие творения, которые делают честь всей нации. В нем все прекрасно, неоцененно! а особливо суждения мои о театре <Загоскин вел в «Северном наблюдателе» раздел «Еженедельный репертуар»>. О! они показывают, до какой степени совершенства достиг я в этом предмете. Лишь появилась первая пиеса моя на театре, и бедный, жалкий Фонвизин — убит,— а прочие и не суйся! Правда, что невежи, тебе подобные, бранили меня в одном журнале; да это ничего! Эти господчики все хвастают, что они учились в университетах, тамсям; а я — нигде и ничему не учился, но природа, мать гениев, так сказать, обсела меня всего и сделала из меня осьмое чудо. Пишу обо всех предметах — и все прекрасно, превосходно, неподражаемо!!!» (с. 181—182).

Далее Сочинитель дает Разносчику книг деньги с требованием хвалить его журнал и комедии.

Ответом «Волшебному фонарю» была *эпиграмматическая сказка* «Ювенал» (подпись: NN) и эпиграмма («На брани Созия не стоит отвечать...»; подпись: 1... 7...) (Северный наблюдатель, 1817, № 24, с. 338; вышел в середине января 1818 г.). Не исключено, что автором стихов был сам Загоскин: во второй подписи может быть зашифрована начальная буква его фамилии — «З», восьмая по счету в русском алфавите (1 ... + 7... = 8).

Стр. 261. *Еруслан Лазарич... Бова Королевич* — герои лубочных романов; см. также коммент. к с. 626 т. 1 наст. изд.

На тяжких вереях ворота заскрыпели, // Бич хлопнул, и... — Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Модная жена».

Стр. 265. *Сибилла* (греч., римск. миф.) — прорицательница, предрекающая будущее.

Гогард — Хогарт Уильям (1697—1764), английский художник, гравер, мастер сатирического бытового жанра.

Стр. 266. *«Недоросль»* — комедия Д. И. Фонвизина.

Стр. 268. *...Юпитер превращался для похищения Европы...* — Европа (греч. миф.), дочь финикийского царя Агенора, была похищена влюбившимся в нее Зевсом (Юпитером — римск. миф.), который, превратившись в быка, перевез ее через море на о. Крит.

Стр. 275. *Фильд* — Филд Джон (1782—1837), ирландский пианист, композитор, с 1802 г. жил в России.

Стр. 278. *...ребенок был назван Эрастом!* — Согласно православному месяцеслову, память святого Эраста (Ераста) отмечается 4 января и 10 ноября по старому стилю.

ВЕЧЕР НА ХОПРЕ

(Стр. 282)

Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. 3; затем в изд.: «Повести Михаила Загоскина». М., 1837, кн. 1. Повесть «Нежданные гости» была опубликована в кн.: «Русская романтическая повесть» (М., Советская Россия, 1980; подготовка текста В. Н. Сахарова) и вместе с повестью «Белое привидение» в кн.: «Русская романтическая повесть (Первая треть XIX века)» (М., Изд-во МГУ, 1983; подготовка текста В. А. Грихина).

«Вечер на Хопре» печатается по тексту: «Повести Михаила Загоскина».

Соединение нескольких новелл в цикл вечерних (ночных) рассказов — характерный прием русских романтических повестей 1830-х годов. В современной Загоскину литературе были знамениты циклы «вечеров» А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (СПб., 1828) и Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (СПб., 1831—1832); позднее вышли «Русские ночи» В. Ф. Одоевского (полностью — СПб., 1844), «Вечера на Карповке» М. С. Жуковой (СПб., 1839) и др.

Обыкновенно Загоскин не переделывал своих произведений при новом издании, а будучи человеком рассеянным, порою допускал нечаянные противоречия, которые переходили из издания в издание. В цикле «Вечер на Хопре» одного из героев — Черемухина — сначала называют Прохором Кондратьичем (с. 294, 313), затем Александром Иванычем (с. 345, 358); когда Асанов вводит в свой кабинет повествователя, тот видит четверых гостей, но далее речь идет только о трех — Кольчугине, Черемухине и исправнике, которые и рассказывают «страшные» новеллы (с. 294); исправник обращается к Асанову то на «вы», то на «ты» (с. 359).

ВСТУПЛЕНИЕ

Стр. 283. *Радклиф* — см. коммент. к с. 200 т. 1 наст. изд.

Стр. 284. *Жанлис* Софи-Фелисите (1746—1830) — французская писательница.

Стр. 285. *То в восторге юной радости...* — Цитата из стихотворения А. Н. Муравьева (1806—1874) «Русалки» (Северная лира на 1827 год. М., 1827, с. 120).

...в Иванов день... как цветет папоротник. — Согласно народному преданию, в Иванов день расцветает папоротник, и на местах его цветения можно обнаружить клад.

Стр. 288. ...*от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву.*— См. коммент. к с. 668 т. 1 наст. изд.

...*в сражении с Огинским при Столовичах...*— Михал Казимир Огиньский (1729—1800) — гетман литовский, командующий войсками против А. В. Суворова в сражении у Столовичей (местечко в Минской губ.) 13 сентября 1771 г.

Стр. 293. ...*маляра Ефрема, о котором бессмертный певец Ермака...*— Далее цитируется «Надпись к портрету Ефрема-живописца» (1791) И. И. Дмитриева, автора поэмы «Ермак» (1794).

Стр. 294. ...*Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка.*— В 1868 г. в г. Бар (Подолия) была создана конфедерация — вооруженный союз польской шляхты против короля Станислава Понятовского и России. Король обратился за помощью к России. Русские войска под командованием А. В. Суворова нанесли конфедератам ряд поражений. Краков был взят 15 апреля 1772 г.

Взятие Измаила.— См. коммент. к с. 513 т. 1 наст. изд.

...*охотничьих одинаких... ружей...*— одноствольных.

Прагский золотой крест в петлице — награда за взятие Праги, предместья Варшавы, в 1794 г.

Стр. 295. ...*плакса Гераклит...*— Гераклит (конец VI — начало V в. до н. э.) — древнегреческий философ; в XVIII в. упоминался обыкновенно как философ-пессимист по контрасту с философом-оптимистом Демокритом.

Стр. 295—296. *«Петербургские ведомости»* — «Санкт-Петербургские ведомости», газета, выходившая с 1728 г.

Стр. 296. ...*московский «Вестник».*— Имеется в виду журнал «Вестник Европы» (1802—1830), первым издателем которого в 1802—1803 гг. был Н. М. Карамзин. В 1806 г., когда герои «Вечера на Хопре» рассказывают свои истории, «Вестник Европы» издавался М. Т. Каченовским.

«Московский курьер» — еженедельник С. М. Львова (1805—1806).

«Любитель словесности» — журнал Н. Ф. Остолопова, издававшийся в Петербурге (1806).

«Московский зритель» — журнал П. И. Шаликова (1806).

«Собеседник» — журнал «Московский собеседник» (1806).

...*есть русские истории, которые несравненно более походят на сказки...*— Иронический намек на Н. А. Полевого, автора «Истории русского народа» в 6-ти томах (М., 1829—1833) и исторического романа «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века» (М., 1832; раннее художественно-историческое сочинение Полевого «Симеон Кирдяпа» (Московский телеграф, 1828, ч. XIX) имело аналогичный подзаголовок: «Русская быль XIV века»). В предисловии к роману, объявляя себя «врагом квасного патриотизма», Полевой подчеркивал, что его «русские были» — не то, что *повести* и *сказ-*

ки... В *былях* мне хочется... изобразить вам... Русь, как она была, точная, верная картина ее — вот моя цель... *История в лицах и быт народа в живых картинах...* Прочь торжественные сцены, декламация... Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило» (Полевой Н. А. Клятва при гробе господнем, т. 1. М., 1832, с. XI, XXXII, XLII, LVII—LVIII).

ПАН ТВАРДОВСКИЙ

Заглавие рассказа повторяет название либретто, написанного Загоскиным для оперы А. Н. Верстовского «Пан Твердовский» (поставлена в Москве 24 мая 1828 г.). Но либретто не имеет с рассказом, вошедшим в «Вечер на Хопре», ничего общего и построено на мотивах «Повести об Алеше Поповиче, богатыре, служившем князю Владимиру» из сборника В. А. Левшина «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти, приключения» (М., 1780—1783; 3-е изд.: М., 1820). См. об этом: Алексеев М. П. К сказаниям о пане Твардовском в русской литературе.— В его кн.: Сравнительное литературоведение. Л., 1983, с. 300—308.

Стр. 298. *Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка.*— См. коммент. к с. 294.

Ландскрона — местечко, недалеко от Кракова, со старинным замком, который был взят войсками Суворова 10 мая 1772 г.

Стр. 299. *...Суворов... был еще... генерал-майором.*— А. В. Суворов получил звание генерал-майора в 1770 г.

БЕЛОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Стр. 314. *В сражении при Нови.*— См. с. 716 т. 1 наст. изд. *Милорадович* — см. с. 727 т. 1 наст. изд.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Стр. 323. *Исакий, затворник печерский* — монах Киево-Печерского монастыря.

Стр. 328. *...не верь тому, что печатают под титлами...*— То есть слова, напечатанные с надстрочными знаками, означающими пропуск букв; здесь имеются в виду печатавшиеся сокращенно под титлами: «Бог», «Богородица», «Христос».

КОНЦЕРТ БЕСОВ

Стр. 333. *Медокс* — Маддокс М.-Г. (он был англичанином, а не итальянцем), содержатель московского Петровского театра в 1780—1789 гг.

Петровский театр — находился с 1780 г. в начале улицы Петровки, между Кузнецким мостом и рекой Неглинной, в районе нынешнего Большого театра; в 1805 г. Петровский театр сгорел.

...в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою... — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава 1, строфа XXXVII).

Стр. 336. *Армида* — героиня поэмы Т. Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим», волшебница, влюбленная в рыцаря Ринальдо и своими чарами удерживающая его в волшебном саду.

Стр. 341. *Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский композитор; автор опер «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791) и др.

Чимароза Доменико (1749—1801) — итальянский композитор, клавесинист, скрипач, певец; в 1787—1791 гг.— в Петербурге.

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор и органист.

Рамо Жан Филипп (1683—1764) — французский композитор, теоретик оперы.

Глук — Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), композитор, один из реформаторов оперы, примыкал к венской классической школе.

Арая — Арайя Франческо (1709 — ок. 1770), итальянский композитор; с 1735 г. возглавлял в Петербурге итальянскую оперную труппу; его оперы (в том числе и «Беллерофонт») ставились при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. *Беллерофонт* (греч. миф.) — герой, победивший трехглавое чудовище Химеру; совершал свои подвиги на укрощенном им крылатом коне Пегасе.

Люлли Жан Батист (1632—1687) — французский композитор; основоположник французской оперной школы.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и философ; «Деревенский философ» (поставл.— 1752) — его одноактная интермедия.

Стр. 345. *...подле Обухова моста... В желтом доме?* — Возле Обухова моста через Фонтанку находился дом сумасшедших.

Стр. 347. *...Михайла Николаич говорит дело.*— Загоскин наделяет повествователя собственным именем и отчеством,

ДВЕ НЕВЕСТКИ

Стр. 349. *Франк* Иоганн Петер (Иван Петрович) (1745—1821) — знаменитый врач; в 1804—1808 гг. работал в России.

Французская революция — Великая французская революция (1789—1794).

Стр. 350. *Робеспьер* Максимильен (1758—1794), *Марат* Жан Поль (1743—1793), *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — руководители якобинской диктатуры (2 июня 1793 г.— 27/28 июля 1794 г.).

Стр. 351. *...несмотря на угрозы республиканской партии...* — В августе 1792 г. французский король Людовик XVI (1754—1793) был отстранен от власти и 21 января 1793 г. казнен; королева Мария Антуанетта была казнена 16 октября 1793 г.

Мирабо О.-Г.-Р. (1749—1791) — граф, деятель начального периода Великой французской революции; прославился обличениями абсолютизма; с 1790 г.— тайный агент королевского двора.

Стр. 355. *«Друг народа»* — газета, издававшаяся с 1789 г. Ж.-П. Маратом.

Ламбаль Мари-Тереза-Луиза де Савой-Кариньяк (1749—1792) — приближенная королевы Марии Антуанетты; была убита 3 сентября 1792 г. во время народных волнений. В истолковании событий Великой французской революции в рассказе нашли отражение антиреспубликанские взгляды писателя, вообще характерные для дворянского общества первой трети XIX в.

Стр. 357. *Глагол времен — металла звон!* — Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

НОЧНОЙ ПОЕЗД

Стр. 360. *Алексей Михайлович* (1629—1676) — русский царь с 1645 г.; *Михаил Феодорович* (1596—1645) — русский царь с 1613 г.; отец Алексея Михайловича.

Лисовский — см. с. 694 т. 1 наст. изд.

Стр. 362. *...подступали поляки...* — После изгнания поляков из Москвы в 1612 г. последовала новая интервенция: в 1617—1618 гг. войска королевича Владислава с большим трудом были отбиты от Москвы; в результате перемирия к Речи Посполитой отошли смоленские, черниговские и новгород-северские земли с 29-ю городами, включая Смоленск.

Романеи!.. но я читал в одной критике... — Намек на рецензию «Северной пчелы» о «Юрии Милославском», где указывалось со ссылкой на 10-й том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, что романею в старину пили только при княжеских дворах (Северная пчела, 1830, № 8, 18 января).

Стр. 363. *...засурским помещиком...* — живущим за рекой Сурой.

...был года два лисовчиком... — служил у Лисовского.

...и лба не уставишь... — не перекрестишь.

Стр. 366. *Сапега* — см. с. 694 т. 1 наст. изд.

ИЗ ЦИКЛА «МОСКВА И МОСКВИЧИ»

«Записки Богдана Ильича Бельского»

(Стр. 371)

Впервые опубликовано в 4-х «выходах» в 1842—1850 гг. Полное название цикла: «Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского, *издаваемые М. Н. Загоскиным»*.

Выход первый (М., 1842). От издателя; I. Московский старожил; II. Взгляд на Москву; III. Сцены из московской домашней и общественной жизни. Сцена 1-я: Выбор жениха; IV. Московская старина; V. Контора дилижансов; VI. Два московских бала в 1801 году; VII. Московские балы нашего времени; VIII. Сцены из московской домашней жизни. Сцена 2-я: Живописец; IX. Марьина роща; X. Смесь: Визитные карточки.— Московские фабрики.— Дураки.— Большой колокол и Царь-пушка.— Бульварный разговор.— Кремль при лунном свете.— Вороны.

Выход второй (М., 1844). I. Петровский парк и воксал; II. Городские слухи; III. Английский клуб; IV. Литературный вечер; V. Ванька; VI. Новорожденный; Смесь: 1. Брат и сестра; 2. Дешевые товары; 3. Первые театральные представления в Москве; 4. Русский магазин; 5. Карты.

Выход третий (М., 1848). I. Несколько слов о наших провинциалах; II. Четыре визита; III. Первое мая; IV. Поездка за границу; V. Письмо из Арзамаса; VI. Прогулка в Симонов монастырь; Смесь: 1. Логический вывод; 2. Московские гостиницы; 3. Андрей Евстафьевич Дыбков; 4. Москва-река; 5. Бабий городок; 6. Два слова о нашей древней и современной одежде.

Выход четвертый (М., 1850). К читателям; Купеческая свадьба; Нескучное; Московские сводчики; Осенние вечера: 1. Вступление. 2. Вечер первый. 3. Эмигрант. 4. Благородный вор. 5. Лекарский диплом. 6. Предсказание.

Цикл «Москва и москвичи» публикуется в извлечениях по указанным изданиям.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Стр. 371. *...я не обязан, по долгу службы...* — До 1842 г. Загоскин пребывал в должности директора московских театров.

Стр. 372. *...московских гегелистов...* — Имеются в виду последователи немецкого философа Г.-В. Гегеля (1770—1831), чьи труды

штудировались и пропагандировались молодым поколением в 30—40-е годы (в частности, в кружках Н. В. Станкевича, В. Г. Белинского).

...этого знаменитого исторического имени...— Бельские, один из древних княжеских родов, особенно возвысившийся в конце XV—XVI вв.

Скопин-Шуйский, Пожарский — см. с. 694 и 700 т. 1 наст. изд.

Стр. 374. *«Сто писателей»* — «Сто русских литераторов», альманах без определенного направления, издававшийся А. Ф. Смирдиным в Москве в 1839—1845 гг. (3 тома); печатались произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. А. Бестужева (Марлинского), Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина и др.

«Сказка за сказкой» — издание М. Д. Ольхина; редактор — Н. В. Кукольник; 1-й том (СПб., 1841) содержал исторический рассказ Кукольника «Сержант Иван Иванович, или Все за одно»; 2-й том (СПб., 1842) включал рассказы Кукольника, В. И. Даля, П. Р. Фурмана.

Стр. 375. *«Библиотека»* — «Библиотека для чтения» (1834—1865), первый «толстый» (до 30 листов) журнал в России; в 1834 1847 гг. издавался А. Ф. Смирдиным, редактировался А. О. Сенковским, выходил в Петербурге.

«Сын отечества» — выходил в Москве в 1812—1844, 1847—1852 гг.; в 40-е годы переходил от издателя к издателю (Н. И. Греч, Н. А. Полевой, К. П. Масальский и др.).

«Северная пчела» — петербургская газета (1825—1864); редакторы-издатели: Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч.

«Русский вестник» — петербургский журнал (1841—1844); редакторы-издатели: Н. И. Греч, затем Н. А. Полевой, с конца 1842 г.— П. П. Каменский.

Стр. 376. *«Аскольдова могила»* — опера А. Н. Верстовского по либретто Загоскина, имевшая успех в обеих столицах (основой оперы послужил одноименный роман Загоскина).

Стр. 377. *...вовсе не грешно...*— Неточная цитата из «Послания к А. А. Плещееву» (1796) Н. М. Карамзина: «Смеяться, право, не грешно // Над всем, что кажется смешно».

МОСКОВСКИЙ СТАРОЖИЛ

Эпиграф — из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 3, явл. 22).

Стр. 379. *...пишет об этом наш знаменитый партизан Д. В. Давыдов.*— Основатель партизанского движения 1812 г. Давыдов был автором ряда книг и статей, посвященных эпохе войн с Наполеоном. В данном случае имеется в виду статья «Мороз ли истре-

бил французскую армию в 1812 году?» (Библиотека для чтения, 1835, ч. 7).

Стр. 380. *Пальмира* — древний город на территории северо-восточной Сирии (время расцвета — I—III вв. н. э.).

Бальбек — Баальбек, город в Ливане, где находятся развалины древнего (с XVIII в. до н. э.) Гелиополя.

Стр. 381. *Атеней* — здесь: собрание редких произведений искусства (ср. с названием журнала 1828—1830 гг. М. Г. Павлова: «Атеней»). Атеней, или Афеней (II—III вв. до н. э.) — греческий грамматик, составитель пятнадцатитомного сборника «Пир софистов», включавшего около полутора тысяч отрывков из произведений греческих писателей.

Стр. 383. *Анахарсис* — легендарный скиф, путешествовавший во времена Солона (VI в. до н. э.) по Греции ради приобщения к культуре; герой одноименного романа французского писателя Бартелеми (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788).

Гибон — Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788).

Боссюэт — Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704), французский писатель, философ, церковный деятель.

...*Владимир на шее.*— Орден Владимира II или III степени носили на ленте.

Стр. 384. *Ламартин* Альфонс (1790—1869); *Юго* (Гюго) Виктор (1802—1885), *Делавинь* (Делавин) Казимир (1793—1843) — французские писатели, чье творчество стало популярно у русского читателя в 1830-е гг.

Стр. 385. *Суровская линия* — ряды, где торговали суровскими товарами, то есть шелковыми, бумажными, легкими шерстяными тканями.

МАРЬИНА РОЩА

Стр. 387. *Ганин* Егор Федорович (ум. в 1825 г.) — богатый купец, писатель-графоман, владелец сада в Петербурге (дата смерти Ганина уточнена О. А. Проскуриным).

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК И ВОКСАЛ

Петровский подъездной дворец (ныне принадлежит Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского) построен в 1775—1782 гг. М. Ф. Казаковым.

Эпиграф — из комедии «Горе от ума» (д. 2, явл. 5; слова Скалозуба).

Стр. 395. *Феникс* — мифическая птица, сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла молодой; символ вечного обновления.

...того, который... так долго... заботился об ее благосостоянии. — Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), московский генерал-губернатор (1820—1844).

Стр. 396. *Витали* Иван Петрович (1794—1855) — русский скульптор, создатель фонтана на Театральной площади (1835).

Стр. 398. *...того самого словоохотливого камергера...* — Этот герой появился в очерке «Московские балы нашего времени» (Выход первый).

Стр. 401. *Ютилите* — второстепенные роли.

Балансе — танцевальное па; *па де-коте, шасе-ан-аван, па де-ригодон* — разные типы танцевальных движений.

Стр. 402. *...своих ветреных соседей* — французов.

Стр. 407. *Сегодня я здоров, а завтра бил мой час...* — Цитата из «Послания к Н. И. Гнедичу» (1821) М. Н. Загоскина (см. с. 672).

ПЕРВОЕ МАЯ

Эпиграф — из стихотворения Н. Берга «Сокольники. Послание к друзьям по выздоровлении» (Москвитянин, 1849, ч. 1, № 2, с. 165—187).

Стр. 413. *Рассудку вопреки, наперекор стихиям...* — Цитата из «Горя от ума» (д. 3, явл. 22).

Стр. 414. *Боско* Бартоломео (1793—1863) — знаменитый итальянский фокусник, гастролировал в России в 1842 г. (описание его фокусов — «Москвитянин», 1842, ч. 1, с. 706—709).

Стр. 415. *«Суд зверей»* — басня Крылова «Мор зверей».

Кому в Москве не зажимали рты... — Цитата из «Горя от ума» (д. 2, явл. 5).

ПИСЬМО ИЗ АРЗАМАСА

Полемическое выступление Загоскина по вопросам введения в русский язык иноязычных слов направлено против «наших скептиков, европейцев, либералов» (в частности, против «Отечественных записок» и В. Г. Белинского). Загоскин в 40-е годы воскрешает аргументы противников Карамзина начала века, и прежде всего — А. С. Шишкова, с легкой руки которого спор о «старом и новом

слоге» русского языка тянулся более пятнадцати лет с 1803 г. И подобно тому, как Шишков упрекал Карамзина и его последователей в порче родного языка галлицизмами, в преклонении перед европейскими модами и, в конечном счете, в антипатриотизме, так теперь Загоскин с теми же укорами выступает против языка Белинского. Разумеется, Загоскин вовсе не является последователем Шишкова: полемика 30-летней давности, в которой он сам участвовал «Комедией против комедии», для Загоскина, как и для всей русской литературы, уже историческое прошлое. И, видимо, недаром местом жительства приятеля Бельского, которому тот пишет письмо, Загоскин избрал Арзамас — по аналогии с названием литературного общества карамзинистов. При этом замечательно, что, воскрешая аргументы Шишкова в борьбе с лингвистическим европеизмом, Загоскин выступает (насколько осознанно — сказать трудно) как бы от лица того литературного поколения, которое в свое время этот европеизм отстаивало.

Эпиграф — из «Горя от ума» (д. 3, явл. 22).

Стр. 420. *...особенно в одном журнале...*— Имеются в виду «Отечественные записки» (с 1839 г. их издавал в Петербурге А. А. Краевский), где отдел критики до середины 1846 г. вел В. Г. Белинский и участвовали Н. А. Некрасов, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, И. С. Тургенев.

...«дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит.— Первоначальное название фотографии — «дагеротипия» — произведено от имени ее изобретателя — французского художника Л.-Ж.-М. Дагера (1787—1851).

Меццофанти Джузеппе (1774—1849) — кардинал; профессор университета в Болонье; полиглот.

Стр. 421. *Владимир Святославич* (ум. в 1015 г.) — князь новгородский (с 969 г.), киевский (с 980 г.).

Стр. 422. *Тредьяковский* (см. с. 644 т. 1 наст. изд.) был профессором элоквенции в Академии наук.

Стр. 424. *Гражданин вселенной.*— См. с. 720 т. 1 наст. изд.

Стр. 426. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767), «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» (1768).

Стр. 430. *...прочесть до конца первую песнь из поэмы Буало...*— О Буало см. коммент. к с. 77. 1-я песнь его поэмы «Поэтическое искусство» кончается словами: «Глупец глупцу всегда внушает восхищенье».

НЕСКУЧНОЕ

Нескучное — в первую четверть XIX в. имение князя Л. А. Шаховского, во второй половине 1820-х гг. было приобретено дворцовым ведомством и, вместе с купленными Николаем I соседними владениями Голицыных и Орловых, стало называться Нескучным садом. «Минеральный» колодец, построенный Шаховским, сломан в 1835 г.; Летний театр действовал в первую половину 1830-х гг.

Стр. 431. *К. Ш.* — князь Шаховской Л. А.

Стр. 432. *«Венгерская хижина, или Знаменитые изгнанники»* — балет, поставленный Дидло, шел с большим успехом в 1820—1830-е гг.

Стр. 433. *Д. В. Голицын* — см. коммент. к с. 395.

Стр. 434. *...«волчью долину», что на дне ее льют роковые пули, и черный стрелок выглядывает...* — Имеется в виду опера К.-М. фон Вебера (1786—1826) «Волшебный стрелок».

Стр. 437. *Лодер* Христиан Иванович (1753—1832) — врач, хирург; с 1806 г. лейб-медик Александра I; по его инициативе в Москве было организовано заведение минеральных вод на Остоженке.

Стр. 444. *...чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова.* — Имеется в виду басня «Червонец».

РУССКИЕ В НАЧАЛЕ ОСЬМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

Рассказ из времен единодержавия Петра I

(Стр. 447)

Впервые — М., 1848. Печатается по этому изданию. Роман опубликован также в «Москвитянине» (1849, № 1—4).

Основные рецензии: Отечественные записки, 1849, т. 65, отд. 6, с. 71—78; Современник, 1849, т. 13, отд. 5 (А. В. Дружинин).

«Русские в начале осьмнадцатого столетия» — второе обращение Загоскина к эпохе Петра I. Первым был вышедший в 1846 г. исторический роман «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого».

Исторические сведения были почерпнуты Загоскиным из обширного свода «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова (2-е изд.— конец 1830-х — начало 1840-х гг.), из «Истории Петра Великого» Н. Полевого (СПб., 1843), а также из подготовленных к печати А. С. Пушкиным и вышедших после его смерти — «Записок бригадира Моро де Бразе (касающихся до Турецкого похода 1711 г.)» (Современник, 1837, т. VI, с. 218—300). Видимо, Загоскин был зна-

ком с повестями и очерками о петровской эпохе писателя-декабриста А. О. Корниловича, которые публиковались в 1820-е гг.

Среди персонажей романа наряду с героями вымышленными (Симский, Запольская, Смарагда Хереско) и реально-историческими (Петр I, Б. П. Шереметев, Д. К. Кантемир) можно выделить персонажей условно-исторических (Шелешпанский, Загоскин). Шелешпанские — княжеский род, берущий начало от князей Белозерских; исторических сведений о жизни Шелешпанских на рубеже XVII—XVIII вв. не сохранилось. Использование этого имени в романе вполне условно. Образ Данилы Никифоровича Загоскина можно отнести к этой же категории персонажей.

Стр. 447. *Последний стрелецкий бунт, вспыхнувший во время отсутствия царя Петра Алексеевича...* — Стрелецкое войско, созданное еще в 1550-е гг. Иваном Грозным, до организации Петром I регулярной армии было главной военной силой. При жизни Петра (1672—1725) стрельцы впервые взбунтовались в 1682 г., сразу после смерти царя Федора Алексеевича. Последний стрелецкий бунт, порожденный борьбой между приверженцами Петра и боярской оппозицией, группировавшейся вокруг царевны Софьи (1657—1704), произошел в 1698 г. В марте, когда Петр с Великим посольством находился в Европе, среди стрельцов, направленных к западной границе, началось недовольство, была подана челобитная Софье с жалобой на Петра. В июне 1698 г. те же стрелецкие полки по призыву Софьи направились в полном составе в Москву. Они были разбиты под Новым Иерусалимом на переправе через Истру отрядом под командованием боярина А. С. Шеина (1662—1700), правнука М. Б. Шеина (см. с. 693 т. 1 наст. изд.). О восстании стрельцов Петр узнал в Вене. Вернувшись 25 августа в Москву, он стал лично руководить розыском стрельцов и казнями.

...Карл XII, разбитый наголову близ Полтавы... — Войско шведского короля Карла XII (1682—1718), осадившее Полтаву, было разбито русской армией под командованием Петра I 27 июня 1709 г. Отступающее войско Карла XII было настигнуто 30 июня кавалерией под командованием А. Д. Меншикова; свыше 16 тысяч шведов сдались в плен; Карл XII с остатком войска спасся в пределах Турции. С ним бежал украинский гетман И. С. Мазепа (1644—1709), который в 1708 г. открыто перешел на сторону шведов, обещая подчинить им Украину.

...вторую столицу царства русского. — Петербург был заложен в 1703 г. в устье Невы, отвоеванном у шведов; пленные шведские солдаты работали на строительстве города. В 1713 г. в Петербург переехали двор, Сенат, дипломатический корпус.

...Рига, Ревель и вся Лифляндия... — К 1710—1711 гг. русские

войска заняли Ингрию, Эстляндию и большую часть Лифляндии с Ригой. Военные успехи России были закреплены подписанием в 1721 г. Ништадтского мира, по которому к России отошли Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия.

...короля Августа II-го.— Август II Сильный (1670—1723), польский король и курфюрст саксонский. Участвовал в войне против Швеции. Разбитый в 1706 г. Карлом XII, он был вынужден подписать Альштранштадтский мир и отречься от польской короны. После разгрома шведов под Полтавой был восстановлен на польском престоле.

Стр. 448. *...из всех внешних и внутренних врагов России...*— Характеристика исторической ситуации в романе Загоскина напоминает оценку эпохи Петра в повести А. О. Корниловича «Утро вечера мудренее» (опубл. 1828 г.): «Никогда Петр в свое царствование не находился в столь сомнительном положении... Враги внешние... готовились вступить в его владения. К тому же надлежало опасаться врагов другого рода, тем опаснейших, что они были не явные, людей, кои, взирая неприязненным оком на вводимые Петром перемены... почитая нарушением святыни всякое отступление от старины, нетерпеливо сносили иго новых обычаев и только ждали случая, чтоб безнаказанно возвратиться к прежней беззаботной жизни. Число их было значительно, ибо немногие в тогдашнее время могли постигнуть высокую цель и благодетельные намерения Петровы» (Корнилович А. И. Сочинения и письма. М.— Л., 1957, с. 15).

...называли их богопротивными...— Восприятие новых реформ как богопротивных, а самого Петра как Антихриста было широко распространено с конца XVII до середины XVIII в. В январе 1697 г. монах московского Андреевского монастыря Авраамий подал Петру I «тетради», где критиковал ряд царских реформ и его «богонеугодные» поступки. Летом 1700 г. было проведено следствие над «книгописцем» Г. Талицким, тамбовским епископом Игнатием и князем И. И. Хованским, которые намеревались печатать и распространять листы, в которых Петр I объявлялся Антихристом (см.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого.— В кн.: Художественный язык средневековья. М., 1982).

...Петр Алексеевич был уже не вторым царем русским, а государем единодержавным...— В результате стрелецкого бунта 1682 г. Петр и его сводный брат Иван (1666—1696) были провозглашены царями; Иван как старший был именован «первым царем». До 1689 г. за них фактически правила сестра Софья.

Стр. 449. *...от Серпуховской дороги...*— Дорога, проходившая через Серпуховскую заставу Москвы, которая находилась между Донским и Даниловским монастырями; проходила через село Котлов

Вздвиженское — село близ Троице-Сергиева монастыря.

Кафтан с козырем — кафтан со стоячим воротником.

Стр. 452. ...*эта грамотка, что прислал к тебе вчера с ходоком из Москвы приятель твой...* — Грамотка — письмо. В то время регулярной конной почты для частных писем не существовало.

Стр. 453. *А теперь посылают боярских детей в еретичные земли учиться немецким обычаям, хотят нас нарядить в разнополые немецкие кафтаны... обрить бороды...* — Первые 35 «волонтеров» поехали изучать морское дело за границу вместе с Великим посольством Петра в 1697 г. После этого отправка молодых дворян для учебы в Европу стала проводиться регулярно. Указы Петра 1700—1701 гг. делали обязательным ношение платья нового покроя для всего городского населения, кроме духовенства. Указы 1698—1699 гг. предписывали обязательное бритье бород; не желавшие расстаться с бородой должны были платить ежегодно особый налог; в знак уплаты налога им выдавались металлические «бородовые знаки». Указом 1705 г. были определены размеры налога, от 30 руб. (для горожан) до 100 руб. (для купцов).

Стр. 454. ...*о приезде государя Петра Алексеевича в Москву...* — 17 января 1711 г. Петр выехал из Петербурга и 21 января прибыл в Москву.

...*свели дружбу с Ягужинскими...* — Ягужинский Павел Иванович (1683—1736) — один из ближайших помощников Петра I.

Стр. 455. ...*повадились ездить в Немецкую слободу...* — Немецкими (иноземными) слободами назывались в России XVI—XVII вв. пригороды, в которых имели право жить иностранцы. В Москве Немецкая слобода находилась в северо-восточной части города, на правом берегу реки Яузы.

...*завелись в Москве бесовские сходбища, они прозываются ассамблеями.* — Ассамблеи — собрания-балы с танцами, музыкой и играми. Ассамблеи устраивались во дворцах и домах богатых дворян и купцов с осени по раннюю весну. Ср. у А. О. Корниловича в романе «Андрей Безыменный»: «Стыда, право, не стало у людей,— проезжала я намедни через Москву. Завелись там, вишь, по-немецки какие-то асамлеи. Свозят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают... встречного, поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да похваливают» (Корнилович А. И. Сочинения и письма, с. 75). Ассамблеям был специально посвящен очерк Корниловича «О первых балах в России» (1823). Он писал: «Ассамблеи устроены были следующим образом. В одной комнате танцевали, в другой находились шахматы и шашки, в третьей трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами... Русская пляска, вместе с длинными кафтанами и сарафанами, оста-

лась только в нижнем классе народа; заменил оную степенный польский тихий менуэт и резвый английский контрданс... Люди преклонных лет и почтенного звания также прыгали вместе с другими... Музыка на ассамблеях была большею частью духовая: трубы, фаготы, гобои и литавры» (Корнилович А. И. Там же, с. 180—183).

...у голландского купца Гутфеля.— Голландский купец Карл Гутфель, учредивший в Москве ряд торговых контор, неоднократно упоминается в «Деяниях Петра Великого» И. И. Голикова.

Стр. 457. *...не из потешных каких, а роду хорошего.*— Первоначально будущие Преображенский и Семеновский гвардейские полки состояли из подростков в основном недворянского происхождения, которые участвовали в детских военных играх Петра I.

Стр. 459. *Опричня была при государе Иоанне Васильевиче, а лейб-гвардия учреждена государем Петром Алексеевичем...*— Опричня (опричнина) — система правительственных мероприятий, осуществленных Иваном IV Грозным (1530—1584), направленных на разгром боярской оппозиции и укрепление самодержавия. В ходе опричнины было сформировано особое войско опричников. Гвардейские части имелись в XVII—XVIII вв. в большинстве европейских государств. Русская гвардия была создана Петром I в 1687 г. и первоначально состояла из Семеновского и Преображенского лейб-гвардейских полков.

Стр. 460. *Царский дворец, адмиралтейство, фортецию...*— Первый дворец для Петра был построен в 1711 г. на берегу Зимней канавки. Большая верфь Адмиралтейства была заложена в 1704 г. по замыслу и плану Петра I. Петропавловская крепость начала строиться в мае 1703 г. на Заячьем острове. Первоначально крепость имела земляные стены и шесть земляных бастионов.

...в кунсткамере... объявляли царский указ, чтоб со всех сторон присылали туда всяких уродцев.— Правительственные указы 1704—1718 гг. предписывали собирать во всех районах России экспонаты для анатомических, зоологических коллекций (в том числе и различного типа уродов), которые позже хранились в Петровской Кунсткамере, основанной в 1714 г.

Стр. 465. *...столбовые-то люди повывелись...*— Столбовыми назывались в России потомственные дворяне знатных родов, занесенные в столбцы — родословные книги.

Стр. 466. *...в Коломенском походе, в Савине монастыре...*— В 1662 г. восставшие жители Москвы пошли в село Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович, с требованием выдать ненавистных им бояр. В этом же году было восстание крестьян Саввина-Сторожевского монастыря, которое было подавлено царскими войсками.

Стр. 469. *Подольск* — город на реке Пахре, правом притоке Москвы-реки; до 1764 г.— село Подол.

...*Иван Великий* — колокольня в Московском Кремле, была одной из самых высоких построек в России.

...*в Шалонской пятине...* — Шалонская пятина — в XV—XVI вв. одна из областей Новогородской земли по реке Шелонь.

...*наша святая София.*— Софийский собор в Новгороде, построен в 1045—1050 гг.

Стр. 470. ...*прямо Белый город, полевее Чертолье...*— В Москве XVI в. выделяли три основных района, которые составляли городскую часть Москвы: Китай-город, ремесленно-торговый посад, включал район нынешней Красной площади и кварталы, примыкавшие к Кремлю с востока, в 1535 г. был обнесен каменной стеной; стена Белого города (1585—1593) проходила по линии нынешнего Бульварного кольца; Земляной (Деревянный) город, или Скородом, окружал Белый город и включал Замоскворечье; он был ограничен земляным валом и к 1591—1592 гг. обнесен деревянной стеной, которая шла по линии современного Садового кольца. Чертолье (Черторье) — урочище неподалеку от впадения реки Неглинной в Москву-реку; получило свое название от ручья Черторый.

Стр. 471. ...*стрелецкой слободою.*— Большинство слобод, в которых жили стрельцы, находилось в Земляном городе. Имеется в виду слобода у Калужских ворот.

...*всегда и на Софийской стороне, и в Славянском конце народ так и кишит.*— Софийская сторона — часть Новгорода на левом берегу Волхова, где находился кремль. Новгород делился на пять районов (концов). Славянский — один из районов Торговой стороны, на правом берегу Волхова.

Берсеньевский мост — плавучий мост у Всесвятской церкви, возле Полянки.

Стр. 472. ...*от Москворецкого моста...* — Деревянный мост через Москву-реку, соединял Китай-город с Балчугом, рядом помещался Москворецкий рынок. Он назывался еще Живым мостом, поскольку бревна моста лежали прямо на воде и поднимались и опускались в зависимости от уровня воды в реке.

Стр. 473. ...*подле Всесвятских ворот...*— Всесвятские (Варварские) — ворота в Китай-городе.

Стр. 474. ...*назывались Троицкими.*— Троицкие (Воскресенские) ворота Китай-города, выходившие на Тверскую улицу, были реконструированы в 1680 г.

Стр. 475. *Крымский двор.*— Находился за Москвой-рекой.

...*дойдя до Лебединого пруда...*— Лебяжий пруд за Боровицким мостом.

Стр. 481. *Александр Данилович Меншиков* (1673—1729) — бли-

жайший сподвижник Петра I, светлейший князь, первый губернатор Петербурга; после Полтавской битвы получил чин фельдмаршала.

Стр. 486. *Портище пуговиц* — дюжина.

Стр. 487. *Черкасов Иван Антонович* (1692—1752) — барон, кабинет-секретарь.

Стр. 489. *...сам пошел в рабочие люди...*— Петр I, чтобы изучить корабельное дело, работал на верфи в Голландии простым плотником.

Стр. 490. *Попал в фельдмаршалы.*— См. коммент. к с. 481 наст. тома.

Стр. 491. *Яков Федорович Долгорукий* (Долгоруков) (1639—1720) — князь, сподвижник Петра I, его советник и доверенное лицо; в 1700—1711 гг. находился в шведском плену.

Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 1640—1717) — князь, сподвижник Петра I и фактический правитель страны в его отсутствие; возглавлял Преображенский приказ, занимавшийся политическим сыском.

Шереметев Борис Петрович (1652—1719), граф, фельдмаршал, один из ближайших сподвижников Петра I.

Стр. 492. *Крекшин* Петр Никифорович (1684—1763) — смотритель работ в Кронштадте, обвинен в растрате и сослан; впоследствии автор ряда исторических трудов об эпохе Петра I («История России и славных дел императора Петра Великого от рождения его по день погребения» и др.).

...из кабинетных писцов в кабинет-министры.— Кабинет-министр — член личной канцелярии царя, которая была связана со всеми отраслями государственного управления. Учреждена Петром I в 1704 г.

Стр. 499. *...скорее мы будем в Царьграде, чем турки в Азове.*— Царьград (Константинополь) — столица Османской империи; город-крепость Азов был взят русскими войсками под командованием Петра I в результате второго Азовского похода 18 июля 1696 г. По Прутскому мирному договору 1711 г. Азов вновь отошел к Турции.

Стр. 502. *...вавилонское столпотворение — смешение языков!* — По библейскому сказанию, после всемирного потопа люди захотели построить башню, которая бы достигла неба. Разгневанный бог «смешал их языки», чтобы люди не смогли понимать друг друга, и рассеял их по земле.

Стр. 503. *...как известный Кикин...*— Кикин Александр Васильевич, участник Великого посольства, с 1712 г. адмиралтейский советник; казнен в 1718 г. за участие в заговоре царевича Алексея.

...на Крутицах...— Крутицкая (митрополичья) слобода на реке Яузе.

Стр. 505. *...поступил из недорослей в московское жилецкое*

войско новиком.— Недорослями в России называли молодых дворян, еще не определенных на службу. О жилецком войске см. историческое замечание 7 к роману «Юрий Милославский» (с. 284 т. 1 наст. изд). Новйк — в России XVI—XVII вв. боярский или дворянский сын, начинающий службу.

Стр. 507. ...*в древнем Риме был сенат...*— В России Сенат утвержден указами Петра в 1711 г. (22 февраля и 2 марта).

Стр. 508. *Уж коли граф, так какой русский!* — Титул графа был введен в России Петром I.

Стр. 522. ...*имя-то свое, говорят, подписывает по-иноземному, и новый город свой назвал по-немецки...*— Петр I часто в письмах и деловых бумагах подписывался «Питер» (Piter); северная столица России была названа им Санкт-Петербургом (т. е. «город Петра», от нем. burg — крепость, город), а не Петроградом.

Стр. 526. ...*дворец Бориса Годунова...*— Каменный дворец на склоне Кремлевского холма, построен на рубеже XVI—XVII вв. для царя Бориса Годунова.

Стр. 527. ...*у Спаса на Чигасах, а оттуда к Харитонию в Огородниках...*— Места Москвы: храм Спасителя, Большой Харитоньевский переулок (бывшая Хомутовская ул.) в Огородной дворцовой слободе между Мясницкой и Покровкой.

Стр. 531. *Сухарева башня* — Сухарева (Сретенская) башня составляла часть укреплений Земляного города, построена в начале 1690-х гг. Была одной из самых высоких построек Москвы. В 1701 г. ее надстроили и поместили в ней первую в России обсерваторию.

Стр. 532. ...*служил поддьяком в холопьем приказе...*— Холопий приказ (приказ Холопья суда) ведал актами поступления в холопство, продажи, отпуска холопов на волю; здесь же производили сыск и суд по делам беглых холопов. С 1704 г. этими делами ведал московский Судный приказ. Поддьяк — средняя канцелярская должность.

Стр. 547. ...*теперь с ним война, об этом уж и манифест объявлен.*— Манифест с объявлением Турции войны был подписан 22 февраля 1711 г. 25 февраля Манифест был зачитан в Успенском соборе в Москве.

Стр. 551. ...*комнатным стольником царя Алексея Михайловича...*— Некоторые стольники служили царям в их комнатах («комнатные» или «ближние» стольники).

Городской дворянин — в системе «чинов» XVII в. самый нижний слой дворянства, наравне с «детьми боярскими». Должность городского дворянина была выборной.

...*о древних церковных книгах...*— Имеется в виду реформация русской церкви, церковных книг и обрядов в середине XVII в., вызвавшая церковный раскол. Противники реформ патриарха Никона (1605—1681) — старообрядцы — отрицательно относились к

исправлению богослужебных книг по греческим образцам, закрепленному церковным собором 1656 г.

...«эта седая чародейка»... — из стихотворения Г. Р. Державина «Осень во время осады Очакова».

Стр. 560. *...не впереди них, а вслед за ними в столовую комнату.* — Загоскин подчеркивает различие светского этикета XIX в. и обычаев допетровской Руси. «Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра,— писал в романе «Андрей Безыменный» А. О. Корнилович,— до этого — пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство шить — лучшей похвалой».

Стр. 573. *Говорят, будто бы его строил царь Иван Васильевич,— не Грозный, сударь, а дедушка Грозного...* — Неточность: белокаменный кремль в Серпухове сооружался в середине XVI в. (закончен к 1556 г.), в годы царствования Ивана Грозного. Его дед Иван III Васильевич умер в 1505 г.

Стр. 580. *...Гришку ...угораздило назвать себя царем русским...* — Имеется в виду Григорий Отрепьев (см. с. 697 т. 1 наст. изд.).

Стр. 582. *...или захотелось в Березов?* — Березов (ныне Березово) основан как крепость в 1593 г. на притоке Оби. В XVIII—XIX вв.— место политической ссылки. В Березов был сослан А. Д. Меншиков.

Стр. 584. *Под Полтавою ему, нашему батюшке, шляпу-то продырили.* — Отражая опасный прорыв шведов в первой линии наших войск, Петр I повел в контратаку второй батальон Новгородского полка. В этом бою шляпа Петра была прострелена.

...нашей матушки Софьи Алексеевны не стало, да зато, говорят, сынок-то его... — Постриженная в 1698 г. в монахини под именем Сусанны Софья умерла в 1704 г.; царевич Алексей (1690—1718), сын Петра от первой жены (Лопухиной); вокруг него группировались участники боярской оппозиции; по раскрытии антипетровского заговора Алексей был заключен в тюрьму и казнен.

Стр. 586. *Премудрый век, в котором мы живем...* — Загоскин описывает научно-технические изобретения первой половины XIX в. Спички появились в России в 30-х годах XIX в.; первоначально они были ядовиты, так как включали в состав спичечной головки белый фосфор. Атмосферической называется дорога, передвижение по которой основано на использовании паровой тяги. Первая в России железная дорога для пассажирских перевозок Петербург — Царское Село — Павловск была построена в 1837 г. Электромагнитный телеграф изобрел русский физик П. Л. Шиллинг в 1832 г., а первая линия электрического телеграфа была построена в 1841 г. русским ученым Б. С. Якоби.

Сороки — крепость XVI в. на Днестре; с 1835 г.— город.

...вероятно, построенной генуэзцами. — В XIII—XV вв. генуэзские купцы основали ряд своих колоний в северном Причерно-

морье для посреднической торговли со странами Западной и Восточной Европы. Эти укрепленные центры были разгромлены и захвачены Турцией в 1475 г.

Стр. 587. *...Петр Алексеевич прибыл 12-го числа июня...*— Передовые части русских войск под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева выступили навстречу турецкой армии весной 1711 г. Петр I с гвардией прибыл к армии 12 июня, а 18 (а не 17, как у Загоскина) июня начался поход наших войск от Сорок к берегам Прута по безводным степям.

Вейде Адам Адамович (1667—1720) — русский генерал; начал службу в потешных войсках; участник Азовских походов, в 1700—1710 гг.— в шведском плену; участник Прутского похода.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — один из ближайших сподвижников Петра I; командовал артиллерией; дед Брюса, из шотландского королевского рода, переселился в Россию в 1647 г.

Моро де Бразе — бригадир, позже — генерал. Ему принадлежат записки, касающиеся до Турецкого похода 1711 г., которые использовал А. С. Пушкин как фактический источник в работе над «Историей Петра».

Репнин Никита Иванович (1668—1726) — генерал, с 1725 г. генерал-фельдмаршал.

Стр. 589. *...говорят, визирь переправился через Дунай и хочет нас встретить под Прутом.*— 18 июня 1711 г. армия визиря, перейдя Дунай, быстро приближалась к столице Молдавии Яссам, двигаясь по левому берегу реки Прут.

Стр. 590. *...Крылов, у которого мыши убеждены, что сильнее кошки на свете зверя нет.*— Имеется в виду басня И. А. Крылова «Мышь и Крыса» (1816), в которой Крыса говорит: «Сильнее кошки зверя нет!»

Стр. 593. *...бояр Алеско Паладии...*— Греческий род Паладии был одним из старейших в Молдавии.

Стр. 596. *...от звания великого спатаря, которое предлагал мне князь Кантемир?* — Спатарь — высший сановник двора, командующий войсками. Кантемир Дмитрий Константинович (1673—1723) — с 1710 г. господарь Молдавии. 13 апреля 1711 г. в Луцке Петр I выдал Кантемиру диплом о принятии его в вечное российское подданство со всем его княжеством. После неудачного Прутского похода Кантемир со своей семьей и двором переехал в Россию.

Стр. 598. *Рябая Могила* (Могила Рабий) — урочище на берегу Прута; русские войска расположились здесь лагерем 27 июня, а 7—10 июля 1711 г. у Рябой Могилы произошла битва с турками. В 1770 г. на этом же месте русские войска под командованием П. А. Румянцева разгромили турецкую армию.

Стр. 600. *...на Лысой горе, близ Киева.*— По преданиям, ночью на Лысой горе ведьмы устраивают свой шабаш с колдовскими игра-

ми и плясками. Лысая гора в русской литературе первой половины XIX в. воспринималась как аналог немецкой горы Брокен в Гарце, на которой проходил знаменитый шабаш ведьм в «Фаусте» Гете.

Стр. 601. *Арды ма, фриджи ма...*— известная цыганская хóра. Приводится в хрестоматии Я. Гинкулова «Собрание сочинений и переводов, в прозе и стихах, для упражнения в валахо-молдавском языке», СПб., 1840. Она же воспроизводится в «Цыганах» Пушкина.

Стр. 603. *Мариорица.*— Имя цыганки в романе Загоскина, возможно, связано с именем главной героини романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом».

...пройдя в пять дней Буджакские степи...— Переход между Дунаем и Днестром по Буджакским степям из-за очень тяжелых условий похода по безводной местности длился шесть дней (с 18 июня).

Стр. 604. *...и отрежет нас от дивизии генерала Рене...*— Армия визиря переправилась через Дунай еще 18 июня 1711 г.; 27 июня Петр I отправил конный корпус генерала К.-Э. Ренне совершить рейд к устьям Дуная. 7 июля Ренне отбил у турок крепость Браилов и перерезал турецкие коммуникации, но его гонец к Петру I был перехвачен, и об этой победе русские узнали лишь после подписания мирного договора. В разговоре с Кантемиром Палади сообщает ему заведомо ложные сведения.

Стр. 606. *Феофан Прокопович* (1681—1736) — сподвижник Петра I, церковный и государственный деятель, писатель. В традиционном жанре церковного панегирика обращался к современной ему общественной тематике, прославляя реформы Петра.

Головкин Гавриил Иванович (1660—1734) — граф, первый государственный канцлер в России, с 1706 г. возглавлял Посольский приказ, с 1718 — коллегию иностранных дел.

Шафиров Петр Павлович (1669—1739) — дипломат, участвовал в Великом посольстве, с 1709 г.— вице-канцлер. Во время Прутского похода 1711 г. Шафиров добился заключения мирного трактата с турками, а затем остался в Турции заложником выполнения условий договора. Вернувшись в Россию, продолжал государственную службу.

Рагузинский-Владиславич Савва Лукич (ум. в 1738 г.) — граф, дипломат; потомок боснийских князей, его отец бежал от турецкого гнета в Рагузу (ныне г. Дубровник в Югославии). Рагузинский переселился в Россию в 1708 г. После Прутского похода служил дипломатом в Риме, Венеции, возглавлял переговоры с Китаем.

...сообразно их званию и табели о рангах.— Анахронизм: документ, определявший градацию чинов и должностей в армии и государственной службе — «табель о рангах» — был принят в 1722 г.

...старшего немецкого генерала Януса...— Эберт Янус был на русской службе до 1711 г. При движении русской армии по течению реки Прут Янус находился с кавалерией в авангарде войска;

7 июля он послал Петру I ложное сообщение о том, что турки переправились через Прут, и отступил от реки к основным русским силам, чем позволил визирю на самом деле осуществить переправу. После окончания похода Петр I наряду со многими иностранцами дал отставку и Янусу.

Стр. 609. *...в книге знаменитого путешественника Адама Олеариуса...* — См. с. 711 т. 1 наст. изд.

Стр. 610. *...что можно было ожидать после нарвского сражения?* — В 1700 г. армия Петра I была разбита под Нарвой шведскими войсками; в 1704 г. русские войска вторично осадили Нарву и 9 августа штурмом овладели крепостью. В результате завершения Северной войны со Швецией к России отошел целый ряд северных областей (см. коммент. к с. 447 наст. тома).

Стр. 612. *...старик Шереметев в деле молодец! Чтобы спасти простого солдата...* — До приезда к армии Петра I движением войск командовал Б. П. Шереметев. Петр был недоволен его медлительностью и отстранил от руководства войсками. «Шереметев искупил честь свою самоотвержением в битвах и мужеством в гибельном положении... при отступлении от Фальчи к Пруту, увидя отставшего русского солдата, окруженного турками, Шереметев сам бросился спасать его. Царь строго выговаривал ему за такую неуместную отвагу, говоря, что жизнь полководца дороже солдатской» (Полевой Н. Русские полководцы. Жизнеописания. СПб., 1845, с. 48).

Стр. 615. *...Бранкован... изменил своему слову.* — Господарь Валахии Константин Брынковяну (1654—1714), с которым Россия и Молдавия договорились о совместных действиях против турок, не только не выступил против визиря, но и передал турецким войскам весь припасенный для союзнических войск провиант, а также не пропустил через свои земли отряды сербских повстанцев, шедшие на помощь русским и молдавским войскам. Но когда после окончания войны стало известно о намерениях Брынковяну оказать помощь России в войне против Турции, он был турецкими властями казнен.

Стр. 617. *...последний указ моему Сенату.* — Историческая истинность приводимого письма сомнительна. Впервые письмо было опубликовано в 1785 г. на немецком языке. О нем см.: Письма и бумаги Петра Великого, т. 11, ч. 1, с. 572—575. Загоскин почти точно воспроизводит перевод письма, помещенный в «Деяниях...» И. И. Голикова и «Истории...» Н. Полевого. Основное разночтение: в письме сказано «в четырекраты сильнейшею турецкою силою»... Реально турецкая армия почти в пять раз превосходила русскую.

Стр. 618. *...возвращу туркам Азов, разорю построенную на их земле Троицкую крепость...* — По Прутскому договору Турции возвращался Азов с округом; Таганрог и другие крепости, построенные Россией на юге, подлежали уничтожению; договором призна-

валось покровительство султана над запорожцами. Троицкое — укрепленное село у Азова, активно оборудовалось как военная крепость после Второго Азовского похода. Артиллерия и склады с боеприпасами и амуницией из Азова и Троицкого перевезли в новую крепость на Дону у Черкасска.

Стр. 630. *Эфенди* — вежливое обращение (тур.).

Стр. 636. *...красивые наметы турецкого войска.*— Здесь: походные шатры.

Стр. 637. *Чауши* — в турецкой армии специальная военная стража; они наказывали провинившихся ударами деревянных палок по пяткам.

Стр. 638. *...на роскошном атамане...*— Оттоман (оттоманка) — мягкий диван с подушками, заменяющими спинку, и двумя валиками.

Стр. 641. *Она грустна, она уныла...*— Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобожденная Москва» (1794).

Стр. 650. *Пункт третий: «Кто скрывается от службы...»* — Имеется в виду указ Петра I Сенату от 2 марта 1711 г.

Стр. 652. *...любимую свою книгу «Камень веры» Стефана Яворского...*— Стефан Яворский (1658—1722), видный церковный деятель, в 1700 г. был назначен местоблюстителем патриаршего престола. С выдвижением Феофана Прокоповича, пользовавшегося бо́льшим доверием Петра I, Яворский фактически был отстранен от церковной деятельности. Загоскин допускает анахронизм: главное сочинение Яворского «Камень веры», излагающее основы православного вероучения и содержащее полемику с лютеранством, было написано в 1718-м, а издано в 1728 г.

Стр. 654. *...с турками заключен вечный мир.*— В соответствии с согласием турок начать переговоры в их лагерь был послан 10 июля 1711 г. П. П. Шафиров. Он вернулся в русский лагерь днем 11 июля с проектом договора; получив санкции Петра I, вновь отправился к визирю. 12 июля «Договор о вечном мире» был подписан.

Стр. 656. *И в нечестивом Содоме нашелся праведный Лот...*— *Лот* (библ.) — праведник, спасенный богом при разрушении погрязших в грехах городов Содома и Гоморры.

Набольшие — начальники, командиры.

Стр. 663. *...подписывается иногда не Петром, а Питером?* — См. коммент. к с. 522 наст. тома.

Стр. 667. *Азов сдают опять туркам...*— См. коммент. к с. 618 наст. тома.

Стр. 668. *На Ильинке* находился один из гостиных дворов Москвы.

Стр. 669. *...в Чигиринском повете...*— Город Чигирин на реке Тясмин (правый приток Днепра) вошел в состав России в 1793 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(Стр. 672)

Овладение навыками версификации для Загоскина, не умевшего сочинять стихи, было делом его литературного престижа. Им написано четыре стихотворения — все в начале 1820-х гг. (о стихотворениях см. письма Н. И. Гнедичу 1821—1823 гг.). Вместе с одноактной комедией «Урок холостым, или Наследники» стихотворения послужили своеобразной подготовкой к созданию больших трудов — пятиактных стихотворных комедий «Благородный театр» (1828) и «Недовольные» (1835).

Стр. 672. Послание к Н. И. Гнедичу.— Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. XVI, № 6.

Расстался я надолго с вами, // Брега священные Невы!..— В июне 1820 г. Загоскин переехал из Петербурга в Москву. *...товарищ мой по чувствам и по службе...*— Загоскин и Гнедич были сослуживцами по Публичной библиотеке в Петербурге. *Бессмертные девы* — музы. *Севера царица* — Петербург. *Тассо, Армидины сады* — см. коммент. к с. 336. *Монплезир* — дворец в Петергофе. *Геката* (римск. миф.) — богиня луны. *Обитель Невская* — Александро-Невская лавра. *...та улица, куда веселою толпой...*— Невский проспект. *...пышность дивную — причудницу творца...*— Творец Петербурга — Петр I. *И что в конце сей гордой перспективы?* — Кладбище Александро-Невского монастыря. *...певец Омирова рожденья...*— Гнедич переводил «Илиаду» Гомера; здесь имеется в виду также стихотворение Гнедича «Рождение Гомера» (1816); Омир — Гомер. *Пиериды* — музы.

Стр. 675. Авторская клятва.— Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. XV, № 7.

Мариво (1688—1763) — французский писатель. *Теренций* (ок. 195—159 до н. э.) —римский комедиограф. *...не езди под качели...*— То есть на гулянье, где дают спектакли в балагане.

Стр. 679. Выбор жены.— Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. XV, № 8.

Сюда, друзья, в кружок — я сказку начинаю...— В жанровом отношении это стихотворение ближе всего к стихотворным сказкам (ср. у И. И. Дмитриева в «Модной жене»: «Так слушайте меня, я сказку вам начну...»). Стихотворная сказка в русской поэзии второй половины XVIII — начала XIX в. (во Франции XVIII в.: conte) — это небольшая стихотворная новелла с забавным или поучительным сюжетом. *Киприда* — одно из имен богини любви Венеры. *Как будто бы грешно // Над тем смеяться, что смешно...*— Цитата из «Послания к А. А. Плещееву» (1796) Н. М. Карамзина,

Стр. 683. Послание к Людмилу.— Вестник Европы, 1823, ч. 128, № 7; затем перепечатано в «Трудах общества любителей российской словесности» при имп. Московском университете (1823, ч. 3, кн. 8).

Талия — муза комедии. *Презренная толпа новейших ювеналов...* — Намек на полемику с А. Е. Измайловым в 1817 г. (см. коммент. к с. 261). *Описывай пиры...* — Намек на поэму Е. А. Баратынского «Пиры» (1820), но также и шире — насмешка, адресованная вообще молодым поэтам нового поколения, прославившимся на рубеже 1810—1820-х гг. (А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, Баратынский). *...описывай всегда // Души растерзанной...* — Пародирование штампов элегической поэзии. *Бывалые мечты, а пуще сладострастье...* — Ср. с выступлениями Загоскина против «похвал пьянству, неге, сладострастью» в его «Речи в Вольном обществе любителей российской словесности» 1820 г. (с. 688 наст. тома) и с осуждением «сладострастья» в литературе в письме П. А. Корсакову 1840 г. (с. 737 наст. тома).

РЕЧЬ В ВОЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 15 МАРТА 1820 г.

(Стр. 688)

Русский филологический вестник, 1909, № 1, с. 68—70. Печатается по изд.: Базанов В. Г. Ученая республика. М.— Л., 1964, с. 124—125.

Вольное общество любителей российской словесности существовало в Петербурге в 1816—1825 гг. В 20-е годы общество под председательством Ф. Н. Глинки способствовало распространению декабристских взглядов. Загоскин был принят в действительные члены 9 января 1820 г. и до отъезда в Москву неоднократно присутствовал на заседаниях. 9 февраля на заседании общества были прочитаны две сцены из его комедии «Добрый малый», 1 марта — рассказ «Любители словесности», 19 апреля — рассказ «Путешественник». 10 мая 1820 г. Загоскин последний раз присутствовал на заседании общества; но и после его отъезда здесь читались сцена из комедии «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (16 ноября 1820 г.), «Послание к Н. И. Гнедичу» (25 апреля 1821 г.), «Опыт новых разговоров для детей на русском и французском языках» (16 мая 1821 г.); сцены из комедии «Наследники» (13 декабря 1821 г.), «Послание к Людмилу» (1823 г.).

Речь Загоскина, прочитанная на заседании 15 марта 1820 г., явилась откликом на выступление 1 марта вице-президента общества В. Н. Каразина. Загоскин поддержал Каразина, но большинством членов Вольного общества речь вице-президента была отвергнута.

Требование усилить национально-патриотические идеи в литературе, которые выдвигали Каразин и Загоскин, имели охранительную окраску: «похвалы неге и сладострастью», о которых говорил Загоскин с негодованием, в поэзии Пушкина, Дельвига, Баратынского, Кюхельбекера были неизменно сопряжены с прославлением вольности, свободолюбия, дружбы. Не случайно через три месяца, 4 июня 1820 г. (Загоскин был в это время в дороге из Петербурга в Москву), Каразин подал министру внутренних дел В. П. Кочубею донос на Кюхельбекера, обвинив упомянутых выше поэтов в политической неблагонадежности.

...в издаваемом нами журнале? — Вольное общество ежемесячно выпускало в 1818—1825 гг. журнал «Соревнователь просвещения и благотворения»; *вице-президент* — В. Н. Каразин. *...Римскую историю» Роллена...* — Роллень Шарль (1661—1741) — французский историк. *«Маркграфиня Бранденбургская и милорд Георг»* — «Повесть о приключениях английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе» (1-е изд.: СПб., 1782), лубочный роман М. Комарова (ок. 1735—1812). *...прочесть в «Беседе»...* — в «Беседе любителей русского слова» (1811—1816); заседания «Беседы...» происходили в доме Державина на Фонтанке. *Я охотник был измлада... Вечор мне красные девицы...* — Из стихотворений Г. Р. Державина «Стрелок» (1795) и «Мельник» (1799) (Державин Г. Р. Анакреонтические песни. СПб., 1804, с. 91, 88). У Державина вторая строка «Стрелка» читается: «За дичиною гулять...»

ПИСЬМА

(Стр. 691)

В настоящий раздел включена бо́льшая часть писем Загоскина, опубликованных в периодических изданиях второй половины XIX — начале XX века, и 11 писем Н. И. Гнедичу, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом). Все они, за исключением первого, написаны из Москвы, где Загоскин жил с июня 1820 г. Письма отобраны с учетом их историко-литературного значения.

При указании источников публикаций приняты следующие сокращения:

ИВ — Исторический вестник.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы, ф. 117, I м.

Отчет ИПБ — Отчет императорской Публичной библиотеки за 1895 год. СПб., 1898.

РА — Русский архив.
РС — Русская старина.
СО — Современное обозрение.

Стр. 691. Н. И. Гнедичу. Январь 1818 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 285—286. Николай Иванович Гнедич (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера (СПб., 1829); знакомство Загоскина с Гнедичем началось, видимо, в доме Олениных в 1815—1816 гг.

Настоящее письмо датируется предположительно январем 1818 г. на том основании, что упоминаемые Загоскиным номера «Северного наблюдателя» вышли в свет в январе 1818 г. Письмо написано в Петербурге.

Последняя книжка «Северного наблюдателя»... — Вероятно, речь идет о № 23—24 журнала, где была напечатана статья «Несколько портретов» с ироническим упоминанием о комедиях Загоскина. *Чтоб не быть участником глупостей остальных двух книжек...* — Имеются в виду № 25—26 за 1817 г. (вышли в январе 1818 г.). *Похорской с Ивановым* — видимо, соиздатели «Северного наблюдателя». *Письмо Антона Прямосудова.* — Опубликовано не было. *Соц* Василий Иванович (ум. в 1841 г.) — критик, сотрудник «Сына отечества», секретарь цензурного комитета министерства юстиции.

Стр. 692. Н. И. Гнедичу. 6 июня 1820 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 285—286. Первое письмо Загоскина после переезда в Москву.

...к главнокомандующему городом... — Д. В. Голицыну (см. коммент. к с. 395). *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — литератор, журналист, издатель «Вестника Европы» в 1815—1830 гг. *...у главнокомандующего здешним театром...* — Майков Аполлон Александрович (1761—1838), директор московских театров до 1821 г., затем (в 1821—1825 гг.) директор петербургских театров. *Долгоруков* Иван Михайлович (1764—1823) — князь, поэт; в 1813 г., выйдя в отставку, поселился в Москве. В своем доме устраивал литературные вечера, которые посещал и Загоскин. *У меня есть... просьба...* — Далее речь идет о возможности повышения в чине и награждении по месту прежней службы Загоскина — в Публичной библиотеке в Петербурге. *Алексей Николаевич* — Оленин (1768—1843), директор Публичной библиотеки с 1811 г. *...о переименовании меня в почетные библиотекари.* — 5 июля 1820 г. Загоскин получил это звание. *Греч* Николай Иванович (1787—1867) — писатель, редактор журнала «Сын отечества». *Толстой* Федор Петрович (1783—1873) — художник, медальер. *Новосильцов Д. А.* — тесть Загоскина.

Стр. 693. Н. И. Гнедичу. 28 августа 1820 г.— *Отчет ИПБ*, Приложение, с. 39—42.

...когда Карамзин жил в Москве, он любил плакать и тоска-

вать.— Имеется в виду не столько действительное время проживания Карамзина в Москве (он переехал в Петербург в 1816 г.), сколько период создания сентиментальных повестей и «Писем русского путешественника» (1790-е гг.). *...первое письмо...*— Загоскин написал его 6 июня 1820 г. (см. выше). *Омир* — Гомер. *Степан Васильевич* — Василевский, помощник библиотекаря в Публичной библиотеке; *Двигубский* Василий Петрович — библиотекарь; *Иван Андреевич* — Крылов. *...надпись для его портрета...*— Имеются в виду строки басни «Пруд и река»: «Не движась, я смотрю на суету мирскую // И философствую сквозь сон».

Стр. 694. М. Е. Лобанову. 7 октября 1820 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 687—688. Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846) — драматург, переводчик, в 1813—1841 гг. служил в Публичной библиотеке. Загоскин познакомился с ним у Олениных.

Шаликов Петр Иванович (1767 или 1768—1852) — московский поэт, эпигон Карамзина. *«Пустодомы»* — комедия А. А. Шаховского. *«Добрый малый»* — впервые поставлена в Москве 29 сентября 1820 г., в Петербурге — 20 октября 1819 г. и в новой переделке автора — 23 июня 1820 г. *В обществе соревнователей* — в Вольном обществе любителей российской словесности; Загоскин отправил Лобанову сцену из новой комедии «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (была прочитана на заседании общества 16 ноября 1820 г.). *Моя Анета* — Анна Дмитриевна, жена Загоскина.

Стр. 696. Н. И. Гнедичу. 10 февраля 1821 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 286.

...написал первые мои стихи.— «Послание к Н. И. Гнедичу». Стихотворение Загоскина было прочитано на заседании Вольного общества любителей российской словесности 25 апреля 1821 г. и затем напечатано в журнале общества — «Соревнователе просвещения и благотворения» (см. коммент. к с. 672). Там же были опубликованы и стихи, о которых упоминается в других письмах Гнедичу весной 1821 г.: «Авторская клятва» и «Выбор жены». *Колпаков* П. Р.— московский актер. *...люби слепого Загоскина.*— Загоскин был близорук.

Стр. 698. Н. И. Гнедичу. 3 марта 1821 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 287.

...Долгорукова, сына известного поэта...— Сына И. М. Долгорукова (см. коммент. к письму Н. И. Гнедичу от 6 июня 1820 г.). *...мое послание.*— См. письмо Гнедичу от 10 февраля 1821 г.

Стр. 698. Н. И. Гнедичу. 7 марта 1821 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 287—289.

...я называю Петергоф унылым...— В «Послании к Н. И. Гнедичу». *Савва Михайлович* Мартынов (1780—1864) и его жена *Мария Степановна* — знакомые и земляки Загоскина, жили в Петербурге.

Стр. 701. Н. И. Гнедичу. 30 марта 1821 г.— *СО*, 1868, № 12, с. 289.

Вот еще стихи новоиспеченного поэта.— «Авторская клятва». *Греч* Н. И.— См. коммент. к письму Н. И. Гнедичу от 6 июня 1820 г. *Глинка Ф. Н.*— см. коммент. к с. 288 т. 1 наст. изд.

Стр. 702. Н. И. Гнедичу. 16 апреля 1821 г.— *Отчет ИПБ*, Приложение, с. 41—42.

Поздравляю... с праздником.— Имеется в виду пасха. *...брату моему, преображенцу...*— Василий Николаевич Загоскин служил в Преображенском полку. *...о войне... между «Вестником Европы» и «Сыном отечества»?* — В «Сыне отечества» (1821, № 2) было напечатано сатирическое «Послание к М. Т. Каченовскому» П. А. Вяземского. Каченовский перепечатал послание в «Вестнике Европы» (1821, № 2) под заглавием «Послание ко мне от князя Вяземского», присовокупив собственные язвительные примечания. *...последние две сатиры князя Вяземского* — «Послание к М. Т. Каченовскому» и «К В. А. Жуковскому. Подражание сатире II Депрео» (Сын отечества, 1821, № 10); см. также коммент. к след. письму.

Стр. 702. Н. И. Гнедичу. 2 мая 1821 г.— *СО*, 1868, № 2, с. 289—290.

...деяния нового опекуна «Сына отечества»! — В 1821 г. на недолгое время соиздателем Греча по «Сыну отечества» стал А. Ф. Воейков (1778 или 1779—1839), *...«знаменитые друзья»...*— «Знаменитыми друзьями» Воейков не однажды хвастался, в том числе печатно (Сын отечества, 1821, № 13, с. 277). Воейков, поэт, язвительный остроумец, автор популярнейшей рукописной сатиры «Дом сумасшедших», в житейских отношениях был человеком непорядочным. «Слова *знаменитые друзья*, или просто *знаменитые*, на условном тогдашнем языке,— вспоминал К. А. Полевой,— имели особенное значение и произошли вот каким образом. В 1821 г. Н. И. Греч издавал «Сын отечества» вместе с Воейковым... Воейков, сделавшись соиздателем «Сына отечества», выпрашивал у Жуковского, Пушкина, князя Вяземского и других известных писателей стихотворения для печатания в журнале, где в то же время завел войну с «Вестником Европы», и когда этот журнал на *своем* наречии объявил однажды, что *какой-то* журнал *взял на откуп* всех стихотворцев, Воейков со сладкою улыбкою отвечал: «Жалеем о несчастном журнале; а мы можем похвалиться, что *наши знаменитые друзья* украшают наш журнал своими бесподобными сочинениями». Это произвело общий взрыв насмешек и негодования, потому что Воейкова не любили, да он же оскорбил общее мнение, назвав *своими друзьями* знаменитых писателей... Название *знаменитых друзей* и просто *знаменитых* стало смешным и сделалось вовсе не лестным эпитетом. Ближе всего означали этим словом писателей бездарных или с маленьким дарованием, причислявших себя без всяких прав к

литературным аристократам» (Полевой К. А. Записки о жизни и сочинениях Н. А. Полевого.— В кн.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы. Л., 1934, с. 153—154). *...последнее послание Вяземского...*— См. коммент. к письму Н. И. Гнедичу от 16 апреля 1821 г.; послание Вяземского «К В. А. Жуковскому», будучи действительно вольной переработкой II сатиры Н. Буало-Депрео, напечатано в «Сыне отечества» с неточным подзаголовком «Подражание сатире *III* Депрео». *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — крупнейший поэт русского классицизма, иронически упомянутый в послании «К В. А. Жуковскому» Вяземским. *...из имени Хераскова такое употребление...*— Имеются в виду строки послания Вяземского: «Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, // Державин рвется в стих, а втащится Херасков». Херасков Михаил Матвеевич (1738—1807) — известный поэт второй половины XVIII в., автор эпических поэм, имевших успех у современников, но критически переоцененных во второй половине 1810-х — начале 1820-х гг. (в первую очередь карамзинистами). *Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт-графоман, автор од, басен, переводов из Буало и Расина. *Тредьяковский* В. К.— См. с. 731 т. 1 наст. изд. *...будет напечатано послание к Вяземскому...*— Послание С. Т. Аксакова, первую строку которого цитирует Загоскин (напечатано под названием «Послание к Птелинскому-Ульминскому» за подписью «200-I»; имя Вяземского было заменено: «Перед судом ума сколь, Птелинский, смешон...» (Вестник Европы, 1821, № 9). *...переводчиком 10-й сатиры Буало.*— То есть С. Т. Аксаковым, автором вольного перевода этой сатиры (отд. изд.: М., 1821). *...препровождаю к тебе еще стихи...*— «Выбор жены». *Савва Михайлович* — См. коммент. к письму Гнедичу от 7 марта 1821 г.

Стр. 704. Н. И. Гнедичу. 28 июля 1821 г.— *ИРЛИ.*

...прожил в деревне за семьсот верст от Москвы...— Видимо, под Пензой, в родовом имении Рамзай. *Из последнего нумера «Соревнователя»...*— Имеется в виду журнал «Соревнователь просвещения и благотворения», издававшийся Вольным обществом любителей российской словесности (о нем см. коммент. к с. 688); «последний нумер», который читал Загоскин,— № 6 за 1821 г. *...ты избрал в помощники председателя нашего Общества...*— Ф. Н. Глинку. *...два издателя «Сына отечества»...*— Н. И. Греч и А. Ф. Воейков (см. коммент. к с. 692, 702). *В.*— А. Ф. Воейков. *...куча старых стихов, перепечатываемых без воли их авторов...*— Таким литературным «корсарством» Воейков занимался и впоследствии при издании своих журналов («Новости литературы», «Славянин», «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду»). *Хвостов* Д. И.— см. коммент. к с. 702. *...басенка Измайлова...*— Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. 14, № 6, с. 311 — стихотворная сказка «Со-

бака и вор», героев этой сказки и упоминает Загоскин далее в письме; об отношениях с А. Е. Измайловым см. коммент. к с. 261 наст. тома. *...черт не зайдет никогда и к Измайлову в гости...* — Намек на стихотворную сказку А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт» (1811), где стихотворец «зачитал» явившегося к нему черта до того, что тот едва унес ноги. *...великий и достойный тебя труд...* — перевод «Илиады». *Делиль* — см. коммент. к с. 121 наст. тома.

Стр. 706. Н. И. Гнедичу. 30 октября 1821 г.— *ИРЛИ*.

Я учусь геометрии, физике... — Загоскин для повышения в чине должен был сдать экзамен, так как имел только домашнее образование. *Алексей Николаевич* — Оленин. *...читал я прекрасные стихи твои к И. А. Крылову...* — «К И. А. Крылову, приглашавшему меня ехать с ним в чужие края». Написано Гнедичем в связи с намерением Крылова отправиться в заграничное путешествие. *...наш Лафонтен...* — См. коммент. к с. 30 наст. тома. *Что б ни сулило вам воображенье ваше...* — Из басни Крылова «Два голубя». *...план пятиактной комедии...* — «Благородный театр». *...половину небольшой комедии в стихах...* — «Урок холостым, или Наследники». *...бессмертными сестрицами...* — музами.

Стр. 707. Н. И. Гнедичу. 2 декабря 1821 г.— *ИРЛИ*.

Итак, мне не нужно будет ездить в Петербург для того, чтобы быть представлену в следующий чин? — Надежды Загоскина на то, что А. Н. Оленин представит его к повышению в чине, не сбылись; см. его просьбы о возвращении аттестата через полтора года — в письме от 15 апреля 1823 г. *«Приютино»* — стихотворение Гнедича, посвященное имению Олениных под Петербургом — Приютину. *...мышь, которая грызет со злостью щепетильной...* — Цитата из «Послания к М. Т. Каченовскому» Вяземского. *...несколько сцен из небольшой комедии...* — Вероятно, комедии «Урок холостым, или Наследники». *...получил я из Общества...* — Имеется в виду Вольное общество любителей российской словесности и его журнал «Соревнователь просвещения и благотворения».

Стр. 709. Н. И. Гнедичу. 20 декабря 1821 г.— *ИРЛИ*.

Я послал... аттестат... — См. предыдущее письмо и коммент. к нему. *Личарда* — слуга короля Гвидона в лубочном романе о Бове-королевиче. *Молодой Писарев* — Писарев Александр Иванович (1803—1828), автор комедий и водевилей; молодым он назван потому, что в то время было известно еще два Писаревых — литератора: Александр Александрович (1780—1848) и Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (1795—1849). *...по стопам автора «Руслана»...* — Первая поэма А. С. Пушкина, вышедшая в 1820 г., встретила неодобрение у многих, даже у Карамзина; близкий же друг Карамзина поэт И. И. Дмитриев прямо писал П. А. Вяземскому: «Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы)» (Дмитриев И. И. Соч. М., 1986, с. 399).

Стр. 710. М. Е. Лобанову. 2 мая 1822 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 690—691.

Наш почтенный начальник — А. Н. Оленин; *Федра* — Лобанов переводил трагедию Расина «Федра» (СПб., 1823). *...благодаря Анастасевичу и... Державину, была известна... под именем Федоры...* — Ирония Загоскина относится к переводу Расиновой «Федры» (СПб., 1805) В. Г. Анастасевичем (1775—1845) и переводу Г. Р. Державина отрывка из «Федры» (Чтения в Беседе любителей русского слова, 1811, кн. 3). *«Эфигения»* — «Ифигения в Авлиде», перевод Лобанова трагедии Расина (СПб., 1815; впервые поставлена в Петербурге в 1815 г.) *...знаменитыми друзьями.*— См. коммент. к письму Н. И. Гнедичу от 2 мая 1821 г. *...послезавтра играют в первый раз мою новую комедию...*— «Урок холостым, или Наследники»; премьера — 4 мая 1822 г.

Стр. 711. Н. И. Гнедичу. 14 июня 1822 г.— *ИРЛИ*.

...экземпляры новой моей комедии...— «Урок холостым, или Наследники» (М., 1822), первая стихотворная комедия Загоскина. *Общество Л. Р. С.*— Вольное общество любителей российской словесности. *Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт, в 1822 г. был уже безнадежно болен психически. *Соломон Михайлович* — Мартынов (1772—1839), брат Саввы Михайловича (см. коммент. к письму Гнедичу от 7 марта 1821 г.), знакомый и земляк Загоскина. *А. Н.* — Оленин. *Бестужев* Александр Александрович (1797—1837) — литературный критик, поэт, декабрист; выступал со статьями, в которых достаточно резко отзывался о состоянии современной словесности. *...этому литературному мерзавцу...*— Имеется в виду Н. И. Греч, издатель «Сына отечества». *Катенин* Павел Александрович (1792—1853) — поэт, литературный критик; начиная с 1819 г. Бестужев резко полемизировал с ним. В № 13 «Сына отечества» за 1822 г. Н. И. Греч поместил разбор П. А. Катениным своей книги «Опыт краткой истории русской литературы» (СПб., 1822). Помимо того, что Катенин упрекал Греча в том, что тот назвал его только переводчиком, а не оригинальным писателем, он замечал отсутствие в книге упоминаний о Грибоедове, Жандре, Баратынском, Загоскине. В «Ответе» Катенину, помещенном в том же номере, Греч сообщал, что при переиздании своей книги он непременно поместит известия о них, ибо «отличные их таланты (особенно первого из них) ручаются в том, что они вскоре обогатят нашу словесность достойными их произведениями и займут на русском Парнасе достойное их место» (Сын отечества, 1822, № 13, с. 266—267). Бестужев откликнулся на статью Катенина резкой статьей, заключив ее язвительной иронией: «Наша молодежь приносит свою искреннюю благодарность г. критику <Катенину> за милостивое покровительство» (Сын отечества, 1822, № 20, с. 269).

Последние слова и обидели Загоскина, которому в 33 года уже зазорно было называться молодым писателем.

Стр. 712. Н. И. Гнедичу. 9 октября 1822 г.— *ИРЛИ*.

Ширяев Александр Сергеевич (ум. в 1841 г.) — московский издатель и книгопродавец. *Плавильщиков* Василий Алексеевич (1768—1823) — петербургский издатель. В письме речь идет, вероятно, о продаже поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник», изданием которой ведал Гнедич и которая вышла из печати в августе 1822 г. (Пушкин был в это время в ссылке). *Ширяеву не нужны ни Батюшков, ни «Шильонский узник»...*— Имеются в виду «Опыты в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова (СПб., 1818) и «Шильонский узник» В. А. Жуковского (СПб., 1821; перевод поэмы Байрона); Гнедич занимался изданием этих книг. *...нынешнего моего начальника...*— Д. В. Голицына.

Стр. 713. Н. И. Гнедичу. 15 апреля 1823 г.— *ИРЛИ*.

...первое мое послание...— «Послание к Н. И. Гнедичу». *Если в Обществе будут на меня досадовать...*— Загоскин имеет в виду мнение участников Вольного общества любителей российской словесности. *Кокошкин* Федор Федорович (1773—1838) — драматург, в 1823—1831 гг. управляющий московскими театрами, его дом был одним из центров московской театральной жизни, здесь, помимо Загоскина, бывали А. И. Писарев, С. Т. Аксаков, А. А. Шаховской, М. С. Щепкин. *...один актер, какого почли бы находкою и на парижском театре.*— Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), поступивший на московскую сцену в 1823 г. и в апреле этого года еще мало кому известный.

Стр. 714. М. Е. Лобанову. 3 октября 1823 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 692—693.

...присылай скорей трагедию.— Имеется в виду оконченный Лобановым перевод «Федры» Расина. *Голицын* — см. коммент. к с. 395.

Стр. 715. М. Е. Лобанову. 13 ноября 1823 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 693—694. Плохо шедшая подписка на перевод Лобанова — следствие не только «полутатарскости» Москвы, на которую жалуется Загоскин. А. С. Пушкин, прочитав лобановскую «Федру» в Одессе, пишет брату в конце января — начале февраля 1824 г.: «Кстати о гадости — читал я «Федру» Лобанова — хотел писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Расина — перо вывалилось из рук. И об этом у вас шумят; и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина!»

Стр. 716. И. И. Козлову. 29 апреля 1825 г.— *РА*, 1886, кн. 1, с. 190—191. Иван Иванович Козлов (1779—1840) — поэт; романтическая поэма «Чернец» (СПб., 1825) принесла ему огромный успех. Загоскин не был знаком с Козловым лично.

Стр. 717. М. Е. Лобанову. 29 мая 1825 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 695.

Может быть, действительно, я буду директором...— Имеются в виду надежды Загоскина стать директором петербургских театров. *...под ведением Комитета...*— До 1826 г. петербургскими театрами управлял комитет главной дирекции. *Я могу марать бумагу только по постам...*— То есть в то время, когда закрыты театры.

Стр. 718. Н. И. Гнедичу. 6 ноября 1826 г.— *Отчет ИПБ*, Приложение, с. 43—44.

...поздравляю... с окончанием твоего знаменитого труда.— Гнедич окончил свой многолетний труд над переводом «Илиады» 15 октября 1826 г. *Измайлов* Владимир Васильевич (1773—1830) — московский писатель, издал альманах «Литературный музеум на 1827 г.», где был помещен отрывок из XXII песни «Илиады» в переводе Гнедича — «Плач по Гекторе».

Стр. 719. Н. И. Гнедичу. 24 ноября 1826 г.— *ИРЛИ.*

Стр. 720. М. Е. Лобанову. 9 января 1830 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 696—697. В письме идет речь о только что вышедшем «Юрии Милославском».

...получить ли дар академии или быть ее членом?..— Членом Российской академии Загоскин был избран только в 1832 г.; президентом академии в это время был А. С. Шишков. *Востоков* Александр Христофорович (1781—1864) — в 1810—1820-е гг. более известен как поэт, в 1820—1850-е годы — один из крупнейших русских филологов, с 1815 г. служил в Публичной библиотеке помощником хранителя рукописей, с 1828 г.— хранителем рукописей.

Стр. 721. Н. И. Гнедичу. 14 января 1830 г.— *ИРЛИ.*

Фосс И.-Г. (1751—1826) — немецкий поэт, переводчик Гомера. *...богатого издания трагедий Озерова...*— Имеются в виду «Сочинения» в трех частях (СПб., 1828) знаменитого в начале XIX в. трагика В. А. Озерова (1769—1816). *...экземпляр моего романа.*— Роман «Юрий Милославский». *...Греч... товарищ Булгарина...*— Н. И. Греч издавал совместно с Ф. В. Булгариным официозную газету «Северная пчела». *...биографию Грибоедова, написанную автором «Выжигина»...*— В 1830 г. в № 1—2 «Сына отечества» Булгарин опубликовал «Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове», в которых афишировал свою близость к погибшему поэту; см. также отзывы о Булгарине в письмах к А. С. Пушкину от 20—25 января 1830 г., к Н. И. Гнедичу от 22 января 1830 г.

Стр. 722. В. А. Жуковскому. 20 января 1830 г.— *РС*, 1903, № 8, с. 450—452.

Я получил... письмо ваше...— Письмо Жуковского от 12 января 1830 г. *...участие, принятое вами в моем романе...*— Жуковский писал, что вручил присланный ему экземпляр «Юрия Милославского» императрице. *Михаил Феодорович* — Романов, русский царь с 1613 г.

Вам кажется... невозможным написать роман, в коем должно вывести на сцену наших современников... — Жуковский писал Загоскину: «Мне сказывал князь Шаховской, что вы в pendant вашему 1612 году пишете роман 1812; не хочу с вами спорить; но боюсь великих предстоящих вам трудностей. Исторические лица 1612 года были в вашей власти, вы могли выставлять их по произволу; исторические лица 1812 года вам не дадутся! С первыми вы легко могли познакомить воображение читателя, и он, благодаря вашему таланту, уверен с вами, что они точно были такими, какими ваше воображение их представило ему; с последними этого сделать нельзя: мы знаем их; мы слишком к ним близки; мы уже предупреждены на счет их, и существенность для нас загородит вымысл: впрочем, нет невозможного. Я говорю только: трудно! на всяком шагу порог; и споткнуться легко» (Раут. Исторический и литературный сборник. Кн. 3. М., 1854, с. 302—303). *...от ругательств Булгарина или Греча...* — см. вступ. статью, с. 18 т. 1 наст. изд.

Стр. 723. А. С. Пушкину. 20—25 января 1830 г.— Переписка А. С. Пушкина, т. 2. М., 1982, с. 327—328. Ответ на письмо от 11 января 1830 г., в котором Пушкин благодарил за присылку «Юрия Милославского» и поздравлял Загоскина с успехом. Знакомство Загоскина с Пушкиным состоялось в конце 1820-х гг.

Вигель Ф. Ф. (см. коммент. к с. 7) сообщал Загоскину 14 января 1830 г. о том, что рецензию на «Юрия Милославского» в «Литературной газете» будет писать Антоний *Погорельский* (А. А. Перовский; 1787—1836) — писатель, автор «Двойника», «Монастырки», но замечал, что Пушкин сам готов написать о новом романе (см.: Раут, кн. 3, с. 310); рецензию написал Пушкин (Литературная газета, 1830, № 5, 21 января, с. 37—38). *...нехорошо кричать: «Пожалуйте к нам... наш товар лучше!»* — Загоскин имеет в виду, что отрицательная рецензия в «Северной пчеле» (см. вступ. статью, с. 18) была продиктована стремлением Булгарина дискредитировать своего конкурента на романном поприще.

Стр. 724. Н. И. Гнедичу. 22 января 1830 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 698—699.

Неутешный друг Грибоедова, чувствительный Фаддей... — См. коммент. к письму Н. И. Гнедичу от 14 января 1830 г. *...писать о русских не хуже поляка...* — Булгарин был поляком. *...накануне выхода в свет «Дмитрия Самозванца»...* — Роман Булгарина опубликован весной 1830 г. *...не краснея, называют друзьями своими известных людей...* — Имеются в виду воспоминания Булгарина о Грибоедове.

Стр. 726. Н. И. Гнедичу. 4 февраля 1830 г.— *ИРЛИ*.

Алексей Николаевич — Оленин. *...для моего романа...* — для «Юрия Милославского». *...тот, кому я продал второе издание...* — книгоиздатель Н. С. Степанов.

Стр. 726. М. Е. Лобанову. 9 апреля 1830 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 699.

Олин Валериан Николаевич (ок. 1788—1840-е гг.) — поэт, издатель альманаха «Карманная книжка для любителей русской старины и словесности» (1829—1833).

Стр. 727. Н. И. Гнедичу. 27 апреля 1830 г.— *ИРЛИ*.

...ко второму изданию моего романа...— См. письмо Н. И. Гнедичу от 4 февраля 1830 г. *...пишу, пишу роман...*— «Рославлев»; см. также письмо М. Е. Лобанову от 23 мая 1830 г.

Стр. 728. М. Е. Лобанову. 23 мая 1830 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 699—700.

...Александру Семеновичу неугодно назвать меня членом Академии...— См. коммент. к письму Лобанову от 9 января 1830 г. *За трудное дело я взялся...*— В это время Загоскин писал «Рославлева».

Стр. 729. М. Е. Лобанову. 2 февраля 1831 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 700—701.

...здоров, назло Булгарину...— В 1830—1831 гг. в Москве свирепствовала холера. *...роман мой...*— «Рославлев»; *Заикин* — петербургский книгоиздатель. *Степанов* — московский книгоиздатель. *Алексей Николаевич* — Оленин.

Стр. 730. М. Е. Лобанову. 13 декабря 1832 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 703—704.

...злейший мой враг Полевой...— О борьбе Полевого и Загоскина в конце 1832 г. см. коммент. к с. 282 т. 1 наст. изд. *Уваров* Сергей Семенович (1786—1855) — с апреля 1832 г. по март 1833 г. был товарищем министра просвещения.

Стр. 731. М. Е. Лобанову. 1833 г.— *ИВ*, 1880, № 8, с. 704—705.

...присланную книжку...— Речь идет о книге Лобанова «Выставка Академии художеств 1833 года». *Итак, вы затеваете журнал?* — Лобанов писал Загоскину о намерении издавать журнал, который противодействовал бы «превратному» ходу словесности. *Я на этих днях открываю под моим председательством заседание...*— Об участии Загоскина в Обществе любителей российской словесности при Московском университете см. коммент. к след. письму.

Стр. 732. М. П. Погодину. Середина 1830-х гг.— Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV. М. 1892, с. 241. Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — историк, писатель, журналист. Погодин был секретарем Общества любителей российской словесности при Московском университете (основано в 1811 г.). Загоскин стал действительным членом Общества 19 мая 1822 г., был его секретарем в 1827—1829 гг. и с конца 1833 г. по февраль 1836 г. являлся председателем. Содержание данного письма связано с обсуждением между председателем и секретарем вопросов очередного заседания. Во время председательства Загоскина дея-

тельность Общества значительно утихла по сравнению с предшествовавшими годами, а в 1838 г. оно и вовсе прекратило существование и было возобновлено лишь в 1858 г. Дебют Загоскина в роли председателя красочно описал М. А. Дмитриев в своих воспоминаниях. Загоскин «начал свое председательство тем, что сел, крякнул, потрепал себя по брюху и обратился с следующею речью: «Ну, батюшки! Обедал у Акулова. Так накормил, проклятый, что дышать не могу: всего расперло! Ну! что же бы нам поделать?» (Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 171).

Стр. 732. Г. Ф. Квитке-Основьяненко. 10 ноября 1836 г.— Данилевский Г. П. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1886, с. 271. Григорий Федорович Квитка (псевд. Грицько Основьяненко; 1778—1843) — украинский прозаик, драматург, автор комедий «Дворянские выборы» (1829), «Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника» (1830). Его комедия «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (1829) по сюжету сходна с «Ревизором» Гоголя (поставлен в апреле — мае 1836 г. в обеих столицах).

Стр. 733. П. А. Вяземскому. Конец зимы — весна 1837 г.— Остафьевский архив князей Вяземских, т. 5, вып. 1. СПб., 1909, с. 109—110. Об отношениях Загоскина и Вяземского (1792—1878) см. вступ. статью (т. 1 наст изд., с. 11), письма Загоскина Гнедичу от 16 апреля, 2 мая и 2 декабря 1821 г. *«Современник»* — журнал, который начал издавать А. С. Пушкин в 1836 г. *Я пишу... довольно большой роман...* — «Искуситель»; отрывок из романа под названием «Граф Калиостро» был отправлен Вяземскому и напечатан в «Современнике» (1837, т. VII, с. 17—45).

Стр. 733. И. А. Крылову. 23 февраля 1838 г.— Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности императорской Академии наук, т. 6. СПб., 1869, с. 311—312. С баснописцем Крыловым Загоскин был знаком еще по дому Олениных в Петербурге; Крылов был сослуживцем Загоскина по Публичной библиотеке во второй половине 1810-х гг.

...о вашем торжестве.— 3 февраля 1838 г. был отпразднован юбилей 50-летней литературной деятельности Крылова. *...новый роман мой...*— «Искуситель».

Стр. 734. А. Н. Загоскину. 27 декабря 1838 г.— Домашняя беседа для народного чтения, 1860, 18 июня, вып. 25, с. 324—325. Алексей Николаевич Загоскин— брат писателя. В «Домашней беседе» за 1860 г. было напечатано 11 писем из переписки братьев в 1838 г. Публикуется последнее из этих писем.

Ты боишься, чтоб я не стал презирать тебя...— В письме от 20 декабря 1838 г. А. Н. Загоскин писал: «Боюсь, чтобы ты не признал меня фанатиком и не стал презирать меня». Далее он

разъяснял брату отличие «мирской нравственности» от «нравственности духовной», почти упрекая его в безбожии: «...покуда ты не будешь любить бога, талант твой не может быть полезен» (Домашняя беседа..., 1860, с. 321, 324). *...почему роман мой ты зовешь идолопоклонством...*— А. Н. Загоскин писал об «Искусителе»: «Я не мог его прочесть всего; он произвел во мне неприятное ощущение; я нашел в нем одно идолопоклонство» (там же, с. 324). *«Философический разговор в харчевне»* — IV глава III тома «Искусителя»; здесь, в частности, говорится: «Кто более французских философов писал об этом равенстве состояний, о котором они и до сих пор еще хлопочут, и к чему ведут их теории? Думая посредством одной земной мудрости достигнуть до этой утопии, они отстраняют религию. Безумцы! да разве они не видят, что без веры в Спасителя это невозможно; что одна только она может усмирить наши страсти...»

Стр. 735. П. А. Корсакову. 28 июня 1840 г.— Маяк современного просвещения и образованности, 1840, ч. VII, с. 101—105. Петр Александрович Корсаков (1790—1844) — литератор, в 1817 г. сотрудничал в журнале Загоскина «Северный наблюдатель», в 1835—1844 гг.— цензор Петербургского цензурного комитета; с начала 1840 г. совместно с С. М. Бурачком издавал журнал «Маяк современного просвещения и образованности». Письмо Загоскина было опубликовано Корсаковым в «Маяке» со своими примечаниями; некоторые из них помещены в данном комментарии.

Бурачек Степан Максимович (1800—1876) — литературный критик охранительного толка. *Марлинский* — А. А. Бестужев (см. коммент. к письму Гнедичу от 14 июня 1822 г.); за участие в декабрьском восстании 1825 г. сослан в Сибирь; в 1829 г. переведен рядовым на Кавказ; в 30-е гг., во время солдатской службы, публиковал в столичных журналах свои романтические повести и литературно-критические статьи под псевдонимом: Марлинский. *...как мог назвать Марлинского колоссом?..*— Сопровождено примечанием Корсакова: «Признаюсь, я бы и сам не дозволил моему товарищу такого *колоссального наречия* о Марлинском; и в его словах, право, не нахожу того, в чем ты обвиняешь Бурачка. Вот, от слова до слова, все сказанное им на счет Марлинского: «...Марлинский в буквальном смысле романтик — певец современного *рыцарства*, под формою *удальства* и *молодечества*. Вечно восторженный, текучий, блистательный, волшебник *фразы*, академик художественного построения повестей, с *весьма ординарною философией, еще меньшею религиозностью и еще меньшею народностью,— блистательным* (еже и бысть), недостижимым (еже и бысть) успехом своим увлек множество *молодых* и старых подражателей своей неподражаемой фразе; эти подражатели до сих пор немилосердно крутят ее, заставляя выплясывать à la Marlinsky, и представляют жалкую литературную комедию. История литературы вечно будет жалеть,

что Марлинский и Пушкин *оба в молодости попали на превратное* направление, удовольствовались ограниченным просвещением без *правильного* образования *воли*. Эти два исполина (только по дарованию, разумеется), разрешившиеся превосходными *игрушками*, которым *литературные малолетки* до сих пор не нарадуются — высоко бы подняли нашу литературу. Все, что *оба* они сделали, сделали природным умом, с помощью *легкой* начитанности...» Все это приведено как причины упадка нашей литературы... Можно бы это же самое высказать погорячее, но 1) лежачего не бьют; 2) Марлинский писал во время самого романического тумана, всеобщих похвал, словесных и печатных; тогда никто и голосом не заводил критиковать Марлинского, и поэтому Марлинский — полувиноват; не то что нынешние, которым спуску не было и не будет; и товарищ мой, право, хорошо сделал, что написал кротко и слегка, но верно и праведно...» *...вероятно, нахожусь и аз многогрешный.*— Примечание Корсакова: «Выдаю преступника руками! ведайся с ним сам. Здесь он точно виноват тем, что не оговорил тебя, и тем более виноват, что по душе он высоко ценит чистоту и прелесть твоего прямо русского пера. Как это у него сорвалось? как я это просмотрел? не знаю! имеешь право требовать полной сатисфакции». *Платон* (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — греческий философ, *«Федон»* — диалог Платона. *Гегель* Г.-В.-Ф. (1770—1831), *Фихте* И.-Г. (1762—1814), *Кант* И. (1724—1804), *Окен* Л. (1779—1851) — немецкие философы; внимание к их трудам появилось в России в 1820—1830-е гг. *...не гневайтесь на меня за то, что я думаю не по-вашему, а по-моему.*— Сопровождено примечанием Бурачка: «Я совершенно разделяю все вами сказанное; глубоко на сердце спрятал все ваши пометки. Ясно разумею всю тщету языческой философии... Признаю всю необходимость истинной философии для заблудшего и учащегося человечества. Вы браните философию вообще, а того и не замечаете, что все ваше письмо есть отрывок вашей собственной философии же; и если философия существует у каждого неделимого, то она должна существовать и в человечестве вообще. Я не успел еще в «Маяке» и *двух* слов сказать о ней. Ежели господь даст мне силы и разум, то мало-помалу и вы полюбите философию. Только потерпите, нельзя нам ускорить, чтоб не прискучить — *через час по ложке*. Дайте слово читать скрепя душу, прощать философские вздоры, эти плевелы, невольно пробивающиеся сквозь самую добрую пшеницу воли. А до того примите мою скромную благодарность за ваши нескромные похвалы нашему искреннему и посильному усердию быть полезными русским по-русски, и напредки милости просим с *пугою*, хоть бы и необдернутою ватой. А то, неравно — сахар да сахар — так и здоровье расстроится». *Мышицкий* Нил Александрович — автор романа «Сицкий. Капитан флота» (СПб., 1840).

Стр. 740. В. Ф. Одоевскому. 13 февраля 1843 г.— *РС*, 1904, т. 119, № 8, с. 415—416. Владимир Федорович Одоевский (1803—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик; в 1843 г. начал издавать совместно с А. П. Заблоцким-Десятовским сборник «Сельское чтение», в 1-й книге которого и было помещено сочинение Загоскина «Отец Василий», сопровожденное, однако, по требованию духовной цензуры, предисловием. Этим предисловием и возмущался Загоскин.

Ваше сравнение народа русского с тринадцатилетним мальчиком.— Одоевский писал Загоскину 14 февраля 1843 г.: «Наша минута — важная минута: теперь нашему простому народу — кажется, не более 13-ти; беда, если к нему попадется Фоблаз или Выжигин; испортится и физически и нравственно — и после не поправишь никаким лекарством» (*РС*, 1902, № 9, с. 632). Фоблаз — герой романа Ш.-Б. Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера де Фоблаза» (т. 1—13, 1787—1790); роман не раз переводился на русский язык. Выжигин — герой романа Булгарина «Иван Выжигин».

Стр. 741. Ф. А. Кони. 30 марта 1850 г.— *РА*, 1909, кн. 3, с. 267—268. Федор Алексеевич Кони (1809—1879) — писатель, театральный деятель, издатель журнала «Пантеон и репертуар русской сцены» (название журнала в 1850—1851 гг.).

Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — писатель. *...я отдал комедию мою...*— Комедия «Поездка за границу» была напечатана в «Москвитянине» (1850). *«Москвитянин»* — журнал славянофильской ориентации М. П. Погодина, выходил в 1841—1856 гг.

Стр. 741. Ф. А. Кони. 11 января 1852 г.— *РА*, 1909, кн. 3, с. 268—269.

...в издании вашего журнала...—См. коммент. к пред. письму. *Последняя моя комедия в стихах...*— «Недовольные» (1835).

СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ МОСКВЫ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Божедомка — ул. Дурова.
Варварка — ул. Разина.
Владимирка — шоссе Энтузиастов.
Воздвиженка — пр. Калинина.
Воронцово поле — ул. Обуха.
Воскресенская пл.— пл. Революции.
Гороховое поле — ул. Казакова.
Денежный пер.— ул. Веснина.
Дмитровка — Большая Дмитровка — Пушкинская ул.; Малая Дмитровка — ул. Чехова.
Земляной вал — ул. Чкалова.
Знаменка — ул. Фрунзе.
Ильинка — ул. Куйбышева.
Калужская пл.— Октябрьская пл.
Калужская ул.— Ленинский пр.
Камергерский пер.— проезд Художественного театра.
Козьмодемьянская — часть набережной Максима Горького.
Красное Село — район Красносельских улиц.
Красный пруд — район Краснопрудных улиц.
Красные ворота — Лермонтовская пл.
Кудрино — район пл. Восстания.
Лубянка — ул. Дзержинского.
Маросейка — ул. Богдана Хмельницкого.
Моховая — пр. Маркса.
Мясницкая — ул. Кирова.
Никитская — Большая Никитская — ул. Герцена; Малая Никитская — ул. Качалова.
Никольская — ул. 25 Октября.
Новинское — район ул. Чайковского.

Охотный ряд — пр. Маркса.
Поварская — ул. Воровского.
Покровка — ул. Чернышевского.
Пресненские пруды — район Зоопарка.
Пречистенка — ул. Кропоткинская.
Рождественка — ул. Жданова.
Рыбинка — река, приток Яузы; в конце XIX в. заключена в трубу.
Слободской сад — Лефортовский сад.
Спасские казармы — район Спасской ул. (между Красными воротами и Сухаревой башней).
Спиридоновка — ул. Алексея Толстого.
Страстная пл. — Пушкинская пл.
Тверская — ул. Горького.
Театральная пл. — пл. Свердлова.
Труба — Трубная пл.
Ходынское поле — Октябрьское поле.
Чечора — река, приток Яузы; заключена в трубу.

СЛОВАРЬ
УСТАРЕВШИХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *

Абшид, абшит — отпуск; отставка.

Австерия — гостиница; трактир.

Ага — офицерский титул в Османской империи.

Акафист — христианское церковное песнопение.

Актуариус — канцелярский служащий в государственных учреждениях.

Алебарда — холодное оружие: длинное копье, поперек которого прикреплен топорик или секира.

Альманд — танец.

Аматёр — любовник.

Амвон — в православных церквях возвышение перед алтарем, с которого произносится проповедь, читаются Евангелия.

Апокрифы — произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные в библейский канон.

Апроши — ходы сообщения между траншеями при осаде крепости.

Аргамак — верховая лошадь восточной породы.

Арнауты — албанцы, проживавшие в Бессарабии; иногда так называли вообще балканцев, избравших военную карьеру.

Архимандрит — старший монашествующий сан 2-й степени священства, обычно его имеют настоятели православных монастырей.

Аршин — мера длины в России; равен 16 вершкам (71,12 см.).

Аттенция — внимательность.

Бадинка — тросточка.

Баклага — фляга.

---

* В словаре зафиксированы только те значения слов, в которых они употреблены М. Н. Загоскиным; указания разных значений одного слова разделены точкой с запятой.

Балясы — столбики в перилах.

Барашек в бумажке — взятка.

Барская барыня — прислуга, выбиравшаяся из жен старших слуг — дворецких, камердинеров, дядек; заведовала гардеробом своей госпожи.

Беленькая — 25-рублевая ассигнация.

Белец — в православных монастырях готовящийся к принятию монашества, но еще не давший иноческого обета, не носящий монашеской одежды, в отличие от *чернеца*.

Бельведер — надстройка над домом в виде башенки.

Бердыш — широкий боевой топор на длинной рукоятке.

Благовест — праздничный колокольный звон, производимый одним колоколом.

Благой — блаженный; блажной, вздорный.

Боер, боерь, бояр — боярин (в Бессарабии).

Бонмотист — остроумец.

Бонтонный — светский, хорошего тона.

Боскет — декоративная группа деревьев или кустов, иногда выстриженных в виде ровных стенок.

Братина — большая чашка с накладной крышкой.

Бретёр — дуэлист, забияка.

Бригадир — офицерский чин 5-го класса в русской армии до 1799 г.

Брик — бричка.

Брынский лес — лес вокруг реки Брынь в Калужской губернии.

Бурмистр — управляющий помещичьим имением.

Бурмитские зерна — крупные жемчужины.

Бурнус — накидка с капюшоном из белой шерстяной ткани.

Ведет — ближайший к неприятелю конный караул.

Вереи — столбы, на которые навешивались ворота.

Вершник — конный всадник; форейтор.

Вершок — мера длины в России; равен 4,5 см.

Визирь — высший сановник в государствах Среднего и Ближнего Востока; ферзь в шахматах.

Вокзал, воксал — павильон, место общественного увеселения.

Вояжёр — путешественник.

Гайдамак — разбойник, удалец.

Гайдук — слуга, стоящий на запятках кареты, высокого роста, в гусарской или казачьей одежде.

Галера — деревянное гребное судно; ссылка на галеры — ссылка на каторгу.

Галлы — французы.

Галлицизм — языковое заимствование из французского языка.

Гать — проход через болото.

Гверилласы — испанские партизаны, боровшиеся в 1808—1813 гг. с оккупировавшими Испанию войсками Наполеона.

Герольд — вестник.

Глаголь — название буквы «Г» в русском алфавите.

Гласис — земляной вал перед укреплениями.

Голик — веник.

Головщина — подушная подать.

Голубец — народная пляска; надгробный памятник в форме сруба с крышей.

Гонт — короткая дранка для кровли дома.

Госпожинки, спожинки — двухнедельный пост перед праздником Успения и сам день праздника (15 августа ст. стиля).

Готтентоты — народ на юге Африки.

Губной староста — ведал уголовными делами в своей волости или городе.

Гудок — старинный смычковый музыкальный инструмент.

Гяур — неверный, с точки зрения мусульманина, христианин.

Дансёр, дансиор — танцор.

Дача — угодья, поземельная собственность.

Дворянское собрание — орган местного самоуправления в России с 1785 г.

Девичник, девишник — эпизод свадебного обряда незадолго до венчания: подруги невесты, собравшиеся в ее доме, пели свадебные песни, невеста причитала и т. д.

Действительный статский советник — гражданский чин 4-го класса.

Действительный тайный советник — гражданский чин 2-го класса.

Дилижанс — большая крытая карета, предназначенная для регулярной межгородской перевозки пассажиров, почты, багажа.

Дискреция — скромность, осторожность; *сдаться на дискрецию* — сдаться на милость победителя.

Дистракция — рассеянность.

Джерид, джирит — копье для метания на скаку.

Доведь — дамка в игре в шашки.

Дормез — дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

Досужий — знающий, умеющий лечить.

Драгоман — переводчик при дипломатических миссиях в странах Востока.

Дрожки — легкий открытый рессорный экипаж на 1—2 человек.

Дротик — метательное копье на коротком древке.

Дружка — товарищ жениха на свадьбе, один из главных распорядителей на свадебном пиру.

Ендова — деревянный или металлический сосуд ладьевидной формы с широким горлом, употреблялся для разлива напитков на пирах.

Ермолка — легкая шапка.

Ерофеич — водка, настоянная на травах.

Есаул — адъютант; чин в казачьих войсках с XVIII в.

Ефимки — название русской денежной единицы до середины XVIII в.

Жалованная грамота — документ, выдававшийся высшей властью о предоставлении каких-либо прав или льгот.

Жилец — дворянин, находящийся на военной службе.

Заводная лошадь — запасная.

Запеканка — водка с медом, настоянная на пряностях в печи.

Заседатель — в 1775—1864 гг. должностное лицо, избранное для участия в деятельности некоторых местных государственных и судебных учреждений.

Засека — преграда из поваленных деревьев; баррикада.

Застольня — столовая комната.

Заступ — большая железная лопата.

Зело — название буквы «З» в русском алфавите; очень, весьма.

Зельцерская вода — минеральная вода источников Зельтерса (Германия).

Земский староста — выбирался в каждой волости или городе, ведал судом и распределением податей.

Земский суд — уездный административно-полицейский орган в 1775—1862 гг.; состоял из капитана-исправника и заседателей.

Земский ярыжка — низший полицейский чин в России XVII в.

Земское дело — общее дело, касающееся всех.

Земство — местное выборное самоуправление.

Зипун — крестьянский кафтан из толстого сукна, без ворота.

Зорная — сорт водки.

Игумен — настоятель монастыря.

Иерей — священник.

Имбирь, инбирь — пряность из корневища тропического травянистого растения, ценился как заморское кушанье.

Инвенция — выдумка, изобретение.

Исправник — капитан-исправник.

Кабриолет, кабриолетка — легкий двухколесный одноконный экипаж.

Камергер — придворный чин старшего ранга.

Камериора — служанка.

Камка — шелковая китайская ткань с разводами.

Канапе — диван с приподнятым изголовьем.

Канифасовый — сделанный из канифаса, легкой ткани с рельефным рисунком.

Капитан-исправник — в 1775 — 1862 гг. глава уездной полиции, избирался дворянами.

Кармазинный — темно-красный.

Каруца — повозка, телега (в Бессарабии).

Кенкет — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного запаса.

Кивот, киот — ящик, шкафчик для икон.

Кимвал — древний музыкальный инструмент в виде двух металлических тарелок.

Киса — затяжной мешок.

Кичка — старинный праздничный головной убор замужней женщины.

Клёк — самое лучшее, отборное.

Клепать — наговаривать, клеветать.

Клирос — место в предалтарной части церкви, где во время богослужения находятся певчие и лица духовного сана.

Книксен — поклон с приседанием.

Козетка — небольшой диванчик для двух собеседников.

Коллегии — в России XVIII в. центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления; учреждены Петром I в 1717—1721 гг. вместо приказов.

Коллежский секретарь — гражданский чин 9-го класса.

Коломенок, коломянка — полосатая пестрая шерстяная ткань.

Колотырник — перебивающийся в нужде, голь.

Комеражи — сплетни.

Комиссия — поручение.

Конверсация — разговор.

Коник — ларь, сундук, служивший спальным местом.

Конъюкция — сочетание.

Копыл, копыло — лапотная колодка; донце, в которое пряхи вставляют гребень; *вверх копыльями* — вверх дном.

Косные лодки — с двумя мачтами на 6—12 весел.

Коты — женская обувь типа полусапожек; мужская обувь типа калош.

Коча — большая тележка; корабль для речных перевозок.

Кошевой атаман — главный начальник запорожского войска (коша), избиравшийся всеми *куренями* на один год.

Крапивное семя — презрительное название мелких чиновников, приказных.

Красна — холсты.

Красненькая — 10-рублевая ассигнация.

Красный зверь — медведь.

Красоуля — ковш, большая кружка.

Крестовик — петровский рубль с вычеканенным крестом из четырех букв «П».

Кресчендо крещендо — постепенное увеличение силы звука в музыке.

Кружало — см. *Царское кружало.*

Кукона — госпожа, хозяйка (в Бессарабии).

Кунтуш — польский верхний кафтан.

Куранты — газеты, ведомости.

Куренной атаман — в Запорожской Сечи начальник над куренем.

Курень — жилище казаков; войсковая единица в Запорожской Сечи.

Куртина — отдельный участок сада в виде группы свободно растущих кустов, деревьев; клумба.

Кутейник — ироническое название служащих церкви.

Кучить, кучиться — докучать, умолять, просить.

Лагун — бочонок.

Ландо — четырехместная карета.

Ландсман — зажиточный крестьянин, имеющий собственную землю (в Пруссии).

Ландштурм — ополчение.

Лансада — прыжок, скачок.

Линейка, линея — длинный многоместный экипаж с продольной перегородкой, в котором пассажиры сидят боком к направлению движения.

Литургия — христианское богослужение, во время которого совершается обряд причащения.

Личмянной — красивый, видный.

Лукать, лукнуть — бросать, швырнуть.

Магистрат — орган городского управления в России в 1720—1864 гг.

Майор — офицерский чин 8-го класса.

Мантилья — накидка.

Матрадур — танец.

Межевая просека — разделяющая границы владений двух лесовладельцев.

Меринос — испанская тонкорунная овца.

Месячина, мещина — шестидневная барщина крепостных крестьян, лишенных собственных наделов, за что им ежемесячно выдавались продукты.

Местничество — система феодальной иерархии на Руси в XVI—XVII вв; при назначении на службу учитывались прежде всего происхождение и заслуги предков.

Миновет — менуэт.

Мостовщина — пошлина за проезд по мостам и дорогам.

Мухояр — бумажная ткань с добавлением шелка или шерсти.

Мыт — пошлина за провоз товаров.

Набат — колокольный звон, означающий тревогу.

Нагольный тулуп — тулуп кожей наружу.

Надворный советник — гражданский чин 6-го класса.

Налёт — налетчик; удалой наездник.

Налой — высокий столик в церкви, который во время богослужения является подставкой для креста, икон; при венчании новобрачных обводят вокруг налоя.

Нанковый — сделанный из нанки, хлопчатобумажной ткани.

Нарохтиться — собираться, намереваться.

Нарочный — гонец.

Некошно́й — недобрый, нечистый, дьявольский.

Неотолченая труба — очень много.

Неповитая — неубранная, без головного убора.

Нещечко — нечто особенное, сокровище.

Новик — в XVI—XVII вв. молодой дворянин, впервые поступивший на военную службу.

Обер — старший, высший.

Обер-офицерские дети — в XVIII — первой половине XIX в. дети офицеров, родившиеся до получения их отцами чинов, дающих потомственное дворянство.

Облом — грубый, мужиковатый человек; нечистый, дьявол.

Облыжно — неверно, обманно.

Объезжие головы — старшие полицейские чины.

Объяринный — шелковый; *объярь* — шелк.

Овин — строение для сушки хлеба.

Огнищане — средние и мелкие земледельцы.

Одер — изнуренная лошадь.

Однорядок — однобортный кафтан.

Одонья — стог сена.

Ожур — прозрачный.

Оклад — металлическое покрытие на иконе.

Окольничий — в XVI — начале XVIII в. придворный чин на Руси: возглавлял приказы, полки.

Опекунский совет — учреждение по охране правовых и имущественных интересов лиц, не способных самостоятельно действовать до достижения совершеннолетия или по болезни; с 1838 г. при Опекунском совете существовала вдовья и ссудная кассы.

Откуп — право, предоставлявшееся государством за определенную плату частным лицам (откупщикам) на сбор налогов, продажу каких-либо товаров (вино, соль и др.).

Отпущенник — бывший крепостной.

Отченник, отчинник — владелец вотчины.

Официя — офицерский чин.

Палата — губернский суд по гражданским и уголовным делам.

Палаш — холодное рубящее и колющее оружие с длинным прямым клинком, к концу обоюдоострым.

Панёва — женская короткая юбка.

Панцирь — длинная кольчуга.

Парадис — рай.

Пасы — ремни, на которых подвешен кузов кареты или коляски.

Петровки — пост перед Петровым днем.

Пироскап, пироскаф — пароход.

Плерезы — белые нашивки на черном платье; траурная обшивка.

Плошки — глиняные чашки, заливаемые салом, использовались для наружного освещения, для иллюминаций.

Повой, повойник — женский будничный головной убор.

Подблюдные песни — исполнявшиеся во время святочных гаданий.

Подтенетить — поймать.

Подьячий — чиновник; *подьячий с приписью* — чиновник, скреплявший документы своей подписью, свидетельствуя о подлинности бумаги.

Поезд — вереница едущих друг за другом повозок, саней; *свадебный поезд* — торжественная обрядовая езда свадебных чинов и гостей, сопровождавших жениха и невесту.

Помолвка — один из начальных эпизодов свадебного обряда, во время которого родители жениха и невесты договаривались о проведении свадьбы, о приданом.

Порфира — торжественная царская мантия из бархата, подбитая горностаем.

Посад — торгово-ремесленная часть города, расположенная вне крепостной стены; *посадские люди* — торговое население русских городов.

Потентант — державный государь, властелин.

Пошевеньки, пошевни — широкие сани, обшитые лубом или тесом.

Празументы — позументы.

Пращур — предок, родитель прадеда или прабабки.

Придел — особый алтарь в церковном храме, отделенный от главного (обращенного к востоку), имеющий свои клиросы и хоругви.

Приказный — канцелярский служитель, чиновник.

Приказы — органы центрального управления в России XVI — начала XVIII в.

Приспешная — кухня.

Притоманный — истинный, настоящий.

Причет, причт — штат священнослужителей (священники и дьяконы) и церковнослужителей (пономари, псаломщики, дьячки, чтецы).

Прокурат — плут.

Пролетка — легкий четырехколесный открытый экипаж.

Пудремант, пудромантель — накидка.

Пул — мелкая медная монета.

Пустынь — уединенный монастырь, отшельническая келья.

Рахманный — смирный, тихий, нерасторопный; увалень.

Рацея — назидательная речь, долгое поучение.

Регимент — полк.

Рекреации — каникулы; перемены (в школе).

Ретирада — отступление.

Респект — почтение, уважение.

Ригодон — танец.

Ридикюль — 1. женская сумочка; 2. смешно; *ридикюльный* — смешной.

Ритурнель — инструментальное вступление вокального произведения, танца.

Рогатка — шлагбаум при въезде в селение, на городских заставах.

Роговая музыка — оркестр, составленный из охотничьих рогов (каждый мог извлекать только один звук); распространилась в России с середины XVIII в.

Рожон — заостренная палка, клавшаяся на соху, чтобы скот не останавливался во время пахоты.

Роспуски — дроги для перевозки вещей, воды и т. п.

Ротмистр — офицерский чин в кавалерии, соответствующий капитану в пехоте.

Ротонда — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом.

Рунд — военный караул.

Рыдван — большая дорожная карета.

Рюмить — плакать.

Сажень — мера длины в России; равна трем аршинам (2,13 м).

Сам-друг — один.

Сам-четверть — вчетвером.

Сандарак — смола, применяемая для приготовления лаков.

Сбердить — пятиться от дела, отрекаться от слова.

Сбитень — горячий напиток из меда с пряностями.

Свадебный поезд — см. *Поезд*.

Свайка — толстый гвоздь, шип, которым играют, бросая его острием в землю и стремясь попасть в кольцо или начерченный круг.

Свейский — шведский.

Светец — подставка для лучины.

Секурс — подмога.

Семик — седьмой четверг после пасхи.

Семилёр — сплав меди с цинком, внешне напоминающий золото.

Сенные девушки — горничные.

Серокафтанник — человек низкого происхождения.

Сибирка — короткий кафтан с невысоким стоячим воротником.

Сиделец — лавочник, торгующий по поручению хозяина, по доверенности купца.

Синенькая — 5-рублевая ассигнация.

Скальды — древнеисландские поэты, их основной жанр — хвалебная воинская песнь.

Скоромное — пища (мясная, молочная), запрещенная церковью к употреблению во время постов.

Скуфья — комнатная шапочка.

Служебник — слуга.

Смурый — темного, смешанного цвета.

Спаги — общее название военных ленников, получавших за несение военной службы земельное пожалование (на Востоке).

Спатарь — высший сановник двора, командующий войсками.

Спензер — куртка.

Спожинки — см. *Госпожинки.*

Ставок — пруд.

Статский советник — гражданский чин 5-го класса.

Стихарь — облачение духовных лиц: прямое платье, длинное, с широкими рукавами.

Столбцы — форма приказного делопроизводства российских учреждений XVI—XVII вв.: документы хранились в виде склеенных свитков.

Стольник — старинный придворный чин; первоначальное назначение стольника — служить за столом государя во время торжественных трапез; стольники назначались на высокие административные посты.

Стремянный — слуга, ухаживающий за верховой лошадью.

Струг — речное судно, гребное и парусное.

Студенец — родник, колодец.

Сухарничать — роскошествовать.

Схизнуть — исчахнуть.

Схимник — монах-затворник, ведущий аскетический образ жизни.

Тайный советник — гражданский чин 3-го класса.

Талан — участь, судьба.

Тамбурмажор — унтер-офицер, руководивший в полку командой барабанщиков и горнистов; должность введена в русскую армию в 1815 г.

Тенета — сети.

Титулярный советник — гражданский чин 9-го класса.

Томпак — сплав меди с цинком.

Торока — ремешки позади седла для пристегивания или привязывания чего-либо.

Травник — сорт водки.

Трапеза — престол в алтаре; западная часть церкви напротив алтаря.

Треба — отправление богослужебного обряда, совершаемого по просьбе самих верующих (крестины, брак, предсмертное причащение).

Требник — книга молитв для совершения треб.

Троица — седьмое воскресение после пасхи.

Тростить — говорить одно и то же.

Узера, узерка, охотиться в узеру — охотиться на зайцев по *чернотропу*, отыскивая зайцев глазами.

Универсалы — грамоты, письма.

Фальшер — лжец.

Фатера — квартира.

Фаэтон — экипаж с открывающимся верхом.

Ферязь — старинная русская одежда с длинными рукавами, без воротника; были ферязи как мужские, так и женские; ферзь в шахматах.

Феска — мужская шапочка из красного фетра или шерсти в форме усеченного конуса, обычно с кисточкой.

Фигурантка — актриса кордебалета.

Финифть — эмаль, применявшаяся для покрытия металлических изделий.

Фиола — виола, старинный смычковый музыкальный инструмент, средний по регистру между скрипкой и контрабасом.

Фирман — указ султана в Османской империи.

Форшпанки — перекладные.

Флажолет — старинная флейта.

Фланкеры — конные воины, направленные на фланги.

Флюгер — флажок на пике.

Фомина неделя — вторая неделя после пасхи.

Форейтор — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом.

Фоска — карта, ничтожная по своей роли во время карточной игры.

Фриштик, фриштык — закуска.

Фряжское вино — заморское.

Фунт — единица массы в русской системе мер и весов; равен примерно 373,25 грамма.

Фурман — возница.

Хвалынское море — Каспийское море.

Хоругви — священные знамена церкви.

Христов день — пасха.

Царское кружало — кабак.

Цевница — изначально: свирель; символ поэзии.

Целик — целина; *ехать целиком* — по бездорожью.

Цицероне — см. *Чичероне*.

Цыбик — ящичек для чая.

Цынут — название уезда в Бессарабии.

Чара — чарка, чаша.

Чернец — монах.

Черностоп — осенние холода без снега.

Четьи-Минеи — собрание житий святых, составленные помесячно, в соответствии с днями памяти того или иного святого.

Чистый понедельник — на первой неделе великого поста.

Чичероне — проводник.

Чухи, чушки — кожаные чехлы для пистолетов у седла.

Шабры — соседи.

Шанцы — окопы, земляные укрепления.

Шарман-катеринка — шарманка: название идет от начала популярной немецкой песенки «Прелестная Катерина...».

Швернот — черт возьми.

Шептала — сушеные абрикосы и персики, ценились как заморское кушанье.

Ширинка — полотенце.

Шишак — металлический шлем с острием, заканчивающийся шишкой.

Шмольничать, шмонничать — мошенничать, плутовать.

Шнелер — приспособление к спусковому механизму пистолета.

Штабс-капитан — офицерский чин.

Штандарт — флаг, знамя; переносно: знаменосец.

Штофный кафтан — кафтан из плотной шелковой ткани.

Шушун — старинная верхняя одежда наподобие кофты, реже сарафана.

Щепетильник — продавец галантерейных товаров.

Щепетинье — галантерея.

Эдюкация — образование; эдюкованный — образованный.

Экосез, экосес — шотландский народный танец, разновидность контрданса, с конца XVIII в.— бальный танец.

Экскузовать, экскузоваться — извинить, просить прощения.

Элоквенция — красноречие.

Этрурские (этрусские) вазы — изготовленные в Этрурии (северо-западная часть Италии) из черной глины или покрытые черным лаком с богатым орнаментом.

Юз-баши — «штаб-офицерский» чин в Османской империи.

Ярыжка — человек, занятый грубым физическим трудом; пьяница.

Ятаган — рубящее и колющее оружие у народов Ближнего и Среднего Востока.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМЕДИИ

ПРОЗА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

Загоскин М. Н.

З-14 Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Комедии; проза; стихотворения; письма / Сост., коммент. С. Панова и А. Пескова; Худож. Ю. Игнатьев.— М.: Худож. лит., 1988.— 815 с., ил.

ISBN 5-280-00870-2 (Т. 2)
ISBN 5-280-00871-0

В том включены комедии, исторический роман «Русские в начале осьмнадцатого столетия», повести, стихотворения и письма М. Н. Загоскина.

З $\frac{4702010100\text{-}397}{028(01)\text{-}88}$ 8-87 **ББК 84Р1**

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАГОСКИН

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

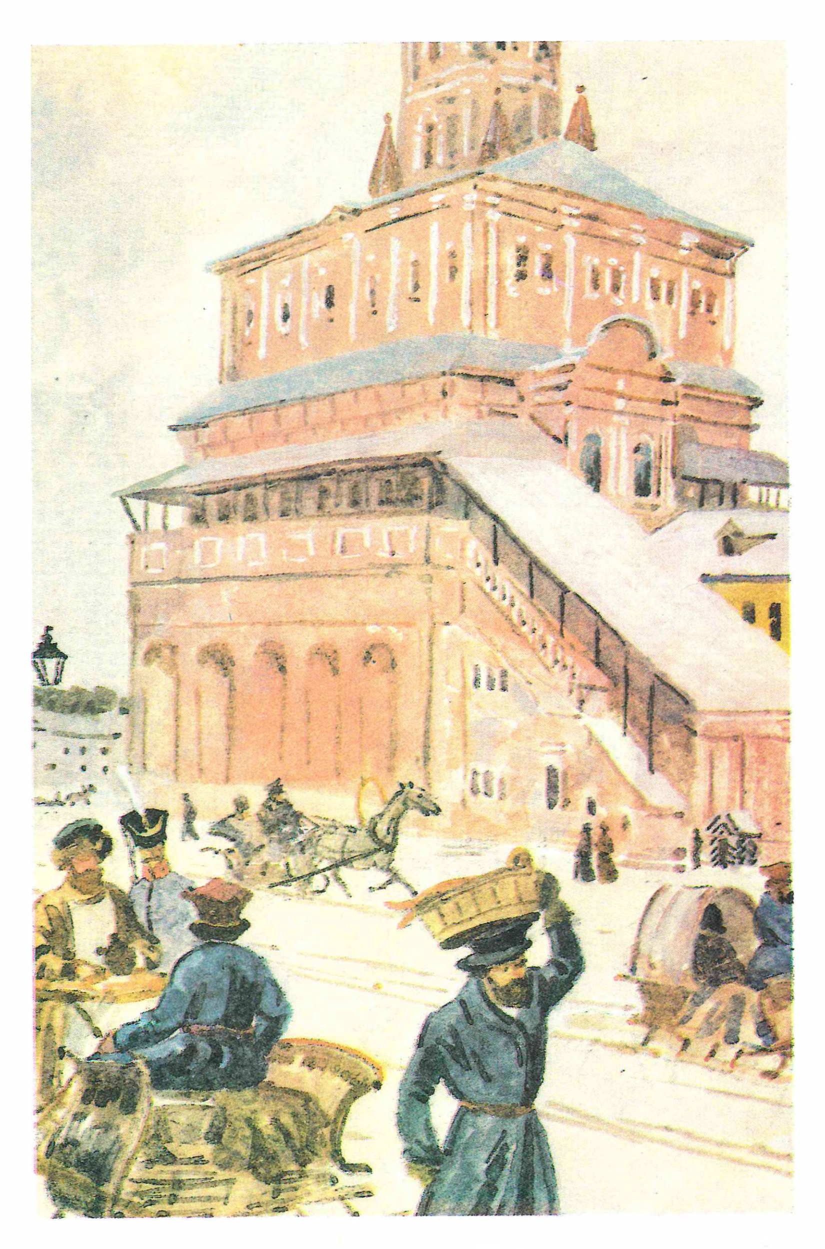
Редактор Г. Колосова. Художественный редактор Г. Масляненко. Технический редактор Е. Полонская. Корректоры Н. Усольцева, С. Колганова

ИБ № 5616

Подписано к печати с матриц 12.02.88. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 42,84+2 нак.=43,26. Усл. кр.-отт. 44,94. Уч.-изд. л. 43,09+2 нак.= =43,5. Тираж 150 000 экз. Изд. № II-2415. Заказ № 1010. Цена 3 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29



«Москва и москвичи»

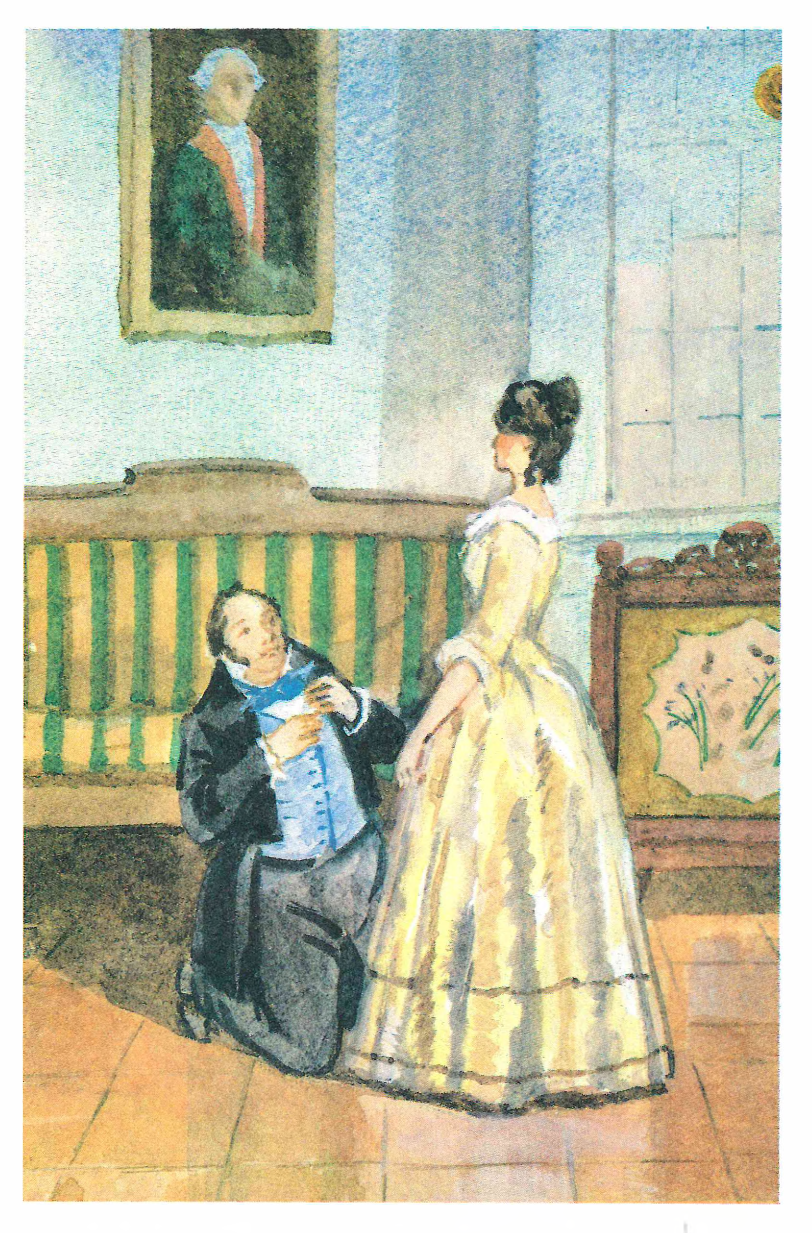
«Вечер на Хопре» («Пан Твардовский»)

«Русские в начале осьмнадцатого столетия»

«Русские в начале осьмнадцатого столетия»

«Благородный театр»

«Благородный театр»



«Г-н Богатонов, или Провинциал в столице»

«Г-н Богатонов, или Провинциал в столице»